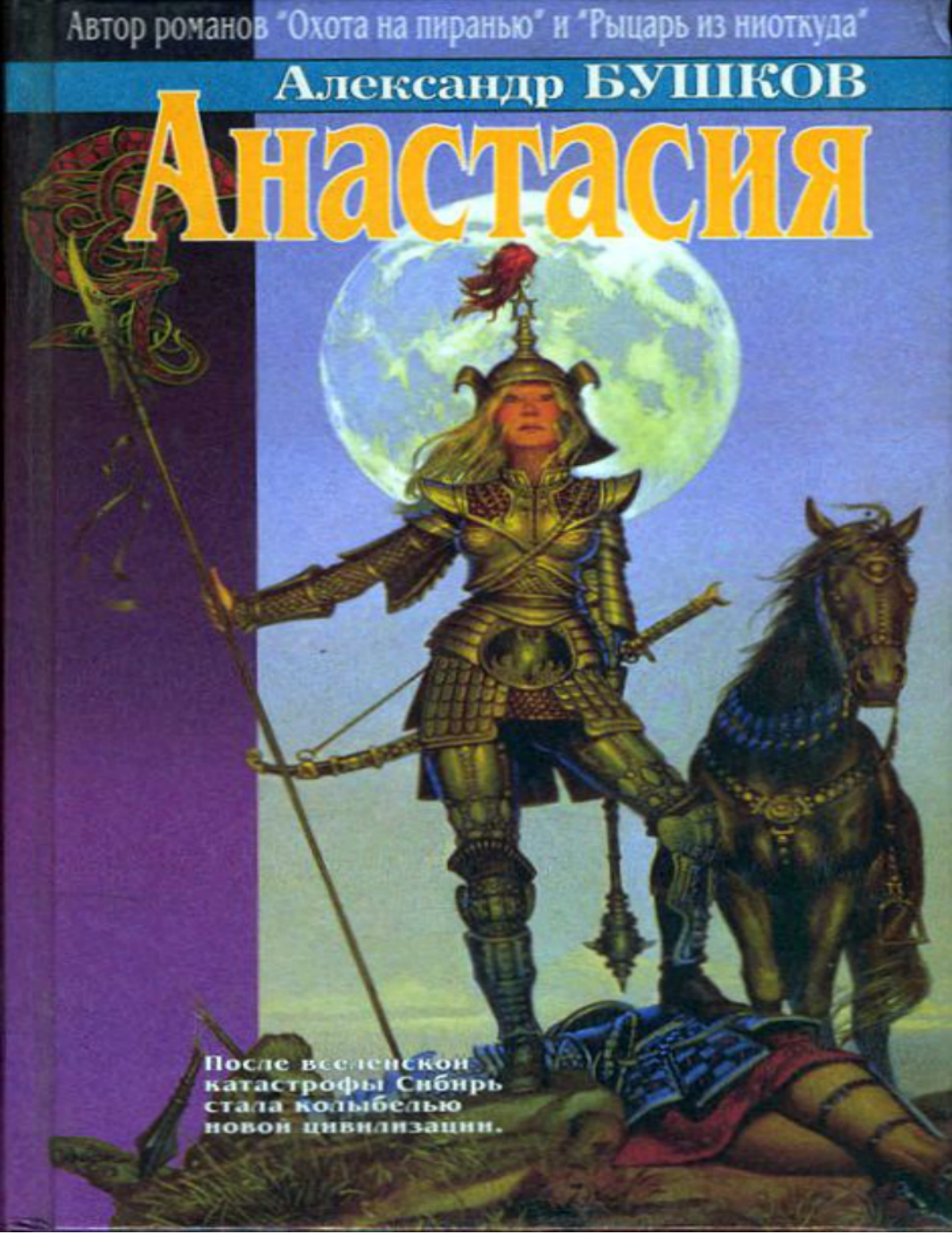
Автор романов "Охота на пиранью" и "Рыцарь из ниоткуда"

Александр БУШКОВ

Анастасия



После вселенской катастрофы Сибирь стала колыбелью новой цивилизации.

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Отважный солдат-десантник, силою магии вырванный из кровавой афганской бойни, попадает в далекое будущее Земли.

На его пути встают руины давно заброшенных городов, открывают свои чудеса удивительные королевства, появившиеся в непроходимых чащобах Сибири. И самое главное - он встречает гордую воительницу-амазонку по имени АНАСТАСИЯ.

Содержание:

Лабиринт (повесть), стр. 5-124

Провинциальная хроника начала осени (повесть), стр. 125-240

Анастасия (повесть), стр. 241-420

Господа альбатросы (повесть), 421-498

Первая встреча, последняя встреча (повесть), стр. 499-532

Пересечение пути (рассказ), стр. 535-539

Наследство полубога (рассказ), стр. 540-550

Как рыцарь средних лет собрался на дракона (рассказ), стр. 551-561

Костер на сером берегу (рассказ), стр. 562-567

Домой, где римская дорога (рассказ), стр. 568-570

Примостившийся на стенке гусар (рассказ), стр. 571-578

Лунные маршалы (рассказ), стр. 579-582

Последний вечер с Натали (рассказ), стр. 583-587

Планета по имени Артемон (рассказ), стр. 588-591

- Александр Бушков
  -
  - Лабиринт
  - Провинциальная хроника начала осени
  - Анастасия
  - Господа альбатросы
  - Первая встреча, последняя встреча
  - Пересечение пути
  - Наследство полубога
  - Как рыцарь средних лет собрался на дракона
  - Костер на сером берегу
  - Домой, где римская дорога
  - Примостившийся на стенке гусар
  - Лунные маршалы
  - Последний вечер с Натали
  - Планета по имени Артемон
- notes

- ○ 1
- ○ 2

Александр Бушков
Анастасия

Сборник фантастических повестей и рассказов

Лабиринт

ПРЕДИСЛОВИЕ

Во время работы над повестью автора неоднократно посещала почти зримая картина некоего аутодафе: на костре, сложенном из экземпляров повести, грустно стоит он сам, а у подножия торжествующе хохочут специалисты по древнегреческой мифологии.

Признаться, у вышеупомянутых специалистов, безусловно, есть все основания для расправы. В повести поставлены с ног на голову наиболее известные мифы Древней Эллады, варварски нарушена их временная последовательность, а кое–где легенды смешаны с реальной историей. Действительно, Гомер родился и создал свои эпопеи значительно позднее минойской эпохи, времени действия как мифа о Тезее и Минотавре, так и повести. Хотя герои повести говорят о нем, как о давно умершем классике. Дедал с Икаром бежали с Крита после смерти Минотавра, а не за двадцать лет до описываемых событий. Наконец, реальный Крит вряд ли имел что–нибудь общее с измышленным автором, который ничтоже сумняшеся давал минойцам эллинские имена, сваливал в одну кучу Гомера, древних бриттов, Атлантиду, разгром греческой армии в дельте Нила – словом, сделал все, чтобы попасть под уничтожающий огонь любителей строгой скрупулезности.

Все так. В свое оправдание автор может сказать одно – что писал он не историческую повесть (правда, и не фантастическую). Более того, все анахронизмы и несообразности допущены вполне сознательно. Ибо весь интерес и внимание здесь отданы истории Минотавра и узкому кругу участников этой истории. Все остальное – фон и театральные декорации. Каждый знает, что королевский дворец на сцене – картонный, а драгоценности принцессы – цветное стекло. Однако эти детали нас не возмущают, потому что куда важнее – актеры и пьеса, которую они играют. Разве Шекспир не знал, что во время Ричарда III не было башенных часов, а во времена Цезаря – очков? А во что он превратил реальную историю в «Цезаре и Клеопатре»? Поверьте, я не пытаюсь спрятаться за спинами великих – всего лишь ссылаюсь на прецеденты.

И еще одно уточнение. Как ни странно, один из главных героев повести существовал в действительности. Некоторое время назад при раскопках одного из древнеегипетских городов была найдена каменная плита с лаконичной надписью: «Я – Рино с острова Крит, по воле богов толкую сны». По заключению

специалистов, это самая древняя в истории человечества реклама. Реклама, как известно из энциклопедического словаря, – термин, произведенный от латинского reclamo (выкрикиваю) и означающий популяризацию товаров, услуг, зрелищ, кандидатов в президенты всеми мыслимыми способами, кроме устного. Пока не найдено нечто более древнее, умерший тысячи лет назад критянин по имени Рино (по другой транскрипции – Ринос) может считаться отцом–основателем и изобретателем рекламы. Вся мощная рекламная индустрия наших дней, использующая радио, телевидение, прессу, лазеры, последние достижения полиграфии и даже небо, в котором самолеты вычерчивают цветными дымами названия марок сигарет, летают аэростаты в виде джинсов «Левис», – вся эта изощренно–отлаженная и чрезвычайно доходная машина имеет своим истоком скромную каменную вывеску.

Над этим стоит задуматься. Творцы многих важных изобретений забыты прочно и, если мы только не изобретем машину времени, навсегда. Мы не помним имен изобретателей колеса, компаса, пороха, лодки – они канули в безвестность. Однако создатель рекламы, в общем–то третьестепенного предмета, не принесшего людям особых благ, сумел угодить на скрижали истории, и никто пока не оспаривает его приоритета. Еще один парадокс, которыми история землян, что уж греха таить, богата чрезвычайно.

Естественно, возникают вопросы. Что он был за человек, изобретатель рекламы, как получилось, что он покинул родину, могучий Крит, где города – беспрецедентный пример – не имели крепостных стен. Как получилось, что он набрался смелости утверждать, будто выполняет волю богов? Определенно можно сказать лишь, что род его занятий подразумевает определенные свойства характера и склад ума, а это не может не повлечь за собой… что? Мы не знаем. Однако сказано: посеешь характер – пожнешь судьбу. А когда речь идет о человеке, о котором ровным счетом ничего не известно, открывается широкий простор для домыслов и интерпретаций. Вот так и получилось, что в повесть с полным на то правом шагнул толкователь снов, известный как изобретатель рекламы. Проще простого заявить, что ничего подобного он не совершал, но кто может утверждать, что он не поступил бы так, подвернись случай? Нет таких гарантий. Не было Лабиринта, не было всего с ним связанного? Могло быть. А может, и было, только чуть иначе? Может, это было вчера? С людьми, которых мы прекрасно знаем?

Исходные данные (энциклопедическая справка)

Лабиринт при Кносском дворце царя Миноса – огромное

здание со множеством помещений и запутанных ходов. По приказу Миноса построен великим мастером Дедалом – для содержания в нем чудовища Минотавра, представлявшего собой человека с бычьей головой, сына царицы Крита Пасифаи и быка. Регулярно греческие города присылали на съедание Минотавру живую дань – семь юношей и семь девушек. Минотавр убит сыном афинского царя Тезеем, которому помогла дочь Миноса Ариадна, уплывшая после этого с Тезеем, но брошенная им по дороге в Афины.

Конец энциклопедической справки

ПРОЛОГ

Тезей, пока еще царь Афин

Ему казалось, что не поздно еще все поправить, вернуть вчерашний беспечальный день, хотя никто из окружавших его в это уже не верил. Не верил, если заглянуть в его мысли, и он сам – просто не дотлела пока надежда на всегдашнюю удачу, последние огоньки не затянул еще пушистый пепел.

Очень старый человек в бесценном пурпурном одеянии отошел от окна к столу, взял тяжелую чашу, подержал, уронил на пол. Звякнуло о мрамор, покатилось и замерло маслянисто поблескивающее золото. Предательский металл, столько лет считавшийся самым верным, – стократ нужнее сейчас была бронза, из которой делали оружие. Ну и, разумеется, руки, чтобы это оружие держать. А рук как раз и не хватало.

К богам обращаться было бесполезно: он всегда их презирал, а олимпийцы злопамятнее людей. Сохранилась разве что слабая надежда: где–то поблизости дрались наемники, в Афинах стоял критский полк. А от всего царства у Тезея остался только дворец, к стенам которого уже подступали восставшие, от воплей и стука мечей нельзя было укрыться ни в одном зале, ни в одном самом глухом закоулке огромного мрачного дворца.

Царь поднял голову и встретил взгляд неслышно вошедшего придворного – в нем была преданность, как встарь, купленная не золотом и не страхом. Но было и еще что–то, отстраненное и безнадежное, как стук в двери пустого дома. Так смотрят на человека, которого через минуту должны повесить, – он еще живет и дышит, но уже вычеркнут из человечества, нет его больше.

Придворный долго был солдатом, поэтому он доложил четко и спокойно:

– Пока мы защищаем площадь и прилегающие улицы, но долго не продержимся. Их там по десять на одного нашего.

– Но мои войска? Ведь не могут предать сразу все?

– Предать, может, и нет. А вот отступить сразу все могут. Не

первый случай. – Придворный отвел глаза. – Наемники ушли в Пирей и захватили корабли. Побоялись, что больше ничего от тебя не получат, и решили не рисковать.

Они обернулись на стук шагов, гулких, бесцеремонных, торопливых. Впервые во дворце звучали такие шаги, ясно дававшие понять, что с этикетом никто уже не считается. Воин в изрубленных, потускневших доспехах привалился плечом к косяку и смотрел грустно и спокойно, как человек, знающий, что от жизни ему больше ждать абсолютно нечего. Тезей не к месту, просто по привычке помнить все, подумал, что этого микенца почему–то всегда ставили на караул у западных ворот. Всегда только у западных.

Они ждали. Микенец мотнул головой, выплюнул перемешанную с кровью пыль:

– Критский полк уходит в Пирей.

– И вы их не остановили?

– Попытались было… – сказал микенец. Он шагнул вперед, упал на колено, медленно рухнул лицом вниз и замер – сразу, будто задули светильник. Длинная тяжелая стрела с излюбленным критскими лучниками черным оперением, вонзившаяся меж бронзовых пластин пониже левой лопатки, колыхнулась и застыла.

– Как он добрел с такой раной, не понимаю, – сказал придворный. – Это все, царь. Понимаешь? Все. Совсем. Человек сто пытаются задержать восставших, двадцать телохранителей у нас здесь, во дворце. В Пирее наши люди готовят корабль. Нужно торопиться.

– Изгнанники?

– Изгнанники, – кивнул придворный. – Ты не первый царь, а я не первый царедворец, которых изгоняет народ. Утешением это нам служить никак не может, зато прежние примеры, по крайней мере, подсказывают, как себя вести. Золото уже сложили во вьюки, так что хлеб с оливками нам жевать не придется…

– Сколько лет мы знаем друг друга?

– Лет сорок. Ты тогда еще не был ни царем, ни героем, помнишь?

– Я все помню, – сказал Тезей. – Смешно – не время вспоминать, а вспоминается. Ночная стража, у которой мы украли тогда мечи, та история в порту, караван, дочка Эгериона… – Он оборвал слова, словно задернул занавес. – Можешь ты мне сказать, ну почему они вдруг? Ты же ведал и соглядатаями… Почему вдруг я стал для них нехорош? Голов я рубил не больше, чем положено царю. Налогами прижимал в той мере, в какой это полагается. Тиран? Не спорю, но опять–таки не хуже и не лучше

других.

Они молчали. Шум боя подступал все ближе к дворцовым воротам, накатывался, как прилив, и крики «Смерть Тезею!» были такими яростными, что от них, казалось, должны были отскакивать стрелы.

– Ты их всех слишком долго и слишком пренебрежительно оскорблял, – сказал придворный. – Слишком часто напоминал, что ты герой, великий полководец и победитель чудовищ, а они – сброд и жалкие людишки, не стоящие такого царя. В конце концов им надоело слушать, что только ты велик, только ты умен и храбр, только ты прав и справедлив…

– И вам, придворным, это не нравилось?

– Ну конечно. Кому такое может нравиться?

– А ведь я еще успею отрубить тебе голову, – сказал Тезей. – Мой палач от меня ни за что не отступится, ему–то меня покидать никак нельзя – многое могут припомнить.

– Воля твоя. Только я все–таки с тобой, а не с теми, кто рвется во дворец или сбежал из дворца. Это тебе о чем–нибудь говорит?

Он был прав, он оставался верным, и Тезей сказал:

– Прости, погорячился я. Привычка…

Длинный тягучий скрип и стук – запирали ворота, вставляли в гнезда длинные, гладко обструганные брусья–засовы. Во дворец уносили раненых, и кровь пачкала широкие ступени. «Они не меня любят, – подумал Тезей о воинах, – они ведь не из преданности – просто каждый за время службы накопил столько грехов, что о пощаде и думать нечего… Но какое это сейчас имеет значение, что мне до их любви, лишь бы дрались…»

– Ясно, что все стенобитное снаряжение попало к ним, – сказал придворный. – Ворота, правда, у нас хорошие, часок продержатся, но зачем нам этот час? Мы ведь не собираемся умирать здесь, царь?

– У тебя все готово?

– Все, – сказал придворный. – Сокровища казны навьючены, кони для телохранителей готовы, о потайных воротах чернь не знает – они сгрудились у главных, на противоположной стороне. Мы прорвемся в Пирей. Только нужно торопиться – если бунтовщики вздумают занять порт, нам конец. Я жду приказа, царь.

– Итак, я еще царь… – сказал Тезей. – Пока я во дворце и могу отдавать приказы, я еще царь, без сомнения… Ступай к воротам, организуй защиту. Собери челядь, поваров, слуг, всех, кто способен держать оружие, и – на стены. Приказ прорываться я отдам, когда сочту нужным. Иди.

Придворный ушел молча. Собственные мысли у него, безусловно, имелись, но не было смысла их высказывать. Тезей остался один. Гоплиты, застывшие по обе стороны двери, были не в счет – живая мебель, способная убивать и умирать, одушевленные мечи, не имевшие права на размышления, оценки и слова.

Прежняя жизнь уходила, как песок сквозь пальцы, и совсем не имело значения, через сколько времени загрохочут в ворота монотонные удары стенобитных машин и как долго продержатся ворота. Ничто сейчас не имело значения – только то, что тридцать лет назад был синий остров Крит, и синий девичий взгляд, и свистящий взмах меча, и серый, ноздреватый камень запутанных, как человеческие судьбы, и длинных, как печаль, переходов. И тогда Тезей Эгеид, несмотря ни на что герой и пока еще царь Афин, обернулся к тяжелому темному занавесу. Складки раздвинулись с тихим мышиным шорохом, и выскользнул халдей.

То ли тридцать лет ему было, то ли пятьдесят. Он внушал удивительное доверие, а через промежуток времени, равный удару сердца, выглядел несомненным шарлатаном и прохвостом, которого лучше всего было бы без разбирательства вздернуть на воротах. Беда с ними, с этими халдеями, колдунами из далекой земли, – никогда их не поймешь и не разгадаешь.

– Все это немного забавно, царь, – сказал он. – Мне приходилось заниматься своим ремеслом в самых разных местах, но я впервые исполняю свои обязанности в осажденном дворце. В твоем положении обычно бегут не оглядываясь.

Он не язвил – просто говорил то, что думал. Сердиться на него не было охоты и времени.

– Мне говорили, что ты лучший посредник для беседы с тенями, – сказал Тезей.

– Возможно, – небрежно взмахнул рукой халдей. – Я всего–навсего занимаюсь этим всю свою сознательную жизнь. И не жалею. Видишь ли, тени умерших избавлены от свойственных людям пороков. Тени не способны ненавидеть, потому что это в их положении бессмысленно. Тени говорят так откровенно, как никогда не посмели бы при жизни… впрочем, тебе это сейчас неинтересно. И времени нет. Что ж, я буду беречь твое время. Приступим?

– Погоди, – сказал Тезей хрипло. – И это что же… вот так? Так просто?

– А, ну да, – кивнул халдей. – Ты имеешь в виду всякие там манипуляции с курильницами, загадочными пассами и раскатами грома? «В таинственном полумраке грозно мерцали глаза священного крокодила…» У нас нет времени на глупые

спектакли, необходимые, чтобы больше выжать из клиента. Все делается довольно просто.

Он снял висевший на шее затейливый золотой медальон и, держа его перед собой на вытянутой руке, заговорил скучным голосом:

– Геката, царица ночи, помоги ничтожнейшему из твоих слуг и отпусти к нам на короткое время несколько твоих подданных. Я зову вас на откровенный разговор, уважаемые тени, бывшие смельчаки, бывшие подлецы, бывшие влюбленные, бывшие хитроумцы…

И шум бушующей у стен толпы уплыл в неизмеримую даль. Яркий день за окном померк и поголубел, словно дворец опустили на дно неглубокого, пронизанного солнечными лучами морского залива. Густой мрак, будто сочившийся из стен, залил углы зала и застыл неподвижной завесой. А потом из мрака стали появляться тени.

Они выглядели совсем как люди, но были все же бесплотными, бесшумно ступали, проходя сквозь оказавшиеся на пути статуи, колонны и столы. Они были прошлое, сон наяву в ясный солнечный день, а прошлое не меняется, и мертвые остаются молодыми и сохраняют присущие им при жизни манеры. Величественно, как на большом приеме, прошествовал Минос, царь Крита, в пурпуре и золоте, упругим шагом привыкшего к дальним походам воина прошел Горгий, начальник стражи Лабиринта, в серебряных доспехах, в которых и был убит. Тезей прекрасно помнил, куда пришелся удар, – в горло, повыше золоченого обруча. Он перевел взгляд в другой угол – из мрака, казавшегося шероховатым на ощупь, выступила Ариадна, прекрасная, как пламя, с длинным кинжалом из черной бронзы в руке. Тот самый кинжал, понял он и шагнул вперед, но его остановил исполненный все той же вялой скуки голос халдея:

– Забыл тебя предупредить: на этой встрече нет места изъявлениям бесполезного сожаления.

Тогда он остановился. Из мрака появился Рино с острова Крит, толкователь снов, и трудно было поверить, что он мертв, – он и по жизни всегда скользил беззвучной кошачьей походочкой. А в самом дальнем, самом темном углу стоял еще кто–то неразличимый, едва угадывавшаяся во мраке фигура. И тишина. Тезей почувствовал на плече руку халдея, твердую и сильную, и вспомнил, что он должен начать, – тени не могут заговорить первыми.

– Я хотел вас видеть, – сказал он, ни на кого не глядя.

– К чему такая спешка, братец? – откликнулся Рино насмешливо, как встарь. – Все равно скоро увиделись бы.

– А как… там? – спросил Тезей всех сразу.

– По–всякому, – сказал Рино. – По–разному, дружок. Но ты нас не для таких расспросов вызвал, я полагаю? Как у тебя дела, все царствуешь?

– Царствую, – сказал Тезей и подумал, что не врет в сущности, хотя границей царства стала дворцовая стена. Никак нельзя было рассказать им, что творится за стеной, – иначе, он знал совершенно точно, он терял последнее у него оставшееся, пусть невыразимое в словах и образах, но тем не менее самое ценное. Потому что спор, начавшийся три десятка лет назад, не кончился…

– Я хотел вас видеть, – повторил он. – Мы все наглухо связаны тем, что произошло тридцать лет назад. Мы все вместе однажды строили здание из подлости и лжи – это, помнится, твое выражение, Рино, верно? Мы оказались хорошими зодчими, мы один за другим переходили в небытие, а наше здание высилось в прежнем блеске, и оно неминуемо переживет всех нас, в этом ты оказался прав, Рино… Но вот что вы скажите мне, зодчие: можно ли обвинить в смерти Минотавра кого–то одного?

– Все–таки хочешь переложить на кого–то свою вину? – спросил Горгий холодно. В его тоне не было презрения – просто бесстрастность солдата.

– Вовсе нет, – сказал Тезей. – Я всего лишь хочу определить долю вины каждого. На каждом из нас лежит доля вины, никто не посмеет этого отрицать. Я убил Минотавра мечом.

– Я убил его тем, что определил ему судьбу, – сказал Минос. – И тем, что сказал тебе тогда «да».

– Я убил его тем, что верил людям, – сказал Горгий.

– Ну а я свел вас всех и заставил работать на этом самом строительстве, – сказал Рино.

Одна Ариадна молчала, смотрела синими глазами, и кинжал из черной бронзы с рукоятью в виде распластавшейся в прыжке пантеры был чересчур массивен и тяжел для узкой девичьей ладони. Тезей ничего у нее не спросил, но глупо было бы думать, что смолчит Рино.

– Ну а ты, красавица? – спросил Рино. – Тебе не кажется, что и тебе следовало бы к нам присоединиться? Ты же ничего не хотела знать, кроме своих чувств и того, что считала своими истинами. Ты…

– Хватит! – Тезей метнулся к нему, но руки прошли насквозь, и пальцы схватили пустоту.

– Брось ты, – сказал Рино. – Тридцать лет назад нужно было думать, спохватился…

Тезей отошел и остановился так, чтобы видеть всех.

– И еще один у меня вопрос, последний, – сказал он. – Кто–нибудь жалеет, что не поступил тогда иначе?

– Нет, – сразу, не раздумывая, сказал Минос. – Меня заставила государственная необходимость. Человек может стать царем, но царь не может остаться человеком.

– Нет, – сказал Рино. – Куда мне деться от моего характера?

– Нет, – сказал Горгий. – Я должен был жить с верой в то, что доброты на земле больше, чем зла. Убили меня, но не эту веру.

– Нет, – сказал Ариадна. – Я же любила.

– Но в таком случае так ли уж виноват я? – спросил Тезей свое прошлое.

– Вот как? – Рино скользнул к нему, смотрел дерзко и насмешливо. – А ты, Эгеид, так–таки никогда не задумывался – может быть, следовало поступить иначе?

Тезей застыл. Не было больше осажденного дворца, не было снов из прошлого, в лицо дунул свежий и соленый морской ветер, над головой туго хлопнул белый парус, навстречу плыли желтые скалистые берега Крита, и все живы, и ничего еще не случилось…

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД

Ставрис, бывший каменщик

– Ну что ты мне вкручиваешь, парень? Что ты там строил? Храм Диониса, скажите пожалуйста, страсти–то какие, от почтения к тебе, молокососу, умереть можно… Нет, я не спорю – храм вы неплохой отгрохали, большой и красивый, согласен.

Только ты с нами себя не равняй. Потому что мы – мы и есть, лучше не скажешь. Вот мы однажды строили, двадцать лет назад… Лабиринт я строил этими руками, понял? Камни клал и стены выводил. И нет другого такого здания во всем мире, даже у атлантов в Посейдонии нет. Пирамиды, говоришь? Тоже мне достижение – натесал кучу камня и громозди до небес. Нет, не то, не то… Не вытягивает, клянусь священным дельфином, священным быком и священным петухом! Тройной нашей клятвой клянусь!

Вот Лабиринт, братцы вы мои, собутыльнички тупые! Лабиринт, шантрапа вы кносская! Год по этим ходам бродить можно, поседеешь, а дороги не отыщешь. Знал свое дело великий мастер Дедал, его здоровье! Что? А, ну конечно, те, кому следует, дорогу всегда найдут, а уж как это делается, мне думать не полагалось и не полагается. Мы этого не знаем, потому и живы, потому и платят нам до сих пор заботами царя Миноса, его здоровье! Десять лет, как я работу бросил, – к чему, коли денежки и так плывут? Зачем мне работать, если я тот, кто Лабиринт строил? Уяснили, шантрапа? Прониклись?

Что? А наплевать мне на Минотавра, Аид его забери, и

слушать о нем не хочу. Его дело, кого он там жрет. Кого нужно, того и чавкает, Миносу виднее. Мне не за то платят, чтобы я думал, для чего и кому строил. Лабиринт я строил, понятно, молокососы? И все. Проживи вы еще по сто лет, не построить вам такого!

Давис, рядовой стражи Лабиринта

– Раз–два–три–четыре, раз–два–три–четыре… Так и идет – секиру на плечо, четыре шага туда, четыре обратно. Солдатское дело, оно известное – стой, где поставили, сторожи, что поручено, пропускай тех, про кого ведено, а всех прочих хватай и представляй, куда положено. Об остальном начальство думает, у него бляхи золотые, а наше дело десятое. Правда, сударь мои, вы уж нас не равняйте со всякой серой пехтурой! Клянусь священным петухом, мы хоть и простые солдаты, морда булыжником, да охраняем–то мы что? Мы – особая стража, охраняем Лабиринт и подчиняемся только нашему Горгию, а он – только царю нашему, высокому Миносу, внуку бога Солнца. Так–то вот. А на остальных начальников чихал я со стены, будь он хоть тысячник. Сто раз нам было говорено, что мы вроде как совсем особые – больно уж важное дело нам поручено, и чтоб мы прониклись и осознали. Говорил это сам Горгий, а уж за него мы в огонь и в воду, потому как помним его по разным прошлым войнам. Исключительной храбрости человек, нашего брата всегда понимал и в обиду не давал.

Вовнутрь я ни разу не ходил. На то другие есть – наши же ребята, из стражи. Они туда еду чудищу, Минотавру то есть, носят, а мое дело – стоять у главного входа и смотреть, чтобы никто чужой поблизости не отирался, а подозрительных хватать, и занимается такими сам Горгий.

Так что служба нетрудная: ходи себе да ходи, а надоест – сядь. У входа скамейка есть, и сидеть не возбраняется, лишь бы смотрел зорко. Вот так времечко и бежит – походишь да постоишь, посидишь да подумаешь. У солдата, известно, мыслей особых не водится – что на ужин дадут, да не будет ли вино кислое, как на прошлой неделе ключник утворил (ну, да мы его головой в тот кувшин макнули и держали, пока половину не выхлебал), да как оно будет, когда сменишься и к девкам пойдешь. Нам–то с девками всегда везет, любая привечает, узнают ведь по одежде, где мы служим, и каждая добивается – расскажи да расскажи про Минотавра. А как расскажешь? Если бы что и знал, за длинный язык голову снимут. Да и не знаю я ничего, если честно – откуда? Ребята, бывает, наврут девкам с три короба по пьяному делу. А я молчу. Это даже сильнее действует, когда молчишь многозначительно так.

Болтают про Минотавра все, что на ум взбредет. Оно и понятно, коли никто ничего толком не знает, только и остается, что болтать. А правда… Вы что же думаете – мы тут совсем ничего не знаем? Рев я, к примеру, по десять раз в день слышу – жуть, который год слышу, а привыкнуть до сих пор не могу. И то, что никто из тех, кто драться с ним ходил, не вернулся, – святая правда, доподлинная истина. Сорок три их было, мы считали. Идут они туда по–разному. Кто прет грудь колесом, будто не то что людей, богов и тех не боится, – молодежь больше. Кто идет сторожко, как охотник на зверя, сразу чувствуется, что бывалый, – те посолиднее, мужики битые и хваткие. А иной идет, будто сам себя за шиворот тащит, сразу видно, что ему, бедолаге, до смерти хочется драпануть отсюда, да уж отступать поздно, стыдно трусом домой вернуться. Да что там, по–всякому они туда входили, да только ни одного мы больше не видели. Сорок три их было…

А вот про дань эту самую живую – совсем наоборот дело обстоит. Ну да, присылают нам другие страны регулярно по семь девушек и семь юношей Минотавру на съедение. Только никто из них в Лабиринт так и не попал – всех их при дворе оставляют, это точно известно, да разглашать запрещено. Слугами делают. Или там на скотный двор, кого куда. Я сам с одной девчонкой из Коринфа второй год знаком, женюсь, наверное, уж больно ладная, да и надоело по девкам шататься, правду говоря. Мужчине в мои годы дом нужен, семья, хозяйство.

Говорят про Минотавра всякое, и потому, как знаешь, что этим сплетням никакой веры нет – уж если мы не в курсе, откуда эти городские болтуны знают? – поневоле же сам начнешь задумываться. Оно солдату вроде бы и ни к чему, да ведь скучно на посту. С одной стороны, Минотавр, конечно, чудище и людоед, – и рев все слышим, и те сорок три в Лабиринте сгинули. А с другой стороны – эта самая живая дань, про которую говорят, что она для него, получается, и не для него вовсе. Ну, тут какое–то хитрое государственное дело, не по нашему уму…

А вчера я снова злодея изловил. Стою себе, вдруг подходит скользкий такой человечишка, одет неприметно, глазками блудливыми по сторонам юркает. И давай мне шепотом: я, мол, знаю, что в деньгах у тебя нехватка вечная, у тебя, служба, в них нуждишка, так я тебе дам столько, что внукам останется, а ты меня за это так пустяково отблагодаришь, что говорить совестно. Когда ваши Минотавру еду понесут, когда они засовы отпирать станут и отвернутся, ты же свой – подкинь в корзину вот это яблочко, его совсем незаметно будет. И показывает мне, гнусь, яблоко – такое, что и у статуи слюнки потекут. Ну, как в таких случаях поступать, давно приказ есть, этот тип у нас и не

двадцатый даже. Свищу в два пальца ребят, наши его сгребают и волокут в подвал, а там уже все приготовлено, чтобы он говорил не запинаясь.

Только ничего там от него не добились – кто послал, не признался. Закопали его там, где и всех прочих. Но все равно, пусть он и слова не сказал, мы ж как–никак дворцовые, знаем, кто его послал. Высокая наша царица Пасифая. Тс–с! Насчет этого и родной матери не проговорись, а то и тебя самого… там, где всех закапывают.

Вот тут я нашего высокого царя Миноса решительно не понимаю, клянусь священным дельфином. Прижила его собственная жена, высокая наша царица Пасифая, урода, то бишь Минотавра, от быка. Бык у нас, конечно, вместе с петухом и дельфином животное священное, может, там и бог какой–нибудь был под видом быка, случалось же такое, однако все ж как–то оно не того… Царица все же, не какая–нибудь прачка. Самое лучшее было бы тут же придушить это чудовище, потолковали бы об этом год–другой, а там и забыли. Или вообще бы не узнали – если все с умом обернуть. А что Минос сделал? Отгрохал этот самый Лабиринт – уймищу ведь денег вбухал! – посадил туда Минотавра и растрезвонил по всему свету, какое у него диво имеется. Ну а откуда это диво произошло, народ постепенно узнал за двадцать–то лет. Это ж позор на весь белый свет, последнему водоносу со стыда сгореть можно, не то что царю…

А он терпит… Минотавра приказано оберегать пуще собственной жизни. Но вот тогда на кой эти, что драться с ним приезжали? Мы бережем, а им идти убивать можно? Снова государственное что–то, не для нашего ума. Ну, ладно, наше дело десятое, начнешь думать – башка лопнет. Может, сегодня на ужин телятину дадут! Обещали вроде…

Рино с острова Крит, толкователь снов

– День начался паршиво. Сначала ввалился пьянехонький купец и стал добиваться, чтобы я объяснил: что значит, если во сне ему привиделась танцующая на ветке голубая рыба? Пить нужно меньше, иначе наяву голубых рыб видеть начнет… Идиотский сон требует идиотского же толкования, и я сказал ему таинственным голосом: «Когтистая лапа занесена над блюдом, но ястреб взмахнул крылом». Он ничего не понял и оттого заплатил больше, чем я обычно назначаю.

Потом пришел понурый соседушка Гикесий, выложил на стол монеты и стал рассказывать свой утренний сон. Оказывается, корова с увесистым поленом гонялась за ним по всему дому, и он проснулся в самый трагический момент, оказавшись зажатым в угол, и теперь хочет знать, не является ли сон пророческим, не

прознала ли дражайшая супруга о той мельничихе, которой он всю эту ночь помогал чинить жернова?

Я вынужден был огорчить его, сказав, что, к моему большому сожалению, сон его является насквозь пророческим, и любезная Нира ждет не дождется, когда он переступит порог, и рядом с ней пребывает, ожидая своего часа, суковатая палка. Видят боги, я ничего не мог поделать. Он недооценил свою половину – та еще позавчера наняла ловкого человека, набившего руку на слежке за неверными мужьями и женами, и тот за умеренную плату превратился во вторую тень Гикесия, выведав все подробности. Я это узнал на заре – когда–то этот тип прирабатывал на моих самых несложных поручениях и по старой памяти заглядывал с новостями. Так и работаем – в нашем деле никак нельзя полагаться на одних богов, тот, кто не уяснил этого золотого правила, кончит в самой грязной канаве.

После Гикесия, ушедшего с плачем и стенаниями, наступило долгое затишье. Я знал, что это означает. Вернее, кто в этом виноват – косой лидиец, обосновавшийся на нашей улице через пять домов от моего. На потолке у него болтается мерзкое чучело крокодила – ненавижу этих тварей, в углу многозначительно скалится череп, пряно пахнут пучки заморских трав, блестят хрустальные шары, а в углу звенит цепью выученная двум–трем нехитрым штукам облезлая обезьяна, ужасно похожая на своего хозяина. Словом, полное снаряжение шарлатана, неотразимо завлекательное для простодушных дураков, не понимающих, в чем разница между пышным блеском замаскированного ничтожества и аскетической сухостью истинного ума и таланта. И дураки не понимали – достаточно было взглянуть на очередь, растянувшуюся к дому этого мошенника на три квартала…

Будь это хотя бы два месяца назад… Священный бык, священный петух и священный дельфин, не люблю упоминать вас, считаю это глупым суеверием, но что поделать, если поневоле срывается с языка… Поневоле приходится с болью и тоской вспоминать, что Каро Быстрый Нож схвачен и умер, скалясь в лицо всей этой своре, столпившейся вокруг со своим раскаленным железом; что его люди (шайка, по–моему, слишком пошлое слово) частью казнены, частью покинули в панике Крит. Каро ничего не сказал, ни слова, он был настоящим мужчиной и не предавал друзей, но все мои теплые мысли о нем не воскресят его и его людей. Не знаю, смогу ли я когда–нибудь отыскать еще одного такого друга, великолепно умевшего презирать предрассудки и абстрактные понятия, выдуманные нищими мудрецами и якобы ведущие к созданию на земле Золотого века, царства добра.

А теперь Каро нет, и мир стал беднее, и я лишен моих верных помощников. И полицейский сотник, что раньше кланялся, завидев меня за квартал, вошел вчера ко мне в дом едва ли не как хозяин, лучась самодовольством и важностью. Оперируя деликатными намеками, он рассказал мне о лидийце и вежливо, но достаточно грозно предупредил, что в случае каких–либо осложнений, случись с лидийцем что плохое, он уж мне… Проглотив это, я с видом оскорбленной невинности прикинул, сколько же ему перепало от лидийца. Довольно много, если он так держался, забыв свои прошлые страхи…

Вот и результат десятилетних трудов на поприще толкования снов. То, что мы с Каро называли между собой «исцелением души», теперь, с его смертью, невозможно, и мне пришлось отослать ни с чем трех набитых золотом клиентов. Обыкновенное гадание, толкование примитивных снов мелких людишек до того бесперспективно и малодоходно, что я бросил бы его, не объявись даже лидиец. Для человека моих способностей это – неразумное разбазаривание по мелочам своего таланта. Итак?

Можно обратить в звонкую монету все написанные неосторожными людьми письма – мою коллекцию, долго и кропотливо собиравшуюся по крупицам. Коллекцию, открывающую мир слабостей, необдуманных влечений, скотской невоздержанности, предательства, жалких потуг на незаслуженную славу. Она стоит немалых денег, если торговать письмами в розницу, но как целое она еще дороже – материал для моего будущего труда «Что есть человек». Труд этот должен неопровержимо доказать скотскую сущность человека – в противовес потугам бродячих философов, прочащих человеку божественное величие духа.

Эти глупцы смеют уверять, что человек станет лучше бога, но что такое бог? Я хорошо знаю богов, мне приходилось иметь с ними дело. Боги – не более чем уставшие актеры, которых ведет роль, жалкие куклы, обреченные разыгрывать до бесконечности одни и те же приевшиеся сцены – до бесконечности, потому что боги бессмертны. Люди мечтают о бессмертии, но я давно понял, о чем мечтают бессмертные боги, – о смерти…

Никак нельзя продавать письма – иначе погибнет ненаписанный труд «Что есть человек». Так что же, достать из тайника тяжелый мешок – и прочь с Крита? Мир велик, в нем достаточно мест, где может найти себе приют толкователь снов, но мне надоело быть толкователем. В силу своего таланта я хочу управлять событиями и людьми, ибо познал все людские слабости, и это ставит меня неизмеримо выше толпы. Но кто предоставит мне возможность властвовать там, в чужих землях,

если не удалось достичь этого на родине после десятилетних трудов? Места вокруг сладкого пирога давно заняты, опоздавших прогоняют взашей, и стоит ли сердиться, если сам поступал бы точно так же, покусись на твою долю затесавшийся с улицы нахал? Сердиться нужно на самого себя.

Так ничего и не решив, я отправился прогуляться, и город, надоевший Кносс, показался мне еще более пыльным, грязным и скучным. Возле дома лидийца ждали своей очереди человек двадцать, я спокойно прошел мимо, старательно изображая полнейшее равнодушие, спиной чувствуя, что они смотрят вслед с насмешкой и разочарованием. Конечно, им хотелось бы поглазеть на нашу драку, растрепанные бороды и набежавших полицейских, но такого удовольствия я этому сброду не доставлю…

Возле заведения Валеда, где останавливаются заезжие торговцы, чтобы получить за свои деньги все удовольствия, было шумно, как всегда. Свистели флейты, кружились и выгибались танцовщицы, едва прикрытые прозрачной тканью, изображая чувственность и веселье, звенели дутые браслеты, падали с плеч покрывала, а на широкой галерее гомонили купцы, наслаждаясь короткой свободой, – дома не разгуляешься, там разжиревшие жены будут лупить их метлами при закрытых дверях.

Я прошел бы мимо, но ко мне бросился одноглазый бактриец, верный Валедов слуга, изгнанный из родных мест и лишенный уха наверняка не за благочестивую жизнь. Оказывается, Валед ждал меня и велел доложить, как только я буду замечен поблизости. Пренебрегать предложением не следовало. Правда, я не знал, как он примет меня теперешнего, после смерти Каро многие стали меня избегать, считая, что мои золотые дни позади.

Хотел бы я видеть честного содержателя дома для приезжих. Само это занятие и честность – вещи несовместимые. Разумеется, в любом таком заведении купец может беспрепятственно предаваться всем порокам, какие только существуют, а если он захочет, ему выдумают новые, но хитрый Валед, решив быть оригинальным, устроил еще тайные закутки – там могли развлекаться женатые и замужние из почтенных семейств, там продавали, покупали и выменивали ценные сведения полицейские у воров, воры у полицейских, шпионы разных стран – друг у друга. Платой Валеду служили не только деньги, но и львиная доля этих сведений, поэтому Валед прямо–таки необходим многим, в том числе, разумеется, и мне.

Он сидел в своей комнатушке, толстый, огромный, похожий на старого обрюзгшего борца. Никто не знал о нем ничего. Словно стена раскрылась двадцать лет назад, и Валед вышел из трещины. Единственный человек, о прошлом которого не смог

ничего узнать даже я…

Тут же пребывал какой–то тип, по виду грек из портового города. Между ними стояла девушка, и было ясно – грек расхваливает Валеду ее достоинства, а Валед по своей всегдашней привычке напустил на рожу раздумье, но сам давно уже все решил и думает только, как облапошить грека. Грек, по всему видно, тоже парень не промах. Впрочем, особого ума для этого не требуется – в отличие от моего ремесла законы торговли разработаны в незапамятные времена и не меняются с начальной поры.

– О, вот и Рино! – заорал Валед с таким радостным видом, словно я пришел вернуть ему крупный долг. – Мой многомудрый друг, что ты думаешь об этой девчонке? Боюсь прогадать по своей непрактичности.

– Откуда? – спросил я грека.

– С Оловянных островов, – сказал грек. – Покупай, не сомневайся.

Я посмотрел на нее внимательно, она стояла, опустив руки, и покорно ждала – а что ей еще оставалось? Женщина создана, чтобы быть игрушкой и вещью. Белокурая и синеглазая, как все северянки, тоненькая, обыкновенная. Но было в ней какое–то отличие, которого я не понял, потому что не стоило задумываться над такими пустяками.

– Товар лицом, грек, – сказал я, сел рядом с Валедом и налил себе прекрасного вина, за которое, разумеется, пошлины не платили сроду.

Грек привычно сдернул с девушки покрывало, она покраснела – как все они, когда их впервые раздевают перед покупателем. Через месяц будет плясать в кисее и искусно услаждать стряхнувших семейные и деловые заботы купцов. Даже удовлетворения не чувствуешь, зная все наперед.

– Что ты посоветуешь? – спросил меня Валед.

– Ничего особенного, – решил я подыграть. – Да и вообще эти, с Оловянных островов, плохо переносят наш климат.

Поторговавшись, сошлись на семидесяти драхмах.

– Понимаешь, Рино, у меня сейчас свободных денег нет… – сказал Валед.

Я прекрасно знал, что это означает, – деньги у него, разумеется, есть, но он раздобыл для меня что–то интересное, и семьдесят драхм – цена тому. Поэтому я беспрекословно заплатил греку, он выкатился, кланяясь, покупку отвели в то крыло, где дрессируют новеньких, и я повернулся к Валеду.

– Вчера стража Лабиринта схватила еще одного отравителя. От него ничего не добились.

– Ну, милый мой, – сказал я. – И за это я платил?

– Кто–то этой ночью пустил стрелу в Горгия. Промахнулся, и охрана сгоряча его зарубила.

– Уже интереснее, но…

– И наконец, – сказал Валед. – Люди Пасифаи тайно подкупают солдат и войсковых начальников в Фесте и Амнисе.

– Только солдат?

– Да, – сказал он. – Умная баба, но логика типично женская – что она добьется с помощью нескольких подкупленных полков?

– Что ж, я платил не зря, – сказал я. – Игра переходит в новое качество…

Мы немного поговорили о Пасифае и ее яростном желании уничтожить Минотавра – свой вечный позор. Мы говорили, называя вещи своими именами и не выбирая выражений, так что наш разговор по сути являлся государственной изменой, за которую по закону раздирают лошадьми на площади. Но подслушать нас здесь никто не мог, а доносить друг на друга мы никогда не стали бы. Донос – пошлое оружие слабого. Люди вроде нас с ним, даже став врагами, сражаться будут лишь с помощью сложной и отточенной до бритвенной остроты интриги.

Пасифае не удастся уничтожить Минотавра с помощью подкупленных солдат – потому что противостоят ей Минос и Горгий, их отборные войска и мощь дворцовых стен. Тайну Минотавра, кроме богов, от которых, к сожалению, ничего не скроешь, знают лишь три человека на свете – Минос, Горгий и я. Минос все придумал, Горгий – его верный помощник. Ну, и лоскутки тайны известны мелким исполнителям, без этих неизбежных издержек, мелких утечек информации в таком деле не обойтись. Что же касается меня – я раскрыл тайну год назад, после напряженнейшей работы ума, отсеивая из океана сплетен и болтовни крупицы истины, кропотливо отделяя правду от лжи, сопоставляя, анализируя, исследуя неясности и темные места. И отыскав разгадку, стал безгранично уважать Миноса – такие люди безусловно заслуживают уважения, я сам не придумал бы лучше. Правда, и меня следует уважать – за то, что я силой лишь собственного ума разгадал совершенное хитроумнейшим Миносом.

Я ушел вскоре, зная, что Валеду не терпится добраться до новой покупки. Старая история – неделю он от нее не отойдет, потом она ему надоест и отправится к танцовщицам.

Стремление убраться подальше от городской пылищи привело меня в порт. Там дул свежий ветер, а вот гама было побольше, чем в городе. Носильщики разгружали прибывшие корабли и нагружали отходящие, повсюду шатались пьяные

моряки, среди которых было немало пиратов, шмыгали шустрые типы, предлагавшие ошейники для рабов, заморские диковинки, травы, уносящие в мир грез, и молодых рабынь, неизвестно каким образом добытых, а также драгоценности столь же сомнительного происхождения и вообще все что угодно. Портовая полиция зорко наблюдала за этим вавилонским столпотворением, изо всех сил заботясь о своем благополучии. Царских соглядатаев и чужестранных шпионов здесь было, наверное, больше, чем на всем Крите.

Я направился в кабачок «Петух и якорь», который держал оборотистый финикиец, шпион Сидона, как доподлинно было известно. Иногда он раздобывал кое–что и для меня.

Но и здесь не удалось скрыться от бесполезных знакомых, встречи с которыми не приносят никакой выгоды. Двое гуляк с моей улицы, неисповедимыми путями затесавшиеся в порт, вывалились мне навстречу из низкой закоптелой двери.

– Вот и наш провидец! – с пьяной радостью заорал один, преградив мне дорогу. – Рино, дружочек, у тебя, болтают, неприятности? Пойдем зальем!

– Погадаешь нам по–соседски!

– Расскажешь, что видит во сне высокая царица. Случаем, не быков?

– А если быков, как ты это истолкуешь? Вот тебе задачка, платит Минос!

Нужно было немедленно уходить, но один из проклятых идиотов вцепился мне в плечо, я вырвался… И не успел. Несколько скромно одетых людей с неприметными лицами взяли нас в кольцо. Мне стало нехорошо. В подобных случаях берут тех, кто болтал, тех, кто слушал, но не забывают и тех, кто на свою беду просто оказался рядом и вовремя не улепетнул. Я попытался с отсутствующим видом проскользнуть меж двух неприметных, но остановился, увидев у своей груди кинжал. Тот, в котором я угадал главного, сказал, наслаждаясь властью:

– Не так быстро, земляк, поспешность вредит. О чем вы там болтали, пьяные хари, что там за быки?

Пьянчуги протрезвели мгновенно, но от страха лишь мерзко лязгали зубами.

– Это ошибка, – сказал я, стараясь выглядеть спокойным. – Я не из их компании, с ними не пил и не слушал, что они там болтают. Я толкую сны.

– Чего толчешь? – Он откровенно издевался.

– Толкую сны. Паук – к пожару, облако – к драке…

– А болтовня – к аресту. Взять!

На меня кинулись, напялили на голову пыльный тяжелый

мешок, бросили в повозку на голые твердые доски. Швырнули рядом гуляк, и повозка тронулась, невыносимо скрипя. Слышались голоса зевак, оживленно обсуждавших увиденное.

Страх не схлынул – даже усилился. Если сегодня там у них дежурит Месу или Хризофрис, еще можно выкрутиться, но если кто–нибудь другой, незнакомый… им хорошо платят за каждого пойманного крамольника, большое количество схваченных считается признаком ревностной службы, и вырваться на свободу практически невозможно. На какое–то мгновение страх сменился почти не свойственной мне злобой – автор оставшегося ненаписанным труда, неопровержимо доказавшего бы, что человек есть скот, сам попал во власть скотов, скручен, как свинья, которую везут из деревни на рынок.

Нас долго везли по городу, по галдящим улицам, и этот гвалт, которого я обычно терпеть не мог, казался сейчас сладостными звуками кифары Аполлона. Этот путь, будем рассуждать трезво, вполне может стать моим последним путем, и я с грустью подумал, что не успел оставить после себя ничего великого.

Те услуги, что я оказывал, проходили незамеченными толпой – так и было задумано, за тайну мне и платили, и платой за обнародование моего авторства был бы топор палача. Те, кто искал моей помощи, сразу же старались забыть меня по исполнении своих желаний.

Нет, я ни о чем не жалею, я не стремлюсь к известности и славе. Я сам выбрал себе дорогу и чувствую себя прекрасно, шагая по ней. Совсем другое меня мучает. Я страстно желал бы совершить в своей области нечто такое, что было бы равно подвигам Геракла или деяниям титанов – понятно, противоположное по значению, то есть величайшее зло. Пусть бы об этом никто не знал, лишь бы нечто великое. Но я не успел. Если это моя последняя дорога, окажется, что за тридцать с лишним лет я не создал ничего выдающегося – так, пустяки, на которые способен едва ли не каждый заурядный прохиндей, обладающий кое–какими ловкостью и хитростью. Даже великий труд не написан, пропадет мой бесценный жизненный опыт, стопа писем так и останется в тайнике на десятки лет, пока не начнут ломать мой отнюдь не старый, прочно выстроенный дом.

Может быть, самое время вспомнить и о людях с белыми крыльями? Похоже на то.

Двадцать лет назад это было, почти день в день. Дедал завершил для Миноса постройку Лабиринта, а Минос вопреки обещанию его, конечно же, не отпустил. Как можно было выпустить человека, знающего все секреты Лабиринта? Но даже

хитроумцу Миносу не по силам оказалось задержать такого мастера, как Дедал. Над небом не властны самые могучие цари… Крылья, что Дедал смастерил себе и сыну своему Икару, казалось, сделать нетрудно – всего лишь белые птичьи перья и воск. Ну и руки Дедала, разумеется. Но потом–то ни у кого из толпы подражателей так ничего и не получилось, хотя старались многие, от мала до стара, чуть ли не весь воск на Крите перевели, едва ли не всех гусей ощипали, а позже, решив, будто все оттого, что гуси – птицы нелетающие, стали ловить летающих, но и из этого толку не вышло.

Они летели над Кноссом, Дедал и Икар, белокрылые люди в лазурном солнечном небе, – над грязными крышами, над пыльными улицами, над плохими и хорошими людьми. И не было на Крите человека, который не смотрел бы в небо – даже слепые, заразившись общим возбуждением, пытались что–то разобрать. Разве что младенцы не в счет и заключенные в тюрьмах. Даже Валед, крепко выпив, вдруг признался мне в прошлом году, что едва ли не до заката стоял тогда на крыше своего притона, в котором впервые за все время его существования воцарилась тишина. Стих гвалт на базаре, ремесленники побросали инструменты, полицейские отпустили сцапанных с поличным воров, а те побросали поличное и не думали убегать, шлюхи перестали зазывать клиентов, возницы остановили телеги, все замерло в порту, люди смотрели в небо…

Мне тогда едва пятнадцать исполнилось. Я не бежал следом за другими мальчишками с нашей улицы – я стоял и думал. Когда–нибудь и я создам нечто великое, вот о чем я тогда думал.

С визгом открылись какие–то ворота. Стража весело перекликалась со схватившими нас соглядатаями, их шуточки в наш адрес могли привести в уныние и храбреца…

Меня столкнули с повозки, подхватили, не снимая отвратительного мешка, повели куда–то, грубо пихая, но я вдруг перестал обращать внимание на тычки в спину – сердце наполнила надежда…

Меня вели вверх.

С изначальных времен повелось, что застенки размещают у самой земли, а то и под землей, словно стараясь укрыть от солнечного света и жертв, и палачей. В основе, думаю, лежит доставшееся нам от зверей подсознательное стремление надежно укрыть добычу. Мне пришло в голову, что об этом свойстве людей, безусловно, следует упомянуть в моем труде, представить как еще одно проявление животной сущности человека. Лишний аргумент не помешает.

Меня вели вверх, перестали толкать, и не слышно было,

чтобы пьянчуг тащили следом. Конвоиры свернули налево, потом направо, снова налево, мы шагали по чему–то мягкому, вернее всего по коврам, звуки наших шагов отнюдь не напоминали гулкий топот ног по голому тюремному полу. Я ощутил стойкий запах дорогих благовоний и, наверное, впервые в жизни прошептал: «Хвала священному петуху, символу бога солнца, хвала священному быку, хвала священному дельфину…» Хватит. Кажется, обошлось…

С меня содрали мешок. Я стоял в богато убранной комнате. Небрежно отстранив стоявшего у двери солдата, в комнату вошел скромно одетый человек. Увидев его, я окончательно забыл о темных подземных застенках. Правда, душевного спокойствия у меня не прибавилось, скорее наоборот. Я давно его знал и благоразумно заботился, чтобы наши пути не пересекались, а интересы не сталкивались, – для меня схватка с ним была бы гибелью.

Клеон его звали – вольноотпущенник, верный пес Пасифаи, главный поверенный ее тайных дел. Личность, обладавшая могуществом, стократ превосходившим мое даже во времена моего расцвета. Я не мог понадобиться ему ради пустяка…

– Стерегите этого человека, – сказал Клеон, не глядя в мою сторону. – Когда вернусь, скажу, что с ним делать дальше.

И скрылся в другой двери.

Бинотрис, числится подметальщиком дорожек в дворцовом саду

Ну а этот кубок – во здравие священного петуха! За быка я уже пил вроде. Эх, жизнь ты наша, эх, капризы богов, что вы с человеком–то выделываете! Плохо только, что в одиночку пить приходится, собутыльника иметь не разрешают, но, с другой стороны, имея такие деньги, имея такое вино… На кой ляд собутыльники, если разобраться? Ну их.

Нет, ну это ж надо! Тетка моя путается с одним царским соглядатаем, а у того брат служил в дворцовой страже, а у того племянница была любимой флейтисткой царя нашего, высокого Миноса. Вот и покатилось от человека к человеку, когда двадцать лет назад захотелось мне получить беспечальную доходную работенку.

Нашли такую, порадели за родственничка, ничего не скажешь. Пить вот приходится в одиночку, потому что, если словечко сболтнешь, – крышка. Ну да за такие деньги, с таким вином… Здравие великого Миноса!

Отменным все–таки мастером был Дедал. Голосники эти придумал, трубы хитрые, что–то там еще, все в стены поупрятано, я и не интересуюсь. Наворотил умелец – мне самому иногда

страшно делается. Кашляну я в эту трубу – рев на весь дворец, а уж если я благим матом заору… Вот вам и рык Минотавра, держите меня, хохотать больно! Двадцать лет блажу чудовищем, а все эти олухи от страха поносом маются…

И всего–то десять раз в сутки – по казенным водяным часам. Я в эти часы, каюсь, давно вместо воды вино заливать приноровился – тоже мокрое, так же капает, время не хуже воды отмеряет, и веселей с ним как–то…

Вот и вся моя работа. Сто стран обойди, легче не найдешь. Только бы – язык за зубами.

Пора, что ли, по моим винным часам? Пора. Последнюю – во здравие Минотавра! Ну, я вам сейчас рявкну – боги уши зажмут. Собутыльника бы мне еще…

Пасифая, царица Крита

– Сначала доложили о Горгии, и пришлось его принять. Меня мутит от него, но ничего не поделаешь. Странно даже, что он мне не нравится, – высокий, сильный, загорелый, с красивой проседью, и этот короткий шрам на щеке его не портит. Разве что немного мрачноват, но мрачность я к числу мужских недостатков не отношу. Вполне в моем вкусе.

Но между нами стоит Минотавр. Двадцать лет я пытаюсь его уничтожить, и двадцать лет Горгий мне в этом препятствует. Наша взаимная ненависть такая давняя и немеркнущая, что стала привычкой, по–моему…

О, конечно, он всего лишь пришел сообщить мне, что на могучем и богатом Крите все обстоит благополучно: ремесленники работают, пахари пашут, жрецы возносят молитвы богам, враги нападать не собираются. Обычный визит вежливости, один из приближенных царя пришел засвидетельствовать почтение царице, как того требуют неписаные дворцовые законы. И я с долей кокетства – я все же не только царица, но и женщина – поддерживаю пустую болтовню.

Убила бы своими руками… Он не упомянул ни о вчерашнем отравителе, покушавшемся на жизнь Минотавра, ни о лучнике, выпустившем стрелу в него самого, – к чему? Мы прекрасно понимаем друг друга, он знает, что я знаю, а я знаю, что он знает… Мы с ним привыкли за двадцать лет выражать язвительные реплики посредством вежливых улыбок.

Правда, не он один во всем виноват. Он не более чем орудие. Уж если убивать, я начала бы с Миноса. Наверное, я единственная на свете женщина, которой муж так страшно отомстил за случайную измену – чудовищем в Лабиринте, вечным позором господствующей над дворцом каменной громады. И ведь каждый на Крите, да и за его пределами все знает… Что из того, что ни

один критянин не смеет произнести это вслух – разорвут лошадьми, а за пределами Крита о Минотавре и его родителях судачат в открытую, – я все равно не слышу… Что мне до того, казалось бы? Но как бы там ни было, а самый страшный мой сон – тысячеголосый шепот в уши: «А мы знаем… Знаем…» И вдобавок сознание того, что ты – мать одного из самых отвратительных чудовищ, каких только знал мир… Как это могло случиться, о священный петух? К чему эта отвратительная выдумка о быке, ведь не было никакого быка, тогда, двадцать один год назад, был Тагари, молодой и красивый начальник конной сотни, и люди Миноса его убили, хотя Минос никогда, ни до этого случая, ни после, не трогал моих любовников. Как это могло случиться, о священный дельфин? Временами подступает острое желание самой взглянуть на Минотавра, посмотреть на страшилище, из–за которого я страдаю двадцать лет. Ненавижу… Неужели нет силы, способной заставить рухнуть серые стены Лабиринта, погребя под собой мой вечный позор?

Вошла Ариадна, и я едва успела сделать беззаботное лицо. Моя единственная любовь и отрада, все остальное и все остальные – случай, каприз, мой мимолетный вздор…

– Почему ты бледна? – спросила я, целуя ее. – Плохо спала?

– Я гуляла по южной галерее, – сказал она со вздохом. – На той, откуда виден Лабиринт. Потом убежала – этот рев… Еще я слышала разговор, и мне страшно…

– Что может испугать царевну в ее собственном дворце?

– Правда ли, что он мой брат?

Мне не хватило воздуха, комната завертелась в бешеном танце, но вместо ярких ковров вокруг меня кружились серые стены Лабиринта. Лишь боги да верные люди знают, сколько я приложила усилий, чтобы уберечь ее от слухов и сплетен, и вот…

– Кто тебе это сказал, глупышка? – спросила я с веселым смехом и веселым лицом.

– Им ничего не будет?

– Кто же наказывает за глупую болтовню?

– Стражники у южных ворот говорили между собой. Они не видели меня.

– Глупости, успокойся, – сказала я, обняла ее и прижала к себе, чтобы она не видела моего лица. – Люди любят распускать самые нелепые слухи о власть имущих – это от зависти. По их мнению, вся грязь и жестокость мира собраны во дворцах. Ну, неужели ты способна поверить, что твоя мать…

– Прости, – шепнула она. – Я наговорила глупостей.

– Я не сержусь. – Я действительно не могла сердиться на нее даже в эту минуту. – Лучше скажи – что с тобой происходит?

Нянюшки жалуются – ты стала рассеянной и странной, то грустишь без причины, то неизвестно от чего смеешься.

– Мне просто скучно. Говорят, когда–то во дворце было гораздо веселее.

Я легонько отстранила ее и заглянула в глаза. Пожалуй, она уже выросла, а я и не заметила. Забыла, что сама в семнадцать лет не считала себя девчонкой и уже успела узнать в одной уединенной комнатке, что бывает, если мужчине позволить абсолютно все.

Если посмотреть на нее мужскими глазами – она красива, готова стать женщиной и чувствует это. Но я не хотела бы, чтобы началось у нее, как у меня, – маленькая комнатка и самоуверенный смазливый офицер. Естественное желание матери – чтобы дочь не повторила ее ошибок, пусть даже мать и не собирается в своих ошибках каяться. Но где я ей найду подходящего жениха, если из–за проклятого Минотавра молодые люди из знатных критских семей давно не появляются во дворце? О чужестранцах и говорить нечего…

– Не грусти, – сказала я. – Скоро во дворце вновь станет весело, будет много юношей, ты полюбишь самого лучшего и красивого, и мы сыграем такую свадьбу, что позавидует весь мир… А сейчас иди к своим девушкам, у меня важные дела. И прикажи Клеону явиться ко мне, он ждет за дверью.

Еще одна сторона дела, подумала я, глядя ей вслед. Я должна уничтожить Минотавра и ради счастья Ариадны, а найдет она счастье лишь тогда, когда дворец вновь станет веселым, когда Лабиринт перестанет отпугивать людей. Я борюсь за счастье Ариадны. Ради нее я должна выиграть затянувшуюся на двадцать лет войну.

– Убрать стражу южных ворот в подземелье, – сказала я, прежде чем Клеон успел открыть рот. – И передушить всех немедленно. Что с нашим делом?

– Яд был отличный, – сказал он хмуро. – Мог бы свалить и быка, но…

– Человека с яблоком схватили, а твой стрелок промахнулся, – закончила я за него. – Горгий был так любезен, что лично сообщил мне об этом… Ты отправил деньги в Фест и Амнис?

– Нет. И не собираюсь.

Я остолбенела от изумления. Впервые он признавался, что палец о палец не ударил для исполнения моего приказа.

– И не собираешься?

Он посмотрел мне в глаза открыто и дерзко:

– И не собираюсь. Это бессмысленно, царица. Даже если мы

подкупим гарнизоны не двух, а десяти городов, им не занять дворец и не взять Лабиринта. Хотя бы потому, что в этих гарнизонах полным–полно обленившихся бездельников, почти разучившихся держать меч, а дворцовые войска Кносса, охрана Миноса и стража Горгия – лучшие солдаты Крита. Пароли, тайны укреплений, секретные планы на случай каких–либо неожиданностей – этого не могу узнать ни я, ни даже ты. Ты можешь победить, лишь если тебе помогут Минос или Горгий.

– Но они же никогда…

– Я сказал все, что хотел сказать.

– Клеон… – И я с ужасом услышала в своем голосе беспомощность. – Неужели даже ты ничего не можешь сделать?

– Да. – В его голосе была та же беспомощность, а еще – грусть и безнадежная усталость. – Увы, царица, я ничего не могу. Не знаю, что придумать. Со мной такое впервые, а уж ты–то меня знаешь.

– Ты верный слуга, – сказала я. – Я была довольна тобой до сих пор, но ты ведь сам понимаешь, насколько важно для меня, чтобы сгинуло это чудище. Я порой грозила тебе плахой – исключительно из вспыльчивости, по злости. А сейчас говорю совершенно спокойно – если ты не найдешь выхода, мои палачи превзойдут самих себя… Что ты молчишь? Страшно?

– Страшно, – сказал он. – Очень.

И я видела, что это действительно так. Больше других смерти и пыток страшатся сами палачи.

– Тогда сделай что–нибудь, – сказала я.

– Сделал, – сказал он. – Я нашел тебе человека.

– Кто это?

– Толкователь снов. В его распоряжении была шайка из двадцати человек. Устраняли чьих–то соперников в торговых делах и в любви, поджигали, убивали. Словом, за соответствующую плату могли как нельзя лучше истолковать сон клиента согласно его желаниям. Я приказал полиции перевешать всю шайку – кроме, понятно, самого гадальщика – его нужно было лишь оставить без прежних источников дохода, разрушить надежды на будущее.

– И ты считаешь, что какой–то мелкий прохвост может сделать так, что под его дудку запляшет сам Минос?

– Можешь сейчас же отправить меня в подземелье до завершения дела, – торжественно сказал Клеон. – Это отнюдь не мелкий прохвост – просто у него не было возможности взяться за крупные дела. Я могущественнее его, но я его боюсь, и хвала священному петуху, что он об этом не знает. Но я–то, я знаю его лучше, чем он сам, – к иным людям следует предусмотрительно

приглядываться заранее… Наше счастье и его беда, что он родился в семье гончара, а не поблизости от трона. Это страшный человек. Я не смог найти решения, но он найдет.

Я знала, что Клеон, кроме смерти и пыток, не боялся никого и ничего. Сомневаюсь, боялся ли он богов. Вряд ли. И если он в таких выражениях говорил о человеке, человек того стоил. Но прожить после выполнения всего ему порученного такой человек должен не долее минуты – подбирая для себя слуг и исполнителей, знай меру. Пусть они будут коварнее хозяина, пусть будут умнее, но ни в коем случае они не должны быть способными напугать такого человека, как Клеон. Услуги – и смерть.

– Здесь все, что мне известно о его делах, – сказал Клеон. – Прочти сначала.

– Хорошо, – сказала я. – Как ты считаешь, на время разговора с ним следует поставить за портьеру телохранителя?

– Совсем ни к чему, – сказал Клеон. – Такие люди никогда не убивают сами. Случается, что за всю свою подчас очень долгую жизнь они так и не обучаются владеть оружием. И в руках его не подержат – оно им ни к чему. Их оружие – ум.

Харгос, числится открывателем засовов главного входа Лабиринта

– Подвинься, Мина, я встану. Что–то еще вина захотелось. Ну да, пью слишком много. Так ведь нельзя иначе. Если пить не буду, с ума сойду и как начну рубить всех подряд… Даже Горгия, понимаешь? Даже его. Даже не смотря на то, что я ему, как отцу, верю. Больше – отец у меня препустой был человек, брехун первостатейный… Одно хорошо – хвала священному петуху, два года никто уже не суется в Лабиринт драться с Минотавром. Но ведь эти восемнадцать лет из памяти не выбросишь? Куда там, и пытаться нечего.

Сорок три человека. Ну и что? На войне я втрое больше убил. Но то ведь война – там ты с мечом, а не с кинжалом, и на тебя идут с мечом, и смотрим мы друг другу в глаза, и целимся в грудь, все честно. А здесь? Поганое это дело – превратить солдата в палача. Правда, было мне тогда поменьше двадцати, глуп был, но какая разница? Тогда я ничего не понимал, и сейчас ничего не понимаю – просто верил и верю Горгию, а Горгий клянется священным быком, священным петухом и священным дельфином, что это государственная необходимость. Ну, предположим, плевал я в глубине души на эту самую государственную необходимость, штука эта для меня малопонятная и расплывчатая, мне бы только Горгию верить, потому что никому и ничему больше не верю, такой уж удался. Только б Горгию…

Знаешь, Мина, временами страх берет, на таких мыслях себя ловишь – а если и Горгий чего–то не понимает? Нет, не может такого быть – тогда уж все, ничего не останется.

Сорок три человека. На моей совести все. Всех я один положил, всех на том самом месте – в коридорчике, у поворота. Очень удобное место. Вступил он в Лабиринт, настроившись на бой с Минотавром, ждет, когда шаги чудища загремят, и отодвигается у нею за спиной совершенно бесшумно плита. А из щели – я. Кошкой. С кинжалом. Только первые двое успели крикнуть, побарахтаться. Наловчился я вскоре. Остальные, клянусь священным петухом, понять ничего не успевали. Сорок три… Хорошо все же, что понять они ничего не успевали – и им вроде бы не так обидно, и мне вроде бы полегче на душе. А Минотавр – он где–то там, в глубине, в самом центре, я его и не видел никогда, и пропади он пропадом, мне бы только в Горгии не разувериться… Интересно, те, что еду носят, видели его когда–нибудь? Живет там, в Лабиринте, Минотавр, сомнений нет, но какой он? А ну их всех. Какая у тебя кожа нежная…

В сотый раз я тебе, наверное, все это рассказываю. Эх, Мина ты, Мина этакая, и красивая ты, и в постели ладная, но самое в тебе ценное – что глухая ты, как пень. Цены тебе за это нет. Потому я и жив, что ты глухая. Не знаю, что и делать стану, случись что с тобой, – пока найдешь другую глухую да красивую, рехнешься…

И что у тебя за привычка такая пальцы мне в волосы запускать? Нет, приятно, спору нет, и пальцы у тебя теплые такие, но ведь вспоминать лишний раз мне про мои волосы… Хорошую мне все же краску достают, ничего не скажешь. Что улыбаешься, проказница ты этакая? Ну да, красивые волосы, черней воронова крыла, как у молодого. Я и говорю – хорошую мне краску достают. И не подумаешь, и не заметишь, что я, Мина, еще десять лет назад, в тридцать, седой стал. Работы тогда было – невпроворот. В последние годы только и полегчало. Перестали к нам ездить молодые сорвиголовы, хвала священному петуху. Что это там, не за мной? Да нет, снова кто–то спьяну дверь перепутал. Вот я и говорю, Мина, – в тридцать лет седой стал…

Рино с острова Крит, толкователь снов

– Клеон вернулся довольно быстро, жестом отпустил стражу, жестом приказал мне следовать за ним, и мы пошли по широкому дворцовому коридору – я уже был абсолютно уверен, что нахожусь во дворце Минаса. Поворот. И галерея, с которой мне открылся вид на Лабиринт – огромное серое здание с длинными, как века, и запутанными, как судьбы, коридорами. Разумеется, коридоров я никогда не видел, но, как и очень многие на Крите,

кое–что знал о них – строившие Лабиринт каменщики любят почесать языки в кабаках. Плана Лабиринта никто из них, разумеется, знать не мог, план существовал лишь в высокомудрой голове Дедала, так что Миносу болтовня каменщиков не опасна, вовсе даже наоборот – ему выгодно, чтобы строители, всячески привирая и преувеличивая, расписывали ужас и величие Лабиринта. Не зря каждый из бывших каменщиков получает щедрое пожизненное пособие.

Клеон пропустил меня в комнату и бесшумно прикрыл дверь за моей спиной.

Очевидно, комната эта служила для разного рода неофициальных и любовных встреч. Роскоши в ней не было, но не было и скромной простоты. Над всей обстановкой царило огромное ложе – здешний трон, надо понимать. Пасифаю я узнал сразу. Ей сорок с лишним, но больше тридцати не дашь. Фигура, лицо и волосы Цирцеи, ну а что касается души – пугливым и робким туда лучше не заглядывать. Очаровательная стерва. Личной стражи у нее пятьдесят человек, и, как рассказывал мне имевший кое–какие связи в Кноссе знакомый, ни один из них этой комнаты не миновал. Но это – третьестепенные подробности.

– Приветствую тебя, – сказала она.

– И я тебя приветствую, светлая госпожа, – сказал я, поклонившись с несколько неопределенной вежливостью – просто как высокородной. Я ведь, согласно правилам игры, не мог знать, кто она такая, а на людях владыки Крита появляются нечасто. – Госпожа, соблаговоли объяснить, откуда такая напасть на честного обывателя? Схватили, потащили, слова не дали сказать, да вдобавок – по загривку… Обыватель – опора трона, не следовало бы так хамски с ним обращаться.

Я увидел в ее глазах интерес и любопытство.

– Успокойся, это не арест. Ведь ты толкователь?

– Да, – сказал я, сохраняя на лице испуганно–восхищенное выражение. – Клянусь священным петухом. Я – Рино с острова Крит, по воле богов толкую сны, беру недорого, есть рекомендации и хвалебные отзывы от влиятельных лиц. Они у меня дома, прикажешь послать?

– Не нужно, я верю. Объясни, почему ты постоянно подчеркиваешь свое критское происхождение? Говорят, у тебя и на вывеске так написано. Я не помню, чтобы так делал еще кто–нибудь.

– Это своего рода дополнительная рекомендация, – сказал я. – Конечно, я гадаю и иноземцам, если они ко мне обращаются, не делаю различий – работа такая. Но большинство моей клиентуры составляют критяне, и они должны знать, что свои

заботы несут к земляку, что их выслушает и им поможет соотечественник, а не жалкий заезжий шарлатан, который и говорит–то с отвратным акцентом. Я патриот, светлая госпожа, чем и горжусь.

– Я так и думала – что–то в этом роде… Ты не удивился, когда тебя вместо тюрьмы доставили во дворец?

– Ты считаешь, что я более достоин тюрьмы? – спросил я невинно.

– Как знать, как знать, – небрежно отмахнулась она. – Так ты не удивлен?

– Я разучился удивляться жизни, в ней так много странного, – сказал я. – Я не хочу показаться нескромным, но не понадобятся ли мои услуги?

– Ты угадал. По ряду причин к тебе не могли обратиться открыто.

– Кому же я нужен?

– Я царица Крита.

– О! – сказал я и взглянул еще испуганнее и восхищеннее. – Госпожа моя высокая…

Женщина остается женщиной и в глубине души всегда млеет, когда на нее смотрят глазами вожделеющего самца. В особенности такая, как эта. Так что я поумерил испуг и откровенно стал раздевать ее глазами – пусть считает меня более понятным, следующим все тем же стереотипам. Не помешает. Конечно, не следует и переигрывать, она должна увидеть во мне не просто рядового ловкого интригана: если она посчитает, что я не оправдал ее надежд, живым отсюда не выбраться.

– Ты можешь сесть.

– Не смею, – сказал я, – испытываю верноподданнический трепет, высокая госпожа.

Она сдвинула брови, но в голосе, кроме гнева, был все тот же интерес:

– Ты надо мной насмехаешься?

– Я бы никогда не посмел. Просто я не стесняюсь сказать вслух то, что твои царедворцы выражают раболепно согнутыми спинами и преданными взглядами. Суть одна, не правда ли? Только они не умеют пресмыкаться с чувством собственного достоинства, а я умею. Вот и вся разница.

– Вот как? Все же садись, разговор у нас будет долгий. (Я сел.) Так вот. Ты предсказал Беренике, тетке моего повара, смерть одного ее давнего врага. И он умер. На дороге из Кносса в Аркалохори его убили разбойники.

– Намерения богов мне порой открыты, – сказал я. – А разбойники, увы, еще не перевелись и в нашем достославном

государстве.

– Далее. Зерноторговец Поллий спрашивал у тебя, удастся ли ему обойти своего соперника – предстоял выгодный заказ, и коринфяне колебались, не зная, кому из двоих торговцев отдать предпочтение.

– Но достопочтенный Поллий увидел поистине вещий сон, – сказал я.

– Да, амбары его соперника сгорели. Все. В одну ночь.

– Боги властны и над богатыми зерноторговцами, – сказал я и подумал: «Бедный Каро, как мне будет не хватать тебя».

– Кроме этих случаев, ты совершенно правильно истолковал сны почтенного Павсания, золотых дел мастера Гикесия и многих других, не правда ли?

Слишком много они обо мне знали, может быть, почти все, а для этого нужно было наблюдать за мной не неделю и не месяц – простым копанием в моем прошлом, проведенном в краткие сроки, такой осведомленности не объяснишь. Примем к сведению и запомним.

– Предсказывать будущее нелегко, – сказал я. – Не у каждого есть к тому талант, но коль у кого–то он есть – для этого человека не существует тайн.

– Тогда ты можешь истолковать и мой сон?

– Как только ты мне о нем расскажешь.

Она колебалась, и я прекрасно понимал почему. Рассказывать постороннему человеку о своем позоре даже намеками, рассчитанными на умных людей недомолвками и иносказаниями было для нее тягостно. Как ни нужен я ей, как твердо ни решила она извести Минотавра, не бывает абсолютно порочных женщин. Но и отступить она не могла. Я терпеливо ждал.

Ее взгляд рыскал по комнате, задерживаясь на дорогих предметах: тяжелые шторы из золотой парчи, небрежно брошенное на столик ожерелье из крупных рубинов, огромный безвкусный золотой кувшин с вычеканенными сатирами, лапающими нимф, серебряный тартесский светильник, имеющий явное сходство с фаллосом…

Знакомая роскошь должна была возвратить уверенность, внушить, что ничего особенного не происходит, – она в своих покоях, госпожа, дающая ничтожному слуге приказ без промедления и на совесть исполнить пустяковое поручение. Только и всего. Никаких тайн, доверенных низкорожденному, никаких тайн, ставящих нас с ней на одну доску. Забыть, что мы с ней совершаем государственную измену, ибо Минотавр – ценнейшее достояние Миноса, а следовательно, и Крита. Но я постараюсь поставить нас на одну доску.

– Итак, госпожа? – спросил я.

– Меня душит змея, – сказала она. – Вот уже много ночей подряд. Черная, скользкая, она проникает сквозь запертую дверь, обвивается вокруг шеи и душит. И все время смотрит мне в глаза. Все время смотрит… Мне страшно, я просыпаюсь в холодном поту и больше не могу уже заснуть. Что мне хотят сказать этим боги?

– Змея – это совесть, – сказал я. – Наша жизнь порой сумбурна и не всегда благонравна, и очень часто, особенно в молодости, мы живем одним днем. Желания подменяют здравый смысл, страсть… (Я посмотрел ей в глаза. Она отвернулась.) Страсть заставляет забыть об осторожности и возможных последствиях. Человек слаб, в молодости легко быть безрассудным и стремиться удовлетворять все свои желания…

– Ты это осуждаешь?

– Отнюдь. Не вижу ни удовольствия, ни необходимости в том, чтобы клеймить чьи–то пороки. Мое дело – слушать и исцелять души.

– Как же исцелить мой недуг? – спросила она, и ей казалось, что она надежно скрыла от меня свое волнение.

– Средство есть, – сказал я. – Оно известно с давних времен, и его изобретатель прочно забыт – людская память неблагодарна. Но в конце концов неважно, кто придумал снадобье, если мы им успешно пользуемся которую сотню лет. Автора идеи обычно доискиваются лишь в случае неудачи, естественно, ищут его с топором. Так вот, лучший способ уничтожить тревогу – уничтожить ее источник. Знахари советуют после укуса змеи прижечь ранку каленым железом, но гораздо проще рассечь гадюку мечом до того, как она вонзит зубы. Ты меня поняла?

– Да, – сказала она спокойно.

– Но почему ты решила обратиться ко мне? К чему вмешивать богов там, где в состоянии справиться смертные?

По ее лицу пробежала легкая тень, наверное, она вспомнила своих верных слуг, сгинувших бесследно, бесславно и без пользы, впустую потраченные деньги, яды… Ну и прекрасно.

– Иногда смертные бессильны, – сказала она неохотно. – Даже те, что носят царский венец. Так берешься ты излечить мой недуг? Уничтожить змею?

– Готов служить, царица, – сказал я. – Потребуется некоторое время – нужно будет в спокойной обстановке побеседовать с богами, рассказать им все подробно и испросить совета.

– Надеюсь, боги не задержат ответ?

– Боги не любят волокиты, у них много дел и решить нужно все. Однако для успеха гадания…

– Сколько? Золотом? – быстро спросила она с презрительной

усмешкой, которую уже не считала нужным скрывать, коль я сам спешил навстречу роли платного слуги, презренного наемника. Ну уж нет…

– Я никогда не беру денег вперед.

– У тебя есть принципы?

– Отсутствие принципов – тоже принцип, – сказал я. – Мне нужен корабль с надежной командой. Своего у меня нет. И еще мне нужна возможность отдавать некоторые приказания, которые по своему нынешнему положению я отдавать не могу.

– Иными словами, ты просишь Знак?

– Вот именно.

Она подняла крышку тяжелой шкатулки, и я невольно затаил дыхание – был бы жив мой дражайший родитель, незабвенной памяти болван, вдалбливавший мне в голову, что нет ремесла древнее и почетнее гончарного, видел бы он…

Знак – это тяжелый бронзовый медальон. С одной стороны на нем изображен священный бык, с другой – священный петух. И царское имя. Его обладатель может распоряжаться за стенами дворца от имени царского дома, и все, пусть и не отдавая ему царских почестей, должны слушать его, как слушали бы царя. Не более десяти человек на Крите имеют Знак. Сколько раз он грезился мне бессонными ночами, являлся в снах.

Она подала мне Знак, я принял его, и на этом состязание в лицемерии, кажется, закончилось. Весьма некстати распахнулась дверь и вошла Ариадна – конечно, сверхуслужливый Клеон просто–напросто побоялся ее задержать. Этим он и плох – у него не хватает смелости идти до конца. Правда, Царица вовсе не выглядела рассерженной, говорят, дочку она по–настоящему любит и, скорее всего, за то, что дочь на нее ничуть не похожа. Я не о внешности, если верить на слово знающим людям, Ариадна – живой портрет матери в ее семнадцать лет.

– Ты толкователь? – спросила меня Ариадна.

Ну конечно – идиот Клеон сболтнул, робко пытаясь ее задержать, что мамочка–де призвала толкователя снов.

– Толкователь, – сказал я, глядя в ее до отвращения невинные глаза.

– Я хотела бы…

– Разве придворные толкователи так неискусны?

– Слишком искусны – в лести. Они мне надоели, все мои сны толкуют одинаково – меня ждут радость и счастье.

– А ты хочешь, чтобы тебе предсказали беду?

– Я просто думаю, что иногда мои сны сулят и нехорошее, но мне об этом не говорят.

– Что ты видела сегодня ночью во сне, царевна? – спросил я.

– Цветущий луг.

– Цветы красные, желтые? – спросил я, сохраняя полнейшую серьезность.

– Красные. Было очень тихо, и солнце вставало над лугом.

– Нет ничего легче, – сказал я. – Тот, о ком ты думаешь, придет, и все будет так, как ты хочешь.

Она слегка покраснела (краснеть при ее–то наследственности!) и добавила:

– А потом прилетела какая–то странная птица, и кричала она, как человек, которому больно…

– Это – к долгой жизни, – сказал я. – Прости, царевна, но и я оказался неоригинальным.

Она, однако, ничуть не выглядела разочарованной, поблагодарила и ушла, такая молодая, такая красивая, такая легковерная. Все они одинаковы в этом возрасте – томление души и тела, мечтают о романтической любви и ужасно удивляются, узнав, что любовь – это всего лишь грубая возня на смятой постели. Тошнит меня от этого слова – любовь.

Что ж, я отведу в моей пьесе одну из главных ролей и этой глупой девочке. Все она у меня поймет – чего стоит жизнь, чего стоят любовь и высокие слова. Как миленькая поймет, что жизнь проста и грязна, перестанет тешиться красивыми сказками…

– Мне можно удалиться? – спросил я.

– Подожди, – сказала Пасифая. – Я хочу тебя предупредить, что…

– Что мой единственный залог – моя голова, и я должен приложить все силы к тому, чтобы она осталась на моих плечах, – бесцеремонно перебил я ее вопреки всем правилам обращения к царствующим особам. – Не беспокойся, я не убегу на твоем корабле, я вернусь. И мне удастся заставить Миноса поступить так, как ты хочешь.

Наконец–то я ее пронял – до души. Казалось, ее волосы сейчас взовьются, зашипят и заметаются вокруг искаженного яростью лица, как змеи Горгоны. Я был на волосок от смерти, но знал, что этот волосок не оборвется, она переборет себя, вспомнив, что я для нее значу. Так и произошло, она опомнилась, отдернула потянувшуюся к золотому колокольчику руку и тихо сказала, полуотвернувшись:

– Ты или великий мудрец, или…

– Или, – сказал я. – Для мудреца я чересчур грешен. Но какая тебе разница, кто я, собственно, такой, мудрец или подонок? Тем более что одно другому сплошь и рядом не мешает. Главное – я тот, кто наконец поможет тебе.

– Послушай, – сказала она с ноткой суеверного страха. –

Случалось, что боги сходили на землю в облике смертных…

– О священный петух, – вздохнул я. – Я – не воплощение бога плутней. Правда, я лично знаком с Гермесом, как–никак он мой покровитель, но сам–то я – обыкновенный человек. Что это за глупая манера думать, будто человек не в состоянии превзойти бога в хитрости? Еще как способен! Равным образом, – мне захотелось грубо пошутить со своей сообщницей, и я бесстыже улыбнулся, – равным образом человек способен превзойти бога и в некоторых других отношениях.

Она меня великолепно поняла, сиятельная шлюха, и по старой привычке, забыв обо всем прочем, улыбнулась не менее бесстыже. Высокая царица Пасифая. Беспомощная стерва.

Я поклонился – не особенно низко – и вышел в коридор. Клеон имел немалый опыт службы при дворе: он успел бесшумно отскочить от двери и стоял в стороне в выжидательной позе терпеливого стража.

– Ну? – спросил он уже как равный равного.

– Корабль, Клеон, – сказал я. – Больше мне ничего не нужно. Распорядись.

Я задержался на галерее, откуда открывался вид на Лабиринт во всей его дикой мощи и своеобразной красоте. Шкатулка для драгоценного камня, засада на охотника, воплощение, быть может, самой грандиозной за всю историю человечества лжи. У главного входа расхаживал часовой в черной одежде с золотым изображением священного петуха на груди, солнце играло на его начищенном шлеме и лезвии секиры. Дворец был покоен и тих, и я с удовольствием подумал о том, как разобью вскоре этот покой и эту тишину, как заставлю кукол в пурпуре и золоте разыгрывать мою пьесу. Но зритель–то – зритель будет видеть лишь ее отражение в кривом зеркале и считать это отражение святой истиной, безупречным совершенством. Да будет так! Сын вечно голодного гончара, мальчишка с грязной окраинной улочки Кносса управляет царями и героями, праведниками и подлецами. И плевать мне, что никто ничего не узнает о тайных пружинах происходящего, – истинный талант не вопит о себе на весь мир, а тихо и незаметно делает свое дело.

Лабиринт – воплощение грандиозной лжи? Прекрасно. В моих силах сделать эту ложь еще более грандиозной. Я сказал бы, что мой план достоин богов – если бы с большим почтением относился к богам. Я нашел наконец то, свое, великое. Это будет не заурядная интрига с ядами, кинжалами и словесными поединками, какими от сотворения мира полнились дворцы, – все эти интриги при всем мастерстве их исполнения похожи друг на друга, как два горшка умелого гончара. Разумеется, и моя пьеса

не обойдется без блеска оружия и словесных битв, но мой замысел неизмеримо гениальнее: совершить чернейшую подлость и заставить всех поверить, что они были свидетелями благородного подвига, достойного Геракла. Создать ложь, которой будут верить наши потомки сотни и тысячи лет спустя. Обмануть праправнуков, тех, кто даже не будет знать моего имени, но станет слагать стихи и красивые сказки о славном подвиге. Все в них будет, все, услаждающее глаза и уши слезливых романтических идиотов: благородный красавец–герой, чистая и нежная любовь, высокие слова и благие помыслы о счастье человеческом. Все, кроме правды.

Еще одна маленькая деталь. Пасифая ни словом не упомянула о сумме вознаграждения, которое меня ожидает, – настолько она прониклась мыслью, что я переживу Минотавра не более чем на один–два удара сердца, не подумала, что проницательного человека умолчание о деньгах может встревожить и заставить задуматься. Ну что же, надо подумать и о том, как отсрочить мое путешествие в царство теней, – там, должно быть, невыносимо скучно, ибо вряд ли там существуют интриги и интриганы… Хотя что тут думать – достаточно открыть тайник и достать один из папирусов. Даже скучно чуточку, до того легко.

Я шел по городу не спеша – чтобы острее ощутить перемену, разницу между тем (не вижу смысла скрывать это от самого себя) жалким и растерянным человеком, что брел по Кноссу утром, и нынешним, уверенным в себе, таившим в складках одежды Знак. Я прошел бы мимо заведения Валеда, но мое внимание привлекла необычная суета, ничуть не похожая на ту, что обычно царила в этом храме увеселения и утоления грубых инстинктов…

Флейты молчали. Не было видно ни танцовщиц, ни гомонящих купцов. На мощеном дворе толпились люди всех возрастов и званий: крестьяне, нищие, ремесленники, бродяги, моряки, солдаты, шлюхи и скучающие знатные юнцы – словом, та самая пестрая толпа, что обычно стекается на место какого–нибудь преступления. Все смотрели на окна, тараторили и пытались проникнуть внутрь, но вход загораживали полицейские и люди Валеда, которыми распоряжался одноглазый бактриец. Я протолкался к нему и спросил:

– Что тут у вас случилось?

– Горе! – взвыл он, пуская слезы из единственного глаза. – Эта, с Оловянных островов, зарезала хозяина…

Я отпихнул его и прошел в дом. Дом был словно маленькая копия Лабиринта, столько там насчитывалось хитрых коридоров, потайных лестниц и укромных комнат. И убийств там произошло

наверняка раз в десять больше, чем в Лабиринте, разница лишь в том, что никто за этими стенами о них не знал.

Что–то, похожее на грусть, шевельнулось в моей душе – Валед, Валед… Исключительно талантливый в своем деле был человек, ловкач в тайных и подлых делах необычайный. Вот вам и еще один печальный пример того, как глупые слабости губят истинный талант: один упивается до смерти, другой шатается по портовым притонам, пока однажды не заработает кинжал в бок, третий обожает возиться с юными чужеземками, не думая, какое впечатление на них производят его брюхо и рожа. Неужели нельзя создать какого–нибудь железного, медного или золотого человека – гения коварства, не подверженного примитивным страстишкам? Неужели не найдется лекарь, что сможет, покопавшись в наших головах, оставить и усилить искусство интриги, но удалить слабости?

Он лежал на полу, видимо, там, где и упал, никто не потрудился перенести его на ложе – с мертвым Валедом можно обращаться по–свински, он уже не внушает почтения и страха. Девчонку караулил в углу полицейский, приняв воинственную позу, а двое других, судя по их хитрым мордам и шмыгающим глазам, прикидывали, что бы стащить под шумок. Тут же пребывал этот паршивый Кандареон, полицейский сотник, что предупреждал меня насчет лидийца.

– А ты как сюда попал? – зарычал он. – На дружка пришел взглянуть? Ну, полюбуйся, приятно выглядит, а?

Полицейские дружно заржали.

– Я и на нее хочу взглянуть, – сказал я и остановился перед девушкой.

Удивительно, но страха в ее глазах не было, одно непреклонное упрямство и даже что–то, похожее на силу воли. Женщина – и сила воли?

– Ну ладно, берите ее и пойдем, – сказал Кандареон своим. – Дело ясное, и что за это полагается, известно.

– Ты не спеши, – сказал я ему неожиданно для самого себя. – Заберу ее я, а не вы.

– Ты? – Он залился деланным хохотом. – Рино, дружочек, ты что, выбился в квартальные судьи? Палок захотел, шарлатан? Смотри, у нас это быстро.

Я дал ему время повеселиться как следует, насмеяться досыта – смех, уверяют лекари, полезен для здоровья. Потом медленно снял с шеи Знак и ткнул в его корявую рожу. Выражение его лица описать было невозможно.

– Кланяйся, тварь, – сказал я. – Ниже, ниже…

– Но как ты смог? – еле выдавил он, показывая своим, чтобы

они поскорее ушли и не видели его унижения.

– Не твое дело, – сказал я. – Прилежно охраняй добро для передачи царской казне (ибо кто знает, есть ли у Валеда наследники и где они?). Шкуру спущу, если что…

– Рино, прогнать лидийца? – льстиво предложил он, снизу вверх заглядывая мне в глаза.

– Дурак ты все–таки, – сказал я. – Только и умеешь, что с купцов тянуть. Кто тебе приказал уничтожить Каро и его людей? Ты сам никогда не осмелился бы, я твою заячью душонку насквозь знаю.

– Меня повесят, если…

– Я повешу тебя еще быстрее. Прикажу это сделать твоим же подонкам – сколько из них метят на твое место, а? Кто?

– Клеон. Сам Клеон, – прошептал он, оглядываясь на дверь.

Все понятно – они хотели для полной уверенности во мне лишить меня верных людей, оторвать от привычных занятий, привязать к Клеону. И не подумали, как я им за это отплачу. Я не верю в дружбу, в то, что под этим словом подразумевает глупое большинство, но Каро на свой лад был мне чем–то вроде друга, и его смерти я не прощу.

На улицу мы с северянкой вышли через известную мне потайную дверь, не привлекая внимания зевак, – их уже разгоняли конные стражники. Девушка покорно шла рядом, но вырвалась, когда я взял ее за руку.

– Откуда ты взяла кинжал? – спросил я на ее родном языке, которым с грехом пополам владел, – в нашем деле без знания языков не обойтись.

Конечно, она взглянула удивленно:

– Откуда ты знаешь наш язык?

– Я многое знаю, – сказал я. – Где ты взяла кинжал?

– Со стола.

Что ж, это похоже на Валеда – бросать оружие где попало. В доме у таких людей, как мы, оружия вообще не должно быть, наш ум – наш меч.

– Как тебя зовут?

– Рета. Куда ты меня ведешь?

– Уж понятно, не в тюрьму. Мы пришли.

Услышав наши шаги и звук открываемой калитки, во дворе мгновенно появилась Ипполита, мегера моя седенькая. Критически оглядела Рету и заняла обычную позицию – метла отлетела в глубь двора, кулаки в бока, седые волосы раскосмачены. И обрушилась на меня:

– Это что еще за новости, что за девка? – И стала сыпать перенятыми у мужа словечками – тот был моряком, побывал,

наверное, во всех портовых городах, которые только существуют на свете, и из каждого привозил пригоршню смачных местных ругательств. Мою Ипполиту боялись все торговки на базаре и даже пьяные каменотесы обходили стороной. – Ты что это творишь, холера дельфийская, потрошитель священного петуха, крокодил холощеный? Клиентуру у него отбили, полиция стращает, скоро жрать станет нечего, а он девчонку приволок. Мне, что ли, в шлюхи пойти, чтобы вас кормить? Так кому я нужна? Думаешь, того, что осталось у тебя, надолго хватит? Много ты без Каро сделаешь? Сам–то, недотепа, ни зарезать, ни поджечь толком ведь не сумеешь?

– Ну, предположим, старая, даже ты не знаешь, сколько у меня осталось, – сказал я. – И как смеешь ты кричать на владельца Знака?

И показал Знак, после лицезрения которого Ипполита издала новые вопли, теперь уже восторженные. Наверное она единственный человек, привязанный ко мне по–настоящему, – сначала моя кормилица, потом нянюшка, кухарка, служанка, домоправительница и доверенное лицо, передававшее Каро мои распоряжения. Я никогда не пробовал, но уверен – прикажи я ей зарезать человека, зарезала бы без удивления, по–крестьянски споро, как резала птицу для кухни.

Ипполита втащила нас в дом, усадила за стол, продолжая восторженно кудахтать, подала великолепный обед и мое любимое вино. Я вкратце изложил ей положение дел, мое теперешнее положение и велел собрать мне вещи для морской поездки.

– Не сиделось дома, – заворчала она. – Куда тебя несет?

– В Афины, скорее всего.

– Тоже нашел место – там у моего Хриса в двадцать третьем двадцать серебряных сперли. Не сиделось дома, плохо было на Крите, приспичило по морям шататься… Что ты на этот раз задумал?

– Убить Минотавра, – сказал я. Секретов от нее у меня не было.

– Совсем рехнулся! Чудовище это?

– Старая, я уже близок к сорока, – сказал я. – Пора и на большие дела замахиваться.

– Он же тебя сожрет!

– Вовсе не я буду его убивать.

– Ну, тогда другое дело, – повеселела она и ушла.

– Зачем ты меня сюда привел? – спросила Рета.

– Глупый вопрос.

– А ты не боишься, что я зарежу и тебя?

– Нисколько, – сказал я. – Ну давай рассудим, что нужно девушке? Хорошего мужа, чтобы не бил, не обижал, не обманывал и был с нею ласков. Я не красавец, но и не урод, не юноша, но и не стар. На твои острова тебе уже не вернуться, оставайся здесь и не прогадаешь. Бить тебя я не буду, потому что никогда не опускался до драки, драка – удел животных. Изменять тебе вряд ли хватит времени при моем–то роде занятий. Чем для тебя плоха такая участь? По–моему, я все рассчитал. В любом случае лучше, чем плясать перед купчишками и переходить из рук в руки.

– Ты прав, выбора у меня нет, – сказала она, и я понял, что на сей раз угадал ее будущее.

– Знаешь, почему я тебя спас? Я был уверен, что повторится набившая оскомину история – сначала ты со слезами и царапаньем достанешься Валеду, а после месяца дрессировки займешь место среди его шлюх–танцовщиц. Как сотня до тебя. Но ты доказала, что я ошибся, а я так редко ошибаюсь, что готов уважать человека, заставившего меня изменить мое мнение о нем. Потому что исключения лишь подтверждают правило.

– Чем ты занимаешься?

– Помогаю людям понять, какие они скоты. Скажи, ты меня не боишься? Меня ведь многие боятся.

– Нет, – сказала Рета. – Я тебя не боюсь. Мне просто кажется, что ты несчастен.

– Глупости, – сказал я. – Я не могу быть ни счастливым, ни несчастным, потому что такие люди, как я, не верят ни в счастье, ни в несчастье. Ничего этого нет. Есть только жизнь, в которой везет тем, кто умеет управлять другими.

– Но такими людьми тоже что–то управляет, – сказала Рета.

– Возможно, – сказал я уже рассеянно, чтобы прервать пустую дискуссию, – не хватало еще обсуждать с женщиной нашу жизнь и мое ремесло.

Все–таки нужно плыть именно в Афины. Кандидатур могло быть несколько, но лучше тамошнего Тезея не найти, во всех отношениях подходит, не имеет смысла искать что–то лучшее, так что завтра утром с попутным ветром мой корабль отплывает в Пирей…

Сгурос, помощник Горгия, начальника стражи Лабиринта

– Ничего я не могу с собой поделать. И не хочу, клянусь священным петухом. Нет для меня других женщин, одна Ариадна. Одно солнце светит в небе, других нет. Но что же мне делать, о боги?

Кто я для Миноса? Да едва ли не слуга, и никаких надежд впереди. Двадцать пять стукнуло, а я все проверяю посты, покрикиваю на солдат, и хоть платят мне не меньше, чем в иных

странах полководцу, но что это по сравнению с сокровищами царских подвалов? Да Минос меня на месте прикончит, заикнись я ему…

А ведь Минос с Горгием в свои двадцать пять только что приплыли из–за Геркулесовых столбов, где покрыли славой свои имена, затупили мечи и взяли бесценную добычу. Мне такого не совершить – кто отпустит с Крита посвященного в тайну, которую знают, кроме меня, только Минос и Горгий? Будь проклята эта тайна и моя служба, отца ненавижу за то, что, пользуясь старой дружбой с Горгием, уговорил того взять меня на службу. Но разве я знал тайну Лабиринта? Сначала я даже радовался, болван, в первые дни.

И сама Ариадна… Кажется, во всем друг другу признались, все слова сказали, но дразнит она меня постоянно, то разрешает целовать, то холодна, как лезвие меча, ночью. И бросает меня то в жар, то в холод, то в радость, то в тоску. Сто раз себе повторял, что все от ее возраста, что недалеко она ушла от детства, не всегда понимает, что делает. Разве легче от этого? Ничуть. Не пойму, чего я жду. Когда она окончательно повзрослеет? Перестанет меня мучить? Когда с небес спустится священный петух, посланец Солнца, и заставит Миноса отдать Ариадну мне? Нужен я священному петуху, как же… И начинаю ненавидеть Минотавра – за то, что прикован невидимыми цепями к его логову, и не уйти мне от него за славными подвигами и богатой добычей. Сам бы его и убил.

Предложить ей бежать со мной? Не согласится и будет права, кто она тогда – жена нищего воина? Когда–то еще придут слава и богатство. Но ведь должен существовать какой–то выход? Или нет? Что мне делать с этой любовью, что мне делать с самим собой, священный дельфин?

Рино с острова Крит, толкователь снов

– Я не сомневаюсь, что покойный Хрис, муж Ипполиты, попросту потратил те двадцать серебряных на пирейских шлюх – не тот он был молодчик, чтобы позволить кому–то украсть у него деньги. Вот сам он, действительно, мог украсть хоть Дельфийский треножник. Но Ипполита, с юных лет считавшая все человечество бандой скотов, шлюх и преступников (в чем мы с ней сходимся), теряла способность к критическим оценкам, как только речь заходила о ее Хрисе. А впоследствии, будучи посвящена во все мои дела, тем не менее оправдывала любые мои поступки и вообще считала меня едва ли не богом Солнца в человеческом облике, воплощением священного петуха. Я удивлялся поначалу, но скоро вспомнил, что это типично женская черта – наделять любимого человека всеми мыслимыми достоинствами и обращать

в добродетели его грехи, а то и просто–напросто не верить в существование этих грехов.

По следу Тезея я шел трудолюбиво и настойчиво, более чем полдня. След брал начало в задних комнатках нескольких пирейских кабаков, где мало пили и долго разговаривали вполголоса, а то и шепотом; пролегал мимо корабля с переломленной мачтой и пробитым бортом, уныло накренившегося набок в дальнем конце причала; привел из Пирея в Афины, проходя по местам, где имел обыкновение развлекаться к превеликому смятению своих земляков Тезей, сын царя Эгея; и наконец оборвался у кабачка, где, как выяснилось, вышеупомянутый Тезей появлялся чаще всего.

В кабачке его, однако, не оказалось. Никого там не было, кроме унылого хозяина, давно, по всему видно, примирившегося с мыслью, что богиня удачи никогда не посетит его скромное заведение. Плюгавенький был кабатчик, не из оборотистых, – задними комнатами и побочными заработками тут и не пахло, глаз у меня насчет этого наметан. Люди такого сорта хороши одним – они простодушные болтуны и порой по наивной своей бесхитростности выложат сведения, за которые в другом месте пришлось бы как следует заплатить.

Я заказал вино и обед, достаточно дорогие, чтобы быть занесенным в число гостей, заслуживающих внимания и лучшего обращения, и довольно быстро разговорил хозяина, незаметно переведя разговор с кносских новостей на Тезея, о котором я, профан этакий критский, знал едва ли не меньше новорожденного младенца.

И хозяина понесло. Я и раньше знал, что Тезей благодаря своему живому характеру горячей любовью афинян не пользуется. Спасало их от полной прострации лишь то, что большую часть времени Тезей проводил, болтаясь в иных краях с ватагой шалопаев под предводительством некоего лапифа Пиритоя, того еще молодчика. Однако и самые светлые деньки когда–нибудь кончаются, и афиняне вновь обрели Тезея при обстоятельствах, о которых я слышал впервые, – это были самые свежие новости, еще не успевшие дойти до Крита.

Пиритой со своими приятелями, в том числе, понятно, и Тезеем, ни за что не упустившим бы такой случай, отправился в Кикир, чтобы украсть жену у тамошнего царя Эдонея. Однако старый Эдоней кроме молодой красивой супруги обладал еще и знаменитой на всю Элладу псарней, обитателей которой он, не мудрствуя, и спустил на нахальных гостей, вознамерившихся против его воли разлучить его с любимой супругой. Пиритоя и кого–то еще псы разодрали в клочки, кое–кому удалось удрать, а

покусанный Тезей угодил в Эдонееву тюрьму, где, на радость афинян, мог задержаться надолго.

Выяснилось вскоре, что радовались Афины рано. Одно из заданий, данных царем Эврисфеем Гераклу, как раз и заключалось в том, чтобы привести из Кикира свору тамошних псов. Геракл выполнил его добросовестно, как и все прочие, но по собственной инициативе, уходя из Кикира, кроме псов прихватил и Тезея, приходившегося ему дальним родственником. Так и вышло, что Тезей, едва залечив раны, осел в Афинах, причем пережитые неприятности отнюдь не способствовали превращению его характера в голубиный. И слабым утешением афинянам служили лишь поговорки вроде «перебесится – остепенится». Увы, поговорки не всегда отражают хитросплетения реальной жизни – в частности, увиденный мною утром в порту изувеченный корабль приобрел такой вид после того, как Тезей с дружками не поделили что–то с его командой.

Наш чинный разговор был прерван к вящему моему удовольствию и полному неудовольствию хозяина. Глянув случайно в окно, он съежился – мне показалось даже, что сейчас он нырнет под стол, – и прошептал:

– Тезей!

И шустро юркнул за стойку. Я пересел на другой табурет, в угол, чтобы быть лицом к вошедшему.

Ничего пугающего и ничего выдающегося. Таких тысячи. В меру привлекателен, молод, достаточно силен, но никакой, как у них в Афинах говорят, божьей отметины. Впрочем, он меня вполне устраивал таким, каким был.

Удостоив меня лишь мимолетным равнодушно–пренебрежительным взглядом, он ногой придвинул табурет, сел и рявкнул:

– Вина! И не того уксуса, которым простаков потчуешь. Что стоишь, может, денег ждешь?

Хозяин выпорхнул из–за стойки так, словно на ногах у него внезапно оказались крылатые сандалии Гермеса.

– Какие деньги, Тезей? – приговаривал он, увиваясь вокруг стола. – Такая честь моему скромному заведению, жаль вот, жена с дочкой на базаре, они бы тоже порадовались…

– Кстати, о дочке, – Тезей его не отпускал. – Красивая она у тебя, да больно много о себе воображает. Ты почему недотрогу воспитываешь, старый баран? (Хозяин мялся, угодливо хихикая.) В кого это она такая скромненькая, интересно бы знать? Уж наверняка не в тебя. Думаешь, не знаю, куда ты норовишь шмыгнуть, когда жена гостит у родни? Домик у бани, а?

Я не сводил взгляда с его лица и, надо признаться, испытал

некоторое потрясение. Я умею разбираться в людях и в их поведении, ремесло того требует, я и жив–то остался до сих пор только благодаря умению разгадывать собеседника, противника. Так что ошибиться я никак не мог. Этот парень играл, как первоклассный комедиант, актер из самых лучших, великолепно изображая недалекого молодого шалопая, полупьяного хама, смысл жизни которого заключен лишь в неразбавленном маммертинском вине, драках и доступных красотках. Но это была маска; судя по всему, он давно и тщательно отрепетировал интонации, позы и жесты. Не только простака хозяина, многих людей поумнее он с успехом мог ввести в заблуждение. Но только не меня.

То, что он оказался сложнее, чем я представлял, собственно, ничего не изменяло. Его роль в предстоящих событиях четко определена, и его качества никоим образом ни на что не влияют. Примитивная марионетка как раз способна создать лишние хлопоты и вызвать непредвиденные случайности, а я, при всем к себе уважении, отнюдь не считаю, что полностью застрахован от упущений и промахов. Решено, он подходит.

– Повеселились на славу? – спрашивал тем временем кабатчик, неуклюже меняя тему разговора.

– Ничего интересного, – небрежно махнул рукой Тезей. – Разнесли в щепки одну тартесскую лоханку.

– Какой великий подвиг, право! – громко и насмешливо сказал я на весь кабак. – Хозяин, выгляни на улицу, посмотри, не шатаются ли поблизости летописцы. Если увидишь рапсода, тоже зови. Такое героическое деяние нужно немедленно занести в скрижали.

Хозяин уставился на меня с ужасом, Тезей – с изумлением.

– Я не ослышался? – спросил он многозначительно.

Я сказал раздельно и громко:

– У нас на Крите такими потасовками и уличные мальчишки не стали бы хвастаться.

– Так ты с Крита? – Он издевательски расхохотался. – Это у вас там любвеобильная царица наставила рога супругу в прямом и переносном смысле?

– Болтают всякое, – сказал я, – а ты, оказывается, не только болтун, но еще и сплетник?

Он двинулся ко мне нарочито медленно. Я стоя ждал, неотрывно глядя ему в глаза.

Он шел, отшвыривая ногами табуреты.

Я стоял.

Он чуточку замедлил шаг – его смутило, что я держусь столь уверенно.

Я смотрел ему в глаза.

Теперь нас разделял шаг, не более. Он нерешительно положил ладонь на рукоять меча.

– Меч не стоит обнажать в кабаке – он теряет блеск, – сказал я. – И потом я безоружен, это как–то…

– Что тебе нужно, бычачий подданный? – спросил он грубо, но за грубостью не скрылось то самое удивление – он был умен, сообразил, что все это ничуть не похоже на обычную кабацкую ссору, и откровенно колебался.

– Я не за тем плыл к тебе с Крита, чтобы ты меня зарубил в первые минуты знакомства.

– Ко мне? – Он обернулся: – Хозяин, брысь!

Хозяин исчез. Тезей присел напротив – смесь удивления, любопытства и подозрительности.

– Ты кто такой?

– Я – Рино с острова Крит, по воле богов толкую сны.

– Я сплю без снов, – отмахнулся он.

– Ой ли? – сказал я. – Ложь. Сны видят даже собаки, а уж человек… Человек их видит всегда. Отними у человека сны – и он умрет от отчаяния, потому что сны – это наши желания и те, что еще могут осуществиться, но чаще всего – желания уже заведомо несбыточные. Сплошь и рядом во сне мы живем более насыщенной и удачливой жизнью, нежели наяву, потому что наяву заела обыденность, смелости не хватило, просто не повезло. Можешь мне верить – я большой специалист по снам. Я их толкую, но одного толкования мало.

– Что же еще нужно, кроме толкования? – спросил он, и я подумал: вот и все, теперь ты мой. Ты умнее, чем я считал, но я понял тебя, и ты все–таки станешь моей марионеткой.

– Согласно доктринам современной науки, сны человеку посылают боги, – сказал я. – Но для чего они это делают? Чтобы дать отдых уставшему за день, чтобы подсластить нашу убогую и скудную жизнь? Если ты перебиваешься с хлеба на чечевицу, во сне будешь играть мешками с золотом, если тебе не отдалась гордая красавица, во сне ты ее получишь, если ты родился в хижине, во сне будешь восседать на троне, одетый в пурпур, и все это – милостью добрых богов. Как умилительно, слов нет… Чушь собачья, Тезей. Боги становятся филантропами раз в столетие – по капризу, из пресыщения. Когда им надоедает Олимп, небо, облака, они спускаются на землю, чтобы немного развлечься. А развлечения бывают самыми разными – например, творить добро.

– Философия у тебя интересная, – сказал Тезей. Сейчас он был таким, каким, по всей вероятности, бывает только наедине с собой. – Но перейдем к делу.

– Я и говорю о деле. Ты согласен теперь, что боги посылают нам сны отнюдь не по доброте своей? Отлично. Тогда?

– Что же тогда? – подхватил он.

– Сны – одна из разновидностей наказания. Чем обычно наказывают людей боги? Засухой, дождем огненных камней, градом, чудовищами, пожарами, мором, набегами неприятеля. Но все это действует лишь на наше бренное тело, а сны – истязание души.

– А что если боги не имеют никакого отношения к нашим снам? – резко перебил он.

– Прекрасно, – сказал я. – Собственно говоря, заявлять так – богохульство, ведь каждому известно, что сны нам посылает Морфей. Ладно, будем надеяться, что он нас не слышал, не будет у него времени следить за каждым. Видишь ли, Тезей, если сны – наказание, то вряд ли имеет значение, посылает ли их бог или человека наказывает его собственная душа, ты согласен?

– Что–то я тебя не совсем понял. Я нагнулся к нему и заглянул в глаза:

– А что заставило тебя поверить, будто сны – наказание? Каждую минуту я жду, что ты скажешь: «Критянин, ты пьян или безумен и болтаешь глупости. Если я увидел во сне поющую на крыше корову или храмовый праздник в честь Зевса, то в чем же тут наказание?» – Я нагнулся к нему еще ближе. – Ничего подобного ты не сказал, такой вывод тебе и в голову не мог прийти, потому что твои сны на редкость однообразны. Тебе снятся горящие города, которые жгут твои воины, армии, которые ты ведешь, морские сражения, в которых побеждает твой флот. Это под твоим мечом хрустят кости Лернейской гидры, это на твоем ложе Андромеда и Елена Прекрасная, это от твоих стрел падают стимфалиды, это через твое плечо перекинуто золотое руно. Ты примерял на себя подвиги Геракла и аргонавтов, славу Одиссея и битвы Патрокла – так слуга, пока хозяина нет дома, надевает его блестящую виссоновую тунику и кривляется перед зеркалом. Но потом наступало жестокое утро, младая наша Эос розовыми своими перстами пыталась открыть тебе глаза, а ты отбивался и молил дать досмотреть сон. И горько сожалел, что живешь не в гиперборейских землях, где ночь длится полгода. Так, Тезей? Я прав?

На лице у него был страх.

– Ты колдун или бог?

– Я обыкновенный человек, – сказал я. – Стыдно, Тезей, – ты сомневаешься в могуществе человеческого ума? Твой дед Питтей, царь Трезены, был образованнейшим человеком своего времени, писал книги, ты многому у него научился. К чему нам привлекать

колдунов и богов? То, о чем думает один человек, может отгадать другой – вот и весь секрет.

Хотя есть и другой секрет, унизительный для него, и поэтому не следует говорить о нем вслух – он считает себя неповторимой и самобытной личностью и мысли не допускает, что его побуждения ужасно стандартны.

– Если честно, я вполне сочувствую тебе, Тезей, – сказал я. – Мачеха у тебя – весьма неприглядного поведения особа, даже убить тебя пыталась. Отец пока что не намерен освобождать для тебя трон. Золотое руно давно отнял у колхов Язон, чудищ трудолюбиво перебил Геракл, осада Трои – в прошлом. Ну где уж тут проявить себя? И чтобы дать хоть какой–то выход неутоленному честолюбию и энергии, ты буянишь в портовых кабаках, пугаешь путников на дорогах…

– Хватит! – Он грохнул кулаком по столу, упал и разбился кувшин. Тезей склонился ко мне и заговорил лихорадочным шепотом, готовым в любой момент перейти на крик. – Да, ты прав, проклятый критянин. Я хочу славы. Чем я хуже Язона, Патрокла или дяди Геракла? Чем они были лучше меня – тем, что родились вовремя и ухватили за хвост счастливей случай? Почему я, молодой, сильный, не без способностей, точно знающий, чего хочу, должен прозябать в глуши? Где справедливость богов, о которой вопят во всех храмах? Или ты будешь говорить о деле, или…

Его рука дернулась к поясу. Переигрывать не стоило – он приведен в нужное состояние, пора обговаривать конкретные детали.

– В последнее время стало ужасно модным жаловаться на несправедливость богов, – сказал я. – Плохому любовнику всегда неудобная постель мешает. Хорошо, оставим высокие материи. Поговорим о деле. Ты жаловался на несправедливость богов? Что ж, настал твой час. Чудовища, некогда обитавшие в ущельях Эллады, перебиты, но остается Минотавр, страшилище из кносского Лабиринта. Убей его, и тебя признают равным Гераклу. Или ты в этом сомневаешься?

– Минотавр? – переспросил он, заметно побледнев. – Это страшилище?

– Испугался? Столько лет мечтал о славе, а теперь, когда стоит лишь протянуть руку и взять ее, как спелое яблоко с ветки, идешь на попятный? Или все же думаешь, что это и подвигом нельзя назвать? Вспомни живую дань, которую платят Криту твои Афины. Хочешь, выслушаем мнение простого, среднего человека? Хозяин! – закричал я.

Хозяин опасливо приблизился. Он был несказанно удивлен и

обрадован, застав нас мирно сидящими за своим столиком, а утварь своего заведения, если не считать кувшина, – совершенно целой. Однако кувшин он все же отметил скорбным взглядом.

– Друг кабатчик, что ты думаешь о Минотавре? – небрежно спросил я.

– Мерзкое чудовище. – Его лицо помрачнело. – Сколько это может продолжаться – живая дань, погибшие смельчаки? О чем Геракл думает, не знаю, как раз ему по плечу. Постарел наш Геракл, что ли…

– А найдись смельчак и убей он Минотавра? – спросил я.

– Вся Эллада славила бы его как богоравного!

– Довольно, иди, – сказал я. – Итак, Тезей? Наш друг кабатчик нисколько не преувеличил – победителя Минотавра весь мир, и особенно Эллада, признают героем, равным Гераклу и Язону. Боишься?

– Как тебе сказать, – произнес он задумчиво. – Это не страх, тут другое. Сорок три человека уже погибли, ни один из них не вернулся назад. А ведь это были опытные, набившие руку бойцы. Последние два года никто уже не отваживается выйти на поединок. Я не боюсь рисковать, но какой смысл идти в бой, зная заранее, что тебя ожидает поражение?

– Ты просто не веришь в свои силы, – сказал я. – Разве до Геракла никто не пытался убить Немейского льва? Разве до Язона никто не пробовал добыть золотое руно? Путь к победе всегда устлан трупами неудачливых предшественников.

– Может быть, ты побывал в Дельфах и заранее знаешь…

– И не думал, – сказал я. – Хороший лекарь никогда не станет лечиться у другого лекаря, иначе он рискует подорвать свой авторитет. Решайся, Тезей. Рискни, поверь, что повезет именно тебе, что так предначертано. Я могу уйти, но ты никогда не простишь себе, что однажды смалодушничал.

Наступил решающий миг. Он умен и честолюбив, но нужно еще, чтобы он не оказался трусом. Неизмеримо проще было бы, окажись он откровенным примитивным подонком, тогда я мог бы позволить себе кое–какими намеками убедить его, что его задача легче, чем ему представляется. Но он пока все–то лишь юный неглупый честолюбец, равно чуждый подлости и героизму, и моя откровенность может его отпугнуть. А жаль. Как–никак неплохая кандидатура на роль главного героя, дело не в молодости и обаянии, родословная его меня привлекает – сын Эгея, царя одного из славнейших городов Эллады, внук мудрого царя Питтея, воспитывался в знаменитой своими учебными заведениями Трезене, родственник Геракла, наконец, а это – преемственность поколений, толпа такое любит, Аид меня забери.

– Я согласен! – Он вскинул голову.

Конечно, он чуточку рисовался, сам восхищался саоей храбростью, но и понять его можно – не так–то просто решиться выйти на бой с чудовищем, прикончившим уже сорок три храбреца. Итак, полдела сделано.

– Ты победишь, Тезей! – раздался мягкий вкрадчивый голос. Давненько я его не слышал, но ничуть не удивился – чего–нибудь в этом роде следовало ожидать. Впрочем, и на лице Тезея я не заметил особого удивления – очевидно, он полагал, что, решившись на подвиг, может беседовать с богами, как равный.

Гермес, бог торговли и всевозможных плутней, покровитель путников и мошенников, шествовал к нам от двери во всем своем великолепии, в самом, так сказать, парадном и престижном облике – он шагал по воздуху, не касаясь грязного пола, прозрачные, отблескивающие радужными вспышками крылышки золотых сандалий трепетали, и сандалии казались живыми существами, прекрасными птицами, залетевшими из неведомой страны; в руке сверкал витой золотой кадуцей; короткий плащ, сотканный из радуги, колыхался за спиной; сияние, напоминающее чистым золотым цветом луч солнца, пробившийся сквозь тающую грозовую тучу, излившую весь до капельки дождь, вплыло следом за Гермесом в дверь и заливало кабачок, преображая обшарпанные стены и делая гармонично красивыми грубые табуреты. Выглядело все это достаточно эффектно – наш покровитель умеет себя подать, ничего не скажешь.

– Ты победишь, Тезей, – сказал Гермес мурлыкающим голосом. – Боги поручили мне, легконогому вестнику Олимпа, сообщить тебе эту приятную весть.

Он уселся в воздухе над табуретом и изящно скрестил ноги. Улыбка его была подкупающей, невинной и прекрасной, как лесной ручей.

– Ты не изумлен и не испуган, юноша? Я, правда, не самый старший и не самый влиятельный в семье олимпийцев, но бьюсь об заклад, тебе не столь уж часто приходится лицезреть богов…

– Как–то не приходилось, – сказал Тезей. – То ли я их не интересую, то ли…

Он все же не осмелился закончить, и Гермес сделал это за него:

– Они тебя не интересуют, ты это хочешь сказать?

Его улыбка стала еще более чарующей.

– А хотя бы и так, – сказал Тезей. – Почему я должен о вас думать? Что хорошего вы для меня сделали?

– А что ты сам сделал для того, чтобы обратить на себя внимание богов и пробудить к себе интерес?

– Я еще сделаю, – сказал Тезей уверенно. – На Крите.

– Да, разумеется, мой юный друг. – Гермес был великолепен. – И я послан, чтобы тебе помочь. Это моя обязанность – помогать героям, ты, может быть, слышал. Приходилось выручать и Одиссея, и Персея. Мои крылатые сандалии, которые я однажды одолжил Персею, тебе не понадобятся, а вот изделие Гефеста оказалось как нельзя более кстати. Возьми же, о Тезей!

Он снял с пояса короткий меч в богато изукрашенных ножнах и торжественно, протянул его Тезею. Похоже, на сей раз Тезей был слегка взволнован.

– Изделие Гефеста? – спросил он дрогнувшим голосом.

– Специально для тебя, – сказал Гермес. – Прикрепи его к поясу, юноша, и отправляйся собираться в дорогу. Ветер как раз дует в сторону Крита.

– Ты был великолепен, – сказал я, когда за Тезеем затворилась низенькая выщербленная дверь. – Однако встреча старых знакомых может обойтись и без ваших олимпийских выкрутасов, а? Юнца ты и так восхитил до предела.

Он усмехнулся, опустился на табурет, небрежно бросил кадуцей рядом с кувшином и взмахнул рукой. Золотистое сияние растаяло, исчез радужный плащ, крылышки сандалий помутнели и стали неподвижными, похожими на листки слюды.

– Так–то лучше, а то я чувствовал себя рыбкой в аквариуме, – сказал я. – Ты, как всегда, не упустил случая участвовать в спектакле?

– Ну конечно. Я бы появился и раньше, но любопытно было, сумеешь ли ты справиться сам.

– Гефест, разумеется, и в глаза не видел этого меча «своей» работы?

– Разумеется, – беззаботно сказал Гермес. – Я его купил тут неподалеку, в лавке за углом. Что ж, поздравляю, дружок, замысел дерзкий, мистификация грандиозная. Ты полностью оправдываешь мое доверие и выгодно отличаешься от большинства моих обычных подопечных.

Странные все же у нас с ним отношения. Он, я подозреваю, втихомолку гордится мной – то, что среди его подопечных имеются столь яркие и одаренные личности, помогает ему не чувствовать себя на Олимпе простым мальчиком на побегушках, каковым он, в сущности, и является – не более чем гонец, которого без зазрения совести используют почти все остальные олимпийцы. А такие, как я, поднимают его и в собственных глазах, и в глазах других богов – отблеск наших свершений ложится и на него.

Ведь, если совсем откровенно, на что он может влиять? Купцы и мошенники и без него прекрасно знают свое дело, просто традиционно считается, что и они должны иметь своего покровителя. Но вот уважают ли они его, как, к примеру, уважают и не на шутку побаиваются моряки Посейдона, – другой вопрос. Возведенные в его честь храмы не столь уж многочисленны и пышны. И чтобы утолить свое честолюбие и упрочить свои позиции на Олимпе, он частенько возникает на пути героев и полководцев, оказывая мелкие услуги, прикидывается соратником и единомышленником, так что в конце концов его имя оказывается прочно связанным со всем, что эти герои совершили. Одиссея во время его многолетних странствий Гермес, рассказывают, временами доводил до бешенства, навязчиво возникая на его пути там и сям, чуть ли не в спальню к Навсикае вламывался, чуть ли не каждый шаг комментировал, с Цирцеей поссорил и заставил покинуть ее раньше, чем того Одиссею хотелось, – злые языки утверждают, что к Цирцее Гермес его попросту приревновал, и моральная стойкость Одиссея в отношениях с Цирцеей, если верить вовсе уж вошедшим в раж сплетникам, проистекала исключительно оттого, что Гермес подсунул ему какое–то снадобье, вызывающее временный упадок мужских способностей. Не знаю в точности, как там обстояло дело, история давняя, но от Гермеса всего можно ожидать. Говорят еще, что он умышленно затягивал странствия Одиссея, дабы тот испытывал как можно больше приключений (которые ему, естественно, предсказывал и из которых помогал выпутываться невредимым Гермес); что и узел на мешке с усмиренными Бореем ветрами развязал не кто иной, как Гермес, когда Итака уже виднелась на горизонте, – понятно, чтобы Одиссей подольше мотался по свету.

Правду от выдумки отделить довольно трудно (своих шпионов на Олимпе у нас нет, увы), но, как бы там ни было, Гермес своего добился – Гомер в «Одиссее» уделил ему немало места. Не зря (это я уже знаю совершенно точно) Гермес впоследствии, когда «Одиссея» была перенесена на папирус, уговорил слепого и неграмотного Гомера начертать на ней какие–то каракули, долженствующие изображать теплую дарственную надпись, и хвастался этим свитком на Олимпе направо и налево. Как и своим участием в истреблении сестер Горгон и спасении Андромеды.

Объективности ради и к чести Гермеса следует упомянуть, что иногда и он отличается весьма похвальной скромностью. Например, он очень не любит вспоминать, что по приказу Зевса арестовал Прометея и доставил его к скале в землях колхов.

Гермес обычно сваливает все на эту мерзкую тварь, Зевсова орла (хотя орел выступал в роли простого полицейского), и на Гефеста, чье дело – приковать Прометея к скале – было уж вовсе десятое. Меж тем несомненно, что заправлял всем, когда орел сцапал Прометея за шиворот, как жалкого уличного воришку, не кто иной, как Гермес, и я не исключаю, что именно он предварительно и донес на Прометея Зевсу. Вспоминать обо всем этом Гермес не любит – как–никак Прометей до сих пор томится в тех диких скалах и пользуется большим уважением – и лишь видя, что недомолвками и умолчанием не отделаться, цедит с кислой миной, что он–де лишь исполнял приказ Зевса, которого никак не мог ослушаться.

Вот такой он у нас, Гермес. Конечно, в силу своего положения он обладает кое–какими способностями: полеты и ходьба по воздуху, фокусы с невидимостью и прочее, но на роль подлинного вершителя судеб не вытягивает. И он не настолько глуп, чтобы не знать, что и мы об этом прекрасно осведомлены.

– Я слышал, ты в последнее время стал отрицать существование богов? – спросил Гермес.

– Неправда, – сказал я. – Вы существуете, и с вами приходится считаться.

– Смел…

– Что поделать, таким уродился, – сказал я.

– Знаешь, постоянно насмехаться над богами опасно. Могут и отомстить когда–нибудь.

Я насторожился – не понравились мне что–то его глаза – и сказал:

– Ударом молнии?

– Рипо, голубчик, – поморщился Гермес. – Ты человек умный, спору нет. Но слышал ли ты, что своих желаний нужно бояться, ибо они сбываются?

– Не приходилось, – осторожно сказал я.

– Можно наказать молнией, а можно и удачей. – Он задумчиво повертел в руке кадуцей, улыбнулся преувеличенно добродушно и коснулся кадуцеем моего плеча. – Предрекаю тебе удачу, ею тоже можно наказывать…

– Намекаешь на судьбу Мидаса?

– Вот видишь, ты не понял. – Он улыбнулся уже искренне.

И растаял, исчез, как рассветный сон.

Горгий, начальник стражи Лабиринта

– Никак не получалось у нас разговора, не клеилось что–то. Вернее, я не мог начать, не знал, с чего начать. Минос долго рассказывал о вчерашних гонках колесниц, жалел, что проиграл тот, новенький, с гнедой квадригой, – крайнюю левую лошадь

пришлось буквально накануне гонки заменить другой, слаженная квадрига перестала быть единым организмом, и возничий едва не сломал себе шею. А первым пришел Феопомп, которого Минос за что–то неизвестное мне крепко недолюбливает, но послать на Олимпийские игры придется все–таки его – при всем своем к нему отношении Минос вынужден признать, что этот тип обладает врожденными бойцовскими качествами и непременно выиграет. Лучше уж послать Феопомпа, чем не посылать никого, нужно помнить о нашем престиже и нашей роли в Играх – Минос чрезвычайно горд, что именно критяне стояли некогда у колыбели Олимпийских игр. Я слушал вполуха, рассеянно поддакивал в нужных местах, но, видимо, в конце концов все же рассеянность и равнодушие вырвались наружу, и Минос их заметил. Он остановился (мы прохаживались по западной галерее, самом тихом месте дворца, где всегда полумрак и тишина) и положил мне руку на плечо:

– Что с тобой происходит? Я заметил давно. И не я один.

Он облегчил мне задачу, сам свернул на нужную мне тропу, но я то ли растерялся, то ли не нашел нужных слов и смог лишь пробормотать:

– Пустяки.

– Мне–то ты можешь сказать? Долги? Нет, ты бережлив и богат. Заболел отец? Или, – он лукаво подмигнул, – влюбился наконец старый солдафон? Мы с тобой, хвала священному петуху, еще в том возрасте, когда можно подкреплять влюбленность практическими действиями. Я могу чем–нибудь помочь?

– Только ты и можешь помочь, – сказал я.

– Интригующе. – Он беззаботно улыбнулся. – Так чем же я могу тебе помочь?

– Мне, собственно говоря, помощь не нужна.

– Значит, ты выступаешь посредником? Почему же тот, за кого ты просишь, не обратится ко мне сам? Клянусь священным дельфином, я не думал до сих пор, что мои подданные боятся обращаться ко мне с просьбами.

– Ему довольно затруднительно обратиться к тебе с просьбой, – сказал я. – Для этого ему нужно сначала выйти из Лабиринта.

Улыбка мгновенно исчезла с его чуточку обрюзгшего, но все еще красивого и волевого лица, он невольно оглянулся, но на галерее было пусто и тихо.

– Ты опять за свое? – спросил он тихо, без выражения.

– Да, – сказал я. – Он двадцать лет сидит в Лабиринте. В чем его вина? В том только, что рожден распутницей?

Он схватил меня за серебряный наплечник, приблизил

бешеные глаза, и гнев сделал его лицо совсем молодым, каким оно было много лет назад, когда мы врубались в стройные ряды египетской пехоты или отражали атаку хеттов:

– Не забывайся! Ты как–никак говоришь о царице Крита!

Я молча смотрел ему в глаза, и наконец он убрал руку, как–то расслабленно она соскользнула с моего плеча, перстни царапнули по закраинам моего панциря. Склонив массивную голову, он отошел на шаг, отвернулся и заговорил тихо:

– В чем–то ты прав. За один намек на это людей разрывают лошадьми перед дворцом, но если возле меня не будет хотя бы одного человека, с которым можно откровенно говорить, жизнь станет невыносимой. Шлюха, да, и все это знают. А что ты мне предлагаешь делать? Лупить метлой, как принято у черни? Или сделать нечто более приличествующее царю – отрубить голову? Отравить, быть может?

У меня сжалось сердце – нельзя вычеркнуть из памяти наши бои и походы, нельзя не сочувствовать тому, кто несколько лет дрался с тобой плечом к плечу, а однажды спас тебе жизнь. Тем более нельзя не сочувствовать, когда необъяснимым чутьем солдата чувствуешь в нем какую–то перемену. Что же, годы нас так меняют? Жизнь? Одежда из пурпура? Злая воля богов? И в чем же эта перемена состоит, до сих пор не могу понять.

– Не будем о Пасифае, – сказал я. – Не о ней речь, в конце концов. Я не хочу оскорблять ни тебя, ни даже ее. Мы сами недостаточно чисты, чтобы быть судьями. Я лишь напоминаю о Минотавре.

– Почему тебя так волнует его судьба? Судьба одного–единственного человека? Мы с тобой видели поля, покрытые тысячами трупов, огромные пылающие города, в которых не осталось ничего живого. Ты в состоянии подсчитать, сколько человек мы с тобой убили?

– Это была война, – сказал я.

– Ну и что? Разве за эти годы ты еще не успел понять, насколько мала цена жизни отдельного человека? Какому–нибудь голодному мудрецу простительно называть каждого живущего единственным и неповторимым. Но мы–то, Горгий, мы–то прямо–таки обязаны мыслить иными категориями. Государство, армия, город – вот о чем мы думаем, и тысячи лиц сливаются в одно поневоле, у нас нет возможности расщеплять целое на частички.

Он говорил что–то еще. Я солдат, прежде всего солдат, только солдат. Я не умею рассуждать на такие темы, да и мало что в них понимаю, откровенно говоря. Не мое это дело. Поэтому всякий раз, как только заходит речь о каких–то сложных и отвлеченных понятиях, я теряюсь, не умею связно высказать свои

мысли. Но и устраниться от спора на сей раз не могу. И отступать не собираюсь. Это продиктовано чисто военным складом ума: можно иногда отступить, но нельзя отступать до бесконечности, когда–нибудь да следует закрепиться и принять бой.

– Тридцать лет назад ты был другим, – сказал я.

– Тридцать лет назад мы были молоды, Горгий, и, как все юнцы, считали, что жизнь предельно проста и никаких сложностей впереди нет. Но с годами приходит мудрость, пойми это наконец, мой верный меч.

– В последние двадцать лет мне пришлось иметь дело в основном с кинжалами, а не с мечами, – сказал я.

– Ты об… этом?

– Об этих, – сказал я. – Сорок три человека, стремившихся сразиться с кровожадным чудовищем, существовавшем лишь в их воображении. Что из того, что их убивал не я, а Харгос?

– Это еще кто?

– Знаток своего дела, – сказал я. – Бывший искусный воин, который стал непревзойденным мастером по ударам кинжалом в спину. Будем называть вещи своими именами: ты превратил меня и моих солдат в тюремщиков и палачей.

– Подожди, Горгий. – Он властно поднял руку. – А что тебя больше волнует – судьба Минотавра или то, что вас превратили в тюремщиков? Ну–ка?

– Ты снова жонглируешь словами, – сказал я. – Конечно, мне не по душе то, что нас все эти годы заставляли делать. Но и Минотавр, его судьба… Как–то все это не по–солдатски, не по–человечески.

– Ты меня осуждаешь?

– Нет, – сказал я. – Просто я иногда не понимаю тебя, а иногда думаю, что ты, прости меня, запутался. Я понимаю – двадцать лет назад ты был молод и, когда разразилась вся эта история, растерялся, искал решения на ходу. Сгоряча, желая отомстить Пасифае, возвел Лабиринт, не пресек слухи о чудовище, позволил им вырваться за пределы дворца, а потом и Крита. Конечно, потом ты опомнился, поручил мне охрану Лабиринта, велел мне поступать с желающими поединка так, как мы поступали. Наша выдумка зажила самостоятельной жизнью, не зависящей от своих творцов. Колесо закрутилось и крутится все эти годы, а мы растерянно смотрим на него, не пытаясь остановить. Не можем или не хотим? Притерпелись за двадцать лет. Может быть, решимся?

– А ты остался моим верным другом, – сказал он рассеянно. Он стоял, глядя то ли вниз, на покрытые сетью мелких трещинок каменные плиты дорожек, то ли в прошлое.

– От тебя требуется не столь уж много, – сказал я громче. – Набраться решимости и прекратить игру, не нужную никому, в том числе и нам, ее создателям. Мы еще в состоянии это сделать.

Он повернулся ко мне, и я понял, что ошибался, – он слушал очень внимательно.

– Прекратить затеянную сдуру игру, не нужную никому, даже нам, ее создателям, – сказал он. – Что ж, ты умный и проницательный человек, Горгий. Ты очень точно обрисовал историю создания Лабиринта, ты нашел нужные слова, я высоко ценю твою преданность и дружбу и никогда в них не сомневался. Может быть, пошлем надежного человека в Дельфы, к оракулу?

– Сомневаюсь, будет ли польза.

– Ты не веришь богам?

– Я привык верить людям, – сказал я. Я все–таки хорошо его знал и видел, что на этот раз он не собирается отделаться от меня под каким–нибудь надуманным предлогом или с помощью обещания подумать, как четырежды случалось за последние поды. На сей раз он готов что–то решить, что–то сделать, но надолго ли хватит благой решимости? Случалось и так, что он готов был уступить, но в последний момент менял решение и все шло по–прежнему.

– Высокий царь! Высокий царь!

Мы обернулись – к нам бежал телохранитель в желтой одежде с черным изображением головы священного быка на груди.

– Высокий царь! – Он задыхался. – Только что во дворец прибыл Тезей, сын царя Афин Эгея. Он желает поединка с Минотавром.

Наши взгляды скрестились – Минос был спокоен, а что касается меня, я просто не мог разобраться в своих чувствах и мыслях. Властным мановением руки Минос отослал телохранителя, тот уходил медленно, по–моему, ему очень хотелось оглянуться, но он, разумеется, не посмел.

– Через несколько минут эта новость облетит весь дворец, – сказал Минос. – А в Кноссе наверняка это уже знают, вряд ли он держал свои намерения в тайне. Два года гостей не было.

– Еще один, – сказал я. – Сорок четвертый. Что же, и ему отправиться вслед за остальными? Пора на что–то решаться.

– Хорошо. Но ты–то мне веришь, Горгий? Веришь?

– Разве о таком спрашивают? – сказал я. – Я не могу не верить человеку, который спас мне жизнь.

– Спасибо. – Он коснулся рукоятки моего меча. – Когда же я в последний раз держал в руках меч?

– На берегах Скамандра, двадцать три года назад, – сказал

я. – Помнишь ту войну? Весть, что умер Великий Сатурн и трон перешел к тебе, застала нас именно там.

– Да, действительно. Что же, пойду взгляну на этого юного храбреца. Ты со мной?

– Я приду позже, – сказал я.

Да, Скамандр… Для Миноса это был последний поход, я же участвовал еще в пяти, а потом родился Минотавр, появился Лабиринт и мы сменили мечи на кинжалы.

Наверное, я уже старик, если считаю, что у меня не осталось ничего, кроме воспоминаний, но, с другой стороны (этого неспособна понять и оценить молодежь), воспоминания – огромное богатство. Как всякое богатство, оно порой расходуется крайне неумеренно.

Но обо мне этого не скажешь. Я не мот и не скупец в обладании своим богатством, избегаю обеих крайностей. Я умею расходовать воспоминания разумно и бережно. И все же порой, словно богатей, задумавший вдруг кутнуть, поразвлечься, я уверенно запускаю руку в груду своих невидимых золотых монет. Но ведь нельзя иначе, как, например, сейчас, когда только что закончившийся разговор вновь возвращает к тому дню, когда Минос спас мне жизнь…

Тридцать лет назад Минос был юным наследником престола, а я – столь же юным рубакой, бедным на деньги и жизненный опыт. Правда, мы успели достичь кое–какой славы – участвовали в десятке крупных сражений и походов, едва спаслись после печального и унизительного для эллинов сражения, когда фараон Меренптах наголову разгромил греческое войско в дельте Нила. Этого, разумеется, было весьма и весьма недостаточно – тем же тогда мог похвастаться едва ли не каждый носивший меч, время было бурное.

С отрядом критской конницы мы добрались до Геркулесовых столпов, угадав как раз ко времени, когда Элаша, царь Тартесса, замыслил дерзкий набег на окраинные владения великой Атлантиды. Схватиться с могучими атлантами, потомками Посейдона, вторгнуться в страну, где храмы, города и дома набиты золотом, – могло ли найтись что–либо более привлекательное даже для людей посерьезнее нас, тогдашних? Конечно, мы тут же истратили последние деньги, уплатив за места на кораблях.

Сейчас, с высоты своих лет и военного опыта, я просто не могу понять, как не провалилось это прямо–таки обреченное на провал предприятие. Элаша был смел и горяч, но искусством полководца не владел ни в коей мере. У нас вообще не было хорошего полководца. И разведку мы не выслали. Нам просто повезло. Мы благополучно высадились, угодив в момент, когда поблизости не было вражеских войск, заняли большой и богатый город, похозяйничали там в свое удовольствие и отправились восвояси, не претендуя на что–то большее, – щелчок по самолюбию надменных внуков Посейдона и так получился достаточно ощутимым.

Сегодня я, повторись такой поход, сделал бы несколько простых вещей – разместил бы в месте высадки несколько сильных отрядов прикрытия, разослал во все стороны легкоконных разведчиков, а главное – перекрыл бы то ущелье, потому что большого труда не стоило незаметно перебросить по нему к месту стоянки наших кораблей хоть целую армию. Ничего этого не было тогда сделано, мы даже не выставили боевого

охранения, считая, что войск поблизости нет.

Мы ошиблись. Не зря ходят упорные слухи, что жрецы атлантов владеют каким–то таинственным способом молниеносно передавать известия и приказы на огромные расстояния. Мы возвращались, опьяненные вином и победой, мы хвастались друг перед другом действительно грандиозной добычей, пленницами, золотым оружием и собственной храбростью, и никто уже не сохранял строя, отряд превратился в бредущее без порядка и управления скопище людей. И тут пронзительно завыли служившие атлантам боевыми трубами огромные морские раковины, которые они привозят из каких–то дальних неведомых земель. Загремели трещотки. Из ущелья слева от нас, рассыпаясь веером, на полном скаку стали вылетать конные полусотни, их становилось все больше и больше и им не было конца; казалось, их в дикой злобе извергают сами скалы. Это была знаменитая тяжелая конница атлантов, Любимцы Посейдона. Позже, когда я метался в жару на корабле, эта картина вновь и вновь вставала перед глазами. Да и ночью, уже на Крите, уже оправившемуся от раны, иногда снилось – сухая каменистая земля, ослепительно синее небо, гремят копыта, воют трубы, мелькают оскаленные, пенные конские морды, сверкают доспехи и шлемы из орькалка и дико ревут всадники: «Посейдон! Посейдон!» Их было раз в пять больше. Конница, а у нас две трети людей были пешими – сколько лошадей можно привезти на кораблях?

Нас спасло одно – то, что мы находились на расстоянии полета стрелы от наших кораблей. И все–таки мы имели кое–какой воинский опыт. Вряд ли нас поддерживало еще и сознание, что позорно будет бежать, бросив добычу, после того, как мы так дерзко бросили вызов могуществу атлантов. Ни о чем подобном в такие минуты не думаешь. Просто мы были в двух шагах от своих кораблей.

Элаша, к радости наследников, там же и сложил голову, бросившись галопом со своими конниками навстречу врагу. Их буквально смяли и растоптали тяжелые меченосцы. Мы поступили иначе – построились тесными рядами, поместив повозки с добычей и пленников в центр, и стали отступать к морю, ощетинившись копьями и пуская стрелы. То, что у нас было много пеших, вооруженных луками, как раз и пошло на пользу: атланты изрубили несколько внешних шеренг, но не смогли прорвать наши ряды. Половину людей мы потеряли, но добычу сохранили всю, так что доля каждого увеличилась вдвое. Это мне рассказали, когда я очнулся на корабле, – хвала богам, что нам удалось уйти от флота атлантов, воспользовавшись туманом.

Я был тяжело ранен в первые минуты боя, когда Элаша со

своими уже погиб, но наш отряд не успел сомкнуть ряды, и какое–то время царила неразбериха.

Конник, который ударил меня мечом, не сумел добить вторым ударом – распаленная лошадь пронесла мимо, но я, потеряв сознание, неминуемо бы слетел с седла и погиб под копытами своих и чужих лошадей, если бы не Минос. Он не дал мне упасть, поддержал, вывел моего коня из боя к повозкам и уложил меня в одну из них, а сам бросился назад, вспомнив, что у нас имелся небольшой запас огненных стрел, наилучшего средства борьбы с конницей, распорядился метать их и сумел многое сделать для того, чтобы отступление не превратилось в беспорядочное бегство, а атланты не успели бы отрезать нас от кораблей. Так что один способный стратег у нас все–таки оказался.

Так все было, он спас мне жизнь, я навеки ему благодарен, но сейчас, глядя, как он уходит по галерее быстрой, однако исполненной величавого достоинства походкой, я не в силах ответить на давние вопросы: правда это или нет, что мы не понимаем друг друга, как встарь? Правда ли, что чего–то не понимаю я? Что же большое и важное унеслось вскачь вместе с нашей юностью на полудиких тартесских скакунах? В самом деле, что?

Рино с острова Крит, толкователь снов

– Конечно, я и не рассчитывал, что все решится с первой аудиенции и перед Тезеем распахнутся украшенные коваными барельефами ворота главного входа в Лабиринт, едва он заявит о своей твердой решимости разделаться с чудовищем. Такие вопросы Минос с маху не решает. Более того, отправь он Тезея в Лабиринт сразу же, это означало крах всего замысла, это означало бы, что Тезея прикончат там, как и всех его предшественников, ибо Горгий еще не обезврежен, а Минос еще не подведен к нужному решению. Первая встреча была лишь обязательной торжественной церемонией.

Я на ней, разумеется, присутствовал. Для успеха дела мне просто необходим был пост главного сопроводителя, который представляет Миносу знатных чужеземных гостей и обязан присутствовать в тронном зале до конца приема. Получить эту должность было нетрудно – лишь сказать об этом Пасифае. Никогда не вникал я в мелкие подробности, и мне ничуть не интересно, что там учинил Клеон, только прежний главный сопроводитель, безобидный такой и осанистый старичок, проходя по галерее, вдруг схватился за горло, рухнул ничком и тут же скончался на глазах нескольких придворных. Сердце, вероятно. Поскольку он не участвовал в интригах, переполнявших дворец от

подвалов до крыши, никто не стал шептать о насильственной смерти. Смотритель дворца, ведавший всеми назначениями, от главного церемониймейстера, моего прямого начальника, до кухонного мальчишки, был человеком Пасифаи, и я тут же заполучил так кстати освободившееся место. Никто и внимания не обратил – должность эта во дворце высоко не котировалась. Ариадна, правда, встретив меня, удивилась было, но я объяснил, что удостоен этого поста в награду за успешное гадание, и этого ей оказалось достаточно.

Жизнь при дворце была скучноватая, собственно, кроме интриг, развлечений не было, соискатели поединка к тому же не появлялись давно, так что в тронный зал собрались царедворцы и приближенные от мала до велика – все, кто имел на это право. Я впервые присутствовал на столь представительном и торжественном сборище, но это ничуть не наполнило трепетом сердце и особого впечатления не произвело. Толпу сановников, этих разряженных в пурпур и виссон болванов, вообще не следовало брать в расчет, а тем более интересоваться ими. Горгий, как обычно, был словно олицетворение мировой скорби, и я знал, почему он сегодня особенно хмур, – люди Клеона, обязанного теперь отчитываться и передо мной, уже донесли о разговоре Горгия с Миносом. О чем они разговаривали, подслушать удалось плохо (недавно умер чтец по губам, один из лучших лазутчиков Клеона), но я примерно догадывался. Пасифая разглядывала моего афинянина с откровенным любопытством стареющей шлюхи, Ариадна – с жадным удивлением ребенка, узревшего великолепную игрушку, но было уже в ее глазах и не одно детское, так что и с этой стороны дело развивалось в нужном направлении.

Главным образом меня, понятно, интересовал Минос. Я впервые видел так близко этого храброго в прошлом солдата, любителя и любимца женщин, человека великого ума и вынужден был признать, что противник у меня достойный. Это не означало, что моя задача так уж трудна. Во–первых, то, что однажды построено одним человеком, всегда может в один прекрасный момент быть разрушено другим. Во–вторых, в отличие от обыкновенного человека, царю свойственны некоторые стереотипные ходы мышления и присущие только властелинам страхи. И сыграть на этом можно великолепно.

Все шло, как обычно. Минос расспросил Тезея о происхождении, родственниках, прежних подвигах, буде таковые имеются, и, оставшись, по моим наблюдениям, довольным, отпустил его, ничего конкретного не пообещав, а дальнейшего я уже не видел и не слышал – вывел Тезея из тронного зала, и на

этом мое участие в церемонии закончилось, о чем я нисколечко не сожалел.

– Он не сказал ни да, ни нет, – обернулся ко мне Тезей, когда мы оказались в достаточно уединенном коридоре.

– Обычная блажь многих властелинов – оттягивать решающий миг, – сказал я. – Будь то объявление войны, завершение ее или, например, наш случай. Попытка царя внушить себе и окружающим, что он сохраняет некую верховную власть над событиями. Успокойся, он вскоре решится. Как тебе понравились наши войска?

– Вымуштрованы неплохо, – сказал Тезей. – Только опыта, по–моему, им не хватает – в вашу землю давно уже никто не вторгался.

– Да, – сказал я. – Но мы воюем. Правда, давно предпочитаем воевать за пределами Крита. Нас боятся, и еще как боятся…

– Ну еще бы, запугали соседей своим чудищем…

– Государственная мудрость – штука тонкая, – сказал я. – Иногда она в том, чтобы воевать, иногда в том, чтобы не воевать.

– Но почему ты стремишься, чтобы я его убил? Ведь он, не в последнюю очередь, основа вашего благополучия?

У парня острый ум, не замутненный волнением, подумал я и сказал:

– У нас, знаешь ли, каждый делает, что хочет, и промышляет, чем может. К тому же ты помнишь – воля богов. Ну, как тут с ними спорить? Просто никакой возможности нет, я человек богобоязненный.

Горгий, начальник стражи Лабиринта

– Ариадну я встретил в парке, у подножия статуи великого Сатури, отца Миноса. Вернее, она меня встретила – явно ждала, я понял это по тому, как она порывисто подалась навстречу.

– Что решил отец?

– Ничего определенного. Он подумает.

Она опустила голову. Плохо я разбираюсь в женщинах – кто их вообще понимает? – но угадать ее волнение мог бы и болван – она еще в том возрасте, когда плохо умеют скрывать мысли и чувства. Жаль, что с годами это проходит, как жаль, что не дано нам всем навсегда остаться чистыми душой, откровенными, прямыми… как на войне, где нет места двусмысленности и лжи. Священный петух, ну почему я все меряю войной и все с ней сравниваю? Двадцать лет я не воевал. Что за отрава таится в звоне мечей и грохоте подков, что за сладкая отрава? И почему меня вдруг потянуло на такие мысли? Старею? Конечно. А вот мудрею ли?

– Сядем, если ты не спешишь? – спросила она. Я сел с ней

рядом на теплую каменную скамью. Зеленая ящерка бесшумно скользнула прочь, всколыхнув траву.

– Горгий, я красивая? – спросила она вдруг. – Меня можно полюбить?

– Почему ты задаешь такие вопросы именно мне?

– Захотелось. – Она лукаво улыбнулась. – Ты ведь еще в том возрасте… И знал много женщин, как всякий солдат, я много слышала о солдатах. И ты обязан говорить правду, потому что солдаты, ты сам говорил, самые правдивые люди в мире. Ну?

– Ты красивая, – сказал я.

Ненависть к Пасифае я никогда не переносил на Ариадну – я не придворный, я солдат. Наверное, симпатию к Ариадне я испытываю потому, что она – на распутье, она чиста и открыта, я желал бы ей в дальнейшем всегда оставаться такой. Женщина и подлость, женщина и зло, криводушие, я считаю, – вещи изначально несовместимые. Почему–то те отрицательные черты, которые мы сплошь и рядом прощаем мужчинам, продолжая не без оснований числить их в своих друзьях и сподвижниках, в женщинах нам нетерпимы. Может быть, это идет от почтения, которое мы испытываем к Рее–Кибеле, великой праматери всего сущего? Или есть другие причины и кроются они в нас самих – это подсознательное желание всегда видеть женщину чистой, лишенной всяких грехов?

– Как мы скучно живем, Горгий, – сказала Ариадна.

– Ты думаешь?

– Да. День, ночь, день, ночь, завтрак, обед, ужин… Мне скучно, понимаешь? Я – всего лишь глупая девчонка, запертая в этом нелепом и угрюмом древнем дворце. О многом хочется поговорить…

– Но вот подходит ли в наперсники юной царевне старый солдат?

– Он–то как раз и подходит, – сказала Ариадна. – Есть между нами много общего, тебе не приходило в голову?

– Нет, – сказал я. – Что же?

– И у девушек, и у солдат есть свои любимые героини и герои, которым хочется подражать. У тебя был такой в твои семнадцать лет?

– Еще бы, – сказал я. – Геракл, Ахилл, Гектор, Патрокл. Тогда только что кончилась Троянская война, мы им всем ужасно завидовали. Война, в которой мы, юнцы, усматривали что–то романтическое и возвышенное. Чеканные речи богов и героев, благородные воители, блеск оружия. Потом нам самим пришлось повоевать, и мы задумались над кровью и грязью Троянской войны, ее неприкрашенной грубой правдой. Площадная брань

Одиссея, набросившегося с кулаками на пожелавших уплыть домой солдат, уставших торчать под неприступными стенами; волочащееся в пыли за колесницей Ахилла тело Гектора; жалкий, плачущий Приам, пришедший ночью в лагерь осаждающих выкупить тело сына; Кассандра, изнасилованная в храме, у алтаря; ночная резня на улицах; Одиссей, оклеветавший своего товарища по оружию и погубивший его… Искупает ли все это обращенная к победителям лучезарная улыбка Афины? Я отдал войне годы и годы, но война – это трудная и грязная работа и не более того, не ищите в ней романтики.

– Вот видишь, – сказала Ариадна. – Тогда ты должен меня понять. Я завидую Андромеде, ее истории и истории Медеи, завидую Елене Прекрасной, из–за которой и разразилась такая война. Что в ней такого плохого и необычного, в этой зависти, ведь правда?

– Ничего плохого, – сказал я.

Что мне ей сказать? Она права, я ее прекрасно понимаю. Но…

Пожалуй, только история Андромеды воистину романтична, без малейшего изъяна, и Персей, убивший Горгону и дракона, имеет полное право именоваться героем. Что касается Язона, это был обыкновенный набег в поисках богатой добычи – как еще можно назвать похищение золотого руна, составлявшего законную собственность царя Ээта? Я ничего не имею против похода Язона, таковы уж правила войны, я и сам воевал по таким, но это, как ни крути, был обычный набег, ничем не отличавшийся от похода Элаши на атлантов. Разница только в том, что нам не подвернулось юных царевен и мы остались невоспетыми.

О Елене Прекрасной я и не говорю. Оставим в стороне то, что после смерти Париса она утешилась мгновенно и вернулась к Менелаю не прежде, чем сменила еще несколько мужей. Обратимся к известным нам точным датам – ахейская армада отплыла к Трое через три дня после похищения Елены, вернее, ее добровольного бегства с Парисом, использованного, без сомнения, как предлог. Не знаю, кто задумал «похищение», но каждый человек, имеющий военный опыт, поймет, что налицо – топорно сработанная ложь. Узнав, что их прекрасная Елена похищена, ахейцы бросились в погоню, гонимые естественным желанием восстановить справедливость… Успеть собрать за эти три дня флот более чем в тысячу кораблей и десятки тысяч воинов – греков и жителей десятка других стран, весьма отдаленных друг от друга? Спросите любого бывалого солдата, и он ответит, что подготовка к такому походу займет не менее полугода. Интересно, что пришлось бы придумывать ахейцам, окажись Парис недостаточно расторопным или робким?

Но я не мог объяснить все это Ариадне – она бы просто не поняла. Невозможно вот так, одним махом, разделаться со множеством красивых сказок и заставить поверить, что все было проще, мельче, грубее. Для этого нужно время, юные не терпят мгновенного краха романтических иллюзий. Для этого Ариадне нужно самой накопить кое–какой жизненный опыт, научиться отличать вымысел от действительности, правду от лжи. Но ведь можно же ей как–нибудь помочь уже сейчас?

И тут мне пришла в голову горькая и трезвая мысль: чем я–то лучше тех, кто спровоцировал «похищение» Елены и рассказывал сказочки о праведном гневе ахейцев, чтобы как–то оправдать нападение на Трою? Тех, кто усиленно приукрашивал войну? Никакого права я не имею не то что судить – ругать их. На мне самом тяжелый груз – Лабиринт и сорок три трупа. Так–то, брат…

Над аккуратно подстриженными деревьями, над аллеями, над дворцом далеко разнесся отвратительный рык – Бинотрис сегодня был определенно пьян в стельку. Впрочем, он всегда пьян, счастливый человек, ему не нужно убивать. А Харгос вынужден красить волосы.

У Ариадны было такое лицо, словно она сейчас расплачется. Бедная девочка, подумал я, она слышит этот рев с раннего детства, привыкнуть к нему, конечно же, не может, как и все остальные, и, как все остальные, искренне ненавидит и боится обитающего в сырых подземельях чудовища.

– Слышишь? – сказала Ариадна. – И он должен будет пойти туда, а сколько храбрецов там сгинули! Горгий, ты любил когда–нибудь?

Любил ли я? Моя первая женщина тридцать лет назад, не могу вспомнить ее имени, да, мы с ней шептали друг другу какие–то глупые слова, когда она провожала меня в порту. Не помню, куда все исчезло, и куда исчезла она, и встречались ли мы, когда я вернулся. Ну а потом – и просто женщины, и женщины, к которым я, пожалуй, испытывал нечто большее, чем просто интерес и желание, и разные истории в походах, и моя жена, мать моих сыновей.

– Пожалуй, любил, – сказал я.

– Он пойдет в Лабиринт, – сказала Ариадна, не слушая.

Дурак я дурак, раньше можно было догадаться. Я взял в свою руку ее тонкие теплые пальчики, унизанные тяжелыми перстнями, заглянул в глаза. Она жарко покраснела.

– Тезей? – спросил я.

Она кивнула, зажмурившись, и долго не открывала глаз. Что я мог ей сказать? Мои мальчишки для меня понятны и близки, но дочери у меня нет.

– Ты уверена, что это серьезно?

Она кивнула.

– Знаешь, – осторожно подыскивая слова, начал я, – бывает, только покажется, что это серьезно, особенно если впервые.

Священный петух, легче было прорубать дорогу в рядах хеттской пехоты!

– Но ведь это не впервые, Горгий, – сказала она. – Первое, несерьезное, чувство уже было. Не думая, были только поцелуи и слова, но я умею теперь отличить несерьезное от настоящего, взрослого.

– Это хорошо, – сказал я.

– Он тебе не нравится?

– Отчего же, – сказал я.

Я не лгал – он мне действительно нравился. Лихой и хваткий парень, безусловно не трус – успел повоевать, а теперь решился на поединок с чудовищем, прекрасно зная о судьбе сорока трех своих предшественников и не зная правды о Минотавре. Но если Минос разрешит ему идти в Лабиринт, как я потом посмотрю в глаза Ариадне? Хватит, устал от этой проклятой службы. Предупредить его, поговорить откровенно? А поверит ли он? Я поверил бы на его месте? Вряд ли.

– Он погибнет, – сказала Ариадна. Тень статуи Сатури медленно–медленно наползала, заслоняя от нас солнце. – Он же погибнет там. К чему лавровый венок героя, лишь бы он остался жив.

Вот и выход, подумал я. Он устраивает всех. Я заставлю Миноса решиться, и поединка не будет, рухнет ложь. Тезей останется живым и невредимым – это во–первых. Ариадна, узнав об истинной сути Лабиринта и Минотавра, волей–неволей вынуждена будет серьезно задуматься над соотношением в жизни правды и лжи, более критически станет смотреть на красивые сказки, научится отличать истину от вымысла. Повзрослеет. Без сомнения, хороший урок. Она поймет, что я не мог поступить иначе, и Минос не мог поступить иначе.

– Ты мне веришь? – спросил я.

– Как ты можешь спрашивать? – Она не отнимала руку.

– Я клянусь священным быком, священным петухом и священным дельфином – все будет хорошо. Он останется жив, это так же верно, как то, что сейчас светлый день. Больше я тебе ничего не скажу – не время пока. Но ты должна верить – будет так, как я сказал, и никак иначе.

– Я тебе верю, Горгий. – Ее глаза сияли. – Верю, как…

Она вскочила и побежала прочь, звонко стучали ее сандалии по старинным плитам дорожки. Пожалуй, я гожусь–таки в отцы

взрослой дочери, подумал я. Я все рассчитал верно, теперь нужно постараться, чтобы все это исполнилось. Ариадну это многому научит, а я обрету наконец желанное успокоение души, сниму с себя часть вины – часть, потому что всей все равно никогда не снять…

Я увидел медленно идущего по аллее главного сопроводителя – какой–то мелкий случайный человечек, чей–то дальний родственник, по чьему–то покровительству получивший должность. Ничуть он меня не заинтересовал – сразу видно, что особенным умом не блещет, как и талантом.

Он почтительно поклонился. Я кивнул и отвел от него взгляд, но он, кажется, и не собирался проходить мимо.

– У тебя ко мне дело? – сухо спросил я.

– И не только у меня, – сказал он.

– То есть?

– Между прочим, меня зовут Рино.

– Мое имя ты знаешь. Что тебе нужно?

– Мне нужно знать, – он со смелостью, которой я от него никак не ожидал, посмотрел мне в глаза открыто и честно, – не надоело ли тебе ходить в палачах? Сорок три человека – это немало.

Ну вот, устало подумал я, вот и задали мне этот вопрос вслух… Наверное, мое лицо стало страшным, но он ничуть не испугался, смотрел спокойно и чуточку устало. Я солдат и ценю в людях храбрость, поэтому я подавил рвущийся наружу гнев и спросил тихо:

– Ты понимаешь, что я с тобой обязан сделать?

– «Обязан» и «хочу» – разные вещи, верно? – спросил он.

– Как ты ухитрился проникнуть в тайну?

– Да раскрой ты глаза! – сказал он устало и досадливо. – Вашу тайну знает каждый на Крите. Я говорю не от своего имени, Горгий. Я – народ Крита, я – его голос, и я спрашиваю тебя: до каких пор это будет продолжаться? Или ты думаешь, народу безразлично, что вы, храбрые солдаты в прошлом, превратились в шайку палачей? Может быть, ты считаешь, что народ – это только вы, живущие во дворце? Только ты и твоя стража? Двадцать лет народ Крита живет в страхе перед мнимым чудовищем, и вот он прислал меня спросить у тебя: когда же придет конец? Ведь ты – главный виновник.

– Разве я – главный виновник? – спросил я. – Я выполняю приказ Миноса, а Минос был вынужден так поступить, вернее, двадцать лет назад он принял неверное решение.

Я поймал себя на том, что оправдываюсь, – но разве потому только, что растерялся? Что страшного в том, что мне хочется

оправдываться, что пришло время оправдываться? Настало время.

– Приказ, – сказал Рино. – Обстоятельства. Неверное решение. Весь набор убаюкивающих отговорок, которыми мы привыкли обманывать других и в первую очередь себя. А о таких вещах, как совесть, честь, человечность, вы разучились думать? Или тебя ничуть не интересует, что думает о тебе народ Крита?

– Ты все хочешь уверить, что…

– Священный дельфин, да весь Крит знает, что у вас тут творится! Люди молчат, понятно – кому хочется быть разорванным лошадьми? Но… Тебя знали как смелого воина и честного человека, Горгий.

– Но Минос…

– А ты – невинное дитя, едва ступившее в жизнь? Что ты все валишь на Миноса? Ты–то сам попытался сделать что–нибудь, чтобы помочь томящемуся там? – Он указал на серую громаду Лабиринта.

– Подожди, – сказал я. – Значит, ты…

– Да, – сказал Рино. – Я пришел от имени и по поручению народа Крита. Мы не хотим; чтобы и дальше плелась изощренная ложь, чтобы по–прежнему умирали ничего не подозревающие молодые храбрецы. Теперь смерть ожидает Тезея, а ведь они с Ариадной любят друг друга.

– Он тебе говорил? – вырвалось у меня.

– Иначе откуда бы я знал?

– Я могу тебе доверять?

– Как можно не доверять тому, кто требует ответа от имени народа? – сказал Рино.

– Хорошо, – сказал я. – Я долго ждал своего часа, и этот час настал. Я твердо решил уговорить Миноса положить всему этому конец. И я его уговорю, клянусь священным петухом.

– Нужно завтра же решить судьбу Минотавра, – сказал Рино. – Нужно торопиться.

– Почему? Ты что–нибудь знаешь?

– Доверие за доверие, – сказал Рино. – Ты знаешь, что из Феста и Амниса на Кносс движутся подкупленные Пасифаей войска?

– Я знал, что она пыталась заигрывать с частью армии, но, клянусь священным быком, не подозревал, что дело зашло так далеко. Что она задумала?

– Взять Лабиринт штурмом.

– Это невозможно, – сказал я. – Во дворце я смогу продержаться хоть целый год. Мои солдаты…

– Кроме твоих солдат, во дворце есть и солдаты Миноса, не правда ли? Как он поступит, предсказать трудно. В любом случае,

ты представляешь, какой кровавый клубок завяжется, какая долгая и кровавая неразбериха? Война между критянами – такого не было уже несколько веков. Мы просто обязаны это предотвратить.

– Обязаны, – согласился я. – Ты уверен, что войска уже выступили?

– Они движутся ускоренным маршем. Через сутки они будут здесь. Нужно их остановить.

– Остановим, – сказал я. – Начальник конных полков в Аргилатори – мой старый друг, он все поймет. Аргилатори гораздо ближе, самое позднее к завтрашнему полудню конница войдет в Кносс. Своих людей я сейчас же поставлю на ноги.

– И расставь завтра на всякий случай вокруг тронного зала своих людей, – сказал Рино. – От Пасифаи всего можно ожидать. Здесь у нее тоже есть своя стража, и это отнюдь не худшие солдаты нашей армии…

– Ты прав, – сказал я. – Учту и это. Послушай, ты никогда не был солдатом? Очень уж хорошо ты все рассчитал.

– Увы, нет, – сказал Рино. – Я сын гончара и никогда не держал в руках оружия.

– Благодарю тебя, – сказал я. – Иди, не стоит, чтобы нас видели вместе.

Он скрылся за поворотом. Я сидел и смотрел, неотрывно смотрел на серую громаду Лабиринта, мрачным утесом все эти годы нависавшую над дворцом, над нашими судьбами, нашим безмятежным счастьем, нашими спокойными снами. Но час пробил, я вновь почувствовал себя молодым, а ложь должна была рассыпаться в прах.

Я достал золотую дудочку и свистнул особенным образом. Бесшумно возник солдат.

– Оседлать лучшую лошадь для гонца. Ночной пропуск ему для всех застав. Пусть разыщут Сгуроса и соберут во дворец всех наших людей. И быстро!

Тезей, сын царя Афин Эгея

– Что–то здесь было не то, что–то неладное разлито в воздухе, то ли сам этот воздух чуточку иной на вкус, то ли темнота, стиснутая каменными стенами, чем–то отличается от обычной ночи. Не могу понять, что насторожило меня и здесь, во дворце, и вообще на Крите, но я верю своим предчувствиям, никогда еще они меня не обманывали. Хватило времени в этом убедиться. И перед злосчастным походом в Кикир я пытался было отговорить беднягу Пиритоя – я знал, я был твердо уверен, что он найдет там смерть, – но он не послушал. Были и другие случаи. Нет, никакого пророческого дара, подобного тому, каким

обладала Кассандра, у меня нет. Просто предчувствие.

Я подошел к самому краю галереи, к массивным каменным перилам – они опирались на статуи вздыбленных леопардов. Громада Лабиринта заслоняла половину ночного неба, половину звезд, снизу доносились тихие шаги часовых. Хоть бы скорее все кончилось! Предсказание богов остается предсказанием богов, не дерзну сомневаться в нем, но воспоминание о сорока трех, не вернувшихся отсюда… Неужели я не верю в себя? Ведь именно мне предначертано. Разве так уж трудно быть уверенным в себе? Я всегда верил в свой шанс, что же, разве эта яростная вера покинет именно теперь, перед бронзовыми воротами в три человеческих роста, и окажется, что она была лишь соской для младенца, а не ясным прочтением своего будущего? Отступать никак невозможно, бегство – позор на всю Элладу и полное крушение планов, я должен сам себя силой втолкнуть в Лабиринт.

Легкие шаги возникли из тишины и оборвались за моей спиной.

– Я пришла, – раздался девичий голос.

Я обернулся без напрасной порывистости. Она стояла передо мной и смотрела мне в глаза, тоненькая, загадочная – женщины в ночной тишине почему–то всегда кажутся загадочными. Нужно было найти какую–то удачную фразу, после которой все двинулось бы вперед естественно и свободно, как лодка по течению.

– Я знал, что ты придешь, – сказал я.

– Правда?

И тут я понял, что, несмотря на весь свой опыт, понятия не имею, как разговаривать с этой милой девочкой, которая ждет чего–то невыносимо возвышенного и придет в растерянность от всего, что не будет соответствовать ее представлениям. Аид ее знает, какие у нее представления. Мой опыт несколько другого рода.

Минотавр мне помог, как ни смешно. Отвратительный, леденящий душу вой разнесся над спящим дворцом, у меня мурашки по спине поползли, а Ариадна подалась ко мне и было бы просто не по–мужски не обнять беззащитную испуганную девушку и не прижать ее к груди. Что я немедленно и сделал.

– Это чудовище… – прошептала она, прижимаясь щекой к моему плечу. – Как ты решился?

Так, подумал я. Следовательно, сначала будут долгие разговоры, ее восторженный лепет и мои решительные веские ответы. Ну ничего, все равно предстоит скоротать невеселую ночь. Интересно, что в таких случаях шептал на ушко женщинам

дядюшка Геракл? Знал бы заранее – обязательно бы расспросил.

– Должен же кто–то решиться, – сказал я и добавил: – Я ожидал встречи с чудовищем, но не ожидал встретить здесь такую девушку…

Неплохо, похвалил я себя. В лучших традициях бедняги Пиритоя – тот иногда воображал для разнообразия, будто романтически влюблен и форменным образом блевал тогда изящной словесностью.

– Значит, ты тоже? – прошептала она.

– Ну, конечно, – сказал я. Сейчас спросит, любил ли я кого–нибудь там, в Афинах.

– Ты любил кого–нибудь там, в Афинах? – спросила она.

– Нет, – сказал я. – Не довелось, потому что времени не было – дрались с пиратами, ходили на войну. Любовь… Друга я потерял из–за этой самой любви. Золотой был малый, любил без памяти прекрасную женщину. Пиритоем его звали. И убил его из ревности ее муж, мерзкий старикашка. Ариадна вздрогнула и теснее прижалась ко мне. Ох, погоди, Эдоней, сволочь старая, попадешься ты когда–нибудь мне в руки, припомню я тебе и Пиритоя, и наших парней, и свой собственный покусанный зад… Сейчас она понесет что–нибудь насчет того, что у нас, разумеется, все будет иначе и мы окажемся счастливее.

– Но мы будем счастливее, правда? – спросила она.

– Да, – сказал я.

– Ты вернешься с победой, я верю.

Я счел, что разговоров достаточно, поднял ее голову и крепко поцеловал. Ее тело напряглось, но лишь на миг, и на поцелуй она ответила довольно умело. Интересно, подумал я. Не похоже, что дочка удалась в маму, но кое–какие уроки она определенно получила.

– Ну а ты? – спросил я, когда настало время перевести дыхание. – У тебя был кто–нибудь?

– Это все было по–детски, – сказала Ариадна. – Мне даже казалось, что я его люблю, пока я не увидела…

– И как далеко зашли? – спросил я голосом квартального судьи.

– Не думай обо мне так, Тезей. – Она накрыла ладонью мои губы. – Не было ничего, почти игра. Он обыкновенный и навсегда останется обыкновенным. Что за доблесть – стоять на страже у Лабиринта.

Ну, никак вы не желаете удовольствоваться обыкновенными, раздраженно подумал я. Вечно вам подавай нечто из ряда вон выходящее. Медея, мачеха моя дражайшая, – пополам бы стерву разодрали – тоже сломя голову кинулась однажды из отцовского

дома за таким вот необыкновенным, но чем все кончилось? Бросил ее Язон по дороге, золотое руно его как–то больше интересовало. Что же, люби необыкновенного, сводная сестрица твари из Лабиринта, и я тебя буду любить, надолго запомнишь.

Я ласкал ее намеренно грубо, но она покорно подчинялась, может быть, верила, что славные герои только так себя с женщинами ведут, накануне поединка с чудищем особенно – огрубели среди чудовищ, что с нас взять? – и я почувствовал легкий стыд – все–таки невинное создание с полным сумбуром в голове. Но что поделать, испокон веку женщинам кружили головы, лгали без зазрения совести и использовали для мимолетных удовольствий, с какой же стати и за какие достоинства Ариадна должна быть исключением? Пожалею я – найдется другой, не столь щепетильный.

– Не нравится мне эта галерея, – сказал я. – Давай лучше переберемся туда, где нас никто не увидит. Мне столько хочется тебе сказать…

Особой игры здесь не было, не в одном желании дело – я сам вырос во дворце и знаю, что у стен есть уши, а у щелей глаза. А эта проклятая галерея открыта всем взглядам, и то, что сейчас ночь, ничего не меняет – дворец и по ночам живет насыщенной жизнью, разве что более потаенной. И кто знает, как папа Минос посмотрит на то, что приезжий храбрец, прежде чем сразиться с чудовищем, в первый же вечер пытается соблазнить царскую дочку?

– Что же ты?

Ариадна замерла настороженно, стала на миг далекой и недоступной, как звезды над Лабиринтом. Ну ничего, обнять поласковее, поцеловать понежнее, с налетом грусти шепнуть на ушко:

– А говорила, что любишь…

– Пойдем, – решительно сказала Ариадна и взяла меня за руку.

Я шел следом за ней по едва освещенным коридорам, старался ступать как можно тише. Ариадна вела меня к своей спальне кружным путем, обходя часовых, а в голове у меня почему–то вертелось одно давнее воспоминание детства. Мне было тогда лет семь. Я играл с мальчишками, во двор вошел Геракл, и через плечо у него была перекинута еще пахнущая свежей кровью только что содранная шкура Немейского льва. Даже сама по себе шкура эта внушала страх, мальчишки с криками разбежались, и только я заскочил на кухню, схватил топор и вернулся во двор. Так и было – не испугался, не убежал с воплями, а кинулся за топором. Кто–то из дворцовой челяди стал

смеяться, но Геракл надо мной не смеялся, я прекрасно помню. Потом мы часто играли на шкуре, Геракл подарил ее нам, она постепенно ветшала, а лет пять назад как–то незаметно исчезла.

Какие–то нелепые застежки для женских хитонов, совсем не похожие на наши, делают тут у них на Крите. Ладонь до крови уколол.

Пасифая, царица Крита

– Утро было прекрасное, как радуга, утро исполнения желаний. Я верила, что сегодня все решится, что и сама громада Лабиринта рассыплется вдруг серой тучей взвихренной пыли, и ветры тут же разнесут эту пыль во все стороны света, далеко–далеко, без возврата. Утро было как капля росы на бархатистом лепестке розы, как омытый родниковой водой драгоценный камень, мне хотелось любить всех, и когда вошла Ариадна, я подхватила ее и закружила по комнате, словно вернулась моя молодость и ее раннее детство. Но мое веселье ей не передалось, она была бледна, под глазами лежали тени.

– Ты плохо спала? – спросила я.

– Хорошо, – ответила она быстро. – Говорят, он сегодня идет в Лабиринт…

Бедная девочка, подумала я, нельзя намекнуть ей пока и словом, ей предстоит еще несколько часов провести в тревоге.

– Он настоящий мужчина, – сказала я. – А их участь – идти в бой для счастья других.

– Такие запутанные коридоры… – жалобно, совсем по–детски сказала она.

– Но ты ведь можешь ему помочь сократить путь, – сказала я. – Хочешь?

– Как?! – Она верила и не верила.

– Ты отдашь ему вот это. – Я открыла шкатулку. – Запомни хорошенько – начать он должен с этого знака.

На тяжелой золотой цепочке – два десятка золотых дисков с выгравированными на них разнообразными знаками. Коридоры Лабиринта неимоверно запутанны и длинны, но с помощью этой цепочки до центра можно добраться в считанные минуты. Когда из круглого зала (их двадцать в Лабиринте), расходится несколько коридоров, идти следует по тому, что отмечен соответствующим диску знаком. Вот и все, просто до гениальности – еще одно изобретение Дедала, созданное им на прогулке в саду, в час отдыха.

– Ты отдашь ему это сейчас же, – сказала я. – Запомни и не перепутай – начинать следует с этого знака…

Она убежала, забыв поблагодарить, и я подумала, что она чересчур уж увлечена Тезеем. Даже подозрения стали

закрадываться по поводу этой ее бледности.

– Ну да, и что это меняет? – раздался насмешливый голос.

Я отдернула полог. Рино сидел на ложе, и от его взгляда мне самой стало смешно – неужели и он, при всем своем опасном уме, полагает, что приобрел теперь какие–то права и привилегии, хотя бы право на этот тон? У многих из тех, кто побывал здесь, почему–то возникали такие мысли, и я умела тут же пресекать грубые поползновения на власть надо мной, у меня был большой опыт.

– Я говорила вслух? – спросила я холодно.

– Вот именно. – Он встал и упругим звериным шагом прошелся по комнате. – Видимо, это от радости, ты сияешь, как облапошивший клиента финикийский ростовщик.

– Ты думаешь, что…

– Ничего я не думаю, я знаю. – Он кивнул, зевая. – Твоя дочь сегодня ночью узнала много нового о мужчинах. Дело житейское. Смотришь, бабушкой станешь вскоре…

Почему–то прежде всего я почувствовала злость не на него:

– Клеон совсем обленился…

– Да все он знает, – сказал Рино. – Только, разумеется побоялся тебе доложить. Жалкий все же человечек, никак не в состоянии быть беспринципным до конца.

– Может быть, ты рассчитываешь занять его место?

– Никоим образом. Заниматься мелкими делишками вздорной бабы… – Он рассмеялся. – Ты потянулась к колокольчику? А ты не думаешь, что я тебе еще нужен?

– Нужен, – сквозь зубы сказала я. – Но если ты вообразил, что теперь можешь…

– Я никогда ничего не воображаю, – сказал Рино спокойно и серьезно. – Я всего лишь хочу потешить свое самолюбие и лишний раз вспомнить, что сын гончара с нищей окраины Кносса провел ночь с царицей Крита. Правда, мое торжество омрачено количеством моих предшественников. Впрочем, не бывает худа без добра – благодаря этой сотне моих предшественников с тобой не скучно.

– Ты надо мной издеваешься?

– Нет, – сказал Рино. – Позволю роскошь думать вслух и не скрывать своих недостатков, к коим относится и необходимость тешить иногда ущемленное нищим детством и трудной молодостью самолюбие. Твои недостатки, выставленные тобой же на всеобщее обозрение, перестают быть недостатками.

Жаль, что придется его убить через час–другой, подумала я. Но иначе нельзя – талант, который служит тебе для тайных дел, не должен вырасти выше определенной высоты, обязан иметь

свой предел. Клеон коварен, но недалек, Рино коварен и талантлив – Клеон предпочтительнее.

Да и стоит ли сердиться на человека, который не увидит сегодняшнего заката, на живого мертвеца? Можно даже из блажи снести его грубости и быть с ним поласковее – в этом, ко всему прочему, есть что–то пикантное.

– Интересно все же знать, как ты рассчитываешь уговорить Миноса? – спросила я.

– Секреты ремесла, – сказал Рино. – Твой Минос – большая умница и большая сволочь.

– Во втором я никогда не сомневалась.

– А я исхожу из первого. Знаешь ли, в том случае, когда человек, обладающий качеством большой сволочи, применяет эти качества лишь на ниве государственных дел, обычный эпитет «большая сволочь» уже никак к нему не подходит. Нужно выдумать что–то новое.

– Не испытываю желания этим заниматься, – сказала я.

– Дело твое… Точно так же эпитет «ужасная шлюха» для тебя не годится, потому что все твои мужики – лишь средство поднять тебя в своих собственных глазах. Действительно, в чем тебе еще самоутверждаться? На войну не отправиться – ты не мужчина и не амазонка. Государственной деятельностью женщины у нас не занимаются, не принято. Вот и остаются бесконечные любовники.

Пожалуй, он заслужил легкую смерть, подумала я. Обойдемся без глупых пыток – никакого удовольствия мне не доставят его страдания. Пусть уж мгновенный и милосердный удар кинжала. Он заслужил, право.

– Кстати, – сказал Рино. – Как получилось, что мы ни словом не упомянули о сумме, в которой выразится мое вознаграждение за работу?

– Подразумевалось, что оно будет достаточно велико, – сказала я, ничуть не растерявшись, села рядом с ним на ложе и ласково погладила по щеке. – Ты сомневаешься в моей благодарности за долгожданное избавление?

– О, ничуть. – Он не улыбнулся, просто обнажил зубы. – Твоя благодарность будет горячей. Кстати, сколько у тебя дочерей?

– Ты же знаешь, – сказала я, внутренне сжавшись от неожиданности.

– Ну да, две, прекрасные царевны Ариадна и Федра. Рассказать тебе сказку? В Аргилатори под присмотром одной молчаливой и нелюдимой женщины живет очаровательная девочка пяти лет. Неизвестно, кто ее отец и мать и где они, неизвестно, кем ей приходится эта женщина и откуда они приехали в город. Одно несомненно – это милая крошка ни в чем

не нуждается. Описать тебе, как выглядит она, ее дом, ее угрюмая няня? Сказать, кто был ее отцом? Сама знаешь… Сиди, паршивка!

Я рванулась – плечи словно палаческими клещами сжали. Я склонилась к его руке, чтобы вцепиться в нее зубами и с наслаждением почувствовать во рту его кровь, но Рино наотмашь ударил меня, потом разжал пальцы, и я зарылась лицом в подушки, задыхаясь от ярости и страха. Рино тут же перевернул меня лицом вверх.

– Пока жив я, жива она. – Его голос проникал под череп, иглами входил под кожу. – Она жива, пока жив и здоров я. Тебе понятно? Понятно, спрашиваю?

– Да, – сказала я. По лицу ползли слезы. – А теперь убирайся, слышишь?

– Потом, у меня еще есть время. – Он с бесцеремонностью, в которой было обдуманное оскорбление, расстегнул застежку моего хитона. – Могу я немного себя потешить перед столь важной беседой в тронном зале?

И тогда я заплакала навзрыд, в голос – от унижения и бессилия. Ничего нельзя было сделать, впервые появился человек, который был сильнее меня.

Слезы текли по щекам, и я прошептала:

– С каким удовольствием я бы тебя задушила собственными руками…

– До чего банальная реплика, – сказал Рино. – Охотно верю. Это–то и делает наше свидание чрезвычайно романтичным, дорогая моя высокая царица. Перестань хныкать, стерва…

Сгурос, помощник Горгия, начальника стражи Лабиринта

– Зачем это понадобилось Горгию, я не знал, но приказ есть приказ, и я расставил тридцать человек на дворцовых лестницах, в коридорах и вокруг тронного зала.

Что–то назревало, воздух стал тяжелым и густым. Всех стражников, даже тех, кому полагался отдых, собрали в казарме, куда–то ускакал лучший и преданный гонец Горгия, караулы велено было удвоить.

А с восходом солнца меня позвал Горгий, объяснил, что я должен делать, услышав условный сигнал. Он ничего не сказал более, но все было ясно: план рассчитан на то, чтобы обезвредить отряд телохранителей Пасифаи и защищать дворец так, словно ему угрожала осада, причем наши люди должны были опираться на поддержку каких–то других войск, которых в настоящее время в Кноссе не имелось.

Можно было догадываться, что должно произойти, – я достаточно долго пробыл при дворце и на этой должности. Против кого мы должны драться, я мог сказать с уверенностью, но

не совсем понимал, за кого.

И вдруг все головоломные сложности, загадки отлетели прочь – передо мной стояла Ариадна. Я невольно потянулся к ней, но она отстранилась:

– Пропусти, я спешу.

Но остановилась все же. Что–то новое я увидел в ней – в повороте головы, во взгляде, в легкой улыбке, обостренным чутьем я улавливал перемену, но понять ее не мог.

– Ариадна…

– Считай, что ничего не было, – сказала она. – Понимаешь? Ровным счетом ничего.

– Но почему?

– Поздно, – сказала она. – Не все ли равно, почему, если поздно?

– Ты говорила, что любишь.

Она улыбнулась легко и открыто, но эта улыбка предназначалась не мне:

– Тебе это говорила глупая девочка. Сейчас перед тобой чужая женщина и чужая жена.

Сердца не было. Я дышал, но сердце лежало в груди твердым неподвижным комом, я все понимал, и каждое слово по отдельности, и все вместе, а вот сказать ничего не мог.

– Как же? – только и смог я выговорить.

– Как это и бывает в жизни, – сказала Ариадна новым, незнакомым, чужим голосом. – Я встретила настоящего человека.

– А я был папирусным?

– Ты был другим, – сказала Ариадна. – Если подумать, ты был никаким. Что ты успел сделать за свои двадцать пять лет? Проверял караулы, ругал часовых – почти сторож у склада товаров. А он воевал, дрался с пиратами, теперь будет сражаться с этим чудищем.

– Да с кем драться – никакого чудища нет! – Я пожалел об этих словах, но было уже поздно.

Как раз в это время над дворцом разнесся отвратительный рев.

– Может быть, и рев этот мне чудится? – В ее улыбке была отстраненность и даже, как мне показалось, брезгливость. – Ты уже сам не понимаешь, что говоришь. Пропусти. Я не хочу плохо думать о тебе, давай расстанемся спокойно.

Она уходила легкой и стремительной походкой, всегда казавшейся мне олицетворением нежности, радости и света, я смотрел ей вслед. Что–то неотвратимо уходило из жизни, может быть, уходила сама жизнь, исковерканная соучастием в грандиозной подлости, раздавленная серой громадой Лабиринта,

и в этот самый тяжелый свой миг я подумал: кто же все–таки виноват, что именно так все случилось?

И не нашел ответа.

Рино с острова Крит, толкователь снов

– Вот и настал великий час. Не буду лгать, что я не волновался, – любой на моем месте волновался бы перед решающим мгновением своего великолепного триумфа, так что мои руки заставил дрожать отнюдь не гаденький страх за собственную шкуру. Скорее меня можно было сравнить с полководцем перед сражением, с влюбленным новобрачным на пороге спальни, с мореходом, узревшим на горизонте никем прежде не достигнутую землю.

Я оставил Тезея у входа в тронный зал. Отворил тяжелую дверь. Пасифая выполнила мои указания: на троне сидел Минос, рядом стоял Горгий – при виде его унылой физиономии мне захотелось расхохотаться, – а больше в зале никого не было. Сверкала отражавшая лучики утреннего солнца мозаика работы непревзойденных наших мастеров, изображая деяния богов и героев, тускло поблескивало золото, Минос был величав и недвижим, как собственная статуя.

Я прошел положенное по церемониалу расстояние, воздев полагающийся мне по чину дурацкий жезл с золотым набалдашником в виде священного дельфина, остановился, опустил жезл, держа его, как погонщик волов палку с гвоздем, и вместо слов, которые мне полагалось произнести, сказал:

– Настало время задуматься о судьбе Минотавра, царь. – Последующий миг решал все. Сначала глаза Миноса полыхнули гневом при виде столь неслыханной дерзости, и он, схватив золотую палочку, потянулся к серебряному гонгу, но тут же отвел руку – он был умным человеком и государственным деятелем. Гнев сменился любопытством, любопытство – легкой рассеянностью во взгляде, свидетельствовавшей о начавшейся работе мысли. Наконец он сказал с пренебрежением, которое я расценил как напускное:

– А почему ты полагаешь, что у тебя есть право думать о судьбе Минотавра?

Он не стал тратить время на пустяки – выяснять мое имя, кто я такой и откуда взялся. Великий человек.

– По моему скромному мнению, – сказал я, – все, кто владеет такой тайной, должны в определенный момент задуматься над ней сообща. Такова уж эта тайна. Один способен подать верный совет или ухватить верную мысль, ускользнувшую от другого.

– Что же от меня ускользнуло? – спросил он совершенно спокойно.

– Веяние времени, – сказал я. – Очень уж ты привык к Минотавру, тебе стало казаться, что так будет вечно, а меж тем над вечностью не властны даже боги. Минотавр был хорош в не таком уж давнем прошлом, когда всевозможные чудовища казались привычной частью нашего мира, попадались на каждом шагу, околачивались едва ли не перед городскими воротами. Человек жил с ними бок о бок очень долго, но настало время, когда он начал беспощадно избавляться от них, чтобы не делить больше с ними власть над миром. Геракл, Персей и их последователи – вся эта публика поработала на славу. Лернейская гидра, Горгоны, стимфалиды, морские драконы и прочая нечисть истреблены, лишь отдельные твари остались в живых, но и они затаились в укромных уголках… «Мир только для человека» – вот девиз времени. Но что же мы видим? В самом центре преображенного мира преспокойно благоденствует Минотавр – уродливый пережиток навсегда ушедшего прошлого. Крит теряет свою репутацию, царь. О нас все громче и громче говорят как о дикарях, не желающих расстаться с грубыми привычками ушедшей эпохи. Мы и выглядим дикарями – с Лабиринтом и Минотавром, с данью людьми. Даже самое могучее государство не решится полностью игнорировать мнение о нем соседей. Ты рискуешь совершить самую страшную ошибку, какая только может подстерегать государственного мужа, – остаться глухим к веяниям времени и не перестроиться на новый лад. С Минотавром нужно покончить.

– С чудовищем Минотавром? – небрежно спросил Минос.

– С Минотавром, – глядя ему в глаза, сказал я. – С тем, кто заключен в Лабиринте.

Горгий смотрел на меня с рассеянной благожелательностью – он ничего еще не понимал.

– И что же ты предлагаешь? – спросил Минос.

– Сама судьба нам благоприятствует, – сказал я. – На Крит прибыл юноша, чей облик во всех отношениях соответствует образу благородного героя, – обладает некоторой славой, получил блестящее образование в Трезене, родственник Геракла. Отблеск совершенного им славного деяния ляжет и на тебя. Минотавр должен умереть от руки Тезея, и Крит избавится от всего, что может повредить нашей репутации.

– Царь… – Горгий впервые глянул на меня настороженно и тревожно.

– Подожди. – Минос оборвал его жестом. – Действительно, наши соглядатаи в других странах доносят, что мнение о нас как об отсталых дикарях ширится.

Но сколько денег я потратил, чтобы это мнение ширилось,

тебе не донесли, подумал я. Об этом знаю я один – да еще Пасифая, передавшая мне золото из сокровищницы. Так что тебя поносят купленные на твои же деньги крикуны, Минос, – мир полон парадоксов.

– А ты не думаешь все же, что достаточно могучее государство может преспокойно плевать на мнение соседей?

Конечно, я так думал. Играй я только на несколько проблематичной необходимости следовать веяниям времени, я наверняка ничего бы не добился. Но я начал так, чтобы Минос привык ко мне, к разговору со мной, понял, что я не просто рядовой интриган. Можно и переходить к главному.

– Существует значительный риск, – продолжал Минос. – Выгоды, связанные с существованием Минотавра, давно известны, изучены и привычны. А вот неожиданности, которые сулит изменившаяся ситуация, – как быть с ними?

– Доля риска в государственных делах необходима, – сказал я. – Совсем не рискует либо трус, либо лентяй, либо насквозь недальновидный государственный муж. Разве ты не рисковал двадцать лет назад, закладывая основы своего плана? Талантливого плана – спешу сразу же уточнить. Это не лесть, царь.

– Продолжай, – сказал Минос, его лицо было бесстрастно.

– Двадцать лет назад твоя жена рожает Минотавра, – сказал я. – Можно было придушить его тут же на месте, но ты нанял лучшего в мире мастера и создал Лабиринт, ты через своих людей поведал Криту и всему миру тайну происхождения Минотавра от Пасифаи и быка. Ты устрашил кровожадным чудищем соседние страны и собственный народ, всех стреножил и взнуздал страхом. Правда, для этого пришлось разгласить всему миру, каким ты оказался рогоносцем, но ради величия Крита ты пошел и на это, жертвовал мелочами вроде незапятнанной репутации счастливого в браке мужа и репутацией своей супруги, и ее душевным покоем. Очень уж многое ты выиграл, чудовище в Лабиринте неизмеримо укрепляло наше могущество. Я восхищен тем, что ты совершил. Наверняка эта идея пришла тебе в голову и оформилась в считанные часы, а то и минуты, когда за стеной кричал только что родившийся ребенок, о котором ты точно знал, что он не твой. Это было то, что именуют озарением, посещающим раз в жизни, верно?

– Ребенок? – переспросил Минос.

– Разумеется, обыкновенный человеческий ребенок, – сказал я. – Все я знаю – что Минотавр ничем не отличается от остальных людей, что он не более, чем сын Пасифаи и смазливого начальника конной сотни, которого ты приказал уничтожить ради

вящего сохранения тайны. Если бы Минотавр умер, если бы его никогда не было, его для блага государства следовало бы выдумать.

Минос молча смотрел на меня, и я могу поклясться, что в его глазах было уважение – мы поняли и оценили друг друга по достоинству.

– Разумеется, в свой план ты не посвятил этого болвана. – Я небрежно кивнул в сторону Горгия. – Таких выгоднее держать в неведении – лучше служат.

А на Горгия нельзя было смотреть без смеха – он напоминал преклонного возраста старую деву, вдруг с удивлением узнавшую, для чего на свете существуют мужчины. Мне хотелось рассмеяться, но момент был слишком серьезен – предстояло столкнуть их лбами.

Горгий сам облегчил мне задачу.

– Минос, это правда? – спросил он замогильным голосом. – У тебя с самого начала был четкий план?

– С первого писка этого ублюдка, я уверен, – сказал я. – Но перед тобой он, конечно, разыграл смятенного человека, оскорбленного мужа, запутавшегося в нелепых и непродуманных решениях, – как же иначе можно было сделать из тебя цепного пса и палача? Твою голубиную душу можно было пронять, лишь возбудив в тебе сочувствие и потребность выручить старого друга.

– Молчи, тварь! – Он схватился за меч. – Минос, это правда? Неужели правда?

– Ты отличный воин, Горгий, – сказал Минос вкрадчиво. – Но государственный муж из тебя никудышный, о чем ты сам, наверное, знаешь. Я должен был заботиться о благе государства, используя для этого любые средства. Никакой личной выгоды для себя я из этой истории не извлек, даже наоборот – как правильно заметил этот человек, сам ославил себя перед всем миром как рогоносца. Все делалось для блага и процветания Крита, и какое значение перед этой великой целью имела судьба того, кто посажен в Лабиринт, и тех, кто был в Лабиринте убит? Ты был моим верным мечом, Горгий, оставайся им и впредь, а о государственных делах предоставь заботиться мне.

– Это подлость, – сказал Горгий словно сквозь сон.

– Все дело в масштабах, – сказал Минос. – Для оценки таких дел не годятся привычные определения.

Положительно, мы с ним мыслили одинаково.

– Ну, давай, Горгий! – сказал я. – Разразись–ка красивой тирадой о том, как ты был слеп, какие мы с Миносом негодяи – глядишь, и легче станет, а?

Нужно было разозлить его еще больше – я боялся, что он,

вместо того чтобы решиться на какие–либо действия, с рыданиями покинет зал. С него станется.

– Пожалуй, я действительно был слеп, – сказал Горгий. – И оба вы – негодяи.

– И я, который спас тебе жизнь?

– Я об этом помню, – сказал Горгий, – и меч на тебя не подниму, но…

– Расскажи еще о коннице, которую ты двинул на Кносс из Аргилатори, – сказал я громко. – О своих людях, которыми окружил дворец.

Я с радостью увидел полыхнувшие в глазах Миноса молнии.

– Какая конница, Горгий? Что ты задумал? Отвечай!

– Конница предназначается совсем для другого дела, – сказал Горгий растерянно. – Я не причиню тебе вреда, Минос, но никогда не поздно исправлять ошибки, я думаю. Я ухожу и забираю с собой тех, кто захочет уйти со мной. Думаю, Минотавр захочет…

– Ты сошел с ума! – Минос даже привстал.

– Совсем наоборот – обрел ясность ума.

– Ты уверен, что сюда идет конница из Аргилатори? – обернулся ко мне Минос.

– Он и сам не отрицает, – сказал я. – Не медли, царь!

– Горгий, – сказал Минос как можно убедительнее. – Мы же друзья, ты единственный, кто… Минотавр должен умереть. Пора кончать игру. Что тебе его судьба и он сам?

Горгий вдруг рассмеялся, и я вздрогнул. Кажется, и Минос вздрогнул.

– Забавно прозревать на старости лет, – сказал Горгий, смеясь одним лицом – в глазах была беспросветная тоска. – Прощай, Минос. Я ухожу. Мы уходим.

– Опомнись, – быстро сказал Минос. – Ну, прошу тебя! Не заставляй меня…

Горгий взглянул на него, как на пустое место, грустно усмехнулся и пошел к двери. Я, ощутив себя на миг совсем по–детски беспомощным, – в этой ситуации я ничего не мог поделать, – взглянул на Миноса, словно ожидая от него чуда.

А Минос оказался на высоте. Он схватился за одно из массивных золотых украшений трона, что–то там повернул, где–то за стеной раздался тревожный звон гонга и стены тронного зала будто лопнули вдруг в трех местах – куски их повернулись вместе с мозаикой, открывая потайные коридоры, и оттуда повалили телохранители в желтых одеждах с черным изображением священного быка на груди.

– Взять! – Минос выбросил руку, указывая на Горгия. – Взять

изменника!

Горгий выдернул из ножен меч:

– Кто из вас самый смелый?

Телохранители дернулись вперед и застыли. «Горгий… Лучший меч…» – донесся до меня их робкий шепот.

– Вперед, трусы! Взять! – взревел Минос, но телохранители не шевельнулись. Горгий пятился к двери, следя, чтобы никто не оказался у него за спиной, и все летело к Аиду, за дверями были его солдаты, и вокруг Лабиринта были его солдаты, все так глупо рушилось. Минос, очевидно, вспомнив прошлое, шарил рукой у пояса, но меча там, разумеется, не было, и лишь мгновения отделяли нас от поражения, но, повинуясь наитию, блистательному озарению, я что есть силы закричал:

– Тезей!!!

Тезей вбежал в зал и остановился, растерянно озираясь, ничего он не понимал.

– Он хочет выпустить Минотавра! – закричал я. – Останови его, Тезей!

Да, этот юнец умел не только буянить в кабаках и затевать ссоры с пиратами. Он не промедлил и мига. Взвизгнул выхваченный меч, и Тезей ринулся на Горгия. Я из предосторожности отошел подальше. Телохранители тоже разбежались по углам.

Как ни плохо я разбираюсь в воинском искусстве, я не мог не понять, что сошлись два первоклассных бойца. Глаз не успевал уловить удары и их отражение, мечи высекали искры, противники перемещались по залу с грацией танцоров, неразрывно слитой с яростью зверя. Я покосился на Миноса – он, подавшись вперед и раздув ноздри, непроизвольно повторял выпады.

Не знаю, кто был искуснее, но Тезей – моложе и проворней. Я заметил вскоре, что начальник стражи Лабиринта больше защищается, чем нападает, услышал его тяжелое хриплое дыхание. И раздался торжествующий вопль – меч Тезея вонзился в грудь Горгия. Телохранители словно очнулись от злых чар – несколько мечей торопливо ударили Горгию в спину. Он умер, еще падая на мозаичный пол. Я впервые обонял запах человеческой крови, меня подташнивало. Тезей стоял перед троном, опустив окровавленный меч и переводя дыхание. Телохранители без приказа подхватили труп за руки и за ноги и поволокли к дверям.

– Куда, олухи? – Я помнил о солдатах Горгия. – Туда! Все прочь! – Я указал на ближайший потайной ход.

От растерянности они безропотно повиновались. Унесли труп, скрылись сами, куски стен встали на место, и мы остались в

тронном зале втроем.

– Решай, царь, – сказал я.

– Я решил, – глухо произнес Минос, не отрывая взгляда от кровавых пятен на ярких узорах мозаики. – Тезей, сын царя Афин Эгея, я разрешаю тебе поединок с Минотавром, и да пошлют тебе победу боги! Ступай и приведи себя в порядок перед боем.

Тезей бросил меч в ножны, отвесил короткий поклон и вышел, старательно обойдя пятна крови. Я смотрел на Миноса – он сгорбился на своем сверкающем троне, глядя сквозь меня потухшими глазами. Кто знает, что он сейчас видел и где витали его мысли, в каких далях времени, в каких краях. На миг мне стало его жаль. Высокий царь Минос, владыка Крита и сопредельных островов. Усталый старик.

Я точно все рассчитал. Он по–разному мог отнестись к необходимости следовать веяниям времени, но я использовал в своих целях главный недуг царей, их самое слабое место – извечное недоверие к своему окружению.

Горгий был, наверное, единственным, кому Минос по–настоящему доверял и на кого полностью полагался, однако в глубине души, в самых потаенных ее уголках скрывалось опасливое сознание, что и Горгий может однажды оказаться… пусть лишь не вполне надежным – этого достаточно. Я дал выход трагическому противоречию: царь нуждается в преданных слугах – царь сомневается в верности самых верных. И я знал, что Минос теперь не рискнет остаться единственным сторожем Минотавра: люди, даже самые великие и умные, нуждаются в ком–то, кто переложит часть их забот на свои плечи. Самому стать тюремщиком Минотавра означает для Миноса необходимость избавиться от стражи Горгия и набрать новую, неизбежно раскрыть тайну нескольким людям – чтобы потом мучиться подозрениями и на их счет. Нет, он не рискнет. Легче и необременительнее покончить наконец с Минотавром, что Минос и сделал только что.

Минос посмотрел на меня, и я понял, что предстоит последнее испытание – решается, жить мне или умереть.

– А ведь ты никому никогда не расскажешь правду, – произнес он задумчиво.

Я немного встревожился было – в устах царя такое высказывание может означать и плаху, – но тут же успокоился: ничего подобного он не имел в виду, он же понял и оценил меня…

– Конечно, нет, – сказал я. – Помимо всех других соображений есть и такое: а кто мне поверит? Испокон веку повелось – о героях распускают всевозможные сплетни, стараясь

принизить их славу и опорочить победы. Разве не прошел шепоток, что Геракл–де всего лишь наткнулся на дохлую Лернейскую гидру и отрубил голову у падали? Разве не твердили, что за Персея всю работу выполнил какой–то наемник–хетт? Никто, кроме ничтожеств, этому не верит, а погоду в таких случаях делают не ничтожества. И мне даже просто не поверили бы – ты постарался на совесть.

– Ты уверен, что мальчишка пойдет до конца? – спросил Минос. – Ведь он может, увидев Минотавра, отказаться…

– А собственно, что сейчас от него зависит? – сказал я. – Если он не сможет завершить дело, окажется, что наш герой одолел чудовище, но и сам скончался от ран. Твои люди сумеют быстро и ловко перерезать стражу Лабиринта?

– Да.

– А приготовить какую–нибудь бычью голову? Нужно что–то показать толпе?

– Да. – Он говорил как равный с равным, да такими мы и были, два сообщника. – Послушай, кто же ты в конце концов такой?

– Сын гончара, – сказал я. – Толкователь снов. Верный и вечный слуга и жрец Истины.

– Как это понимать?

– Исстари люди искали истину в судах и храмах, у жрецов, судей, мудрецов и оракулов, – сказал я. – Но они заблуждались. Истину можно найти только у таких, как я. Кстати, «путеводные знаки» Тезею не нужны. Их уже вручили ему.

– Хочешь служить мне?

– Благодарю, нет, – сказал я. – Я считаю, что истинный талант не должен ни от кого зависеть, иначе он завянет, творя по приказу. Вот золото я приму у тебя без внутреннего сопротивления.

– Ты его получишь сколько угодно. И не только за Минотавра.

– Но еще и за то, что, узнав меня, ты можешь теперь думать: хвала богам, я, царь Минос, все же не самый подлый человек на свете?

– Ты умен, – сказал он, бесстрастно глядя на меня круглыми совиными глазами. – Иди.

Этому тоже не хватает смелости быть беспринципным до конца, грустно подумал я. Как будто оттого, что нашелся кто–то подлее его, он станет праведником! А кто из нас подлее другого, еще неизвестно. И существует ли титул «самого подлого» и «самого честного»? Скорее всего, нет.

Бинотрис, числился подметальщиком дворцовых дорожек

Бедный пьяница даже не понял, что его убили, не узнал об

этом. Он сидел спиной к двери, мертвецки пьяный, в комнату ворвались трое с обнаженными мечами, и все было кончено мгновенно.

Харгос, числился открывателем засовов главного входа в Лабиринт

Не тот это был человек, чтобы его застали врасплох. Он не успел накинуть одежду, но успел схватить меч и дрался против троих в узком коридорчике, куда выходила дверь комнатки Мины. Еще двое лежали тут же, и лекаря им не требовалось. Харгос рычал, ругался, крутил мечом с непостижимой быстротой, и никак не удавалось к нему подступиться. Он понимал, что живым выбраться отсюда не удастся, но чувствовал себя прекрасно – снова не нужно было таиться, красться и убивать, нападая сзади. В руке блестел меч, он смотрел врагу в глаза, и враг смотрел ему в глаза, все было предельно просто, и Харгос был счастлив.

Нападавшие вдруг попадали на колени, тяжелое копье свистнуло над их головами и ударило Харгоса в грудь, как раз в сердце.

Сгурос, помощник начальника стражи Лабиринта

Он брел напролом сквозь кусты, шатаясь, топча цветы, оскальзываясь на каменных плитах, когда пересекал дорожки. Меч он уже давно выпустил из руки – изрубленные пальцы не держали. Кровь заливала глаза. Он не знал, куда бредет, кого хочет увидеть и что собирается делать. Поздно было о чем–то думать – ничего и никого больше нет впереди, только дворцовый сад и тяжелый запах крови. Но он брел куда–то, размахивая окровавленными руками, чтобы удержать равновесие.

Азартный перестук копыт возник впереди, стрела свистнула коротко и равнодушно. Сгурос опрокинулся на спину, в его глазах медленно гасло небо. Всадник свистнул и понесся прочь, к горящей казарме.

Рино с острова Крит, толкователь снов

Казарма стражи Лабиринта жарко пылала, отсюда, с крыши дворца, видно было, как из ее окон выскакивают крошечные человечки и тут же падают, пронзенные тонюсенькими, едва различимыми на таком расстоянии черными стрелами. Лучники стояли безупречно ровным квадратом – порядок, замыкавший в себе разрушение и смерть. Слева, в саду, метались пешие и всадники, доносился лязг мечей и секир и приводивший в ужас многие народы старинный критский боевой клич: «Шар–да! Шар–да!» – там добивали маленькую группу стражников, успевших выбраться из казармы до того, как ее окружили и подожгли с четырех концов.

Вот и все, Горгий, сказал я, глядя на затихающую внизу суету и черный дым, отвесной лентой поднимавшийся в ярко–синее небо, к облакам и богам. Вот и все, я обернул против тебя твою человечность и доброту, и ты убедился, что как оружие они ничего не стоят.

Но что–то не давало мне покоя, саднило незаметной снаружи занозой, и я не сразу докопался до сути.

На человечность и доброту Горгия я ставил всерьез, следовательно, они реально существуют – человечность и доброта? Но ведь я стремлюсь доказать обратное – и с помощью своего не написанного пока труда, и с помощью своей грандиозной затеи, которая вскоре завершится к полному моему торжеству, и всей своей жизнью? Как же я могу достигать успеха с помощью того, чего нет? Здесь скрывался какой–то злой парадокс, непонятная сложность, мне не хотелось задумываться над этим накануне полного своего триумфа, но забыть о странном противоречии я не мог. Я никогда ничего не забываю.

К полудню трупы были убраны, войска выведены из дворца, и в ту его часть, где размещался Лабиринт, стали через южные ворота пропускать простой народ – такого еще никогда не случалось, и вездесущие люди Клеона рассказали мне, что многие горожане побоялись идти. На всякий случай. Потому что такого прежде не бывало. Но и пришли многие, толпе не хватило места, хотя люди стояли тесно, как амфоры в трюме корабля, и передние почти касались грудью наконечников выставленных копий – солдаты выстроились в две шеренги, создав проход от бокового дворцового входа до главного входа в Лабиринт.

Минос оказался на высоте – не стал устраивать представления с собственным участием и произносить перед подданными патетические речи. Все было обставлено скромно, но внушительно – взвыли трубы, Тезей вышел на пустое крыльцо, медленно спустился с него и зашагал к Лабиринту. Цвет лица у него был нормальный, но лицо казалось посмертной бронзовой маской – полная отрешенность от всего сущего. Человек, идущий на смерть. Разумеется, это не игра, какая тут, к Аиду, игра…

Наверное, несмотря на свое состояние, он был немного удивлен – толпа безмолвствовала, над ней взлетел и потух, как свеча на ветру, одинокий приветственный крик, по толпе извивающимися змейками скользнули быстрые шепотки и рассыпались, поглощенные мертвой тишиной, всосавшей их, как сухой песок воду.

Я понимал своих соотечественников – двадцать лет с Минотавром и сорок три трупа вселяли безнадежность. Надежда была, но немая – она таилась в жадных взглядах.

Бронзовые ворота в три человеческих роста, украшенные барельефами, изображающими бычьи головы, распахнулись с тягучим визгом – по приказу Миноса их петли никогда не смазывали. Минос знал, как распалить и без того взбудораженное воображение, как подлить масла в огонь. Открылся прямоугольник сырого мрака, и толпа колыхнулась – те, кто стоял совсем близко, попытались отшатнуться, как будто из ворот мог вылететь сам Минотавр или этот сырой мрак убивал прикосновением.

Я все же думал, что Тезей оглянется или задержится хотя бы на миг. Нет. Он был из тех, кто бросается в холодную воду не колеблясь. Он шагнул и скрылся во мраке. Створки ворот сдвинулись с леденящим душу визгом, загоняя обратно сумрак, и поперек них лег кованый засов.

– Послушай, а если боги все же решат помешать? – Пасифая жадно смотрела на вход в Лабиринт, ее лицо пылало, сейчас она не помнила о недавних оскорблениях, которым я ее подверг, – все ее мысли и побуждения были сосредоточены на одном.

– Глупости, – сказал я. – Не для того мы терпим богов и приносим им жертвы, чтобы они мешали нам устраивать дела… И уж, конечно, не для того существуют боги, чтобы блюсти так называемую высшую справедливость.

Тезей, сын царя Афин Эгея

Я шагал, весь обратившись в слух, но, кроме моих едва слышных шагов (сандалии я снял сразу же у входа), не раздавалось ни звука. Камень и тишина. Отверстия в потолке, зиявшие через каждые десять шагов, давали достаточно света.

Да, без цепочки со знаками пришлось бы бродить здесь не один день… Я обратил внимание, что коридоры, довольно низкие и узкие, никак не были рассчитаны на то, чтобы по ним передвигалось крупное чудовище, – они явно предназначались лишь для человека. Возможно, это был путь, по которому Минотавру носили еду, – должны же были его чем–то кормить все эти годы, невозможно поверить, что единственной пищей ему служили посылаемые раз в несколько лет в качестве живой дани люди. Однако и другие коридоры, которые пересекала моя дорога, были такими же. Видимо, чудовище безвылазно пребывает в центре…

Безусловно, у Лабиринта есть свои тайны. Я чувствую в происходящем какую–то нехорошую странность, потаенные темные места, но никак не могу понять, какое место в ней занимают люди, посылаемые в качестве дани, но так и не попавшие в Лабиринт (я узнал двух афинян, ставших здесь слугами, они меня, к счастью, нет, я никому об этом не сказал), и

чем вызван сегодняшний разгром стражи Лабиринта – тщательно продуманная хладнокровная резня. Что произошло за закрытыми для меня – до моей схватки с Горгием – дверями тронного зала? И что здесь вообще происходит? Не стоит пока над этим думать, главное – в коридоре достаточно места, чтобы как следует размахнуться мечом.

Кровь стучала в виски жаркими толчками, рукоять меча в ладони стала влажной. Ненужные уже диски я собирал в кулак, цепочка, свисавшая меж пальцев, становилась все короче, и мне казалось, что это жизнь догорает, как забытая свеча, наконец осталось три знака… два… один… и из очередного круглого зала уходит в неизвестность лишь один, не отмеченный никакими знаками коридор и круто поворачивает влево.

Унимая колотящееся сердце, я повернул влево и замер, пораженный тем, что мне открылось. Коридор был единственным входом в большую квадратную комнату, освещенную солнечными лучами, проникающими сквозь четыре отверстия в потолке, и обставленную, словно покои знатного человека. И навстречу мне встал юноша лет двадцати.

– Я тебя не знаю, – сказал он удивленно. – Кто ты такой и как сюда попал?

– А ты? – спросил я, чувствуя, как сломалось что–то в моей душе, что–то блестящее и светлое. – Ты–то кто такой, Аид тебя забери?

– Меня зовут Минотавр, – сказал он. – Еще меня зовут Астерий, что означает «Звездный».

Ноги у меня стали то ли деревянные, то ли ватные. Держать держали, но не чувствовал я их. Я как–то сразу поверил, что это не колдун, который, подобно Протею, может принимать самые разные обличья, что это его истинное и единственное обличье, что никакого другого Минотавра нет. Все исчезло, было только вмещавшее весь мир разочарование, горечь и обида: «Славный герой Тезей, победитель страшного Минотавра!..» Вся будущая жизнь, все великое, что я для себя наметил и чему этот подвиг должен был послужить пьедесталом, уходило, как вода сквозь пальцы. Будущего не было. Хотелось кричать, плакать, рубить все подряд – его, стол, стены. Проклятый Минос…

Все получило объяснение. Чудовища никогда не было. Груда золота против медной монеты – те, кто прибывал для поединка, убиты стражей в этих коридорах. Живая дань вместо того, чтобы сгинуть в Лабиринте, превращается в слуг и наложниц. Но то, что стража и ее начальник убиты, то, что Рино так уверен в моей победе и меня, вооруженного, беспрепятственно допустили к «чудовищу» – все это может означать, что Минотавр им больше не

нужен почему–то, что они собираются кончать игру. Прикинем–ка трезво и холодно – если они кончают игру, раскроют ли они Криту и всему миру правду? А ведь нет, наверняка нет… Прикинем трезво и холодно, дружище Тезей, ведь в таком случае ничего ты не теряешь, абсолютно ничего, что же ты рассопливился?

– Что тебе нужно? – спросил Минотавр.

– Я пришел тебя убить, – решительно сказал я.

– Но ведь…

Я понял, что он имел в виду, и сказал:

– Прежней стражи больше нет – перебита. И я должен тебя убить.

– И ты об этом так спокойно говоришь?

– А что прикажешь делать? – спросил я. – Оскалить зубы и осыпать тебя проклятиями? С пеной у рта кричать: «Умри, несчастный!»? К чему эти забавы, мы не комедианты. Я не испытываю к тебе ни любви, ни ненависти, ты мне безразличен, как эта стена. Просто–напросто условия игры и мои жизненные планы складываются так, что я должен тебя убить.

– Но что я тебе сделал?

– То–то и оно, что ровным счетом ничего, – сказал я. – Обстоятельства… Давай–ка присядем и спокойно поговорим.

Вначале я зорко следил за его движениями, но скоро решил, что это глупо, – откуда у него оружие? И он явно слабее меня.

– Ты знаешь, что о тебе говорят и кем тебя считают за пределами дворца все эти двадцать лет? О тех, кто пытался с тобой сразиться?

На его лицо набежала тень.

– К сожалению…

– Вот видишь. Тебя считают чудовищем и людоедом. Мать от тебя отреклась. Сводная сестра помогала мне. Что думают о тебе тысячи людей, я и не говорю, ты все знаешь сам. Ты – пугало. Ну зачем тебе жить?

– Мне еще не поздно начать все сначала.

– А нужно ли? – спросил я. – А стоит ли? И что ты понимаешь под этим «все сначала», позволь тебя спросить? Покинуть эти мрачные стены и уйти к людям, что ли? А что ты им можешь дать?

– Хотя бы свои стихи.

– Ого? – Я был удивлен. – Взглянуть можно?

Он взял свиток папируса – их много лежало на изящном кедровом столике, – протянул мне.

Отрубите мне голову, но это была настоящая, большая Поэзия. Дед Питтей собрал в Трезене лучших поэтов, философов,

книжников, рапсодов, я получил отменное образование и, хотя сам не мог рассчитывать на славу большого поэта, безусловно был в состоянии отличить драгоценность от аляповатой подделки. Печально, до слез больно, что придется уничтожать такие стихи, но ни один клочок бумаги, ни одна вещь не должны покинуть эти стены. А взять их и впоследствии выдать за свои было бы крайне непорядочно…

– Что ж, это поэзия, – сказал я. – Грустные стихи, конечно, но, сидя двадцать лет в этих стенах, комедию вряд ли напишешь… Ты подлинный талант. Но что это меняет? Людям вовсе не нужен гениальный поэт Астерий, сменивший привычное всем чудовище Минотавра.

– Почему?

– О человеке сплошь и рядом судят по впечатлению, которое он производит на окружающих, – сказал я. – Возьмем, к примеру, меня – я молодой, симпатичный, обаятельный парень, полностью соответствующий облику героя, каким он представляется и глупой толпе, и умным людям, и вот от меня на каждом шагу ожидают благородных поступков, девушки бросаются на шею, мне безоговорочно верят самые недоверчивые умники. Правда, это имеет и свою оборотную сторону: многие меня считают простачком–шалопаем, мускулами без мозгов, симпатичным пустоцветом. Ну, до поры до времени меня это устраивает. Словом, меня хотят видеть таким, каким я кажусь, и усиленно начинают меня придумывать. И не меня одного, примеров предостаточно. Ты знаешь, кто строил твой Лабиринт?

– Великий мастер Дедал, – сказал Минотавр.

– А историю его бегства с Крита ты не знаешь? Это в высшей степени поучительная история. Был у Дедала сын Икар – ничего особенного, юнец, каких тысячи, не блещущий талантом. Минос их почему–то не отпустил после завершения строительства, и они решили бежать. Дедал – великий мастер, он смастерил крылья из перьев, скрепив их воском, и отец с сыном покинули Крит. Обрати внимание: Дедал настрого предупредил сына, чтобы тот не поднимался высоко, ибо солнце немедленно растопит воск. Сынок, по ослиной привычке делать все наперекор, тут же взмыл выше облаков, воск, разумеется, растаял, этот болван упал в море и утонул. Произошло примерно то же самое, как если бы человеку сказали: «Не бейся головой об стену!», а он тем не менее разбежался – и трах! Дедал жил еще долго, он был великим механиком, архитектором, скульптором, изобрел пилу, рубанок, еще многое. И тем не менее его в девяти случаях из десяти вспоминают не как великого мастера, а как отца Икара. Но разве Икар заслуживает хотя бы одного похвального слова? Он

ничегошеньки не сделал, не вылепил и паршивой статуэтки, не построил и убогой лачуги, ничего не оставил людям. Но его помнят и прославляют лишь потому, что романтическим дуракам его смерть представляется актом героизма, духом поиска и прочей дребеденью… Понимаешь меня?

– А я, следовательно?

– А ты – людоед из Лабиринта, – сказал я. – Допустим, тебя не пристукнут в первые дни и ты сумеешь объяснить людям, что их дурачили. Не верю я в такое везение, но допустим… И что же? Одни будут мстить тебе за пережитый страх, другие так и не поверят в твою невиновность, заявят: «Что–нибудь да было, не зря же двадцать лет… Не бывает дыма без огня…» Будут, надуваясь от важности и собственного благочестия, изрекать пошлые обывательские афоризмы, которыми страшно дорожат и гордятся, потому что сочинили их сами, – как же, они ведь тоже творческие личности. Они уже создали для себя предельно ясную и незатейливую картину мироздания, а тут пришел ты и все разрушил. Да сжечь тебя! Маленький человек ужасно не любит, когда сомневаются в его умении с первого взгляда проникать в суть вещей. Уверяю, кончится все тем, что тебе придется бежать под чужим именем куда–нибудь в безлюдную глушь, то есть, по сути, сменить одну тюремную камеру на другую, разве что более просторную.

– У меня были друзья среди стражи.

– Люди, знавшие правду с самого начала и видевшие все своими глазами, – сказал я. – Никого из них уже нет в живых. И вообще, ты ведь никогда не видел большого мира и не знаешь, каким количеством мрази он населен.

– Что же, большинство людей – мразь?

– Вольная или невольная, – сказал я. – Убежденных, конечно, меньше, приспосабливающихся, вынужденных быть мразью в несколько раз больше, и вторые, несомненно, подлее первых.

– Зачем тебе моя смерть? Тебе лично?

– Я – несчастный человек, – сказал я. – Да–да, не удивляйся. С родителями мне не повезло – матери не помню, мачеха два раза пыталась отравить, отец полон сил и цепко держится за трон. Нужно пробивать себе дорогу, вот только как? Мне нужен звонкий, шумный зачин, сразу выдвинувший бы меня на первый план, на видное место. Меня считают глупым буяном, смазливой бездарью, простягой–парнем, а я ведь получил в Трезене, пожалуй, лучшее образование, какое только в наше время можно получить в Элладе… Я способный, умный человек с зачатками полководца и государственного деятеля – так считали мудрые трезенские учителя, и их мнение мне передали под большим

секретом – они–то мне прямо об этом не говорили, чтобы не зазнался невзначай. Но все равно нужен зачин, первый шаг, а как его сделать? Чудовища истреблены, Троянская война давно кончилась, золотое руно и золотые яблоки Гесперид добыты до меня. Повторять чужие подвиги – обрести не славу, а поражение. Из–за Елены – пусть формально – сожгли Трою, из–за Медеи и Андромеды разгорелись жуткие страсти, но из–за жены Кикирского царя я угодил в каталажку, как мелкий воришка, а Пиритоя и вовсе бесславно загрызли собаки. Участвуя в нынешних войнах, славы не приобретешь – мелочь.

– Но истории с Еленой и Медеей не так благолепны, как это пытаются представить.

– А какая разница? – спросил я. – Нет, какая разница? Да плевать, что «романтическое похищение Елены» не более чем шитая белыми нитками провокация Агамемнона и его сообщников. Плевать, что Медея, мачеха моя дражайшая, кол ей в глотку и еще куда–нибудь, всего лишь бежала с любовником, обокрав на прощание любящего папашу. Какая разница, Аид меня забери, если тысячи маленьких человечков провозгласили Язона и разрушителей Трои героями?

– Разве все подвиги таят в себе ложь и ничтожность? – спросил Минотавр.

– О, разумеется, нет, – сказал я. – Взять хотя бы Персея или дядюшку Геракла – эти–то настоящие. Я и не стремлюсь развенчать абсолютно все славные подвиги, нет, я просто следую некоторым примерам. Прослыв победителем Минотавра, я приобрету славу и смогу идти дальше.

– Но ведь славу героя ты должен заслужить главным образом у тех самых маленьких человечков, я так понимаю? – спросил Минотавр.

– У них, червяков, – сказал я.

– Но ты же их ненавидишь?

– Ничего другого мне не остается, – сказал я. – Один–единственный раз я проведу игру по их правилам, а потом… О, уж потом–то я получу возможность не оглядываться на них поминутно и буду делать только то, что действительно нужно и необходимо…

– А если не удастся? – спросил Минотавр.

– Удастся, – сказал я.

– Так что, я обречен? – спросил Минотавр. Он волновался, но животного страха за жизнь я в нем не заметил.

– Уж прости, обречен.

– А совесть не будет мучить?

– Кто ее видел, эту совесть, кто ее трогал, кто ее пробовал на

зуб… – сказал я. – Разве я какой–нибудь выродок? Не я эти законы устанавливал. Храм какой–нибудь построю, нищим мешок денег раздам, что ли…

– Думаешь, поможет?

– Да не знаю я, отвяжись! – рявкнул я.

Было бы легче и проще, если бы он кричал, ругал меня последними словами, отбивался, но он лишь задавал все те вопросы, которые, размышляя наедине с собой, мог бы задать себе и я. Те самые вопросы…

– Посмотри, что получается, – сказал я. – Никакого преступления я не совершаю. Преступление – это деяние, нарушающее установленные людьми законы, каноны и установления. Меж тем, согласно этим установлениям, ты – отверженное чудовище. Преступник я только для тебя, а для людей – герой. Когда тебя не станет, некому будет считать меня преступником.

– Кроме твоей совести.

– Да что ты заладил, кто ее видел…

– Воздуха, которым мы дышим, мы тоже не видим и не чувствуем, но это не означает, что его не существует.

– Знаешь что, хватит, – сказал я и встал. – До спазмы в горле мне жаль, что погибает талантливый поэт, но правила игры…

– Давай, – сказал он, бледный, как смерть. Он стоял и смотрел на меня. – Действительно, лучше уж так. Давай.

Я поднялся, взялся за рукоять меча, отнял руку и сказал едва ли не просительно:

– Знаешь, тебе ведь не трудно… Ты бы сделал страшное лицо, зубы оскалил, что ли… Хоть выругай меня, а? Чтобы было что–то от чудовища…

– Убивай человека, – сказал Минотавр, в его лице не было ни кровинки, и я вдруг с ужасом понял, до чего он чертами лица и голосом похож на Ариадну. – Убивай – человека.

– Ругай меня! – заорал я уже откровенно умоляюще, плевать мне было на все. И выхватил меч из ножен. – Обзови как–нибудь, ублюдок распроклятый!

– Бедный Тезей, – сказал Минотавр и поднял глаза к четырем квадратным кусочкам синего неба над нашими головами.

Я освободился от его взгляда, он больше не смотрел мне в глаза, и это словно освободило меня от власти всевозможных глупых снов и глупых установлений, невидимых, неосязаемых и потому, быть может, вовсе не существующих.

И меч взлетел, рассекая прозрачные, усыпанные искрящимися пылинками солнечные лучики.

Рино с острова Крит, толкователь снов

– Тишина была как свинец, мгновения были как века. И толпа внизу, и солдаты словно превратились в скопище статуй, редко–редко вздрагивала чья–нибудь голова, когда человек переступал с ноги на ногу, или вздрагивало копье в руках солдата, уставшего держать его наперевес.

Я считал про себя шаги, которые он должен сделать по коридорам, начинал снова и снова, вводя поправки на то, что он крадется медленно и осторожно, – и перестал, когда понял, что и хромая черепаха успела бы за это время добраться до центра Лабиринта. Значит, они встретились. И вступили в разговор. О чем они могут говорить и могут ли они мирно разговаривать?

Я был близок то ли к помешательству, то ли к тому, чтобы вырвать меч у ближайшего солдата и самому броситься в Лабиринт. Стоявшая рядом со мной Пасифая даже простонала несколько раз. Я уверен, что россказни о нечеловеческих пытках, которым подвергаются дурные люди в подземном царстве мертвых, лживы от начала и до конца и не имеют ничего общего с буднями и делами Аида, ибо в них не упоминается наиболее мучительная и страшная пытка – ожиданием.

А ведь если подумать, у меня не было ровным счетом никаких причин волноваться. Потайная комната, где обычно скрывался Харгос, не была пуста и на этот раз. Там стояли трое доверенных людей Миноса, и у их ног лежала в окровавленном мешке голова быка. Именно этот мешок и должен был взять с собой Тезей, убей он Минотавра. В противном случае в схватке погибли бы и «герой», и «чудовище».

Почему же мне так важно, чтобы Минотавра убил именно Тезей? Неужели – мне стало холодно от этой мысли, – неужели и я, как Минос, ищу кого–то, кто был бы подлей меня? Почему мы так стараемся найти кого–то, кто был бы подлее нас? Не означает ли то, что подсознательно мы о чем–то жал… нет! Нет!

Дым, поваливший вдруг из центра Лабиринта, вызвал в толпе недоуменное тревожное перешептывание. Он уничтожает следы, понял я, значит, он решился. Мой триумф. Всего два коротких слова… Дым валил и валил, становясь все гуще и чернее, поднимаясь все выше. И раздались звонкие удары – кто–то барабанил изнутри в бронзовые ворота Лабиринта высотой в три человеческих роста, украшенные барельефами в виде бычьих голов.

Глухо стукнул упавший на землю засов, и в распахнувшихся воротах появился Тезей, он сделал два шага вперед и поднял над головой покрытый пятнами крови мешок.

Казалось, небо треснуло и рушится на землю, дробясь и рассыпаясь на тысячи гремящих кусков. Вопль тысяч глоток тех,

кому удалось попасть во дворец, и тех, кто толпился вокруг дворцовых стен, невозможно было ни с чем сравнить. Я, свыкшийся с подлинной сущностью Минотавра, как с собственным отражением в зеркале, совсем забыл, что должно твориться на душе у людей, изо дня в день слышавших рев и считавших, что они обречены жить рядом с омерзительным чудовищем, не мог оценить в должной мере их радость и разделить ее с ними – как–то не с руки.

Впору было зажать уши, толпа тяжело колыхалась, как штормовое море, люди натыкались на острия копий и не замечали этого, не чувствовали боли, на их обнаженных руках и хитонах алели пятна крови, солдат потеснили, они почти касались спинами друг друга. Тезей с трудом смог протиснуться к дворцовому крыльцу. Следом за ним отступили к крыльцу и солдаты, вытянулись целью у нижних ступеней. Теперь толпа заливала весь огромный двор, приветственные клики гремели с прежней силой, словно люди состояли лишь из легких и глотки.

Вот и все. Интересно, первый ли я, кто, вопреки уверениям нищих мудрецов о невозможности такого, успешно совместил гений и злодейство? Настал миг моего наивысшего триумфа. Анти–Геракл – так я с полным правом могу себя назвать. Эта толпа там, внизу, ревет и машет руками, приветствуя грандиозную несправедливость, подлейшую ложь, исходит торжествующими воплями, обращенными к человеку, которого, по так называемой высшей справедливости, существуй она на самом деле, следовало бы немедленно повесить. И это я заставил их превратиться в стадо баранов, мое имя, сами того не зная, будут произносить люди во всех уголках Эллады, во всех странах обитаемого мира, едва речь зайдет о Тезее. Вот и все. Мой звездный час, моя покоренная вершина. А я не чувствую ничего, кроме томительной усталости и сознания какой–то невосполнимой потери… Почему?

Последние клубы дыма оторвались от плоской серой крыши Лабиринта и медленно таяли в воздухе. Рев толпы вязнул в ушах. Я отвернулся и пошел к тронному залу.

Во дворце творилось что–то странное. Застыли на лестницах и в коридорах в настороженно–раскованных позах телохранители, суета слуг и царедворцев ничем на первый взгляд не отличалась от обычной, но в лицах, движениях, взглядах, необычно приглушенных голосах сквозила какая–то жалкая растерянность и даже бессилие, словно никто не ведал теперь, как держаться, что делать, с кем говорить и о чем. Дворец напоминал богатый дом, владелец которого внезапно умер, не оставив завещания, и толпа ошеломленных родственников, домочадцев и челяди отчаянно

пытается догадаться, чего им ждать от будущего, для кого все пойдет прахом, перед кем распахнутся ворота в золотые чертоги. Словно дети, отставшие от няньки на прогулке, словно скопище бессильных теней. Я шел, не обращая ни на кого внимания, отпихивал локтями слуг и высших сановников, и мне казалось, что я действительно прохожу сквозь них, сквозь туман, а временами казалось, что и встречные ныряют в меня, как в полосу дыма.

С Тезеем я столкнулся у дверей тронного зала, он шагал, деревянно переставляя ноги, как шагают куклы–дергунчики, которых я мастерил в детстве. Глаза у него были отрешенные и пустые, они ничего не отражали, словно шарики цветного камня в глазницах статуй, руки сжимали мешок так, что побелели костяшки пальцев. Ударом кулака он распахнул створку дверей, она так и осталась открытой, и я вошел вслед за ним, и на ходу вдруг понял, что в руках у него не тот, виденный мной мешок с бычьей головой. Все я понял и знал, что больше никогда не увижу Клеона и еще двух, что ждали его в той потайной комнатке…

Кровавые пятна, запачкавшие мозаичный пол там, где на него рухнул Горгий, были уже тщательно смыты. Семейство находилось в сборе – бесстрастный, как всегда, Минос, откровенно торжествовавшая Пасифая и Ариадна, олицетворение беззаботного счастья, сиявшая от радости за своего героя. На меня обратили внимания не более чем на небо за окном. Я примостился в стороне, откуда мог видеть всех, – мне определенно казалось, что последнее действие пьесы еще не сыграно.

Тезей остановился перед троном и лишенным какого бы то ни было чувства голосом сказал:

– Минотавр мертв, царь.

– Может быть, ты хочешь золота? – спросил Минос.

– Хочешь унизить, заплатив за работу, как наемнику? Благодарю, мне не требуется ничего из того, чем положено одаривать в таких случаях, ни мешка с монетами, ни руки твоей дочери. (Ариадна тихо ахнула.) Разве что, – полузакрыв глаза, он прислушался к реву толпы во дворе. – Собственно, и этих воплей мне не нужно, да что поделать… Прощай, царь. Я возвращаюсь в Афины. При расставании хотел бы сказать, что ты искуснейший мастер. Старые люди рассказывают, что есть где–то мастера, способные превращать свинец и медь в золото. Ты же двадцать лет извлекал для Крита золото и славу вовсе из ничего… Создал чудовище из обыкновенного ребенка, прижитого женой на стороне. Ты его видел когда–нибудь?

– Нет, – к моему удивлению, спокойно и даже чуточку

любопытно ответил Минос. – Никогда.

– Ну, тогда смотри. – Тезей сорвался на крик. – Смотри! Он поднял за волосы голову Минотавра и, хохоча каким–то трескучим безжизненным смехом, приговаривал:

– Смотри, не бойся, это не голова Горгоны, она не в состоянии убивать взглядом, а жаль, до чего жаль…

Неужели он рассчитывал пронять Миноса, глупец?

Душную тишину пронзил нечеловеческий крик Пасифаи, и я вздрогнул, я чувствовал, что с каждым мгновением теряю способность оставаться бесстрастным. Пасифая, вытянув руки, как слепая, спотыкаясь, шла к Тезею, до него было всего несколько шагов, но ей, казалось, потребовался век, чтобы преодолеть этот путь. Время застыло, и мы были заключены в нем, как мухи в кусках янтаря, что привозят с побережья северных морей. Пасифая взяла голову Минотавра из рук Тезея (он отшатнулся, выпустил из другой руки и мешок) и прижала ее к груди. Мне стало жутко – она изменилась в один миг, теперь это была растрепанная старуха с тусклыми глазами и сморщенным лицом, сгорбленная под грузом истины.

Так она не знала? Не знала! Никогда не видела его, как и Минос? Все эти годы я считал: она прекрасно знает, что Минотавр – обыкновенный ребенок, обыкновенный человек. Исходя из этого, я и относился к ней соответственно.

– Мы всегда мечтали о сыне, помнишь? – сказала Пасифая Миносу. – Красивом, умном, сильном. Тебе не понять, как мечтает о ребенке женщина, я мечтала о нем, ждала его, а он все эти годы был здесь, рядом, именно такой… Что же теперь у тебя осталось и кто у тебя остался? Только ты, золотой трон и великий Крит? Может быть, из–за того, что ты поступил так, у нас и не было сына… И я–то, я пыталась, я все эти годы ненавидела Горгия за то, что он его оберегал, я в конце концов добилась, можно умереть от смеха…

Она и в самом деле рассмеялась, но захлебнулась лающими звуками и смолкла, баюкая голову, как ребенка. Я не узнавал ее. Уходило, кровью из раны утекало что–то, составлявшее до сих пор неотъемлемую часть моего существа, я терял себя и бессилен был этому воспрепятствовать.

Ариадна остановилась перед Тезеем и смотрела ему в лицо огромными сухими глазами – хвала богам, что это не на меня она смотрит. Тезей медленно–медленно поднял руку, словно защищался от удара, хотя она не шевелилась.

– Ты просто запомни, – сказала она даже не взрослым – а старьм голосом. – Запомни этот день и никогда его не забывай, – повернулась к Миносу, и в голосе зазвучали жалобные интонации

ребенка, осознавшего, что на свете существует смерть, и вынужденного отныне с этим примириться. – Ну что ты наделал?

– Я? – сказал Минос глухо. – Что же, вы отыскали какой–то выход, вы нашли виновного. Во всем виноват я. Или он. – Не глядя на меня, он безошибочно указал в мою сторону. – Отыскался один–единственный злодей, одинокий мерзавец, повинный во всей лжи и крови, и можно успокоиться. Легче от этого не станет, но с собственной души полностью снят груз какой–либо вины. В Аид отправимся я или толкователь снов, а вы останетесь, погруженные в свою печаль и скорбь, такие ни в чем не повинные… Прекрасный выход. Ну а вы–то, вы все? Вам просто не хотелось ни о чем думать и ничего знать, вы предпочитали купаться в блаженном неведении, чистые и безгрешные. Вас полностью устраивала солнечная сторона улицы, заглядывать в темные переулки не хотелось – лучше вообще забыть, что они существуют. Всякое зло обязательно творится с чьего–то молчаливого согласия, кто–то отворачивается, кто–то закрывает глаза, кто–то не желает признать, что черное – это черное. И льется кровь. Не обвиняйте в убийстве Минотавра кого–то одного. Убийц Минотавра не перечесть. Докажите мне, что я неправ. Что же ты молчишь, Ариадна? Либо виноваты все, либо никто не виновен. Но второго быть не может – голова перед нами…

От Пасифаи бесполезно было ждать каких–либо слов – она сидела на ступеньках своего трона, баюкала голову Минотавра, и ее глаза все явственнее наливались безумием. Ариадна, не взглянув на отца, молча кивнула и, оцепеневшая в обретенной взрослой мудрости, вышла неслышно, как тень.

– Ветер дует в сторону Пирея, – сказал Тезей. – Прощай, Минос. – Он вынул из ножен меч и швырнул его к моим ногам. – Забери. Стоило Гефесту стараться ради такого дела…

– Какой там Гефест, – сказал я. – Гермес купил его где–то в Афинах.

– Что, и он жулик?

– А чего ты еще ждал от нашего покровителя? – пожал я плечами. – Отправляйся к своим землякам, славный герой. Желаю самого наилучшего. Желаю совершить все, что ты там задумал…

– Так и будет, – сказал Тезей. – Я вас ненавижу – за то, что оказался таким, как вы. Ничего, все забудется и ничего не повторится. Будет другое – честное, светлое, и я искуплю свою вину, сполна расплачусь за проявленную однажды слабость.

Он ушел, веря во все, что сказал, и уже не слышал, как Пасифая дребезжащим голосом затянула колыбельную.

Гермес, покровитель торговцев и мошенников, один из богов Олимпа и вестник богов, покровитель путников

– Я шагал, поигрывая кадуцеем, этой глупой игрушкой, от которой по идиотской воле Зевса мне так никогда и не избавиться. Я шагал по коридорам дворца. Одни и не замечали меня, другие шарахались, молитвенно воздевая руки или зажимая ладонью готовый вырваться изо рта крик. Все это было до омерзения знакомо, жизнь не блещет разнообразием. Ну, в конце концов, наиболее беспокоит не это: оскорбляет то, что почти все плуты, которым мне волей–неволей приходится покровительствовать, в глубине души считают меня равным себе, чуть ли не сообщником. И не вырваться из этого заколдованного круга. Правда, мы боги, позади и впереди у нас вечность, и мы давно разучились отдаваться каким–либо чувствам со всей полнотой и страстью, но и мы не равнодушны ко всему на свете, нет, что–то осталось, что–то покалывает время от времени – слабые звуки долетевшего издали смеха, шум бушующей где–то на другом конце света грозы.

Крики раздались вновь – с галереи толпе показывали бычью голову, игравшую роль головы страшного людоеда Минотавра. Я мимоходом покривил губы в иронической и грустной усмешке. Еще один подвиг, совершенный при моем содействии. Еще один лист в мой венок там, на Олимпе. До чего же я ненавижу Олимп… Сборище усталых актеров, поддерживаемых на ногах лишь блеском взятой на себя роли, чья жизнь всецело подчинена выбранному однажды образу, бессильных что–либо изменить в своем характере, – застывшая злоба, застывшее распутство, застывшая юность, застывшее мастерство. Есть на свете то, чего боятся и боги, – неизменность. Нам никогда не стать другими, не выбрать иное дело по душе, не измениться. На Олимпе нашелся один–единственный, рискнувший восстать против неизменности, застывшего, как лед, бытия, дерзнувший похитить огонь, стремившийся сделать людей чище, лучше, добрее. Но он волей наших идиотов давно прикован к скале на Кавказе, и орел каждый день рвет его печень. И арестовывал его не кто иной, как я, Гермес Легконогий.

Я ненавижу обитателей Олимпа, но мне не избавиться он них, не прыгнуть выше собственной головы, не выскочить из собственной кожи. Я тоже прикован, как Прометей, но свою цепь я выковал себе сам и путь выбрал сам – плыть по течению. И я не знаю, действительно ли мне хочется прилагать силы к добрым делам, или это глупая попытка исправить заведомо неисправимое, я не знаю, зачем я сейчас иду по убранным с аляповатой роскошью комнатам и коридорам.

Мне надоело вышагивать среди равнодушных и почтительных, и я свернул в первую попавшуюся дверь.

Ариадна стояла у окна, выходящего на море, синее и спокойное в этот день, и где–то на полпути к горизонту белел горизонтальный прямоугольничек паруса – ветер дул в сторону Пирея. Она мельком глянула на меня и отвернулась, словно привыкла лицезреть богов каждый день и они ей давно наскучили, а то и опротивели.

Я положил на столик кадуцей, подошел и остановился рядом с ней. Парус достиг места, где море сливалось с небом, стал опускаться за горизонт, превратился в тоненькую белую черточку, а там и она пропала. И тогда Ариадна повернулась ко мне.

– Почему так случилось? – спросила она.

– Откуда я должен это знать? – ответил я вопросом.

– Ты же бог.

– Ах да, разумеется… Боги заранее знают ответы на все вопросы. Боги существуют для того, чтобы человек в любую минуту мог заявить, что его грехи вложены в него богами, а сам он совершенно неповинен в подлости, трусости и лжи.

– Значит, ты не знаешь?

– Может быть, – сказал я. – А может, не хочу утруждать себя знанием ответов на все вопросы – к чему? Ты думаешь, стало бы легче, разложи я по полочкам твои побуждения, мысли и ошибки и распиши с точностью до мига, когда ты подумала или сделала что–то не так? Неужели стало бы легче?

– Не знаю.

– Вот видишь.

– Ты тоже во всем этом участвовал.

– С таким же успехом ты можешь обвинить тот меч, которым все было проделано.

– Я по–иному представляла себе роль богов.

Она повзрослела и поумнела за считанные мгновения – там, в тронном зале, – но по–прежнему не могла отрешиться от устоявшихся представлений о богах. И не ее в том вина.

– Боги, боги… – сказал я. – Милая девочка, почему вы все время пристаете – научи, подскажи? Вы выдумали нас, чтобы получить ответы на все вопросы, но ответов не будет, пока вы сами их не найдете, потому что вы задаете вопросы не нам, а самим себе. Когда же вы это поймете?

Я замолчал, мне стало страшно – я почти дословно повторил слова Прометея, расцененные на Олимпе как едва ли не самое тяжкое из Прометеевых преступлений – вернее, из того, что Зевс приказал считать преступлениями. Если бы кто–нибудь передал мои слова Зевсу… Интересно, кому поручили бы арестовать меня?

– Значит, и ты не знаешь, – сказала Ариадна.

– Не знаю, не хочу знать. К чему вникать в тонкости слов и понятий?

– Я не хочу жить, – сказала она.

– Полагаешь, что жизнь кончена? А не чересчур ли поспешно?

– Нет, тут другое. Я не могу себя оправдать.

– От тебя мало что зависело, девочка.

– Все равно. И потом… Я не думаю, что впереди будет что–то, что зачеркнет случившееся или сделает счастливее.

– Тебе не кажется, что это влияние мига?

– Нет, – сказала Ариадна. – Я все обдумала и взвесила. Лучше уйти сразу, чем подвергаться риску нагородить еще множество более мучительных ошибок.

– Подожди, – сказал я. – Еще раз подумай и взвесь.

– Подумала и взвесила. Разве ты можешь что–нибудь посоветовать? Ты же упорно отказываешься.

– А почему бы и не посоветовать! – сказал я. – Я могу предложить тебе стать моей возлюбленной. У богов есть одно очень ценное качество – они настолько хорошо изучили все сделанные людьми ошибки, что со мной ты могла бы не бояться наделать ошибок.

Почему мне вдруг пришло это в голову? Неужели меня может всерьез волновать судьба этой девчонки? Перед нами прошли тысячи судеб, нас ничто не может удивить и тронуть, мы бесстрастны и холодны. Или у меня столь плохое настроение, что я полагаю, будто не я спасаю, а эта девочка может во мне что–то спасти?

– Иными словами, ты мне предлагаешь стать куклой, которую ты избавишь от необходимости думать и принимать решения?

– Зачем так категорично? – сказал я. – И потом, разве не это было извечным женским желанием – найти кого–то сильного, кто избавит от самостоятельных решений?

– Возможно. Но разве ты способен чувствовать по–настоящему? Я всегда считала, что рассказы о влюбленных до безумия и безудержно разгневанных богах – выдумки. Ваш опыт, помноженный на ваше бессмертие, по–моему, сделал вас неспособными на искренние чувства.

Вот так. Эта девочка смогла без посторонней помощи отыскать ахиллесову пяту богов. То, о чем я когда–то думал чаще, чем следовало бы, сидя на своем любимом месте у какой–нибудь из рек подземного царства – у тяжелых и медленных, как расплавленный свинец, вод Стикса, у еще более медлительной, застойной почти, пряно и душно пахнущей Леты, у серых унылых струй Ахерона. Я уже забыл, когда именно перенял у людей привычку размышлять на берегу реки…

– Ты во многом права, – сказал я. – Неспособны мы на искренние чувства. Но разве это означает, что мы не можем испытывать симпатию и предлагать что–то от чистого сердца?

– И только, – сказала Ариадна. – Спасибо, если это действительно от чистого сердца. Но я не хочу быть красивой игрушкой даже у бога. И хватит об этом.

Она подняла крышку шкатулки и вынула длинный тяжелый кинжал из черной бронзы с рукоятью в виде распластавшейся в прыжке пантеры. Я мог бы ее остановить, заставить идти навстречу моим желаниям и воле – я все–таки бог, – но во всем дальнейшем не было бы ни капли ее собственных желаний и воли, а иметь дело с куклой, каждым движением которой управляешь ты сам, – смертная тоска, пусть даже я не могу ощутить во всей полноте сущность понятий «смерть» и «тоска» так, как их может ощутить человек. Здесь я был бессилен, оставалось смотреть, как она поворачивает кинжал лезвием к себе, и лицо бледнеет в отчаянной решимости, но рука не дрожит. Я отвернулся и бессмысленно смотрел на искрящееся мириадами солнечных зайчиков море, пока не раздался слабый, тут же оборвавшийся вскрик.

Я ровным счетом ничего не ощутил. Разве что тень жалости. Все наши чувства – тени. Хотя мне кажется, что однажды я испытывал вполне сравнимую с человеческой радость – когда мои сандалии помогли Персею добыть голову Горгоны и уничтожить одно из любимых чудовищ Посейдона. Посейдон до сих пор на меня зол. Но это было так давно, настолько заслонили это воспоминание рутина дел и привычные развлечения, что я уже не могу с уверенностью сказать, был ли реальностью тот прилив чувств…

Я забрал со столика кадуцей, вылетел в окно и стал подниматься все выше и выше. Все меньше становился дворец, дома и улицы Кносса сливались в одно пестрое пятно, в лицо дунул свежий морской воздух, и я подумал: неужели я пытаюсь вспомнить, что такое тоска?

Рино с острова Крит, толкователь снов

– Я думал, что опасности кончились, но, оказывается, подстерегала еще одна.

Когда телохранитель, в панике доложивший о смерти Ариадны, вышел, пятясь на негнущихся ногах, Минос обратил на меня бешеный взгляд, и я снова оказался между жизнью и смертью. Кажется, у меня хватило душевных сил спокойно встретить этот взгляд. За нашими спинами бормотала что–то Пасифая, заводила колыбельную, сбивалась и начинала сначала. Вопли за окном умолкли – толпу уже вытеснили конники за

дворцовые стены, и ликование перекинулось на улицы Кносса.

– Что у меня осталось? – спросил Минос. – Да ничего. Вот и Ариадна…

– Ты готов и в этом обвинить одного меня? Если у Минотавра множество убийц, почему в смерти Ариадны виноват я один? Будь трезвомыслящим до конца.

– А как быть, если у меня просто–напросто вспыхнуло желание кого–то казнить? Взять и подвергнуть жуткой казни, чтобы отогреть хоть частицу души?

Я молчал. Странно, но я не боялся – был слишком опустошен.

– Ну что ж, зови стражу, – с изумлением услышал я свой собственный голос.

– Но что мне за радость видеть, как тебя разорвут лошади? – сказал Минос. – Слишком быстро. И резать тебя на кусочки – тоже, по сути, слишком быстро…

И он ударил в гонг. Я равнодушно покосился на вбежавшего телохранителя. Минос сказал ему:

– Проводи этого человека в мою сокровищницу. Пусть ему насыплют в мешок столько золота и драгоценностей, сколько он сможет увезти на тачке.

Телохранитель выжидательно глянул на меня.

– Благодарю, царь, – сказал я.

– Благодарят за награду, – сказал Минос. – А я тебе мщу…

…Я едва пробился к своему дому сквозь запрудившие улицы толпы народа. В кабаках угощали вином всех подряд и не требовали платы, торговцы раздавали фрукты и цветы, звуки флейт и цимбал сливались в невыразимую какофонию, и повсюду славили Тезея. Я шел не сворачивая, не выбирая дороги, толкал перед собой дурацкую тачку, усердием казначея нагруженную так, что я не чувствовал рук, врезался в толпу, как нож в масло, не отрывал взгляда от скрипящего колеса тачки, отмахивался локтями от протянутых мне чаш с вином от кидавшихся на шею женщин. Я был чужим и ненужным. Никому не нужным, даже самому себе.

Я пинком распахнул калитку, вкатил во двор тачку и, накренив ее, вывалил мешок на землю. Рета и Ипполита молча уставились на меня.

– Вот, – сказал я, дернул узел на мешке и, покряхтывая от напряжения, приподнял его за углы. Звеня и журча, на землю хлынуло золото. Я отшвырнул в угол пустой мешок и разровнял конусообразную кучу ценностей ногой, словно зерно рассыпал.

Куча из тысяч золотых монет громоздилась на плохо подметенном дворике, в ней посверкивали разноцветными лучиками пригоршни самоцветов и блестели украшения из

железа, ценнейшего металла, стоившего в несколько раз дороже золота. Человеку даже при разгульной жизни хватило бы всего этого на десять жизней.

Рета изумленно молчала. Ипполита же всплеснула руками и разразилась восхищенными воплями, относящимися как к сокровищам, так и к моей деловой хватке и удачливости, в которой она никогда не сомневалась.

– Хватит, – сказал я тихо, но так, что она прикусила язык. – Уйдите, вы обе, оставьте меня одного, слышите?

И они оставили меня одного. Я шевельнул ногой – под сандалией хрустнули монеты, из кучки сора холодно сверкнул колючими искорками алмаз. Я был один, жизнь улетела, беззаботно смеясь, унося с собой радость, улыбки и покой, и где–то высоко над головой в бескрайнем синем небе снова мощно прошелестели белые крылья Дедала, и в этом тающем шуме таилось все то, чего не было в моей жизни и никогда уже не будет. И многозначительная ухмылка Гермеса вновь возникла передо мной, четкая, как силуэты деревьев, на миг вырванных из мрака ветвистой вспышкой молнии.

Предсказания Гермеса сбылись. Я проиграл, обретя удачу, проиграл, ввязавшись в игру, где победитель теряет все. Возможно, я проиграл еще лет пятнадцать назад, когда передо мной открывалось множество дорог и можно было предпочесть ту, по которой я шагал все эти годы, совсем другую.

Не вышло из меня Анти–Геракла. Люди опрокидывали мое мнение о них и отказывались играть написанные мной для них роли. Не получилось из меня всезнающего и всевидящего божества. Что дальше? – вынужден я был спросить себя. В самом деле, что?

Минос отомстил мне, дав столько денег, что я отныне мог не думать о них. Мой триумф был преходящим, как все мимолетное, и ненужным мне. Не было целей, не было смысла жизни, не к чему стремиться и нечего хотеть. Пустота. Серая гладь Стикса. Неужели – мне стало страшно, но я обязан был додумать ту мысль до конца, – неужели такие, как я, всегда обречены на поражение?

Я вошел в дом, нажал медную шляпку гвоздя, открывавшую тайник, и достал тщательно перевязанную шнурком кипу листьев папируса – основу монументального труда «Что есть человек». Постоял, покачивая ее в руках, а когда тоска и отчаяние стали непереносимыми, резко повернулся и что есть силы швырнул листы в спокойное пламя очага.

Взлетели искры и пепел, огонь притух сначала, потом ожил, листы папируса трещали, занимались с краев, становились

прозрачно–золотистыми и вспыхивали, корчились, сворачивались в черные хрупкие трубочки. Сгорали измены и ложь; предательства и подлости, следы преступлений и распутства, непродуманных решений и интриг, обдуманных со всей возможной скрупулезностью… Я не напишу этой книги. Впрочем, я и своим горьким опытом не стану делиться, так что, вполне возможно, спустя годы и века кто–то другой замыслит нечто подобное и, быть может, доведет работу до конца. Но что ему это даст?

Что же делать? Я не настолько глуп, чтобы расшвырять золото нищим или утопить его в море. И руки на себя не наложу. Я буду ждать, может быть, еще очень долго, и, смею заверить, моя жизнь не будет состоять из одних лишь стенаний и уныния. Но горечь поражения останется со мною навсегда.

Я не могу больше оставаться здесь, в этом городе, в этой стране. Нет мне здесь места. Мне все равно, в какую сторону плыть, и поскольку ветер дует в сторону Египта, какая разница? Все страны мира мне одинаково безразличны.

Я крикнул, и появились женщины, так быстро, словно они стояли за дверью и ждали зова.

– Собирайтесь, – сказал я. – Мы уплываем в Египет. Дом, все, что нельзя взять с собой, – пусть все это провалится в Аид. Понятно? Мне этот хлам не нужен, понадобится, купим дворец…

И удивительное дело – моя злоязыкая Ипполита, сберегавшая каждый дырявый котелок, стоптанные сандалии и растрепавшиеся веники, сроду, не удержавшаяся, чтобы не прокомментировать любой мой поступок и решение, на сей раз ни словечка не сказала. Она постояла, гладя меня по плечу, потом вдруг промолвила:

– А помнишь, малыш мой, какие у тебя были способности к садоводству? Никарис тебе такое будущее предсказывал…

– Не помню, – вяло сказал я, и я действительно не помнил ни давней любви к садоводству, ни этого Никариса. – Иди, старая, иди.

И она вышла, бормоча что–то насчет носильщиков, которых надо нанять, насчет корабля. Я сел на прежнее место и бессмысленно смотрел в огонь – уже и пепел сгоревших папирусов раскрошился.

Рета подошла, положила руку мне на плечо, как только что Ипполита, и я готов был поклясться, что в этом была жалость, что она каким–то образом ухитрилась заглянуть в мою душу и узнать ее тайники. Не приму я жалости ни от кого, от женщины в особенности, но я был слишком опустошен, чтобы сопротивляться или возмущаться.

– Я люблю тебя, – сказала она.

Я подумал, что совсем не знаю женщину, с которой жил в одном доме и спал на одном ложе, и вспомнил, что однажды она уже опровергла сложившееся было о ней впечатление. И ни о чем больше не думал – сил не хватало.

– Я люблю в тебе того, кем ты мог бы стать, – сказала Рета. – Но не стал и не станешь никогда…

И снова я ничего ей не ответил – все, что могло бы произойти со мной полтора десятка лет назад, так и осталось миражом, по не пройденным мной дорогам ушли другие, стих вдали шелест белоснежных крыльев, остался лишь пушистый пепел на прогоревших угольях очага.

И некого винить, кроме самого себя.

ЭПИЛОГ

Тезей, пока еще царь Афин

…И когда Тезей, пока еще царь Афин, вернулся из прошлого и поднял голову, он увидел, что тени отступают к завесе мрака и тают во мраке, уходит Минос, царь Крита, в пурпуре и золоте, уходит Горгий, начальник стражи Лабиринта, в серебряном панцире, уходит Ариадна, прекрасная, как радуга, и темнота поглощает их, уносит с собой прошлое. Но остались Рино с острова Крит, толкователь снов, и тот, неразличимый, в самом дальнем и темном углу.

– Ну что, дружок? – спросил Рино. – Вот мы и вспомнили, как оно все было. Интересные бывали времена, любопытные случались истории, верно? Ну и как, ты добился всего, чего хотел? Я, вообще–то, много о тебе слышал, специально следил, признаюсь…

– Да, – сказал Тезей. – Я был с Гераклом, когда он шел воевать с амазонками, когда он освободил Прометея, я женился на Федре, сестре Ариадны, водил армии и строил города. Я убил разбойника Прокруста и страшного вепря. И никому и никогда больше не удавалось заставить меня поступиться моей совестью.

Он говорил, обращаясь не к Рино, а к смутной фигуре в дальнем углу, но тот не шевелился и молчал, и Тезей не знал, услышаны ли его слова, и не знал, зачем он все это говорит.

– Иными словами, – сказал Рино, – ты прожил в общем–то банальную и не принесшую особых триумфов жизнь. Еще один царь с его стандартными занятиями, достижениями и промахами.

– Я был с Гераклом…

– Я помню, – сказал Рино. – Ты шел с Гераклом против амазонок – еще одна война где–то на окраине. Пояс царицы амазонок, который добыл Геракл, стал одним из его подвигов, а твои подвиги ограничились тем, что ты пленил прекрасную

Антиопу, позабавился и сбыл ее с рук, когда она тебе надоела.

– Я был с Гераклом, когда он освободил Прометея. Прометей называл меня своим другом, ясно тебе? Это тебе о чем–нибудь говорит?

– Но пустить стрелу в Зевсова орла хватило смелости у Геракла, а не у тебя, – сказал Рино. – Так ты и остался в тени Геракла – вечный многообещающий родственник. Правда, за тобой еще числятся Прокруст и вепрь, но это, будем откровенны, не столь уж великие победы. Когда Геракл погиб, ты выдвинулся на одно из первых мест среди героев, но опять–таки, по иронии судьбы, в первую очередь как победитель Минотавра. Ты всю жизнь пытался уйти от Лабиринта и забыть, что он когда–то существовал, но Лабиринт с тобой. Интересно, с чего ты взял, что победителей не судят? И, кстати, не объяснишь ли, что это там за шум у стен? Сдается мне, у тебя небольшие недоразумения с подданными?

Нужно было ответить ему, что–то сказать, но, как и тридцать лет назад, не было сил и не находилось слов.

– Они еще пожалеют, – сказал Тезей.

– Ах, ну да… Единственное, что тебе, пожалуй, осталось – забиться на какой–нибудь уединенный островок и проклинать толпу, отвергшую героя, не оценившую его великих замыслов и помешавшую свершениям. Но где эти замыслы, и что это были за свершения, непонятый герой? Сожрали тебя маленькие человечки. Цеплялся когтями и зубами, полз к вершине и думал, что за ней – новые, еще более величественные, а перед тобой оказался унылый обрыв… Надоел ты мне, откровенно говоря.

Он отступил и скрылся во мраке. Оставался еще тот, неразличимый, но Тезей просто не представлял себе, с какими словами к нему обратиться, и не знал, нужны ли эти слова, никого не оправдывающие и ничего не меняющие.

– Ну что же, прощай, царь, – сказал халдей. – Нового не добавить, а сказанного не изменить.

Следуя за его ладонью, лоскут мрака отделился от стены черного тумана, халдей завернулся в него, как в плащ, прощально поднял руку и растаял. За воротами нарастал торжествующий рев, мир состоял из монотонных ударов стенобитных машин и треска пламени. Жизнь утекала, как песок сквозь пальцы, и, как ни странно, не было обычных в таких случаях мыслей: что хорошо бы повернуть время вспять и начать все сначала, по–иному…

Вбежал придворный с рассеченной щекой, в пластинах его панциря застряли наконечники стрел с наспех обломанными древками.

– Все, царь, – сказал он, задыхаясь. – Ворота сейчас рухнут.

На коней!

Тезей смотрел на него и не видел. Все, что могло гореть, отгорело, все, что могло болеть, отболело, и не оставалось ничего, ради чего следовало бы жить. Он даже и не уверен был, что жив, – кажется, он погиб тридцать лет назад в огромном и мрачном сером здании, в длинных, как века, и запутанных, как судьбы, коридорах.

– Иди, – сказал Тезей. – Прощай.

Придворный понял и не собирался тратить время на уговоры.

– Я верно служил тебе, но я хочу жить. Прощай.

Вот и все, он уходит, поворачиваются и спешат следом безмолвные гоплиты, и затихает вдали едва различимый в шуме осады гром копыт. Тезей остался один, совсем один, как тот, в Лабиринте, тридцать лет назад, в одно сливаются прошлое и будущее, и настоящее есть следствие прошлого, а прошлое могло быть другим.

Пылающие ворота рухнули с печальным скрежетом, по ним, обжигая ноги и не замечая этого, пробежали люди, мир был солнечным и шумным, и перед глазами впервые за много лет встало воспоминание детства – шкура Немейского льва, которой из всех мальчишек, игравших тогда во дворе, не испугался он один. И тут же растаяло, его спугнул, как птицу, непреклонный голос:

– Царь Тезей, народ Афин приговорил тебя к смерти.

В дверном проеме сверкали мечи и наконечники копий.

И Тезей, царь Афин, победитель Минотавра, пошел навстречу этому двинувшемуся к нему острому сверканию, пошел быстро, торопливо.

1978–1984

Провинциальная хроника начала осени

Время, когда мы на ощупь
Растем, немилосердно…

Р. Рождественский

ПРЕДИСЛОВИЕ

Признаться, автор не рассчитывал возвращаться после «Лабиринта» к героям древнегреческих мифов. Но чем больше погружаешься в сказания Эллады, тем больше обнаруживаешь там проблем, выходящих далеко за узкие пространственно–временные рамки.

Хотелось бы предупредить читателя о следующем. Первое: «Провинциальная хроника начала осени» никоим образом не является продолжением «Лабиринта», и рассматривать ее следует так, словно «Лабиринта» не существовало. Второе: Тезей из «Лабиринта» и Тезей из «Хроники» — абсолютно разные люди, два варианта человеческой судьбы. Третье: как и предыдущая повесть, «Хроника» — не более чем измышление автора. Ничего подобного в действительности не происходило.

Впрочем, как знать…

1. СТАРЫЙ КОРАБЛЬ НА БЕРЕГУ

Был месяц пюанепсион, месяц начала осени, ожидания дождей и смутных предчувствий каких–то перемен. Неясные надежды порой питают многих при смене времен года, заставляют верить в то, что вслед за полосой неудач обязательно приходит успех, что существует где–то сияющая и непреложная высшая справедливость и ее преданные, неподкупные служители, оделяющие каждого счастьем или горем сообразно делам и помыслам. И нужно лишь подождать, когда в вышине, в непостижимом отдалении от будней и несовершенства рода человеческого, скрипнет стилос, колыхнется чаша весов и настанет твоя очередь на долю удачи, радости и счастья, будет указан путь и убраны с дороги колючие кусты.

Плохо только, что в обычной жизни довольно быстро убеждаешься — высшая сила отнюдь не торопится вмешиваться в жизнь и никак не напоминает о себе: при вдумчивом рассмотрении становится ясно, что ее роль выполняют твои и чужие поступки, слова, дела. Майон привык к своим мыслям, они давно уже не пугали. Впрочем, сейчас для философствования

просто–напросто не оставалось времени: в двух шагах отсюда дышало море, и песок не потерял еще дневного тепла, и небо было в крупных белых звездах, и маленькая теплая ладонь Ниды замерла в его руке. Он мог, да и должен был отрешиться от всех дневных забот и дел. Забыть, что сплошь и рядом ты, как слагатель стихов, поэт, рапсод, аэд (сколько выдумали слов, и ни одно, если разобраться, не исчерпывает всего и не проникает в сущность!), не принадлежишь самому себе. Ты должен делать что–то, чего зачастую не хочешь, обязан поступить так, а не иначе, ты — не только ты, есть еще и двойник, существующий как бы отдельно и независимо от тебя. И ты постепенно смиряешься с этим, ты знаешь, что иначе нельзя, но это не означает, что такое положение не волнует, не беспокоит, не мучает.

Но не сегодня. Сегодня были теплый песок, Нида и звезды. А впереди, кормой к морю, в каких–нибудь трех шагах от воды, лежал на песке старый корабль. Три шага — невеликое расстояние, но не всегда его можно преодолеть, тем более кораблю, которому не помогают люди. Волны прибоя более десяти лет убегали и убегали назад в море, так и не коснувшись кормы и расколотого рулевого весла.

Корабль лежал сильно накренившись на правый борт, так что на палубе, взберись туда кто–нибудь, стоять все равно было нельзя. Пролом в правом борту, зиявший от киля до палубы, был проделан явно не подводными скалами, их и не имелось в этих местах, происхождение его оставалось загадкой, которую, правда, никто никогда и не рвался разгадать. Борт выглядел так, словно кто–то упорный и одержимый яростью рубил его, пока не сломал топора. Но это никому было не интересно. В мире происходят и более удивительные и достойные внимания события.

Корабль лежал на берегу так долго, что мальчишкам давно прискучило лазить по нему, мальчишки выросли (Майон был из их числа), а новые и не приближались к развалине, которую и ломать–то лень. Никому не было дела до того, что одиннадцатый год на побережье, неподалеку от Афин, гнил корабль, на котором герои вернулись домой из разрушенной Трои.

Двое остановились. Корабль нависал над ними, заслоняя крупные белые звезды. Тянуло острой морской свежестью и едва уловимым, непонятным запахом — то ли источенных древоточцем корабельных досок, то ли Времени. Майон протянул руку, коснулся щербатого осколка шпангоута, и его край подался под пальцами, неслышно осыпался пылью.

— Это чуточку грустно, — сказала Нида. — Да нет, какое там чуточку… Очень грустно. Такой гордый корабль, такие люди были когда–то, такая война! Неужели все погружается в Лету —

подвиги и слава, честь и доблесть? Что ты молчишь? Ведь это как раз для тебя. Троя — плач времени и века, гордость Эллады…

Она говорила что–то еще. Майон не слышал, он ничего сейчас не слышал, мир уплывал вдаль, гасли редкие ночные звуки и звезды, ничто не доходило извне, Вселенная состояла лишь из него самого — накатывало знакомое, проклятое и сладостное, ощущение, предчувствие волшебного мига, мучительного и прекрасного труда, когда неразличимый шум и смутные образы слагаются в слова, слова сливаются в строки, строки превращаются в стихи, и эти стихи — как солнце над головой, и ты чувствуешь себя равным богам.

Почему за десять лет никто и строчки не написал о Троянской войне, самых славных, самых кровавых, самых долгих и самых доблестных сражениях нашего времени? То, что поют аэды–самоучки из увечных воинов, поэзией считаться никак не может — их творчеству никогда не подняться над уровнем солдатских побасенок. К тому же каждый из них описывает лишь свой крохотный кусочек целого, лишь то, что видел со своего места в рядах сражающихся или в лагере, где у него не было ни времени, ни возможности беспристрастно наблюдать. А меж тем здесь необходим именно взгляд с высоты птичьего полета.

Может быть, судьба как раз ему и предназначила стать прославителем Троянской войны? В этом не было избыточного самомнения: он знал, что создает талантливое и нужное людям, но его звездный час еще впереди. Стало быть, самое время — пока живы свидетели и участники, пока не все ветераны ушли в Тартар. Он обретал цель, мир становился желанным и ясным, и, спеша поделиться радостью, Майон сказал:

— Нида, я решил. Я это сделаю. Это будет правдивый рассказ о небывалой войне.

— Сделай это, пожалуйста, — сказала Нида. — Ты у меня талантливый, я горжусь тобой, но хочу гордиться еще больше.

— Может, мне лучше было быть воином из–под Трои? — улыбнулся он.

— Нет, — сказала Нида. — Каждому свое. Они сражались, а ты призван сохранить их деяния для тех, кто будет жить после. Так что не завидуй им, у тебя есть другое.

— Я и не завидую, — сказал Майон. — Но ты?

— Майон, милый, мне неловко, но что тут сделаешь, — сказала она. — Да не я одна — так думают многие девушки, хотя не все признаются. Да, я завидую Елене Прекрасной — из–за ее красоты вспыхнула такая война. Война очень часто несправедливость и зло, но Троянская война была справедливой и благородной!

Майон и сам об этом думал.

Где–то неподалеку раздались несвойственные тихой ночи звуки: стук копыт, крики — злые, пронзительные и громкие. Скорее всего, записные гуляки никак не могли угомониться — повод для веселья они ухитрялись отыскать всегда.

Смеясь, Нида увлекла Майона в недра пережившего своих капитанов корабля. Они уверенно находили путь среди торчащих досок и ветхих перегородок — здесь было их место, заповедное и любимое. Возможно, в другие ночи корабль служил прибежищем для иных влюбленных пар, хотя их никто ни разу не потревожил и они ни разу никому не помешали.

Крики и топот отдалились.

Час пробил. История понеслась вскачь.

2. ДОРИЕЦ И ДРУГИЕ

С оглядкой, промеж своих, за глаза его называли Дорийцем, наивно полагая, что он об этом и не догадывался. А Гилл, конечно же, знал и в глубине души не имел ничего против, даже приятно было чуточку, что его причисляют к воинственному народу, против которого с незапамятных времен стояли мощные укрепления на Истме, на севере Эллады. К тому же была в прозвище и известная доля истины — текла в его жилах капля дорийской крови, доставшаяся то ли от прабабки, то ли от деда. Но мало ли что скрывается в глубине души! Для окружающих — никакого панибратства, ни тени улыбки, означающей, что ты все знаешь и подсмеиваешься над наивной попыткой подчиненных скрыть от тебя данное ими прозвище. Для окружающих отстраненность и холодность. И вот наступает золотисто–розовое утро, и мимо караульных, скрывающих под хитонами тонкие панцири и кинжалы, мимо караульных в отдаленном уголке дворца проходит суровый, молчаливый, неулыбчивый Гилл. Гилл, за глаза — Дориец, начальник тайной службы царя Аттики Тезея Эгеида. Молодой, по мнению некоторых старцев, прямо–таки до неприличия. Человек, втайне гордящийся тем, что его служба выгодно отличается от других, где умеют лишь шпионить за сановниками, ловить воров и бить плетьми уличенных в распускании роняющих достоинство властелина побасенок. Задачи своей службы Гилл понимал по–иному: знать обо всем едва ли не до того, как событие совершится. Пусть карают другие — на это есть судьи.

Он прошел мимо часовых, согласно заведенному порядку приветствовавших его лишь почти незаметным склонением головы. Вошел в свою комнату, чистую и скудно обставленную, сел за стол. Бесшумно вошел дежуривший ночью Пандарей. Свиток развернулся с привычным шуршанием.

— Преступлений совершено немного, — сказал Пандарей со всегдашним, переставшим уже удивлять или смешить оттенком гордости — как будто была в этом его заслуга. — В кабаке «Петух и Луна» схвачен Амбарник.

— «Петуха и Луну» давно пора закрыть, грехов на хозяине достаточно, сказал Гилл. — Приготовь документ для суда. Что еще?

— «Гарпии» снова шатались ночью по улицам, словесно нарушая тишину. Ночными дозорами не было принято никаких мер, кроме напоминания о необходимости не нарушать ночной покой афинян.

— Правильно, — сказал Гилл. — Мы не можем арестовывать людей только за то, что они навешивают на грудь изображение гарпии и собираются в кучки послушать известного болтуна. Ох уж мне эти «дети богинь вихря»! Все это пока только слова. Разумеется, если будут поступки… Но ничего не случилось пока.

— Пока…

— Хвала богам, мы не Спарта и не Микены, — сказал Гилл. — Это там рубят головы по одному лишь подозрению. Если удастся доказать, что именно «гарпии» ограбили оружейный склад, с ними поступят по всей строгости. Но пока ты этого не доказал. Что еще?

Обычно за этим вопросом следовало пожатие плечами, означавшее, что все случившееся ночью не выходит за рамки неизбежной рутины, не требующей личного вмешательства Гилла. Но сегодня Пандарей замешкался. Гилл поднял глаза.

— Совершено преступление из тех, что классифицируются как необычные.

Вот это уже было гораздо хуже. Преступление, которое принято считать необычным, как правило, влечет за собой долгие хлопоты, означает клубки неизвестных дотоле интриг и заговоров, с которыми возиться и возиться. Новые сложности, новые подлости, новые противники. И нужно стараться, чтобы не было новых поражений… Чтобы поражений не было вообще.

— Итак?

— По всей видимости, произошло это после полуночи. — Как обычно, читая донесение, Пандарей перешел на невыносимо нудный тон. — На окраине Афин, именуемой жителями Кошачьей Околицей, группа неизвестных лиц неустановленного количества с неизвестными целями совершила нападение на неизвестных прохожих, человека и кентавра, нанеся последним ножевые и иные ранения, преждевременно отправившие их в Тартар. Ночной дозор задержать неизвестных не сумел ввиду их исчезновения в неизвестном направлении за несколько минут до прибытия

дозора. Посему было возбуждено дознание согласно пункту…

— Хватит, — сказал Гилл. У него возникли вопросы, но не к Пандарею. Зови сыщиков.

Они возникали из воздуха, честное слово, неуловимо и беззвучно. Коротко кланялись и выстраивались у стены — гении неприметности, церберы и аргусы, знавшие о людях больше, чем те сами о себе знали. Первое время Гилл даже путал их, пока не привык. Имен у них словно бы и не было — вернее, они сами от них отказывались, заменив буквами алфавита.

— Ну, начнем, — сказал Гилл. — Из чего следует, что преступление подпадает под категорию необычных?

— У обоих убитых не взяты деньги, у обоих оставлены драгоценные запястья, и серебряный пояс — у человека, — сказал сыщик Альфа. — Однако рядом с трупами, вернее под телом человека, найдена лямка от сумки, которую, по всей видимости, сорвали у него с плеча. Лямку он сжимал рукой, мы так и не смогли разжать кулак.

— Следовательно, то, что в ней лежало, настолько ценное, что он защищался одной рукой, — сказал Гилл. — Кто они, установлено?

Сыщик Бета беззвучно отделился от стены:

— Пряжки на сандалиях человека, запястья и пояс — микенской работы. Хитон — микенского покроя. Кинжал — микенский. Деньги — микенские, спартанские и аттические. Кентавр: запястье микенской работы, деньги микенские, спартанские и аттические. Делаю вывод: человек явно микенец, прибывший к нам через Спарту. То же с большой степенью вероятности можно сказать и о кентавре: у него не обнаружено монет или вещей, которые позволяли бы думать, что он шел через Микены и Спарту из самой Фессалии.

— Может быть, он приплыл из Фессалии на корабле, — сказал сыщик Эпсилон.

— Кентавры терпеть не могут плавания на корабле, — сказал сыщик Бета. В Афинах он не прожил и дня — те, кто присматривают за кентаврами, его не знают. Кентавр все же более заметен, чем человек.

— Из чего следует, что они были вместе? — сказал Гилл.

— Мы прочесали всю Кошачью Околицу, — сказал сыщик Гамма. — Всегда найдется маящийся от бессонницы, крадущийся по закоулкам любовник, парочки в укромных местах или просто старая мегера, которая и во сне подглядывает за соседями. Четверо свидетелей видели, как человек и кентавр, мирно беседуя, прошли по улицам. К сожалению, нападение произошло на морском берегу, вдали от домов. Мы можем лишь по следам

судить о том, что убегали шестеро или семеро, унося двоих.

— Раненые? — задумчиво сказал Гилл.

— Неизвестно. К лекарям никто не обращался. Полагаю, что уносить могли и убитых — может быть, мы сумели бы их опознать.

— Чем убили тех двоих? — спросил Гилл.

— Метательными ножами спартанской работы. Добивали дубинками. Места попадания ножей — два в человека и три в кентавра — свидетельствуют, что применили ножи опытные люди, весьма даже, вероятно, принадлежащие к чьей–то тайной службе. — Гамма помолчал и добавил: — Похоже, к ним просто боялись подойти близко — микенец настоящий бык, а силища кентавров известна. У меня все.

— Ну что же, — сказал Гилл. — Кентавр, прибывший в Афины самое позднее вчера вечером, и неизвестно когда прибывший микенец — а может, и не микенец все же — убиты шайкой умелых и опытных ребят, заявившихся неизвестно откуда. Спартанские кинжалы необязательно свидетельствуют о Спарте. Похищена сумка неизвестно с чем — во всяком случае, не с деньгами или драгоценностями. Может быть, того, что требовалось нападавшим, в сумке и не оказалось. Ну что же, перед нами не лабиринт. Альфа еще раз исследует материалы по соседним тайным службам. Бета со своими людьми прочешет все притоны и потрясет всех осведомителей. Гамма — все, что касается кентавров. Дельта — связаться с нашими агентами за пределами Аттики. Эпсилон остается при мне. Положения «Заговор против интересов царя и Аттики» я пока не усматриваю. Все.

Он опустил голову и, как обычно в такие минуты, бездумно играл маленькой бронзовой ящерицей, талисманом. Дело находилось в самой паскудной стадии: докладывать Тезею не то что о первых предпринятых шагах, но хотя бы о своих предварительных соображениях совершенно не–чего.

— Пойдем посмотрим на трупы, — поднялся он.

— Я послал за Стариком, — сказал Эпсилон. — На всякий случай. Этот микенец… То ли впечатление, то ли предчувствие… Словом, странное чувство.

Первый раз на памяти Гилла Эпсилон испытывал «странные чувства» и говорил так неуверенно. В Гилле шевельнулась какая–то противная неуверенность, хотя и не страх, совсем не страх. Он был умен, тверд и храбр, он был Дориец Гилл, самый молодой начальник тайной службы во всей Элладе за всю ее историю, и он отогнал смутную тревогу. Прошел в известный совсем уж немногим закоулок огромного дворца, сопровождаемый сыщиком

Эпсилоном, который, казалось временами, вовсе не отбрасывал тени.

— Молодец, что догадался послать за Стариком, — сказал Гилл.

Старик, собственно говоря, был прежде всего достопримечательностью. В свое время он так и не стал толковым работником тайной службы, и ученого из него не получилось, аэда не вышло, как солдат он тоже не состоялся. Но неоспоримым его достоинством была прямо–таки нечеловеческой глубины память. Колоссальные свои знания он не умел ни к чему применить, но другим как нельзя более кстати оказывались иногда его знания и воспоминания о людях, делах, событиях, кознях, битвах, путешествиях и далеких землях.

Гилл спустился по широким ступеням в глубокий холодный подвал. Караульный торопливо забегал вдоль стен, зажигая многочисленные факелы. Шипела смола, треща, разлетались огненные капли, и подвал постепенно наполнялся трепещущим ярким светом. От того, что лежало на полу, покрытое грубым полотном, во все стороны протянулись прозрачные тени, чернеющие там, где случайно накладывались друг на друга. Легко ступая, подошел Эвимант, один из ближайших помощников Гилла, замер в выжидательной готовности.

— Поднимите полотно, — сказал Гилл и отодвинулся, чтобы сандалией не коснуться края старого, замусоленного покрывала. Добавил брезгливо: — Пора заменить, проследи–ка, Эвимант.

«Смерть, — подумал он, — а к смерти невозможно привыкнуть, даже сталкиваясь с ней чаще, чем это положено нормальным людям. Смерть всегда нелепа, бессмысленна, как всякое разрушение, противостоящее порядку, особенно если служишь как раз порядку».

Гилл подошел поближе, наклонился, заглянул в широко раскрытые глаза микенца. Он знал, что россказни о том, будто в глазах убитого навечно запечатлевается облик убийцы, — глупые байки, но все равно надеялся иногда.

Ничего, разумеется, не видно было в мертвых глазах, только отражение Гилла и колышущегося пламени. Да еще ярость застыла на лице. «Настоящий титан, — подумал Гилл, — неудивительно, что к нему побоялись подойти близко».

Гилл перешел к кентавру.

— Странно, что он не воняет, — сказал Эвимант.

— Что?

— Запах от него, как от обычного человека, — сказал Эвимант. Удивительно даже. Это же вонючие, грязные скоты.

— А ты часто с ними встречался? — рассеянно спросил Гилл,

не оборачиваясь.

— Почти что и нет.

— Они такие же люди, как и мы.

— Эти–то твари? — хмыкнул Эвимант. — Полукони, полускоты.

Гилл выпрямился и уперся ему в лицо холодным, жестким взглядом. Эвимант попытался не отводить глаз, но это ему, конечно же, не удалось, и он опустил голову. У него было красивое, запоминающееся лицо, выражающее решимость и волю. Но Гилл Эвиманта почему–то терпеть не мог, и чем дальше, тем больше.

— Запомни, — сказал он тихо, — мы обязаны следить, чтобы законы защищали всех живущих в государстве — кентавров и фиванцев, хеттов и лапифов.

— Я все понимаю, — сказал Эвимант. — Мы обязаны. Только я никогда не поверю, что жителя Аттики можно уравнять с египтянином, а уж в особенности с кентавром. Конечно, матерью кентавров была богиня Нефела–Туча, но отцом–то — Иксион, нарушивший все законы, какие только существовали. Зря, что ли, он в Тартаре прикован к вечно крутящемуся огненному колесу? Да и Нефела, откровенно говоря…

— Ну да, — сказал Гилл. — Я был одним из лучших учеников в школе. «От отца кентавры унаследовали грубость, Жестокость, неблагодарность, страсть к насилию, от матери — легкомыслие, ветреную переменчивость». Откуда это?

— Классический труд «О происхождении кентавров».

— Ты тоже был способным учеником, — сказал Гилл.

Можно было сказать многое: что классические труды пишутся все же людьми, а не богами, что никто из смертных не видел вечно кружащегося в Аиде огненного колеса, что давно истлели кости тех, кто знал Иксиона. Но не следует говорить всего, что думаешь.

— Так, — сказал Гилл, подходя вплотную. — Может быть, ты считаешь и меня ниже себя, твоего начальника, — вдруг во мне найдется капля неаттической дорийской крови?

Он злорадно отметил, как бледнеет, отступает на шаг Эвимант. Из угла бесстрастно смотрел сыщик Эпсилон. Колыхались тени.

— Нет! Нет! Я не хотел сказать…

— Верю, верю, успокойся, — небрежно отмахнулся Гилл.

Иного способа уязвить нахального хлыща не было, и все же Гилл не чувствовал себя победителем. Ни капельки. Правда, и побежденным он никак не мог оказаться.

— Эвимант, уж не жениться ли ты собрался? — вдруг спросил

из угла сыщик Эпсилон. — Уж больно много времени ты проводишь с Неей.

Гилл удивленно обернулся — вопрос был совсем не ко времени и не к месту. И перехватил злобный взгляд Эвиманта — чересчур злобный для простого раздражения, что кто–то сует нос в чужую личную жизнь. Но задуматься над этим не успел — дверь распахнулась, караульный крикнул сверху:

— Старик идет!

Старик, конечно, вряд ли бы спустился сам по довольно крутым и влажным ступеням — его без натуги несли на руках двое дюжих сыщиков. Судя по ухмылкам, роль носильщиков их только забавляла.

Старика осторожно поставили на пол.

— Придерживать под локоток, дедуля? — Сыщики разразились жизнерадостным хохотом. Они были неплохими парнями, только никак не могли уразуметь, почему этот хилый старикашка бывает необходим Гиллу более даже, чем они, сильные, ловкие и сообразительные.

Гилл хмуро махнул рукой, и они направились прочь.

— Доживешь до моих лет — и на урыльник сам не сядешь! — закричал вслед Старик. — Если доживешь, ню–хало!

— Угомонись, — сказал Гилл. — Дело серьезное.

— Вижу, вижу. — Старик быстрыми шажками просеменил к трупам. — Вижу, что поработали хваткие ребята — ухлопать Иксионова потомка довольно непросто, да и этакого детину…

Он замер, скрючившись в неудобной, даже для юноши неестественной позе. Потом стал выпрямляться, ужасно медленно даже для хворого старика, и Гилл ощутил холодок нехорошего предчувствия, отвратные ледяные мурашки. Чутье охотничьего пса не подводит…

— Гилл, этих — вон! — Старик говорил решительно и властно, как когда–то орал команды своим конникам, и от его голоса стало еще холоднее. — Слышал?

Эпсилона уже не было — он уловил направление руки Гилла до того, как она повернулась в его сторону. Незаметный, исполнительный сыщик Эпсилон. «Есть ли у него жена, дети, родственники, друзья? — подумал вдруг Гилл. Что он любит или ненавидит? И как его все–таки зовут?»

Он спохватился:

— Эвимант, к тебе это не относится, что ли?

Эвимант повиновался — нехотя.

— А смотрит, будто прирезать хочет, — хмыкнул вслед Старик. — Пандарей пусть остается, в нем–то я уверен, сто лет друг друга знаем, верно, стилос ты одушевленный?

— Ты их знаешь? — нетерпеливо спросил Гилл.

— Я их никогда не видел, — сказал Старик. — Но знать можно и того, кого никогда не видел и не знал. Гилл, это один из Гераклидов. Точнее, Тиреней, сын Геракла и микенской жительницы Хлои. Жил в Микенах, ничем особенным не занимался — богатый человек, начитанный, владелец одной из лучших в Микенах библиотек, покровитель художников и поэтов.

— Ошибиться ты не можешь?

— Все–таки молодость временами — недостаток, — сказал Старик. — Ты хороший сыщик, но есть вещи, которых ты по причине твоей молодости просто–напросто не можешь постичь. Я никогда не рассказывал, почему ушел с военной службы? Нет? Однажды мне здорово досталось от Геракла, а я никак не хотел оставаться вторым или десятым. Это вылитый Геракл. Как две капли воды. Конечно, возможны и совпадения, но что ты будешь делать вот с этим? — Он протянул свою куриную лапку и без тени брезгливости коснулся мертвой руки. — История этих запястий заслуживает особого рассказа, Гилл. Прометей сделал их из своей цепи — несколько запястий для Геракла. Геракл дарил их либо своим детям ко дню совершеннолетия, либо особо близким друзьям. Большее число досталось детям, меньшее — друзьям. Запястья эти, кстати, Прометей изготовил как раз в Микенах.

— Значит…

— Подожди, — сказал Старик. — Ты хватаешься за то, что лежит на поверхности. Думаешь, раз в Афинах убит один из Гераклидов, срочно следует установить, не скрывается ли за этим попытка кого–то третьего натравить Микены на Аттику?

— Да, — сказал Гилл.

— А не упустили ли вы какой–нибудь детали, связанной с убитыми?

— Запястья совершенно одинаковые, — глухо сказал Гилл. — Одно из них сделано точно по размерам кентавра. Конечно, запястье кентавра может оказаться и подделкой.

— А если — нет?

— Тогда возникают вопросы, на которые я пока не могу найти ответов, сказал Гилл. — С виду кентавр недостаточно стар, чтобы знать Геракла и быть его другом. Да и вообще друзей среди кентавров у Геракла не было, исключая разве что мудрого Хирона. Более того, Геракл перебил почти всех кентавров, за что его самого погубил кентавр Несс; кентавры ненавидят даже упоминания о Геракле. А заодно и всех Гераклидов. И вдруг выясняется, что Гераклид путешествует в компании кентавра, к тому же кентавр носит запястье, которое могло попасть к нему только от Хирона, учителя богов и героев.

— Именно так все и обстоит, — сказал Старик.

— Ты хочешь сказать, что этот случай не имеет никакого отношения к обычным политическим интригам?

— Ты сам сказал, — подтвердил Старик. — У тебя здесь случайно нет этих новомодных изобретений — слуховых трубок в стенах?

— Кому они нужны в подвале, куда сносят покойников?

— Как знать… — Старик покосился на сырые стены, закопченный потолок. — Покойники у вас сплошь и рядом непростые… Ты знаешь о разновидностях, на которые делятся правда и ложь, Гилл?

— Как это?

— Правда, которую нужно распространять; правда, которую следует скрывать; ложь, в которую необходимо заставить верить; ложь, которую следует выжигать каленым железом. Вот тебе четыре главных разновидности. От них, бывает, рождаются мелкие разновидности, но во главе угла все–таки остаются эти четыре.

— К чему это ты?

— Не знаю, — сказал Старик. — Интуиция, знаешь ли. Все же многое я повидал, многое пережил, и вряд ли я самый глупый из населяющих этот мир, хотя и уйду в иной, возможно, не оставив следа… Задумался я, Гилл. Философствую вслух. Ты случайно прикоснулся к чему–то, что не следует рассматривать как одну из обычных политических игр, происков Спарты против вас или Микен против Фив. Здесь другое. И я на твоем месте обязательно разжал бы ему ладонь и вытащил этот клочок бумаги. — Он резко обернулся и указал на крепко сжатый кулак мертвого Гераклида. Потом захихикал. — В каждом из нас живет эта любовь к театральным эффектам, все мы фокусники немножко. Я заметил этот клочок давно. А должен был заметить ты. Видимо, это ты не искал? Ты сам? А то — отдай кинжал мне…

Но Гилл сам наклонился к мертвецу, доставая кинжал. Решиться оказалось очень легко — стоило только напомнить себе, что иначе закостеневшие пальцы просто не разжать, и это не надругательство над мертвым, а наоборот, действия, служащие отысканию убийц.

— Конечно, пока неизвестно, выхватил ли Гераклид эту бумагу у нападавших, или ее пытались отбирать у него, — раздумчиво сказал Гилл. Всего лишь клочок. Вернее, уголок листа. «Я, Архилох…», «…месяца…», «…потому что мы твердо…» Дальше уже просто обрывки слов. Какой–то Архилох…

— Какой–то? Архилох — довольно распространенное имя, но в сочетании с Гераклом… — Старик придвинулся ближе и

перешел на шепот: — Ходят слухи среди тех, кто изучает литературу, что жил–де во времена оны некий Архилох, друг и неизменный спутник Геракла, составивший полное описание его жизни, странствий и подвигов.

— И?

— И — ничего, — сказал Старик. — Жизнеописания этого так и не удалось обнаружить. Более того, в существовании самого Архилоха многие серьезные ученые сомневаются. Жизнь Геракла окружена непроницаемым панцирем легенд, и постоянно возникают новые, появляются мнимые друзья и сподвижники, а то и дети. Поддельных мемуаров «друзей» и «сподвижников» тоже хватает. Кстати, по слухам, каждую главу своего труда Архилох начинал так: «Я, Архилох, говорю…» Рассказывают так, понимаешь ли…

— Тебе плохо? — протянул руку Гилл.

Лицо Старика стало восковым, едва ли не прозрачным.

— Нет, — сказал Старик. — Я всего лишь слышу грохот ворот Тартара. Что ж, ничего мне от жизни больше не взять, и ей от меня нечего уже получить. Когда меня убьют, Гилл…

— Что за чушь?

— Подожди. Перед тобой тайна, которая убивает. Этих двоих она уже, как видишь, убила. Вряд ли они последние. И тайна эта берет начало во временах моей молодости, но я уже слишком стар, чтобы участвовать в игре. Кончать придется тебе. Так что, когда меня убьют, Гилл… Одним словом, постарайся уцелеть и докопаться до истины. Если, конечно, получится.

— Это моя работа.

— Работа часто вступает в противоречие с очень многим, — сказал Старик. — Будем надеяться, что тебе не выпадет случая в этом убедиться. Впрочем, всегда трудно сказать, что считать невезением, а что удачей. Все зависит и от окружающих, и от самого человека.

— Становишься философом на старости лет? Они обожают напускать туман…

— Ничего подобного. Всего лишь предчувствую что–то, что надвигается независимо от нашего желания. Смерть вот свою вижу. Жаль, не вижу своих убийц.

И в глазах его не было ни удивления, ни страха, одно только спокойное примирение с неизбежностью.

— Да за что тебя должны убить?

— За то, что я, размышляя над случившимся, могу гораздо раньше тебя докопаться до сути.

— Но я могу…

— Не надо, — сказал Старик. — Ты сам знаешь, что в

некоторых случаях не поможет никакая охрана. Подумай вот о чем. Неужели Гераклид и кентавр вошли в Афины только затем, чтобы пересечь город из конца в конец и погибнуть? Нигде не задерживаясь, по прямой, как полет стрелы, дороге направились к месту своей гибели? И не проще ли было убийцам подстеречь их за городом, в лесу, на безлюдной дороге?

— Думаешь, что–то было в Афинах?

— Да, Гилл. Что–то предшествовало убийству в Афинах» и мы не знаем, что здесь делали, что искали убийцы или убитые, или те и другие. В конце концов, кто за кем охотился, тоже неизвестно.

Он отвернулся и удивительно ловко для дряхлого старикашки заковылял вверх по крутым ступеням. Гилл не смотрел ему вслед. Наверху хлопнула тяжелая дверь подвала, и колыхнулось пламя ближайших факелов. Шипела смола.

Гилл не мог пока разобраться в своих ощущениях и страхах, не мог сказать, были ли страхи действительностью. Он знал одно: проблемы, загадки и тайны, нерешенные и неразгаданные в прошлом, достались настоящему. И предстоит их расследовать и принимать решения, хотя никто не поинтересовался, хотим ли мы, готовы ли мы, наконец, нужно ли это нам. Что ж, и так бывает.

Он поднялся наверх. Отдавать дополнительные распоряжения не было смысла. Сыщик Эпсилон знал свое дело, с мертвыми поступят согласно заведенному для таких случаев порядку — глашатай объявит об их смерти на всех площадях и рынках, и если до заката не объявятся могущие заявить на прах родственные или дружеские права, их похоронят за счет казны, то есть по низшему разряду. Разумеется, если появится кто–то, пожелающий принять на себя заботы по их погребению, люди сыщика Эпсилона окажут таковому благодетелю ненавязчивое, но неотвязное внимание.

Впрочем, микенцу все равно обеспечено погребение не по низшему разряду, мысленно уточнил Гилл. Царь Тезей — дальний родственник Геракла, следовательно, Тезею приходится дальним родственником и незадачливый Гераклид Тиреней. И доложить Тезею придется прямо сейчас — как–никак убит Гераклид.

Он повернул голову, и за его плечом возник сыщик Эпсилон.

— Постоянную охрану Старику, — сказал Гилл. — Лучших. Чтобы никаких случайностей. У тебя что–то новое?

— Не столь уж важное, Гилл. В Афины прибывает Нестор Многомудрый, царь Пилоса. Визит неофициальный — Нестор намерен посетить храм Афины. Так объявлено.

— Ну что же, — сказал Гилл. — Поскольку у нас нет других сведений, будем считать, что объявлена чистая правда, и я рад, что на Пилосе почитают нашу покровительницу Афину. Примите необходимые меры безопасности. Охрана высокопоставленных гостей, как всегда, дело Дзеты. Это, в конце концов, неинтересно.

— Он тебе неинтересен?

— Нестор? — сказал Гилл. — Конечно, он — Многомудрый Нестор, вдохновитель похода на Трою. Но это другие времена, Эпсилон. Ушедшие. Времена отцов. — Он рад был отвлечься пока и поболтать на посторонние темы.

— Я сражался под Троей, — сказал вдруг Эпсилон.

— Ты? Я думал, ты немногим старше меня.

— Может быть, так оно и есть, Гилл, — сказал сыщик Эпсилон. — Нет у меня возраста. Мои годы остались там, на болотистых берегах Скамандра. Мы там убиты, там похоронены честолюбивые надежды и романтические мечты.

Словно завеса отдернулась, и на Гилла глянул другой человек, умудренный, суровый, знающий что–то непреходящее. И живой — потому что сыщик Эпсилон, по правде говоря, до того напоминал лишь равно лишенную пороков и достоинств исполнительную тень.

— Я об этом не знал, — сказал Гилл.

— И лучше будет, если забудешь. Коли уж я сам об этом почти забыл.

— Хорошо, — сказал Гилл.

Сыщик Эпсилон все смотрел на него незнакомым новым взглядом, и Гиллу постепенно стало казаться, что насквозь нереальны и это солнечное утро, и покрытые мельчайшими трещинками каменные стены, и он сам. И, окончательно отрешаясь от чего–то непонятного и бередящего душу, спросил:

— Так что там с женитьбой Эвиманта?

3. ДЕТИ БОГИНЬ ВИХРЯ

— Говорю Аттике и всем: пора что–то делать! Пора что–то делать, о афиняне, жители самого молодого в Элладе, но не столь уж убогого и обделенного славой города! Я сам его сын, плоть от плоти и кровь от крови этой земли, и пусть меня ругают и швыряют в меня камнями, но я не откажусь от утверждения, что Аттика — лучшая земля в мире, а вы, мои земляки и сограждане, — цвет и богатство человечества!

Маленький горбатый человек в драном хитоне выбросил вперед руку, и сначала рявкнули в тридцать глоток «Слава Менестею!» дюжие молодчики с медными изображениями гарпий на груди, растянувшиеся цепочкой вдоль храмовых ступеней. А потом заорала на разные голоса толпа, и это было как горный

обвал: кричали почтенные торговцы и проститутки, ремесленники и отпускные солдаты, моряки и рабы, свинопасы и матроны, бродяги и праздные бездельники. Горбун в рваном хитоне поднял руку, и по толпе кругами, словно от брошенного в воду камня, побежала тишина, гомон затухал в выходящих на храмовую площадь улочках.

— Я отношу ваши славословия в ваш же адрес! — гремел Менестей. — Потому что я — это вы. Я слушаю ваши сердца и ваши мысли, я лишь выражаю ваши чаянья и вашу волю, я ваш слуга и раб и останусь им, покуда над землей светит солнце, а дождь падает сверху. Не воздавайте мне хвалы, воздайте ее себе! — Он опустил руки и продолжал тише, заставив всю толпу обратиться в слух; слышно было даже как хлопают паруса в Пирее. — Итак, Афины… Вы знаете, как нас именует вся остальная Эллада? Тяжело выговорить это слово, но придется. «Провинция» — так, благородные афиняне, именуют нас все эти чванные спартанцы, микенские бездельники и развратные фиванцы. Потому лишь, что мы молоды! Они не знают, что наша молодость и есть наше главное богатство и наше оружие. Микены, Пилос, Тиринф и все прочие — это смертельно больные организмы, насквозь прогнившие символы упадка. Ни одному из этих царств уже не подняться, им так и не удалось объединить Элладу и покорить варварские народы. И я говорю вам: сплотить пережившие свою былую славу царства, создать Великую Элладу судьбой и богами предписано нам. Мы — молодая кровь, мы юная сила, мы единственные не тащим на себе вековой груз пороков и ошибок. Афиняне, мы — очистительный вихрь, бешено сметающий пыль и тлен. И этот вихрь пронесется от моря до Фессалийских гор, а когда он рассеется, величаво встанет Великая Эллада и златовратная столица ее — Афины. И кто знает, не окажется ли тогда, что именно нам предназначено стать повелителями всей Ойкумены? Ведь мир изначально нуждался и будет нуждаться в повелителях, а чем мы плохи? Мы созданы великим Прометеем, в то время как живущие окрест народы — то ли превращенные какими–то недальновидными иноземными богами в людей животные, то ли вообще сотворены неведомо из какого дерьма. Разве можно сравнить с египтянами, поклоняющимися кошкам и хорькам, с непомнящими родства вавилонянами нас, родичей титанов, нас, получивших от самого Прометея божественный огонь? Слава Прометею!

Рев повис над толпой, как густой туман.

— Я против войны, — сказал Менестей. — Ни один человек в здравом рассудке не станет ратовать за войну, это отвратительное чудовище, плодящее пожары, слезы и смерть. Но есть война и

война. Найдется ли хоть один человек, что при нападении врага покинет сограждан и спрячется в хлеву? Нет таких? Вот видите, афиняне: когда нападает враг, в бой идут все. Мне могут возразить, что на границах Аттики не маячат чужие войска. Так оно и обстоит — пока что. Но будет ли так продолжаться вечно? Отнюдь не уверен. Вспомните — разве на нас не обрушивались, не сжигали Афин спартанцы Тиндарея? Разве не вынашивали против нас черных замыслов кентавры? Лишь случай спас нас от их вторжения, вернее, великий Геракл, почти под корень истребивший это подлое племя. Но разве не плетут против нас заговоров злокозненные соседи и сегодня? И вот я призываю вас, афиняне: вооружайтесь во имя мира! Наши враги твердят, что мы слабы, что мы юны, что мы провинциалы? Отлично, мы покажем, что армия юных выскочек из провинции не уступит войскам замшелых Микен. Мы вколотим это в голову соседям нашими мечами!

И снова рев, и молодчики с гарпиями на медных бляхах вскидывают руки.

— Я ничего не имею против царя Тезея, — продолжал Менестей. — Он, безусловно, заслуживает уважения — герой войны с амазонками, победитель Минотавра и Прокруста, человек, создавший из жалкого селения вокруг жертвенника наши великолепные Афины. Но не устал ли наш царь от государственных забот и дел? Не постарел ли он? Не утратил ли разум и волю к деяниям, прославляющим Афины? В Троянской войне мы не участвовали, ограничившись посылкой одного корабля, что не прибавило нам чести и уважения. Разве хорошо, что одиннадцатый год на берегу гниет корабль, на котором когда–то вернулись из–под Трои наши храбрецы? Разве хорошо, что давно уже из наших оружейных мастерских не выходят новые боевые колесницы, доспехи для гоплитов и мечи? При всем моем уважении к царю Тезею, при всех его достоинствах и былых подвигах, не могу не сказать: его время прошло! Наступило время других, с горячей кровью и юной дерзостью. Да здравствует Великая Эллада и ее столица — Афины!

Засвистели флейты, и Менестей, спустившись по ступеням, пошел сквозь толпу, бурлившую вокруг него тяжело и густо, как смола в котле, и уже раздались первые крики придавленных. Стражники, кое–где торчавшие на площади, растерянно переминались с ноги на ногу, не в силах сообразить, как в такой ситуации поступать.

— Как видишь, все предельно просто, — сказал Майону Гомер. — Сначала нужно доказать, что мир вокруг насквозь изъеден недугом, а затем убедить, что ты оказался единственным,

способным исцелить все немочи. Убедить, что только ты можешь открыть людям истину, и только они под твоим руководством перевернут мир.

— А потом? — буркнул Майон.

— В данную минуту никого не волнует, что будет потом, — сказал Гомер. Гораздо интереснее и привлекательнее возможность верить, что все изменится, если немедленно разнести — что угодно и все сразу. Голова болит наутро — если она вообще еще на плечах. Слов нет, до чего любопытный образчик демагогии и подлости…

Он стоял, небрежно опершись о балюстраду, высокий, загорелый, и эта нарочито ленивая поза, прищуренные глаза наводили на мысль о пантере, обманчиво расслабившейся перед прыжком. Майон промолчал. Когда–то они с непонятным им самим упорством соперничали во всем — сначала в школе, борясь за звание первого ученика, потом на стадионах и в гимнасиях — в кулачных боях, в метании диска, в гонках колесниц; и всюду успех был переменчив, переходя то к одному, то к другому. Странно, но после того, как появились их первые стихи, дух беззлобного, но рьяного соперничества как–то незаметно угас, о нем и не вспоминали. Был Гомер и был Майон. Соперничество исчезло, а вот непонимание, подумал Майон, непонимание в последнее время слишком часто тенью ложится на прокаленные солнцем плиты мостовой. Вот и сейчас я не понимаю этих прищуренных глаз, цепкого взгляда, равнодушного вроде бы лица, но на деле поглощающего разговоры и жесты, запахи и звуки, как поглощает листва солнечный луч. Конечно, такой всасывающий, словно Харибда, взгляд, такой слух и должен быть у поэта, но здесь примешивается еще и что–то другое.

— На месте нашего школьного приятеля Гилла я давно бросил бы на это сборище тяжелую конницу, — сказал Гомер.

— Шутишь?

— Ничуть, — сказал Гомер. — Как ты к нему относишься? Я о Менестее, понятно.

— Я его просто не понимаю, — пожал плечами Майон. — Промелькнет временами здравое суждение и тут же тонет в глупости и лжи.

— Лжи — не спорю. Глупости — никоим образом. Ум как раз и заключается в том, чтобы доказать глупцам, насколько они умны, насколько именно их образ мыслей и куцые ценности велики и светлы. Менестею это удается, и я на месте Тезея побеспокоился бы. Ах ты!..

Он отшвырнул ударом кулака зазевавшегося и налетевшего на него разносчика пирожков, и тот полетел кубарем, рассыпая

свой немудреный товар, — толпа, провожавшая Менестея, докатилась и до них и задела краем. Их осторожно обходили — Майон подумал, что это уважение вызвано не столько невеликой пока славой поэтов, сколько их известностью как опытных кулачных бойцов.

Потом что–то изменилось — «гарпии» безжалостно разгоняли толпу, действуя рукоятками кинжалов и дубинками, и по образовавшемуся коридору с колышущимися живыми стенами прямо к ним прошел Менестей.

— Я рад видеть вас среди слушавших меня, — сказал Менестей отрывисто и властно. — Я очень уважаю вас, друзья. Вы — живое олицетворение новой аттической молодежи, гармонично сочетающей мощь тела и духа.

Майон поклонился. Гомер сказал:

— Не перехвали нас, иначе боги, узрев на земле столь совершенных молодых людей, заберут нас на Олимп.

Менестей улыбнулся в знак того, что понял иронию и оценил по достоинству. Столпившиеся вокруг «гарпии» смотрели на них подозрительно и тупо.

— Я равно опасаюсь перехвалить вас и не воздать должного, — сказал Менестей. — Человек я простой и склонен искренне хвалить то, что мне нравится. А мне нравится твой «Поход к амазонкам», Майон, и твои стихи о Геракле, Гомер. Есть и замечания, разумеется, но не буду о них сейчас упоминать. Сейчас я всего лишь хочу задать вопрос: чем вы нас порадуете вскоре?

— Пока — ничем, — сказал Гомер быстро.

— Я думал о Троянской войне… — сказал Майон.

— Это прекрасно! — Менестей взял его за локоть и ласково заглянул в глаза. — Как–никак в этом грандиозном предприятии принимали участие и афиняне. Это слава Эллады, и она до сих пор ожидает своих певцов. Кстати, на днях ваш друг скульптор Назер установит на этой площади статую монумент сражавшимся под Троей. Вдумайтесь, — он поднял палец, — впервые в мировой истории будет установлена статуя не бога, не титана — человека. Победителя Трои.

— И не менее важно, что это событие произойдет в Афинах? — усмехнулся Гомер.

— Ты уловил мою мысль, — кивнул Менестей. — Что же, оставляю вас, не смея мешать вольному полету поэтической мысли.

Он склонил голову и прошествовал прочь, следом заторопились «гарпии».

— А ведь это уже не шутки, — сказал Майон.

— Это я тебе и стараюсь доказать, — сказал Гомер. — Когда слабнут Тезеи, приходят Менестей. Ты действительно собираешься писать о Троянской войне?

— Почему бы и нет?

— Да, предприятие было грандиозное. Есть о чем поразмыслить. На твоем месте я прежде всего побеседовал бы с Тезеем. Как–никак он участвовал в том, первом похищении Елены, он ее украл, после чего на нас и навалилась Спарта. И пришлось отстраивать едва построенные Афины заново.

— Я об этом не знал, — сказал Майон.

— А это, между прочим, чистая правда. Тиндарей бросил спартанцев на Афины не по причине изначально присущего спартанцам коварства, как уверяли нас учителя, а после того, как Тезей украл Елену. Эта девчонка уже тогда была невыносимо соблазнительна. Прошло несколько лег, и из–за тех же прекрасных глаз запылала Троя.

— Значит, вот так, — сказал Майон.

— Да. На днях эпизод с Тезеем и Еленой включат в курс истории. Наука не стоит на месте, и в ее распоряжении оказались новые знания, позволяющие исправить прежние.

— Может быть, Тезею не захочется об этом вспоминать?

— Не думаю, — сказал Гомер. — У него было достаточно много женщин, чтобы грустить о той полудевочке, и слишком много он славных дел совершил, чтобы стыдиться юношеского безрассудства.

— Так, — сказал Майон. — Выходит, Елену похищали дважды. Первый раз это привело к войне Спарты и Афин, второй — к Троянской войне. Почему же нам прожужжали уши о втором похищении и долго молчали о первом? Если самому Тезею было безразлично, знают об этом или нет…

— Ну, это не самый интересный вопрос, — сказал Гомер. — Есть другие. Например: почему Тезей всего лишь год спустя, когда Елену решили выдать замуж, не поехал в Спарту следом за многочисленными претендентами на ее руку? Коли уж он был влюблен? А он, как мы знаем, умел любить по–настоящему… Почему Тезей не участвовал в Троянской войне? Где носит Одиссея все эти годы, если он, как утверждают некоторые, все еще жив?

— При чем здесь Одиссей?

— При том, что во всей этой истории множество темных мест, — сказал Гомер. — И самая темная сторона дела — почему в Троянской войне, согласно официальной историографии, подготовленной в немалой степени и Гераклом, не участвовал ни один из многочисленных Гераклидов? За исключением

разбойника и выродка, от которого все отступились… Я ведь и сам интересуюсь Троей, Майон. И я могу прозакладывать голову, что существует какая–то тайна, в немалой степени связанная со смертью Геракла. А может, и со смертью братьев Елены Кастора и Полидевка.

— Я об этом никогда не думал, — сказал Майон.

— А впрочем, нас это и не касается. — Он вновь стал похож на лениво подставившую брюхо солнцу пантеру. — Распутывать нынешние интриги — дело сыщиков, прошлые — дело ученых. У нас другие задачи — слушать, видеть, рассказывать о том, что было… а может, и о том, чего не было… Ты не идешь к Назеру? Тогда — до встречи.

Майон смотрел ему вслед. Вот он ловко обогнул нищих, дравшихся вокруг рассыпанных пирожков, раскланялся с кем–то из знакомых. Скрылся за поворотом. И снова возникло ощущение холодной тени на теплых потрескавшихся камнях.

«Видимо, все дело в том, что мы взрослеем, — подумал Майон. — Мы вступили в пору зрелости, наши деяния и поступки приобретают все большие значения и ответственность, и поневоле нас разносит в стороны, словно случайно встретившиеся в море корабли, и нет уже места былым играм на морском берегу, мальчишеским стремлениям к тому, чтобы все в мире было ясно и просто. Мы учимся сложности. Но почему же нас разносит в стороны? И допустимо ли, ссылаясь на сложность жизни, узаконить некое необходимое соотношение правды и лжи?»

— Учитель, — робко сказали сзади.

Майон сердито обернулся.

— Эант, я много раз просил не называть меня учителем, — сказал он. Мне еще рано чему–то учить, самому следует учиться и учиться…

Но Эант смотрел восторженно, не желая принимать никаких возражений. Долговязый голенастый подросток, очень мало знавший, но стремившийся знать как можно больше, ничего еще не сделавший, но уже сейчас готовившийся свернуть горы.

— А это откуда? — поинтересовался Майон. — Ради такого украшения нужно потрудиться на совесть. (Правый глаз Эанта украшал великолепный синяк, начавший уже лиловеть.)

— А это мы швыряли камнями в «гарпий», — сказал Эант. Никакого сожаления или раскаяния в его голосе не чувствовалось. — Убежать не все успели, они поймали нас с Филоттом и хотели заставить кричать: «Да здравствует Менестей!»

— А вы?

— А мы кричали совсем другое. Потом за нас вступились

моряки. Ты недоволен?

— Конечно, — сказал Майон. — Это уже не мальчишеские потасовки, это может плохо кончиться…

— Думаешь, я не понимаю? Учитель, с этой шайкой нельзя иначе! Или я должен поступать не так, как мне подсказывает совесть?

— Нет, — сказал Майон. — Всегда поступай так, как тебе подсказывает совесть. Но здесь другое, Эант. Ты, несомненно, талантлив, и ты не имеешь права ввязываться в драки вроде сегодняшней.

Он замолчал. Он видел глаза мальчишки и знал, что ничего с этим не поделать, не погасить мутной водой затасканных поучений этот огонь.

Майон засмеялся и махнул рукой.

— Ладно, — сказал он. — Не следует ставить кулак выше слова, но и одними лишь словами иногда не обойдешься. Надеюсь, этой дракой твои новости не исчерпываются?

— Нет, — сказал Эант. — Я написал новые стихи. О Геракле. Конечно, ты можешь сказать, что тему я выбрал неудачную, — сейчас все пишут либо о Геракле, либо о Елене Прекрасной…

— Можно взять старую тему и сказать что–то новое, — сказал Майон.

— Кентавр сказал то же самое.

— Какой кентавр?

— Разве ты его не встретил?

— Я пришел домой очень поздно, — сказал Майон и смущенно подумал, что мальчишка догадывается о его маленькой лжи. — А что случилось?

— Вечером к тебе домой приходили двое — кентавр и какой–то микенец. Твой дядя говорит, что этот микенец похож на Геракла.

— Да, дядя в молодости видел Геракла, — сказал он. — А что им было нужно? У меня нет знакомых кентавров.

— Не знаю. У них к тебе какое–то дело. Жутко важное дело. Они сказали, что придут еще раз.

— Любопытно, — сказал Майон.

4. СТРЕЛЫ ИЗ ПРОШЛОГО

Гилл шагал по дворцовым коридорам отрешенный и бесстрастный, как тень, — во дворце он всегда был именно таким. В зале, куда он вошел, несколько сановников, как обычно, едва поклонились и сделали вид, что ужасно увлечены важным разговором о государственных делах, то есть обычной глупой болтовней о царских милостях, которые уже выпали на их долю и которые, конечно же, непременно выпадут впредь; вечное

хвастовство малоазийскими чистокровными лошадьми, красивыми и искушенными женщинами, обитыми золотом колесницами, драгоценностями; сплетни о том, что на кого–то, сейчас отсутствующего здесь, царь Тезей вчера посмотрел сурово, и догадки, к чему это может привести; слухи о будущих возвышениях и падениях. Как вчера. Как год назад. Как десять…

Гилл ненавидел их отнюдь не за то, что они ненавидели его и считали его занятие презренным ремеслом, но и боялись в то же время. Бывшие самовластные царьки, правившие одной–двумя деревушками, и жившая едва ли не рядом со свиньями в хлеву, но налитая непомерным честолюбием старая знать, когда–то усмиренная было Тезеем, — все вместе они не стоили и мелкой монеты и существовали только потому, что и Тезею нужны царедворцы…

Тезей, великий царь Афин и Аттики. Восхищение этим полубогом (сын Посейдона!) составляло стержень преданности Гилла. Дело в том, что Тезей победил Прокруста, Минотавра и Марафонского быка. Были подвиги и славнее к примеру, подвиги Геракла. И уж, конечно, не в том дело, что Тезей посетил Аид и сумел выбраться оттуда, — это всего лишь шалая юношеская выходка. Заслуги Тезея в другом.

В том, что на памяти одного поколения деревушка вокруг посвященного Афине жертвенника стала красивым многолюдным городом, почти не уступающим столицам более древних царств Эллады. В том, что Аттика не воевала многие годы — и это во времена, когда на десять стран приходилось тридцать три войны. В том, что впервые в греческой истории жизнь определяли писаные законы — в то время как в других странах жизнь и смерть и многое другое по–прежнему зависели от переменчивой и жестокой царской воли. В том, что ремесленники и землевладельцы жили лучше и богаче, чем где–либо в Элладе. В том, что Тезей покончил с меновой торговлей и ввел в обращение деньги, что, в свою очередь, укрепило торговлю и вело к дальнейшему расцвету Афин.

Разумеется, все это тоже потребовало крови. Может быть, временами крови излишней и напрасной. Но Гилл помнил, что с тех пор, как из–под пальцев Прометея вышли первые люди, сменилось всего–навсего десять поколений. Многому приходилось учиться на ходу, многое создавать самим, до всего доходить своим умом.

Слуга кивнул ему, Гилл откинул тяжелую портьеру и вошел. Поклонился. Подошел, подавляя неуместное мальчишеское волнение, подступавшее временами и не имевшее ничего общего с верноподданническим трепетом. Поклонился еще раз, составляя

в уме первую фразу (она, как обычно, не складывалась) и произнес:

— Царь, в Афинах убит Гераклид.

Он ожидал если не гнева (который его не пугал, но удручал), то хотя бы удивления. Но — ничего. Тезей сидел, положив руки на резные подлокотники тяжелого кресла из ливанского кедра и смотрел даже не спокойно равнодушно, словно эту новость он узнал давно, успел обдумать и примириться. «Но ведь не может этого быть!» — вскрикнул про себя Гилл.

— Кто? — спросил Тезей.

— Тиреней, из Микен.

— Он всегда берет самых лучших, этот коллекционер душ из Аида… Подробности.

Гилл рассказал, профессионально выделяя главное.

— Пожалуй, я могу назвать тебе и имя кентавра, — сказал Тезей. — Нерр, внук Хирона, знаток иноземных языков, звездочет, книжник, путешественник. Я никогда его не видел, но с Тиренеем и с браслетом Хирона мог оказаться только он.

— Может быть, ты знаешь и их убийц, царь? — спросил Гилл. — Коли уж ты знаешь их имена, знаешь, что они должны были путешествовать вместе. Кто убил их?

Он рисковал навлечь на себя гнев, но сейчас такие опасения ничего не значили — Гилл понимал, что столкнулся с чем–то значившим неизмеримо больше, чем интриги–однодневки.

— Их убило Прошлое, Гилл, — сказал Тезей. — То есть все равно что никто.

— Но так не бывает, — сказал Гилл. — Должен быть конкретный человек, отдавший приказ, должны быть исполнители.

— Этого не знаю. Возможно, я мог бы тебе помочь, рассказав о прошлом, но слишком долго пришлось бы рассказывать и нет уверенности, что я назову виновников, — порой очевидец событий знает меньше, чем тот, кто сто лет спустя пишет исторический труд.

— Рукопись Архилоха — легенда?

— Не знаю. Тиреней был уверен, что нет.

— Но сам–то Архилох существовал?

— Еще бы, — сказал Тезей. — Я его хорошо знал. Но что с ним сталось после смерти Геракла, куда исчезла рукопись и была ли она — неизвестно. Архилох была интересный малый, этакая смесь воина и книжника, — во времена моей молодости таких хватало, да и нынче они не перевелись.

— Значит, он исчез?

— Я тогда был на Крите, — сказал Тезей. — Все произошло

без меня расправа Геракла с кентаврами и его смерть. Вдруг распался отряд Геракла: кто погиб, кто побрел неизвестно куда. Я так и не выяснил подробностей не до того было.

— Понимаю, — сказал Гилл. — Царь, я ставлю вопрос иначе — есть ли сейчас кто–нибудь, кому нужно захватить или уничтожить рукопись Архилоха? Есть ли в этой рукописи что–то, из–за чего и сегодня гибнут люди? Царь!

Он подался вперед, но Тезей остановил его властным движением руки. Откинул голову, прижав затылок к резным кедровым доскам, бледность заливала крупное лицо с резкими красивыми чертами, похожее на каменные львиные морды с микенских ворот. Гилл вдруг подумал, что Тезей стар. До сих пор такой мысли не приходило в голову, язык не поворачивался произнести это слово, потому что почтенный возраст и старость — понятия с разным содержанием. Сейчас они слились в одно, и Гилл не узнавал своего кумира, своего героя.

Тезей заговорил тихо, медленно и внятно, но Гилл не знал, помнят о его присутствии или нет:

— А есть ли она, абсолютная истина? Когда я был молодым, когда у Геракла не было ни одного седого волоса, ответы казались недвусмысленными и четкими, все было по плечу, и мы верили, что не сегодня завтра перевернем мир. Но проходят годы, и с каждым новым свершением видишь, что впереди высятся те же неприступные вершины, а друзья и соратники один за другим уходят в небытие…

«Ему крепко досталось, — подумал Гилл. — Ударов судьбы выпало на долю предостаточно — смерть в расцвете красоты и молодости Ипполиты, первой жены, той самой прекрасной амазонки, смертельная вражда второй жены, Федры, с пасынком Ипполитом, ее безумие и самоубийство, смерть Ипполита. Годы заключения в Аиде. Раны, тяготы долгих походов, бешеный, нечеловеческий труд — сколачивание и укрепление новой Аттики. Для обычного человека слишком много. Да и для сына Посейдона — тоже. Но он не может, не должен, не имеет права сломаться — человек, полубог, в которого я беззаветно верю!»

— Так о чем мы? — спросил Тезей, он снова был прежним, но Гилла больно царапнуло понимание, что Тезей, оказывается, может быть и другим.

— Есть ли люди, которым нужно захватить или уничтожить рукопись Архилоха? Есть ли в ней самой что–то настолько важное? Что–то, до сих пор не потерявшее значения?

Он начинал уже бояться, что не дождется ответа.

— Я не знаю, — сказал Тезей. — Весьма возможно… Тебе следовало бы прекратить это дело. К чему нам сражаться с

лемурами? [в древнегреческой мифологии лемуры — тени мертвых, беспокоящие по ночам живых]

— Боюсь, что эти лемуры целиком из плоти и крови.

— Все равно, — вяло сказал Тезей.

— Это приказ?

— На твое усмотрение. Если не боишься.

«Но что же происходит?! — вскрикнул про себя Гилл. — Я теряю нить, перестаю что–либо понимать, а меж тем мне как раз надлежит все понимать и все предусмотреть. Не говоря уже о том, чтобы все знать. Чьи руки тянутся из прошлого и что произошло двадцать лет назад у горы Эримант?»

— У тебя все?

— Меня беспокоят «гарпии», — сказал Гилл. — Они все больше наглеют. Пропадает оружие, а виновных никак не удается отыскать. Менестей собирает все больше слушателей.

— Это несерьезно. В конце концов, я сделал для Афин неизмеримо больше, чем какой–то горлопан, который вообще не сделал ничего.

— Возможно, — сказал Гилл. — Но я ловлю себя на мысли, что на приемах слежу за нашими царедворцами, пытаясь угадать, у кого из них может оказаться под одеждой кинжал.

— А это уже чуточку смешно.

— Возможно, — повторил Гилл. — Но очень уж неспокойно у нас в последнее время. Я могу идти?

— Да. И постарайся не выдумывать новых сложностей. Нам хватает забот со старыми.

Гилл шагал по коридорам размашисто и слепо, не видя и не слыша никого и ничего, и сановники торопливо отшатывались, вновь поминая злым шепотом проклятого Дорийца, а челядь рангом пониже, не имевшая права негодовать вслух, со сладкими улыбочками кланялась, прижимаясь к стенам. Он был в ярости. Холодная, мрачная, пахнущая кровью тень, словно вырвавшееся из Аида тяжелое черное облако, наползала на солнечные, безмятежные Афины. Может быть, видел и ощущал ее ядовитое дыхание только он, а Тезей… Что–то непонятное и тревожащее происходило с Тезеем.

Он спустился в маленький дворик. Выжидательно придвинулись его люди. Гилл поманил отвечавшего за тайную охрану дворца сыщика Сигму и сказал резко:

— Следить бдительно.

Из–за спины Сигмы возник Эпсилон. Слов не потребовалось — Гилл взглянул, и Эпсилон грустно кивнул в ответ. Кто–то распахнул неприметную калитку, Гилл прыгнул в колесницу, возничий дико заорал, и рыжие хеттские кони с коротко

подстриженными гривами понеслись за ворота. Гремели колеса, возничий кричал «хай–хай–ю!», люди шарахались, Гилла швыряло, как попавший в бурю корабль, но он не замечал ни ударов, ни толчков. В голове бессмысленно вертелась старая сказка о дураке Коребе, который надумал как–то пересчитать морские волны, а сам не умел считать до пяти.

Он спрыгнул с еще не остановившейся колесницы и побежал в дом. Сыщик Эпсилон беззвучно несся следом.

Старик лежал на широченном ложе, хотя долгие годы спал один, его лицо было спокойным и строгим, глаза открыты, и белая рукоятка ножа из оленьего рога, торчавшая против сердца, почти сливалась с бельм хитоном и не сразу бросалась в глаза. Гилл наклонился, невольно заглянул в свиток, лежавший под откинутой правой рукой Старика:

«…таким образом, одни продолжают уверять, что Архилох вымышлен, либо в результате незнания всех подробностей жизни Геракла, либо в угоду потрафить вульгарным любителям сенсаций. Другие же, напротив, продолжают считать Архилоха существовавшим в действительности другом и бытописателем Геракла».

Прошлое продолжало убивать. Если бы Старик не признал одного из убитых, Гилл с чистой совестью отправил бы трупы к божедомам, не узнал об Архилохе, не прикоснулся к тайне. Продолжая размышлять над случившимся, Старик мог доискаться до неких истин и потому должен был замолчать. И замолчал.

Не отрывая взгляда от трупа, Гилл слушал доклад сыщика Эпсилона вернее, констатацию факта, что ровным счетом ничего не известно. Никто из многочисленных слуг, чад и домочадцев ничего не видел, ничего не слышал и ничего не знал.

— Но наш опыт показывает, что так не бывает, — сказал Эпсилон, понижая голос из–за подглядывающих в дверь слуг. — Наши сыщики не проглядели бы пытающегося проникнуть в дом постороннего. Сообщник был в доме. И он вовлечен в убийство второпях, на скорую руку — будь он более надежен, ему поручили бы подбросить яд. Но они торопились, надо полагать.

— Все правильно, — сказал Гилл. — Мы поднатужимся и разоблачим повара или привратника — последнюю спицу в колесе, но нам–то нужен тот, кто за всем этим стоит.

— А ты уверен, что тот доступен? — спросил Эпсилон.

— Но ты же не думаешь, что нам противостоят лемуры или боги?

— Конечно нет, — сказал Эпсилон. — Хотя бы потому, что бесплотная рука лемура не способна держать нож. Да и появляются лемуры только ночью. А боги не делают ошибок. Они

вообще не дали бы Старику встретиться с тобой. Это люди, Гилл. И все же…

— В Аттике нет человека, который не был бы доступен закону и нам, сказал Гилл. — От меня и от вас никто еще не уходил. Охранявших дом сыщиков взысканиям не подвергать — они не виноваты, виноват один я, а я привык платить свои долги. Оставайся здесь и ищи сообщника.

Он ушел, и снова было бешеное мелькание домов, лиц, взвивающихся на дыбы лошадей, выезжавших из боковых улиц упряжек, возничий нахлестывал лошадей вожжами с медными шипами и орал не переставая, почувствовав, как нужны сейчас Гиллу этот крик и заполошная езда квадриги, не дающие возможности сосредоточиться, избавляющие от тягостной необходимости думать.

Гилл сбежал вниз по узким ступеням, караульный откинул засов, и он вошел. Маленькая полукруглая камера с окном в потолке. За столом уныло сидел Пандарей, печально глядя на девственно чистый лист бумаги, а перед ним, скрестив руки на груди, в гордой и неприступной позе возвышался Эвимант. В углу томились два стражника, у которых, сразу видно, отчаянно чесались кулаки. Эвимант увидел Гилла, и его презрительная ухмылка несколько потускнела.

Пандарей скучным голосом затянул:

— За все время допроса подозреваемый ответил на все вопросы непристойными выражениями, разнообразие которых достойно порицания.

Гилл подошел вплотную к стоящему и, не размахиваясь, ударил по презрительной, ухмыляющейся роже. Эвимант отлетел к бугристой стене, сполз на пол. В углу уважительно посапывали стражники. Оживившийся Пандарей схватил стилос и придвинул бумагу.

— Не хотел я этого делать, — сказал Гилл, — но впервые в жизни увидел среди сыщиков предателя. Зачем тебе это понадобилось?

— Потому что вы вместе с Тезеем продали Аттику! — закричал с пола Эвимант, брызгая кровью. — Вы нас продали дорийцам! Лижетесь с этими скотами кентаврами!

— Ну–ка, еще! — поощряюще сказал Гилл.

Эвимант помолчал и завопил:

— Вы нас продали хеттам!

— Это как?

Эвимант помолчал, потом стал изрыгать брань.

— Разреши, я его стукну по хребту? — спросил стражник. — Я как раз выстрогал новую дубину.

Гилл сделал жест, и стражник умолк.

— Разумеется, разговоры о мнимых торговых операциях — чушь собачья, сказал Гилл, привычно заложив руки за спину и прохаживаясь у стола. — Ты сам не можешь вразумительно объяснить, кому и кого мы продавали. Можешь ты объяснить вразумительно, где у тебя свербит?

— Тезей — предатель, — сказал Эвимант. — Он остановился на полпути создал сильную Аттику — и остановился. Нужно идти дальше, раздавить ублюдков кентавров, претендующих на звание людей, смести прогнившие Микены, наказать…

— Хватит, — сказал Гилл и остановился перед Эвимантом. — Установлено: твоя любовница Нея познакомила тебя с неким Кароном, принадлежащим к «гарпиям», и вы быстро нашли общий язык. Ты делился с ним секретами службы, участвовал в похищении оружия. Достаточно, чтобы трижды снести тебе голову. Так как, будешь пытаться сохранить свою поганую жизнь? Учитывая, что Карона мы только что взяли?

Он хотел жить — захлебываясь, стал рассказывать о встречах, разговорах, местах и сроках, о нападениях на оружейные мастерские, об убийстве двух сыщиков, нечаянно узнавших о «гарпиях» слишком много, о нескольких сожженных им докладах, которые он по долгу службы обязан был немедленно передать Гиллу. Стилос скрипел безостановочно, но Гилл уже слушал вполуха. Он мог на основании этих показаний вырвать из рядов Менестеева воинства нескольких человек, от которых Менестей тут же отречется. И не более. К убийству на морском берегу его это не приближало ни на шаг.

Он прислушался: наверху, во дворе, звенели удары в медную доску, флейта пронзительно высвистывала сигнал тревоги, стучали копыта. Дверь распахнулась, просунулась встрепанная голова караульного:

— Гилл, на площади заваруха!

5. ВОКРУГ МОНУМЕНТА

Белое покрывало медленно стекало к подножию бронзовой фигуры в три человеческих роста. Наконец оно замерло грудой складок. И повисла томительная тишина.

Воин упал на одно колено, прижав правую руку с растопыренными пальцами к груди, бессильно уронив другую, чуть наклонив голову. Непонятно было, что с ним случилось — может быть, его ударил пущенный из пращи камень, может быть, под сердце угодил тут же выдернутый меч, — но не оставалось никаких сомнений: он поражен смертельно, пройдет еще миг, и он рухнет, уронив с головы шлем с высоким гребнем, и не встанет уже никогда. Каким–то непостижимым образом, каким–то чудом

скульптуру удалось передать в тускло поблескивающей бронзе пограничный миг меж бытием и смертью, облик человека, почувствовавшего удар в грудь, но не успевшего осознать, что навсегда гаснет солнечный свет, — еще и потому, что человек твердо рассчитывал победить, не желая допускать мыслей об ином исходе. Статуя была совершенством, вызывающем страх и боль. Майону показалось, что в него медленно входит ледяное острие, и он подумал, что теперь любая мысль о войне становится омерзительной. Люди молчали. Может быть, они испытывали что–то похожее, но не могли описать свои ощущения. Может быть, их просто достиг исходивший от бронзовой фигуры, монумента–проклятия войне, печальный страх. И эту тишину рассек пронзительный женский вскрик–плач:

— Мальчик мой, мальчик мой…

О том, что ее сын не вернулся из–под Трои, знали все. А она продолжала во весь голос:

— Они отплыли такие молодые, такие веселые, они смеялись и обещали вернуться вскорости, говорили, что уходят на прогулку, разобьют троянских дикарей и привезут нам великолепные подарки. Но через десять лет вернулся лишь один из десяти. Где наши мальчики? Что им сделали троянцы и что им понадобилось у тех далеких берегов?

Причитая, она выбиралась из толпы, закрыв лицо краем черного покрывала, перед ней расступились, и она прошла по коридору, а люди смотрели ей вслед. В разных концах площади раздались крики и плач. Майон почувствовал, что Нида изо всех сил сжимает его руку, увидел ее влажные глаза.

На постамент хлопотливо, мешая друг другу, подсаживали Менестея. Он завопил, цепляясь за бронзовую руку, перекрывая шум и плач:

— Сограждане! Что же мы видим? Я уж не говорю о том, что истрачено столько ценной бронзы. Но что тут наворотил этот ублюдок, именующий себя скульптором? Разве это образ, олицетворяющий величие наших славных героев, погибших под Троей ради чести Афин? Тебя снова продали, о любимая Аттика, тебе снова изменили! Где воплощение силы и мощи? Что за издевка над героями великой войны, низвергнувшей подлых троянцев? Где величие защищавших греческий дух у пределов мира, на другом конце света? Смерть оскорбителю, ломайте эту мерзость!

Невыносимо было смотреть, слушать и ничего не делать. Майон рванулся от удерживавшей его Ниды, но Менестея уже не было на постаменте — он кубарем полетел вниз от толчка кулаком в спину, и его едва успели подхватить злобно заоравшие

«гарпии», а на его месте уже стоял Мидакрит, моряк, сражавшийся под Троей, и гремел:

— Уж кому и знать о войне, так это досточтимому Менестею, всю жизнь провоевавшему с кухарками в своей усадьбе… А я там был, слышите? Мы там были и уходили туда, как на прогулку, проучить коварных дикарей и вернуться со славой. Только не нашли мы там дикарей и десять лет копошились под стенами в крови, подлости и грязи только потому, что кому–то было мало уже нахапанного. И мне эта статуя нравится, слышите вы? В ней — плач времени и века. Я вижу лица тех, кто был тогда со мной рядом, Кратес, ты что молчишь? Милен, может быть, не ты в свое время требовал снять осаду и убраться на все четыре стороны? Вы что, забыли?

Камень ударил его в лицо, и он пошатнулся.

— Бейте осквернителей вашей славы! — вопил Менестей.

Все смешалось. «Гарпии» тащили Мидакрита с постамента, и он, хрипя, обрушивал здоровенный кулак на их головы, названные им по именам соратники пробились к нему на помощь, драки вспыхнули в нескольких местах, со всех сторон неслись крики, ругань и плач, многие дрались, поддавшись общему накалу страстей, не зная, с кем дерутся и за что, многие бессмысленно бежали, сталкиваясь и опрокидывая друг друга, с единственным желанием выбраться с площади. Майону удалось сбросить руки Ниды, и он устремился в гущу свалки, точными ударами расшвыривая «гарпий», прорываясь к Менестею. Что–то свистнуло сзади, скользнуло по голове, искры посыпались из глаз, Майон зашатался, потеряв на миг равновесие, но со всех сторон надвигались злобные рожи, медные гарпии смыкались, и он продолжал молотить кулаками, собрав все силы, потому что упасть значило погибнуть. Хорошо, что в такой толчее «гарпии» не могли пустить в ход кинжалы и дубинки. Он бил и бил, пока остро пахнущий потом круп лошади не заслонил от него противников. Только тогда он опустил руки, расчетливо переводя дыхание и расслабив мышцы. Огляделся.

Стражники рассекали толпу на кучки, бросив коней в самые яростные очаги драки, вытесняя людей с площади. Мимо проскакал Гилл, что–то крича. Как ни удивительно, затоптанных и убитых не было, хотя там и сям люди едва поднимались с каменных плит, охая и ощупывая себя. Майон ощутил боль за ухом, но потрогать место ушиба не смог, пальцы сами отдернулись, едва коснувшись горячего и влажного, на них была кровь. На стадионах он не раз расшибался в кровь, но тут было совсем другое ощущение.

К нему бросилась Нида, прижалась и заплакала. Майон

осторожно коснулся ее волос разбитыми пальцами. Ниду подвел к нему Гомер, он стоял тут же и задумчиво улыбался.

— До чего могут довести эти горлопаны… — сказал он. — Терпеть не могу драться, не зная, за что дерусь, но меня начали бить, и я не удержался. А вот этот, похоже, прекрасно знает, за что дрался.

Он рванулся вперед и выдернул из затухавшей свалки Эанта. Мальчишка был помят и растрепан, но доволен жизнью и своим местом в ней — вертел на оборванной цепочке нагрудный знак «гарпий» и улыбался разбитыми губами.

— Эант, — укоризненно сказал Майон.

На большее его не хватило — он, с разбитыми в схватке кулаками, никак не мог являть собой олицетворение благоразумия и осторожности.

— Прекрасно, — пробасили сзади. — Голова заживет, Майон.

Скульптор Назер чрезвычайно походил на сатира, только очень умного и красивого сатира — коротыш и крепыш, буйноволосый и буйнобородый, ценитель мраморной гармонии изваянии и женской красоты. Майону всегда нравилось на него смотреть — Назер самой своей персоной убеждал в том, что земля велика и могуча, что ее хмельные соки кипят животворной силой и ни угасания, ни смерти в природе нет.

— Ну, как я их? — Назер обвел жестом площадь. — Достал до сердца сквозь жирок?

— Я надеюсь, ты не ставил целью вызвать переполох? — сухо спросил Гомер.

— Конечно нет, дружище. То, что все передрались, конечно, плохо, это крайности, но нужно же, клянусь огнем, вытряхнуть человека из равнодушия? Пусть задумается, пошевелит мозгами и выплюнет коровью жвачку.

Он замолчал и подтолкнул Майона локтем — к ним шагом подъехал Гилл. Придержал коня и смотрел на них сверху вниз устало и грустно, казалось, даже беспомощно чуть–чуть. Прищелкнул языком и сказал:

— Н–ну, творческие люди, заварили вы… Ведь придется мне у статуи часового ставить. Майон, перевяжи голову — двинули на совесть. Кстати… У тебя нет знакомых кентавров?

— Ни одного, — сказал Майон и вспомнил, оглянулся на Эанта. — Мальчишка говорил, что меня искали кентавр с каким–то микенцем.

Гилл кубарем слетел с коня, уронил руку Эанту на плечи, и лицо у него было такое, что отшатнулся не только Эант, но и Майон:

— Кто? Как выглядели?

— Ты что, Дориец?

Гилл и не обернувшись к Назеру, повторил жадно:

— Как они выглядели, малыш?

— Я не малыш, — буркнул Эант. Знак «гарпий» он спрятал было за спину, но Гилл и не думал его отнимать, и мальчишка приободрился. — Какой–то кентавр и микенец, похожий на Геракла. Это дядя Майона сказал, что микенец похож на Геракла. У них было важное дело к Майону, они остановились у Пифея.

— На Геракла, — повторил Гилл.

— Схожу–ка я к этому Пифею, — сказал Майон. — Никогда не имел дела с кентаврами.

— К Пифею, — повторил Гилл с тем же странным выражением. — Не нужно туда ходить. Они… Ну, нет уже их там, совсем их там нет…

Он вскочил на коня и, горяча его криком, поскакал с площади. Несколько всадников с неприметными лицами, державшиеся во время разговора поблизости, помчались следом. Нида наконец–то успокоилась, только всхлипывала временами.

— Хранители нашего покоя тешатся какими–то новыми забавами, — сказал Гомер с ироническим уважением. — Я вас покидаю, друзья, работа ждет. Давно уже пишу о странствиях Одиссея.

Майон подумал, что еще сегодня утром Гомер пренебрежительно подвергал сомнению подлинность рассказов об Одиссее. Однако задумываться и вслух высказывать удивление не стал — побаливала голова, азарт и напряжение схватки прошли и давали о себе знать ушибы.

— Ох, не люблю я нашего красавчика, — прищуренным взглядом проводил Назер Гомера. — Так–таки и не люблю.

— Но ведь это Гомер! — Эант напоминал взъерошенную птицу, бросившуюся заслонять гнездо с птенцами от оскаленной морды охотничьего пса.

— Никто не спорит — Гомер. Только с чего ты взял, что к талантливым людям нельзя испытывать нелюбовь? Уважение к таланту и любовь к человеку разные вещи. Как ты думаешь, Майон?

— Не пойму, куда ты клонишь, — хмуро сказал Майон.

— Это оттого, что голова у тебя болит. — Назер блеснул великолепными зубами. — Подумай как–нибудь на досуге, не вызывает ли у тебя смутного беспокойства наш добрый школьный приятель Гомер. Что ты вздрогнул? А–а, ну правильно…

Он проследил взгляд Майона и тоже понял, что не годится вести такие разговоры при Эанте.

— Ты загляни как–нибудь ко мне в мастерскую. Клянусь

огнем, найдется о чем потолковать.

— Подожди. — Майон догнал его, оглянулся на Ниду и Эанта и сказал очень тихо: — Я сейчас подумал — ведь этот твой воин не просто сраженный в бою солдат. Я не могу отделаться от впечатления, что он символ человека, бесславно павшего за неправое дело.

Лицо очень красивого сатира стало строгим и навевающим тревогу.

— Я не сомневался, что ты умница, Майон.

— Но все же?

— А тебе никогда не приходило в голову, что Троянская война — не более чем кусок дерьма?

И снова холодное лезвие, как давеча, при виде монумента, вошло в сердце.

6. ОНА БЫЛА ПРЕКРАСНА

Майон поднимался по одной из дворцовых лестниц медленно, в раздумье. Во дворце он бывал не раз на больших приемах, но впервые гонец сообщил, что славный царь Тезей приглашает аэда Майона. А ублаготворенный несколькими монетами (и наверняка порадовавшийся случаю щегольнуть всезнанием, как это обожает мелкая дворцовая сошка), доверительно шепнул, что царь Тезей приглашает лично его, Майона, а никакого приема, ни большого, ни малого, как гонцу совершенно точно известно, не ожидается, так что речь может идти лишь о разговоре с глазу на глаз. Это было неожиданностью. Наверняка Тезей несколько раз слышал его имя, но неужели запомнил настолько, чтобы вызвать во дворец?

Он вошел, поклонился не без волнения: он уважал и любил этого человека — победителя Минотавра, реформатора и государственного мужа, спутника Геракла в походах, удальца, когда–то похитившего, а потом благородно отпустившего совсем еще юную Елену Прекрасную; спустившегося некогда в Аид и дерзко объявившего владыке подземного царства, что пришел ни более ни менее как похитить его жену (после чего несколько лет томившегося в Аиде в заточении). Словом, жизнь Тезея была насыщенной и бурной, дававшей пищу для ума и тем, кто оценивал его деятельность как воина и созидателя, и романтически настроенным юнцам, уважавшим бесшабашность и молодечество, и творческим людям — как исходный материал. Жизнь его, безусловно, была небезгрешна, но Майон знал от астрономов, что и на солнце есть пятна, а от философов — что идеала не существует.

А вот старик, сидевший рядом с Тезеем как равный, был Майону незнаком: старик с широким добрым лицом, совершенно

седой, но чернобровый, с синими ясными глазами.

— Вот это и есть наш аэд Майон, — сказал Тезей, ответив на приветствие. — Многое обещает.

— Что ж, многое обещать — привилегия молодости, — сказал незнакомец. Конечно, не все обещания впоследствии сбываются, но в отношении этого юноши ты прав, я читал все, что им написано. Майон, я — Нестор, царь Пилоса. Слышал о таком?

Майон молча поклонился, не было нужды напрягать память — Нестор Многомудрый, мозг и дух Троянской войны, организатор и вдохновитель, наряду с полководцами разделивший триумф.

— Слышал, — утвердительно сказал Нестор. — Да, были времена. А остался скучноватый старик. Я узнал, Майон, что ты собираешься писать о Троянской войне. Благородное стремление, ибо…

Он говорил и говорил, повторял затертые фразы из школьного курса истории — об извечных подлости и коварстве троянцев, десятилетиями навлекавших на себя справедливый гнев ближних и дальних соседей, о злодейском похищении Елены беспутным Парисом, об уме Агамемнона, о героизме Ахилла и других храбрецов, о хитроумии Одиссея и его деревянном коне. Все это Майон слышал не единожды, и ему было скучно — уж Нестор–то, дух и мозг осады Трои, стоявший у истоков, видевший все и всех собственными глазами, мог бы рассказать об этом и гораздо интереснее. Неужели такова злая сила старости, превратившей Многомудрого в занудливого старца? Он был рад, что Нестор наконец замолчал.

— Все это я знаю, — сказал он осторожно, боясь показаться невежливым.

— А чего же ты не знаешь? — живо спросил Нестор. — И что ты хочешь знать?

— Понимаешь, Многомудрый, — сказал Майон, — я недавно говорил с Гиллом — это мой школьный друг, сейчас начальник тайной службы. Он подходит к проблеме как сыщик, и это довольно интересно. Получается, что мы, наше поколение, собственно говоря, ничего не знаем о Троянской войне. Существует некоторое количество отшлифованных формул, фраз, рассказов и цитат, их постоянно перебирают, как скряга монеты, раскладывают в разных сочетаниях, но они по–прежнему составляют какой–то заколдованный круг. Воины, сражавшиеся под Троей, рассказывают практически лишь о перипетиях стычек и о добыче. Не хватает чего–то живого, духа эпохи, невозможно садиться за повествование о Троянской войне, имея в распоряжении горсточку избитых фраз. Как вырваться из этого

заколдованного круга, я пока не знаю.

Он говорил все медленнее, несколько раз запнулся, а там и вовсе замолчал. Нестор смотрел на него туповато и скучно, смаргивая дремоту. «Безнадежно, — горько подумал Майон, — а до чего жаль».

— Живого, да… — сказал Нестор. — Ну что же, ищи, Твори, мучайся, иначе и нельзя. Пойду я вздремну, вы уж простите старика. Жаль, Майон, что Течей не сможет ничего рассказать, — он в той войне не участвовал. Пойду я.

Он грузно поднялся и побрел к двери.

— Ну что же, — сказал Тезей, — насчет заколдованного круга вы с Гиллом подметили верно. Правда, Нестор выразился немного неточно: конечно, я не плавал под Трою, но это события из моей молодости — Троя, война, Елена…

— А какая она была, Елена? — тихо спросил Майон.

— Она была прекрасна, — сказал Тезей. — Наверно, самая красивая на свете. Когда я встретил ее впервые, она расцветала, только что расцветала. Почему–то принято считать, что самый унылый и непривлекательный цвет на свете — серый. Но у нее были знаменитые спартанские серые глаза. Я не буду искать сравнений, вы, поэты, делаете это лучше, у вас великолепно получается. То, что я могу вспомнить, вернее, то, что я никогда не забывал, невозможно перелить в слова и строчки: загородная дорога, храпящие лошади и эти серые глаза — как отражение хмурого неба. Или небо отражение этих глаз, это, наверное, все равно…

— Почему же ты не поехал в Спарту, когда ее выдавали замуж?

— Ты переходишь сразу к этому? Интересно, почему ты обходишь разрушение Афин? Из деликатности не смеешь упрекнуть царя в былом безрассудстве, вызвавшем войну? Майон, мне давным–давно уже не доставляет удовольствия, когда меня боятся или льстят.

— Не знаю, — сказал Майон. — Мне совершенно непонятно, почему спартанцы пошли войной, честно говоря. В конце концов ты хотел жениться на ней, хотя и избрал не самый традиционный путь. Неужели Тиндарей этого не понимал? Не настолько уж было убого тогда наше царство, чтобы оказаться абсолютно неподходящим местом для дочери царя Спарты. И еще: я могу ошибаться, но, мне кажется, женщину невозможно похитить, если она не хочет. Почему же ты, царь, все–таки не отправился в Спарту на состязание женихов?

— Ты знаешь, что такое разочарование?

— Думаю, да, — сказал Майон.

— А я думаю, что только понаслышке, — сказал Тезей. — Это очень страшно и тяжело — разочароваться в друге, в идеалах, в деле, женщине. Еще и потому, что человек сам вопреки фактам и подсказкам окружающих изо всех сил пытается не допустить краха своих иллюзий.

— Выходит, ты…

— Это было трудно, но необходимо, — сказал Тезей. — Понять, что Елена всего лишь Красота. Воплощение красоты, не обремененное более ничем любовью, умом, добром, способностью сопереживать и сострадать. И человек, если только он не совершенно туп, вынужден сообразить, что нельзя связывать жизнь с женщиной, подобной Елене. Красота сама по себе еще ничего не означает. И уж, безусловно, не служит добру.

Не было разницы в возрасте, не было царя и приближенного — все ушло, отодвинулось куда–то, и остались лишь два человека, понимавшие друг друга с полуслова.

«Он по–настоящему любил ее, — подумал Майон. — Когда пришло беспощадное холодное прозрение, он долго не мог опомниться, пустился во вся тяжкая чего стоит одна шальная попытка похитить Персефону, владычицу подземного царства? Может быть, после блистательной победы над Минотавром он бросил искренне любившую его Ариадну как раз из глупой мести всему женскому роду, силясь доказать этим себе и всем, что стал холоден и навсегда закрыт для всяких чувств?»

— Потому ты и не поехал в Спарту?

— Да, — сказал Тезей. — Конечно, тогда мыслям далеко было до той гладкости, с которой я их сейчас излагаю. У меня хватило времени обдумать многое за годы, проведенные в Аиде. Думаю, была пора, когда она начинала во всей полноте осознавать себя властительницей сердец. И выбрала Менелая. Потом Париса. Потом еще нескольких, прежде чем вернулась к Менелаю, но и это еще не конец. Я не таю против нее зла, Майон, — у меня было много женщин и много дел. В сущности, какой смысл злиться на человека за то, что он создан не таким, каким бы ты желал его видеть? Хорошо еще, что Елена просто никакая, не злая и не добрая, не то что ее сестрица Клитемнестра, дражайшая супруга покойного Агамемнона. — Он грустно усмехнулся. — Бедняга Агамемнон, это так печально и нелепо — уцелеть под Троей и погибнуть от руки собственной жены в собственном доме.

— И все же ты не пошел под Трою?

— А что мне там было делать? Что нам всем там было делать? Из–за того, что некие мерзавцы…

Он замолчал, и что–то осталось недосказанным.

— Значит, ты считаешь, что она уплыла с Парисом по своей

воле?

— Я думаю, что знаю ее, Майон. У тебя грусть на лице? Неужели ты в самом деле полагаешь, что этот случай полностью зачеркивает нашу веру в любовь и красоту?

— Нет, — сказал Майон. — И все же… Жаль, когда уходит сказка, в особенности если с этой сказкой ты рос, считая ее правдой.

— А что изменилось? — спросил Тезей. — Суть, остается неизменной — Троя погибла из–за Елены. Только Елена оказалась лишенной тех высоких душевных качеств, которыми ее почему–то наделяли — совершенно непонятно почему.

— Это–то и плохо, — сказал Майон. — Лучше было бы верить, что женщина, вызвавшая такие события, была умна и добра. — Он помолчал, не спуская глаз с Тезея. — Царь, меня почему–то не покидает ощущение, что ты рассказал мне не все.

— Возможно, — сказал Тезей. — Ну и что? В прошлом неминуемо остается что–то, что следует накрепко забыть. Так будет лучше для всех. К чему вам, молодым, знать о некоторых подробностях нашего тогдашнего бытия?

— Возможно, затем, чтобы мы не повторили ваших ошибок.

— А если мы надеемся, что вы и без того достаточно умны и осмотрительны?

Как–то незаметно улетучились недавняя откровенность и доверие, начиналась игра словами, искусный поединок, интересный и занимательный в другое время, но не приближавший Майона к истине.

— Заманчиво думать, что перед нами всего лишь цепочка случайностей… проговорил Тезей. — Что Агамемнону в жены случайно досталась коварная шлюха, что все убийства и всю грязь следует рассматривать лишь как кусочки, не соединяющиеся в целое. А это как раз целое. Война отравила души, не принесла никому счастья. Погиб Агамемнон, затерялся где–то в океане Одиссей, и никто ничего не приобрел, а вот потеряли что–то все до единого, даже те, кого не было на берегах Скамандра.

Он замолчал, и ясно было, что ничего он больше не скажет. «Что же потерял он? — подумал Майон. — Что?»

— Разреши мне уйти, царь, — сказал он.

— Да, как хочешь. Подожди. — Тезей колебался, пожалуй. — Какого ты мнения о Несторе?

Майон пожал плечами:

— Скучноватый старик. Я уважаю его за прошлое, но, видимо, все его заслуги лишь прошлому и принадлежат.

— Слышал бы это Нестор. Он ведь внимательно изучал тебя, пока ты вполуха слушал его нарочито занудную болтовню.

Майон, что ты ищешь в жизни и чего ты от жизни хочешь?

Вопрос был неожиданным и застал врасплох. Видимо, понимая это, Тезей терпеливо ждал.

— Наверное, я не смогу ответить, — сказал Майон. — Просто не знаю. Одно время я думал, что живу лишь для того, чтобы волны, и ветер, и море, и слова становились стихами. Но теперь кажется — нужно что–то еще. Почему ты спрашиваешь?

— Гадаю, чего ждать от вас и на что вы окажетесь способны, новое поколение. Люди слишком молоды, Майон, человечество сотворено Прометеем совсем недавно. Многое мы нащупываем, словно бродя в тумане. Наша жизнь, как и мы сами, напоминает глиняную амфору, уже вылепленную, но еще не обожженную в печи и не покрытую красками. Человечество еще не вышло из детства, мы создаем мир, а он создает нас. А я, как ни крути, все же был одним из гончаров. Наверняка я сделал много ошибок. Но и добился кое–чего. И теперь вглядываюсь в лица тех, кто приходит нам на смену: на что вы способны, чего от вас ожидать?

— Знаешь, это похоже…

— Ну, договаривай, не бойся. На завещание, верно? Кто знает, как все обстоит. Ну, иди.

Лишь на лестнице Майон сообразил, что никак не может уразуметь, для чего, собственно, Тезей его позвал. И почему говорил так, словно собрался покинуть мир в ближайшие дни.

Он спускался по лестнице, а там, где лестница кончалась и переходила в широкую мощеную дорожку, стоял Гилл, прямой, как лезвие кинжала.

— О чем вы говорили? — спросил он резко.

— О Елене, о Трое, о разных вещах, — сказал Майон. — Послушай, ты знаешь его лучше. Он не болен?

— Что ты имеешь в виду?

— То ли он болен, то ли смертельно устал. — Майон подумал и решился, все–таки это был старый друг, школьный товарищ. — Дориец, можешь ты хотя бы намекнуть, что происходит? Я ощущаю что–то, но не могу понять, что.

— Подожди. — Гилл крепко взял его за локоть и повел в глубь огромного сада, мимо фонтанов, клумб, колоннад, аккуратно подстриженных кустов. Они сворачивали на какие–то полузаросшие дорожки, несколько раз проходили мимо неприметных людей, делавших Гиллу знаки. Вышли к глубокому гроту, увитому виноградом.

— Вот теперь можно не бояться, что подслушивают, — сказал Гилл. — Так вот, Майон, все началось с убийства на морском берегу.

7. НА ОЛИМПЕ ВСЕ ЛЮБЯТ ДРУГ ДРУГА

Когда перевалило за полночь, Майону показалось, что кто–то осторожно, но настойчиво потряхивает его за плечо, и он проснулся, широко открыл глаза, привыкая к темноте и проступающим из нее очертаниям комнаты.

Он моргнул, зажмурился, потряс головой и снова открыл глаза, но видение не исчезало — два бледно–зеленых огня сияли над столом холодным гнилушечьим светом, смотрели прямо на него. Развернулись крылья, мягкое дуновение воздуха коснулось кожи, сова бесшумно пролетела по комнате, уселась в изножье постели и не мигая смотрела ему в глаза. Сначала Майон вспомнил, что совы залетают только в пустые, брошенные дома, потом вспомнил, кому принадлежат и чьим покровительством пользуются эти птицы, символы мудрости и хозяева ночи. Сон отлетел, пришло любопытство и осознание необычности всего происходящего.

Сова крикнула тихо и призывно, взмыла, распахнув крылья, сделала несколько кругов под потолком и тенью скользнула в окно. Майон протянул руку, ощупью нашел и накинул хитон, стараясь двигаться как можно тише, прихватил сандалии и вылез в окно, как делал это не раз, стремясь к Ниде и морскому берегу. Им словно руководил кто–то, он не испытывал нерешительности и точно знал, что делать дальше. Крикнула сова над головой, беззвучно проплыла над двором, и Майон пошел вслед за ее полетом.

Все было как во сне. Он шел, сворачивал, держа в руке сандалии, и под ноги ни разу не попал острый камешек, обломок горшка или иной колючий мусор, имевшийся обычно в изобилии. Не слышно было тяжелых шагов ночной стражи, не попадались ни влюбленные, ни воры, ни загулявшиеся моряки из Пирея. Клочком тумана мелькнул в переулке лемур и то ли растаял, то ли слился с темной стеной. Афины словно вымерли, но это почему–то не вызывало беспокойства или страха — он прочно знал, что так нужно, и шел дальше, едва слыша звуки своих шагов. Время от времени впереди появлялась сова и указывала путь.

Куда она ведет, Майон начал понимать примерно на середине пути, а там пришла пора убедиться, что угадал правильно: впереди был берег, то самое место, где он встречался с Нидой. Неподалеку чернел старый корабль с проломленным боком, а у самой воды Майон увидел женскую фигуру. Это была, разумеется, не Нида — женщина олицетворяла собой спокойную величавость и достоинство, превосходившие человеческие. Сова очертила над ней круг и уселась на ее плечо.

— Приветствую богиню мудрости и искусств, — сказал

Майон, низко поклонившись.

— Богиня приветствует аэда, — сказала Афина.

Майон молчал. Он не знал, какие слова уместны в разговоре с богиней. Он не чувствовал себя слугой, вынужденным склониться перед хозяйкой, не находил в душе раболепия или страха — просто никогда в жизни не встречался с богами, и все прежние жизненные установления не годились. Поэтому он стоял и молча смотрел туда, куда смотрела Афина, а там, в море, у горизонта, там, где звезды перетекали в свои зыбкие отражения, вдруг зародилось какое–то движение, трепещущее сияние понеслось к берегу, выросло, обретая очертания, и превратилось в квадригу, бешено взметающую копытами искристую пену. Кони сдержали бег, остановились, приплясывая, в полосе прибоя и шарахались вслед за отступающей волной, словно им никак нельзя было коснуться земли. Посейдон ступил на берег. Он ничем не отличался от обыкновенного моряка — рослый, плечистый, бородатый, даже морем от него пахло не сильнее, чем от провяленных ста ветрами морских бродяг из Пирея.

— Он мне нравится, — рокочущим басом сказал Посейдон. — Он, несомненно, испуган и оробел, но держится с достоинством.

— Такого я и искала, — сказала Афина. — Если он не склоняется перед богами, тем более не будет склоняться перед людьми.

— Склоняются и не из страха, сестрица, и ты это прекрасно знаешь.

— Будет видно. — Афина обернулась к Майону: — Итак, собираешься ли ты писать о Троянской войне? Почему ты молчишь?

— Потому что за последние дни желания несколько поубавилось, — сказал Майон.

— А почему? — придвинулся Посейдон. — Почему вдруг?

— За последние несколько дней возникли странные сомнения, — сказал Майон. — Я ничего не могу выразить словами, я просто чувствую. Наверное, так меняется воздух перед штормом — вроде бы никаких перемен, но мир уже не тот, что прежде. Я начинаю сомневаться, все ли было так блистательно и незапятнанно, все ли герои были героями и такой ли уж славной была война. И так, как я хотел еще месяц назад, писать я уже не могу. Нужно искать что–то новое. Нужно искать истину.

— Ну а дальше? — спросила Афина. — Ведь если ты пойдешь по этому пути, вскоре все равно обязательно нужно будет выбирать между красивой ложью и неприглядной истиной.

Майон упрямо сказал:

— Я предпочитаю истину, в каком бы обличье она ни была. В

этом моя задача и состоит — доносить до людей истину.

— По–моему, мы ошиблись. Он сделал выбор.

— Сестрица, ты преувеличиваешь, — сказал Посейдон. — Он лишь твердо намерен сделать выбор. За него еще не брались всерьез.

— Зато за нас брались, — сказала Афина. — В любом случае мы обязаны рискнуть. Ты согласился бы нам помочь, Майон?

— Я? — Он был безмерно удивлен. — Я не думал…

— Видишь, и он хлебнул уже этой отравы.

— Как многие, — сказала Афина. — И непоправимой трагедии я в этом не вижу. Не мешай, братец. Итак, Майон, ты действительно должен нам помочь, и не нужно удивляться тому, что и богам иногда требуется помощь людей. Речь как раз и пойдет об отношениях богов и людей, о том, что нам грозит опасность непоправимо разойтись в разные стороны. На Олимпе очень тревожно, Майон, на Олимпе — словно перед грозой. Еще не так давно боги и люди жили ближе друг к другу и были связаны гораздо теснее. Боги были не более чем старшими братьями. В любом случае в каждой семье были, есть и будут старшие и младшие: те, кто учит, и те, кто повинуется, — но отнюдь не слепо, а подчиняясь опыту и мудрости старших. Как–никак боги и люди рождены одной матерью — Геей. До недавнего времени у смертной женщины мог родиться ребенок от бога, а богиня могла полюбить земного юношу. Ваш Тезей, например, — сын Посейдона, ты знаешь?

— Вообще–то считается, что это легенда, — сказал Майон.

— Мальчишка, — сказал Посейдон. — «Легенда»! Видел бы ты эту женщину… А сын неплох, сестрица, ты согласна? Ведь это он создал твои великолепные Афины. А вспомни, как он…

— Помолчи, — мягко оборвала Афина. — Так вот, Майон, сейчас все меняется, и виной тому — Зевс. Он поклялся, что не допустит рождения новых полулюдей–полубогов. Он намерен поднять богов на недосягаемую высоту и превратить из старших братьев в повелителей, а вас — в рабов, безропотно выполняющих любые желания. Олимп навсегда укутается туманом, боги перестанут появляться среди людей, они будут лишь снисходить, ослепляя, раз в столетие или реже. Нас уносит в разные стороны, нужно торопиться, еще не поздно все исправить. (Майон невольно оглянулся: ему было не по себе.) Не бойся, то, что Зевс все видит и все знает, — сказки. Пока…

— И что же? — спросил Майон.

— Мы его свергнем, — мрачно пробасил Посейдон. — Иначе в кабалу попадем и мы, и вы. Что ты поскучнел? Не трусь, можно свергать и богов — сверг же Зевс своего отца. Правда, один раз у

нас не хватило духу, но уж сейчас–то нужно постараться, не будет другого шанса.

— Но я–то? — спросил Майон. — Я–то что могу?

— Каждый берет на себя часть ноши, — сказала Афина. — Наша забота Олимп. А твоей будет — открывать людям истину. Внушать им, что боги вовсе не руководят каждым вашим поступком, каждым событием, каждым словом. Чем меньше человек будет полагаться на богов, тем лучше и для него, и для нас: вы не превратите себя в рабов, а мы не станем самоуверенными, ослепленными гордыней повелителями.

— Говорят, так считал и Прометей?

— Да, — сказала Афина. — И наша беда и вечный позор — в том, что мы его не поняли тогда, не поддержали. Остается только надеяться, что на сей раз мы не оплошаем. А что касается тебя… Ты должен создать правдивую историю Троянской войны. Разрушить все вымыслы — будто в этой войне принимали участие боги, будто с их одобрения Дельфийский оракул предсказал Нестору и Агамемнону успех, что все началось из–за похищения Елены, будто оно было похищение.

— Я говорил о Елене с Тезеем, — сказал Майон. — И уже тогда у меня мелькнула мысль, что Елена могла просто–напросто сбежать с Парисом, но ахейцы посчитали, что…

Посейдон расхохотался. Он смеялся, запрокинув голову, смех был горьким, а потом Майону стало ясно, что и не смех это вовсе, а одна похожая на трескучий лай безудержная горечь, и кони забеспокоились, забили ногами, осыпая стоящих тучей брызг. Посейдон прикрикнул, и они успокоились.

— Ты все еще стараешься считать людей лучше, чем они того стоят, мягко сказала Афина. — Согласен, что Елена сбежала сама, но продолжаешь верить, что ахейцы не разобрались в случившемся и сгоряча бросились в погоню. Ничего подобного, никаких трагических случайностей. Флот и войско были уже наготове, если бы Парис заколебался, промедлил, наверное, Агамемнон с Менелаем сами затолкали бы его с Еленой на корабль и отправили в Трою…

— Но в это невозможно поверить, — сказал Майон. — Чтобы…

— Чтобы Елену своими руками отдали Парису ее муж Менелай и муж сестры Агамемнон? Невозможно, когда речь идет об обычных людях и простых человеческих чувствах, Майон. А здесь были два царя, одержимые мыслью уничтожить и разграбить Трою, к тому же за их спинами стоял десяток правителей других государств, увлеченных теми же целями. Может быть, Менелаю не так уж и хотелось, но кто его

спрашивал? Трою несколько раз пытались спровоцировать на войну, но она не попалась на удочку и не начинала первой, так что, как видишь, здесь нет героев. Вернее, есть только один — Приам, который изо всех сил пытался отвести войну от своей Трои, даже оставил безнаказанным похищение ахейцами своей дочери — одну из провокаций.

Майон верил — нельзя было им не верить, не потому, что они были богами, верил потому, что они с беспощадной строгостью относились, в первую очередь, к самим себе, отвергали попытки предстать в наиболее выгодном свете. Они не щадили себя, а меж тем промолчи — сохранили бы прежний романтический ореол вдохновителей и участников великой и справедливой Троянской войны.

— Ну, что же ты? — спросила Афина. — Или уверен, что теперь рушится мир?

— Нет, — ответил Майон решительно и зло. — Это лишь означает, что рушится одна из красивых сказок. И не более. Главными законами человечества остаются добро и истина. А подвиги… Их хватает неподдельных.

— А твой труд о Троянской войне? Который мог бы принести тебе славу?

— У меня будет труд о Троянской войне, — сказал Майон. — Пускай и не тот, на который я рассчитывал.

— Право слово, он нам подходит, сестра, — сказал Посейдон. — Пусть делает свое дело, а мы будем готовить наше. Может быть, ему с Прометеем посоветоваться? Прометей может знать что–нибудь о рукописи Архилоха.

— Правильно, — сказала Афина. — Майон, ты завтра же, вернее, уже сегодня отправишься в Микены, к Прометею.

Майон слишком устал, чтобы удивляться. Он просто спросил:

— Разве Прометей в Микенах?

— А ты поверил, что он после освобождения стал отшельником и удалился в горы? Ничего подобного. Он не вернулся на Олимп, это правда, но он и до своего заключения почти не бывал на Олимпе. Он любил вас, как же он мог от вас уйти?

Кони вновь забеспокоились, взметая пену, с моря налетел прохладный ветер, и мир показался Майону колышущимся, зыбким. Пожалуй, так оно и было — мир был слишком молод, многое еще не успело оформиться, и нужно было постараться, чтобы вся накипь унеслась вместе с утренним ветром и никогда не вернулась назад.

Квадрига Посейдона рванула с места, бледное облако повернуло к светлеющему горизонту, и из сотен бликов вновь

собралась лунная дорожка. Афины уже не было, вдали затихал печальный крик совы. Майон побрел вдоль берега.

Эант, вспомнил он. И сотни других юных глаз, сотни юных умов, чистых, бескомпромиссных, не научившихся еще различать полутона, оттенки и сложности. Для них это может стать ударом, жестоким разочарованием в красоте, в подвигах, вызвать недоверие и неприязнь ко всему миру взрослых вообще, заставить подвергнуть сомнению абсолютно все. «Ну, для чего тогда существуем мы? — подумал он. — И для чего тогда существует человеческий ум? Никак нельзя спрятать от них эту историю, убоявшись за их неокрепшие умы. Мы должны в них верить, и все вместе мы должны верить в высшие ценности».

Он остановился — перед ним был старый корабль, выглядевший теперь нелепым памятником былой подлости. Охваченный внезапно нахлынувшим бешенством, Майон ударил кулаком в борт, и еще раз, и еще. Доски треснули, взлетела туча защекотавшей ноздри трухи, но одному человеку было бы не под силу разнести эту развалину, и Майон остановился, остывая. Со стыдом он вспомнил их с Нидой вечера, проведенные у этого выпуклого борта, свой собственный щенячий лепет о героях с берегов Скамандра, о роковой красавице Елене. Но, в конце концов, это непоправимо — это ушло, как уходит детство…

8. СОБЫТИЯ ПРИШПОРЕНЫ

Гилл давно уже понял свою главную ошибку: он до сих пор представлял себе течение времени чрезвычайно похожим на поле — колос этого лета срезан, зерно перемолото, стерня сгнила и исчезла бесследно, и колос, что взойдет после следующего сева, не содержит и крохотной частицы своего предшественника. Он абсолютно не взял в расчет, что колос рождается из зерна, хранящего память прошлого.

Ему казалось, что мир возник с его рождением, мужает с его мужанием, а это было неправильно, прошлое и не думало умирать. Все теперь зависит от Майона, неизвестно где скитавшегося.

— Ты думаешь не обо мне, — сказала Лаис.

Гилл протянул руку и коснулся ее тяжелых волос. Наверняка она его любила. И наверняка не понимала: он не мог посвятить ее в свои дела, ничего не мог рассказать, а без этого бесполезно было думать о понимании.

— Тяжело мне, — сказал он тихо. Он не страдал раздутым самолюбием и потому не боялся обнаружить перед ней слабость. — Я сейчас попал в такое положение, когда начинаешь сомневаться во всем — в высоких чувствах и порывах, в самом добре. Сплошная пелена лжи и подлости…

Лаис внимательно слушала его, положив подбородок на тонкие пальцы. Далеко было ей до Елены Прекрасной, девчонке из квартала гончаров, и выдающимся умом она не блистала, но с ней было надежно и радостно, — еще и потому, что она долго считала Гилла простым подмастерьем кузнеца, а когда узнала правду, ничегошеньки не изменилось. Он знал, что увяз серьезно, они оба это понимали, понимали это и два ее брата — другому бы они давно разбили об голову все свои горшки, а к Гиллу (для них так и оставшемуся учеником кузнеца) относились довольно благосклонно. И все равно он считал, что Лаис не понимает его так, как хотелось бы, — проклятая привычка выдумывать себе сложности в дополнение к тем что и так существуют.

— Но ведь мир не черен, — сказала Лаис.

— А люди? Больно думать, что Елена Прекрасная — изрядная стерва.

— Глупенький мой Гилл, — рассмеялась Лаис. — В чем же тут потрясение? Каждая женщина скажет, что Елена — не более чем стерва. Невозможно похитить женщину, если она этого не хочет.

«Может быть, мы зря боимся, что наши открытия прозвучат громом с ясного неба?» — подумал Гилл. Скорее всего, очень и очень многие не раз и не два задумывались над этой историей, замечали несоответствия, ложь, беззастенчивый подлог. И Майон не предстанет громовержцем — он только соберет в одно целое все смутные сомнения, подозрения, идущие вразрез с официальной историей воспоминания. Но не об этом надо думать, а о том, что убийцы до сих пор неизвестны.

Он сжал пальцы Лаис. И девушка прильнула к нему. Гилл старался не думать сейчас еще об одном оборвавшемся следе — о Пифее, убитом в собственном дворе, и о его доме, перевернутом вверх дном. Не удавалось… Бронзовая ящерка стояла рядом с ним на скамейке (подарок Лаис) - неведомо как попавшее к ее деду изделие мастеров из давным–давно покинутого жителями и полузабытого города Даран. По тамошним поверьям, эта зверюшка приносит удачу.

Тень накрыла его, и Гилл открыл глаза. Перед ним стоял сыщик Эпсилон.

— Я–то думал, что у тебя и тени нет, — проворчал Гилл. — Что–нибудь срочное?

— Да, — сказал Эпсилон. — Прости, но пришлось прийти сюда. Здесь никого?

— Братья вернутся только вечером, — торопливо кивнула Лаис.

— Прекрасно. — Эпсилон выглянул в калитку. — Заходи.

Лаис ойкнула: в калитку, пригнувшись, прошел кентавр, и в крохотном дворике сразу стало тесно. Кентавр огляделся без тени смущения, поклонился и, подогнув ноги, улегся совершенно по–лошадиному. Теперь лица — его и Гилла — оказались на одном уровне.

— Чтобы не заметили с улицы, — пояснил кентавр. — Я большой.

Гилл вопросительно глянул на сыщика Эпсилона, но тот смотрел на Лаис. Гилл, спохватившись, виновато улыбнулся ей и развел руками. Лаис послушно поднялась, ушла в дом, обижаться она и не думала, и Гилла охватил веселый азарт следопыта — этот гость несомненно принес что–то важное.

— Это Даон, — сказал сыщик Эпсилон. — Родственник кентавра Нерра.

— Рад познакомиться, — сказал Гилл. — За вами не следили по пути сюда?

Даон ухмыльнулся.

— Пытались. Но я же наполовину конь. Я подхватил твоего человека и помчался галопом. А те галопом не могли, у них только две ноги.

— Где вы встретились?

— У дома Майона, — сказал Эпсилон. — Ты ведь предоставил мне свободу действий, Гилл. А я рассудил, что если следом за убитыми на берегу придет кто–то еще, он будет справляться о них у Майона, ведь к нему шли.

— А почему же ты решил, — прости, Даон, — что этому Даону можно верить?

— По этому. — Даон поднял руку.

На ней был совершенно такой браслет, как на запястье убитого кентавра. Точно такой, как у микенца.

— Это кое в чем убеждает, — сказал Гилл. — Что ж, Даон, я хотел бы кое–что от тебя узнать. Прости, если я покажусь тебе настроенным недружелюбно, но меня вынуждают обстоятельства: за моей спиной происходит какая–то загадочная возня, которую я не понимаю, хотя обязан понимать. Вдобавок погиб человек, которого я любил и уважал, который был моим учителем. А ты, сдается мне, имеешь к этой возне какое–то отношение, верно?

— Верно, — сказал Даон. — И хотел бы сказать, что и у меня были веские причины не доверять тебе. Но теперь их нет.

— Как же мы друг друга уважаем и любим! — грустно усмехнутся Гилл. Итак. Убийцы твоего родственника и Гераклида забрали у них рукопись Архилоха?

— Да.

— Рукопись несли Майону?

— Да.

— Что же в ней такое, провалиться мне в Аид? — Гилл стиснул в кулаке бронзовую ящерку. — Почему из–за нее гибнут люди? Что там? История жизни Гераклида?

— Полное и правдивое описание жизни Геракла.

— Но для чего вам понадобился Майон? Он собирает материалы о Троянской войне. Война началась после смерти Геракла и никаким боком с ним не связана, это известно каждому ребенку.

— Да ведь одно вытекает из другого, — сказал Даон. — Не Геракл пьяным перебил кентавров, как вам вбивали в голову в школе, а те, кто готовил Троянскую войну. И Геракла убрали они — он им мешал. И стрелы, смазанные кровью гидры, у Геракла украли они. Кое–кто из них еще жив и дорого бы дал, чтобы уничтожить воспоминания о прошлом вместе с их обладателями. Меч теперь — над Тезеем. И чтобы их остановить, нужно предать гласности все, не только Трою.

— Так, — сказал Гилл. — Значит, Нестор Многомудрый, почтенный царь Пилоса, дух и мозг Троянской войны… Значит, рукопись Архилоха уже у них.

— Копия, — поправил Даон. — Убийцы забрали копию, единственную. Оригинал пропал давно, где он — неизвестно.

— Вот теперь многое проясняется, — сказал Гилл. — Ваши с Нерром браслеты, насколько я понимаю, подарены некогда Гераклом вашим родичам и по наследству перешли к вам. Вы хотите помочь Тезею, последнему оставшемуся в живых сподвижнику Геракла. А чтобы придать все гласности, необходим Майон — его известность распространилась и за пределы Афин. Кажется, нет больше недосказанностей и темных мест?

— Есть, дорогой мой, — сказал Даон. — Остались, увы. Тиреней с Нерром несли Майону рукопись Архилоха, а Тезею — стрелы Геракла. Те самые. Последние три, пролежавшие все эти годы в надежном месте. Это страшное оружие, своей силы оно не потеряло, и лучше бы оно хранилось у Тезея, ему мы доверяли и доверяем.

— Это страшная вещь — стрелы Геракла, — сказал тихо сыщик Эпсилон. — Я помню, как ими сожгли ворота Трои и проломили стены. Камень горел. Я до сих пор не пойму, почему их не применили сразу.

— Это–то понятно, — сказал Даон. — Вся эта шайка не доверяла друг другу, каждый хотел завладеть стрелами сам и хранить про черный день. Потому и не было единодушия, проканителились столько лет и со скрежетом зубовным были вынуждены пустить стрелы в ход, чтобы не проиграть осаду

окончательно.

— Подождите, — сказал Гилл. — Значит, люди Нестора захватили и стрелы?

— Нет. На всякий случай мы разделили ношу. Все равно рукопись и стрелы должны были попасть в разные руки. Нерр с Тиренеем были сами по себе, я шел сам по себе.

— Выходит…

— Вот. Передашь Тезею.

Даон достал из сумы бронзовый цилиндр с завинчивающейся крышкой, похожий на цисту, в которой хранят рукописи, только длиннее и уже. Гилл отвинтил крышку и осторожно вытянул за оперение стрелу. Сыщик Эпсилон невольно отшатнулся.

Ничем она вроде бы не отличалась от обычных, тяжелая боевая стрела из потемневшего от времени дерева, но, едва Гилл повернул ее, держа на отлете, наконечник засветился густо–багровым, кровавым огнем, повеяло незнакомым запахом, гнусным и приторным. Гилл ощутил мгновенный страх и омерзение, пронизавшее тело отвратной судорогой, пот выступил по всему телу. Он выругался шепотом, бережно опустил стрелу в сосуд и туго завинтил крышку.

— Представляю. — Он отложил цилиндр подальше, поежился — озноб не проходил.

— Не представляешь, — сказал Эпсилон. — Это нужно видеть.

— Надеюсь, не доведется, — сказал Гилл. — Что же дальше? Рукопись, хоть и копия, — у Нестора?

— Я полагаю, что ее еще не успели передать Нестору, — сказал Даон. Зачем ему без особой нужды встречаться во дворце Тезея со своими лазутчиками? Он вовсе не горит желанием эту рукопись перечитать, ему достаточно обладать ею. Теперь они будут охотиться за стрелами, они выследили и меня. Ты ведь кое с кем из них ежедневно встречаешься, Гилл.

— Мои люди? — спросил Гилл тем бесстрастным голосом, которого многие боялись. — Значит, этот подонок Эвимант служил еще и Нестору?

— Эвимант — всего лишь жалкий последыш Менестея, — отмахнулся Даон. Нерр с Тиренеем отправились ночью на берег моря потому, что получили эту записку. С печатью, до которой не смог бы добраться Эвимант.

«Ваше послание получено и прочитано Тезеем. То, что вы принесли, передадите мне в месте, которое укажет посланец».

И под этими словами — оттиск печати из перстня Гилла! Печати, которой он скреплял особо важные задания. И это не искусная подделка, это оттиск именно его перстня. Гиллу

показалось, что вместо воздуха он глотает огонь, земля уходит из–под ног, и он проваливается куда–то к безумию и небытию.

— Вот так, — жестко сказал Даон. — Как видишь, и у меня были веские основания тебе не доверять. Нужно ли напоминать имя человека, который может время от времени распоряжаться твоей печатью?

— Это невозможно, — хрипло сказал Гилл.

— Но ведь выманил их на берег этим письмом не ты?

— Я все понимаю и принимаю умом. — Гиллу хотелось плакать. — Но сердцем…

Анакреон. Сверстник, соратник, ближайший помощник, единственный, кто, кроме Гилла, мог при необходимости пользоваться печатью, человек, которому Гилл верил безраздельно. Умный, из знатного рода, получивший отличное образование в славном Трезене…

— Не казнись, — сказал Даон. — Ты хороший сыщик. Просто ты столкнулся с людьми, которые разбросали ядовитые семена по всей Элладе за десятки лет до твоего рождения.

— Но ведь он — мой ровесник.

— Ну и что? Просто ты больше сталкивался с платными шпионами и прочими продажными шкурами либо недалекими мерзавцами вроде Эвиманта да придворными интриганами. Нестор и твой Анакреон — другое. За ними глубоко порочные, но идеи. И убежденность в своей правоте. Промах Тезея в том, что он опирался на молодых, умных и энергичных людей вроде тебя, но очень уж многое, почти все хотел делать сам, один, а вам оставлял третьи роли. Не учил всей сложности жизни и умению противостоять таким, как Нестор. Орудие — это всегда только орудие, пусть и честное, храброе, умное.

— Не нужно так о Тезее, — сказал Гилл и понял, что это прозвучало скорее просительно, чем решительно. Вполне возможно, что и Даон это понял, не отсюда ли сочувствие и жалость в его глазах?

И тут Гилл подумал, что его все это время беспокоила еще одна странная мысль.

— Так, — сказал он. — А объясни–ка ты мне, дружище Даон, откуда ты черпаешь знания о многом, что происходит внутри моей тайной службы?

Ответа ему не требовалось. Даон понял это и промолчал, вопрос был чисто риторическим. Гилл посмотрел на сыщика Эпсилона, тот встретил его взгляд абсолютно спокойно, без тени смущения или вины, и Гилл с пронизывающей ясностью понял, что как бы ни протекали дальнейшие события и что бы ни ждало впереди, миру и ему самому уже никогда не стать прежними.

Наверное, это и есть зрелость — рушится мир, и на его место приходит другой, потом еще один приходит на смену в свой черед, и ты идешь сквозь это вечное разрушение и созидание.

— Прелестно, — сказал Гилл. — Все вокруг меня, оказывается, усердно служат кому–то другому: кто паршивцу Менестею, кто не до конца понятым идеям Нестора… Ну, а ты–то кому?

— Сам не знаю, — сказал сыщик Эпсилон. — Наверное, такому порядку вещей, который сделает невозможным новую Троянскую войну или убийство Геракла. Я ведь совсем молодым попал под Трою, Гилл.

Он замолчал. Вечерело. Над Афинами протянулась алая полоса заката, похожая на окровавленный кинжал. Мысли Гилла вошли в привычную колею: он думал, что следует немедленно перевернуть гору донесений, — несомненно, Анакреон утаивал многое из того, что должен был сообщать ему, и кое–какие ниточки, не дававшиеся до сих пор в руки, неминуемо завяжутся в узлы. Заговор, существование которого он мог лишь подозревать, несомненно был, и появление Нестора в Афинах означало, что занесенный над Тезеем меч со свистом рассекает осенний воздух, а времени, похоже, почти не остается.

— Подождите, я сейчас, — сказал он и поднялся.

Он вошел в дом, Лаис порывисто подалась ему навстречу, но некогда было ее успокаивать.

— Родная моя, — сказал он, изо всех сил стараясь не дать волю чувствам. — Только не перебивай, ладно? Времени совсем нет. В этом цилиндре моя жизнь и смерть. И не только моя. Спрячь. Я за ним приду, а если не приду, отдай тому, кто…

Он подумал. Кольцо, как и какая–либо другая вещь, не годились — их могли снять и с мертвого. А вот того, о чем они с Лаис говорили, не знал никто.

— Или отдай тому, кто скажет: «Гилл верил, что мир не черен». Все. Я пошел.

Он все же оглянулся на пороге. Такой он ее запомнил, такой она и встала перед ним в его самый последний миг — тоненькая, с полурассыпавшимся узлом волос, в сиянии щемящей нежности, тревога и боль в глазах, страшный цилиндр прижат к груди. Она ничего не сказала и не бросилась следом, Гилл был ей за это благодарен.

— Ну что ж, — сказал он Эпсилону и Даону. — Пока они не узнали о нашей встрече, нужно действовать.

9. О ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦЕ ЛЕСОВ

…И тут конь истошно заржал, взвился на дыбы. Майон сжал ему бока коленями, навалился на шею. Он был неплохим

наездником, но ничего не мог поделать, конь бешено приплясывал на задних ногах, припадал на миг на передние и снова взвивался на дыбы. Он кричал, как смертельно раненый человек, его била крупная дрожь.

Майон ничего не успел понять и не успел испугаться — повод лопнул, он полетел на землю, напрягая мышцы, чтобы встретить удар, став упругим комком. Упал, перекатился вправо, уклоняясь от копыт. Стук подков мгновенно удалился — конь галопом унесся в обратную сторону. Майон поднялся, потирая бок.

Справа был лес, густой и темный, слева — пологий склон горы, редколесье, и оттуда, направляясь вниз, по–волчьи бесшумно скользили вереницей мохнатые звери, неслись широким махом, перерезая дорогу. Майон насчитал двенадцать и сбился. Он схватился за рукоять кинжала. Это было бесполезно — одному против такой стаи, — но он не мог покорно стоять жертвенной свечкой. Блеснуло узкое лезвие.

Звери остановились на расстоянии броска камня, преграждая дорогу. Стояли и смотрели на него — молча. Ни лая, ни оскаленных пастей, ни взъерошенных загривков. Пожалуй, они вели себя довольно мирно. Майон разглядел уже, что это собаки, но таких огромных он не встречал никогда, даже у пастухов. В его сердце вошел страх — потому что человеку такие псы принадлежать не могут, разве только…

Сжимая кинжал, он отступил к лесу. В голове был полный сумбур. От обычных собак можно было спастись на дереве, но эти…

Стая медленно шла следом, будто задавшись целью сохранять расстояние меж ним и собой неизменным. «Уж лучше бы дикие звери», — смятенно подумал он.

— Оглянись, Майон!

Он обернулся.

Девушка смотрела на него дерзко и насмешливо, играя тетивой золотого лука. Золотые волосы ниспадали в колчан, путаясь в золотом оперении стрел. Собаки теперь припали к земле совсем близко и преданно повизгивали, взметая хвостами мох и палые листья.

— Приветствую тебя, Артемида, — сказал Майон, надеясь, что смотрит в эти синие глаза хладнокровно и с достоинством.

— Ты не ушибся? — спросила богиня охоты и Луны.

— Нет, — сказал он, пряча кинжал в ножны. — Не особенно.

— Я хотела сама выйти тебе навстречу, но мои собаки меня опередили. Голос был вроде бы виноватым, но лукавство из глаз не исчезло. — Я надеюсь, что ты спешишь не настолько, чтобы пренебречь моим гостеприимством?

— Я не могу им пренебречь, — сказал Майон.

— Тебе следовало бы быть более вежливым. Разве трудно сказать, что мое приглашение заставляет позабыть о любых делах?

— Пока не знаешь, для чего тебя приглашают…

— Наверняка не для того, чтобы зажарить и съесть, я ведь не Полифем.

— Конечно нет. Ты гораздо опаснее, — сказал Майон.

— Оказывается, не все еще потеряно, — смеялась Артемида. — Такое приятно слышать и женщине, и богине, особенно шальной дикарке, как называют меня некоторые родственники. Ты, я надеюсь, не намекаешь на историю с Актеоном? Но что мне было делать? Если позволять каждому нахалу подглядывать во время купания…

— Я не это имел в виду, — сказал Майон. — Ты опаснее всех потому, что самая непонятная и загадочная. Ты скрываешься в лесах, проносишься видением и снова растворяешься в зелени. Говорят, ты не любишь Олимп?

— Я его не переношу, — безмятежно сказала Артемида. — Что хорошего в этой снежной и туманной вершине? К тому же там постоянные свары — то пытаются свергнуть Зевса, то пресмыкаются перед ним, то вдруг оказывается, что Гефесту в который раз уж наставили рога, то затевается какой–нибудь скандал. А я — хозяйка лесов и лунных дорог, я сама по себе. Никого не хочу знать.

— Однако…

— Я знаю, что обо мне болтают, — сказала Артемида. — Например, что я была любовницей Геракла. Между прочим, Актеон приставал ко мне как раз потому, что наслушался этих басен, — решил, что коль уж и он сын бога, а я, по слухам, весьма доступна, можно рискнуть. А другие, наоборот, приписывают мне

разные противоестественные наклонности, вплоть до самых гнусных.

— И где же истина?

— Там, где истине и положено быть, — посередине. Я — хозяйка лесов и лунных дорог и уверена, что звери лучше людей и богов. Уж они–то не предают, будь уверен.

— Тут я с тобой решительно не согласен, — сказал Майон. — Потому что есть еще разум и умение творить добро, создавать красоту.

— Логично, — сказала Артемида. — Но я — женщина, я не собираюсь следовать логике.

— Уходишь от спора?

— Конечно, — сказала Артемида. — Я сумасбродна. Кстати, это человеческая черта.

— Но ты богиня.

— Ах да. Но прелесть в том и состоит, чтобы быть то женщиной — просто женщиной, то богиней.

«То есть вечно между небом и землей, — подумал Майон. — Нескончаемое балансирование меж двумя масками, двумя сущностями, и полное бессилие выразить себя полностью в одной из них: всегда помнишь, что есть в запасе и вторая. Собственно, почему мы так завидуем богам? Нас угнетает та определенность и незыблемость, которой они лишены».

— Пойдем, — сказала Артемида, и он пошел с ней рядом, а по сторонам тенями скользили собаки. — Я решила встретить тебя на дороге и пригласить в гости, Майон, потому что мне стало известно — ты пишешь о Геракле. А я хорошо знала Геракла.

— Сейчас я собираюсь писать о Троянской войне.

— Но ведь одно неразрывно связано с другим.

— Разве? — сказал Майон. — Геракл погиб до того, как война началась.

Артемида скользнула по нему взглядом и ничего не ответила. Они были уже перед входом в пещеру. Собаки легли на землю, высунув языки, и, невероятно, но в их глазах Майону почудилась насмешка. Кто их знал…

Артемида протянула руку, и очаг в глубине пещеры вспыхнул прозрачным багровым пламенем, не дающим копоти. Блики играли на шкурах зверей, покрывавших пол и стены, и шкуры, казалось, шевелились. Майон не чувствовал себя скованно — первое почтительное изумление осталось на ночном берегу, к тому же он помнил все, что говорила Афина о богах и людях.

— Что–то там поделывают мои дорогие родственники? — спросила Артемида, словно угадав его мысли. — Замышляют

очередной заговор против Зевса? Можешь не отвечать, я знаю сама. Все эти дрязги с дурацким постоянством вспыхивают на унылой горе что ни день… О чем они тебя просили? (Майон молчал.) Ну а если я прикажу отвечать?

— Я не выдаю чужих тайн, — сказал Майон.

— Быть по сему. В конце концов, меня не интересует Олимп, я уже говорила. К чему мне их сплетни и запутанные взаимоотношения, если в моих лесах я и так — царица? Не о том разговор. Я обещала рассказать о Геракле.

Блики огня играли на ее лице, делая красоту переменчивой и таинственной.

— Какой он был, Артемида? — спросил Майон.

— Называй меня Делия, — сказала она. — Делия — я ведь родом с острова Делос. Так меня называл Геракл.

— Какой он был, Делия?

— Почему–то его очень часто любят представлять грубым и невежественным силачом, находившим противоестественное наслаждение в битвах и истреблении чудовищ. А он был совсем не таким. Конечно, бывал и груб. И с женщинами в том числе: самое трудное для вас — быть с женщиной нежным, вы этого прямо–таки панически боитесь. Но нельзя было заставить его делать то, чего он не хотел. Майон, я готова была стать его любовницей. А он меня отверг улыбаясь и беззлобно шутя. И я не смогла на него обидеться. — Она отрешенно улыбнулась, глядя в пламя. — Обиделись мои псы — за то, что пренебрегают их повелительницей, — и бросились на него. А он сгреб их и побросал в реку: он был Геракл. Пожалуй, я его любила, если только богиня способна кого–нибудь любить. Он не подчинялся никому и ничему.

— Но Эврисфей?

— Да, он служил Эврисфею, — сказала Делия. — И по его приказу совершил все то, что ныне именуется двенадцатью подвигами Геракла. Но потому лишь, что сам того хотел, искупая этой службой давнее, наполовину случайное свое преступление. Геракл — это независимость, доброта и сила. И полное бескорыстие. Он мог совершенно законным образом сесть на микенский трон вместо Эврисфея, но отказался. Он сам создавал царей: когда дорийцы за помощь в войне против лапифов передали ему треть своих владений, он эти владения просто–напросто подарил. И Приам стал царем Трои исключительно благодаря Гераклу.

— Но…

— Да, считается, что Геракл был врагом Трои. Но об этом потом. Сначала — о Геракле–миротворце. Он был миротворцем,

Майон. Войны он вел, чтобы примирить враждующих соседей или чтобы отучить кого–то от привычки жить за счет грабительских набегов. Там, где он проходил, прекращались раздоры, смирными становились воинственные цари, гибли угрожавшие людям чудовища. Он хотел объединить всю Грецию. То, что сделал с Аттикой Тезей, — лишь развитие мыслей и идей Геракла. Тезей был хорошим учеником. Нужно было идти дальше. И я знаю точно: они собирались идти дальше, Геракл и Тезей, и за ними шли многие. К ним собирались примкнуть Фивы, кентавры, дорийцы. Она горько усмехнулась. — Но были еще и золотообильные Микены — там тоже намеревались объединить Грецию, разумеется под властью Микен, и, уж конечно, не для того, чтобы законами ограничить власть царей. Геракл был опасен — и тогда он погиб. Предатели попадаются среди любого народа. На этот раз им оказался кентавр Несс.

— Ты хочешь сказать, что по замыслу микенцев… — У Майона перехватило дыхание.

— Да. Я только не знаю кто — Агамемнон или многомудрый Нестор. Скорее всего, оба вместе. Через жену Геракла Несс подсунул отравленную тунику, и Геракл умер. Потом истребили кентавров, свалив вину на Геракла, который не мог уже ничего опровергнуть. И похитили у Геракла смоченные в крови Лернейской гидры стрелы — страшное оружие, без которого не удалось бы взять Трою. И натравили на Фивы Спарту. И все пошло прахом. Тезей вдруг остался без друзей и союзников, без Геракла. Да, еще сочинили романтическую историю о том, как умирающий Геракл завещал стрелы «постороннему» юнцу с ясными глазами, случайному прохожему Филоктету. Хотя этот Филоктет несколько лет числился в спутниках странствий Геракла шпионил для Нестора. Геракла не стало, стрелы похищены, Тезей бессилен. И началась новая грязная интрига — подготовка к Троянской войне.

— Мне важно знать и это, — сказал Майон.

— А вот меня это не интересует, — сказала Делия. — Это другая история, до которой мне нет никакого дела, потому что Геракл был мертв, когда разбойничья шайка, именуемая войском ахейцев, отплыла в Трою из Арголидского залива.

Майон молчал. Слишком многое рушилось. То, чему он привык верить с детства, почти все приходилось осмысливать по–иному, и мир, каким он был для Майона прежде, уходил невозвратно. Ему было больно, но он не жалел, что это случилось именно с ним.

— Каждый знает лишь часть истины и не желает сложить эти части в целое.

— Вот именно, — сказала Делия. — Меня интересует лишь Геракл. К сожалению, Архилох не сделал так, как мне хотелось бы.

— Ты его знала?

— Разумеется, — сказала Делия, и в ее голосе прозвучала неизвестно к чему относящаяся злоба. — Упрямейший фанатик истины, заменившей ему всех богов. Ведь ты не такой же, правда?

— Боюсь, что я дольше, чем нужно, не мог понять, какой я, — медленно сказал Майон, словно осваивая недавно выученный язык. — Что делать, мы сплошь и рядом растем на ощупь, как зерно в земле. Но теперь знаю твердо: если Архилох видел смысл и цель жизни в служении истине, то я именно такой. Что с ним случилось?

— Он погиб после резни, которую приписали пьяному Гераклу, истребления кентавров.

— А его рукопись?

— Есть одна–единственная копия, неизвестно где затерявшаяся. А сама рукопись — здесь.

Делия коснулась укрытого медвежьей шкурой предмета, похожего очертаниями на сундук или ларец. Майон невольно потянулся к нему, но его ладонь задержала маленькая, сильная рука.

— Подожди, — сказала Делия. — Сначала выслушай меня. Я отдам тебе рукопись Архилоха. Кроме того, расскажу тебе о Геракле все, чего нет в рукописи, чего никто не знает. И ты напишешь о жизни Геракла так подробно и ярко, как никто. Ты создашь вещь, равной которой не было. Но…

— Что? — Майону передалось ее волнение.

Делия придвинулась к нему, ее губы были совсем близко, и от нее исходили печальные и сладкие запахи осени. Ее голос обволакивал:

— Но с одним маленьким условием. В твоем произведении должна быть и я. Это я вдохновляла Геракла на подвиги, это я была его единственной, верной, преданнейшей любовницей, советчицей и другом. Это я подсказывала решения, вдохновляла и вознаграждала. Везде, всегда, всюду — я. Ты меня хорошо понял? Пусть все узнают, кем я была для Геракла, чем он мне обязан. Посмотрим, как тогда завертится от зависти весь этот сброд на Олимпе. Ну? Что молчишь?

Словно холодом пахнуло от очага, и образ прекрасной охотницы, свободной от пороков большого мира, потускнел, погас.

— Нет, — сказал Майон, — это невозможно. Мы только принизим Геракла, изобразив его куклой, жившей твоей волей и

желаниями. И ты прекрасно это понимаешь.

Что–то умирало в его душе, что–то прекрасное и гордое. «Артемида, Делия, независимая хозяйка лесов и Луны, — горько подумал он, — а я так в тебя верил, возможно даже, был чуточку влюблен».

Делия придвинулась к нему еще ближе, ее волосы ласкали лицо, жаркий шепот пьянил:

— Майон, женщина, даже если она богиня, всегда преклоняется перед мужчиной, наделенным какими–то особенными достоинствами. Ты станешь великим поэтом. Не думай, что я предлагаю тебе себя как взятку, считай меня наградой, которую ты заслужил. Я буду верной и покорной, любящей и преданной. Со мной ты узнаешь счастье, какого тебе в другом случае никогда не иметь. Майон, любимый мой, все будет прекрасно, только сделай так, как я хочу.

Он терял разум и способность противоречить — от этого шепота, этих губ, нежной кожи под ладонями, чувствовал, как растворяется его воля, и он тонет в жарком шепоте, определяющем его судьбу и славу.

Но тут что–то произошло. Словно отдернулась завеса в летний солнечный день, и ему увиделся Геракл — независимый и добрый, могучий и непримиримый, он смотрел хмуро, в его взгляде были упрек и сожаление. Невыразимым усилием Майон всплывал на поверхность, и расступилась тяжелая вода сладкого дурмана.

— То же самое ты говорила Архилоху? — спросил он, отводя ее ладони.

И понял по глазам Делии, что угадал. Ее лицо исказилось то ли злостью, то ли болью. Майону показалось, что сейчас она разрыдается, громко и безутешно, как обычная женщина. Нет. Она справилась с собой, в ее глазах полыхала ненависть.

— Уходи! — яростно прошептала она. — Уходи, или я крикну своих собак.

Майон протянул руку к ларцу. Делия отвернулась, и он решился, откинул крышку, вынул пачку листов, завернутых в узорчатую сидонскую ткань. Делия ему не препятствовала.

— И вот еще что, — сказал он. — После этого разговора приходится поневоле критически взглянуть на некоторые общеизвестные события. Я имею в виду знакомую всем историю о том, как ты волшебством задержала идущие к Трое корабли, и Агамемнон, чтобы умилостивить тебя, был вынужден принести тебе в жертву свою дочь Ифигению. Я уверен, что ничего подобного не было. (Она отвернулась и молчала.) Ведь правда не было, Делия?

— Не было, — сказала она тихо. — Никакого отношения я не имею к этой проклятой войне. Доволен теперь?

— Да, — сказал Майон. — Потому что в этой истории, будь она правдой, ты была бы достойна лишь осуждения за жестокую и нелепую прихоть.

Она зажмурилась и потрясла головой:

— Убирайся…

У выхода он обернулся. Делия стояла на коленях на медвежьей шкуре посреди рассыпанных золотых стрел, метких, но бесполезных сейчас, уронив руки, смотрела на него, и он едва не поддался ее умоляющим глазам. Хотелось вернуться, приласкать и утешить, сделать все, как она хочет, но этим он предал бы Геракла, доброго и могучего. Нужно было выбирать, и Майон выбрал. И ничего тут нельзя было сделать — ни утешить, ни объяснить.

Майон вышел из пещеры. Собаки не сдвинулись с места, но злобно зарычали вслед, и это рычание сопровождало его, пока он не выбрался из леса на ведущую к Спарте дорогу. Он понял, что талант — оружие и сила, к которым относятся с уважением даже боги; что люди сильнее богов, пусть и не всегда. Он чувствовал, что прежним не будет никогда, что отыскал свою дорогу и должен ею идти, что бы ни ожидало за поворотом.

— Спасибо, Делия, — сказал он, обернувшись к безмолвному лесу. — Ты и не представляешь, что дала мне.

10. ЕЛЕНА СЕГОДНЯ

Эттей, занимавший во дворце какую–то ничтожную должность, но, как это часто бывает, имевший немалое влияние, внешним обликом был низенький, живой, с очень подвижным лицом, способным за минуту сменить множество выражений. Порой маски менялись молниеносно, без всякого соответствия с тем, что он в этот миг говорил, все время он играл, и догадаться, каков же он наедине с собой, было решительно невозможно. Может быть, он настолько сжился с вечным лицедейством, что и во сне маски на лице постоянно менялись.

— Собственно говоря, увидеть Елену Прекрасную не составляет особого труда, — тараторил он, указывая Майону дорогу. — И, если быть совсем откровенным, мы неплохо на этом зарабатываем. Два раза в неделю мы, собрав некоторую плату, пускаем народ на галерею, и они могут собственными глазами видеть прогуливающуюся в саду Елену Троянскую. Честное слово, желающие не переводятся, и никто не считает, что потратил деньги зря. Быть у нас в Спарте и не увидеть Елену Прекрасную? Конечно, к тебе нельзя подходить с той же меркой, что и к обычным зевакам. Когда стало известно, что в нашем городе

находится знаменитый афинский аэд…

— Да? — вежливо спросил Майон.

— Задумавший, как нам стало известно, грандиозное повествование о Троянской войне, — вкрадчиво добавил Эттей. — А это не могло нас не заинтересовать. Скажу больше, это заинтересовало в первую очередь Прекрасную Елену, ведь до сих пор, увы, не создано монументального сказания об этой славной войне.

— И не отражена должным образом ее причина — Елена? — спросил Майон.

— Я рад, что ты все понимаешь. О нас распускают всевозможные вздорные слухи, наверняка и до вас они дошли, — что мы якобы прямо–таки охотимся за молодыми талантами и сулим им немалые деньги, если они незамедлительно возьмутся за работу. Я могу тебя заверить, что это ложь. Нам нет необходимости кого–либо подкупать. Когда ты увидишь Елену, ты поймешь, что из–за такой женщины могла вспыхнуть сто одна война. И ты сам, без подсказки и подкупа, засядешь за работу — женская красота вызывает не только войны. Я прав?

— Ты абсолютно прав, — сказал Майон.

— Тс–с! Мы пришли.

Майон оглянулся на спутника, но того уже не было. Колыхнулась драгоценная чужеземная ткань портьеры, и в зал вошла Елена.

Она была прекрасна. Наверное, самая красивая на свете, и время не имело над ней власти. Можно было согласиться с Эттеем и многими другими, что из–за этой женщины способна вспыхнуть сто одна война. Можно было с легким сердцем верить, что много лет назад эти серые спартанские глаза, вызывавшие сладкую тоску, бросили народ на народ. Можно… но существовала еще холодная, мрачная война и летящие из прошлого стрелы.

Поэтому он с трудом, но справился с нахлынувшим восхищением, нерассуждающим и страстным. Месяцем ранее он неизбежно растворился бы в этих глазах и стал их вечным рабом, но сейчас он был человеком, начавшим познавать жестокую сложность жизни и намеренным прошагать этот путь до конца. Он стоял и смотрел, как идет ему навстречу Елена Прекрасная. Елена Троянская.

Она была как музыка, как пламя — прекрасное совершенство, и невозможно было представить мужские ладони на этих плечах, а ее, покорную, в чьих–то нетерпеливых объятиях.

Майон молчал и смотрел. Елена, конечно же, расценила это как восхищение и улыбнулась — ослепительно, так, словно

дарила весь мир, открывала все тайны и тут же забирала назад абсолютно все. «Ее даже невозможно сравнить со статуей», — подумал Майон. Тут что–то другое. Она шагала, улыбалась, поднимала глаза — и каждое движение, вздох, шевеление губ были словно продуманы за неделю до этой встречи и тщательно отрепетированы перед не умеющим удивляться зеркалом. Все было заученное, отшлифованное и оттого словно бы неживое. Роза из мрамора. Радуга из разноцветного стекла. «Значит, вот так, — смятенно подумал Майон. — Мы почему–то уверены, что красота — это обязательно и ум, и доброта, и другие высокие чувства. А ничего этого нет. Одна лишь красота, лежащая где–то за пределами образцов, отрешенная от всего на свете, никому не обязанная, никому ничего не дающая. И не вызывающая оттого даже примитивного желания. Кому захочется коснуться губами мраморной розы, как бы она ни ласкала глаз?»

Нет, он все равно не поверил бы, что из–за одной ослепительной холодной красоты могла вспыхнуть Троянская война.

Молчание стало неловким, а там и вовсе тягостным, во взгляде Елены разгоралось недоумение — она явно считала, что у безмолвного восхищения должны быть свои пределы. Но Майон никак не мог подобрать слова, да и о чем следовало говорить? Никого уже не вернешь и ничего не изменишь.

— Итак, это ты — славный и талантливый аэд, решивший поведать миру о Троянской войне? — спросила Елена чуточку лениво — ответ, конечно же, она знала наперед, и, судя по довольной улыбке, привычно присчитала очередного раба к сонму предшествовавших. Майон осознал, что труды по созданию напыщенного батально–любовного полотна были бы оплачены аккуратно и щедро, с привычной скукой изощренных ласк.

— Ты помнишь Париса? — спросил он неожиданно для себя.

Ее брови дрогнули, впервые Майон заметил в ней нечто не наигранное она задумалась, не сразу вспомнила.

— Парис… Парис… Тот юнец, что дерзко похитил меня, и тем вызвал великую войну? Странно, я только сейчас подумала, что не помню лица, цвета глаз. Но разве дело в каком–то Парисе?

— А Тезей? — перебил Майон.

Брови снова взлетели, но уже привычно–капризно.

— Тезей… Ну да, ваш царь. Разве я с ним когда–нибудь встречалась?

«Вот так, — подумал Майон. — Эти серые спартанские глаза как отражение хмурого неба…» Сколько же она искалечила судеб — равнодушно, походя, невзначай, и тех людей, сквозь жизнь которых мимолетно прошла случайной непогодой, и тех, кого

отправила в Аид эта война, где расчетливую подлость и примитивную корысть маскировали заботами о спасении чести красивой куклы.

Он поклонился и пошел к выходу, чувствуя спиной недоумевающий взгляд, за которым неминуемо должна была последовать злость, хотя, разумеется, Елена вряд ли поняла бы причины его внезапного ухода.

Не замечая встречных, он вышел из дворца и бесцельно побрел по улице, окончательно прощаясь еще с одной сказкой, умершей на пути из юности в зрелость. Он понимал, что иначе нельзя, что сказки делятся на исчезнувшие однажды бесповоротно и спутников до смертного часа. Но все равно было горько.

Он ощутил руку на своем плече.

— Мне сказали, что ты разыскивал меня.

— Здравствуй, Прометей, — сказал Майон.

11. НЕКОГДА ЖИЛ ГЕРАКЛ…

— Я бьюсь с тобой второй час, — сказал Гилл. — Будешь ты говорить или нет? Пора бы…

Анакреон молчал. Потрескивали факелы на стенах, бросая шевелящиеся тени на лица, на стол, на девственно чистый лист бумаги, — на этот раз Гилл решил обойтись без Пандарея и записывать сам, но записывать–то как раз было нечего.

— Ну?

— Мне нечего сказать, — пожал плечами Анакреон. — И я не понимаю, чего ты от меня хочешь. Не понимаю, почему меня схватили посреди ночи, перевернули все в доме. Ты уверен, что царь Тезей одобрит такие выходки?

— Я уверен в том, что ты — последняя сволочь. Как к тебе попала рукопись Архилоха?

— Да я ее впервые вижу, — сказал Анакреон.

Он сидел красивый, подтянутый, ни следа волнения или страха, руки сложены на коленях, не шелохнутся. Он сохранял полнейшую бесстрастность, лишь глаза смеялись — впрочем, не слишком явно. Он был как панцирь, от которого бессильно отскакивали любые стрелы. И Гилл никак не мог понять, на что этот мерзавец надеется, — рано или поздно улики отыщутся. Неужели поздно? Неужели они начнут уже этой ночью?

— Короче говоря, ты невинен, как новорожденный теленок, — сказал Гилл. — На тебя возвели какой–то коварный поклеп, верно?

— Иначе я никак не могу объяснить происходящее.

— Ну да, — сказал Гилл. Он присел на краешек стола и смотрел собеседнику в глаза. — А не кажется ли тебе, что ты

просто–напросто переиграл? Что ты недооцениваешь мой скромный умишко? Самый невозмутимый человек на свете выйдет из себя, когда его посреди ночи стащат с супружеского ложа, приволокут в подвал, обвинят в государственной измене особенно если это человек верный, честный и ни в чем не виноватый. Ты должен был плюнуть мне в глаза, вспылить хотя бы для вида, разыгрывать оскорбленного. А ты невозмутимо принял все как должное. Ты переиграл, милый. Был уверен, что все концы спрятаны надежно и оттого не продумал, как вести себя при аресте. Любой вор, когда его с поличным хватают на рынке, в сто раз гениальнее играет оскорбленную невинность. Ну?

Он дорого бы дал, чтобы увидеть в этих насмешливых глазах если не испуг, то растерянность хотя бы. Бесполезно.

— Ну, хорошо, — сказал Анакреон. — Я в самом деле тебя недооценил.

— Сознаешься?

— В чем? Давай прикинем. Ты не в силах доказать, что рукопись Архилоха передали мне убийцы. Более того, у тебя нет людей, которые способны свидетельствовать, что именно эта пачка бумаги — рукопись Архилоха. Ну а если так, из чего следует, что именно ее взяли у убитых и передали мне?

— То, что это именно взятая у убитых рукопись, подтвердит Даон.

— Ну и что? — спросил Анакреон. — Кто видел, как ее передавали мне? Вносили в мой дом? Кто докажет, что я ее вообще видел? Что я послал убитым записку с твоей печатью? Хвала Тезею, у нас существуют писаные законы. Кто рискнет пытать меня или судить на основании столь шатких обвинений? И ты не рискнешь.

Он бил без промаха — не было прямых доказательств, не было свидетелей, Гилл не мог идти против афинских законов и собственных принципов, на этих законах основанных.

— Ты прав, — сказал он глухо. — Я не могу идти против законов и своей совести, стоящей на страже этих законов. Но ты должен понять — только боги не оставляют никаких следов, не делают ошибок. А ты не бог. Рано или поздно мы найдем улики или свидетелей.

По лицу Анакреона скользнула снисходительная улыбка.

— Нет у вас завтрашнего дня, Дориец, — сказал он. — Нет, понимаешь? И не потому, что вы опоздали. Вы просто пытаетесь встать на пути горного обвала. Сметет.

— Яснее можешь?

— Не стоит, — безмятежно сказал Анакреон. — Успех

предрешен. Со своей игрой в демократию Тезей надоел не только нам, но и Зевсу. Боги желают видеть на земле лишь отражение заведенных на Олимпе порядков — безо всяких выкрутасов вроде писаных законов.

Он улыбнулся с нескрываемым превосходством, но Гилла это совершенно не задевало.

Гилл крикнул стражу.

— Посиди под замком и подумай, — сказал он Анакреону.

Сел за стол и придвинул к себе рукопись Архилоха. Отрешился от мира за дверью, насколько это было возможно. Он читал захватывающее и несомненно подлинное повествование о давних временах, когда были молоды Геракл, Тезей и их сподвижники, целеустремленно уничтожавшие чудовищ, вразумлявшие воинственных царьков где уговором, где мечом, гасившие в зародыше войны. И параллельно — рассказанная с безжалостной прямотой очевидца, не намеренного приукрашивать и лгать, история многомудрого Нестора и его сторонников, исступленно готовивших грабительский поход на Трою. Яд и кинжал, клевета и подлог, фальшивые предсказания Дельфийского, Дадонского и других оракулов, якобы гарантировавшие милость богов и победу осаждавшим; подкупленные прорицатели вроде бежавшего из Трои и предавшего свой народ Калханта. И многое другое.

Как оказалось, у горы Эримант Геракл встретился с вождями кентавров и другими соратниками, чтобы обсудить план последнего удара по Нестору и его сподвижникам (те уже вели бешеными темпами подготовку к Троянской войне, уже были намечены марионетки, которым предстояло привести все в действие). Архилох с Тезеем отсутствовали, что их и спасло от Эримантской резни. Узнав, что цвет их военачальников истреблен вместе с большинством кентавров, что Геракл убит, а стрелы похищены, что делу нанесен почти непоправимый урон и все нужно начинать сначала, они едва не опустили руки. Но духом окончательно не пали. Тезей отправился в Афины. Куда собирался Архилох — неизвестно, он написал лишь, что оставляет рукопись у надежного человека, прежде чем пуститься в опасное путешествие. «Совсем не исключено, — подумал Гилл, — что он направился в Фивы, город, всецело поддерживавший Геракла».

Теперь Гилл мог восстановить дальнейшие события. Под притянутым за уши, насквозь лживым предлогом спартанское войско обрушивается на Фивы и разрушает город (может быть, Архилох в Фивах и погиб). Афины бездействуют — Тезей остался один–одинешенек, город и жители еще не оправились после

недавнего нападения спартанцев, произведенного якобы в отместку за похищение Тезеем Елены. (То, что Тезей вернул Елену в целости и сохранности, на Спарту никакого впечатления не произвело. Гилл уже не сомневался, что и первое похищение Елены было срежиссировано Нестором и Агамемноном, — чтобы разгромом Афин подорвать силы Тезея и оторвать его от Геракла).

А тут еще загадочная смерть братьев Елены Кастора и Полидевка. Эти бесшабашные и разгульные молодцы, несмотря на все свое легкомыслие и ветреность, сестру все–таки любили — свидетельства тому имелись, — и вряд ли им могло понравиться, что девушкой из знатного рода играют, как куклой: то подсовывают Тезею, то, разыграв спектакль, известный как «состязание женихов», отдают Менелаю, то бросают в объятия Париса. Сыграла свою роль и фамильная спесь, и обида на папашу Тиндарея, позволяющего проделывать такое с собственной дочерью, которая к тому же была как–никак внучкой Зевса. Без сомнения, братья многое знали об истинной подоплеке дела и наверняка не одиножды выражали недовольство. Потому вскорости братья гибнут в нелепой, непонятно кем организованной стычке.

Дальше совсем просто. Созданного Гераклом союза больше не существует. Геракл мертв, как и почти все его видные сподвижники, перебиты кентавры, разрушены Фивы, слабы Афины, уцелевшие разобщены и бессильны. И уже нет ни времени, ни желания задумываться над случившимся у горы Эримант. Другие события заслоняют все — коварно похищена Елена, оскорбленный муж Менелай и оскорбленный отец Тиндарей мечут громы и молнии, просят помощи у друзей, боги благословляют на справедливое мщение, ахейская армада отплывает из Арголидского залива, и на ближайшее десятилетие все помыслы и усилия Эллады поглощены Троянской войной.

Гилл отложил рукопись. В душе не было ничего, кроме безграничного сожаления и горечи. Факелы догорели, в сером рассветном небе за окном медленно растворялись звезды и уже проглядывала синева. Глядя на пожелтевшие листы, он снова и снова пытался понять, где был бы он и что делал, если бы довелось жить в то бурлящее время.

Ответ не давался в руки.

12. ПРОМЕТЕЙ СЕГОДНЯ

— Значит, ты так и живешь здесь? — спросил Майон. — Ремесленник из квартала кузнецов…

— А что прикажешь делать? — сказал Прометей. — Требовать возведения храмов в мою честь, подбирать себе жрецов, которые

вскорости начнут обирать простаков и вольно толковать «мою» волю? Если ты хорошо знаком с моей прежней жизнью, то должен знать, что я и раньше к этому не стремился, а уж теперь — тем более. Между прочим, все, что есть в этом доме, я сделал сам. Не так уж плохо, верно?

— И все же ты мог бы как–то влиять на события.

— Как? Конечно, нашлось бы немало людей, которые с готовностью последовали бы за богом. И таких, которые творили бы что угодно, прикрываясь званием моих последователей. И таких, которые независимо от меня объявили бы себя моими последователями. А я принужден был бы постоянно надзирать, поминутно карать одних и поучать других. Из меня, в таком случае, вышел бы тиран и мелочный опекун похлеще Зевса.

— Но ведь есть и достойные твоей поддержки?

— Конечно, — сказал Прометей. — Только достойные сами достигнут своей цели и, поразмыслив, поймут, что я им вовсе не нужен. Я им когда–то дал огонь и научил кое–каким ремеслам — потому что ими тогда владел только я. И хватит. И достаточно.

Он сидел напротив Майона за искусно сработанным столом, высокий и сильный, с лицом, навсегда опаленным жаром кузнечного горна, и ничем не отличался от обыкновенного человека — гордая осанка не редкость среди людей, знающих цену своему мастерству. Разве только страшные бугристые шрамы на широких ладонях — но у людей встречаются и страшнее. И выкованное из его цепи железное кольцо с кусочком той самой скалы — но мало ли какие кольца носят люди?

— Накрепко запомни одно, — сказал Прометей. — Мир очень юн. С тех пор как после потопа из горстки уцелевших возродилось человечество, сменилось всего девять поколений. Добро и зло, подлость и благородство — все это еще не сформировалось окончательно и не застыло, как расплавленный металл в литейной форме. Нужно окончательно победить зло, а если сделать это не удастся сегодня или завтра, ибо зло штука цепкая, то нужно научиться бороться с ним и не опускать рук, пока оно не исчезнет. Главное — не опускать рук и не склонять головы, верить, что зло не вечно. Впрочем, если бы ты думал иначе, ты не увяз бы с головой во всем этом деле и не пришел бы ко мне…

— Нас плохо учили бороться со злом, — сказал Майон. — Вернее, совсем не учили. Это нас не оправдывает, но все же сыграло свою роль.

— А вы деритесь, — сказал Прометей. — И учите тех, кто моложе, чтобы они не оказались в вашем положении, — вы ведь теперь понимаете, в чем ошибки предшественников.

По комнате, лязгая и громыхая, прошел переваливающейся

утиной походкой железный человек и подбросил дров в очаг.

— Сам сделал, — сказал Прометей. — Конечно, далеко ему до Гефестовых золотых слуг, но подмастерье в кузнице из него получился. — Он рассмеялся и хлопнул Майона по колену: — А что, Майон, отдать вам этого болвана, пусть шагает впереди с дубиной и молотит направо–налево, а? Нет, нельзя болван с тем же успехом может служить вашему противнику, если перепутает, в какую сторону идти, у него и места–то для мозгов в голове нет…

— Как ты думаешь, удастся то, что на Олимпе затеяли против Зевса?

— Не знаю, — сказал Прометей серьезно. — Зевса давно пора сбросить, но весь вопрос в том, как преодолеть страх перед ним. Он заставил забыть, что когда–то был слаб и жалок, что без помощи других небожителей никогда не завладел бы Олимпом, что молнии ему некогда подарили циклопы, а не сам он их создал, как вас учат.

— Прости, если я тебя задену, — сказал Майон, — но ведь, когда Зевс сверг своего отца Крона и против Зевса из–за этого поднялись титаны, ты дрался на стороне Зевса. И сыграл большую роль в его победе.

Наступило долгое молчание, беспокойное и саднящее, только железный человек, побрякивая, хлопотал у очага.

— Ну что ж, — сказал Прометей. — За всю мою жизнь додуматься до этого вопроса и задать его смогли только Геракл, Тезей, Архилох и ты… Все равно, Майон. Мы, как и люди, взрослели, мужали, изменялись в лучшую или худшую сторону. Все были гораздо моложе. И он был другим. Это теперь Зевс поверил, что бессмертие и вечность — одно и то же, и его трон вечен. Есть еще какие–нибудь вопросы, которые тебя мучают?

— Конечно, — сказал Майон. — Я узнал все подробности жизни Геракла и Троянской войны. Но у меня не укладывается в голове — понимаешь, просто не укладывается — несоответствие между тем, как все было на самом деле, и тем, как это все представляют. Мне не хочется верить, что люди были способны так поступать. И ничего не может мой ум с сердцем поделать.

— Понятно, — сказал Прометей. — Конечно, тебе бы поговорить откровенно с кем–нибудь из умельцев перекрашивать черное в белое. Но никого из них не осталось, кроме Нестора, а откровенничать он ни с кем не станет. Одиссей неизвестно где, может быть, его и в живых нет. От Елены толку не добьешься. Но возможность есть — в том случае, если ты отправишься в Аид, уж там–то сможешь побеседовать с кем угодно… Не побоишься?

— Нет, — сказал Майон, борясь с липким ознобом страха. —

В конце концов, люди там бывали и возвращались оттуда…

— Молодец, — сказал Прометей. — Провожатого дам. — Он кивнул в сторону железного человека. — Болван, но дорогу указать и к месту проводить способен. И вот что еще, Майон: некоторые сказки мне приписывают создание людей. Ложь. Ни я, ни Зевс, никто вас не создавал. Я только дал вам огонь да научил самому необходимому. И ни в чем не раскаиваюсь. Крепко запомнил?

13. ЦАРСТВО СЕРОГО СЧАСТЬЯ

Небо над головой было мутно–серое, непроглядное и тусклое и походило больше на серую парусину, натянутую почти на высоте поднятой руки. И земля под ногами была серая, плотная, не камень и не песок, низкая, плоская, как доска, равнина. Невозможно было определить расстояний, понять, где земля сливается с небом, — сюда не достигал ни один луч солнца, не было ни камня, ни дерева, ни травинки, ни рытвины. Майон не отбрасывал тени, и ему казалось, что он не движется по плоской серой равнине, а шагает, не сходя с места. Он не боялся — серый мир вокруг не вызывал никаких чувств, кроме беспросветного уныния. Может быть, здесь не существовало и времени. И серая река, вдоль которой он шел, больше всего напоминала идеально прямую канавку, проделанную резцом в металлической доске и заполненную ртутью.

Майон наклонился и зачерпнул в горсть воды — густая, словно бы и не мокрая, она лениво сползла с ладони, струйка глухо, без всплеска и разбегающихся кругов, вернулась в реку и слилась с ней. Потянуло тоскливым пряным запахом, расслабляющим и клонящим ко сну. Майон понял, что это Лета, и ускорил шаг, держась подальше от неподвижной воды забвения.

Впереди наконец–то появилась темная полоса, тянувшаяся в обе стороны и исчезавшая в размывающем ее края слиянии земли и неба. Стали попадаться камни — гладкие до бархатистости, словно обкатанные морем или отшлифованные.

Полоса была медной стеной — ее верх терялся в сером мареве, ворота были распахнуты настежь, и в них лениво колыхались, завивались круговоротами, вздувались и опадали тяжелые клубы мрака, а Лета уходила в этот мрак. Человек в черном плаще сидел на большом округлом камне, похожем на огромный человеческий череп, сидел лениво, в позе хозяина, знающего каждый уголок своего двора. У него было узкое лицо с тонкими, брезгливо поджатыми губами и спокойные черные глаза. Его черный плащ слегка трепетал, словно раздуваемый ветром, хотя никакого ветра Майон не чувствовал.

Их взгляды встретились, но в зрачках того Майон не увидел

искорки, которую замечаешь, когда люди смотрят друг другу в глаза. Покойная пустота, два черных окатыша.

— Здравствуй, Аид, — сказал он.

— Здравствуй, — сказал Аид. — Ну как там, наверху? Вечная возня? Кто–то с кем–то дерется, что–то горит, кто–то тонет, кто–то за кем–то гонится, все суетятся, жить торопятся, разбогатеть торопятся, умереть торопятся, ни минуты покоя. Что оглядываешься? Не видно сторуких гекатонхейров и страшного Цербера? Их ожидал встретить?

— Вообще–то, да, — сказал Майон.

— Глупости. Сторукие дремлют где–нибудь в уголке. А Цербер до того опился водой из Леты, что просыпается раз в столетие. Как видишь, ваши россказни истине не соответствуют. Стража здесь не нужна — гостей я не отпугиваю, совсем наоборот. А стеречь здешних обитателей нет нужды, никто отсюда не уйдет по доброй воле. Нет здесь никаких узников, никаких огненных колес и сырых темниц. Заходят иногда буйные гости, да вреда от них особого нет. Заявился как–то Геракл и уволок за шкирку полусонного Цербера, но пес так испугался вашей суеты и солнца, что вырвался у входа и удрал назад.

— А Тезей?

— А, тот. Жив еще… — Аид усмехнулся. — Был такой забавный юнец. Приставал к моей супруге, пока не сообразил, насколько она холодна. Я его продержал у себя три года исключительно развлечения ради — хоть один крикливый да суетливый поблизости. Потом надоело, и я его выставил за ворота. Я вижу, ты, как и многие там наверху, убежден, что владыка царства мертвых грозен и наводит ужас? Чепуха. Я властвую не над страхом, а над скукой. Не зря Зевс поработал молниями, почти завалив вход в Аид и сделав его труднодоступной щелью среди диких скал. Отбиваю я у него подданных, завидно ему.

— Тени?

— При чем тут тени? — лениво удивился Аид. — Я о счастливых людях из плоти и крови говорю.

Майон посмотрел вокруг и увидел множество людей — молодых и старых, мужчин и женщин. Они лениво расхаживали по серой равнине в одиночку, парами в обнимку и группами, некоторые беседовали, но так медленно, что слова, казалось, неспешно выползали изо рта, долго колыхались в воздухе, прежде чем скрыться в ухе собеседника. Разговоры были настолько тягучими, что Майон не различал слов: все двигались невыносимо плавно, все лица застыли в блаженных улыбках, так что казались отлитыми из металла погребальными масками и

внушали тоскливый ужас, их было много, очень много.

— Вот видишь, они счастливы, — сказал Аид. — Они живы и пользуются всеми радостями жизни — яствами, питьем, женщинами, умными беседами с учеными собеседниками. У них нет забот и хлопот, здесь нет войн и болезней, голода и несправедливости, нет зла…

Майон почувствовал, что этот голос опутывает его липкой паутиной, и на губах оседает противная приторная сладость, словно он пригоршнями ел мед. Стоячая вода смыкалась над его головой, и, рванувшись на поверхность, он сказал:

— Но добра ведь тоже здесь нет?

— Добра? Я уже и не помню, что это такое. Ну и что? Зачем нужно добро, если счастья и здоровья — в избытке? Она не иссякает. — Аид указал кивком в сторону Леты. — И никого из них я не тащил сюда насильно, не завлекал обманом и не принуждал пить из Леты — они пришли сами, не выдержав суеты и ужаса верхнего мира. Есть счастье и нет зла, к чему сожаления о каком–то добре?

«Но счастье и равнодушие несовместимы, — подумал Майон, — а они купаются в забвении и равнодушии. Им никто не нужен. Оказывается, подземное царство Аида стократ страшнее нарисованного молвой — с огненными колесами, зловещими стражами и нечеловеческими муками. Гея–Кормилица! мысленно воскликнул он в изумлении. — Они же бегут! Скрывается в лесах Артемида–Делия, сам себя заточил в серой мгле Аид, ушел в пучины Посейдон. Боги, твои дети, Гея, бегут от самих себя и от людей». Чего же тогда стоит Олимп, почитаемый как средоточие высшей справедливости и разума, если одни боги стремятся покинуть его, а другие наперебой борются за людские души?

— Ты, как я догадываюсь, тоже пришел выпить приносящей счастье воды? нарушил его мысли Аид.

— Нет, — сказал Майон. — Я хотел бы поговорить с одним из обитателей твоего царства теней.

— С кем?

В самом деле, с кем? Ахилл — всего лишь воин, никогда не знавший всей подноготной. Тиндарей? Калхант? Одиссей, может быть, еще жив, тогда его здесь нет.

— С Агамемноном, — сказал Майон.

Потому что Агамемнона легенды числили первым среди множества царей и военачальников, приплывших под Трою. Самый величавый, самый значительный, самый глубокомысленный, отважный, талантливый, самый, самый… Что бы ни писал Архилох, пусть все это правда, но такова уж была сила назубок выученного и внушенного с детских лет — при

упоминании имени Агамемнона перед глазами возникала некая величавая фигура в сиянии золота и пурпура, триумфа и славы.

Да, тень, скользнувшая над серой равниной навстречу Майону, величавости не утратила. Словно сотканный из колышущегося полупрозрачного тумана, перед Майоном встал Агамемнон, и Майон едва поборол робость и смущение. Перед ним был герой и — одновременно человек, неопровержимо изобличенный во лжи и подлости, и Майону почему–то стало невыносимо стыдно, словно позор Агамемнона падал и на него.

— Кто ты? — спросил Агамемнон голосом, напоминавшим слабый шелест ветра в тростниках.

— Майон, аэд из Афин. Я пишу о Троянской войне.

— Это было славное дело.

— Как знать, — сказал Майон. — Я пишу о том, что было в действительности.

— Что ты имеешь в виду?

— Рукопись Архилоха.

Тень оставалась тенью, но глаза, казалось, ожили.

— Истина все–таки вырвалась наружу?

— С истиной в конце концов так и случается, — сказал Майон.

— И все мы предстанем?..

— Такими, какими вы и были, — сказал Майон. — Царь, разве нельзя было иначе?

Агамемнон думал.

— Иначе — нет, — сказал он. — Что нам еще оставалось делать? Купец разоряет опасного соперника. Воин убивает опасного противника. А мы были и купцами, и воинами, и политиками. Троя, эта Троя… Кость в горле. Она вечно отказывалась присоединяться к нашим военным походам, она держала под своим влиянием морской путь в золотую Колхиду и другие торговые пути, с ней постоянно приходилось делиться. Но — напасть просто так? Ты молод и никогда не был государственным деятелем, тебе трудно понять большую политику. Мы плохо выглядели бы в глазах всего мира, развяжи мы первыми войну, нападни мы без всякого повода. Да и собственные воины охотнее идут в поход, освещенный сиянием справедливости. Так что понадобилась Елена.

— Но у меня не укладывается в голове, — сказал Майон. — Чтобы отец и муж поступили так с дочерью и с женой?

— Необходимость, — промолвил голос, похожий теперь на отзвук далекого сражения. — Интересы государства, перед которыми меркнет все остальное. Что значили мысли, побуждения и желания самих Тиндарея и Менелая перед

железной необходимостью любой ценой уничтожить Трою? И они это понимали. Они прежде всего политики, а уж потом — люди. Тиндарей не пожалел не только Елену, но и сыновей. Кастор и Полидевк убиты его людьми, по его приказу — когда стали опасными, слишком много кричали о лжи и грязных методах.

— А Геракл?

— Те же причины, — сказал Агамемнон. — Он проповедовал дурацкие идеи и мешал не только нам, но и Зевсу. Так что Зевс ничуть не рассердился на нас за убийство любимого сына. Мой милый малыш, речь идет о мире, где не действуют родственные и иные отношения, к которым ты привык, вот и все, что я могу тебе сказать.

Майон ощутил смертную тоску. Он еще мог бы что–то оправдать и понять, зайди речь о яростном кипении нечеловеческих страстей, возвышенного гнева. Но все было неизмеримо мельче, проще, примитивнее, золотое сияние растаяло, остались убогая логика разбойника с большой дороги и скучный торгашеский расчет, лишь перенесенные несколькими этажами выше.

— И ты ни о чем не жалеешь? — спросил Майон.

— Я же тебе объяснил: нет места скорби и сожалению. Все умиротворены и покойны.

— Ты не ответил по существу, Агамемнон.

Голос Агамемнона стал еще тише:

— Мальчишка… Почти все мы здесь, но Нестора здесь нет. Многомудрый поставит все на места и заткнет орущие глотки, он укроет все следы, и мы останемся в глазах потомков незапятнанными героями. Вам не победить… не победить… не…

Простирая руки в бессильной ярости, он уплывал к воротам, как уносимый ветром клок тумана, его голос слабел, проклятия становились все тише, и наконец он растворился в ленивом шевелении густой мглы.

— Как видишь, Аид, — сказал Майон, — мертвым далеко не безразлично, что говорят о них живые и что станут говорить потомки.

— Что мне до того? — отмахнулся Аид. — Так ты отказываешься от воды из Леты?

— Я не испытываю жажды.

— Ты шутник, право… У меня есть предложение к тебе. — Он положил на плечо Майону вялую, словно бы бескостную руку. — Ты бы мог способствовать распространению счастья на земле.

— Каким образом?

— Вода, — сказал Аид, — вода из Леты. Ты можешь унести один–два меха с водой и подливать там, наверху, в ту, что пьют

люди. Всего капля на бочку — и сотня людей облагодетельствована. Постепенно прекратятся войны, сгинут плутни и несчастья, на землю вернется Золотой век. И люди забудут всех богов, даже Зевса. Останусь только я, повелитель блаженных. И ты, мой ближайший помощник. Весь мир будет наш. Весь мир! Подумай о человечестве, которое захлебывается в грязи и крови.

— Да ты просто сумасшедший, — сказал Майон. — Или величайший преступник.

Рука на плече попыталась дотянуться до горла, но в пальцах не было силы, и Майон легко стряхнул их. Аид что–то крикнул, обернувшись к воротам. Из мрака появился Цербер. Бежать было бессмысленно.

Цербер брел к ним, кудлатый и жирный громадный пес, три головы лениво мотались на поникших шеях. Майон увидел подернутые сонной поволокой глазищи, мутные, как грязное стекло. Страх пропал. Ничуть не опасна была эта зверюга со слона ростом.

Доплетясь до них, Цербер зевнул в три пасти с хрустом и привизгом, показывая розовую гортань и страшные зубы, отряхнулся и потерся боком о Майона, как о ствол дерева. Он был уютный и теплый. Потом сладко потянулся, подошел и стал лакать в три языка воду из Леты.

— Вот видишь, Аид, — сказал Майон, смеясь с облегчением, — вода забвения и блаженства играет скверную шутку с тобой самим, разрушая в первую очередь твое же царство.

Он оглянулся, уловив краем глаза какое–то шевеление.

Ближайшие обитатели края блаженных медленно, полукругом двигались к нему, растопыривая руки. Улыбки растягивали их лица в жуткие маски, и Майон, поначалу смотревший на них спокойно, вдруг понял, что они намереваются, смыкаясь, оттеснить его к Лете — а там, скорее всего, столкнуть в неподвижную воду, которой, хочешь не хочешь, придется наглотаться.

Это было страшно, Майон дернулся и, отталкивая вялые руки, опрокидывая их, вырвался из полукруга, помчался прочь, приговаривая на бегу: «Значит, силой? Силой все же?» Он бежал и не мог определить, какое расстояние одолел, кровь бешено стучала в виски, серый мир без теней и четких очертаний, казалось, вот–вот растворит его.

Он оглянулся и, овладев собой, перешел на шаг. Сзади была лишь непроглядная серая пелена, а впереди уже черной извилиной виднелась щель в горном склоне, где дожидался Прометеев железный человек.

14. ВЕЛИКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК ВЕРНУЛСЯ

— Выходит, ты — Одиссей, царь Итаки, — с улыбкой сказал Гомер. — Тот самый, что десять лет после падения Трои странствовал по далеким морям?

Человек торопливо кивнул, словно боясь, что ему не поверят.

— Хитроумный Одиссей, один из тех, чьими усилиями была взята Троя, сказал Гомер. — Ведь это ты придумал спрятать воинов в огромном деревянном коне? Об этом знает каждый мальчишка.

Он посмотрел Одиссею в глаза, смотрел долго, и наконец Одиссей отвел взгляд, пробормотал чуточку смущенно:

— Ну, предположим, дело обстояло немного не так…

— «Немного» — очень хорошее и удобное слово, — сказал Гомер. — Оно такое растяжимое, в него порой столько вмещается. Значит, после падения Трои, когда вы отправились восвояси, обремененные добычей и славой, боги наслали на твой корабль ураган и загнали его неизвестно куда. И это тоже всем известно. Но, судя по твоему смущению, ты намерен заявить, что и здесь все обстояло «немного» не так?

Одиссей посмотрел на него и впервые подумал, что притворная мягкость этого голоса напоминает кошачьи лапки со втянутыми до поры когтями. Он сказал осторожно:

— Да, немного не так.

— Любопытно бы знать, — сказал Гомер, — что подумали боги, узнав, что они, оказывается, принимали такое деятельное участие в твоей судьбе?

В глазах Одиссея зажглось беспокойство.

— Ты считаешь, они рассердятся, узнав, что им приписываются вещи, которых они не…

— Не думаю, что они будут так уж сердиться. Боги, как женщины, предпочитают, чтобы о них лучше сплетничали, чем молчали вообще. Воздух полон богов — гласит наша пословица. Так какая, в сущности, разница? Итак, что же привело тебя ко мне, любезный Одиссей?

— Я вернулся в Грецию лишь несколько дней назад, — сказал Одиссей. — И узнал, что некий Гомер из Афин пишет поэтическую историю моего плавания. Конечно, я удивился: о том, где я был все эти годы и что делал, знаю только я. Потом я прочитал написанное тобой и удивился еще больше.

— Хочешь сказать, что теперь у меня «немного» не так?

— Да все не так, разумеется, — сказал Одиссей. — Не был я ни у лестригонов, ни у лотофагов. Их и нет–то, наверное, — лотофагов. Не делил я ложе ни с какой Навсикаей. И откуда, скажи на милость, ты взял Сциллу и Харибду? Ничего подобного

на свете нет, уж я–то знаю, я избороздил Ойкумену из конца в конец.

— Видишь ли, творчество имеет свои законы, — с оттенком снисходительности сказал Гомер. — Ты храбрый воин и опытный мореход, но сейчас ты вторгаешься в область, где, прости меня, являешься полным невеждой. Законы творчества…

— Причем тут законы? Не было ничего подобного! Ты все выдумал от начала до конца!

Он смотрел упрямо и не собирался отступать.

— Ну что ж, — сказал Гомер. — А где же, в таком случае, позволь узнать, тебя десять лет носило?

Раздражения в его голосе не было, он скорее забавлялся.

— Я вышел за Геркулесовы столпы. Ненадолго задержался в Атлантиде. И поплыл дальше, туда, где садится солнце. — Его лицо стало одухотворенным и мечтательным. — И я открыл, что океан не бесконечен, Гомер, и за Атлантидой лежат новые земли, неизвестные страны. Там строят огромные пирамиды, немного похожие на египетские, и там поклоняются богам, чьи имена почти невозможно выговорить. Там умеют с непостижимой точностью рассчитывать пути звезд, там есть птицы, которые умеют говорить по–человечески, но нет лошадей. Там…

— Скажи, пожалуйста, — оборвал его Гомер. — И там ты прожил все эти годы?

— Да, — сказал Одиссей. — Просто жил. Вообрази, как я удивился, когда вернулся и узнал, что ты, оказывается, написал о моих десятилетних странствиях. Твой труд, Гомер, несмотря на все его достоинства, ничего общего не имеет с истиной.

— А что такое истина, любезный мореплаватель? — с улыбкой спросил Гомер. — Это понятие поддавалось и поддается всевозможным толкованиям. Созданная мною насквозь вымышленная история твоих путешествий известна тысячам людей, твоя подлинная — тебе и горсточке твоих спутников Что же, спрашивается, весомее?

— Но это же ложь — то, что ты сделал.

— Не стоит притягивать за уши набившие оскомину понятия, — сказал Гомер. — Что это за манера раз и навсегда раскладывать все по полочкам? Понятия и оценки могут меняться, и нужно только уметь привыкать к изменениям. Ты же сам признаешь, что твоя десятилетняя жизнь в тех неизвестных странах протекала буднично и скучно? Послушай вот это. — Он взял исписанный лист. — «Радостно парус напряг Одиссей и, попутному ветру вверившись, поплыл; сон на его не спускался очи, и их не сводил он с Плеяд, с нисходящего поздно в море Воота, с Медведицы, в людях еще Колесницы имя носящей, и близ

Ориона свершающей вечно круг свой, себя никогда не купая в водах океана. С нею богиня повелела ему неусыпно путь соглашать свой, ее оставляя по левую руку. Дней совершилось семнадцать с тех пор, как пустился он в море. Вдруг на осьмнадцатый видимы стали вдали над водами горы тенистой земли феакиян, уже недалекой…

— Это не обо мне, — сказал Одиссей. — Я никогда не плавал таким путем, и наверняка там нет никаких феакиян.

— Наверняка, — согласился Гомер. — Однако, согласись, красиво.

— Бесспорно. Это талантливо.

— Я рад, что ты оценил по достоинству мой скромный труд, — сказал Гомер. — Что же теперь прикажешь делать? Ты внезапно возникаешь из неизвестности и сводишь на нет бесспорно талантливую поэму.

— Но ведь ничего этого не было, — сказал Одиссей.

Гомер оглядел его с ног до головы: ранняя седина в курчавых волосах, заметно обрюзгшая фигура, дурно сидящий, хотя и дорогой хитон — конечно, одежду он покупал здесь, второпях, он десять лет не видел греческой одежды и отвык от нее. И эти упрямые глаза.

— Ты зол на меня?

— За что, о боги? — искренне удивился Гомер.

— За то, что я появился и разрушил твою работу.

— Кто тебе сказал, что ты ее разрушил? И чего ты, собственно, от меня хочешь?

Он со снисходительной усмешкой смотрел, красивый, сильный и талантливый человек Гомер, как Одиссей, помогая себе неуклюжими жестами, надеется подобрать слова и не находит их. Полосы солнечного света касались ножек стола, уголка рукописи, и буквы показались идеально четкими, словно вырезанными в камне.

— А ведь ты неблагодарная скотина, Одиссей, — сказал Гомер.

И резким толчком привычной к кулачным боям руки заставил сесть рванувшегося к нему Одиссея.

— Объясни, — сказал Одиссей хрипло.

— Начнем издалека, с одной грязной истории времен осады Трои. Шли годы, и воины, сообразив, что легкой добычей тут и не пахнет, поняли, во что их втравили, и начали все настойчивее уговаривать вождей убраться восвояси. Особенные опасения внушал Паламед — человек уважаемый и авторитетный. И вот в один далеко не прекрасный день оказалось, что Паламед требует снять осаду потому, что подкуплен троянцами. Один из вождей

увидел на сей счет вещий сон, открывший предательство, отыскал наутро в шатре изменника золото и письмо троянцев — которые, как ты понимаешь, сам туда подсунул, и Паламед вместе с ближайшими друзьями был казнен. Те, кто кричал о снятии осады, замолчали надолго. Ты не припомнишь ли имя военачальника, наловчившегося с помощью своих вещих снов отыскивать предателей?

Одиссей смотрел под ноги, его пальцы сплетались, теребили одежду, не находили себе места. Гомер терпеливо ждал.

— Он представлял большую угрозу для единства ахейцев, — сказал Одиссей. — К нему многие прислушивались.

— Я не собираюсь ни осуждать тебя, ни оправдывать, — сказал Гомер. Далее. Когда войско все же собралось на всеобщий совет, чтобы решить, возвращаться или оставаться, кто из вождей яростнее всех набрасывался на уставших торчать под Троей? Кто бил, ругал и угрожал немедленной расправой?

— Хватит, прошу тебя!

— Хорошо, — сказал Гомер. — Я просто искал объяснения — отчего же ты, не обделенный добычей и славой, не вернулся торжественно домой на свою полунищую Итаку, где удостоился бы шумного чествования, а подался за Геркулесовы столпы? Не так уж трудно это понять, верно? Ты слишком многих восстановил против себя, и тебе многое могли припомнить. Благоразумнее было переждать в отдалении, пока память не сгладится, пока схлынут страсти, пока Троя не уйдет в прошлое. Теперь, надеюсь, между нами не осталось недосказанного? Ты сыграл в Троянской войне весьма неприглядную роль, Одиссей. А я польстил тебе, живописав твои десятилетние скитания, приписав тебе идиотского деревянного коня, никогда не существовавшего, и многое другое. Но ты и не подумал поблагодарить, потому я назвал тебя неблагодарной скотиной. Хочешь что–нибудь возразить? Пожалуйста, я не тороплю.

Вопреки его ожиданиям Одиссей ответил сразу:

— Нет, возразить тут нечего, все было именно так, и я ни в чем не оправдываюсь. Я просто хотел бы кое–что объяснить. То, что я понял в океане и потом, на чужбине. Но сначала был все же океан. Понимаешь, море необъятное, неизменное и вечное. Там, среди волн, нет ни лжи, ни коварства, все остается на земле, и наши интриги, наши подлости, наша погоня за успехом любой ценой кажутся такими крохотными, ничтожными. Только в море начинаешь постигать смысл жизни, цену добра и зла.

Он умолк и посмотрел смущенно.

— Короче говоря, подонок превратился в философа, — сказал Гомер. — Ты вернулся обновленным, стряхнул прежние пороки и

жаждешь посвятить остаток жизни служению добру. Что ж, случается. Бывали и более удивительные метаморфозы. Но, дорогой Одиссей, что все–таки ярче и значительнее вымышленные мной от начала и до конца твои захватывающие странствия или твоя всамделишная скучная десятилетняя жизнь где–то у предела света? Ведь моя рукопись изображает стойкость духа человека, прошедшего наперекор судьбе через многочисленные испытания, отважного воина, который должен служить примером для юношества. А ты? Ну что ты, раскаявшийся, можешь дать? Рассказать об этих неизвестных землях? Лошадей там нет, а птицы могут разговаривать? О землях гипербореев рассказывают и более удивительные вещи.

— Там есть и много полезного. Вот, — торопливо порывшись в складках хитона. Одиссей извлек большой и спелый кукурузный початок. — Видишь? Сотня зерен в одном колосе, а то и больше. Представляешь засеянное такими колосьями поле? Сколько людей можно накормить?

— Действительно любопытно. — Гомер с интересом оглядел початок и небрежно швырнул его на стол. — Накормить. И подорвать мировую торговлю зерном. Да за один этот колос тебя прикончат владельцы полей и зерноторговцы, болван ты этакий. Ты что, вообразил себя богом и намерен устроить новый Золотой век, мир без голодных? — Он выковырял несколько зерен и прожевал. — Вкусно, что тут скажешь…

— Из них можно варить кашу и печь лепешки, — оживился Одиссей. — А стеблями кормить скот — стебель в рост человека. Там, где я жил, есть еще и…

— Хватит, — сказал Гомер. — Ты что, так ничего и не понял? Нет никаких колосьев. Вообще за Атлантидой ничего нет — только беспредельный океан, омывающий Ойкумену. Все эти годы с тобой происходило только то, что описано здесь. — Он положил ладонь на свою рукопись. — Поймешь ты это наконец?

— Но я…

— Что — ты? — Гомер навис над ним. — Что — ты? Что ты можешь? Уверять людей, что все написанное мною ложь? Да кто тебе поверит? Кто тебя узнает? Тебя давно забыли, тебя нет, ты существуешь только здесь, в моей рукописи. Только эта твоя жизнь реальна. Поздно, Одиссей. Ничего уже не изменишь. Сцилла и Харибда нанесены на морские карты, имеются десятки свидетелей, которые их видели, и землю лотофагов лицезрели, и сирен. В Коринфе давно уже ввели особый налог на оборону от могущих вторгнуться лестригонов — и три четверти собранного, как ты понимаешь, прилипает к рукам сановников, а четверть разворовывает служилая мелкота. Что же, ты убедишь их

отменить налог? А как быть с экспедициями в земли лотофагов, которые что ни месяц снаряжают на Крите и в Тартессе? Результатов никаких, но многие очень довольны… Все, кто сытно кормится возле этого начинания. Им ты тоже думаешь открыть глаза? Наконец, ты хочешь обидеть богов — ведь, согласно моей поэме, они сыграли большую роль в твоей судьбе, помогая и препятствуя… Тебя ведь не зря именовали хитроумным Одиссеем, вот и напряги ум. Самое безобидное, что только может с тобой теперь случиться, прослывешь сумасшедшим, безобидным сумасшедшим, выдающим себя за славного героя и морехода Одиссея. Настоящий Одиссей — в этой рукописи. Всякий иной — не просто сумасшедший или плут, а опасный враг многих и многих. И обола я не дам тогда за твою жизнь. А вкус к жизни, я уверен, у тебя не смогли отбить все твои облагораживающие душу морские просторы. Итак, хитроумный Одиссей, что ты выбираешь?

Он наклонился над ссутулившимся, поникшим Одиссеем, в голосе и в глазах не было ни злости, ни насмешки — только веселое и спокойное торжество победителя. Одиссей молчал. Отодвигались в никуда, в невозвратимое набегающие на далекий берег волны, легенды о Пернатом Змее, гомон попугаев, женщина с медным отливом нежной кожи, чужая весна и чужая речь, ставшая в чем–то родной за все эти годы. Он презирал себя. Но ничего не мог с собой поделать, не мог, вернувшись на родину после десятилетнего отсутствия, тут же потерять все вместе с жизнью.

— Итак? — спросил Гомер. — Где же ты скитался все эти годы?

— Долго рассказывать, — сказал Одиссей, сгорбившись и не поднимая глаз. — Остров сирен, земля лотофагов, прекрасная Цирцея, край лестригонов…

— Прекрасно. И не забывай почаще заглядывать в эту рукопись.

Гомер взял стилос и быстро, размашисто начертал на первом листе: «Великому путешественнику Одиссею от скромного летописца его свершений и странствий».

— Вот так, — сказал он. — И не думай, что я ничего не понимаю, не считай меня чудовищем. При других обстоятельствах я сам отправился бы в те неведомые края, где птицы говорят по–человечески, а цветы не похожи на наши. Но не уничтожать же талантливое произведение, не объявлять же его сказкой только из–за того, что нежданно–негаданно вернулся числившийся погибшим морской бродяга? Начавший к тому же каяться в прежних грехах? Ты должен утешать себя тем, что

поневоле послужил высокому искусству поэзии. Не знаю, обеспечено ли моему труду бессмертие, но долгая жизнь ему безусловно уготована. А вместе с ним и тебе, весьма и весьма мелкой личности, если откровенно. Так что будь мне только благодарен. Прощай.

И отвернулся. Он вовсе не собирался злорадствовать, так что нужды не было смотреть в спину пожилому человеку в дурно сидящей одежде, шаркающими старческими шагами плетущемуся к двери.

15. ВРЕМЕНА КУКОЛЬНИКОВ

— Вы, старшие, хотели оградить нас от прежних ошибок и прежней подлости, — сказал Майон. — Я все прекрасно понимаю и не решаюсь вас осуждать, не имею права. Но вы достигли как раз обратного: заставляли нас верить, что подлость была героизмом, лишили возможности самостоятельно оценить прошлое, подсунув красивые, лживые картинки. Я совсем не против того, чтобы учиться на опыте старших, но в данном случае примеры, на которых нас воспитывали, оказались фальшивыми. А меж тем существовала подлинная история жизни Геракла — нетускнеющий пример для подражания. Ты был причастен ко многим его свершениям, царь, почему же ты отступил?

— Потому что я остался в одиночестве, — сказал Тезей. — И не нашел в себе сил занять место Геракла. И не смог завершить его дела. Все дальнейшие разговоры бесплодны, Майон, можно говорить до бесконечности, ни к чему не придя. Я прошу, оставь меня. Очень прошу. Я устал. — И, когда за Майоном затворилась дверь, попросил: — Гилл, может быть, и ты?

— Наш разговор только начинается.

Тезей тяжело вздохнул, откинулся, привалившись затылком к стене, и закрыл глаза. Гилл едва удержал рвущиеся с языка, как стрелы с туго натянутой тетивы, слова изумления и жалости. Тезей постарел рывком, вдруг, за сегодняшнюю ночь, проведенную над рукописью Архилоха, в беседах с Майоном и Гиллом, — седина в волосах, придававшая ему раньше зрелую мужественность, теперь была символом разрушения и старости, вены на руках набухли, голос стал надтреснутым и прерывистым.

— Вот и лето ушло, — сказал он, не открывая глаз. — С ним навсегда ушли ваша безмятежность и юность. И мои силы. Кажется, с летом уходит и моя жизнь — я надеюсь, только моя…

— Нет! — крикнул Гилл. И продолжал торопливо: — Конечно, Анакреон с Эвимантом причинили немало вреда, но я смог восстановить всю картину. Заговор шире и разветвленное, чем мне казалось, но я знаю почти все, и это дает огромные преимущества. Если мы нанесем удар немедленно, мы их

опередим. Верных войск достаточно, мои люди готовы, но я не справлюсь только своими силами. Ты должен немедленно — слышишь, немедленно! собрать военачальников и приближенных, которым можно доверять. Стянуть войска, подавить очаги пожара. Пойми, как только они узнают, что Анакреон сидит под замком, они выступят. А узнают они это очень скоро. Тезей!

— Бесполезно.

— Мы успеем.

— Ничего мы не успеем, Гилл. — Тезей открыл глаза, но не изменил позы. — Ты не понял. Для меня поздно. Я достиг своего предела, меня больше нет, и ничего больше нет — ни воли, ни решимости, ни силы. Это предел. Даже если я соберу волю в кулак и мы их раздавим — что дальше? Масло выгорело, и светильник пуст. Останется усталый старик, который будет доживать век в огромном дворце. Так стоит ли цепляться за трон?

Гилл наконец понял. Но в это невозможно было поверить. Мир рушился в тишине солнечного осеннего утра. Слезы навернулись на глаза, все плыло. Гилл, рыча, потряс сжатыми кулаками:

— Но мы же не быки на бойне!

Потом он решился на то, что недавно показалось бы ему святотатством схватил Тезея за плечи и затряс, крича в лицо:

— Собирай людей! Командуй! Разрази тебя гром, еще не поздно!

Он разжал руки и отшатнулся, услышав короткий и трескучий смех Тезея.

— Успокойся, я пока еще в здравом рассудке, — сказал Тезей. — Просто подумал, какой ты счастливый, — ты и представить себе не можешь, что чувствует человек, достигший своего предела… Знаешь, в памяти почему–то остаются только имена: Ариадна, Елена, мой Геракл, Архилох. О боги, как мы были молоды, как мы мечтали и пытались перевернуть мир, как тонули в женских глазах, как сверкали мечи и ржали лошади…

По его щеке ползла жалкая старческая слеза. Гиллу казалось, что голова вот–вот лопнет, что ее распирают изнутри колючие шары, и он сжал виски ладонями. Отрывистый и решительный приказ сделал бы его яростно–счастливым, сметающим любые преграды, но он понимал уже, что приказа не будет. Никогда.

— Иди, — сказал Тезей. — И запомни — стрелы Геракла к Нестору попасть не должны. Хватит и того, что было…

Гилл, как сотню раз до того, шагал по дворцовым коридорам, отрешенный и бесстрастный. Как прикосновение раскаленного железа, спиной чувствовал злорадно–презрительные взгляды царедворцев, тех, кто значился в списке заговорщиков, и тех, кто

палец о палец не ударил для свержения Тезея, но уже приготовил парадные одежды, чтобы чествовать преемника; и тех, кто по тупости своей понятия не имел о надвигающейся грозе, но несомненно будет ползать перед новым хозяином. Кое–кто открыто ухмылялся в лицо — очевидно, с живым мертвецом уже не стоило соблюдать видимости вежливости.

…Когда солнце поднялось повыше, стали поступать первые донесения. «Гарпии» подожгли несколько принадлежавших чужеземцам лавок, дрались с полицией и ораторствовали на улицах, особенно, впрочем, не распаляясь. Менестей, торжественно объявивший себя главой мятежа, собрал толпу у храма Афины и обрушился на Тезея со старыми обвинениями, доведенными до абсурда. Кто–то распускал слухи, что к городу приближаются дорийские отряды, с помощью которых Тезей якобы хочет расправиться с афинянами за непокорность и бунтарство. Один из полков, расквартированных под Афинами, объявил, что считает Тезея низложенным и больше ему не подчиняется, но из казармы не вышел. В другом кипела схватка: деловито, без лишней суеты убивали тех, кто оставался верным Тезею.

Гилл сидел за столом, положив перед собой план Афин, и методично ставил на нем значки. Полиция, не получая от него указаний, попросту разбежалась и попряталась после тщетных попыток на свой страх и риск восстановить порядок. Военачальники и сановники не прислали к нему ни одного гонца. Должно быть, никто уже не считал его обладающим реальной силой, все в первую очередь бросались к Тезею — и уходили ни с чем.

К полудню прекратилась всякая работа в ремесленных кварталах и в порту. Все больше войсковых начальников, очевидно разуверившихся в Тезее, переходили на сторону Менестея. Гилл убедился, что кажущимся хаосом управляет опытная рука — беспорядки планомерно распространялись с северной окраины Афин к югу — ко дворцу, к порту. И рука безусловно принадлежала не Менестею, действовал более умный человек. Мотавшимся по городу сыщикам Гилла не препятствовали, в нескольких местах некие неизвестные, обладавшие, судя по всему, влиянием, даже помогли им отвязаться от «гарпий». Эти издевательски–вежливые знаки внимания тем более никак не могли быть измышлением недалекого Менестея — надо думать, Нестор был уверен в своей силе и любезно помогал Гиллу уяснить размах и положение дел.

Гилл погрузился в трясину тупого равнодушия. Он знал, что это конец, что все рушится, что ничего нельзя сделать — его люди

были каплей в море, а приказы войскам могли исходить лишь от Тезея. И воздействовать на толпу, состязаясь с Менестеем в ораторском искусстве, мог лишь Тезей. А Тезей не делал ничего. Оставалось сидеть над картой и наносить новые, никому уже, в том числе и самому Гиллу, не нужные значки и выслушивать доклады, пугая запыхавшихся, взвинченных сыщиков бесстрастным лицом, он был опустошен и мертв, в сознании пульсировала одна–единственная жилка: нельзя отдавать Нестору стрелы Геракла.

Постепенно и сыщики перестали появляться, очевидно занявшись неотложными делами по устройству собственных дел, только Пандарей невозмутимо сортировал бумаги в своем углу да сыщик Эпсилон прохаживался по коридору. Гилл подумал, не сжечь ли бумаги, но тут же горько усмехнулся — кому они нужны?

— Я вас приветствую, почтенные сыщики, — раздался бархатный голос.

На пороге стоял Нестор, с ласковой улыбкой доброго дедушки, в простом полотняном хитоне, украшенном лишь незамысловатой бронзовой фибулой. Один–одинешенек — в распахнутую за его спиной дверь просматривалась большая часть коридора, и он был пуст: ни воинов с мечами наготове, ни тех так и не увиденных Гиллом хватких ночных убийц, никого, даже сыщика Эпсилона не было. И этот поторопился устраиваться при новой власти, горько отметил Гилл.

Нестор прошелся по комнате, уважительно оглядывая шкафы с бумагами:

— Солидно, солидно, как я посмотрю, работники вы серьезные и обстоятельные…

Тут только опомнился Пандарей и затянул:

— Согласно существующим правилам, посторонние лица, не будучи сыщиками, подследственными либо вызванными по делу свидетелями, не имеют права находиться в помещении для хранения тайных служебных бумаг.

— Ну а если не существует уже «существующих правил»? — спросил царь Пилоса. — И вашего царя, и вашего начальства, и самой вашей службы? Что там в правилах на этот счет, милейший?

Сбитый с толку и не нашедший соответствовавших ситуации правил, Пандарей беззвучно разевал рот.

— Вот видишь, — ласково сказал Нестор. — Ну, с этим все ясно одушевленный стилос, может оставаться при этой должности и впредь. А с тобой что будем делать, Гилл?

Гилл смахнул со стола карту и стиснул рукоятку лежавшего

под картой узкого кинжала. Тяжело поднялся.

— Ай–яй–яй, — сказал Нестор. — Неужели ты способен ударить кинжалом безоружного, беспомощного старика? В самом деле, способен?

Он смотрел прямо в глаза, и рука с кинжалом опустилась — Гилл в самом деле не смог бы. Нестор подошел, небрежно разжал его пальцы, бросил кинжал на стол и сел напротив.

— Что тебе нужно? — спросил Гилл.

— Пустяки. Рукопись Архилоха и все бумаги по делу о подготовке мятежа. И, разумеется, ключ от камеры моего Анакреона. Да и Менестей хнычет, что ты упрятал под замок его верного сподвижника. Они хотели нагрянуть всей бандой, но я расставил вокруг вашего заведения критских стрелков. К чему допускать несерьезных людей к серьезным бумагам? Итак?

— Что с Тезеем? — спросил Гилл.

Нестор подобрал с пола смятый план Афин и выразительно развернул перед Гиллом:

— Ты ведь сам обратил внимание, как мы занимали город, до последней минуты оставляя Тезею дворец и порт? Он для меня ничуть не опасен, а его убийства я допустить не мог — бунт бунтом, но не стоит лишний раз показывать черни, что убить царя так же легко, как последнего раба. Мне только что донесли — он грустно взирает с горы Гаргетта на отвергшие его Афины, а его корабль распускает паруса. Пусть себе уплывает. Может быть, доставить и тебя к кораблю?

— Нет, — сказал Гилл. — Он уже не Тезей, а я… я уже тоже не я.

«Значит, вот так, — подумал он. — Тезей. Можно быть другом и сподвижником Геракла, истребителем чудовищ, можно превратить жалкую деревушку в великолепный город, заложить основы демократии — и потерять все в одночасье, упасть, как загнанный конь. Явятся один краснобайствующий демагог и один старый интриган — и все идет прахом, прежние заслуги ничего не значат, люди забывают все совершенное для их же блага и равнодушно смотрят на тающие в синеве паруса. Нет, конечно, все гораздо сложнее. Мир не черен, но, о боги, где же мое место в этом мире?»

— Выслушай меня, — сказал Нестор. — Я не собираюсь оскорблять или унижать тебя — просто с разумной жестокостью врача должен удалить опухоль. Ты мне не противник, ты вообще не борец. Ты был бледной тенью Тезея, его отточенным инструментом, марионеткой, а сейчас, когда нет больше твоего кукольника, ты не способен ни на одно самостоятельное движение, пока кто–то другой не возьмет в руки ниточки, — так я

тебя понимаю, а я умею разбираться в людях. Хочешь возразить?

Гилл молчал. Он встал, легкими шагами лунатика пересек комнату, выгреб с полок бумаги и положил перед Нестором, придавив сверху ключами от камер.

— Рукопись Архилоха?

Презирая себя, Гилл подошел к полке, но полка была пуста, хотя ошибиться он не мог, рукопись оставлял именно здесь. Пандарей недоумевающе пожал плечами — подозревать его и впрямь было бы полным идиотством. Гилл бесцельно пошарил по другим полкам, разбрасывая пахнущий сухой пылью хлам, и вдруг сообразил, почему в коридоре нет сыщика Эпсилона. Он сполз на пол, сбрасывая спиной и локтями листы и свитки и захохотал безжизненно и горько, запрокидывая голову.

— Так–так–так, — сказал Нестор, — ну что же, всего не в состоянии предусмотреть и боги. Ничего, поймаем, никуда не денется. Стрелы тоже он уволок?

Гилл кивнул — чтобы сохранить что–то живое в душе, следовало сохранить стрелы.

— Вообще–то и мышь не выскользнет сейчас из Афин, — раздумчиво сказал Нестор. — Поймаем…

Он швырнул бумаги о подготовке мятежа в очаг и ворошил закопченной кочергой, пока все не сгорело.

— Вот так, — сказал он, вытерев руки о хитон. — Теперь и я в копоти, как настоящий мятежник. А свидетельства очевидцев о народном восстании, свергнувшем тирана Тезея, появятся позже. Всего тебе хорошего, Гилл. Когда надумаешь, приходи во дворец, дадим тебе работу.

16. И НЕСКОЛЬКО СМЕРТЕЙ

— Итак, ты — Нида, — сказал Нестор ласково, — возлюбленная великого аэда Майона, потому что он несомненно будет велик, уж я–то в этом разбираюсь. Что ж, выбор Майона делает ему честь — ты поистине пленительна и можешь выслушать это без опасений от старого больного болтуна, чья кровь давно остыла.

Девушка настороженно смотрела на него, отодвинувшись в угол.

— Он оставил тебе рукопись, — сказал Нестор. — Он наговорил тебе много красивых слов о том, как это важно для него и для человечества, что ради вашей любви ты должна… И так далее. Правильно?

— Я не понимаю, о чем ты говоришь, — сказала Нида.

— Разреши, я с ней поговорю. — Эвимант за руку выдернул девушку из угла. — Или ты скажешь, куда девала эту пачкотню, или я тебя запихну в камеру на потеху моим молодцам.

Нестор, царь Пилоса, звонко щелкнул пальцами. Спартанский метательный нож просвистел по комнате, и Эвимант без стона опрокинулся навзничь. Нида забилась в угол, придерживая обеими руками хитон на груди.

— Убрать, — не оборачиваясь, сказал Нестор, и труп шумно проволокли к двери.

— Ну, знаешь! — возмущенно крикнул Менестей.

— Твои люди плохо воспитаны, — шепотом сказал Нестор, — и совершенно не разбираются в женской душе. К тому же этот молодчик много знал, все равно пришлось бы…

— Ну ладно, — сказал Менестей важно. — И все же в моем присутствии твои люди могли бы…

Нестор, не спуская с него ясных, ярко–синих глаз, надвигался, пока Менестею стало некуда пятиться, и он почувствовал лопатками холод стены.

— Это в каком таком твоем присутствии? — ледяным, как камень подвала, шепотом спросил Нестор. — Что ты о себе возомнил? Я не требую вернуть деньги, которые тебе платил в последние годы, но уж будь любезен не гавкать на хозяина. Из–за того, что ты довольно успешно баламутил недалекие умы и добился некоторых достижений в растлении неустойчивых душ, ты возомнил, чего доброго, что это ты сверг Тезея? Как по–твоему, сколько продержатся твои молодчики, если я брошу на них критских стрелков? И сколько соперников спят и видят, как бы в нынешней неразберихе прикончить тебя и залезть на трон?

— Ну ты уж, право, — сказал Менестей с вымученной ухмылкой. — Столько шума из–за девки и какой–то старой рукописи.

Нестор грустно цокнул языком, сожалеючи покачал головой и громко приказал:

— Всем — вон!

Его люди тенями скользнули к двери, увлекая за собой Менестея. Нестор вывел Ниду из угла, бережно привел в порядок ее одежду и гладил по голове, пока она не перестала всхлипывать.

— Все, девочка, — сказал Нестор. — Ну, обидел, ну, подонок, так наказали же его. Перед тобой верный друг, милая. Ну посуди сама, ты же умница. Питай я какие–то коварные замыслы по отношению к тебе и твоему Майону — отдал бы тебя этим молодчикам, а уж они…

— Но ты тоже со мной играешь, — сказала Нида. — Изображаешь добрячка, но «гарпии» остаются за дверью.

— Ох ты! — с досадой сказал Нестор. — К чему мне было бы тратить на тебя красноречие, если проще и быстрее загнать тебе

иголки под ногти? Не отворачивайся и не принимай гордый вид, ты прекрасно знаешь, что не выдержишь. Ведь не выдержишь?

Нида опустила голову.

— Я не злодей и не палач, — сказал Нестор, — но видел достаточно жестокостей, чтобы меня остановили твои заплаканные глаза. Понимаешь, в данном случае условия игры таковы, что ты мне нужна в полном здравии, без единой царапинки, мало того — моей сторонницей. Потому что мне необходим Майон — также живой и здоровый. Теперь веришь?

— Теперь — верю.

— Прекрасно, — сказал Нестор. — Не буду ходить вокруг да около. Читала рукопись? По глазам вижу… Конечно, мы все там выглядим жуткими злодеями, но не в том дело. А дело–то в том, милая, что, пока эта рукопись не сгорела в очаге, за жизнь Майона я не дам и гроша. Понимаешь?

— Да, — сказала Нида.

— Ты любишь Майона и, конечно же, хотела бы стать его женой. И, разумеется, как всякой женщине, тебе нужен муж, занимающий устойчивое положение, нужен достаток в доме и покой. Иначе просто нельзя, женщина хранительница очага и хозяйка, ей в силу ее природы необходимы уют и достаток, сложности и шум большого мира интересуют ее лишь в той степени, чтобы знать, насколько это отразится на ее доме. — Нестор положил девушке руку на плечо. — Пойми, если мы даже его не убьем, если я отпущу его на все четыре стороны и он начнет распространять основанные на рукописи Архилоха разоблачительные поэмы, не будет у него спокойной жизни. Что хорошего быть женой нищего бродяга, постоянно подвергающегося опасности? Какими вырастут ваши дети? И сам Майон, твой любимый? Если ты его любишь по–настоящему, то должна приложить все силы, чтобы он не сгинул в канаве. Он же талантлив, он необходим Афинам. У вас будет дом, как раз такой, о каком ты мечтаешь, у вас будут дети, достаток, вы проживете долгую, беспечальную жизнь. Для этого нужно лишь сжечь старую рукопись, написанную забытым всеми неудачником. Ты умница, ты все понимаешь сама…

— Где он? — спросила Нида.

— Уж, конечно, не у Менестеевых болванов. В собственном доме, под надежной охраной, пока не кончится неразбериха. Ну, хорошая моя, умная моя? Будешь бороться за свое счастье?

— Рукопись зарыта в погребе, в доме моей тетки, — сказала Нида, глядя на него спокойными сухими глазами. — Я покажу. Я уверена, что ты сдержишь все свои обещания — дело ведь не в доброте, верно?

— Уж какой из меня добряк, — сказал Нестор. — Ты исключительно разумная девушка. Кровью в данном случае просто–напросто ничего не добьешься. Эй, кто там, — колесницу!

…Гилл медленно шел по улице, запруженной гомонящими людьми. «Гарпии» расставили повсюду набитые амфорами повозки и, держась с небрежно–гордым видом победителей, щедро плескали вино в подставленные кружки, ладони, миски. Много проливалось на землю, и острый винный дух стоял над бессмысленно хохочущими, поющими что–то невразумительное, галдящими афинянами. Кто–то сунул кружку и Гиллу. Он выпил, не почувствовав вкуса, бросил кружку на землю и побрел дальше.

Он подметил, что бесшабашным вроде бы весельем бдительно управляют — на перекрестках, площадях, у храмов, складов с товарами, у домов знати стояли отряды гоплитов и наемных критских стрелков в полном вооружении. Неизвестно откуда возникли, словно птица Феникс, пешие и конные полицейские, еще вчера подчинявшиеся ему. В толпе шныряли трезвые зоркоглазые личности — и в некоторых Гилл узнавал своих бывших сотрудников. На фронтон белого здания бывшей школы поднимали на канатах огромный чеканный барельеф, изображавший гарпию, — здесь, как понял Гилл из разговоров, Менестей намеревался устроить свой дворец, пока не водворится в царском. На гребне крыши уже красовались четыре таких же барельефа, обращенных на все стороны света.

Он чувствовал себя, как человек, бросившийся с крыши высокого здания: мысль еще лихорадочно работает, но телом управлять невозможно, и каменные плиты мостовой стремительно несутся в лицо. Тезей, кумир и повелитель, ушел из его жизни, как уносится сорванный ветром сухой лист. К Лаис он не мог вернуться — таким. Да и никому он не нужен — таким. Ничего не осталось.

Человек заступил ему дорогу. Гилл дернулся, чтобы обойти, но тот шагнул в ту же сторону. Гилл поднял голову и узнал красивого сатира Назера, строгого и серьезного в эту минуту.

— Гуляем? — спросил он.

Гилл безучастно дернул плечом.

— Тезей уплыл, ну и что? — спросил Назер. Глаза у него блестели, но не от вина. — Разве некому драться с этой сволочью?

— Все можно, — сказал Гилл. — Только без меня. Тезей больше не Тезей, а за отвлеченные понятия я драться не умею. И вряд ли уже научусь.

Он усмехнулся и проверил кинжал под хитоном.

— Не получится, — тихо сказал Назер.

— Мне это нужно в любом случае. Вот что, ступай к Лаис. Скажи ей — Гилл верит, что мир не черен.

— А дальше?

— Сам поймешь. Прощай.

Во дворец его пропустили без звука, внутренние посты не задерживали, видимо, имели на его счет соответствующий приказ. Никаких следов боя, бегства, беспорядка незаметно, стало быть Нестор не лгал, что дал Тезею время бежать без особой спешки. Оживления Гилл не заметил — деловито суетились лишь несколько военачальников и сановников, по их поведению, раскованному и хозяйскому, сразу становилось ясно, что они были в числе организаторов заговора. Остальные, конечно, сидели по домам и обдумывали самый надежный способ убедительно и эффективно доказать новому хозяину свою преданность и верность.

Нестора Гилл нашел там, где ожидал, — в тронном зале. Но, разумеется, не на троне. Царь Пилоса сидел на табурете, чтобы подчеркнуть: трон у него есть свой, чужого ему не нужно. Он даже уселся спиной к трону, а вот Менестей и Анакреон, происходивший, как всем было известно, из семьи, имевшей кое–какие права на афинский трон, стояли так, чтобы трон видеть. Анакреон мельком глянул на Гилла — без злорадства, как на пустое место. Гилл остановился поодаль.

— Я не столь мудр, как ты, Многомудрый, но я подумал об этом заранее, говорил Менестей. — Куда бы Тезей ни поплыл, на Эвбею или на Скирос, везде найдутся мои друзья. Он никогда не вернется в Афины.

— Менестей, Менестей, — укоризненно покачал головой Нестор. Обязательно тебе нужно добить противника. А впрочем, мне все равно. Главное — не в Афинах. Что еще?

— Нужно немедленно разрушить этот мерзкий памятник, оскорбляющий память героев Троянской войны.

— Приятно видеть, — сказал Нестор, — что ты так заботишься об их памяти, несмотря на то что сам в свое время, очевидно из–за загруженности более важными делами, не примкнул к афинянам, что отправились под Трою. Но зачем обязательно ломать столь незаурядное произведение искусства? Прикажи выбить на постаменте «Тезей». И монумент навсегда останется грустным памятником незадачливому царю Тезею, имевшему неосторожность выступить против незыблемых порядков, его бесславному концу.

— Еще я хочу починить наш славный корабль, заброшенный на берегу, и поднять на постамент.

— Хоть на золотой, если у тебя найдется столько золота, —

сказал Нестор. — Но, любезный мой, что это за идиотский приказ ты отдал — о вылавливании аэдов, скульпторов и прочих служителей девяти муз? Я его отменил от твоего имени, уж не посетуй. Перестань валять дурака. Пора бы понять, что один живой аэд, который поет нужные тебе песни, важнее сотни повешенных.

Гилл видел, как побагровел массивный затылок Менестея.

— Я все–таки не мальчик, Многомудрый, — сказал Менестей хрипло. — Долго мне еще выслушивать поучения?

— Пока не поумнеешь. Ступай, у меня и без тебя хватает дел.

Менестей пошел прочь, преувеличенно громко топая. Властно, как ему казалось, но выглядело это смешно и глупо.

— А, Гилл, — Нестор словно только сейчас его заметил. — Пришел, наконец? Видел этого барана? Ничего, скоро мы его благополучно прикончим. Мало того что он туп и глуп, он сам свято верит во все те бредни, которыми угощает слушателей. Какой же из него государственный деятель? Смех один…

Не было сил слушать этот бархатный голос. Гилл прикинул расстояние, примерился и, выхватывая кинжал, рванулся вперед.

Что–то прожужжало в воздухе, и Гилл содрогнулся, не понимая, почему он налетел на невидимую стену, тело отказалось повиноваться и клонится к земле. Он скосил глаза и увидел торчащую из груди рукоять спартанского метательного ножа, поморщился, испытывая прямо–таки детскую обиду, — так несправедливо было со стороны судьбы лишить его возможности нанести хотя бы один удар.

Перед глазами встала Лаис, тоненькая, с полурассыпавшимся узлом волос, в сиянии щемящей нежности. Бронзовая ящерка печально ткнулась в его щеку и исчезла за колонной, промельком блеснуло воспоминание, что он так и не собрался спросить у Лаис, за что же она его полюбила, сияние исчезло, мир завертелся и погас.

Чуточку побледневший Анакреон сказал:

— Я не знаю, чему больше изумляться — мастерству твоих телохранителей, твоей вере в него или твоей предусмотрительности.

— Трать красноречие на девушек, это сулит более осязаемые выгоды, отмахнулся Нестор. — Когда доживешь до моих лет, поймешь, что прозвище Многомудрый присваивается не зря.

— Опасная была забава.

— Я не был уверен до конца, что он решится. — Нестор подошел к лежащему навзничь Гиллу и заглянул в лицо. — Бедная марионетка все же оказалась способной на самостоятельный шаг. Так о чем ты собирался доложить, когда

ввалился болван Менестей?

— Наши люди выследили Эпсилона со свертком под мышкой. Ты сам сказал, что нужны бумаги, а не человек. Словом, его убили метательным ножом, не хотели рукопашной.

— Но почему же я не слышу радости в твоем голосе? — вкрадчиво спросил Нестор. — Почему ты прячешь глаза, мальчик мой?

— Потому что в свертке не было бумаг. Там…

— Что?

— Навоз, — решился Анакреон.

— Покойный был не лишен чувства юмора. — Нестор невесело захохотал и оборвал смех. — Проиграли. Позорно. Что скажешь?

— Не мы его выследили, а он нам подставился, уводил от того, кому передал рукопись, — я уверен, что не укрыл в тайнике, а именно передал, иначе не лез бы нам на глаза.

— Вот именно. Хоть кентавра–то прихлопнули?

— Без особых трудностей.

— А стрел у нас нет, хотя это не столь уж важно — три последние стрелы не перевернут мир, всего лишь зажгут три пожара. Копия рукописи — вот что важно. Впрочем, подлинник в наших руках, а то, что не написано рукой самого Архилоха, можно смело объявить подделкой. Хотя кто сейчас знает руку Архилоха…

— Прости, но можно подумать, будто ты опасаешься судебного разбирательства.

— Глупости, — сказал Нестор. — Плохо, что остались люди, которые знают. Вот ты, например, знаешь лишь то, что эта рукопись написана неким Архилохом, а кто он был и о чем писал, понятия не имеешь. Иначе прикончил бы я тебя давно, мальчик мой. (Анакреон посмотрел на старика и не решился усмехнуться.) А кто–то — знает. — Казалось, он забыл об Анакреоне. — Я ничего не боюсь, но лучше все же, чтобы исчезли последние следы, последние очаги беспокойства.

17. МАЙОН И ЕГО ГОСТИ

Майон не находил себе места: то бродил по комнате вокруг стола, как зверь по клетке, то бросался на ложе и лежал напрягшись, сжимая кулаки в бессильной ярости. Комната в родном доме стала вдруг чужой, незнакомой, враждебной — потому что дверь привалили снаружи чем–то тяжелым и возле нее стояли стражники, а под окном, почти наглухо торопливо забитым досками, расхаживали другие, и в доме их было полным–полно.

Больше всего терзало то, что он ничего не знал о судьбе

друзей. Что произошло в Афинах после того, как нагрянула орава вооруженных людей и его сделала пленником в собственном доме, можно было догадываться. Понемногу из криков и шума за окном он составил представление о случившемся: заговорщики выступили, Тезей бежал, Менестей торжествует победу. Гилл, Нида, Назер — что с ними?

Он насторожился — от двери оттаскивали что–то тяжелое, она растворилась и снова захлопнулась, человек остановился на пороге, ожидая, когда глаза привыкнут к полумраку.

— Гомер! — Он радостно вскочил, но застыл на полпути — он был уже не прежним и научился осторожности. — Как они тебя пропустили?

— Удивительные болваны, — весело сказал Гомер. — Наверняка и окно заколотили, и дверь столом приперли по собственной инициативе, приказали им охранять, вот и лезут вон из кожи.

— Но как они тебя пропустили?

— Приказ, приказ. — Гомер прошел к столу и сел. — Дружище, надеюсь, ты понимаешь свое положение? Только не цепляйся за свои тайны — все наши тайны Многомудрый расколол, как орехи. Но, на наше с тобой счастье, мы ему очень нужны. Ты и я.

— Понятно, — сказал Майон. — Не стоит и голову ломать. Троянская война началась с похищения Елены, кентавров перебил пьяный Геракл, что мы и должны внушить всем и каждому. Правильно?

— Молодец, — сказал Гомер. — Я так и знал, что не придется тебе ничего растолковывать. Подожди, не изображай статую гордой Непреклонности. Пока ты здесь торчал, в Афинах многое изменилось.

— Я знаю. На улице так вопят…

— Я не о том. Гилл мертв. Все его бумаги у Нестора. Понимаешь? Все. А копию рукописи Архилоха твоя Нида собственноручно отдала Нестору. Не веришь? Я сам ездил с ними к ее тетке, и там, в подвале…

Вот это был настоящий удар — хлесткий, ошеломляющий. В голове мельтешили бессмысленные обрывки фраз, он слышал свой голос и не понимал, что говорит.

— Как она могла? — переспросил Гомер. — Да ведь это естественно: она тебя любит и желает тебе только добра. Она — не бесплотное создание, милый мой, она обыкновенная женщина, и необходим ей дом и покой, а не сотканные из воздуха идеи и сомнительные поиски высшей справедливости. Ты проиграл, как видишь, и остается принять условия победителя.

— Нет.

— Аид тебя забери! — Гомер трахнул кулаком по столу. — Я же не о себе забочусь — о тебе. О твоем таланте. Как ты думаешь, кто нужнее людям великий аэд Майон или безвестный борец за истину, вздернутый на суку в смутные времена забытого мятежа? Ты не имеешь права так варварски распоряжаться своим талантом, он принадлежит не только тебе.

— Как я могу стать великим аэдом, если начну лгать?

— Ах, во–о–от ты о чем, — сказал Гомер. — Дурень ты все–таки, уж прости. С чего ты взял, что искусство непременно зиждется на истине? Какого ты мнения о моей «Одиссее»?

— Я уже говорил тебе, что это талантливо.

— Видишь! — Гомер торжествующе поднял палец. — А меж тем там нет и слова истины. Все выдумано. Одиссей вернулся недавно, он проторчал десять лет в какой–то заморской стране. И ничего это не меняет. Остается, как признают самые строгие критики, волнующее повествование о мужестве мореплавателя, десять лет боровшегося со стихиями и немилостью богов. Поэзия с большим философским подтекстом. Ответь честно, как ты считаешь «Одиссея» потеряла сколько–нибудь от того, что ты все узнал?

— Нет, — тихо сказал Майон.

— Так кто из нас прав и что есть истина? Я согласен, история Троянской войны — груда дерьма. Но если ты создашь о ней поэму, подобную моей «Одиссее», то не рукопись Архилоха, а твой труд будет учить людей, даст им примеры мужества, героизма, отваги, стойкости и благородства.

— Нет, — сказал Майон. — Если мы пойдем по этому пути, люди окончательно запутаются и перестанут отличать правду от лжи. Важна будет не истина, а ее толкование в соответствии с духом времени, с чьими–то желаниями, с ситуацией. И эта дорожка далеко нас заведет. Что касается Геракла, то здесь потребуется уже прямая ложь — его, миротворца и героя, нужно будет выдавать за буяна и забулдыгу, забияку, перебившего во время пирушки кентавров. Это и на кентавров бросит тень, их будут изображать грязными и низкими тварями, забудут, что среди них был и мудрый Хирон, воспитатель богов и героев, в том числе, кстати, и братьев Елены Прекрасной, — мы и их запачкаем грязью. Мы начнем производить ложь, как пирожки…

— Ты преувеличиваешь, — сказал Гомер. — Создашь то, что от тебя требуется, а дальше можешь заниматься чем угодно.

— Не получится, — сказал Майон. — Раз измажешься, потом не отмоешься. Разные у нас с тобой дороги.

— Нет у тебя дорог, пойми ты! Или–или…

— В таком случае у меня только одна дорога, — сказал Майон.

Удивительно, но он не чувствовал боли от утраты друга — видимо, они давно уже стали чужими, просто раньше ум и сердце не хотели мириться с этой мыслью, а теперь не осталось ничего недосказанного.

— Я тебя не упрекаю ни в чем, — сказал Майон. — Ты талантлив, и ты искренне убежден в своей правоте. Это как раз самое страшное.

— Но ведь это — все?

— Да, — сказал Майон. — Но, оказывается, и мертвым небезразлично, что станут говорить о них живые. Мне кажется все же — тебе очень одиноко будет одному.

Не ответив, Гомер постучал в дверь кулаком, его выпустили. Дверь захлопнулась. Майон сел к столу и уронил голову на руки. Все его существо протестовало против смерти, но другого выхода не было, никак нельзя было поступить иначе.

Может быть, серая вода из Леты уже попала в верхний мир и многие проглотили каплю? К примеру, Гомер. Нет, это было бы чересчур легкое объяснение.

На улице засуетились, перекликаясь, и это никак не походило на пьяный праздник победителей — что–то там случилось. Раздались панические вопли, забегали в коридоре, там стучало и гремело, и вдруг дверь распахнулась, с треском ударившись в стену, по комнате со свистом пронеслась золотистая полоса, и обломки закрывавших окно досок прямо–таки брызнули наружу. В комнату хлынул солнечный свет. Застучали когти, вошел огромный пес. Майон узнал его, но не испытал никакой радости, подумал тоскливо: еще и это? Пес улегся у очага, положил на лапы огромную кудлатую морду и уставился на Майона зоркими равнодушными глазами. Весь дом был наполнен глухим рычанием и стуком когтей — видимо, нагрянула вся стая, и Майон невольно улыбнулся, представив, как разбегались его тюремщики.

Потом в комнату вошла Артемида, Делия, прекрасная, как пламя костра, хозяйка лесов и лунных дорог.

— Ну, здравствуй, — сказала она насмешливо. — Как я вижу, твои исторические изыскания оценены по достоинству.

— Да уж, — угрюмо отозвался Майон.

— Они тебя убьют. Как Архилоха.

— Догадываюсь.

— Тогда чего же ты ждешь? — спросила Артемида. — Вряд ли среди них найдется смельчак, который рискнет встать на пути моих псов. Не дам я тебе погибнуть так глупо. — Она огляделась

с любопытством. — Значит, вот так ты живешь? Как глупы и тесны рукотворные пещеры! Ничего, со временем ты убедишься, что мои леса прекраснее любого дворца.

— Ох, и упряма ты, бессмертная, — сказал Майон. — Снова приглашаешь на должность придворного аэда?

— Все люди кому–то служат. А быть аэдом богини — не самая незавидная должность.

— Смотря что тебя заставляют делать, — сказал Майон. — Я не могу, понимаешь? Геракл был великий герой, и я не могу представить его безвольной куклой, слепо выполняющей волю прекрасной повелительницы.

— А у тебя есть возможность свободно заниматься, чем ты хочешь? Со мной ты создашь хоть что–то. Без меня — ничего. Или ты надеешься на заступничество моих божественных родственников? Да ты хоть знаешь, что произошло на Олимпе?

— Значит, они…

— Да! — Артемида повернула к нему прекрасное и злое лицо и продолжала размеренно и ровно, словно вбивала гвозди в сухую доску. — Ничего у них не вышло. В который раз уж не хватило смелости. Зевс снова призвал из Аида гекатонхейров, и отважные мятежники геройски отступили и смиренно покаялись. Афина теперь пальцем о палец не ударит, Посейдон носа не высунет из пучины, а остальные и внимания не стоят. Я–то их прекрасно знаю, эту свору лизоблюдов, трусов и подхалимов.

Майон снова подумал о том, какое страшное оружие находится в его руках, оружие, которого боятся и жаждут и люди, и боги.

Артемида взяла его лицо в ладони и прошептала:

— Майон, милый, ну пожалуйста, временами так одиноко…

И он, как в прошлый раз, едва не поддался ее красоте, синему пламени глаз, печальным и сладким запахам осени и обыкновенной женской тоске, унылой и пронзительной. Не требовалось большого ума, чтобы сообразить, как она несчастна и одинока, понять, что звание богини ни в коем случае не приносит с собой автоматически счастья и удачи. Но и дорога, на которую она звала, была не по нему. Перед глазами стоял могучий, целеустремленный, добрый герой в львиной шкуре, воин справедливости.

— Прости, но ничего не выйдет, — сказал он тихо, борясь с жалостью и смертной тоской молодого тела, юной души. — Прости, Делия, нельзя иначе.

Она вскочила, словно взметнулось в ночи пламя далекого подожженного города, синие глаза от гнева стали цвета грозовой тучи, в голосе звенела чисто человеческая, женская обида и

уязвленная гордость:

— Ну и пропадай! Пропадай!

Повернулась так круто, что золотые стрелы едва не рассыпались из колчана, и исчезла за дверью. Следом метнулся пес, скребнув когтями по полу. Визг, бухающий лай, топот дикой охоты наполнили дом, выплеснулись во двор, на улицу и унеслись с быстротой ветра. Стало очень тихо. И грустно прощай, Делия, пленительная и безгранично одинокая хозяйка лесов, не получившая вместе с бьющим без промаха золотым луком счастья и покоя.

Тут в комнату влетел Эант, взъерошенный и перепачканный. Не было времени удивляться. Майон толкнул его в темный угол меж очагом и дверью, выглянул в окно, успел заметить, что к дому сбегаются кучками и поодиночке стражники. Перед лицом мелькнуло острие копья, и он отпрянул в комнату. Тут же окно вновь закрыли доски, и застучал молоток. В коридоре гремели шаги, дверь снова захлопнули и задвинули столом.

— Ты откуда взялся? — строгим шепотом спросил Майон.

— По крышам пробрался. Вокруг полно гоплитов, а про крыши они не догадались. Учитель, это ведь Артемида была? Красивая какая!

— Она, — сказал Майон.

— Она хотела тебя освободить?

— Ага.

— А почему?

— Потому что за свободу нужно платить, — сказал Майон. — И цена не всегда устраивает. Потом поймешь. Где Гилл?

Они сидели на корточках и разговаривали шепотом, не сводя глаз с двери.

— Убили. Забрали все бумаги.

— Значит, все было зря.

— Но рукопись Архилоха у меня, учитель. Ее принес один сыщик. Он сказал, что уведет их за собой и чтобы я берег рукопись, потому что тебя, наверное, тоже…

Он сморщился и скривил рот, глаза влажно блестели.

— Цыц! — сказал Майон. — Нашел время. Хныкать некогда, тебе придется срочно становиться мужчиной, малыш, время требует.

Эант закивал, смаргивая слезы:

— Учитель, неужели ничего нельзя?..

Майон напряженно думал — как в нескольких словах объяснить мальчишке всю дальнейшую дорогу и научить никогда не сворачивать с нее наперекор усталости и лжи, соблазнам и смерти, предательству и разочарованию? Должны были

существовать такие слова.

— Рукопись у тебя, — сказал Майон. — Она тебе поможет. Всегда служи истине, не бойся ни людей, ни богов, будь стоек. Мы не успели, но вам идти дальше. Держись Назера, если он жив.

— А Гомер?

— С Гомером тебе не по пути. Потом поймешь.

Глаза у Эанта были на мокром месте, но смотрел мальчишка решительно и дерзко, и у Майона стало спокойно на душе.

Он прислушался: в коридоре зашевелились. Раздались громкие голоса, суета несомненно возвещала о прибытии кого–то облеченного властью.

— Быстро! — Майон подтолкнул мальчишку к очагу. — Уместишься? Я когда–то умещался…

Он подсадил Эанта, и тот кошкой скользнул в дымоход, повозился, устраиваясь. Взвилось невесомое облачко сажи.

— Все? — Майон заглянул в дымоход. — Теперь — ни звука.

Он подбежал к столу и уселся. Дверь распахнули, воцарилась почтительная тишина, и в комнату вошел Нестор Многомудрый, царь Пилоса, дух Троянской войны, последний осколок былых интриг и сражений, когда–то сотрясавших Элладу и сопредельные страны.

— Ну разумеется, не могут без дурацкого рвения. — Нестор подошел к окну и, не повышая голоса, приказал: — Убрать все, болваны. Обязательно нужно творчески развить приказ начальства, видите ли…

За окном затрещало — доски торопливо отдирали, кажется, голыми руками.

— Итак, Майон, от тебя отступились не только люди, но и боги, — сказал Нестор. — В тебе просто рыбья кровь, если ты не моргнув глазом отказался от очаровательной Делии. Ну–ну, не нужно сверкать на меня глазами, я шучу. Я прекрасно понимаю, что причиной всему — твои высокие душевные качества. Они–то меня и привлекают, но одновременно осложняют дело и превращают тебя в чрезвычайно опасного противника. Труса я бы запугал, жадного — купил. У великолепного Гомера есть свои убеждения, где–то смыкающиеся с нашими, оттого он служит нашему делу искренне и бескорыстно. Между нами уже нет и не может быть никаких умолчаний и неясностей, так что я буду откровенен: либо ты сменишь убеждения, либо… — Он с неожиданным юношеским проворством придвинул табурет и сел напротив. — Ты, конечно, досыта наслушался разговоров, что Нестор, мерзавец этакий, насаждает повсюду тиранию и ложь. Но вряд ли ты задумывался над сущностью этих слов. Люди легко совершают распространенную ошибку: бездумно произносят с

осуждением какое–то слово и считают, что все этим объяснили и вынесли приговор. «Тирания» — и на троне громоздится щелкающий клыками людоед. «Ложь» — и возникает что–то скользкое и омерзительное, как забравшаяся в постель жаба. Но никто не берет на себя труд вглядеться пристальнее в то, что кроется за словами. Для меня было бы предпочтительнее не разрушать и жечь, а завоевывать сторонников.

— Я весь внимание.

— Не иронизируй.

— Я не иронизирую, — сказал Майон. — До сих пор я получал сведения из вторых рук и шел по твоим следам. Теперь ты здесь, и мне действительно хочется тебя понять.

— Это уже кое–что… — сказал Нестор. — В Египте есть любопытная поговорка: «Все боится времени, но время боится пирамид». Начнем с того, что пирамида незыблема и неизменна и не таит никаких неожиданностей. Каждый знает свое место, как загнанный в стену гвоздь. Сверху вниз идут приказы, и каждая ступенька полна покорности перед более высокой. Меж тем демократия всегда непредсказуема, так как слишком многие получают возможность влиять на государственные дела. Разве допустимо, чтобы на телеге сидели десять погонщиков и мешали друг другу?

— Но это означает, — сказал Майон, — что демократия опасна лишь для человека, сидящего на самой вершине. Для тебя, скажем.

— Правильно. Потому что люди изначально разделены на тех, кто властвует, и на тех, кто подчиняется. А демократия предлагает нечто неприемлемое: человека, рожденного для того, чтобы властвовать, вдруг опутывают по рукам и ногам дурацкими установлениями, мешающими ему проявить свои качества государственного деятеля. Что мы и наблюдали во времена царствования Тезея. То, что он надел железную узду на царедворцев и сановников, заслуживает восхищения и понимания — так и следует поступать сильному правителю. Но зачем доводить до абсурда? До агоры, где любой шорник или землекоп может держать речь перед скопищем таких же скотов, и к их гаму вынуждены прислушиваться во дворце.

— Вон оно что, — сказал Майон. — Значит, снова деление людей на погонщиков и скотов?

— Между прочим, это заимствовано у матери–природы, — сказал Нестор. Ничего даже отдаленно напоминающего демократию ты у животных не найдешь. Как и писаных законов, с помощью которых слабый может защититься от сильного. Везде одно и тоже — силой утверждающий свою волю вожак и покорная

стая. А мы — не более чем часть природы, следовательно, должны жить по ее обычаям.

— Часть природы, но не ее слепок. Слишком многое отличает нас от животных.

— А жаль, — сказал Нестор. — Этот проклятый человеческий мозг, наделенный способностью протестовать, сомневаться, создавать растлевающие умы миражи…

— Между прочим, кое в чем ты сам себе противоречишь. Та же волчья стая не знает лжи. Ложь выдумали люди — но это, к счастью, не единственное, отличающее нас от животных.

— А что такое ложь? — спросил Нестор. — Существует ли она? Это еще одна интересная тема — о взаимоотношениях правды и лжи. Мы не видим ничего противоестественного в том, что игрушечник продает синих глиняных львов и зеленых лошадок, хотя прекрасно знаем, что не существует синих львов и зеленых лошадок. А сказки не есть ли искажение истины? Разве знание существует в виде какого–то явления, строго подчиняющегося законам природы, как дождь или радуга? Почему бы не предположить, что знание пластично, аморфно и с ним можно обращаться, как с сырой глиной? Это касается и Троянской войны, и всего, что так усердно разоблачал мозгоблуд Архилох. Существовала некая Действительность, но мы превратили ее в некое Знание, вполне приемлемое для умов, превратили точно так же, как превращаем зерно в хлеб, а лен — в полотно. Вот и все. Стоит лишь допустить, что существует закон превращения действительности в знание — и все встанет на свои места, страсти утихнут.

Майон собрался с мыслями — он должен не забывать и о жадно слушавшем мальчишке в дымоходе. В необогащенный жизненным опытом ум могла попасть капля отравы, таившейся в этом ласково журчащем голосе.

— Хорошо, — сказал он. — Я готов пойти на уступку и приравнять изобретенные тобой и тебе подобными законы к законам природы. Но ведь законы природы делятся на полезные человеку и вредные. Дождь помогает земледельцу, ветер вращает мельничные колеса и движет корабли, но землетрясения лишь губят дома и людей, а эпидемии опустошают города. Точно так же ваши законы оставляют повсюду горе и кровь. И если мы не в состоянии победить землетрясение, то придуманные законы победить возможно.

Жаль, что Эант не видел в эту минуту лица Нестора — мальчишке это помогло бы покрепче уяснить некоторые истины. Нестор стал страшен: ничуть не приукрашенный портрет черной и безжалостной души.

— Оказывается, ты даже опаснее, чем я думал, — сказал Нестор тихо и недобро. Но как–никак он был Многомудрым и легко овладел собой, прогнал с лица бешенство, как смахивают пыль с зеркала. — Ты говоришь, ветер и дождь? Но ведь их польза и вред относительны. Благодатный для земледельца дождь приносит неудобства тому, кто разложил на солнце выбеленные холсты. И так далее.

— Вот как? — сказал Майон. — Но жители Трои были не относительны. Они были люди из плоти и крови, жившие в красивом, богатом городе. Теперь там только развалины и запустение. А разве Геракл был относителен? Или безжалостно перебитые кентавры? Ты играешь в слова, как детишки в шарики. Или есть еще один закон — государственная необходимость? Менестей, я думаю, тоже спит и видит, как бы зарезать тебя во имя государственной необходимости, как он ее понимает.

— Это относится скорее к Менестею, — сказал Нестор тихо. — А с ним мы решительно расходимся. Его хватает лишь на то, чтобы жечь библиотеки и преследовать таких, как ты. А мы вовремя поняли, что искусство и науки не следует тупо уничтожать — их следует лишь держать под строжайшим присмотром. В Трое мы не опоздали. Там переняли у хеттов умение шлифовать линзы и мастерить эти штуки для рассматривания неба. Но когда человек начинает разглядывать горы на Луне и следить за движением звезд, у него рождаются опасные для богов мысли.

— Ты и о репутации богов заботишься?

— Как же иначе? И богов, и людей породила когда–то Мать–Гея. А ты знаешь, кто распустил по свету легенду о том, что людей создал Прометей? В самом деле, нет? — Он приложил руку к груди и поклонился. — Скудный Нестор. Задумка не столь уж плоха — довести дело до абсурда и приписать Прометею как можно больше чудес, превратить бунтаря в степенного олимпийца. Потом можно пойти дальше. Когда–нибудь окончательно забудут, что жил Уран, первый царь богов, что жил Крон, что богов и людей родила Гея, что Зевс смог воцариться лишь после яростной десятилетней войны с титанами, которую едва не проиграл. Будут считать, что всегда был только Зевс.

— Но это означает, что у людей будут отбирать все больше знаний и воли, — сказал Майон.

— Так легче править людьми.

— Так ты сам загоняешь себя в ловушку и готовишь будущее поражение, сказал Майон. — Государство сильно, пока у него есть идеи, за которые стоит драться. Та же Спарта напоминает гигантскую казарму, где все управляется лишь страхом перед

наказаниями.

— Следовательно, нужно создавать идеи, которые поддерживали бы Спарту.

— Понятно, — сказал Майон. — Создать насквозь фальшивые «ценности духа»? Но это невозможно, фальшивка в конце концов всегда будет распознана. Нельзя же обманывать народ до бесконечности. И еще. Ты несколько раз повторил «мы». А кто это? У тебя же никого нет, только слуги и наемники. А духовных сподвижников почти нет и скоро совсем не будет. Мне кажется, ты страстно мечтаешь об единомышленниках, но не выходит ничего.

Нестор встал, задумчиво пошевелил бледными губами, словно стараясь припомнить что–то исключительно важное, что позволило бы ему одержать в споре решительную победу.

— Мне очень жаль, — сказал он наконец.

Он вышел, притворив за собой дверь, и Майон в два прыжка оказался у очага. Спросил тихо:

— Все слышал?

— Да, — раздался шепот.

— Не забудешь?

— Нет.

Майон отскочил а повернулся к двери. Ее распахнул стражник и равнодушно бросил:

— Выходи, что ли?

Все — от царского дворца до колченогой скамейки во дворе — останется на своих местах, но солнечный осенний мир погаснет для него, как выгоревший светильник. Останутся все лица, слова, запахи и звуки, только его не будет. Невозможно было в это поверить, в сознание не вмещалось, хотя сознание способно вместить в себя всю Вселенную, в нем совершенно нет места для такой вещи, как смерть.

«А древние почтенные города Эллады еще горделиво именуют наши юные Афины провинцией, — подумал он. — И тем не менее провинция эта кое–чему научила и кое–что доказала — не зря затратил на нас столько сил сам Многомудрый Нестор…»

Стражник ударом кулака вытолкнул его на улицу и с треском захлопнул калитку. Майон удивленно оглянулся, но тут же все понял. Справа во всю ширину улочки стояли четверо, и слева такие же, хмурые, тусклоглазые, и возле дома напротив. Остро посверкивали спартанские метательные ножи, и нечего было пытаться достать хотя бы одного в броске — слишком далеко, он не успеет. Все же умирать следовало в полете, в беге навстречу ветру, и он вложил всю силу в отчаянный прыжок в сторону ближайшего.

Ножи взлетели, свистя.

18. ВРЕМЯ И ПИРАМИДЫ

Нестор Многомудрый, царь Пилоса, дух и мозг Троянской войны, заклятый враг Геракла, сидел в одном из залов царского дворца, у очага, несмотря на жаркий день разожженного так, что пламя металось и гудело. Он брал по листку из лежащей на коленях рукописи Архилоха, бросал в огонь и, по–птичьи склонив набок голову, внимательно смотрел, как наливаются жаром буквы, вспыхивают углы, занимается середина и лист превращается в невесомо колышущиеся лохмотья пепла, а там и пепел рассыпается, уносится в дымоход. Жаль, что листов осталось так мало, будь его воля, это занятие продолжалось бы до бесконечности — чтобы не думать.

Не думать он не умел, он привык думать много и углубленно, это стало необходимой, как дыхание, потребностью, обернувшейся теперь против него же.

Все ушли. Сначала они были то ли группой единомышленников, то ли стаей, а теперь он остался один и близился к своему пределу.

Всю жизнь он силился создать нечто несокрушимое и вечное, но оно утекало сквозь пальцы, как само Время. Когда–то превеликим напряжением сил ему удалось разрушить все планы Геракла и уничтожить его самого — но искры разлетелись во все стороны и сияли все эти долгие годы, ежеминутно грозя пожарами. Троянская война была триумфом, который невозможно было принизить или замолчать, — но сколоченный им союз распался там же, на берегах Скамандра, едва только отзвенели мечи: поделив добычу, все расползлись по логовам. И никому из них эта война не принесла удачи. Агамемнон, на которого Нестор возлагал большие надежды, которого, стоя за его спиной, намеревался сделать правителем всей Эллады, был убит собственной женой и ее любовником. Одиссей бежал в неизвестность. Остальные кончили не лучше. Все вернулось к прежнему — к скопищу то и дело схватывавшихся в кровавой грызне царьков крохотных государств. Идеи Нестора не возымели действия то ли измельчали властители и не в состоянии были эти идеи воспринять, то ли… Отважиться на логическое завершение этой мысли он не мог.

Очень хотелось бы о многом забыть: что Тиндарей — отец Елены, Клитемнестры, Кастора и Полидевка, верный сподвижник Нестора, — обязан троном Гераклу. Что сам он, Нестор, шагнул во взрослую жизнь спутником Геракла, участником похода аргонавтов. Но впоследствии честолюбие и зависть разгорелись в сердце, выжигая его начисто, превзойти старшего товарища в

подвигах и славе хотелось нестерпимо, и не стало у Геракла врага яростнее и непримиримее Нестора, и его молодость забылась накрепко не только им, но и всеми остальными. Даже беспристрастные авторы, писавшие об аргонавтах и начале славных дел Геракла, не помнили, что Нестор Многомудрый — былой сподвижник Геракла и не последний из аргонавтов. Может быть, и сам Геракл об этом забыл.

Можно было записать на свой счет и свержение Тезея — но к чему оно привело? Умница Анакреон — себе на уме, он готовится к схватке за опустевший трон, с непроницаемым лицом выслушивает поучения, вежливо благодарит, но про себя думает, что Нестор принадлежит прошлому и мог бы убраться восвояси. Он был бы неплохим учеником, но не собирается брать Многомудрого в учителя. И Гомеру он не нужен, у того своя философия талант в сочетании с полным отсутствием предрассудков и моральных препонов, никого он пальцем не тронет, но с железной логикой обоснует каждое движение своего стилоса и найдет ему оправдание, ссылаясь на высшие интересы творчества. В конце пути нестерпимо хочется иметь рядом человека, способного тебя понять, — и сознаешь в глубине души, что такого человека не найти.

Глядя в пламя, он с трудом вспомнил полузабытую весну, выступавшего в поход Геракла и себя рядом с ним — молодого, веселого, в доспехах, только что покинувших оружейную мастерскую. Кажется, звучала флейта, звонко смеялись женщины, и нежные лепестки яблоневого цвета осыпали доспехи. А «Арго» — соленая свежесть ветра, скрип канатов, тугой, как девичья грудь, парус и встающие впереди зеленые склоны таинственных берегов Колхиды. Ведь было! Было!

Но куда все унеслось, где растаяло? Где лица женщин и друзей, где неподдельные победы?

«Хоть бы убил меня кто–нибудь», — подумал Нестор.

Знакомо ломило колени, снова пекло под ложечкой, не впервые поднималась к горлу изжога, и поясница давно уже отзывалась на резкие движения сверлящей болью. Извечные стариковские недуги не давали забыть о себе. Если подумать, ничего уже не меняло то, что где–то лежала рукопись Архилоха, что новые отчаянные головы готовились перевернуть мир. Ворота Аида скрипели над самым ухом, и оставить после себя оказалось нечего.

Все рассыпалось. Да и было ли?

19. СТРЕЛЫ ЭТОГО ДНЯ

С горы Гаргетта открывался великолепный вид на Афины — город раскинулся, как красивая игрушка на столе великана.

Отсюда, с высоты, не рассмотреть было отбросов и грязи, прохудившихся заборов и облупленных стен, уродства, злобы, нищеты и несправедливости. Можно было отдаться мечтам и представить, что их не существует вовсе. Но огромные бронзовые барельефы на крыше Дома Богинь Вихря назойливо лезли в глаза, как ком грязи на белой простыне, их прекрасно было видно и отсюда.

Эант смотрел не на них, а на море, усеянное плавно скользящими над голубой водой разноцветными парусами. Он все–таки раздобыл меч и то и дело касался его рукой, но рассматривать не решался — боялся, что Назер отберет.

— Красиво, правда? — спросил Назер, и кто–то кивнул. Вокруг стояли еще человек десять, опиравшихся на копья и топоры. — Куда ты смотришь, Эант? Ты вон туда посмотри — не берут его ни годы, ни бури…

На желтом песке чернел накренившийся на левый борт старый корабль, отсюда, с горы, расстояние, отделявшее его от воды, казалось ничтожным, он словно готов был сняться и поплыть, разворачивая испачканный кровью парус.

— Меня всегда интересовало, кто разнес ему борт, — сказал Назер. Мидакрит, вы это сами сделали, верно?

— А кто же еще? — хмуро сказал Мидакрит. — Нужно было сразу разломать его на дрова.

— Ничего, успеем. Эант, отдай–ка меч Мидакриту, он ему привычнее.

Эант насупился, но Назер сам расстегнул перевязь:

— И нечего бычиться. Драться — дело нехитрое. Драться за умы — дело посложнее. И именно это именно тебе предстоит, так что не торопись лезть в свалку.

— Ага! — сказал кто–то. — Они готовы, Назер.

На окраине города, на фоне густой серебристо–зеленой листвы олив, посаженных вдоль дороги в Элевзис еще во времена царя Эгея, вспыхнул ослепительный солнечный зайчик. Погас, снова блеснул, и еще раз, и еще.

Назер отвинтил крышку цисты, осторожно вытащил стрелы. Наконечники налились багровым сиянием, казалось, они шевелятся — и люди отодвинулись.

Назер положил стрелу на тетиву. На его руках вздулись мышцы, он до предела натянул лук, помедлил, словно этот миг, проводивший борозду между прошлым и настоящим, борозду, которую невозможно уничтожить и никогда не забыть, имел свой вкус и запах, и его нужно было запомнить, вздохнув полной грудью. У Эанта замерло сердце в слабом ужасе, тишина была прозрачной и тяжелой.

То ли тетива выбросила стрелу в прохладный осенний воздух, то ли стрела сама рванулась вперед. Может быть, ей самой смертельно надоел за эти годы бронзовый сосуд, может быть, она на свой лад радовалась свежему воздуху и простору. Пронзительный свист вязнул в ушах, как попавшая при купании вода. Нестерпимо яркая алая искра, словно поджигающая в полете воздух, оставляла за собой огненную нить — казалось, ее увидят и слепые. Эта нить протянулась над дворцом и храмами, кварталами ремесленников и базарными площадями, садами и улицами, коснулась бронзовых гарпий, и крыша Дома Богинь Вихря провалилась внутрь, дымя и разваливаясь, взлетел столб желтого пламени, смешанного с черными клубами дыма, здание рассыпалось, как сложенный детворой из щепок домик. На улицах замелькали крохотные фигурки — люди бежали туда, где буйствовал огонь.

Назер наложил на тетиву вторую стрелу, и еще одна огненная нить протянулась над Афинами. Словно клок высушенного солнцем сена, вспыхнула казарма «гарпий» возле гончарных рядов. Теперь там и сям появлялись новые кучки людей, целеустремленно спешивших к заранее известной им цели, и предметы, которые они несли в руках, временами отбрасывали яркие блики солнце играло на блестящих остриях мечей, топоров и копий.

— Давай! — азартно выкрикнул Эант. — Там еще казарма, у фонтана!

Назер, натянувший было лук, внезапно повернулся и выпустил стрелу совсем в другую сторону, в направлении моря. Ослепительно сверкавшая нить пролегла над песком, алая искра коснулась старого корабля. Померещилось или правда было — над пустынным берегом пронесся стон бессильной злобы. Столб дыма потянулся к небу.

— Вот так, — сказал Назер. — Клянусь огнем, в мире и так достаточно падали.

Он вновь стал похож на очень красивого веселого сатира, белые зубы сверкали из буйной бороды, глаза смеялись, и по–прежнему было ясно каждому смотревшему на него, что земля велика и могуча, что ее хмельные соки кипят животворящей силой, что ни угасания, ни смерти — нет.

— Малыш, я вижу на твоем лице выражение триумфатора, — сказал он. Рано, ты уж поверь. Всего лишь три столба пламени. Нам еще столько предстоит сделать. Особенно тебе — твоим оружием будет слово. Пошли?

Он поправил меч и стал спускаться с горы, и за ним двинулись другие. Эант заторопился следом. Впервые он не

обиделся, когда его назвали малышом.

1985

Анастасия

Верстовой столб 1.
Поединок не по правилам

Когда иссякнут наши времена,
и в пламени сгорят все наши знаки,
цифры, имена,
и люди потеряют ключик
от нынешнего нашего прогресса…
Н. Гильен

Путь близился к концу. Анастасия рассчитала все точно – и аллюр коней, и переходы, и ночлеги. Недолгий, но нешуточный опыт путешествий сказался – Лик Великого Бре еще ослепительно сиял высоко над горизонтом, и багровая Луна еще не всплыла, невесомая и загадочная, не поднялась из–за Края Земли, а черепичные крыши башен Тома уже показались впереди, и Пять Звезд на шпиле храма сверкали ясным золотом. Дорога, плавно изгибаясь вправо, скрывалась в высоких распахнутых воротах, чтобы растечься там на десятки улиц и переулочков, уйти в тупики, как уходит в песок вода. Желтые поля простирались по обе стороны дороги – Том славился своими благодатными нивами и хлеботорговлей на всю Счастливую Империю. Шесть подков Росинанта мерно ударяли оземь, клубилась пыль, вороной гигант легко нес хозяйку, ножны меча, кожаные с серебряной оковкой, позванивали о стремя, мир был безоблачен, чист и свеж, и Анастасия вопреки всем печалям последних дней вдруг окунулась в щемящую радость – оттого, что мир именно таков, что она молода и красива, что на свете есть рыцари и она по праву к ним принадлежит. Она мотнула головой, чтобы разметались волосы, рванула золотую с рубинами застежку, распахнув алую Рубаху на груди, озорно свистнула и пустила Росинанта галопом. Желто–палевые близнецы Бой. и Горн, обрадованные Резкой сменой монотонного аллюра, с лаем припустили вслед, Далеко обогнали, вернулись, заметались вокруг, подпрыгивая и ловко уворачиваясь от копыт. Росинант надменно косил на них лиловым глазом, Анастасия неслась вскачь, золотые волосы бились по ветру, стелился за спиной синий плащ с бельм единорогом, щеки пылали, и не стало печалей, не было тревог, все растворялось в ритмичном гуле галопа, и Анастасии даже показалось на миг, что она счастлива, что скачка навстречу ветру будет продолжаться вечно.

Потом она натянула широкие, шитые золотой канителью повода, и Росинант взбороздил копытами землю, взмахнул в

воздухе передними ногами. Анастасия оглянулась, смеясь, дунула, отбрасывая с разгоряченного лица пушистые пряди. Ольга скакала к ней, следом на чембуре поспешал заводной конь, звеня объемистым вьюком с доспехами и припасами.

Анастасия мимоходом подумала, что с Ольгой ей повезло. Оруженосец должен быть для рыцаря почти сестрой, он не просто спутник рыцаря и слуга. Бывает, и жизнь твоя зависит от оруженосца. И не так уж редко. Правда, у самой Анастасии, к счастью, не выпадало пока что случая получить тому подтверждение, но все равно, с Ольгой ей повезло (а все Ольгины странности делу не помеха, наедине с собой можно сознаться, что Анастасия тоже не без греха). Жаль будет расставаться по истечении положенного. срока. В утешение можно вспомнить, что девочка получит золотые рыцарские шпоры еще не скоро. Через год самое малое.

Бой и Горн подскакивали на шести лапах, как мячики. Разрумянившаяся Ольга осадила коня.

– Ну вот мы и у цели, хвала Великому Бре, – сказала Анастасия. – И путь наш лежит к «Золотому Медведю».

– Слушай, а что такое медведь? В нашем княжестве я про него не слышала.

– Легендарное чудище, – авторитетно сказала Анастасия. – Крылатое такое, с двумя головами. Оно налетает и похищает прекрасных юношей, а рыцари их потом освобождают. Говорят, когда–то оно во множестве водилось. Потом пропало.

Она погрустнела чуточку – потому что Оленька, оруженосец верный, чернокудрый и черноглазый, не имела еще золотых шпор, зато носила на плече сине–красную ленту цветов своего Прекрасного Юноши. Сине–красная лента на левом плече, надежно приколотая золотой булавкой. Пусть даже ходят слухи, что с обеих сторон нет никакой любви, и дело, как сплошь и рядом случается, в непреклонных матерях, ради сложных политических расчетов обручивших детей еще до их рождения. Все равно. У Анастасии нет ленты. А рыцарь без Прекрасного Юноши, в чью честь, согласно старинным канонам, совершаются подвиги и звенят клинки на поединках, – это, если честно, полрыцаря. Так, половиночка. А битвы и победы над чудовищами – полславы. Особенно, если вдобавок пополз шепоток, что Анастасия – мужественный рыцарь… Анастасия сердито прикусила губу. Возвращалась душевная непогода.

– Тень набежала на твое чело, – сказала Ольга шутливо, но тут же поняла что–то и опустила глаза. – Ничего, на Обедню соберется весь Том, и, как знать…

– Да ладно, – отмахнулась Анастасия. – Вперед!

И вскоре тень зубчатых каменных стен упала на кавалькаду. Двое стражников, как полагалось по древнему ритуалу, встали в пустых воротах, загородили, скрестив начищенные до жаркого блеска ажурные лезвия алебард, и сероглазая с серебряной бляхой начальника стражи спросила, едва скрывая скуку, как спрашивала тысячу раз на дню:

– Не враги ли вы Великого Бре? Не еретики ли? Не диссиденты ли? Не вкушали ли кукурузы?

– Мы верные слуги Великого Бре, Пяти Путеводных Звезд, Сияющего Лика, – ответила Анастасия, строго соблюдая ритуал. – Никогда не давали приюта еретику, не оскверняли свой взгляд видом диссидента, а уст – мерзким вкусом кукурузы. Я – княжна Анастасия с отрогов Улу–Хем, из рода Вторых Секретарей. Все разумные и неразумные живые существа, каких ты видишь перед собой, – со мной.

– Да ниспошлет Великий Бре разумным и неразумным Светлое Завтра!

– Аминь!

Алебарды раздвинулись, и Анастасия тронула коленями теплые конские бока. Копыта затопотали по брусчатке – богатый город Том, Хозяин Житниц, мог себе позволить мощеные улицы. А в остальном он был, как прочие города – высокие узкие дома с резными ставнями, Пять Звезд над каждой дверью (медные у горожан среднего достатка, золоченые у тех, кто побогаче, из чистого золота у дворян и особо тщеславных богатеев), чистенькие тротуары и прохожие обычные – вот мускулистая кузнец в прожженном фартуке, вот голосистая пирожник в белых штанах и рубахе Цвета муки, с лотком на шее, полным румяных пирогов, вот осанистая купец с золотой четырехугольной гривной на Шее – гильдейским знаком.

На Анастасию с Ольгой особого внимания не обращали – рыцарей к Обедне съехалось изрядно, и они примелькались.

– Пирога хочется… – совсем по–детски вздохнула Ольга. – Давай купим?

– Оруженосец на улице лопать не должен, – наставительно сказала Анастасия. – Забыла?

– А хочется…

– Капризная ты у меня, Олька, как мужик, – бросила Анастасия рассеянно.

– Смотри, смотри! Вон тот, рыженький, весьма даже ничего!

Анастасия повернула голову так, чтобы движение выглядело небрежным, проследила за взглядом верного оруженосца. Рыженький с завитой бородой и в самом деле был ничего, но чересчур крикливые наряды его и спутников, обилие дешевых

перстеньков на руках с головой выдавали их занятие.

– Олька, это ж публичные мужчины, – сказала Анастасия, наморщив нос. – Я против смазливых слуг ничего не имею, дело житейское, рыцарю не возбраняется, но с этими…

– Уж и посмотреть нельзя. Говорят, другие рыцари…

– Вот когда получишь шпоры, прижимай кого угодно, хоть этих. А пока ты у меня в оруженосцах…

– Поняла. Молчу.

– То–то. Нам вот сюда, где калач над лавкой, потом налево.

Они остановили коней. Вывеска «Золотого Медведя» была искусной работы и впечатляла – на синем фоне, символизирующем поднебесные выси, летел золотой двуглавый медведь – пасти щерились, мощные крылья распростерты во всю доску. В лапах он нес прекрасного юношу в ярком наряде, но в левом углу, как знак грядущего скорого возмездия, изображен крохотный рыцарь, скачущая вдогонку. Анастасия вновь ощутила мимолетный сердечный укол.

Служанки выбежали к ним, повели коней в стойла, псов на псарню, потащили наверх вьюк с доспехами и одеждой. Дебелая трактирщик кланялась в дверях, по обычаю всех трактирщиков расхваливала свое заведение в голос и с чувством, особенно упирая на то, что еще матушка Анастасии, светлая княгиня, частенько проводила здесь не худшие дни своей жизни.

Анастасия глянула поверх ее широкого плеча. Там стоял слуга и зарумянился, поймав ее взгляд. Как раз в ее вкусе – волосы золотые, как у нее, глаза синие, как у нее. Это Ольке все равно, какого цвета глаза и волосы, кидается на любую стройную фигурку, а вот Анастасия – нет, таков уж ее вкус – чтобы глаза и волосы мужчины были того же цвета, что у нее. Ну, и фигурка, понятно.

А посему Анастасия, когда входили следом за дебелой трактирщиком, подтолкнула Ольгу локтем и шепнула:

– Чур, мой!

– Ну вот, вечно ты вперед успеваешь…

– Станешь рыцарем, отведешь душу, – безжалостно ответила Анастасия.

К лестнице на второй этаж нужно было пройти через огромный зал – с камином, сложенным из громадных камней, гербами на стенах, закопченными потолочными балками. Гомон там стоял неописуемый – полным–полно рыцарей. Анастасия ощутила вдруг, как укол концом копья, чей–то злой, ненавидящий взгляд и поняла, что без стычки не обойдется. Ну и пусть, когда это мы уклонялись?

Слуга ойкнул на лестнице – Олька его все–таки ущипнула,

улучив момент. Анастасия на сей раз промолчала – пытаясь сообразить, кто мог на нее так зло пялиться. Знакомых лиц в зале хватало, а враги у нее имелись в немалом количестве, это уж как водится… Или на сей раз какие–то хитросплетения родовой вражды, до поры неизвестные? Иногда и такое бывает.

У двери своей комнаты (Олька покладисто исчезла в своей) Анастасия так многозначительно глянула на красавчика слугу, что того бросило в краску, до ушей побагровел. Потом попросила перед тушением огней принести ей квасу и не сомневалась, пожав значительно его тонкие пальчики, – принесет. Затворила за собой дверь, задвинула кованую щеколду. Переодевание с дороги – дело ответственное, почти ритуал, новоприбывшему рыцарю следует достойно войти в зал, где уже собралось множество дворян, любая небрежность в наряде будет подмечена.

Ванна. Вместо дорожных брюк – синие джинсы, дозволенные только дворянам, безукоризненно сшитые ремесленниками в материнском замке. Рубашка – красная же, только с сапфировыми застежками; Вместо грубых дорожных сапог – мягкие красные (но кинжал Анастасия, понятно, сунула за голенище). Черный пояс с золотыми геральдическими серпами–и–молотами. Меч на пояс, конечно. В последнее время некоторые рыцари переняли у мужчин моду носить перстни, но Анастасия этому глупому поветрию следовать не собиралась – если честно, еще и оттого, что и так поползли слухи, приписывающие ей мужественность. Зато серьги с бриллиантами и золотая цепь на шее – это по–рыцарски, кто упрекнет? Анастасия глянула в зеркало и осталась собой довольна. Вот если бы она могла еще пришпилить к плечу цвета Прекрасного Юноши… Ладно, перемелется… И вообще зеркало врет, это отражение взгрустнуло, живя самостоятельной жизнью там, у себя, в таинственном Зазеркалье, а хозяйка отражения ни при чем…

Отражение взгрустнуло. А рыцарь Анастасия, княжна отрогов Улу–Хем, степенно спускается по лестнице в зал, и голова ее поднята гордо, и на лице довольство жизнью читается явственно даже для неграмотного.

Звенели кубки. Звенел женственный рыцарский хохот. Звенели монеты за теми столами, где играли в кости. Шмыгали с подносами стройные юноши. В углу с воодушевлением горланили древнюю боевую песню рыцарей Носиба:

Как ныне сбирается Вечный Олег
отмстить неразумным базарам.
Горкомы и нивы за буйный набег
обрек он мечам и пожарам…

Если честно, никто из нынешних рыцарей не знал толком, что

это за племя – базары. Говорили, что эти свирепые дикари жили в седой древности, когда земля только–только отделилась от Мрака, по свету бродили четвероногие лошади и другие чудовища, вскоре истребленные славными предками–основателями, комиссарами в кожаных латах и пыльных шлемах. В седой древности, когда возводились первые замки–горкомы и возникали первые родовые гербы. Потом базаров, видимо, тоже кто–то истребил, но в летописях об этом ни слова.

Анастасия прошла по залу, приветствуя знакомых, уселась за стол. Задумчиво поднесла к губам кубок, отпила. Чисто машинально шлепнула по заду пробегавшего слугу. Удивиться, отчего соседние столы притихли вдруг, не успела – резкий, неприятный голос тут же поставил все на свои места:

– Катерина, пусть меня утащит Гологоловый Хру, если среди нас нет переодетых мальчиков!

Анастасия обернулась – медленно, не роняя достоинства. Так и есть. Двое за соседним столом громко переговаривались, не обращая будто бы на нее внимания:

– Ну да, рыцарская одежда еще не делает мальчика рыцарем.

– Хоть он колец и не надел.

– А вот серьги не забыл…

– И уши у него распухли – только что проколол, бедняжка, непривычен к женским украшениям…

– И меч, как у рыцаря, с гербом, посмотри…

– И единорог в гербе, надо же…

Теперь у Анастасии были законные основания для ссоры. Единорог на ножнах меча был гербом, принадлежавшим лишь их роду. И оскорбление его было оскорблением всего рода, вкупе с поколениями славных предков. Все же она медлила, приглядываясь. Эти рыцари, как и их гербы, Анастасии были незнакомы. Рослые рыцари, женственные – мускулы так и играют.

– Кого вы назвали мужчиной, благородные рыцари? – спросила Анастасия громко.

– Того, кто мужчина наверняка и есть, тоненький такой, стройненький. – Катерина смотрела теперь ей в глаза. – Хоть и прицепил на меч единорога…

– От диссидентов слышу, – сказала Анастасия. Увидев, как их лица вспыхнули от гнева, щедро плеснула масла в огонь, закончив страшным оскорблением, которого не стерпел бы никто: – Сдается мне, такие вот и спят с Косматым Тро.

И тут же вскочила, отпрыгивая назад, ногой отшвырнув табурет, – перед самым ее лицом сверкнули два длинных меча. Тишина расходилась по залу, как круги от брошенного в воду камня, и этим камнем был ее стол. Анастасия молниеносно

выхватила меч, чуть повела острием вправо–влево. Лицо Катерины ей доверия не внушало – такие способны на любое нарушение кодексов поединка, самое беззастенчивое. Впрочем, не выйдет – слишком много здесь рыцарей, чтобы Катерина рискнула нарушить кодексы. Жаль, что нет Ольги – увы, оруженосцы не смеют сидеть за одним столом с рыцарями и уж тем более вмешиваться в их споры…

– Благородные рыцари, вы все свидетели, – громко сказала Анастасия. Не сводя глаз с противников, нагнулась, левой рукой выхватила из–за голенища кинжал. – Милорды, прошу свободного места и напарника для боя.

Теперь все зависело от того, куда повернет общественное мнение, – вообще–то ситуацию можно было истолковать двояко… Если присутствующие не согласятся, что первой начала Катерина, Анастасии придется драться сразу с двумя. Но нет, все в порядке – рядом с Анастасией встала светловолосая девушка в белой рубашке с желтыми рукавами, ее меч скрестился с клинком подруги Катерины. Понеслось. Столы во мгновение ока были растащены к стенам, и рыцари взобрались на них, вскрикивая без особого воодушевления – все понимали, что предстояла заурядная схватка до первой крови.

Анастасия рубилась хладнокровно. Не впервые. Она уже прикинула, куда ткнет острием – в правую руку, повыше локтя. И первая кровь будет, и меч эта нахалка не сможет держать пару недель самое малое.

Нехорошую странность происходящего Анастасия поняла быстро, сообразила, что удары Катерины сыплются сплошь рубящие в шею, в голову. А единственный колющий шел в сердце. Первая кровь Катерину никак не устраивала. И действовала она весьма коварно – со стороны ее никак не могли заподозрить в рубке насмерть. Анастасия могла поклясться чем угодно, что герб Катерины ей абсолютно незнаком. Полузабытая родовая месть? Но о таком положено объявлять сразу… Тогда? Снова целит в голову! И опять!

Теперь Анастасия не сомневалась – перед ней весьма искусные в своем ремесле наемные убийцы. Метод испытанный – колющие удары на первую кровь убийца наносит намеренно неуклюже, зная, что они будут отбиты, а в смертельные вкладывает все умение. При надлежащей сноровке можно все сделать так, что никто ничего и не заподозрит, а убийца рано или поздно добьется своего. Случайность. Поединок есть поединок. У Катерины эта сноровка безусловно была. А у Анастасии – нет. Она умела драться либо насмерть, либо на первую кровь. Что–то одно. И если она сейчас начнет отражать серьезные удары всерьез, все

рыцари решат, что начала рубиться насмерть как раз Анастасия – и ей согласно кодексу предстоит в случае смерти Катерины драться с большинством здесь присутствующих. Конечно, кто–то из знакомых вступится за нее, но все равно катавасия будет та еще. Так что же делать? Подруга Катерины уже вышла из боя – стоит у стены, зажав кровоточащее запястье. Ситуация нелепейшая – Анастасии предстоит из кожи вон вылезти, чтобы оцарапать противника, который твердо намерен ее убить…

Не парируя удар, она уклонилась, ушла. И снова. И еще раз. Звон и лязг мечей, острое мелькание клинков. Бой. Анастасия краем глаза заметила чье–то удивленное лицо – неужели начинают догадываться и понимать? Что же делать?

А вот что – нужно обернуть против Катерины ее же женственность, то есть силу. Катерина выше, массивнее, а она, Анастасия, наверняка проворнее. Уклоняться, Уходить. Изматывать. Затягивать. Вот так – пируэт на каблуке. И еще. Этот удар парируем, от двух уходим… Пусть дылда злится, недоумевает, уже злится, уже, сейчас откроется… Держи!

Колющий удар по всем правилам фехтовального искусства и непогрешимого кодекса. И темное пятно на голубом рукаве, кровь на запястье противника. И ненавидящие глаза.

Анастасия, тяжело отдуваясь, выпрямилась и отсалютовала мечом:

– Конец, милорды!

И тут же упруго выгнулась в сторону, взмахнув мечом, почти не рассуждая. И успела отбить лезвием, держа его плашмя, короткий кинжал – дружескую любезность от подруги Катерины, неслыханное нарушение кодекса поединков. Нарушительницу уже держали несколько рук, но дело не кончено, что–то нехорошее затевалось – Катерина перебросила меч в левую руку и готова драться, два–три рыцаря явно собираются принять ее сторону, а другие готовы им помешать. Там и сям, в разных углах сверкнули клинки, вот–вот наметятся враждующие пары, вот–вот завяжется нешуточная кутерьма…

– Спокойно, милорды! Первый, кто начнет… Обнаженные клинки растерянно опускались, а иные так и не покинули ножен. На середину зала вышла с обнаженным мечом Сандра из долины Мину – седые пряди в волосах, суровое женственное лицо пожилого рыцаря, – один из лучших мечей Счастливой Империи и неустанная блюстительница кодекса чести. Гомон стих мгновенно.

– Что–то сдается мне, не похоже все это на честный поединок. Никак не похоже. – Она глянула на подругу Катерины так, что попятилась не только та, но и оказавшиеся рядом. – У вас что,

родовая вражда?

– Нет, – хмуро выдавила подруга Катерины.

– Тогда почему? Ты что, не знаешь, что за такие выходки придется предстать перед городским советом рыцарей?

– Знаю, – процедила та сквозь зубы.

– Тогда?

– Я отвечу, – шагнула вперед Катерина. – Потому что такие вместе с их оруженосцами, такие вот мужественные тростиночки, позорят рыцарское сословие!

– Основания? – ледяным тоном спросила Сандра, – Ну же, основания? Рыцарь – это человек из благородного рода, который удостоен золотых шпор и соблюдает кодекс. Редко, крайне редко, но случалось даже, что среди рыцарей оказывались, как это ни покажется нам удивительно, мужчины – потому что по капризу природы уродились женственными и обладали достаточной силой, дабы носить доспехи и владеть мечом. Летописи называют таких мужчин амазонками. Как видим, даже мужчины, существа исконно слабого пола, могли быть рыцарями. Почему же чье–то телосложение вызывает такую злобу?

– Потому что она еще и чернокнижник!

– Ложь и клевета, – сказала Анастасия. – Через мои руки прошло исключительно то, что несло на себе Печать Благонадежности жрецов Великого Бре. Старые рукописи, не имеющие ничего общего с чернокнижными, нужны мне, чтобы…

Презрительные усмешки Катерины и ее подруги переполнили чашу. Хандра последних дней, недовольство собой, сегодняшняя стычка – все сплелось в безоглядную ярость. Анастасия шагнула вперед. Вытянула руку. Ткнула острием кинжала в мякоть указательного пальца и провела пальцем по лезвию меча, оставив на зеркально блестевшей стали размытую алую полоску. Подняла меч перед собой, эфесом к потолку, острием к полу. Настала гробовая тишина – в уважение к Клятве Железа и Крови, – ив этой невероятной тишине Анастасия произнесла звонко, решительно, чеканя каждое слово:

– Я, Анастасия, княжна отрогов Улу–Хем, средняя дочь из рода Вторых Секретарей, клянусь железом и кровью, что совершу подвиг, какого прежде не свершал никто. Клянусь достигнуть Закатного Моря, где тонет к ночи Лик Великого Бре. Достигнуть или умереть! Легенды гласят, что вода Закатного Моря солона. Я попробую эту воду!

Равнодушных не было. Даже у врагов глаза стали круглыми от почтительного страха. Сама Анастасия ощущала пьянящую легкость души и тела – ну вот и решилась наконец, теперь сожжены все мосты, отрезаны все пути назад. Отказаться от

клятвы – навсегда вычеркнуть себя из рыцарского сословия. Значит, пора. Таково предназначение – странствовать на закат, вслед за клонящимся к горизонту Ликом Великого Бре.

– Что ж, все мы слышали клятву, – задумчиво сказала Сандра. – Возвращайтесь к веселому пиру, рыцари. Желаю удачи, Анастасия, и да хранит тебя Великий Бре.

И все вернулось на круги своя. Потащили на место столб!, зажигали светильники – за окном сгущался серый сумрак. Шмыгали слуги, затирая винные пятна, убирая черепки и неся полные кувшины. Зазвенели кубки. И посреди веселого гомона Сандра тихонько шепнула на ухо Анастасии:

– Еще поговорим. Ночью лучше всего. Сегодня не смогу, завтра…

Анастасия недоумевающе вскинула глаза, но Сандра уже уходила, гордо подняв седеющую голову, и перед ней почтительно расступались юные рыцари. Анастасия тоже пошла к выходу – никого не хотелось видеть, даже друзей. Ее уже не было здесь, посреди коловращения бурной, но устоявшейся до пресноты жизни, где любой прибой, любые волны в конце концов разбивались о незыблемые берега, где у всякой бури были границы, те же обрывистые берега, гасившие бурю, как проливной дождь заливает костер. Пусть на душу ляжет несмываемый грех гордыни, но Анастасия больше не могла метаться среди этих берегов, от одного к другому, от правого к левому и обратно, среди этих стен метаться перепуганной птицей, сглупа влетевшей в тесную комнату. Нужно найти распахнутое окно и вылететь в него, иначе…

Она поднималась по лестнице, ножны меча глухо стукали о балясины перил, и лестница казалась ей бесконечной, как тоска. Кончилась наконец лестница. Тоска не кончалась.

Давешний юноша попался навстречу. Анастасия устало улыбнулась, обняла его, притянула и шепнула в зарумянившееся ушко:

– Пойдем, малыш?

…Она выскользнула из постели, натянула джинсы и тихонько прошла в темно–алом лунном свете к распахнутому окну, присела на широкий подоконник.

Сегодня было полнолуние. Луна висела над крышами, багровая, как всегда, огромная – добрая сажень в поперечнике – вся в темных пятнах, бледно–алых кольцах и полосах. Острая крыша соседнего дома черным наконечником копья четко рисовалась на фоне багрового диска. Говорили, что в незапамятные времена Луна была меньше и другого цвета. Говорили, что раньше ее не было вовсе. Говорили, что на ней

живут такие же люди, только выше ростом и щуплее. Говорили, что туда улетела на огненном драконе знаменитая Елена, рыцарь Бурого Ястреба, и этим объясняется ее загадочное исчезновение. Говорили, что там живут не люди, а ведьмы, колдуны и чудовища. Говорили, что есть заклятья, позволявшие увидеть Луну вовсе уж огромной. Говорили…

Дедушкины сказки, легенды, потаенные проповеди еретиков – мало, мало! Временами Анастасия готова была продать душу Гологоловому Хру – в обмен на Знания. Потому что в ее мире не было Знания – одни побасенки. Раздобыть бы что–нибудь, что существовало до Мрака! Ведь должно же было что–то существовать до Мрака. Копатели…

Анастасия поежилась от нахлынувших мыслей, насквозь еретических. И стало страшно – вдруг Гологоловый Хру почует ее мысли и придет? Как он выглядит? И что он сделает с ее душой? А вдруг ее душа уже давно погублена связью с Копателями?

Над крышами показалась Плывущая Звезда, Первая из десятка. Проплыла справа налево над багровым диском Луны, на расстоянии не менее двух лунных диаметров от него – ну, конечно, Первая. Пути всех десяти Анастасия знала наизусть и никогда бы не спутала одну с другой. Голубая, яркая звезда, гораздо больше и красивее Неподвижных Звезд, в основном белых и маленьких. Почему десятки и сотни Неподвижных Звезд остаются на своих местах, перемещаясь незначительно и незаметно для глаза, а Десять Плывущих в сравнении с ними прямо–таки мчатся по ночному небосклону? И куда деваются уплывшие за горизонт облака? И если небо в самом деле хрустальное, как учат жрецы, откуда там берется дождь?

Пора было остановиться. Бесконечные «почему» были форменным падением в бездну, бесконечным падением и оттого еще более грозным. «Ну вот и стала бы ученым», – сердито говорил когда–то дедушка, рассерженный ее бесконечными «почему».

Ученые? Анастасию они от себя в свое время отвратили напрочь. Потому что не знали ровным счетом ничего – ни монахи–ученые, ни светские. Многочасовые споры до хрипоты о значении какого–нибудь третьестепенного понятия; кропотливые расчеты движения звезд, замкнутые на самих себя, гонка по кругу; бесконечные диспуты о том, какую из букв алфавита Великий Бре придумал раньше, какую потом. Б–р–р! Кровь замерзает! А кровь у Анастасии была горячая, что с грустью отмечали учителя, предрекая ей не самое лучшее будущее, сплетенное из одних безумств и безрассудств. И оказались правы, в общем. Золотые шпоры заслужила быстрее других, участвовала

в турнирах и междоусобных войнах княжеств, зверей убивала – но все равно, Бре весть почему, осталась несерьезным рыцарем–шалопаем – как в глазах окружающих, так и в собственных. А теперь еще и клятва… Мать женственно промолчит, стиснув зубы, и все поймет. А вот отец – слез будет… И ведь самой страшно до ужаса, но что поделать? Решилась наконец…

Она смотрела на спящий город так, словно там в переплетениях темных улочек таилась сама Истина, правдивое, неподдельное Знание. Но ничего такого, понятно, не было за распахнутым окном – только багровая ночная полутьма, спящие под острыми крышами люди всех сословий да изредка – дремотно пришаркивающие шаги ночного дозора.

Верстовой столб 2.

Празднество по всем правилам

Статуя переживет народ.

Н. Гумилев

Красавчика–слугу Анастасия вежливо выпроводила поутру, сунув в руку два золотых. Верная Ольга хитро и неискусно отводила глаза – значит, спала не в одиночестве. Анастасия мимоходом щелкнула ее по носу, они быстренько позавтракали, накинули плащи: Анастасия – родовой синий с белым единорогом, Ольга, как и полагалось оруженосцу, Кандидату в рыцари – фиолетовый без герба; надели на шеи церемониальные золотые цепи с Пятью Звездами, выложенными сапфирами. Прицепили мечи в парадных ножнах со множеством золотых накладок. Анастасия, поставив ногу на табурет, поправляла золотую шпору. Покосилась на нетерпеливо притопывавшую Ольгу:

– Буйный кто–то тебе попался, ухо прямо распухло. Кусил?

Ольга почему–то жарко покраснела. Это верный оруженосец–то, погрязший в легкомысленных романчиках? Что–то тут сложноватое, отметила Анастасия и тут же забыла об этом – не хватало еще перед Обедней забивать голову сложностями Олькиных увлечений.

Они вышли на улицу. Народу там было – не сосчитать, и все, понятно, принаряженные в праздничное, поспешали в одном направлении – к храму. Засвистала флейта, ударили медные тарелки, и Анастасия оглянулась. Четко печатая шаг, по четыре в ряд посреди мостовой шагали Красные Дьяволята, личная гвардия Серого Кардинала – алые камзолы с черными языками пламени на груди и на рукавах, алые береты с оранжевыми перьями, желтые брюки. Девушки были как на подбор – рослые и женственные. Глаза у Анастасии нехорошо сузились – драться с офицерами Красных Дьяволят ей приходилось, и в Томе в

прошлые визиты – тоже. Вообще–то обычаями это не приветствовалось, но среди молодых рыцарей считалось хорошим тоном задирать кардинальскую гвардию, отчего–то повелось так с незапамятных времен… (Ольга, понятно, могла пока что драться только с сержантами и рядовыми, о чем ужасно сожалела.) Гремела древняя боевая песня Красных Дьяволят:

Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры, дети рабочих!
Близится эра Светлых Годов,
клич пионера – всегда будь готов!

– Ходить–то они умеют, – сказала Анастасия. – А вот… Она охнула, осеклась, вгляделась пристальнее. Нет, никаких сомнений. Рядом с очередной двадцаткой Дьяволят браво маршировала вчерашняя напарница Катерины – в форме на сей раз, с золотыми сержантскими факелами на рукаве. А запястье аккуратно перевязано. Анастасию она не заметила – чересчур уж старалась показать свое искусство маршировки.

Анастасия подтолкнула Ольгу и показала ей глазами:

– Вот эта, я тебе говорила.

– А вторая, Катерина эта самая?

– Ее не видно. Может, уже прошла.

– С сержантами мне драться можно… – мечтательно сказала Ольга.

– Олька!

– А я – ничего. Они ж сплошь и рядом сами, чисто случайно нарываются…

– Тихо! – урезонила Анастасия. – Все–таки сегодня такой день.

К храму, Собору Пяти Звезд, они подошли молча. Собор был выше и огромнее всех прочих зданий города – даже взметнувшиеся справа над крышами зубчатые темно–красные башни княжеского горкома были, понятно, пониже. У входа Анастасия, как полагалось, трижды оттолкнула от себя выставленной ладонью что–то невидимое – влево, вправо и вперед (так это со стороны какому–нибудь дикому язычнику показалось бы, а в святой истинной вере означало, что верующий отвергает всех трех главных врагов человечества, побежденных и проклятых Великим Бре).

Несмотря на все свои потаенные сомнения, многие из коих то ли опасно граничили с ересью, то ли ересью чистейшей воды и были, Анастасия ощутила робость и душевную приподнятость – все же это был Собор. Огромный зал, где стены сверху донизу украшены яркой искусной мозаикой, изображавшей свершения и победы Великого Бре. Десятки лампад светились под мозаикой, а

впереди, напротив входа, сверкал золотой диск со множеством лучей – Лик Великого Бре. И под ним уже стояли лицами к пастве двенадцать почтенных жрецов – Почетный Президиум – в ниспадающих белых одеждах. Седые волосы перехвачены золотыми обручами с маленькой копией Лика Великого Бре, на груди каждого – Пять Золотых Звезд. Так были одеты одиннадцать. А вот двенадцатый – вернее, третий, если считать слева, и десятый, если считать справа, – выглядел совсем иначе. На нем мешком висел серый балахон с опущенным на глаза капюшоном – только глаза посверкивали в прорезях да кончики пальцев высовывались из широких рукавов. Как повелось с незапамятных времен, так и должен был выглядеть Серый Кардинал – один из двенадцати жрецов, отвечавший за душевную чистоту и незамутненность помыслов паствы. Красные Дьяволята как раз и были его личной гвардией.

Анастасии, вместе с другими равньми ей по сословию стоявшей в первом ряду, показалось вдруг, что взгляд Серого Кардинала встретился с ее взглядом, и по ее телу прошла дрожь – но это не страх перед всесильным жрецом, здесь что–то совершенно иное…

Первый Жрец вышла на возвышение перед неподвижной шеренгой остальных одиннадцати и, пытливо всматриваясь в лица паствы, нараспев произнесла ритуальный вопрос:

– Есть ли среди вас те, кто считают, что Почетный Президиум недостоен? Молчание.

– Есть ли среди вас еретики, диссиденты и вкушавшие кукурузу? Изыдите, таковые!

Молчание. Все стоят неподвижно, и можно разобрать, как едва слышно потрескивает пламя в лампадах.

– Тогда разрешите же мне, о приверженцы святой истинной веры, передать вам теплый отеческий привет от Пяти Звезд, Ослепительного Лика, Великого Бре!

Пламя лампад колыхнулось – паства, как полагалось, молотила в ладоши, ожесточенно, самозабвенно, исступленно, вкладывая всю силу (единственной ложкой дегтя Обедни было то, что потом ладони долго побаливали и ныли, даже распухали ощутимо). Гром рукоплесканий шквалом метался по Собору, не находя выхода. И Первый Жрец, и остальные Старейшие тоже старались изо всех сил – кроме, вдруг сообразила Анастасия, Серого Кардинала. Не то чтобы Кардинал не проявляла истовости, нет, но она словно боялась причинить себе боль, словно она… Широкие серые рукава сползли к локтям, и на запястье белеет повязка…

У Анастасии перехватило дыхание. Она узнала руки Серого

Кардинала – руки Катерины!

Вот так так! Анастасию угораздило схватиться с самим Серым Кардиналом Тома – вообще–то Кардиналом можно стать в любом возрасте, среди них как раз редки старцы, такая уж должность. Но откуда эта вчерашняя злоба? Что Анастасия ей сделала и чем обидела? Н–да, узелок. Аплодисменты смолкли, и глас Первого Жреца плыл над паствой, смешиваясь с волнами благовонного ладана:

– Вначале был Мрак, в коем смешались земля и небо, воды и скалы, ничего, кроме Мрака, и владел им недостойный владыка Никола–Ро. Долго так длилось, дольше, чем под ветром разрушаются скалы, дольше, чем существуют Луна и Неподвижные Звезды. Но вот сквозь Мрак пробилось сияние – дочери и сыны мои, то сияли Пять Звезд, Созвездие Святой Истинной Веры, Великий Бре! И рассеял он Мрак, и Пять Звезд превратились в Лик Великого Бре, каждоутренне встающий из Рассветного Океана и каждовечерне тонущий в Закатном Море, чтобы вновь неисповедимым образом очутиться в Рассветном Океане. И отделил Великий Бре воды от суши, сделав воду мокрой, землю плоской. И была вначале земля малая, а потом стала огромна. И населил Великий Бре в неизреченной милости своей землю людьми и животными, служащими людям. А чтобы не забыли люди о гневе божественном, который может в любой миг излиться на отступников, создал Великий Бре чудовищ и диких зверей людовредительных. И возжег он белые неподвижные звезды, отправил по небу в вечное странствие звезды плывущие, а ночного освещения ради возжег багровую Луну. Велико было стремление сил зла помешать Великому Бре творить скалы и воды, людей и звезды. Но разбил Великий Бре сатанинские полки Злых Татаровей у священного холма Бородино. И явился черный демон Косматый, Стеклянноглазый Тро, смуту несущий, – но поборол его Великий Бре силою мысли. И явилась Блудница Ан–Ах, разврат в умах сеющая, – но поставил ей ногу на выю Великий Бре и низверг. И явился самый лютый, таящийся в зарослях кукурузы Гологоловый Хру, ловец душ человеческих – но одолел и его Великий Бре, а затем проклял кукурузу и вкушающих ее. И благодать разлилась тогда под Ликом Великого Бре, и восславил его люд знатный и простого звания в мыслях своих, речах и свершениях. А если еще и таятся среди нас еретики, диссиденты и подлые вкушатели кукурузы, то исключительно потому, чтобы страшной участью своей упредить верующих о кознях Гологолового Хру, каковой таится еще на задворках мира, таится, смущая слабодушных отступников!

Первый Жрец воздела костлявые старческие руки, и

остальные Жрецы тихо, истово запели.

– И царили вначале среди племени людского беспорядок, неразбериха, разброд, безверие, вседозволенность, путаница и шатания, – продолжала Первый Жрец. – Но явились вначале верные слуги Великого Бре, Комиссары в кожаных латах и пыльных шлемах, и повстали избранные – Первые, Вторые и Третьи Секретари, славные основатели многих дворянских родов, опоры Счастливой Империи. И сказал Великий Бре: сей порядок, на смену Хаосу и Мраку пришедший – незыблем! И да расточатся враги его! Аминь! И души тех, кто был верен заветам, перенесутся после смерти в благодатные вечнозеленые края Светлого Завтра, а души отступников сгинут в холоде и сумраке Свалки Истории! Аминь!

И вновь полилось торжественное песнопение:

Как много их свалилось в эту бездну, разверстую вдали…

Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли…

…Уже закончилась Обедня, уже Анастасия ждала своей очереди у выхода из Собора, где согласно ритуалу жрец сноровисто макала печатку в краску и оттискивала на лбу склонившегося верующего Пять Звезд. А беспокойство все не проходило – ошиблась она, или злые глаза Серого Кардинала не отрывались от нее на протяжении всей Обедни?

Верстовой столб 3.

За порогом Мрака

Мы – забытые следы чьей–то глубины.

А. Блок

Анастасия открыла дверь на тихий стук – и отступила, склонилась в поклоне:

– Милорд Сандра, такая честь…

Сандра, твердо, но удивительно бесшумно ставя каблуки сапог, прошлась по комнате от двери к окну, и назад, и снова к окну. Анастасия молча поворачивала голову следом. Ждала. Сандра присела у грубого резного стола, глянула на два пустых кубка, подняла забытую юношей застежку для волос, усмехнулась:

– Жизнь продолжается… Садись.

Анастасия села и молчала, почтительно и выжидательно.

– Ну что, девочка моя? – спросила Сандра. – Мечешься, ищешь неизвестно что, выспрашиваешь и выпытываешь. И совсем не думаешь, что где–то на этом пути могут встретиться люди, которые получают плату как раз за пересказ чужих разговоров… Княжна Анастасия, мне доводилось видеть костры, на которых сгорали дворяне и знатнее тебя…

– Но последний из этих костров вспыхивал так давно… –

сказала Анастасия, невольно поежившись.

– В том–то все и дело. Кое–кто считает: это плохо, что костров так давно не было… А хуже всего на свете, знаешь ли – попасться на глаза, когда позарез необходим наглядный пример. Улавливаешь, куда ведут мысли старого рыцаря?

– Но я же…

– Вот мне и любопытно знать, как далеко ты шагнула в своем «я же…». – Сандра не сводила с нее глаз. – Насколько далеко ты продвинулась в своей ереси? Нет–нет, – она подняла широкую ладонь в старых шрамах, – только не вздумай уверять меня, что в святой истинной вере ты крепче Первого Жреца. Все равно не поверю. Потому что прожила долгую жизнь. Потому что ты зря думаешь, будто тебя первую стали посещать сомнения и ты первая задумалась над многими вещами, над которыми запрещено думать. Девочка, предшественников у тебя было множество. И каждому в запале юности казалось, что именно он был самым первым… Пойми ты это и не играй в детские тайны. Итак?

Анастасия колебалась. Невозможно было представить, чтобы Сандра, хранитель кодекса рыцарской чести, могла донести. Нужно решаться. И она решилась:.

– В Великом Бре я не усомнилась ни разу. Однако мучает вопрос: верно ли жрецы передают Его заветы и историю Его свершений? Кто дал им право говорить от Его имени? Кто видел подтверждение этого права? Где свидетели? И наконец – не существовало ли и до Мрака нечто, люди и вещи?

Она замолчала и с тревогой вскинула глаза. Сандра смеялась тихонько, почти неслышно, и ее лицо на миг стало совсем добрым. Но только на миг.

– Вот видишь, – сказала Сандра. – Об этом я и говорила. Старые вопросы. Древние. В тысячный раз сегодня прозвучавшие. Когда–то, лет сто назад, даже кипели греческие споры, и с материалами дискуссий можно было при известной настойчивости ознакомиться. Болтают даже, будто некогда за власть боролись три Собора, по–разному толковавшие заветы Великого Бре, и победил один из них, а память о двух других развеял ветер… Но потом времена изменились, со спорами и дискуссиями было покончено. Заступы по–прежнему вонзаются в землю, Копателей преследуют все яростнее, и попавшие в руки жрецов исчезают бесследно, но еретики упрямы, и приходят новые… – Она спросила резко: – У тебя что–нибудь есть? Ну, смелее!

Анастасия открыла дорожную шкатулку, нажала нужный гвоздик и достала из открывшегося потайного ящичка тот самый

флакон – пустой, матовый, небывало, неимоверно легкий, словно сделанный из ваты, ставшей вдруг твердой, как дерево. Вертя его в сильных пальцах, Сандра вслух читала слова, составленные из выпуклых букв, удивительным образом составлявших одно целое с флаконом:

– Шампунь «Ивушка» для мытья волос в воде любой жесткости г. Свердловск цена 1 р. 15 к. ост 18–297–76…

– Цена – вещь понятная, – сказала Анастасия. – Хоть и неясно, при чем тут эти «р» и «к». Мытье волос, вода… Разве вода бывает жесткой? Жесткая… ну, постель. И все остальное непонятно напрочь. Что это значит?

– Откуда я знаю? – Сандра небрежно поставила флакон на стол. – Девочка, у многих найдутся за семью замками вещички и загадочнее. Не в них дело. Само их существование, сама их необычность неопровержимо гласят: что–то было до Мрака. Иначе откуда все эти вещи, несомненно сделанные человеческими руками? Ты ведь сама до этого додумалась, иначе не связалась бы с Копателями, верно?

– Да, – сказала Анастасия. – Сначала я хотела стать Жрецом, потом подумала – уйдут годы…

– Прежде чем ты приобщишься к великим тайнам и окажешься в неких подземельях, набитых загадочными вещами, да? Молодец, что вовремя одумалась. Другим это не приходило в голову, и они напрасно теряли долгие годы…

– Напрасно все же?

– Напрасно. Никаких подземелий нет. Если они и были, о них забыли сами Жрецы. Или давно уничтожили их, что вернее. А странные находки временами лежат прямо на земле, ибо слишком велики, чтобы можно было спрятать или уничтожить их.

– О чем вы? – жадно спросила Анастасия.

– Сама не знаю. Просто припомнила фразу из одной летописи. Сейчас этой летописи, по–моему, уже не существует – у нас ведь потихоньку сжигается все, кроме сказаний о рыцарских подвигах, даже Хроники Империи исчезают, хотя, казалось бы, кому, как не Императорам, сохранять и оберегать память о предках?

– Значит, и легендарная библиотека Императора…

– Сказки, – грустно усмехнулась Сандра. – Поскольку все слухи насчет меня и супруга Императора, скажу тебе откровенно, полностью отвечают истине – я бы знала… Нет и легендарной библиотеки. Ничего нет. А по тому, что есть, невозможно ничего понять. Впрочем… Знаешь, существует одна древняя картина, из которой и можно сделать вывод, что в незапамятные времена Великий Бре иногда появлялся на земле в человеческом облике.

– Картина, написанная до Мрака? – завороженно спросила Анастасия.

– Кто это может определить? – грустно усмехнулась Сандра. – Уверенным можно быть в одном – в счете времени. Спасибо звездочетам. Их хроники уходят в прошлое на четыреста тридцать лет. Правда, является ли Год Первый хроник годом конца Мрака, не знает никто.

– Родовые хроники уходят в прошлое самое большее на триста пятьдесят лет, – вставила Анастасия.

– Вот именно.

– Вы столько знаете, милорд Сандра…

– Глупости. Мне как–то пришло в голову – я знаю только то, что ничего не знаю. Знаю, что передо мной – пропасть, бездна Незнания. Но вот что мне очень хотелось бы знать – откуда в нас это яростное желание, эта бешеная жажда Знания, которая оказывается сильнее всех пыток и костров? Если в нас ее заложил Великий Бре, почему он не наделил вместе с жаждой знаний и способностями ее утолять? Очередное испытание роду человеческому?

– Но все же, все же? – жадно спросила Анастасия. – Что еще вы знаете?

– Великий Бре, перед нами Мрак! – в сердцах сказала Сандра. – Мифов и легенд превеликое множество, но невозможно определить, какие из них – пусть искаженные, но отголоски далекой чужой жизни. Какова величина земли? В одном обрывке старинной книги на это дается ответ – тысячи километров. Но никто не знает, что такое километр – мера длины? Дневной конский переход?

– Старые книги?

– Большей частью вздор, – махнула рукой Сандра. – Уцелевшие страницы, серединки истлевших книг. Они только напускают тумана. Вообрази себе, каково читать: муж приходит домой пьяный и бьет жену! Муж бьет жену! Написали бы еще, что муж рожает!

Анастасия звонко рассмеялась.

– Самые простые понятия забыты. – Сандра досадливо поморщилась. – Сколько раз я читала, что женщины раньше носили «платье». Она снимала платье. Платье до пола. Платье до колен. Платье выше колен. Это, должно быть, вроде рубашки, но к чему поверх штанов еще и рубашка до пола?

– Мода? – предположила Анастасия.

– Хру его ведает! А исконный рыцарский девиз: «Я и лошадь, я и бык, я и баба и мужик!» Что–то же это должно означать?! Не могли же наши предки взять с потолка рифмованные строчки?

Славные предки, славные Секретари… Что такое Секретари? Почему они были только Первые, Вторые и Третьи, а о Четвертых или Пятых никто и слыхом не слыхивал? Миллион вопросов. К примеру – «горком», судя по некоторым источникам, в древности был не укрепленным замком князя или рыцаря, а чем–то совершенно другим. Чем? Миллион вопросов… Сама, думаю, понимаешь.

– Значит, вы – в Оппозиции? – затаив дыхание, еле выговорила Анастасия запретное слово.

Самые разные слухи кружили о загадочной Оппозиции – тайном обществе посвященных рыцарей, где вместо Кодекса почитают еретическое учение Уклон, где лелеют запретные знания и знают ответы на все вопросы.

– Болтовня юных оруженосцев после вечерней зари, – отмахнулась Сандра. – Нет никакого Уклона, а все попытки создать Оппозицию кончались крахом – все проекты как–то тихо и незаметно умирают сами по себе, неизвестно почему. Скорее всего – слишком мало знаний, чтобы возвести фундамент серьезного учения или сопротивления. А что за союз инакомыслящих без учения–фундамента?

– А почему бы просто–напросто не поехать к Закатному Морю?

– Вот о твоей клятве мы и поговорим. Ты, надеюсь, не думаешь, что тебе первой это пришло в голову? Были такие смельчаки во все века… Но ни один не вернулся. Во–первых, летописи не врут – в закатной стороне и в самом деле наверняка хватает неизвестных опасностей, загадочных и смертельных. А во–вторых… Ты ведь, скорее всего, собираешься, как и положено рыцарю в такой ситуации, вернуться домой, рассказать все родителям, получить благословение, собрать отряд и снарядить его? Да? Как раз поэтому твой путь может прерваться еще до вступления на Неизвестные Земли, еще в пределах Империи…

– Жрецы? – спросила Анастасия.

– Они. Серые Кардиналы, сколько их ни есть, почему–то не выносят рыцарей, путешествующих к Закатному Морю. Может быть, потому ни один рыцарь и не вернулся…

– Вы хотите сказать, что мне не доехать? Что все предрешено и обречено?

– Как знать… Если выедешь завтра и поскачешь не домой на восход, а прямо на закат, если будешь держаться вдали от Тракта – как знать… Пока спохватятся, пока прикинут и обсудят, пока снарядят погоню… Несколько дней у тебя, во всяком случае, будут. Хочется верить…

– Хочется верить, – повторила Анастасия. – Однако… Милорд

Сандра, уверены ли вы, что перед нами – путь обретений, а не утрат?

– То есть?

– Предположим, мы узнаем, докажем неопровержимо, что жизнь до Мрака – не миф, что жили некогда Древние. И погибли. Вероятнее всего, погибли, оставив жалкую горсточку не помнящих родства, заложивших потом мир, в котором мы живем… Но что, если Знание об их жизни и кончине не обогатит нас, а наполнит ужасом перед познанным? Ведь возможно и такое?

Она остановилась посреди комнаты, в лунном багровом сиянии, замерла, как струнка, готовая отозваться на легкое прикосновение, посторонний звук поблизости. Сандра приглядывалась к ней устало и печально.

– Так как же? – спросила Анастасия.

– Ты умна, – тихонько сказала Сандра. – Ты умеешь смотреть в корень. По пальцам можно пересчитать тех, кто задавался этим вопросом. Обычно думают только о Знании, жажда его так сильна…

– Я знаю, – сказала Анастасия, – Я потому и еду. Впрочем, я уже… когда поклялась…

– Тогда – не мешкай.

– Мешкать не буду, – сказала Анастасия. – Меня, кажется, угораздило повздорить с Серым Кардиналом.

– Что?!

Анастасия рассказала кратко. Потом добавила:

– Вообще–то я могла и ошибиться…

– А если ты не ошиблась, – тебе не показалась странной ее к тебе вражда?

– Еще бы. Все выпады насчет моей мужественности – не более чем предлог?

– Ох, похоже, – сказала Сандра. – Быть может, твои связи с Копателями… Доказать их наверняка еще не доказали, иначе не сидеть бы тебе здесь так беззаботно. Но что–то они пронюхали, какие–то ниточки потянули. А тут еще твоя Ольга…

– Олька–то при чем?

– Так ты не знала? – На сей раз Сандра выглядела нешуточно удивленной. – Понимаешь ли, о твоем оруженосце давно кружат нехорошие слухи. Подозревают в мужественности относительно мужчин.

– Это еще что такое?

– Есть такое извращение, – сказала Сандра. – Женщины хрупкого мужественного сложения, вроде твоей Ольги, выбирают мужчин сильных, женственного сложения. Говорят, женщина при

этом даже с удовольствием готова оказаться внизу.

– Женщина внизу? – фыркнула Анастасия. – Это уже ни в какие ворота не лезет! Женщина всегда сверху именно в ознаменование своей роли сильного пола…

– И тем не менее такое извращение существует. И твою Ольгу подозревают в том всерьез. И в связях с еретиками тоже – почему-то именно женственные мужчины чаще всего оказываются в рядах еретиков и диссидентов, извращение и ересь шествуют бок о бок… Одно к одному, полешко к полешку – а там и костер. Ты знаешь, сколько нужно сложить поленьев, чтобы «охапка полешек» стала «костром»?

– Нет, – сказала Анастасия, чувствуя сухость во рту.

– Вот видишь… И никто не знает… кроме Серых Кардиналов. Точнее говоря, только они одни могут повелеть считать костром любое количество поленьев, какое сочтут нужным.

– Понятно, – сказала Анастасия. – Значит, выезжать мне не позднее завтрашнего рассвета, я так понимаю…

– Лучше всего так и сделать, – склонила голову Сандра. – Не стоит рисковать. Особенно теперь.

– Но мне…

– Все, что тебе понадобится, уже лежит в твоих вьюках, – сказала Сандра. – Припасы, стрелы, все прочее… Благодарить не нужно. Отблагодаришь тем, что вернешься. Я ухожу. Удачи.

– Подождите! Я… – Анастасия мучительно искала слова, но в голове образовалась жуткая пустота.

– Не нужно. К чему лишние слова, все эти долгие прочувствованные прощания? – Сандра забрала со стола кожаные перчатки с раструбами и встала. – Тебе это ничем не поможет и не вдохновит, а я лишний раз буду терзаться мыслями об упущенном в молодости, о том, на что сама так никогда и не решилась. Удачи тебе.

Она резко повернулась, так, что над полом взметнулся черный плащ с оранжевым мифическим чудищем слоном. Через миг ее уже не было в комнате, дверь затворилась плавно и беззвучно. Показалось, что и не было никакой Сандры – морок, сон, ночное наваждение.

Анастасия стояла в багровом сиянии, опустив руки. Только сейчас она осознала, что все всерьез, все неотвратимо, что завтра она, выезжая из городских ворот, свернет направо, в сторону заката, и ее судьба отныне – скакать за плывущим к горизонту Ликом Великого Бре. Страха она не испытывала – но казалось, что парит над полом, не ощущая его, взмывает, как легкий и горький дым костра.

Верстовой столб 4.

Бугор

А ты проснись на рубеже какой–то смутной веры…

Н. Тряпкин

Потом она вспомнила про Ольгу и вернула себя, тело и мысли, в реальный мир. Тихонько выскользнула в полутемный коридор, освещенный лишь двумя тусклыми светильниками в противоположных его концах, прокралась к двери Ольги и легонько толкнула ее ладонью. Дверь не поддалась. Прикусив нижнюю губу, Анастасия, не раздумывая долго, вынула из сапожка кинжал, осторожно просунула лезвие в щель, приподняла им кованый крючок, нажала рукой. Дверь отворилась беззвучно – трактирщик не жалела масла на петли. «Грабителем бы тебе быть, княжна», – подумала Анастасия, змейкой проскальзывая внутрь. Накинула крючок.

В комнате – багровое сияние Луны и тишина. На подушке – две головы, чернокудрая и светлая. Анастасия оглянулась, присела в свободное от одежды кресло. Закинула ногу на ногу. Всмотрелась в спящих, покачивая носком сапожка. Обнаженная рука мужчины лежала поверх покрывала – мускулистая, совсем не мужская.

Жаль, что оказался свидетель, но времени нет, выезжать нужно на рассвете, а до рассвета рукой подать. Ничего, Ольку можно для разговора увести в свою комнату. Анастасия встала, бесшумно шагнула вперед и тихо позвала:

– Олька!

Словно она дернула за невидимую ниточку. Светлая голова мгновенно взметнулась с подушки, а рука нырнула под подушку. Багровый лунный блик сверкнул на лезвии ножа. Не успев ничего осознать, Анастасия привычно уклонилась. Нож просвистел рядом и с противным глухим стуком вошел в стену, отнюдь не бумажную. «Ничего себе мужик!» – по инерции подумала Анастасия удивленно и зло, а ее тело опытного бойца само метнулось вперед.

Она приставила кинжал к горлу мужчины и тихонько посоветовала:

– Тихо–тихо, тихо… Соседей перебудим.

Как ни странно, казалось, именно опасность разбудить соседей и заставила его замереть. Только глаза свидетельствовали, как он жалеет, что не умеет убивать взглядом, испепелять. Наверняка, та еще пташка…

Тем временем проснулась Ольга, вскинулась, зажала ладонью рот, заглушая крик. Глазищи стали в пол–лица, но страх тут же пропал из них – она узнала Анастасию.

– Очень мило, – тихонько сказала Анастасия, не спуская глаз

с мужчины и по–прежнему сторожа кинжалом его горло. – Это ж надо – тянуть в постель такое вот сокровище, которое спросонья бросается ножиками… Где ты его выкопала? А если я его сейчас за такие штучки…

– Не смей! – шепотом вскрикнула Ольга. – Иначе я тебя убью!

– Приятно слышать, – сказала Анастасия. – Похоже, я своего оруженосца и не знала… А если я Красных Дьяволят позову? (Мужчина напрягся.) Лежать! Рыцарь шутит. Господа мои, вам не кажется, что ситуация создалась ужасно щекотливая? Как мы из нее будем выпутываться, знает кто–нибудь?

– Я думал… – начал мужчина (Анастасия чуть отвела лезвие от его горла). – Ну, если бы я знал, что это ты, я бы не стал вот так…

– Великолепно, – сказала Анастасия. – Прелестно. Изумительно. Значит, у меня в ваших еретических кругах репутация своего человека?

– Рассказала? – не решаясь повернуть голову, мужчина с упреком скосил на Ольгу глаза.

– Да нет, – ответила за нее Анастасия, отступила на два шага. – Сама догадалась, трудно разве? Ну вот что, вы, оба. Вылезайте–ка из постели, и побеседуем. Право же, самое время.

Она не собиралась отворачиваться – кто знает, что еще может выкинуть этот тип и сколько у него ножей, – но мужчина, к ее удивлению, преспокойно вылез обнаженным из постели и неторопливо оделся на ее глазах без тени обычной мужской стыдливости. «Еще один извращенец, – сердито подумала Анастасия. – Или просто распущен сверх меры».

Из предосторожности она уселась поодаль, рядом с висевшим на стене мечом Ольги. Оглядела их, сидящих напротив, встревоженных, но не выглядевших виноватыми, и сказала, гася напускной бравадой последние сомнения и тоску:

– Дела такие, Олька. Я уезжаю к Закатному Морю. На рассвете. Не откладывая. Принуждать никого не могу…

Она ожидала чего угодно, но не этой вспыхнувшей в глазах Ольги радостной готовности:

– Я с тобой! – Ни капли удивления!

– Ты что, всю жизнь мечтала о таком путешествии? – опросила Анастасия.

– Ну, не всю жизнь, с некоторых пор…

– Вот именно, – хмуро сказал мужчина.

– А ты бы помолчал, как тебе и положено, пока идет женский разговор, – не сдержалась Анастасия.

– А если я считаю, что по–другому положено?

– И у тебя, понятно, есть подлинные летописи Древних, где

черным по белому записано, что до Мрака мужчины и лежали сверху, и сильным полом были? – медовым голоском спросила Анастасия, и эта невинность тона была похлеще издевки. И мужчина это понял. Он сказал хмуро:

– Нет. Ничего подобного у меня нет.

– В таком случае, на чем твоя нахальная уверенность основана, прости меня?

– На снах и убеждениях.

– Убеждения, конечно, вещь хорошая, – сказала Анастасия. – Но к ним бы еще и доказательства…

– А у тебя есть доказательства, что с Великим Бре все обстояло так, как учат жрецы?

– Нет, – честно призналась Анастасия.

– Вот видишь. У вас свои жрецы, у нас свои.

– Логично, – сказала Анастасия. – Но коли в Соборах прославляют Великого Бре, а не ваши догмы, не следует ли отсюда, что правы наши жрецы?

– Это как посмотреть. Временная победа еще не означает…

– Не надо, – сказала Анастасия. – Не будем. Знаешь ли я чуточку наслышана об умении еретиков вести длиннейшие дискуссии. Вы в них поднаторели, я знаю. А я – рыцарь. Я человек дела. Да и некогда мне с тобой дискутировать. С рассветом я должна быть в пути. А теперь объясни–ка мне, Олечка, отчего это ты так спокойно и радостно встретила весть о путешествии к Закатному Морю?

Вместо ответа Ольга обернулась к мужчине, и он заговорил – с явственно различимой ноткой снисходительности.

Анастасия готова была вспылить, но превозмогла себя и молча слушала.

– Жрецы вас обманывают, – говорил он. – Гологоловый Хру вовсе не злой дух, а былой сподвижник Великого Бре, его названный брат. Творя мир, они поссорились, и Гологоловый Хру хотел увести веривших ему за Бугор.

– Это куда еще? – скептически усмехнулась Анастасия.

– Далеко, далеко, у Закатного Моря, высится Бугор. А за Бугром есть все, там живут счастливо и богато, там сверкающие повозки силой волшебства ездят без лошадей, а сверкающие ящики поют без спрятанных внутри певцов – стоит только произнести заклинание. Там много невиданной одежды, много невиданных яств и питий. Давным–давно, у Начала Времен, Гологоловый Хру хотел увести преданных ему за Бугор, дабы вкусили они полными горстями из полных чаш, – мужчина говорил с запалом, с жаром, даже снисходительность пропала. – Но коварный Бре послал на землю Мрак, а потом представил все

так, будто он и создал землю и скалы, людей и животных. На самом деле все сущее создал Гологоловый Хру из священного кукурузного початка, упавшего с небес – и листья початка стали реками, кочерыжка – землей, а зерна – живыми существами. Но жрецы Великого Бре скрыли от вас и эти истины, и путь за Бугор, растоптали саму память о нем. И только мы, Диссиденты, помним. И многие из нас ушли туда, в землю обетованную, а другие остались, дабы распространять свет святой истинной веры.

Если честно, в голове у Анастасии был полный сумбур и ералаш. В речах Диссидента были свой резон и своя логика. Во всем, что касается Великого Бре, полагаться приходится исключительно на жрецов – а где чудеса и откровения с небес, где божественные доказательства? Однако невозможно сразу, с размаху, вдруг изгнать из разума и души с детства привычные истины и заменить их новообретенными. Сознание против такого бунтует, протестуют чувства, страх выплывает из глубин мысли, кружится голова–Анастасия наклонилась вперед и впилась взглядом в его лицо. Он стойко выдержал взгляд. Зато Анастасия – вот небывальщина! – ощутила тень смущения. И все же спросила твердо:

– А где доказательства?

– Доказательства – за Бугром. И чтобы попасть туда. вовсе не обязательно умирать, как это обстоит со Светлыя Завтра. Если ты дойдешь, все увидишь сама и уверуешь.

– Ну что ж… – сказала Анастасия. – Быть может, у тебя найдутся какие–нибудь описания предстоящего мне пути?

– Нет. Кто попадет туда, уже не возвращается, не в силах он уйти из страны счастья…

– И все же трудно поверить, – сказала Анастасия. – Очень трудно…

– Но ты ведь уже отважилась переступить некоторые запреты. Я о твоих связях с Копателями говорю. Они мне известны.

– Ох, все сложно… – вздохнула Анастасия и сообразила вдруг, что говорит с ним, как с равным – хотя он, судя по одежде, был из рода ремесленников. Более того, говорит с ним серьезно, как женщина с женщиной! Она выпрямилась, досадливо поморщившись: – Послушай, а не замышляешь ли ты к нам присоединиться?

– Увы, нет.

– Что так?

– Долг, – сказал он с неприкрытой тоской. – Понимал ешь ли, у меня свое место в этом мире, и старейшины считают, что покидать мне свое место пока что рано…

Анастасия хотела съязвить, но посмотрела на него

пристальнее и отвела глаза, смутившись перед этой неприкрытой и нешуточной грустью. Великий Бре, да что с ней сегодня творится, не узнает себя…

– Прелестно, – сказала она. – Говорили же старики – стоит раз связаться с еретиками, так и покатится… Кстати… – Она все же не решилась выпалить это одним духом, помедлила: – Кстати… – Она покосилась на распахнутое окно, багровый диск Луны, закончила деланно бодро и равнодушно: – А душу мою Гологоловый Хру покупать будет?

– Еще одна побасенка. Хру никогда и ни у кого не покупал душ. Зачем они ему? Он царит там, за Бугром. О чем ты еще хочешь спросить?

– Считалось – и мне нелегко расстаться с этой истиной, – что все сущее сотворил Великий Бре. Ты же уверяешь, что творец всего сущего – Гологоловый Хру. Что, если придет кто–то третий, кто уверен, что мир наш и все живое и неживое обязаны существованием… ну, хотя бы Блуднице Ан–Ах?

Он дернулся так, что Анастасия невольно положила руку на кинжал. И сказал в полный голос:

– Ересь! Как раз Хру победил и Ан–Ах, и Косматого Тро, но Бре украл у него эти победы! А еще…

– Тише, тише, за стеной проснутся, – сказала Анастасия. – Я пошутить хотела.

Но на самом деле эта мысль о третьем, вновь все ставящем с ног на голову, натолкнула ее на новые серьезные размышления. Если несколько истин объявляют себя подлинными, отвергая остальные, где же тогда Истина и в чем она? Нет, чем дальше, тем тверже убеждаешься – верить следует только тому, что увидела своими глазами. Пусть эти мысли считают еретическими те, кто в качестве доказательств пользуются исключительно словами. Пусть. Зато собственные глаза не лгут.

– Но я–то вернусь! – сказала Анастасия. – Ведь если не возвращаться, как оставшиеся узнают, что права я, а не они?

– То, что ты говоришь, – грех гордыни, – мягко попрекнул он.

– А возможна ли жизнь без грехов? – спросила Анастасия.

Он промолчал. Видимо, не имел на сей счет твердого мнения. Или его загадочные старейшины такового не имели.

– То–то, – сказала Анастасия скорее устало, чем злорадно.

Верстовой столб 5.

Там песок горюч…
Шагай пешком, не чуя ног,
и знай: в грядущем, озорник,
твой след, пролегший поперек
всех троп,тропинок и дорог,

поставит критику в тупик.

Л. де Грейфф

…и становилось все очевиднее, что заблудились они основательно. Вообще–то, карта для этой части Счастливой Империи была у них с собой (им еще не один день предстояло ехать по землям, подвластным деснице Императора фактически и формально), но они давно свернули с Тракта. А путешественник, намеренно или случайно свернувший с Тракта, порой вдруг обнаруживал, что старые лесные дороги, по которым он едет, чем дальше, тем гуще зарастают травой, а там и обрываются в порослях молодых сосенок. И наоборот, как–то незаметно возникают новые тропинки, неизвестно кем, когда и зачем проложенные. И завести они могут в самые неожиданные места – к жилищу отшельника, городу, разбойничьему лесному притону, купеческому складу, руднику, поместью дворянина, логову чудовища. Кому как повезет. Или кому как не повезет. Анастасия с Ольгой свернули с Тракта вполне намеренно, опасаясь погони Красных Дьяволят, и потому винить следовало лишь самих себя. Или, в крайнем случае, козни Гологолового Хру, как повелось. Страх перед Хру был, правда, чуточку поколеблен, но сейчас он готов был вновь напомнить о себе и захватить утраченные позиции – вокруг лес, лес, лес, иногда редевший, иногда непролазной чащобой стискивавший, душивший тропу, где два всадника не смогли бы держаться стремя в стремя.

Анастасия давно уже бросила поводья Росинанта, полагаясь на конское чутье. Однако незаметно было, чтобы конь чуял верный путь, – он просто шагал, размеренно и устало, плелись у его передних ног Бой и Горн, притихла Ольга, и два заводных коня понуро тащились на чембурах, отягощенные вьюками. Кавалькаду обуяло уныние. Шлем и кольчуга казались Анастасии непривычно тяжелыми. Лик Великого Бре отстоял от верхушек деревьев на высоту стрелы, не более.

Анастасия чувствовала себя скверно. Самое тяжелое в трудной и опасной дороге – первые шаги, первые переходы, когда ничего еще не ясно, когда опасности зыбки, туманны, не оформились в целое, неизвестны друзья и враги, и не вкусил еще радости первых побед и поучительной горечи первых поражений. Неизвестность. Самое тяжелое в жизни.

Поэтому Анастасия обрадовалась, когда Росинант вдруг поднял голову, шумно понюхал воздух и фыркнул. Вынула лук и наложила стрелу на тетиву. Поводьев не касалась. Ждала. Размеренно постукивали копыта. Насторожились собаки.

Лес редел. Ползли минуты, а все оставалось по–прежнему. Будь впереди звери или люди, иначе вели бы себя боевой

рыцарский конь и привыкшие к странствиям псы, встречавшие и разбойников, и хищное зверье. Сейчас же Анастасия не знала, что и думать.

Ну вот, что–то определилось. Тропка, давно уже ставшая едва различимой, сейчас исчезла совсем. Впереди было дикое редколесье – но что–то там виднелось впереди, непонятное. Что–то продолговатое, и что–то блестящее вдали. Несомненно, дело рук человеческих. Анастасия обернулась, встретила взгляд оживившейся Ольги и кивнула:

– Вперед!

Она крупной рысью вылетела на опушку и остановила коня. Стремя Ольги звякнуло о ее левое стремя. Натянув луки, они всматривались. Оторопело переглянулись и снова уставились туда.

В несколько рядов стояли странные, удивительные предметы. Больше всего они походили на гигантские колбасы с аккуратньми рядами дырок по бокам – и одни дыры, зиявшие, позволяли разглядеть, что колбасы внутри пустые, а другие дыры закрыты мутным… стеклом? По бокам у колбас – нечто, напоминавшее гигантские плавники, отклоненные назад, и одни плавники отвалились, лежат рядом, помаленьку рассыпаясь в пыль, а другие пока что держатся. Хвосты колбас увенчаны косыми вертикальными плавниками, и на них – еще плавники, горизонтальные, и некоторые отвалились, а другие нет. На хвостах виднеются еще округлые спаренные бочки. Одни предметы стоят на трех подпорках с колесами – две подпорки под плавниками, одна под носом. Другие лежат брюхом на земле, развалились на части – видно, что у них были свои подпорки, но подломились. Все это брошено давным–давно – повсюду запустение, тлен, земля под предметами и далеко вокруг покрыта чем–то, некогда твердым и ровным, а сейчас потрескавшимся, и в трещины буйно проросла высокая сочная трава, а кое–где поднимаются и деревца. Одно выросло прямо сквозь «колбасу». Подальше, слева – серые руины огромного здания. Невозможно уже понять, как оно выглядело, когда было новьм. Вдали – ряд тускло поблескивающих круглых строений без дверей и окон, с плоскими крышами, больше похожих на перевернутые вверх дном исполинские ведра.

– Слушай, это все старое, – тихо сказала Ольга. – Ужасно старое. Гниль и ржавчина. Может, это Древние?

Вместо ответа Анастасия натянула тетиву и выстрелила. Стрела пробила бок ближайшей «колбасы», вылетела с другой стороны и упала наземь далеко позади предмета, на таком расстоянии, которое примерно и пролетит пущенная с таким

усилием стрела. Взвились облачка трухи, остались дыры с кулак. Миг тишины, и предмет даже не рухнул – осел, рассыпался на крупные обломки, тут же раскрошившиеся при ударе оземь, словно подрезали невидимую становую жилу, на которой все держалось.

– Гниль, – сказала Анастасия. – Точно.

Вложила лук в саадак и затрубила. Хриплый рев боевого рога пронесся над полем и загадочными предметами, утих вдали. Треща крыльями, из серых руин взвилась ворона, унеслась прочь. Бой глухо рычал.

– Быть может, это все от Древних осталось, – сказала Анастасия. – Только что это?

– Такие дома?

– А где к ним лестницы? Где трубы?

– И все равно – ни на что больше это не похоже, только на дома. Может, лестницы они потом убирали внутрь, как залезут, – что мы знаем о Древних?

– Твоя правда, – сказала Анастасия. – Не знаем ничегошеньки. И ничего не узнаем – что тут поймешь? Одна труха.

– А вон там? Те блестящие? Это даже больше похоже на дома.

– Скорее на башни, только низкие какие–то… Поехали? Всадницы двинулись вперед, далеко объезжая загадочные исполинские предметы – казалось, они готовы развалиться от негромкого перестука копыт. Пытались рассмотреть, что же таится внутри – похоже, ряды тесно сдвинутых кресел с низкими спинками.

– Может, это храм? – спросила Анастасия, невольно понижая голос. – Они там садились и молились?

– Тогда там, впереди должны быть алтари? Попробуем?

– А не завалит?

– Осторожненько…

Они слезли с коней, на цыпочках приблизились к предмету с подломившимися подпорками и заглянули внутрь. Мутное стекло едва пропускало свет.

– Ну, вот видишь, – сказала Анастасия. – Там, позади, много кресел, и все рядами, а здесь – только два. Похоже, тут и сидели жрецы. Что–то вроде алтаря. Вот, сплошь кругляшки стеклянные, рогатины какие–то… И написано что–то… Нет, не разобрать. Буквы очень уж мелкие.

– Я залезу внутрь?

– Нет уж, – сказала Анастасия. – Не вздумай. Все–таки храм. Кто там знает насчет богов Древних и их силы…

Она все глубже погружалась в самую откровенную ересь.

Точнее, старая вера, не больно–то крепкая, помаленьку таяла, а взамен не приходило ничего – одни загадки и Неизвестность.

Блестящие строения оказались и в самом деле домами без окон, без дверей. Исполинские ведра. Анастасия постучала в выпуклую стену кулаком. Звук получился глухой, как бывает, когда стучишь в наполненную до краев бочку.

– Вот теперь ничегошеньки не понимаю, – сказала она. – Если это дома – где двери? Если башни – где лестницы наверх? И в какой это печи можно выплавить столь огромный лист железа? Великаны тут жили, что ли? Но кресла–то – для обычных людей. И почему железо не заржавело?

– Может быть, в них ведут подземные ходы? И получается абсолютно неприступная башня.

– Может быть. Как, собачки?

Но Бой с Горном шныряли неподалеку, и древние башни их не интересовали. Девушки переглянулись. Узнать больше невозможно, но и уезжать не хочется. Анастасия пошла вдоль выпуклой металлической стены, ведя по ней ладонью, и вдруг остановилась как вкопанная.

– Ольга! – сказала она. – А ведь стены не из цельного листа сделаны. Посмотри, вот тут как бы стык. И вон там… Везде.

– Точно!

– Только как они листы соединяли? Заклепок не видно.

– А вот мы сейчас и посмотрим, – сказала Анастасия. Она отцепила от седла боевой топор с лезвием–полумесяцем, наточенным перед поездкой до того, что над острием, казалось, дрожат и завиваются струйки рассеченного воздуха. Сжала обеими руками древко, размахнулась как следует. Лезвие высекло искры, металлическая стена загудела. Посильнее упершись в землю каблуками, Анастасия рубила и рубила, целя в одно место, и топор вдруг ушел внутрь по самый обух. Анастасия пошатнулась, выдернула топор и отскочила – из дыры хлестнула струя прозрачной жидкости. Резко пахнуло чем–то непонятным, запах был диковинный, но никак не омерзительный. Девушки отступили – лужица прозрачной жидкости растекалась, ширилась. Собаки отбежали еще дальше – запах им не нравился. Лошади всхрапнули, попятились.

– Несет, как в мастерской у алхимика.

– Ты и с алхимиками зналась? – фыркнула Анастасия.

– Там песок горюч и горит вода… – нараспев сказала Ольга. – Есть такая строчка в одном старом химическом трактате «О природе и свойствах легендарных вещей», кажется. Может, и эта вода горит, если поджечь?

Анастасия нагнулась, окунула палец в прозрачную лужицу,

осторожно лизнула его.

Отплевывалась она долго и старательно. Вкус мерзейший – хоть отчищай язык песком. Сочувственно наблюдавшая за ней Ольга повторять алхимический опыт не решилась.

– Пакость? – спросила она не без любопытства.

– Не то слово. – Анастасия, высунув язык как можно дальше, что есть силы терла его платком. Скомкала платок и далеко отшвырнула в сердцах. – Фу, погань! Нет, это не могло служить для питья. Врагов таким травить…

– Давай попробуем поджечь? – предложила Ольга.. – Вдруг это та самая горючая вода из легенд?

Анастасия задумчиво наматывала на палец прядь золотых волос, стекавших из–под шлема по кольчуге почти до пояса. Ей самой ужасно хотелось посмотреть, как горит вода. Некоторые апокрифы гласят, что Великий Бре каждый год посылал на землю реки огненной воды – правда, неизвестно, зачем он это делал и как это зрелище выглядело. Если в наказание – непонятно, в чем оно заключалось. Если в благодеяния – какая и кому от того польза? Может быть, люди тогда не знали еще огня и грелись у пылающих потоков? Наверное, это было красиво – пылающая во мраке река огненной воды…

– Ну давай! – настаивала Ольга.

– Давай! – азартно махнула рукой Анастасия. – Только осторожнее. – Она задрала голову. – Больно уж много воды в этой башне.

К делу приступили со всеми предосторожностями. Ольга высекла огонь, подожгла намотанную на стрелу сухую ветошь и пустила стрелу шагов с тридцати. И… Моментально взметнулось гудящее пламя, прозрачное, бездымное. Всхрапнули и попятились кони. Крохотные отражения пламени плясали в их огромных глазах. Собаки повизгивали, отбежав подальше.

Пламя притягивает и завораживает, это знают все. В костер, в очаг можно глядеть часами. Анастасия с Ольгой застыли, не в силах отвести глаза. Пылающая струя текла из прорубленной дыры, огонь лизал выпуклую стену. Зрелище было волшебное – горела вода! – но постепенно Анастасия ощутила смутную тревогу, давящее неудобство в сердце и мыслях. Неясную опасность. Словно что–то забытое просыпалось в ней, властно гнало прочь, подальше от этого места. Она тряхнула головой, прогоняя наваждение. Но оно не проходило. Щеки раскраснелись от жара. Смутная тревога крепла.

– Что–то мне не по себе… – пожаловалась Ольга, и Анастасия с радостью ухватилась за эти слова.

– Отъедем–ка подальше, – сказала она. – Неладно что–то…

Отъехали к самому лесу, где дожидались привязанные к деревьям заводные лошади. Не спешиваясь, ждали – неизвестно ничего. И ускакать хотелось, и удерживало что–то, ощущение незавершенности. Анастасия сняла островерхий шлем с золотым серпом–и–молотом на шишаке, рассеянно пригладила упавшие на лоб волосы.

– Может, Древние эту воду наливали в лампады, – сказала она. – В этих вот храмах. Нет дыма – значит, нет и копоти, а у нас…

Грохнуло так, словно земля раскололась от страшного удара изнутри. Шлем выпал из рук Анастасии, покатился под копыта. Росинант взмыл на дыбы, истошно заржал, Анастасия всем телом навалилась ему на шею, пригибая вниз, и видела, как там, впереди, на месте круглой башни вспухло черно–багровое облако, пронизанное ярко–желтыми вспышками; что–то мощно прожужжало неподалеку, обрушилось на лес, и совсем рядом, с треском ломая молодой подлесок, повалилась развесистая крона старой ели.

Анастасия наконец справилась с конем. Дрожащими пальцами гладила его теплую шею. Сердце отчаянно колотилось.

На месте башни торчали из пламени и дыма скрученные лохмотья искореженного железа. Дым густыми клубами тянулся под облака. Собаки зло гавкали на него, поджав хвосты.

– Н–ничего с–с–себе водичка, – еле выговорила Ольга, отчаянно пытаясь улыбнуться, но получалось это у нее плохо.

– Представляю, каков же горючий песок, если горючая вода – вот такая… – Анастасия спрыгнула с коня и сердито подобрала шлем. – Если бы мы остались рядом… – Ее прошиб озноб запоздалого ужаса. – Горелые косточки остались бы. Ну ничего, впредь урок – не соваться поджигать что попало.

– А если мы оскорбили древних богов? – спросила Ольга. – Если в башнях – горючая вода для лампад, и боги обиделись, боги остаются богами, даже если храмы – в запустении…

Анастасия вложила ногу в стремя и привычно взмыла в седло. Нахлобучила шлем.

– Как знать, – ответила она тихо. – Если до Мрака что–то было, какая–то жизнь, то должны же были у них быть какие–то боги? – Она оглянулась на дымящиеся остатки башни–чана и истлевшие странные храмы. – Лучше нам отсюда убраться, ночь близится…

Верстовой столб 6.
Осенний снегопад
Нелепое звено
из рода небылиц —

и все–таки одно
из действующих лиц…
Ю. Левитанский

Сначала это была таинственная белая полоса на горизонте. Чем ближе они подъезжали, тем больше это походило на снег, чистый, пышный, нетронутый. Из снега торчали низкие голые деревья. Снег висел на ветках пышными караваями.

Анастасия натянула поводья. Такого они еще в жизни не видели. Посреди обычной жаркой осени вдруг оказался лоскут, аккуратно вырезанный из зимы волшебными ножницами и уложенный на зеленую траву. Невидимая граница, четкий рубеж, словно прозрачнейшая стеклянная стена разделяет два времени года, которым в жизни не положено существовать, так вот, бок о бок. В вышине – жаркий Лик Великого Бре. Под копытами коней торная дорога, по обочинам в высокой траве надрываются кузнечики, треща погремушками на хвостах. Но стоит сделать шаг вперед – и окажешься в зиме, на белоснежном пушистом снегу.

– Ну уж если это не волшебство, то я не знаю, что волшебством и назвать… – сказала Ольга. Анастасия нахмурилась:

– Но ведь на карте ничего подобного нет! Мы все еще в Счастливой Империи!

Помолчали, надеясь, что разгадка сама придет в голову, но обе осознавали тщету этих надежд. Объехать заколдованное место невозможно – снежная равнина тянется в обе стороны, насколько достигает взгляд.

– В летописях – ни о чем похожем ни слова, – сказала Ольга. – Сроду о таком не слышала. Может, все из–за храмов? Кого–то мы прогневали…

– Ну а что делать? – сказала Анастасия. – Ехать в объезд? Но где он? Назад поворачивать тоже нельзя…

Все сомнения и страхи разрешил Бой, любивший зиму. Он вдруг рванулся вперед, и вот он уже в зиме, носится вокруг деревьев, взметая снег, радостно гавкая. Горн побежал за братом, и они пустились вперегонки, барахтались, враз разрушив девственную белизну снега.

– Ну, поехали? – сказала Анастасия.

И кавалькада тронулась. Сразу повеяло холодом, и они встревожились поначалу, зимней одежды у них, понятно, не было – кто мог предполагать? Только дорожные плащи лежали во вьюках.

Но холод, в общем, был умеренный, отнюдь не мороз. Они достали плащи, укутались, и стало тепло. Повсюду снег, но

мороза нет. Снег, однако, не тает, как ему неминуемо полагалось бы при такой погоде. Зима, которая не зима, – злость берет от этой загадочной несообразности!

Поначалу они ничего тревожного не увидели. Потом стало ясно – вокруг что–то неладно. Подняв взгляд к Лику Великого Бре, Анастасия увидела, что он превратился в молочно–белый диск, не слепящий глаза. Этакая льдинка. Круг замороженного молока, какие лежат зимой в крестьянских дворах.

Ольга отъехала вправо и вдруг стала крохотной, куколкой–всадником на горизонте, словно с непостижимой скоростью вмиг перенеслась шагов на пятьсот отсюда. Анастасия невольно вскрикнула, и Ольга вновь оказалась рядом, глянула испуганно:

– Что такое?! Ты вдруг оказалась так далеко…

– Это ты, а не я!

– Нет, ты. Я отъехала на пару шагов, оборачиваюсь, – ты у горизонта!

– Лошади! – Анастасия резко обернулась. Заводных лошадей сзади не было. Только чистый, нетронутый снежок.

– Я думала, они идут следом, они же приучены… – растерянно начала Ольга и умолкла.

Анастасия приложила палец к губам. Хруст снега. Вскоре лошади, словно возникнув из прозрачного воздуха, преспокойно подошли и остановились рядом.

– Возьми–ка ты их на чембур, – сказала Анастасия. – И держись поближе ко мне. Стой, а собаки?!

Она взяла рог, отогрела в ладонях застывший металл, приложила к губам и затрубила что есть силы.

– А если это примут за вызов на бой? – спросила Ольга.

– Кто?

– Тот, кто здесь, кто все это…

– Ну, тогда будем биться. Мы же рыцари, не забыла, часом? – Анастасия пыталась говорить бодро и решительно, хотя на душе скребли кошки.

Бой и Горн возникли из воздуха. Вновь беззаботно отбежали, вмиг превратившись в крошечные точки.

– Воздух здесь какой–то не такой, что ли? – жалобно сказала Ольга. – Раз – и уменьшает. Я же ясно слышала, как твоя уздечка звякает, конь ступает, отъехала–то на пару шагов…

– Ладно, помолчим, – сквозь зубы сказала Анастасия. – Думаешь, мне все это нравится или что–то мне понятно?

Повалили первые снежинки – сначала вроде бы несмело, потом все гуще. Анастасия охнула – вместо Лика Великого Бре, белого диска, теперь висел в небе белый полумесяц, будто серпик растущей Луны. Но выпуклостью он был обращен вверх, а

острыми концами – к земле. Такой Луны Анастасия никогда не видела, ни о чем похожем не слышала. Обернулась к Ольге. Едва ее рассмотрела в снежной пелене – смутный силуэт всадника. Казалось, вперемежку с необычно огромными и снежными хлопьями падают клочья мрака – с каждым шагом коня вокруг становилось все темнее. Вот уже ничего не видно, протяни перед собой руку – и кожаная перчатка исчезает из вида, скрывается в мареве, в коловращении темноты и снегопада. Анастасия крикнула, зовя Ольгу. Ответа не дождалась. Отчаянно затрубила в рог, но проклятый снегопад, похоже, глушил звуки. Словно рог сплошь забит снегом. Анастасия осталась одна посреди темноты, пронизанной беззвучным вихреньем снежинок. Да и снежинки ли это? На шею коня, на плечи Анастасии падали огромные, с блюдце размером, дивной красоты хлопья, и двух одинаковых не было – фестоны, звезды с дюжиной лучей, загадочные украшения… и названий–то не подберешь! Невесомые, они тут же беззвучно разрушались, не оставляя влаги на конской гриве и плаще девушки.

Анастасия уже не сомневалась, что происходит нечто необычное. Снег таким не бывает. Мир человека таким не бывает. Такой не бывает явь. Ловушка? Расплата за какие–то старые грехи? Загробный мир?

Только бы не поддаться ужасу – обволокет, сомнет, лишит разума и воли… Но что делать? Она то трубила в рог, то кричала – ответа не было. Росинант шагал, как ни в чем не бывало, она ведь не останавливала его. Быть может, он давно сбился с прямой дороги и брел неизвестно куда, кружил и петлял. И полумесяца над головой уже не видно, ничего не видно, ни земли под копытами, ни неба. В отчаянии Анастасия выхватила меч, махнула по сторонам. Опомнилась и вложила его в ножны.

Снег, хоть это и казалось невозможным, повалил еще гуще – струями, водопадом, плотным потоком. Окутал, засыпал, стиснул. Конь исчез из–под нее, Анастасия провалилась в рыхлую пустоту и лишилась чувств, не успев вскрикнуть.

…Лица, рук, сомкнутых век коснулось ласковое тепло. Анастасия медленно приоткрыла глаза и тут же зажмурилась вновь от радужного многоцветья вокруг, ярких немигающих огней, колдовской роскоши и невиданных диковин. Неужели это и есть смерть, потустороннее бытие, Светлое Завтра? Или она спит, замерзая в буране, и угасающее сознание рисует картины тепла и уюта?

Во всяком случае, не сон. Это явь – все пять чувств о том свидетельствуют и, возможно, загадочное шестое… Но мир вокруг – иной, незнакомый, подавляющий ослепительной, небывалой

роскошью, какой Анастасия не видела и в императорском дворце.

Она украдкой озиралась сквозь опущенные ресницы, притворяясь, что не пришла еще в сознание. Она полулежала в огромном и очень мягком кресле, сделанном из неизвестного материала. Была в своей одежде – но доспехи и меч лежат поодаль. Слева – хрустальный столик, и на нем – прозрачные кубки с разноцветными жидкостями.

Комната огромна – скорее небольшой зал. Под потолком гигантская люстра – несколько ярусов затейливых хрустальных подвесок. Но люстра не горит, свет – ровный, немигающий свет – дают белые шары, вырастающие из стен на затейливых опорах цвета червонного золота (быть может, это золото и есть). Повсюду – ковры, золото, хрусталь, яркие мозаики, драгоценные камни небывалой величины.

Но вся эта роскошь показалась Анастасии вульгарной, аляповатым торжеством дурного вкуса или отсутствия вкуса.

Конечно, таинственные здешние хозяева могли иметь свой резон и привычки, но все равно – похоже на ухищрения в одночасье разбогатевшего выскочки, пытающегося поразить воображение, ослепить, бахвалиться. Золотая фигура льва чересчур велика и массивна даже для этого зала, слишком много на ней самоцветов, ничуть меж собой не гармонирующих. Чересчур велик и хрустальный стол в глубине зала, слишком много на нем золота и камней, и уж совсем ни к чему было водружать на него массивные золотые подсвечники – само собой разумеется, усыпанные огромными изумрудами и еще какими–то неизвестными Анастасии камнями. Каждый ковер сам по себе был бы прекрасен, но повешенные в ряд, чуть ли не в два слоя, они резали глаза какофонией красок и узоров. Рыцарские доспехи – из чистого золота, в каменьях. Ковры чересчур густо увешаны оружием – понятно, драгоценным, богато украшенным. Бедна фантазия у хозяина, бедна… Анастасия немного знала толк в искусстве, не раз бывала в мастерских скульпторов и художников, как рыцарю и положено. А этот неслыханно богатый зал был несказанно далек от искусства. Лакей разбогател.

Анастасия взяла со столика горсть ограненных прозрачных камешков с лесной орех величиной, повертела меж пальцами, поцарапала один край стеклянного кубка – бриллиант, понятно, оставляет на стекле след. Вот так, кучкой, числом в два десятка, камни просто не воспринимались, как драгоценности, как огромное богатство. Дурной вкус. Анастасия сердито бросила их на столик, они с сухим стуком раскатились по стеклянной доске, некоторые из камней упали на пол, но пушистый ковер заглушил звук падения.

– Вы пренебрегаете богатством? – раздался сзади вкрадчивый мужской голос.

Собрав всю силу воли и мужество, Анастасия обернулась нарочито медленно. Пришелец остановился перед ней в исполненной достоинства позе.

Он был величав и высок, аккуратная темная бородка обрамляла пухлое лицо. На плечи накинута волочащаяся по земле мантия из белого меха с рассыпанными по нему черными хвостиками. На голове – золотой венок из листьев неизвестного Анастасии дерева или кустарника, усыпанный бриллиантами. На груди – массивная золотая цепь в самоцветах. Опирался он на золотую трость с огромным рубином.

– Что все это значит? – резко спросила Анастасия. – Где я?

– В скромном замке вашего покорного слуги, королева моя. – Он поклонился, прошел несколько шагов, шурша мантией по полу, уселся в кресло напротив.

Анастасия прикусила губу, чтобы не рассмеяться – несмотря на всю грозную неизвестность происходящего. Едва он задвигался, зашагал, враз потерял оказавшееся напускным величие. Он изо всех сил старался выглядеть осанистым властелином – но казался скорее пронырливым слугой, напялившим в отсутствие хозяина его великолепные одежды. «Нет, он был хозяином здесь, это видно, это чувствуется, но видно еще, что он… как бы это выразить? – подумала Анастасия. – Словно все это досталось ему не по праву, словно он выскочка, захватчик, вселившийся в брошенный хозяевами дом, неожиданный наследник из глуши, исполняет роль, для которой по ничтожности своей никак не подходит». Такое уж он производит впечатление, и все тут. Холеное ничтожество. Анастасия не видела причин не доверять своей интуиции, тем более сейчас, когда все ее чувства обострили до предела неизвестность и страх. Она посмотрела ему прямо в глаза:

– Что все это значит? Как я сюда попала? Где мой оруженосец, собаки и кони?

– Я позволил себе пригласить вас в гости, королева моя…

– Я не королева и уж тем более не ваша! – гордо выпрямилась в кресле Анастасия.

– Прошу прощения. Итак, я позволил себе пригласить вас в гости. Быть может, несколько бесцеремонно, но в дальнейшем, надеюсь, вы простите мне эту поспешность, вызванную лишь восхищением вашей красотой… – Он вежливо развел руки, унизанные самоцветными перстнями. – О вашей спутнице, лошадях и собаках не беспокойтесь, все они здесь, в полной безопасности, можете убедиться. – Он плавно повел рукой в

сторону хрустального стола в глубине зала.

Анастасия решительно поднялась и быстрыми шагами пошла туда. Остановилась у стола. Охнула, подняв ладонь к губам.

Среди массивных безвкусных безделушек, маслянисто лоснящегося золота и крупных самоцветов стоял стеклянный колпак величиной с человеческую голову, а под ним… Под ним на чем–то зеленом лежала крохотная, как куколка, Ольга, – навзничь, глаза закрыты. Анастасия приблизила лицо к холодному стеклу, всматривалась до рези в глазах. Грудь Ольги размеренно поднималась и опускалась, она спала. Тут же лежали малюсенькие лошади и собаки–крохотулечки.

Вот тут Анастасии стало жутко по–настоящему, до дрожи в коленках и противного вкуса во рту. Но необходимо было держаться, взять себя в кулак и биться до последнего. Иначе… Чутье подсказывало, что иначе – ничего хорошего. Не о свободе или жизни речь, тут, похоже, все сложнее…

Анастасия, мимоходом бросив взгляд на доспехи и убедившись, что меч в ножнах лежит сверху, вернулась к креслу и села.

– Итак, меня пригласили в гости, – сказала она со вкрадчивой насмешкой. – Я не набивалась, но так уж, выходит, получилось… Кто вы?

– Вам страшно, – сказал он, сверля ее взглядом.

– Быть может, – сказала Анастасия. – Все на свете чего–нибудь да боятся. И я, и вы. Кто вы?

– Волшебник, – сказал он. – Король. Маг. Выбирайте, что хотите. Все будет правдой. Я – здешний властелин. Создаю все, что захочу.

– Как интересно, – сказала Анастасия, подняла руку ладонью вниз, невинно продолжила. – Хочу ловчего сокола. Всю жизнь мечтала его иметь, но они так редки, есть только у Императора.

На его полное лицо набежала тень. .

– Увы… – сказал он. – Я не бог и не всесилен. Живого я творить не умею. Хотите алмаз?

– Значит, живого вы творить не умеете…

– Зато могу творить с живым что угодно.

– Это, конечно, достоинство, – сказала Анастасия, усмехнулась про себя – кое–что важное она о нем все же выведала, и очень быстро. – Так что вам нужно?

Человек в золотом венке чуть заметно усмехнулся.

– Мне нужны вы, – сказал он небрежно, даже чуточку лениво. – Многое было, но все наскучило. Увидев вас, я понял – мне не хватало как раз такой златовласой синеглазой королевы… Подождите! – Он поднял ладонь, увидев ее Порывистый жест. – Я

прекрасно знаю глупые обычаи вашей так называемой Счастливой Империи – у вас там с чьей–то легкой руки завели матриархат…

– Что завели?

– Ах да, откуда вам знать… Да вот этот самый порядок, Когда женщины все решают и выбирают сами.

– Но ведь так было всегда, – сказала Анастасия. – Мужчины – слабый пол.

– Ну да, сейчас. Раньше все было иначе. До того, что вы называете Мраком… – Он вдруг громко, по–хозяйски, расхохотался и щелкнул пальцами.

Перед Анастасией, заслоняя от нее волшебника, повисло круглое зеркало в массивной золотой раме, и девушка увидела свое отражение – лицо исполнено невыразимого удивления, рот приоткрыт, широко распахнуты глаза. Словно маленькая девочка, которой показали немудреный фокус, потрясший ее до глубины души и принятый ею за чудо.

Анастасия сердито оттолкнула зеркало ладонью, и оно растаяло в воздухе.

– Простите мне этот смех, – сказал волшебник. – Но у вас был несколько смешной вид…

– Откуда вы знаете, что было до Мрака?

– Я до этого вашего Мрака жил, – сказал он совершенно спокойно, как ни в чем не бывало. – И потому, как вы понимаете, могу сравнивать.

– Но такого не может быть?!

– Почему? Только потому, что вы ничего об этом не знали? – Он наклонился вперед. – Я не властен над живым, но властен над временем! Смотрите!

Он взмахнул рукой. Перед Анастасией на высоте ее глаз словно распахнулось окно в иной мир. Перед ней проплывали улицы небывалых, волшебных городов – несчетные этажи высоченных домов из стекла, зеленые сады, сутолока ярко одетых людей – женщины в штанах и без штанов, в диковинных рубашках, с голыми загорелыми ногами, а у иных ноги покрыты какой–то черной паутиной; мужчины сплошь и рядом ничуть не похожи на мужчин – широкоплечие, сильные, а женщины, наоборот, хрупкие, тоненькие. Нигде не видно лошадей и повозок. Во все стороны ездят какие–то разноцветные, поблескивающие экипажи, без лошадей едут, сами по себе, и сквозь стекла видно, что внутри сидят люди. Чуть попозже Анастасия увидела храм вроде тех, на которые они с Ольгой набрели давеча, – но не ветхий, полусгнивший, а ярко раскрашенный, бело–синий! И он не стоял на земле – он ехал по гладкой серой полосе, не потрескавшейся, ровной, а потом

оторвался от нее и взлетел в небо, подпорки втянулись внутрь, и храм исчез в синеве! Это не здание, это летучий корабль!

Анастасия вскрикнула, зажмурилась, вцепилась в подлокотники, но они были слишком большими и круглыми, и пальцы на них не сходились. Услышав довольный смех волшебника, она с усилием открыла глаза.

– Что это было?

– Прошлое, – сказал он. – Пятьсот лет назад.

– Они ездили вот так… И летали…

– Даже на Луну, – сказал он. – И могли еще множество вещей, о которых вы и представления не имеете, потому что потеряли… Вы не понимаете, сколько потеряли и на кого сейчас похожи с этими вашими замками, конными плугами и масляными светильниками. Форменные дикари, право слово… Не сверкайте так на меня глазами, прелестная королева. Это правда, пусть и горькая. По сравнению с вашими далекими предками вы – невероятные дикари. Уж не посетуйте, дорогая Анастасия, но так оно и есть…

Анастасия чувствовала себя мерзко. Кусочек иной, многоцветной и диковинной жизни, пусть и увиденный мельком, убеждал. Как раз потому, что это был беглый взгляд. Если вполглаза удалось увидеть настоящие чудеса, чему же можно стать свидетелем, наблюдая прошлое долго и внимательно? Замки–горкомы, плуги, светильники – и неугасимый свет, повозки, ездящие сами по себе, летающие корабли, стоэтажные дома, полеты людей на Луну… Но куда все кануло, в какую пропасть? Какие силы могли смести с лица земли столь могущественные страны, не оставив о них и памяти?

Она поняла, что произнесла это вслух.

– Какие силы? – задумчиво повторил волшебник. – Хотел бы я это знать…

– Боги?

– Бросьте. Нет никаких богов. Ни одного.

– А Великий Бре?

Он расхохотался. Он смеялся долго и искренне, хохотал так, что с головы едва не слетел золотой венок. Жирные Щеки тряслись, прыгала на груди цепь.

Все еще хохоча, он щелкнул пальцами, и Анастасия вновь заглянула в прошлое. Очень старый человек со странным стеклянным приспособлением на носу, в странной одежде, что–то невнятно говорил, запинаясь и бубня, держа перед собой лист бумаги, – и на груди его золотились пять звезд на красных ленточках! Словно на шпиле Собора. Пять звезд, и еще какие–то золотые кружочки на цветных ленточках – с Правой стороны

груди. Он стоял на каком–то странном алтаре, а за его спиной сидели в несколько рядов такие же старики со скучными, усталыми и печальными лицами людей, угнетенных несварением желудка и закатом деятельных лет. Казалось, никто и не слушает бубнящего непонятные заклинания человека с пятью звездами на груди. Как ни вслушивалась Анастасия, она никак не могла понять, о чем бормочет этот старый и, похоже, очень больной человек – язык был ее, родной, но смысл слов ускользал, они никак не складывались в осмысленное целое, да и по отдельности ничего не значили. Заклинания? Молитва?

– Кто это? – спросила она, внезапно ощутив легкую жалость к больному старику, которому лежать бы в постели, а его вытащили на этот странный алтарь и заставили так долго говорить, повторять глупые заклинания.

– Да он и есть, ваш Великий Бре!

– Но как же это… – Анастасия понимала, что этот человек не может быть богом. Никак не может.

– Вот так. Вы просто все забыли, ваши предки все забыли. А из тех крохотных обрывочков памяти, что сохранились, вы, исказив их до полной неузнаваемости, создали настоящую религию. С богами, чудесами, приписываемыми им, храмами. Я понятно говорю?

– В общем, понятно, – сказала Анастасия. – Как же так, как же так могло быть… что же теперь…

Ей казалось, что из–под ног у нее выдернули землю, и она повисла в холодной пустоте среди холодных звезд. Неизвестно было, во что же теперь верить, чем заполнить пустоту, пришедшую на место пусть и подточенной еще раньше еретическими сомнениями веры. Мир перевернулся, исчезали все прежние точки опоры, идеалы, уклад жизни, память, исчезали доблести и грехи – потому что доблести могли оказаться бессмысленными, а грехи – отнюдь не грехами. В голове у Анастасии вихрился неописуемый сумбур. Странное дело. она не ощутила горечи от того, что рушились основы ее мира – скорее, тупую усталость. Быть может, ее прежнее якшанье с еретиками, сомнения, терзания, искания и привели к тому, что она перенесла миг крушения основ довольно спокойно. И признала его мигом крушения основ. Слишком много чудес, слишком много необычного обрушилось на нее. Предстояло либо сорваться в рыдания, либо перенести все стойко, с сухими глазами, как и положено рыцарю. Пусть они были беспамятными дикарями, все забывшими и переиначившими, но они оставались рыцарями! У них был свой мир, и он не перестанет существовать оттого, что оказался бледной тенью, беспамятным наследником иного, более

могучего, прекрасного и удивительного. Не исчезли добро и зло, жажда знаний, путешествий и подвигов. Что же, разбить, теперь голову о стену, броситься на меч? Нет! Как раз теперь она обязана жить! Разве не за Знанием она пустилась в опасные странствия? Разве она не чувствовала, что Знание может оказаться трудным и горьким? Все, кто гадал о существовании Древних и верил в них, в глубине души понимали, что давным–давно не обошлось без страшной катастрофы… Она подняла голову, встретила липучий взгляд волшебника.

– Вы хорошо держитесь.

– Я рыцарь, – холодно сказала Анастасия. – Как бы там ни было раньше… Что такое Мрак?

– Не знаю, смогу ли объяснить. Вернее, сможете ли вы понять, Анастасия.

– Я постараюсь. – Ее голос не дрожал.

– Видите ли… Прошлое, конечно, может представляться вам великолепным – эти дома, самолеты… В чем–то, конечно, оно было великолепным – так представлялось людям. Но Природа, похоже, оказалась другого мнения…

– Природа – это Бог? – вырвалось у Анастасии.

– Природа – это все живое, кроме человека. Это сложнейший организм, которым мы пытались управлять и разрушали, не понимая его величия и сложности. И Природа отомстила. Все, что обрушилось на наш мир, могли с вескими основаниями назвать божьей карой даже неверующие. Казалось, взбесилось все вокруг, само пространство и время сошли с ума, законы природы то ли вдруг перестали действовать, то ли сменились новыми, о которых мы до того и не подозревали. В разных концах земного шара… Анастасия вскинула удивленные глаза.

– Да, шара, – повторил он. – В разных концах земного шара происходило то, что хотелось назвать чудесами, это нарастало» как лавина, и целые города проваливались в ничто, звезды плясали на небе, над Эйфелевой башней носились птеродактили, в марсельскую гавань вошел фрегат египетской эскадры Наполеона, у людей вырастали хвосты, дождь изливался с земли в небеса или струился над землей, как река, железо становилось мягким, животные разговаривали… Потом начался подлинный Хаос. И Мрак. Ваши жрецы правы в одном: Хаос и Мрак действительно имели место. Грянуло… Быть Может, у Природы есть какой–то свой стоп–кран, предохранитель, средство, которым она при крайней нужде спасает себя – в том числе и от людей. А мы… Мы познали крохотную часть ее законов, ее устройства, но решили, что знаем все, что можем обходиться с ней, как с покорной служанкой. Это, наверное, самое страшное – что перед нами было не разгневанное божество, которому можно упасть в ноги, взмолиться, что–то объяснить, принести жертву, покаяться… Не божество, а сложнейший и непознанный неразумный механизм, с которым невозможно договориться. Как договориться с бурной рекой? С чумой? Нельзя договориться с атмосферой, чтобы она давала больше кислорода. Можно не рубить деревья, которые этот кислород дают, не загрязнять море. А мы рубили и загрязняли… Ты, наверное, ничегошеньки не поняла?

– Отчего же, – медленно сказала Анастасия. – Я не поняла одного – почему после всего происшедшего ты считаешь нас дикарями. А вы, допустившие такое, – высшие существа, светочи разума… Нет, я действительно многого в твоем рассказе не поняла, но главное ухватила. Вы впали в то, что можно назвать грехом гордыни – по отношению к Природе. И она за то вам отплатила… А объяснение разных непонятных слов, которых в теоем рассказе очень много, меня, право же, не столь уж и волнует. Главное я поняла. Впрочем… Как получилось, что ты стал… тем, что ты есть сейчас? Кем ты был раньше? Или ты и раньше был таким, у вас были волшебники?

– Нет. Волшебников у нас не было. Раньше мое занятие называлось младший научный сотрудник.

– Научный? – спросила Анастасия. – Значит – ученый?

– Ну, не совсем… Сидел, писал бумажки… Для ученых.

– Так бы и говорил – писец при ученых. Их и у нас хватает, хоть мы и дикари. Только у нас писцы называют себя писцами.

– Это совсем другое.

– Какая разница? – сказала Анастасия. – Сидел посреди всех этих летающих и сверкающих чудес и писал бумажки. Для ученых. А потом?

– Это сложно. Я сам все не до конца понимаю, даже сейчас. А многое забыл с перепугу, еще тогда… Когда начался Хаос и мир взбесился, стал дикой фантасмагорией… Ну, словом, так получилось. Так вышло. Я вдруг обнаружил, что могу создавать предметы и управлять ими, и не испугался – решил все это закрепить, удержать, пожелал нового умения, и чтобы оно не исчезало, и чтобы я стал бессмертным… Одним словом, я ухватил в зубы кусочек Хаоса, кусочек чудес и сохранил его, когда минули Хаос с Мраком и остатки человечества начали все заново. Вот так примерно можно объяснить, если совсем коротко.

– Понятно… – сказала Анастасия. Он рассмеялся:

– Мне самому до конца не понятно… Ну ладно. Не поговорить ли нам о чем–нибудь более приятном? О твоих прекрасных глазах, к примеру. Возьми бокал, не бойся.

Анастасия отпила глоток. Вино и в самом деле было отменное. Она перехватила взгляд волшебника и насторожилась.

Мягкая ладонь легла на ее плечо. Анастасия сбросила его руку.

– А вот так со мной не нужно! – сказала она гневно. – Я…

– Ну да, ты рыцарь, княжна и все такое. Но на мой взгляд, ты просто прелестная дикарочка, которую стоит приручить.

– Я только сейчас подумала… – сказала Анастасия холодно. – Эти слухи об огненном змее, похищающем девушек… Вообще–то

многие считают их выдумками, но порой девушки и в самом деле как–то странно исчезали…

– Каюсь, каюсь, – безмятежно сказал волшебник. – Была когда–то у нас до Мрака такая сказочка о змее, я ее и вспомнил случайно в свое время…

– А теперь очередная игрушка тебе надоела, и поблизости оказалась я?

– Ты мне очень нравишься. Знаешь, не хотелось бы делать из тебя очередную запуганную куклу. За пятьсот лет куклы могут прискучить. В тебе чувствуется ум и сила воли. А единственному на планете королю волшебства нужна королева.

– Польщена высокой честью, – насмешливо поклонилась Анастасия.

– Я говорю серьезно. Ты красива и умна. Я дам тебе Знание. Понимаешь? Не груду золота, а Знание. Ты сможешь узнать все, что только захочешь. Попадать в любой уголок этого мира. Все знание, какое у меня есть, будет и твоим. Подумай, королева моя.

Искушение было велико. Огромно. Настолько, что Анастасия какой–то миг всерьез колебалась, прежде чем поняла – королевой она не будет. Станет исправной наложницей, будет платить собой за крохи знания, полученные с ладони капризного хозяина. Знания, которого не она сама добилась, которое не сама обрела, мертвого знания, бесполезного, потому что ни с кем она поделиться не сможет. Птица в золотой клетке. Стоит ли жизнь в клетке, пусть и сложенной из поразительных чудес, радости познания мира, пусть и дикарского, как его этот жалкий волшебник презрительно именует? Стоит ли радости свободы?

На эти мысли наложилась прежняя гордость – как смеет мужчина выбирать и повелевать? Смеет класть руки на плечи, пялиться маслеными глазами? Как бы там ни было раньше, сейчас все идет, как идет вот уже пятьсот лет, он сам сказал, что пятьсот!

Она вновь отбросила с плеча горячую ладонь, выпрямилась:

– Нет!

– Тебя не привлекают знания?

– Меня не привлекаешь ты, – сказала Анастасия и встала.

– Дело поправимое, – усмехнулся он. – Ты мне только скажи – кто тебе нужен?

Человек в мантии исчез. На его месте, поигрывая мускулами, стоял загорелый атлет в узенькой набедренной повязке цвета золота. Анастасия невольно отступила на шаг. Атлет, усмехаясь, подошел к ней вплотную, взял за кисти и, несмотря на сопротивление, играючи притянул к себе. Казалось, ее руки угодили в железные тиски.

– Нет! – вскрикнула Анастасия, но сдержалась, не ударила. В случае надобности успеет.

– Ах, прости, – сказал атлет и превратился в тоненького прелестного юношу с пушистыми светлыми кудрями – если честно, вполне во вкусе Анастасии. Руки этого она со своей талии сбросила легко и повторила:

– Нет!

Он тут же принял прежний облик. Только мантии на нем уже не было, он стоял в темном костюме странного, на взгляд Анастасии, покроя. Белая рубашка, пестрая полоска на шее, как у тех стариков. И такие же золотые звезды на красных ленточках, только звезд гораздо больше, чем у любого из печальных стариков. Анастасия насчитала десять, в три ряда. А под ними – огромный, разлапистый знак, то ли крест на звезде, то ли звезда на кресте, весь в цветной эмали, позолоте, бриллиантах, и наверху еще крохотная золотая корона.

– Зачем это? – недоуменно спросила Анастасия. Он столь же недоуменно пожал плечами:

– Как это – зачем? Потому что я… я ведь самый могущественный. Единственный волшебник на всю планету. Могу я себя как–то наградить? Десяти звезд ни у кого не было.

– Знаешь, у тебя глаза нисколечко не меняются, как ты ни превращайся, – сказала Анастасия. – Прежними остаются. А это не те глаза, из–за которых теряешь голову и покой, ты уж прости…

Что–то потянуло ее руки к земле – их сковали тяжеленные золотые кандалы. И тут же исчезли.

– Ну конечно, это ты можешь, – сказала Анастасия. – Я даже не могу себе представить, на что ты способен, взявшись пугать, но наверняка на многое…

– Ты и представить себе не можешь, – подтвердил он с гнусной ухмылкой.

Анастасия ужаснулась, увидев совсем близко его глаза – шальные от желания и пьяные от безнаказанности. «Он же сумасшедший», – подумала девушка панически. Какой–то Мелкий писец, сидел с бумажками возле ученых, потом вдруг посреди всеобщего страха и крушения мира получил в полное распоряжение возможность творить любые чудеса и пятьсот лет тешится вседозволенностью, захлебнулся ею, пропитался. В первые минуты она еще могла думать о нем, как о боге, Древнем Божестве – но не теперь, видя эти глаза, эту глупую напыщенность, не изменившуюся за пятьсот лет. Жалкий писец, мелкая душонка, рехнулся от свалившихся на него благ… Но пора как–то спасаться, выручать Ольгу!

Холодная решимость рыцаря ожила в ней. Рукоять меча сама

прыгнула в руку. Анастасия взмахнула им по всем правилам боевого искусства – «крыло ястреба», страшный удар, рассекающий от левого плеча наискось до пояса…

Удар пришелся по пустоте. Волшебник, оказавшийся совсем в другом месте, деланно зевнул, а рукоять меча вдруг превратилась в змею, скользкую и холодную, она разинула пасть, зашипела, подняла ромбовидную голову к лицу девушки… Анастасия, взвизгнув не своим голосом, отшвырнула меч.

Волшебник хохотал.

– Девочка, ты прелесть, – еле выговорил он. – Похоже, Ты и в самом деле неплохо владеешь этой железкой…

– Между прочим, мне приходилось ею убивать.

– Тем приятнее мне будет, когда ты перестанешь барахтаться. А ты скоро перестанешь, королева моя… Анастасия с тоской и отвращением сказала:

– Попался б ты мне на войне, писец…

– Господи, да что ты знаешь о войне? Похоже, у кого–то из вас каким–то чудом завалялся то ли «Айвенго», то ли Дюма… Что ты знаешь о войне?

– А ты? – запальчиво крикнула Анастасия.

– У меня есть возможность увидеть любую войну. Насмотрелся. Погляди, что там ваши мечи!

Перед Анастасией неслась желтая земля, сухая, каменистая. Скальные отроги, высокие склоны, над которыми она мчалась – не она, а словно бы ее дух в чьем–то чужом теле, в каком–то странном летающем ящике, над головой стрекочуще гудело, а за прозрачным круглым окном бушевал ужас – с земли прямо к Анастасии тянулись слепящие яркие полосы, вокруг вспыхивали дымы, грохотало, выло, визжало, бухало, чья–то чужая смертная тоска и жажда жизни пронизывали Анастасию с такой мощью, словно это ее убивали непонятным образом и вот–вот должны были прикончить; и кто–то кричал рядом: «Толя, вверх, вверх! Еще спарка слева!» Анастасия увидела совсем рядом лицо смотревшего вниз мужчины, в его глазах было жуткое осознание конца и яростная жажда выжить; Анастасии отчего–то сделалось его неимоверно жаль, и она пожелала, всей добротой своей, рыцарским сочувствием к гибнущему воину пожелала, чтобы он уцелел, выжил, спасся… В ушах еще затухал непонятный крик: «Спарка слева!» – а Анастасия уже стояла на пушистом ковре перед хрустальным столом.

Но волшебник на сей раз вел себя странно – полузакрыв глаза, он то ли всматривался, то ли вслушивался неизвестно во что, бормотал, будто спросонья:

– Неужели спасла? Выдернула? Быть не может, это что ж,

можно вот так… как смогла…

Анастасия жадно вслушивалась, ничего толком не понимая. Волшебник дернулся, открыл глаза.

– Я его спасла? – спросила Анастасия.

– Кого? Глупости! – Он отступил на шаг, скрестил руки на груди в своей смешной манере казаться величественным. – Не будем отвлекаться, дикарочка. Быть может, хватит на сегодня разговоров?

Что–то звонко щелкнуло. Анастасия глянула вниз – верхняя застежка ее алой рубашки сама собой отскочила. Анастасия попыталась застегнуть ее, но она не поддавалась, выскальзывала из пальцев, как живая, а там и вторая застежка отскочила, и третья, Анастасия тщетно пыталась справиться с ожившей вдруг, распахивавшейся рубашкой. Снисходительный хохоток волшебника хлынул в уши, как липкая вода; лязгнув, расстегнулась сама собой чеканная пряжка ее пояса, и Анастасия, в охватившем ее злом бессилии, вдруг вспомнила со всей четкостью, как она хотела спасения тому гибнущему в воздухе воину. Еще ничего не соображая, но видя по исказившемуся лицу волшебника, по вспыхнувшему в его глазах страху, что происходит нечто для него неожиданное, и это ей только на пользу, – Анастасия, словно в жарком упоении битвы, пожелала. Чтобы рассыпался прахом и исчез навсегда этот нелепый и страшный мирок вместе с его свихнувшимся хозяином. Чтобы она вновь вернулась в свой мир вместе с Ольгой. Чтобы все стало как прежде, до вступления на снег. Невозможно было описать словами, как ее воля, юная, дерзкая и упрямая, ломала, гнула, одолевала другую волю, заросшую жирком самодовольства и покоя; как протекала эта битва в полном безмолвии, посреди непостижимых химер взбудораженного сознания. Что–то поддавалось, что–то напирало, что–то в ужасе отступало шаг за шагом, таяло…

Потом в глаза ударил жаркий Лик Великого Бре, а под ногами оказались земля и трава. И поодаль лежала Ольга, в той же позе, что под стеклянным колпаком, лежали лошади и псы, лежали кольчуга и меч, и ветерок играл расстегнутой рубашкой.

Анастасия слабо улыбнулась и осела в траву, теряя сознание.

Верстовой столб 7.

Человек из войны

Я словно меж войной и тишиной посредник…

Ш.Нишнианидзе

Вода лилась на лоб, на щеки, стекала на обнаженную грудь. Анастасия отфыркнулась, открыла глаза, без усилий приподнялась и села, обхватив руками колени. Ее слегка знобило,

но, в общем, она чувствовала себя прекрасно, даже приподнято, и помнила все, от начала до конца.

Ольга, с баклажкой в руке, стояла рядом на коленях и испуганно таращилась на нее, а Бой с Горном прыгали вокруг, норовя лизнуть в ухо. Анастасия отмахнулась от них и улыбнулась верному оруженосцу:

– Олька, все прекрасно!

– Что с нами было? Ничего не помню…

– Ах да, ты же сладко дрыхла без задних ног… – прищурилась Анастасия. – А мы тем временем были в гостях. Пригласили вот… Рассказать?

Чем дальше она забиралась в своем рассказе, тем круглее становились глаза Ольги.

– Быть такого не может! – сердито выдохнула она, когда Анастасия закончила.

– А снегопад посреди осени?

– Пусть снегопад! А вот все остальное… – упрямо мотнула головой Ольга. – Просто наваждение, и все. Кто–то навел на нас чары. Может, здесь место такое, замороченное. Мерещится всякая чушь…

– Но ведь я все помню? О Древних? О волшебнике?

– А откуда ты знаешь, что это правда? Что ты и в самом деле видела прошлое? Может, так бывает со всеми, кто здесь проезжает? Сначала снег, потом метель, потом наваждение… Чем доказать?

Анастасия призадумалась. Доказать, действительно, нечем. То, что доспехи оказались с нее сняты, а рубашка расстегнута, еще ничего не доказывает – кто знает все, о наваждениях и чарах?

Она поднялась, застегнула рубашку, пробормотала сквозь зубы:

– А все–таки жалкий человечишка… Дикая сказка, до того дикая, что поневоле в нее верится…

Ольга подала ей кольчугу. Анастасия надела ее через голову, опоясалась мечом, нахлобучила шлем.

– Есть вещи, из–за которых и хочется верить, что все было сном. Утверждение, будто бы до Мрака слабым полом были женщины, а сильным мужчины. Умом соображаю: до Мрака возможно было все, что угодно, но сердцем принять…

Ольга поглядывала на нее как–то странно. Анастасия вспомнила, усмехнулась:

– Ну да, я и забыла, что тебе–то как раз именно это сказкой не кажется… Обычно Ольга на сей счет отмалчивалась, но тут глянула упрямо:

– Принято говорить вслед за каким–то древним поэтом, что

любовь – изобретение природы. А где ты видела в природе, чтобы кобель валялся снизу, задрав лапки?

Логика была железная. Анастасия помолчала ошеломленно, потом нашлась:

– Но ведь это животные… человек умнее!

– А может, природа всех умнее? – показала ей язык Ольга. – Тем более там, где не ум нужен?

Анастасия вспомнила все, что говорил о Природе волшебник – или наваждение в облике волшебника? – и не решилась далее продолжать дискуссию. Задумчиво отошла прочь, носком сапожка поддевая крупные камешки. Имеет ли она право записать на счет своих рыцарских триумфов недавнюю победу над злым волшебником, мерзким чудовищем из плоти и крови, или все этой ей примерещилось?

Что–то хлопнуло высоко в небе, словно сказочная громадная птица ударила крылом. Анастасия удивленно задрала голову, заслоняясь ладонью от Лика Великого Бре.

Вниз, к земле плыл круглый белый шатер. А под шатром на пучках тонких веревок. раскачивалась человеческая фигура!

Анастасии пришло на ум, что наваждение продолжается. Что волшебник оправился и догоняет ее. Но не похоже что–то. Разъяренный, он пустил бы в ход что–нибудь посерьезнее, не стал бы глупо качаться вот так под странным шатром, он ведь показывался на земле в облике огненного змея, мог превратиться во что–нибудь посолиднее… Нет, если он был, с ним покончено… Но что это?

– Стой на месте! Смотри за лошадьми и собак придержи! – крикнула Анастасия и побежала в ту сторону. Меч колотился о бедро. Анастасия придерживала его рукой.

Шатер уже достиг земли, съежился, опал вздрагивающей кучей белой ткани. Человек освободился из веревок, перекатился в сторону, рослый человек в пятнисто–зеленом, затянутый в какую–то странную амуницию, в диковинной шапочке с алой пятиконечной звездой. Он лег на живот, выставив в сторону Анастасии какую–то короткую несерьезную штуковину, напоминавшую музыкальный инструмент. Крикнул хрипло:

– Дриш!

Анастасия с разбегу сделала еще несколько шагов. На конце той штуковины вспыхнул прерывистый огонь, раздался четкий перестук, словно кто–то бежал вдоль железного частокола, треща по нему железной палкой. У самых ног Анастасии полоской взлетел песок, словно человек с непостижимой быстротой швырнул в нее горсть камешков. Но никаких камешков не видно. Что за чудеса?

Анастасия замерла, безмерно удивленная. Их разделяло шагов тридцать. Он так приник, приложился к своей штуковине, что рассмотреть его лицо не удавалось. Анастасия положила руку на рукоять меча. И вновь хриплый крик:

– Дриш, мать твою!

– При чем тут моя мать? – крикнула в ответ Анастасия. – Вы ее знаете?

Звук ее голоса оказал на него странное действие. Его словно подбросило. Он ошалело огляделся вокруг и решился встать. Но свою штуку, прижав ее к животу, по–прежнему наводил на Анастасию.

– Может, его стрелой попотчевать? – донесся голос Ольги. – Он у меня как на ладони!

– Нет! – вскрикнула Анастасия.

У него было лицо человека из той летающей штуки, спасенного ею в недавнем наваждении, – худое, загорелое, со светлыми короткими усиками, словно бы выцветшими. Ну да, он самый! – Значит, все было на самом деле?!

– Олька, не стреляй! – крикнула Анастасия. – Не вздумай!

– Не вздумай! – громко согласился упавший с неба. – Руки подними, живенько!

– Рыцарь руте не поднимает, – с достоинством сказала Анастасия. Понимала, что он испуган – стоит безоружный перед двумя рыцарями в полном вооружении, – и не хотела резкими движениями пугать его еще больше.

– Ни фига себе металлисточка! – сказал он, не отрывая от Анастасии ошеломленного взгляда. Не то рассмеялся, не то всхлипнул. – Серп и молот на шлеме… Девочки, вы не гурии, часом. Что, вот так тот свет, который, не этот, и выглядит? А капитану десантному в нем местечко найдется, или куда пожарче погоните? Хотя куда уж опосля всего…

Глаза у него странно закатывались. «В обморок бы не хлопнулся по извечной мужской привычке, – тревожно подумала Анастасия. – Хотя он же воин. Ну да. Амазонка?»

– Ты из амазонок, Капитан? – спросила она незамедлительно.

– Гос–споди… – Он топнул ногой. – Нет, земля твердая, солнце светит… – И вдруг закричал надрывно: – Девочки, милые, ну где я есть? Я живой хоть? А вертолет где? Долбанули ж нас, горели! Вы откуда такие чудные, да еще здесь, в лютой волости?

Взгляд его перепрыгнул за спину Анастасии, и глаза у него вылезли из орбит. Анастасия тоже обернулась, но ничего страшного или удивительного не усмотрела – к ним подходил Бой, виляя хвостом, дружелюбно скалясь.

– Сколько ног? – заорал Капитан в лицо Анастасии. – Ног у

него сколько, говорю?

– Шесть, – сказала Анастасия. – Как собаке и положено. Ну, понимаешь? Это собака. Такое домашнее животное. У собак шесть ног. Не бойся, все в порядке, мы тебя не обидим…

Он выпустил свою штуковину, глухо стукнувшуюся оземь, и понесся прочь, размахивая руками, вопя:

– На хрен мне тот свет! Нету бога, нету! И аллаха нету! Зачем сюда затащили? Я ж помер! Мертвый я! Вот и лежал бы!

Анастасия понемногу начинала соображать, каким это было для него потрясением – внезапно угодил в чужой мир, к чужим людям. Он погибал на той страшной войне, и вдруг… Стало жаль его, но Анастасия не тронулась с места – пусть побудет наедине с собой. Странно – он молодой, а глаза старыми кажутся…

Уединение его протекало бурно – он рухнул на землю, лупил по ней кулаками и орал, что это нечестно, что это неправильно, что он никогда не верил во все эти загробные штучки, разве что самую малость, что сейчас он сам дернет кольцо (недоуменно подняла брови внимательно слушавшая Анастасия), и пускай его второй раз собирают по кусочкам, коли охота; Еще он ругал всех архангелов (?), кричал, что готов их всех приложить одной левой, а если его сошлют к чертям, то и там начнется несусветное, отчего выйдет хуже одним чертям. Постепенно он утомился, выкричался и притих. Лежал на земле лицом вниз, сжав кулаки и стиснув ими голову.

Анастасия ждала, жестом удержав на месте Ольгу. Наконец он обмяк, стиснутые кулаки медленно разжались, он чакрыл ладонями землю и прижался к ней щекой, словно слушал что–то, происходящее в ее загадочных недрах. Над полем стояла тишина, огромная, как небо. Анастасия ждала.

Потом она не спеша подошла к нему, присела на корточки. Он пошевелился – лежать ему было неудобно из–за его странной сбруи, пояса, лямок, карманов, из которых торчали продолговатые плоские ящички. Анастасия осторожно коснулась его спины меж ремней, и пальцы наткнулись на твердое – словно он носил под одеждой кирасу.

И все же он почувствовал прикосновение, поднял голову, а там и сел, свесив сильные руки меж колен. Анастасия заглянула ему в лицо. Синие глаза, светлее ее собственных, смотрели с угрюмой отрешенностью куда–то сквозь нее и вдаль – Анастасии приходилось видеть такие глаза перед поединками, после боя, в минуты смертельной опасности, и этот взгляд ее не удивил. Они сидели друг против друга, глядя в противоположные стороны, довольно долго сидели так.

– Слушай, где я, в конце концов, есть? – спросил Капитан. –

Что–то все это никак на загробный мир не похоже…

Анастасия заговорила – перескакивая с пятого на десятое, – рассказала о Мраке, о Счастливой Империи, о своей клятве, о волшебнике. Послушав о волшебнике, Капитан произнес какие–то непонятные слова, в том числе что–то о матери волшебника.

– Ты ее знал? – удивилась Анастасия.

– А? – Он словно смутился, махнул рукой. – Да нет, ругань такая… Ну, что там дальше?

Анастасия рассказывала, а он слушал с застывшим лицом, и невозможно было определить, как он к ее рассказам относится и что вообще думает. Наконец она умолкла, глянула вопросительно.

– Интересно, спасу нет… – сказал Капитан. – И назад никак нельзя?

Анастасия беспомощно пожала плечами. Сама она не сомневалась, что нельзя никак – вряд ли такие чудеса случаются дважды, это не дверь в стене, куда можно невозбранно шастать взад–вперед.

– Да уж, наверное, никак… – ответил он сам себе, и его лицо вновь застыло.

– Ты посиди, – сказала Анастасия, стараясь говорить как можно мягче. – Опомнись, подумай. Потом приходи, ужинать будем.

Поднялась и, не оглядываясь, пошла туда, где Ольга уже разводила костерок под таганом. Ольга встретила ее вопросом:

– А что мы с ним делать будем, с таким бешеным?

– Привыкнет, – так же тихо ответила Анастасия. – Он явно из амазонок. Лишним не будет. Эта его штуковина – определенно оружие. – Она тряхнула головой: – Только подумать, Олька, – это же настоящий Древний! Даже жутко делается…

Вскоре Капитан подошел к ним. Он поднял свою штуковину, принес и положил рядом, снял свои странные доспехи – оказалось, у него под курткой и в самом деле была поддета кираса.

Ольга подала ему миску. Он поблагодарил кивком, взял ложку и жадно стал есть, уткнувшись взглядом в миску. Бой с Горном устроились поблизости, ожидая костей. При взгляде на них Капитана чуточку передернуло, но как–то скорее по инерции. Он начинал привыкать к случившемуся, примиряться с ним, и Анастасия решила поговорить с ним серьезно, не откладывая.

– Послушай, – сказала она, когда Капитан отставил миску, жестом отказавшись от добавки. – Мы не на прогулке, дорога опасная, давай сразу все обговорим. Это, конечно, так удивительно и загадочно – все, что с тобой произошло. И наш

мир тебе наверняка кажется… уж не знаю чем. Но жить–то надо? Так что давай сразу определяться, насчет будущего думать. Вообще–то тебе одна дорога – с нами. Ну куда ты один пойдешь? И, главное, зачем?

Капитан достал белую палочку, сунул ее в рот, щелкнул металлической коробочкой, из нее рванулся огонек, и изо рта у Капитана повалил дым. Анастасия отшатнулась было, но тут же взяла себя в руки и приняла надменный вид – как–никак это был человек, не бог, не оборотень и не дракон, и все его загадочные пожитки были вещами человеческими, сделанными людьми для людей.

– А ты умница, девочка, – сказал Капитан грустно и задумчиво. – Сопельки мне утирать не собираешься и плакать не будешь… Так вообще–то и нужно. Значит, зачисляешь в свою маршевую роту? Или что это у тебя – развед–взвод дальнего действия?

– Зачисляю, – сказала Анастасия, не собираясь спрашивать, что означают все эти непонятные слова. – Только не зови меня впредь девочкой. Я – княжна Анастасия из рода Вторых Секретарей. Я – полноправный рыцарь, и будь любезен это запомнить. Княжна Ольга – мой оруженосец.

– Запомню, – пообещал Капитан, в упор глядя на нее почти весело и определенно дерзко. Анастасия ощутила сильную досаду и легкое смущение, от чего рассердилась. Смущаться под мужским взглядом?! Что бы там ни наболтали про порядки Древних, где все было наоборот… Как–никак за нынешним укладом жизни, местом в ней мужчин и женщин стоят пять веков, так изменит ли этот уклад появление одного–единственного женственного мужчины–амазонки?

И все же она опустила глаза. На миг, но смутилась. И, что досаднее, он это, кажется, понял.

– И тебя обязательно всякий раз называть княжной?

– Нет, – сказала Анастасия. – Пожалуй, тебя можно считать полноправным воином. Вот только подчиняться моим приказам обязательно. Возражений нет?

– Нет, – сказал он серьезно. – Я человек военный, малость мерекаю.

– Кстати, какого ты рода? Или у вас, Древних, все было иначе?

– Иначе, – сказал он. – Русского рода, и все тут.

– А с кем ты воевал? – с любопытством спросила Ольга. От этого простейшего вопроса он явственно помрачнел. Оторвал зубами желтый конец своей дымящейся палочки, выплюнул его под ноги, зло сжал губы. Потом глухо сказал:

– С гадами, княжна, с гадами. С кем воюешь, всегда знаешь. Если бы еще знать со всей определенностью – за что… А то, как ни крути, даже не девяносто процентов уверенности получается…

Тема для него была не самая приятная, сразу видно. Здесь таилось что–то большое и сложное, горькое для него, и Анастасия, круто уводя разговор в сторону, спросила:

– Значит, никаких богов у вас не было?

– Богов? Да нет, только те, которых сами по глупости склепали неизвестно по чьему образу и подобию…

Теперь помрачнела Анастасия. Получалось, что все обретенные за короткое время путешествия знания только отнимали что–то, отсекали кусок за куском от полного недомолвок и несообразностей, но привычного с детства мира. Ей пришло в голову, что погоня за Знаниями – не столь уж легкое и радостное дело. Впрочем, в голову ей это приходило и раньше. Просто сейчас она неопровержимо в том убедилась. И теперь перед глазами постоянно будет напоминание о прежнем порядке вещей, ничуть не похожем на нынешний…

Она подняла голову и вновь ощутила укол досады – живое напоминание дерзко ее разглядывало. Потом оно спросило: :

– А если я скажу, что ты чертовски красивая, это какие–то ваши этикеты не нарушит?

– Нет, – сухо сказала Анастасия. – Хотя я и не знаю, что означает «чертовски».

– Да то же, что и «обалденно».

Анастасия не знала и этого слова, но признаваться в том не стала – похоже, он забавлялся, подбрасывая древние забытые слова. Самоутверждался. Ничего, пусть порезвится, быстрее освоится. А поставить на место никогда не поздно.

– Представить себе не могу, как матриархат в натуре выглядит, – признался Капитан. – К вам уже вроде бы привык, металлисточки, но осознать, что кругом – матриархат… – Он замолчал, осененный какой–то догадкой. У него даже челюсть отвисла. – Черт, надо же!

– Что? – спросила Анастасия без особого любопытства.

– А то, Настенька, что я – единственный член партии посреди этого вашего феодализма! В бога, в душу! Нет, серьезно! – Он стукнул кулаком по колену. – Надо же! Вот сейчас созову из своей персоны чрезвычайный съезд, и ка–ак выберу из себя генсека! В уставе на сей счет ничего не сказано, то бишь не запрещено. – Он поднял руку. – Итак, кто за, кто против? Воздержавшихся нет, избран единогласно. Мама родная, видел бы комбат – Анастасия ничегошеньки не поняла, но не мешала ему помирать со смеху и объяснений не требовала. Пусть забавляется, как ему охота.

Собаки привыкли и ластились к нему, он уже не шарахался, и видно было, что собак он любит. Но чуть погодя на него снова накатило – он увидел восходящую над верхушками деревьев Луну и оцепенел, задрав голову:

– Эт–то что за иллюминация?

– Это не илл… это Луна, – сказала Анастасия. – У вас ее не было на небе?

– Быть–то была… – Он лихорадочно раскрыл черный ящичек, достал оттуда странное устройство в виде двух толстых черных трубок, соединенных перемычкой, приложил к глазам и навел на Луну.

Устройство это оказалось невероятно занятной игрушкой. Чудо какое–то. Когда Капитан объяснил, как надо в него смотреть, Анастасии визжать хотелось от восторга, забыв о рыцарском достоинстве. Она едва сдержала это недостойное побуждение. Луна придвинулась гораздо ближе, круглые горы, скалы и расселины виднелись совсем явственно! И звезды! Она навела чудесный «бинокль» на Плывущие Звезды, с трудом поймала в поле зрения одну, но на сей раз ничего особенного не увидела – звезда просто увеличилась в размерах, стала словно бы диском с четкими краями. Капитан сам недоумевал, не в силах сообразить, что это такое, немного разочаровав этим Анастасию, жаждавшую теперь объяснения решительно всему на свете. Она с превеликим сожалением отдала бинокль Ольге. А Капитан смотрел на Луну невооруженным глазом и почесывал в затылке:

– Нет, раньше она была гораздо меньше. Крепко же у вас все сдвинулось…

Верстовой столб 8.

О златоусте

На дальнем утесе, тосклив и смешон,
он держит коварную речь…
Н. Гумилев

Кавалькада далеко отклонилась на юг от Тракта. С одной стороны, это было опаснее, с другой – как раз безопаснее, ибо неизвестность сама по себе пугала меньше, чем отряд Красных Дьяволят, быть может скачущих по пятам. Узнав, в чем дело, Капитан такое решение полностью одобрил. Для него освободили от вьюков заводного коня. Правда, ездить верхом он не умел совсем, но героически терпел все неудобства. Да и вьючное седло было гораздо удобнее для новичка, чем обычное.

Анастасия вскоре убедилась, что неожиданно объявившийся сотоварищ лишним никак не будет, а пользу может принести нешуточную. Этот его «автомат» был страшным оружием (действие его Капитан продемонстрировал. Мишенью послужил

ствол дерева). Действие «гранат», странных железных штук, Капитан показать отказался, объяснив, что их у него слишком мало, но заверил, что это еще почище автомата. Пришлось поверить ему на слово. Кроме того, у него была коробочка со стрелкой, все время показывавшей на одну из сторон света. И часы на руке – Анастасии с трудом верилось, что эта крохотная коробочка, где мерцают цифры, заменяет огромное башенное устройство с шестернями в человеческий рост. Все эти чудеса ее несказанно восхищали, однако…

Однако они же были источником досады и смутного недовольства. Капитан со своим оружием и прочими восхитительными штуками являл символ некоего превосходства – что из того, что от мира Древних, великого и могущественного, остался он один, и запас боевых припасов у него не вечен? Что из того, что конец мира Древних был ужасен? Капитан был здесь, рядом – удивительная смесь беспомощности и силы. И еще этот его взгляд! «Но я–то ему не женщина Древних!» – в который уж раз повторяла Анастасия про себя раздраженно, однако это заклинание не успокаивало.

А он, неумело покачиваясь в седле, ехал рядом, сильный и загорелый. Молчал. Сначала было Анастасия с Ольгой набросились на него, как охотничьи псы на лесного ящера, требуя подробных рассказов о мире Древних, и он охотно рассказывал. Но потом девушки почувствовали некое пресыщение и усталость – слишком много знания сразу, слишком много вещей, казавшихся чудесными сказками. Рассудок бунтовал, не в силах справиться с этим изобилием. К тому же его рассказы переворачивали с ног на голову буквально все, доселе известное, в том числе и то, что многими, отнюдь не самыми глупыми людьми, испокон веков почиталось в качестве неопровержимых истин. Не признаваясь себе в том, Анастасия мучительно гадала, что же такое выдумать, чтобы как–то исправить положение, вернуть себе прежнюю роль, а Капитана сделать чуточку слабее, растеряннее, зависимее. Самую чуточку… Но в то же время его стоило пожалеть – он утратил свой мир навсегда, и то, что этот мир погиб какое–то время спустя, утешением, Понятно, служить не может, совсем наоборот… Целый букет разнообразных чувств, сложнейшее отношение к Капитану… Ольге легче – она как–то не утруждалась самоедством, копанием в себе. К тому же украдкой поглядывала на Капитана так, что Анастасия вспомнила о ее привычках – оказавшихся, как выяснилось, не извращением, а скорее пробудившейся памятью о прежнем порядке вещей. Тьфу, пропасть!

Пейзаж вокруг был омерзительным. Капитан почему–то

называл его лунным, хотя никогда не был на Луне. Голые холмы, слишком резких и разнообразных очертаний, чтобы быть сотворенными природой. Огромные ямы, где уместился бы со шпилем самый высокий храм – рваные раны в теле земли. Какие–то исполинские протяженные развалины непонятного предназначения. Груды ржавчины, все, что осталось от древних загадочных сооружений. Гигантские металлические обломки чего–то замысловатого, не поддавшегося ржавчине, но все равно не выдержавшего натиска Времени. Покосившиеся ажурные вышки, нескончаемым рядом уходившие за горизонт. Скелеты самобеглых повозок – иногда сотнями сбившиеся на узком пространстве, так что приходилось далеко эти скопища объезжать. Земля, залитая твердым, потрескавшимся. В других местах – мутно–зелено–серые волны вспенились некогда и застыли навсегда, похожие на языки костра, зачарованного волшебником. Копыта коней скользили на этих волнах, дробили их в вонючую пыль. Полурассыпавшиеся основания широченных кирпичных труб, словно кухонные печи подземных злых духов – целехонькие, они, должно быть, достигали громадной высоты. Озера вонючей грязи, где лениво вздувались тяжелые пузыри, долго–долго набухали, лопались с чмокающими хлопками; где что–то клокотало и дымило, перехватывая дыхание волной удушливого смрада. Бесконечные двойные линии, проржавевшие и покривившиеся полосы металла – «рельсы». Остовы «тепловозов» – массивные лобастые громады на толстых колесах, по оси ушедших в землю. И нигде – ни травинки, ни зверюшки. Мертвая земля, человеком убитая. Собаки не отставали ни на шаг, у них и мысли не появилось отбегать вдаль. Лошади устали, но шли рысью, стараясь побыстрее миновать это мертвое царство надругательства над землей – а конца и края ему не было.

– Я этого никак не могу понять, – пожаловалась Анастасия. – Вы были так могущественны, почти боги, но неужели не думали, что делаете? Земля вам отомстила, похоже… Капитан сказал со злой беспомощностью:

– Если б нас, Настенька, почаще спрашивали… Анастасия уже как–то привыкла, что он называет ее этим чудным именем, как–то незаметно пошла на маленькие уступки.

– Но вы могли бы возмутиться, что вас не спрашивают?

– Эх, Настасья… – Капитан сунул в рот белую палочку. – Знаешь, когда вокруг сплошной страх, рубят головы на площадях и все такое прочее, даже легче возмутиться, я думаю. А вот когда вместо страха лень, и всем на все чихать… – Он выплюнул палочку, не зажегши. – Сидят люди, жрут водку и с поганым таким любопытством думают: а ну–ка, что будет, когда мы все

пропьем да растащим? Интересно даже… А я не герой и не мыслитель, понимаешь? Жил как жил, воевал как воевал. И кто ж знал, что вот так одному за всех отбрехиваться придется…

Боль и тоска звучали в его голосе посреди этого дикого разрушения так, что Анастасии стало пронзительно жаль его, и жаль себя, и жаль чего–то, что она не умела выразить словами. Она обернулась к нему и тихо сказала:

– Прости.

– А, что теперь… Знать бы только, чем все кончилось. Вроде хотели всех нас выводить…

Взлаял Бой, яростно, заливисто, и тут же подхватил Горн. Анастасия знала своих собак и не сомневалась сейчас, что они лают на опасность. На что–то живое. Немыслимо было представить здесь что–то живое, каких–то обитателей, людей ли, зверей. Но Анастасия выхватила меч. Все раздумья о постороннем мгновенно улетучились. Она стала рыцарем, готовым к смертельной схватке. Капитан изготовил автомат к стрельбе.

В той стороне, куда лаяли собаки, виднелось что–то, удивительно вписывавшееся в пейзаж, но тем не менее инородное. Уродливая хижина на вершине голого холма, сколоченная из досок, нержавеющего железа, непонятных обломков неизвестно чего. Невообразимо нелепая, она тем не менее отнюдь не казалась почему–то заброшенной, нежилой. По сторонам ее вбиты высокие колья, и на них – черепа! Человеческие и звериные!

Ехавшая первой Анастасия остановила коня. Задрав головы, они всматривались со страхом и омерзением, ничего не понимая. Надрывались собаки.

– Дикари? – тихо сказала Анастасия, оглянулась на Капитана. Таким его она еще не видела.

– Черепа, значит… – бормотал он. – На кольях… А других домов не видно… Может, рванем отсюда, а? А то я тут все разнесу вдребезги пополам. Кто бы тут ни жил, живет тут явная сволочь…

– Поздно отступать, – сказала Анастасия. – Собаки всю округу переполошили, мертвого поднимут…

– Слушайте! – раздался звенящий от волнения и испуга голос Ольги, с луком наперевес замыкавшей кавалькаду. – А если это Соловей–Разбойник? В точности, как написано…

– А что у вас про него написано? – спросил Капитан, не оборачиваясь.

– Он владеет Наследием Великого Бре, – невольно понизила голос Анастасия. – А это страшные заклятья, способные пригвоздить к земле любого… Это смерть.

– Какие, к черту, заклятья? – Капитан почти кричал. – Какие

могли быть заклятья? Сисемасисески…

Кусок железа, служивший дверью, откинулся, звонко ударившись о стену хижины.

Оттуда, по–утиному переваливаясь на коротких ножках, вылез уродливый толстяк, блестящий, бело–розовый. Толстыми руками он поддерживал огромное брюхо. Голый, только вокруг бедер обмотана какая–то тряпка. Череп абсолютно лысый. Три подбородка, щеки висят, как флаги в безветренный день. Глаза выпуклые, огромные, черные, без белков и зрачков, сплошные черные шары. И нос, как шарик, до половины вдавленный в тесто.. Губы толстенные, рот широкий. Ушей, кажется, нет совсем. Страшным он не казался ничуть – скорее, ужасно смешным. Он стоял и смотрел на всадников, из–под ног его к ним катились мелкие камешки. Собаки залились пуще.

– Белые в деревне есть, папаша? – вдруг крикнул Капитан и добавил быстрым шепотом, не оборачиваясь: – Ольга, ты вокруг, вокруг посматривай, и назад…

Толстяк отозвался неожиданно густым и сильным голосом, лениво, даже равнодушно:

– Людей сколько, скотины сколько… Вон ту черную клячу я сразу съем, мне жрать охота. Потом еще кого–нибудь съем, а синеглазую пока оставлю, с ней и побаловаться можно. Вон тот усатый ни на что не годится, даже воду таскать не сумеет, ишь, как зыркает. Лучше сразу черепушку на кол насадить, красиво будет. Интерьер соблюдется.

– Дяденька, а вам не кажется, что ваше место возле параши? – крикнул Капитан в ответ.

Толстяк, словно не слыша, тянул свое:

– А собак я, может, тоже сразу съем…

– Чучело какое–то, – сказала Анастасия почти весело.

– Я вот его сейчас… – пообещал Капитан.

– Подожди, – сказала Анастасия. – А вдруг это сумасшедший? Откуда нам знать, какие племена здесь живут? На такой земле только сумасшедший жить и станет…

– Настенька, черепа эти мне не нравятся…

– Он их мог насобирать где–нибудь.

– Экономика должна быть экономной! – вдруг прогремел толстяк, и у Анастасии возникло странное ощущение – словно под череп ей, со стороны затылка, входил тупой гвоздь – не больно, но вызывает зудящее неудобство.

Капитан, наоборот, даже повеселел чуточку. Он привстал в седле и крикнул вверх:

– Папаша, только без волюнтаризма! Генсек нынче я, так что исключить могу!

Не обращая на его слова никакого внимания, толстяк очень проворно и ловко спустился до середины склона, уселся там на бревно, скорее всего для этого там и лежавшее, поудобнее упер ноги в землю, уместил брюхо на толстых коленях. Разинул огромный рот, показавшийся черным провалом, окаймленным белыми острыми клыками. Над мертвой землей, над кучами ржавчины и невообразимого хлама, над нежитью и запустением загремело:

– Наша экономическая политика должна обеспечить дальнейшее развитие социалистической промышленности, и в особенности ее наиболее прогрессивных отраслей; всестороннюю электрификацию и химизацию народного хозяйства; ускоренное развитие сельского хозяйства и рост его доходов; расширение производства предметов потребления и улучшение всестороннего обслуживания населения…

Вновь под череп Анастасии мягко вошел гвоздь, и от него распространилось дурманящее, парализующее тепло. Невидимые волны подхватили ее, стали баюкать. Росинант вдруг оступился под ней, словно невидимая страшная тяжесть пригибала его к земле. Смолк лай собак, они растопырили ноги, повесили головы, качаясь вправо–влево в такт звукам таинственных заклинаний. Сквозь смыкавшиеся вокруг Анастасии спокойные пологи дремы острым лезвием проник голос Капитана:

– Настенька, ты что? Да очнись ты! Но Голос набрал силу, громогласный и в то же время бархатный, нежнейше проникавший в каждую клеточку тела:

– Некоторые из этих проблем возникли объективно. Не баловали нас в последние два года и климатические условия. Убытки, которые мы понесли из–за капризов погоды и стихийных бедствий, весьма значительны…

Анастасия разжала ватные, как у куклы, пальцы, и меч воткнулся в землю у копыт коня. Она уже не понимала, Росинант ли это качается, клонится, или ее так шатает в седле. Собаки уже лежали без движения. Лежала и лошадь Капитана, он стоял с ней рядом и лихорадочно тащил что–то из кармана на груди. Сознание мутилось, гасло, последним усилием воли Анастасия разлепила глаза, словно склеенные тягучей патокой. Увидела, как блеснули в решительном оскале зубы Капитана, как он взмахнул рукой крича: «Лови, партайгеноссе!», и граната, железное рубчатое яйцо, вертясь, оставляя тоненькую струйку дыма, летит вверх к Соловью–Разбойнику.

И тут – грохнуло, взлетела земля вперемешку с дымом. И настала невероятная тишь. Липкая пелена дурмана медленно таяла.

Анастасия пошевелилась в седле, звякнули стремена. Все тело покалывало, изнутри в кончики пальцев вонзались тонюсенькие иголочки, кровь, казалось, щекочет, проплывая по венам. Анастасия с трудом высвободила из стремени носок сапожка, сползла с седла по теплому конскому боку, прижалась лицом к жесткому чепраку. Резкий, знакомый запах коня возвращал силы.

Капитан повернул ее лицом к себе, беспокойно заглянул в глаза:

– Жива, княжна?

– Жива, – медленно сказала Анастасия. – А он – где?

– А клочки по закоулочкам, – сказал Капитан. – Овация перешла в бурные аплодисменты…

– Послушай, ты не мог бы изъясняться понятнее?

– Охотно, – сказал Капитан. – Ну и прелесть же вы, княжна… Анастасия от души надеялась, что ее взгляд был достаточно ледяным:

– Между прочим, так ведут себя, заигрывая с женщинами возле кабаков, публичные мужчины…

– А, ну да. С вашим матриархатом все наоборот, господа рыцари…

Повернулся и отошел к своему поднимавшемуся с земли коню. Преувеличенно бодро насвистывал.

– Послушай! – окликнула его Анастасия, отчего–то не чувствовавшая себя победителем. – А что такое экономика?

– Это такая вещь, которая должна быть, – ответил Капитан через плечо.

Верстовой столб 9.

Мост и берега

А нам и горе – не беда.

Глядим героями.

Из ниоткуда в никуда

однажды строили…

Л. Балаур

…Анастасия увидела их. первой и закричала, не оборачиваясь к спутникам:

– В галоп!

Пришпорила Росинанта, прошлась плеткой по его боку, и он сорвался в карьер, стелясь над полем. Ветер бил в лицо, разметал волосы из–под шлема, длинная черная грива хлестала по щекам. Анастасия вытянула коня плеткой, оглянулась на скаку. Все в порядке. Капитан, вцепившись обеими руками в узду на щеках коня, высоко подпрыгивая в седле, несся, отставая от Анастасии на два корпуса. Заводной конь, привязанный чембуром к его

седлу, едва не обгонял его, вьюки подпрыгивали, гремя и брякая. Ольга замыкала скачку, бросив поводья на шею коня, держа наготове лук. Собаки неслись далеко впереди.

Анастасия покосилась влево. Всадники в ярких халатах азартно нахлестывали коней, их кучка уже рассыпалась неровной линией, над головами качались блестящие наконечники тонких копий, укрепленных в ременных петлях у стремян, развевались пышные перья тюрбанов. Анастасия, немилосердно работая плеткой, прикинула воображаемые линии скачки – своей и всадников в ярких халатах. Линии не пересекались. Вернее, должны были пересечься далеко позади кавалькады. Преследователи безнадежно отставали. Изо всех сил они пытались опередить, перерезать дорогу, но Анастасия круто забирала влево, к полосе леса на горизонте.

– Настя, пальнуть? – прокричал Капитан сквозь забивавший ему рот тугой ветер.

– Не лезь, обойдется! – крикнула Анастасия в ответ. Оглянулась на преследователей – да, безнадежно отстают. Похоже, они сами это сообразили и уже не выжимают из коней последние силы – всего лишь не сбавляют аллюра, чтобы выйти с честью из проигранной охоты. Тот, что скачет впереди своих людей, молодой и чернобородый, в общем, даже симпатичный. На тюрбане сверкает множество самоцветов – наверняка хан. Он перехватил взгляд Анастасии и закричал с ноткой горестной надежды, забавно выговаривая слова:

– О синьеглазая, тьи была бы любимой женой!

Их разделяло корпусов десять, и это расстояние быстро увеличивалось.

– Благодарю за честь! – весело прокричала Анастасия. – Когда–нибудь в другой раз, прощай!

Тут же раздался голос Капитана, призывавший бородатого вместо погони за девушками сделать со своим конем что–то, оставшееся Анастасии непонятным. Кажется, и хану тоже. Вот и опушка леса. Анастасия галопом неслась меж толстых, поросших зеленым мхом стволов, пригнув голову к шее Росинанта, чтобы не расшибиться о случайный низкий сук. Коня она уже не понукала, но на всякий случай пока что не натягивала поводьев. Нет,, все в порядке. В лес они не сунулись. Значит, все, что написано об их существовании в хрониках – чистая правда. Однако от этого не легче, вовсе даже наоборот – выходит, чистой правдой могут оказаться и записи летописцев о других, более жутких вещах…

Разгоряченные лошади понемногу остановились сами, и Капитан сразу же, понятно, спросил:

– Это что за явление хлюста народу? Султан на охоте?

– Я их вообще–то впервые своими глазами видела, – сказала Анастасия. – Только в хрониках читала. Это люди Земли Ядовитого Золота. Рассказывают, что в незапамятные времена там жил злой хан Раши. Он хотел много золота и послал несметное количество железных птиц, чтобы они осыпали землю ядом. Земля пропиталась ядом, и в ней выросло много золота. Очень много. Но оно тоже стало ядовитым, и тот, кто им завладевал, скоро умирал, – поколебавшись, она замолчала, но Капитан даже не улыбнулся. Тогда она осторожно спросила: – Наверное, все было не так?

– Да нет, пожалуй, можно сказать, что и так, – задумчиво ответил Капитан. – Любопытная все же штука – память человеческая. А от тебя чего они хотели?

– В набег они отправились. За женами, – с досадой объяснила Анастасия. – У них там, как пишут в хрониках, все перевернуто с ног на голову. Их рыцари, ты сам видел, мужчины. А женщины там…

– А женщины там, как ни прискорбно, варят мужьям суп, – догадался Капитан. – И с мечами по лесам не болтаются. – Он широко улыбнулся. – Я вот все пытаюсь представить тебя в платье… Тебе определенно пойдет. С вырезом, в талию, рукава широкие…

– Платье – это одежда из мифов, – сухо сказала Анастасия. – Люди давно забыли, как эта одежда и выглядит.

– Я и говорю, память – штука любопытная, – невозмутимо согласился Капитан. – Я пришел к тебе нах хауз в тертых джинсах Левис Страус…

– Снова какая–то непристойность?

– Ох, да ничуточки, – сказал Капитан. – Просто диву даюсь, как вы фасон джинсов не забыли.

– Говорят, до Мрака джинсы носили исключительно благородные Основатели нынешних дворянских родов. Капитан фыркнул и молча отъехал.

– А интересно было бы примерить платье, правда? – мечтательно спросила Ольга.

Анастасия вздернула подбородок, отвернулась и крикнула:

– Едем дальше! Скоро у нас кончится вода, нужно найти источник!

Лес оказался небольшим. За ним до горизонта простиралось поле, поросшее пучками редкой фиолетовой травы. Трава как–то странно шелестела под ветерком, словно бы даже вскрикивала, постанывала тихонько, жалобно, протяжно.

Но понемногу стало казаться, что это не трава шумит, что происходит нечто странное. Жалобные стоны идут откуда–то

снизу, то ли оханье, то ли всхлипы, они усиливаются, крепнут… Если бы одной Анастасии это мерещилось! Беспокойно вертелся в седле Капитан, выплюнув только что зажженную сигарету. Настороженно озиралась Ольга. Собаки и лошади вели себя все беспокойнее. Кавалькада ехала под нескончаемую череду плачущих стонов. Настал момент, когда тревога достигла предела, и Анастасия резко натянула поводья:

– Стойте! Так дальше нельзя. Нужно разобраться… Капитан нервно постукивал пальцами по стволу автомата.

– Слышите, стихло? – спросил он.

В самом деле, все стихло. Нет, опять стон – короткий, тут же оборвавшийся. И вновь. Тишина. Росинант переступил – и снова…

– Господи! – осенило Капитана. – Это ж земля! Это она…

– Что? – не поняла Анастасия.

– Земля стонет… Ну–ка! – Он спрыгнул с седла, охнул, скривился – понятно, у него болело там, где всегда болит у неопытного ездока, тем более после столь отчаянной скачки. Он отошел на несколько шагов, твердо ставя сапоги на землю. Жалобные певучие стоны удалились вместе с ним и приблизились вместе с ним, когда он вернулся.

Да, так оно и было. На легкое касание ногой, лапой или копытом земля отвечала печальным стоном. Они направились налево – стоны не утихали. Поехали направо – вопли преследовали их. И ничего тут не поделать, не поворачивать же назад. Затыкать уши бессмысленно – плохо помогает, да и поводья не выпустить из рук, иначе встревоженные кони начинают метаться.

Успокаивая коней поминутно, стиснув зубы, они ехали по рыдающей равнине, и Анастасии скоро стало казаться, что от стонов земли она сойдет с ума. Духу не хватало это терпеть. Судя по лицам, ее спутники чувствовали то же самое. Капитан даже заорал с остервенелым лицом какую–то странную песню:

А мы таких уроков не учили.
Подумаешь – джентльмена тут убили.
Теперь стоим здесь мы,
решимости полны
закончить это дело до зимы…
А зимы здесь нет.

Но и он скоро замолчал – вовсе уж жутко получалось в сочетании с надрывными рыданьями земли. Анастасия извелась от звучавшей над полем печали. Наверное, Древние невыразимо обидели землю, она терпела и терпела, но не выдержала наконец, жестоко наказала, а теперь не выносила и простого прикосновения человека и его слуг–животных… Но мы же не

виноваты – кричала про себя Анастасия, смаргивая слезы, а они заползали в уголки губ, и во рту делалось солоно, как в детстве от безутешного плача. Но сейчас безутешно плакала земля, и ей ничего нельзя было объяснить, попросить прощения, утешить…

Потом они увидели впереди, под Ликом Великого Бре (который Капитан запросто называл Солнцем), словно бы трещину в земле, провал, овраг. Вскоре оказалось, что овраг этот уходит в обе стороны, насколько достигает взгляд; он неимоверно широк и глубок. Наверное, так выглядела бы широкая и глубокая река, высохни она вдруг. Быть может, здесь в незапамятные времена и текла река?

Определенно. Потому что справа виднелся серый мост, соединявший бывшие берега. Очень странный мост – сплошная серая стена, толстенная, мощная, перегородившая сухое русло сверху донизу. Из материала, что пошел на нее, можно было бы возвести целый город, прикинула Анастасия. И город не из маленьких.

На том берегу – серые развалины и серая растрескавшаяся лента уходившей за горизонт дороги.

– Плотина, – сказал Капитан. – Она самая, тварь поганая. Равняется четырем Франциям, как водится…

– Это мост? – спросила Анастасия.

– Это была такая привычка – поганить землю, – зло сказал Капитан. – Удивляюсь, как земля человека вообще под корень не извела, когда у нее терпение лопнуло… Может, шанс исправиться оставила?

– Хроники глухо упоминают про Серые Мосты, но подробного описания не дают, – сказала Анастасия. – Что делать? Нужно как–то переправиться на ту сторону. Кругом не объедешь.

– Это верно. – Капитан поднял бинокль к глазам. – Знать бы, что она под копытами не обрушится. А то слишком долго вниз лететь придется, и, что печально, без парашюта…

– А скоро закат, – сказала Ольга. – Если это и в самом деле Серый Мост – есть одно предание… Говорят, ночью те, кто его строил, из–под него выходят, кровь у прохожих сосут…

– Ну, это вряд ли, – сказал Капитан. – Те, кто ее строил, наверняка подохли на мягкой постельке в окружении гордившихся славным дедушкой потомков… Хотя… В этом вашем перебулгаченном мире все возможно, поди угадай, что там за жуткой сказкой…

– Говорят еще, здесь живут окуни, – сказала Ольга. – Очень опасные звери.

– Ну, окуни – это несерьезно, – чуточку покровительственно отозвался Капитан.

– Говорят…

– Ох, металлисточки вы мои… – сказал Капитан. – Говорят еще насчет глазастых пирогов в славном городе Рязани… Однако нужно как–то переправляться? Что думает так и не ставшая любимой женой хана княжна Анастасия?

Анастасия покосилась на него, но резкая отповедь с языка так и не сорвалась. Странноватые установились у них отношения. Анастасию он признавал предводителем, но сплошь и рядом не упускал случая подпустить колкость. Иногда это получалось прямо–таки по–детски. Анастасии приходилось все время напоминать себе, что все ужасно сложно, что в том, прежнем мире он сам был, перевод на нынешние мерки, сотником, и теперь трудно, тягостно врастает в другой мир, где все, что ей кажется естественным и непреложным, его удивляет, смешит, злит, порой не на шутку. А то, что кажется непреложным ему, удивляет и злит Анастасию, и она тоже не всегда сдерживается. Вдобавок еще ответственность за него чувствуешь, как за младшего – как–никак это она его выхватила из боя, из смерти, из его времени, спасла… Ситуация – голова пухнет! А тут еще усердно притворяешься перед собой что не замечаешь, как нравишься ему. И все остальное… А вообще–то он не знал, что собаки приучены еще и служить разведчиками. В таких вот случаях. Анастасия промолчала. Она только свистнула особенным образом, медленно вытянула руку вперед (не без побуждений сделать это эффектнее, честно говоря) – и собаки, склонив лобастые головы, принюхиваясь, медленно двинулись по широченному гребню гигантской серой стены, перегородившей некогда высохшую ныне реку. Иногда они останавливались – просто ждали дальнейших приказов, и Анастасия громким свистом посылала их вперед. Они шли настороженно, как и следовало ожидать, но спокойно. Один только раз Бой замер на миг и покосился куда–то в сторону, но тут же пошел дальше. Вот они уже на той стороне, где серый гребень моста переходит в серую растрескавшуюся полосу, косо сворачивающую влево к горизонту, серую дорогу посреди сухой земли, покрытой странными буграми. Вот они возвращаются назад – гораздо быстрее и совершенно спокойно. И все же, все же… Чего–то в их поведении Анастасия не поняла, а рассказать они, понятно, не могли.

– Ну что, собачки? – спросила Анастасия, наклонилась с седла и протянула руку. Собаки подпрыгивали, тыкались холодными мокрьми носами в ее ладонь. – А впрочем, ничего нам не остается, друзья мои.. Поедем быстро, держаться строго гуськом, строя не нарушать, то есть не обгонять. Собак на ремни.

Расстояние меж конями – два корпуса. Вперед!

Она подхлестнула Росинанта концом повода, и конь размашистой рысью понес ее по серому гребню. Гребень выглядел крепким, его серая поверхность не крошилась под копытами, подковы гулко стучали по ней, как по хорошо обожженому кирпичу. «Строить Древние умели хорошо, – подумала Анастасия. – Река высохла, а Серый Мост остался. Но если они так хорошо умели строить, зачем возводили поперек рек эти глупые стены, о которых Капитан отозвался так зло? Стоп!»

Строй смешался, всадники остановились бок о бок. Из серых развалин на том берегу, из–под странных бугров выныривали темно–зеленые, юркие, гибкие, прижавшиеся к земле силуэты, сливаясь в поток, бесшумно и грозно скользили к Серому Мосту, живой пробкой, стеной закупорили тот его конец, куда стремились всадники. Зеленые звери величиной с крупную кошку – чешуйчатое, сильно сплющенное с боков тело, четыре лапы, узкие головы, огромные пасти. Больше всего похожи на щуку, которая обзавелась лягушачьими лапами, вылезла на берег и стала там жить, приобретя еще скверную привычку приставать к проезжающим. Так подумала Анастасия, хотя ей было не до смеха – зеленых тварей наберется не менее сотни, они стоят стеной – слишком уверенно стоят, слишком спокойно. Бьгть может, это оттого, что они никогда не видели человека. А может, все наоборот, гораздо хуже – видели не раз, и встречи эти оканчивались так, что зеленые исполнились уверенности в себе… Вот первые ряды колыхнулись, двинулись вперед…

– Ни хрена себе окуньки, – сказал Капитан. Спокойно поднял автомат, застучала очередь и ближайшие щуки–ящерицы покатились по гребню, одни так и остались лежать, Другие беззвучно корчились, и по ним, прямо по ним с тупым упорством надвигались задние ряды. Они же не боятся, поняла Анастасия. Не испугались автомата. Никак не связывают этот железный перестук с гибелью своих сородичей, с ними нужно совсем иначе…

Кони попятились, храпя. О бок Анастасии промелькнула желто–палевая спина – один из псов вырвал ремень из рук Ольги и, яростно лая в боевом восторге от такого изобилия врагов, врубился в зеленые шеренги, как топор в кашу. Капитан опустил автомат. Пес исчез – по гребню катался шипящий клубок, сплетение зеленых тел, в нем на миг промелькивало желто–палевое, отлетала в сторону мертвая ящерица, но со всех сторон бросались новые. Клубок закатайся далеко в боевые порядки ящериц – но основные их силы упорно надвигались на всадников, и Анастасия поняла обостренным чутьем рыцаря – еще миг, и

переломный миг схватки будет безвозвратно упущен, начнется свалка, дикая неразбериха, враг окажется со всех сторон…

– Держите второго пса! – крикнула она. – Держите коней!

И спрыгнула с седла, бросилась вперед. Длинное узкое лезвие меча зеркально сверкнуло и тут же утратило блеск, замутилось бледно–розовой кровью, воздух, весь мир вокруг стал плотным, зеленым, состоящим из одних глубоких пастей, щерившихся со всех сторон, – они подпрыгивали, целя в лицо, вгрызались в сапоги. Скрежетали по кольчуге зубы. Длинный узкий клинок бешено метался в этом зеленом, оскаленном, холодноглазом воздухе, с усилием рассека его. Бой был не на жизнь, а на смерть. Анастасии пришлось нелегко, но она приказала себе стать молнией – быстрой, как молния, нерассуждающей, как молния, не дающей промаха смертью. Шпорой! Концом клинка с разворота! Сапогом! Кинжалом! Боль ниже колена – кинжалом! Твари понимают только ярость и наглядную смерть!

Время от времени коротко хлопал автомат, свистела стрела – Капитан с Ольгой били на выбор, осторожно, боясь зацепить Анастасию. А она стала Смертью. Для любых других чувств и ощущений не было ни места, ни времени.

Клубок укатился влево, к краю пропасти, полетел с гребня, далеко внизу угас испуганный собачий визг, и, подхлестнутая яростной болью этой утраты, Анастасия колола и рубила, пока не сообразила, что впустую рубит воздух. Уцелевшие ящерицы разбегались, вот последние мелькнули меж бугорков, у развалин, и больше живых не видно. Серый гребень усыпан зелеными трупами, сапоги скользят в белесо–розовых лужах.

Анастасия, как слепая, медленно побрела вперед, к тому берегу. Сердце бешено колотилось о кольчугу, болела спина, мурашки бегали по всему телу – ныли, отходили от напряжения мускулы. Окровавленный меч, ставший ужасно тяжелым, оттягивал руку, бороздил концом сухую землю. Анастасия до рукояти вогнала его в бугорок, очищая от крови, выдернула, со стуком бросила в ножны. Безвольно стояла, чуть покачиваясь. Ужасно жалко Боя – теперь она видела, что рядом с Ольгой, рыча и щеря зубы на мертвых ящериц, бежит как раз Горн, оглядывается, ищет брата, а брата–то и нет… Подошел Капитан, взял за плечи, заглянул в глаза:

– Дела… Мне ты, грешным делом, все чуточку казалась актриской с Довженко, для фильма наряженной. А тут такая мясорубка… Уважать тебя начинаешь, Настя, всерьез принимать…

Анастасия вяло стряхнула его руки, потом поборола вспыхнувшее на миг нелепое желание прижаться к его груди.

Отошла и присела на бугорок, устало вытянув ноги. Под коленом пекло и саднило все ощутимей – клок джинсов вырван, царапины сочатся кровью.

– Перевязать надо, – сказал Капитан, – Он сидел рядом, перекатывал во рту незажженную сигарету.

– Успеется. – Анастасия не смотрела на него. – Чепуха.

– Княжна, а ты ведь и убить можешь… Анастасия бледно усмехнулась:

– А ты думаешь, мне не приходилось?

– Ну да, как же, – сказал Капитан. – Кардинал Ришелье особым эдиктом запретил дуэли, но в каждом переулке звенели шпаги… – он скомкал сигарету и швырнул под ноги. – Господи, что за мир идиотский…

– А тебе не приходило в голову, что этот мир – наследник того, что осталось после твоего? Это ведь не мы, а вы, Древние, доигрались до Мрака…

– Тоже верно, – не сразу согласился он. – И все же есть у меня надежда… Вдруг это – не тот мир, не мой? Вдруг это – параллельный?

– Как это?

– Потом как–нибудь объясню. Другой, в общем. Не мой мир до всего этого доигрался, а другой.

– Но ты же все узнаёшь? – спросила Анастасия. – И Серый Мост, и сказка о Ядовитом Золоте, оказывается, чистая правда… Твой мир не мог кончить вот так? – она обвела рукой вокруг.

– Самое скверное, княжна, что мог. И похуже кончить мог…

– Вот видишь, – сказала Анастасия. – И еще… Лично Для тебя меняется что–нибудь, окажись вдруг, что ты не в твоем мире, а в другом, похожем?

– Да ничего, пожалуй.

– То–то. Слушай, как же тебя все–таки зовут?

– Капитан, – сказал он. – И точка. Понимаешь, такое впечатление, будто имя там, вместе с вертолетом сгорело…

Верстовой столб 10.

Рубеж

Перестаньте, черти, клясться на крови…

Б. Окуджава

Анастасия подняла всех еще до зари – предстояло, круто забирая вправо, одолеть немаленький кусок пути и выбраться на Тракт, и по нему еще долго ехать до Тюма – форпоста цивилизации в закатной стороне, последнего города Счастливой Империи. Они минуют его, и дальше… Быть может, до сих пор были только цветочки. За рекой Тюм начинались места, куда по неизвестно кем заведенному порядку отчего–то мало кто

выбирался в путешествие. По пальцам можно было пересчитать рыцарей, отправившихся на закат. А уж вернувшихся… Их почти что и нет.

– Что ты? – спросила бесшумно подошедшая Ольга. Анастасия подняла ладонь, приказывая ей замолчать, вслушивалась. Ничего. Досадливо махнула рукой:

– Показалось, стучали копыта и трубил рог.

– Показалось. До Тюма далековато.

– Может, кто–то охотится.

– Может, – пожала плечами Ольга. – Слушай, надо подумать, как нам Капитана явить в Тюме, В натуральном виде нельзя – выйдет одно общее недоумение. Объявить амазонкой – куча лишних вопросов. Пора думать…

– Пора, – согласилась Анастасия.

Оглянулась – Капитана не было поблизости, удалился за деревья, к ручью, для своих утренних дел. Тем лучше. Анастасия глянула в глаза верному оруженосцу, усмехнулась:

– Странно даже, Олька, зная твои привычки, смотреть, как ты и не пытаешься с нашим спутником теснее подружиться. Вопреки ее ожиданиям, Ольга не смутилась, а улыбнулась еще более язвительно:

– А я думаю о тебе, госпожа моя. Не решаюсь вставал на пути, читая в сердце твоем.

– Что?! – Анастасия широко раскрыла глаза в гневе. – Чтобы я?! Первая?! Как бы там ни обстояли дела до Мрака, сейчас все иначе!

– А в глазах у тебя – совсем другое. Анастасия хотела отвернуться, уйти, но подумала, что наверняка Ольга это расценит как победу, и осталась стоять. Смерила взглядом верного оруженосца от серег до шпор и отчеканила:

– Я бы тебя попросила такие глупости держать при себе. Жалко мне тебя. Ты не забывай, пожалуйста, что мы не на Луну улетели, – сказала Анастасия. – Рано или поздно нам предстоит вернуться в наши княжества, в прежнюю жизнь. А ты относишься ко всему так, словно Счастливой Империи уже не существует, и возвращаться нам некуда. Что–то захмелела ты от путешествия и от Знаний…

– А ты – нет?

Анастасия прикусила губу. Подумала и призналась честно:

– Я, кажется, тоже. Как–то по–другому все раньше представлялось. И теперь слишком многое тревожит – я не об опасностях дороги…

– Поворачивать назад не собираешься?

– Вот уж нет, – твердо сказала Анастасия. – Ни в коем случае.

Я иду до конца. Или я своими глазами увижу пресловутый Бугор и уверюсь, что за ним лежат прекрасные страны вечного счастья, или… В общем, назад не поверну, пока передо мной будет лежать дорога. И ни о чем не жалею.

От ручья шел Капитан – умытый и веселый, в своей странной облегающей полосатой рубашке, бело–голубой. Увидев их, он издал нелюдской вопль и от избытка переполнявшего и о безоблачного утреннего настроения исполнил несколько Молниеносных выпадов этой великолепной борьбы Древних. Анастасия нахмурилась. Как–то они шутки ради сошлись в единоборстве, и Анастасия очень скоро убедилась, что во многом Капитану уступает, хотя и обучалась у лучших мастеров рукопашного боя. Во многом – еще чересчур мягко сказано. Так что появился лишний повод для тайного недовольства собой, возникшего вскоре после чудесного появления Капитана с ясного неба, и, увы, не угасшего – наоборот, княжна, наоборот…

– О чем ты не жалеешь, княжна? – спросил Капитан, слышавший последние фразы разговора. Горн примчался от кустов и восторженно прыгал вокруг него – еще капелька недовольства, чересчур легко признал его и принял в друзья пес, а ведь Анастасия своих псов щенками взяла, натаскивала сама…

– О многом я не жалею, – ответила она суховато.

– А я вот жалею, что у меня осталось только четыре магазина. И три гранаты. – Он тоже стал серьезен. – Кончится мой арсенал, и придется срочно меч осваивать. Вот тогда ты возрадуешься – ибо упаду я сразу с горных высей мощи обладателя огнедышащей палки, подмастерьем у тебя буду. Ведь хотел же когда–то фехтованием заняться, знать бы дураку…

– Меня такая перспектива немножко радует, – сказала Анастасия, увидела, что глаза у него стали грустными, но слово – не воробей. – А вообще – как знать. Может, за Бугром ты найдешь кучу этих самых твоих магазинов.

– Эх, Настя… – сказал он невесело. – Слышали уж мы эти сказки про бугор, за которым рай земной…

– И вы тоже? – изумилась Анастасия.

– Ну, по другому, конечно, а в общем – плохо я что–то верю в ваш Бугор, за которым – реки молочные… Ну, поживем – увидим. Что, собираться пора?

Они ехали к Тракту, оставляя по левую руку встающее над лесом Солнце – что–то в последнее время Анастасия и в мыслях не именовала его уже Ликом Великого Бре. Два дня, вплоть до сегодняшнего утра, они ехали в этом направлении, далеко удалились от Ничьих Земель и явно находились сейчас в пределах Счастливой Империи – все чаще попадались пни

лесосек, затесы на деревьях с выжженными на них клеймами бортников, дворянские охотничьи избушки, торные тропы, проложенные и исхоженные людьми. По одной такой они сейчас и двигались не спеша, в тающем, нежном, молоч–но–сизом утреннем тумане, делавшем лес вокруг чуточку нереальным. Они проехали меж гниющими сплетениями высоких поваленных деревьев (когда–то здесь, скорее всего, пронеслась буря), следуя за тропой, поднялись на вершину пригорка. И Анастасия натянула поводья так резко, что они больно врезались в ладони. I Там, впереди, внизу, развернувшись в шеренгу, стоял кованый отряд.

Всадник впереди и десять за его спиной. Обычные доспехи Счастливой Империи, золотые серпы–и–молоты на шиша–ках шлемов. Облачены встречные для битвы – на них, кроме кольчуг, еще и кольчужные штаны, перчатки, налокотники и наголенники, лица закрыты стальными сетками с прорезями для глаз, кони вместо чепраков покрыты такими же сетками, головы их прикрыты железными налобниками, придающими им вид мифологических чудищ. Но ни один уважающий себя воин не отправится на битву со щитом без герба и в плаще без родового знака!

Воцарилась полная тишина, только изредка чей–нибудь конь переступал с ноги на ногу, мотал головой, позвякивала сбруя, и звуки эти, такие обычные, казались зловещими.

– Если вы не разбойники, скажите, почему стыдитесь своих гербов настолько, что укрыли их! – крикнула Анастасия.

Передний всадник молча поднял с лица кольчужную сетку. Туг же она упала вновь, скрывая злобную усмешку Серого Кардинала города Тюма. И Катерина крикнула в ответ:

– Княжна Анастасия! Вынуждена тебя огорчить – твоя увеселительная поездка завершена!

– Бабоньки–голубоньки! – заорал весело Капитан. – Ударницы мадам Бочкаревой, шановно прошу дать дорогу!

Он ничего еще не понимал, не знал, насколько все серьезно. И уж никак не ожидал язвительной реплики Катерины:

– Княжна, твой мальчик для удовольствия плохо воспитан, если вмешивается в женский разговор! Где ты такого выкопала?

Несмотря на смертельную угрозу, Анастасия фыркнула, увидев лицо Капитана, выражавшее крайнюю степень ошеломления и обиды. Он закричал уже по–настоящему зло:

– Тетенька, а вы этой сеткой не от летающих ли вафель прикрылись?

Повелительный жест Катерины – и длинная тяжелая стрела ударила в грудь Капитана, но тут же отлетела, расщепившись о

поддетую под куртку кирасу (которую Капитан почему–то именовал бронетюфяком). Шутки кончились. Их будущее предсказать было нетрудно. Анастасия все же крикнула:

– Вызываю тебя на честный поединок!

– С еретиками не дерусь, – спокойно ответила Катерина. – Я их больше привыкла лишать зубов и ноготков. Бросайте оружие. Если сдадитесь, могу и одарить легкой смертью.

– Требую беспристрастного суда в присутствии Жрецов Тюма! – с умыслом крикнула Анастасия.

– Обойдешься! Бросайте оружие!

– Настенька, это что, так серьезно? – тихо спросил Капитан.

– Это смерть, ты что, не понял? – тихо ответила Анастасия. – Никакик сомнений. Никуда они нас не повезут, это ясно. Нас всех тут и положат…

– А вы двое с такой оравой не справитесь, они же по уши в броне. Настенька, но я не могу, это ж бабы…

– Это воины, которые еще и умелые палачи, – сказала Анастасия. Не было времени уламывать его, что–то доказывать. Она вынула меч. – Ну что же… Ольга, умирать придется!

Внезапно конь Капитана галопом рванулся вперед, с пригорка, остановился перед шеренгой закованных в железо Красных Дьяволят. Те враз, без приказа, выхватили мечи. Анастасия пришпорила Росинанта и поскакала вниз, выкрикивая родовой клич, но Капитан уже поднял автомат. Он стрелял почти в упор, ведя стволом справа налево, дико храпящие кони взмывали на дыбы, с тяжелым стуком рушились на землю всадники, кто–то завопил и тут же умолк. Лошадь Катерины – без всадника, с налитыми кровью глазами – едва не сшиблась грудь в грудь с Росинантом, и Анастасия натянула поводья – все и так было кончено.

Все. Она содрогнулась, едва сдержала тошноту, представив себе поля сражений Древних.

Кони без седоков носились взад–вперед вдоль опушки, только один, раненый, бился, катался по траве и кричал так, что кровь стыла в жилах. Капитан спрыгнул на землю, что–то крича, строчил в упор, и конь уронил голову наземь, затих. Капитан огляделся безумными глазами, увидел, что один из всадников упирается в землю кольчужными кулаками, пытаясь встать, подбежал и смаху всадил ему в спину короткую очередь.

Стояла тишина, несло кровавой сыростью. Капитан сидел на земле, лицо у него было мертвое, пальцы бессознательно сжимались, разжимались, мяли ремень автомата, не в силах его разорвать.

Анастасия осторожно опустилась на колени рядом с ним.

– Господи… Бабы же… – сказал он хрипло.

– Они бы нас убили, – мягко сказала Анастасия.

– Сам знаю. Ничего нового – или мы их, или они нас. Ну а жить–то каково? Не думал, что опять… – Он бешено уткнулся в нее затуманенным взглядом. – Гос–споди, ну и выпало загробное житье, не знаешь, где и хуже… – он ухватил Анастасию за запястья. – Но ведь нельзя было иначе, правда, ну, нельзя?

– Нельзя, – сказала Анастасия. – Успокойся, пожалуйста. Никак нельзя было иначе.

Капитан притянул ее к себе и крепко поцеловал в губы, прижав к себе так, словно через минуту должно было грянуть светопреставление. Анастасия не сопротивлялась, поняла, что для него это сейчас – символ поддержки и дружбы. Стояла на коленях, уронив руки, замкнутая в мертвую хватку его ладоней, и в голове у нее был полный сумбур, который она ни за что в жизни не смогла бы рассудочно разложить на отдельные чувства и мысли. Но что–то с ней определенно происходило, что–то умирало, что–то рождалось. Решительная и бестрепетная княжна Анастасия, герой доброго десятка междоусобных войн и доброй сотни поединков, была сейчас маленькой девочкой в стране диковинных снов. Но никогда в жизни никому не призналась бы в этом.

Потом Капитан отпустил ее. Анастасия посмотрела на него растерянно и грустно. Хотелось что–то сказать, но не было нужных слов.

Могилу они рыли мечами, все трое, не сговариваясь.

Верстовой столб 11.

Славный город Тюм, форпост цивилизации
Ты женщина – а это ветер вольности,
рассеянный в печали и любви…
Ю. Кузнецов

Явление Капитана славному городу Тюму оказалось задачей нешуточной и хитромудрой. Объявить его амазонкой не было возможности – точнее, не было для него доспехов. В своем обычном наряде он показаться бы не смог – уверенно можно предсказать, что был бы принят то ли за подозрительного бродягу, которому не место в компании рыцаря с оруженосцем и в приличном трактире, то ли… (когда Капитан узнал, что мог быть сочтен мужчиной легкого поведения, прибившимся к странствующему рыцарю, выражение его лица описанию не поддавалось). В любом случае – обильная пища для пересудов и сплетен. Пришлось изрядно поломать головы. Выход в конце концов нашелся – Капитана обрядили в подходящие по размеру джинсы, найденные во вьюке одного из Дьяволят, и там же

отысканную великолепную алую рубашку с золотыми застежками. В этом же вьюке отыскалось драгоценное ожерелье (судя по всему, покойный Дьяволенок собирался показать себя в Тюме и пофорсить). Ожерелье Капитан не хотел было надевать – но Анастасия с Ольгой растолковали ему в конце концов, что это и есть знак несомненной принадлежности к сильному полу. На пояс ему повесили два кинжала, через плечо – перевязь с рогом. Критически обозрели труды рук своих и остались довольны. То, что нужно. На взгляд непосвященного – рослый и сильный женоподобный слуга, то ли ловчий, то ли псарь. Такие иногда попадаются среди мужчин. Решили, что псарь. Капитан не протестовал. Его вещи тщательно укрыли во вьюке.

– Теперь – как себя вести, – наставляла Ольга. Анастасия стояла тут же и посмеивалась. – На мужчин нужно смотреть немножко свысока.

– Это–то я смогу, – пообещал Капитан. – На ваших–то хомяков…

– С женщинами держись на равных. Ухаживать за собой не позволяй. Не позволяй вольностей.

– Это каких? – поинтересовался он.

– Ну, хлопнет тебя какая–нибудь по заду и скажет, как ты ей нравишься. – Она звонко расхохоталась – Капитана вновь перекосило. – В этом случае – держаться без тени смущения.

– Боюсь, это у меня прекрасно получится – без тени, – заверю! Капитан. – А мне ей ответить такой же любезностью можно?

Они переглянулись, и Ольга кивнула:

– Вообще–то можно. Только учти – не перегибай палку! Ты во многом, согласно роли, равен женщинам, но ты все–таки не женщина, так что держись поскромнее. А лучше всего – пореже нос из комнаты высовывай.

Ольга без нужды поправила ему ожерелье и, не сдержавшись, одарила столь откровенным взглядом, что Анастасия ощутила легкий сердечный укол. Но Капитан большого внимания на этот взгляд не обратил – слишком возбужден был и раздосадован процедурой подыскивания ему должной роли, и у Анастасии отлегло от сердца, но рассердиться на себя за эти мысли она, понятно, не забыла – увы, это на сей раз было отмечено печатью чего–то устоявшегося, привычного и потому потерявшего толику неподдельной серьезности. Скорее поднадоевший обряд – сердиться на себя…

– Девочки, – сказал Капитан едва ли не жалобно, – а нельзя ли нам будет побыстрее из города убраться?

– Конечно, постараемся, – сказала Анастасия. – Закупим припасы – и больше нам там делать нечего.

В Тюм въехали мирно, без всяких недоразумений выполнив в воротах традиционный ритуал ответов на вопросы стражи (теперь Анастасии он казался невыносимо глупым).

Капитана в городе занимало решительно все, это ведь был первый увиденный им город нынешнего мира. Он пялился на окружающих так, что Анастасия тихонько его попрекнула – могут принять за деревенщину, в жизни не видевшего города, а для рыцаря иметь такого слугу не очень–то почетно. Капитан сказал, что в этом городе ему тоже не больно–то хочется выглядеть деревенщиной, и стал держать себя сдержаннее. Зато подмигнул смазливой пекарю, стоявшей перед своей лавкой. Заметив неудовольствие на лице Анастасии, осведомился, не роняет ли и сей поступок достоинство слуги странствующего рыцаря и самого рыцаря. Анастасия сухо ответила: ничуть. Капитан принялся насвистывать с непроницаемым выражением лица. Правда, оно у него заметно изменилось, когда Капитан узрел пять звезд, сиявших над храмом Великого Бре, – он выразился кратко, неизвестными Анастасии словами. Судя по тону, к украшению языка Древних они принадлежать никак не могли.

Остановились в «Голубом драконе», где каждый, понятно, получил комнату соответственно своему сословию. Комнаты Ольги и Капитана были рядом, а лучшие покои для рыцарей оказались в другом крыле, чему Анастасия не обрадовалась – предпочла б иметь Капитана на глазах. То, что он будет на глазах у Ольги, ее не вполне успокаивало и устраивало.

Что и как ему предстоит врать насчет своей службы, жительства и всего прочего, они с Ольгой дотошно объяснили. Вопреки ожиданиям Анастасии, решившей, что он засядет в комнате, он вел себя с военным нахрапом, совершенно по–свойски – сразу после обустройства и завтрака преспокойно замешался в толпу незнатных постояльцев, оруженосцев, конюших и ловчих, бивших баклуши во дворе, в ожидании Приказов своих рыцарей. Там он, как легко было предположить, оказался единственным мужчиной, но ничуть этим не смутился. Анастасия долго не усидела в своей комнате и вскоре стояла на галерее, притворяясь, будто не обращает никакого внимания на шумный двор. Она видела, как Капитан быстренько обыграл в орлянку двух конюших, а выигрыш тут же употребил на пиво для всей честной компании – к шумному восторгу болтавшихся во дворе. Притащили несколько пенившихся кувшинов, появились глиняные кружки. Капитан устроился на низком бочонке у распахнутых настежь ворот (Анастасия поджала губы, видя, что Ольга уселась рядом), взял у кого–то гитару и затянул странную песенку:

Вдоль обрыва, по–над пропастью,
по самому по краю я коней своих нагайкою
стегаю–погоняю – что–то воздуху мне мало,
ветер пью, туман глотаю.
Чую с гибельным восторгом – пропадаю!
Пропадаю!

Видно было, что играть и петь он умеет. Ольга завороженно слушала его, подперев подбородок сжатыми кулаками, окружившие их притихли, а Капитан склонив голову набок, с грустным и отрешенным видом перебирал струны:

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Не указчики вам кнут и плеть…

У Анастасии странно защипало в глазах, она ощутила непонятное стеснение в груди и невольно шагнула было назад, в глубину галереи, но тут же придвинулась к перилам, внимательно слушала. Отвлеклась на стук копыт.

По улице проезжала шагом блестящая кавалькада – яркие рубашки, синие с красным, желтые с белым, зеленые, розовые. Анастасия фыркнула и поморщилась. Княжна Тюма Ирина имела среди рыцарей самую скверную репутацию – к ней относились со смесью насмешки и тихого презрения. Прежде всего, она была прямо–таки вызывающе мужественна – хрупкая фигурка, руки не способны удержать даже шпагу, не говоря уже о боевом мече. И потому она в жизни не помышляла о рыцарских шпорах, что опять–таки вызывающе подчеркивала. И свиту подобрала себе под стать – вечно окружена тоненькими красавицами из знатных семей, чьи пальчики прямо–таки унизаны перстнями с огромными самоцветами; все увешаны золотыми цепочками, браслетами, даже на головы присобачили (точнее не скажешь, презрительно подумала Анастасия) золотые обручи. Зато слуги, доезжачие, ловчие – мужчины, как на подбор, крепкие и сильные. Об этом странном княжеском дворе, где мужчины и женщины противоестественно поменялись ролями, сплетничали столько, что пересуды в конце концов наскучили и почти сошли на нет. (Одно время болтали даже, что Ирина раздобыла где–то единственный уцелевший манускрипт с рисунками древних платьев, велела их сшить и устраивает ночные оргии, где в этих платьях щеголяет.) И это – пограничное княжество, рубеж и оплот, которому сам Великий Бре велел вести жизнь еще более строгую и суровую, чем в серединных! Или это какой–нибудь вредный ветер дует с закатной стороны, что означает: там, на закате, все же… Тьфу, что за мысли!

Естественно, рыцарство в княжестве Тюм переживало упадок – чего иного ожидать при такой княжне? Поговаривали, что и в

императорском дворце положением дел в Тюме весьма недовольны. Втихомолку ждали громов и молний, именного Постановления – указа о немилости с большой императорской печатью. Счастье еще, что Серый Кардинал Тюма была женщиной властной и энергичной. На ней, похоже, княжество и держалось, ее стараниями карающий гром Постановления пока что не грянул.

Сейчас вся эта попирающая законы естества компания медленно приближалась к распахнутым настежь тяжелым воротам «Голубого дракона». Ярко одетые, увешанные драгоценностями женщины и мужчины под стать Капитану впрочем, эти тоже не пренебрегали драгоценностями и пышными одеждами. Даже собаки у них были – не крупные боевые псы, а поджарые изящные борзые в золотых ошейниках. «Скорее всего, и насчет платьев не врут», – подумала Анастасия. Она, конечно, презирала Ирину, но интересно все же – какие они, платья? Просто любопытно. В целях познания. Женщин на улицах древних городов, которые показал волшебник–ничтожество, она не успела рассмотреть толком, и их нарядов тоже.

Ирина остановила своего чалого напротив ворот. Собравшаяся вокруг Капитана компания особой почтительности не проявила – поклонились небрежно, далеко не все. Подлинного рыцаря это привело бы в справедливую ярость, и он не преминул бы отходить их плеткой, но мыслимо ли ожидать такого от белокурой притчи во языцех? Конечно же, Ирина Даже не почувствовала себя уязвленной. Сидела на коне, поигрывала тройной цепочкой на груди и бесстыже пялилась Капитана, а тот, сердито отметила Анастасия, разглядывал ее вполне благожелательно. Анастасия невольно сжала рукоять меча. Впрочем, этой белобрысой кошке – и глаза–то зеленые, кошачьи – хватило бы доброй оплеухи…

– Это новый менестрель? – промурлыкала Ирина. – Почему же я о нем не знаю? Любезный, ты, скорее всего, не знал, что при нашем дворе умеют ценить подлинное искусство?

Капитан прижал струны ладонью и учтиво поклонился:

– Простите невежду, ваше великолепие. Мы люди темные, право, не слыхали про ваши вернисажи…

Будь на месте Ирины кто–то другой, столь наглый ответ, да еще сдобренный непонятными словами, мог бы Капитану дорого стоить (Анастасия охнула про себя, потом мысленно же хлопнула себя по лбу – знать бы заранее, что он умеет играть и петь, менестрелем его и следовало объявить! Тогда любая промашка сойдет за чудачество, у менестрелей вполне обычное и, в общем, прощавшееся). Правда, рослый усач двинул было коня к

Капитану, но Ирина воспрещающе подняла звенящую браслетами, сверкающую самоцветами перстней руку.

– Назад! Милый мой, менестрели – народ не от мира сего, и относиться к ним следует снисходительно. – Вновь обернулась к Капитану: – Ты как–то странно изъясняешься, менестрель. Кто ты и откуда?

Капитан блеснул великолепными зубами:

– А и есть я, княгинюшка светлая, менестрель Майкл Джексон прозвищем, а и бреду–то я из больших Дерунов, в волости Ганделоповой. Не доводилось бывать в тех краях, милостивица?

– Эти местности мне неизвестны, – сказала Ирина. – Но они должны быть весьма привлекательны, если рождают столь даровитых и красноречивых менестрелей. Хочешь поступить ко мне на службу? Могу тебя заверить, меня не зря называют ценителем и покровителем искусств…

– Обмозгуем, светлая княгинюшка, – поклонился Капитан. – В искусствах мы обучены. Бывало, какой малый ребятенок у нас в деревне произрастет, из люльки едва выскочит, сразу канючит – мамка, отдай искусствам обучаться…

Капитан был человек осторожный, и то, что он сейчас балагурил столь рискованно, могло означать одно – он успел уже наслушаться от своей компании сплетен о княжне Тюма. Не перегнул бы палку, встревожилась Анастасия. На счастье, Ирина, похоже, куда–то спешила. Она благосклонно улыбнулась Капитану:

– Когда надумаешь, приходи в мой горком. Башни его видны отовсюду, дорогу всякий покажет.

И тронула коня. Кавалькада потянулась мимо ворот – девушки по примеру хозяйки одаривали Капитана ослепительными улыбками, мужчины поглядывали дружелюбно, как на своего. Только усач нахохлился. Проводив их взглядом, Капитан ударил по струнам:

За окошком свету мало,
белый снег кругом валит,
а мне мама, а мне мама
целоваться не велит…

– Ольга! – крикнула Анастасия, перегнувшись через перила. – А ну–ка быстренько сюда, оба! Капитан с Ольгой неохотно поплелись к крыльцу. Толпа проводила их разочарованньм гулом и сгрудилась вокруг кувшинов с пивом.

Анастасия молча прошла впереди них в свою комнату, обернулась резко:

– Дорогие мои, вы не забыли, что нам здесь засиживаться не след? Капитан, не ты ли жаждал побыстрее отсюда убраться? А вы

оба будто нарочно внимание привлекаете… Они посерьезнели.

– Знаешь, развеяться захотелось, – сказал Капитан. – Дорожка, что б ей… А в горкоме я ни разу под гитару не пел, жутко интересно было бы попробовать…

– Я понимаю, – сказала Анастасия. – Самой развеяться хочется. Но… Серый Кардинал здесь, между прочим, та еще баба. И хозяйка в княжестве, строго говоря, она, а не эта кошка белобрысая. А парочка соглядатаев на любом постоялом дворе всегда болтается. Пока что за нас еще не брались, однако – – как знать? Не стоит рисковать. Поэтому, Олька, отправляйтесь–ка вы на базар, и немедленно. Что покупать, сама знаешь.

Когда за ними захлопнулась дверь, Анастасия присела у стола и показала язык своему отражению в зеркале. Она ничуть не кривила душой, говоря о возможных неприятностях. Тюм в самом деле следовало покинуть как можно быстрее, и все же, положа руку на сердце… Кошка белобрысая, пялится, как на купленное!

Точить меч Анастасии входило в обязанности Ольги, но Анастасия тем не менее сама спустилась в оружейную (имевшуюся при каждом постоялом дворе) и принялась за дело сама – чтобы занять чем–то руки, не сидеть наедине с мыслями. Возившиеся с оружием и доспехами своих хозяев оруженосцы косились на нее удивленно, но спрашивать, почему она сама точит меч, понятно, не посмели – этикет не позволяет. Мало ли какие обеты налагают на себя рыцари…

Ольга и Капитан вернулись, нагруженные всем необходимым, принялись увязывать вьюки. Анастасия отправилась к себе, ждала, когда они управятся с делом и придут. За окном помаленьку смеркалось, огромная багровая Луна выползала из–за крыш. Анастасия пожалела, что бинокль упрятан далеко – можно было бы досыта налюбоваться Луной. Почему Капитан иногда как–то странно поглядывает на Луну? Словно бы со смутной тревогой что–то вспомнить пытается?

Дверь распахнулась. Ольга выкрикнула с порога:

– Капитан пропал! Анастасия встрепенулась:

– Что?!

– Пошел напиться в трапезную. Сказал, что тут же вернется. И не вернулся. Нет его нигде…

– Может, по нужде пошел?

– Да нет его нигде! Анастасия, мне это не нравится! Анастасии это тоже не нравилось. И даже более того, встревожило не на шутку. Капитан ни за что не отправился бы один в город – просто так, на ночь глядя, не предупредив.

– А если они начали брать нас по одному? – спросила Ольга

тревожно.

– Случается вообще–то, – сказала Анастасия. – Но что–то я плохо верю. Катерина явно не ставила в известность местных… Нас могли взять сразу и всех. Людей знатнее нас хватали открыто, средь бела дня, тем более мы здесь чужие, а Серый Кардинал тут не из пугливых… Они переглянулись.

– Кошка белобрысая… – зло сказала Анастасия сквозь зубы.

– Думаешь? Даже от нее трудно ожидать…

– Пошли. – Анастасия решительно поднялась. – Все–таки мы в городе, не в лесу, всегда найдется кто–то, что–то видевший…

Они вышли в полутемный двор, где никого уже не было. Ольга показала на боковое крыльцо в трапезную:

– Он вошел туда. Оттуда он мог выйти в жилое крыло или вернуться той же дорогой. Но в комнаты он не проходил, я спрашивала. Его бы заметили, сейчас только о нем и говорят. Выходит, он вернулся во двор. К тому времени двор был пуст, а я зашла в конюшню и не могла оттуда видеть двора…

Анастасию почтительно тронули за рукав. Она обернулась так порывисто, что рослая девица–конюх испуганно отскочила, но тут же придвинулась ближе, оглянулась:

– Да простит мне мою дерзость светлая княжна… Но не ищет ли она какой пропажи?

– Ищу, – сказала Анастасия, пытаясь рассмотреть в полумраке ее широкое лицо. – Своего псаря.

– Того, что так складно и красиво пел?

– Того самого.

– Боюсь, светлая княжна, ему вдруг предложили лучшее место…

– Говори!

– Тс–с! – Девица с широкой и конопатой плутовской рожей приложила палец к губам. – Вы уедете, светла княжна, а мне тут жить…

Анастасия рванула из кармана джинсов кожаный тяжелый мешочек, дернула завязку. Не раздумывая, высыпала все золото в ладонь и сунула конопатой:

– Говори!

Конопатая попробовала одну монету на зуб, удовлетворенно хмыкнула и почти беззвучно ссыпала золото в карман. Увлекла их в густую тень к створке ворот:

– Я стояла вон там, светлая княжна. Там темно, от ворот меня не было видно. Твой псарь вышел из трапезной, и тут появляется этот усатый. Из тех, здоровенных, как бабы, которые в свите состоят у…. Поняла?

– Дальше!

– Попросил твоего псаря отойти к воротам. Что–то по секрету обещал сказать. Он и пошел. Ну, тут подскакивают сзади еще двое и шух! – на него мешок. Узкий такой. Раз – и сразу до пят запаковали. В таком мешке не побрыкаешься, человек как связанный…

– Знаю, – сказала Анастасия. – Так снимают часовых. Дальше!

– И все. Мешок поперек седла – и только подковы замелькали.

– Все?

– Все, клянусь улыбкой Великого Бре! Анастасия молча выхватила у Ольги кошелек и, не развязывая, запихала в карман конопатой. Та колебалась:

– Страшно… Ну ладно уж… В горком к ней его бы не повезли, она опасается чересчур уж выдрючиваться. Кардинал рядом. А есть у нее охотничий домик – на седьмой версте свернуть в лес, влево, и тропа приведет прямиком… Бывало такое…

– Ему что–нибудь грозит? Конопатая прыснула:

– Жизни его, точно, ничего не грозит. А вот добродетели… Тут ручаться никак нельзя. – Даже в темноте можно было разглядеть ее широкую ухмылку. Анастасия в ярости махнула рукой:

– Прочь!

Девица шмыгнула в темноту, к дверям конюшни.

– Седлай коней! – Анастасия схватила Ольгу за рукав.

– А может, подождем до утра? Смотришь, сам объявится…

– Седлай коней! И нечего зубы скалить!

– Слушаю, госпожа моя, – сказала Ольга с непонятной интонацией, повернулась на каблуках и побежала к конюшне.

Вскоре они выехали из ворот и понеслись вскачь по мощеным и немощеным улочкам, по косым полосам падавшего из окон бледного света масляных ламп. Люди шарахались, вслед летели проклятья, а два раза – и пустые горшки, звонко разлетевшиеся позади. Хорошо еще, конные стражники не попались.

Однако у городских ворот везение кончилось. Ворота были заперты на огромный засов–брус, вытесанный из цельного ствола высокого дерева, на концах его – кованные ушки, и в них продеты запертые замки, наглухо соединившие брус с оковкой ворот. Да еще цепь, протянутая чуть пониже бруса, продетая в четыре ушка на створках ворот и схваченная на концах замками. Конечно, этого следовало ожидать, во всех городах Счастливой Империи было так. Анастасия сгоряча об этом совершенно забыла – долгое путешествие тому виной. Окошко прилепившейся к стене караульной избы было темным. Анастасия подъехала и постучала в него рукоятью меча. Стучала долго. Наконец в темноте за мутным стеклом забелело лицо:

– Кого там Хру носит?

– Рыцари, – сказала Анастасия. – Нам нужно…

– Приказ, – сказали за окном, отчаянно зевая. – если нет горкомовского пропуска – нельзя. Ворота заперты до первых петухов.

Анастасия позвенела в ладони золотом, потом попробовала помочь делу бессвязными угрозами, но за окном, зевая, посулили затрубить тревогу и поднять шум на весь город, отчего сюда, как два пальца, сбежится весь гарнизон и особенно Красные Дьяволята, чья казарма ближе других.

Спорить более Анастасия не пыталась. Повесив голову, отъехала прочь. На постоялый двор возвращались шагом. Анастасия цыкнула на Ольгу, собравшуюся было лезть с увещеваниями, сухо приказала держать коней в стойлах, не расседлывая, и ушла к себе.

Сначала она металась по комнате, как пойманный дом княжеского зверинца лесной ящер мечется в клетке на потеху дворне. Потом немного угомонилась, села, поставив меч меж колен. На душе скребли кошки. Она злилась из–за случившегося, злилась самой этой злости, то взвинчивая себя, то впадая в тупое

безразличие. Все–таки распутала на совесть зашнурованный вьюк, расшвыряла по комнате лежавшие сверху вещи, достала бинокль, яростно дунула на светильник и с ногами устроилась на широком подоконнике. Смотрела на Луну долго–долго, стараясь волшебным зрелищем заглушить печаль, и вдруг Луна стала туманной, расплылась перед глазами. Анастасия недоумевающе осмотрела бинокль. С ним все в порядке. И небо ясное, и облачка.

Оказалось, что это глаза у нее мокрые – событие небывалое для рыцаря. Слеза ползла по щеке, Анастасия слизнула ее, и внезапно произошло вовсе уж невообразимо позорное – Анастасия упала на постель и заревела в подушку, изо всех сил прижимаясь к ней лицом, чтобы кто–то, страдавший бессонницей, не услышал эти звуки, способные навсегда опозорить ее в глазах рыцарства, если разойдется молва. И плакала долго.

К ее несказанному удивлению, обнаружилось, что после этого стало легче. Определенно легче. Даже стыда за малодушие поубавилось – словно сбросила с плеч тяжелый груз.

…Небо уже посерело, звезды были едва различимы, когда они подъезжали к воротам. Снова застучали в дребезжащее стекло рукоятями мечей. Снова после долгого молчания за стеклом забелела заспанная физиономия и стала бубнить, До первых петухов еще далеко, а до казарм гораздо ближе. Тут, на посрамление стражника и к радости Анастасии, на ближнем подворье заорал петух – самоуверенно, звонко. Довод был неопровержимый, а золото его подкрепило. Стражник зевая, выбралась на крыльцо и поплелась отмыкать цепь.

Анастасия взбежала по шатким ступенькам в караульню и с размаху швырнула внутрь горсть монет, что было лучшей побудкой, и в подметки не годившейся военному рогу. Вскоре уже восемь отчаянно зевавших и потягивавшихся стражников выталкивали брус из огромных скоб. Упираясь обеими руками, налегли на правую створку ворот, и она с тягучим скрипом распахнулась наружу.

Анастасия пустила Росинанта галопом. Она была без кольчуги и шлема, волосы разметались, рассветный холодок выстудил рубашку, заползал в рукава и в распахнутый ворот. Меч колотил по бедру. Кони, разозленные проведенной под седлом ночью, в понуканиях не нуждались – они едва не проскочили нужный поворот.

Двухэтажный охотничий домик из толстых бревен стоял посреди большой поляны. Все окна закрыты ставнями, и в щелях не видно света, В конюшне, чуя чужих коней, забеспокоились лошади. Забрехала собака, из конюшни выскочила заспанная сторож, но Анастасия так прикрикнула на нее, что та ни жива ни

мертва просунулась внутрь и захлопнула дверь – быть может, она решила, что это очередной набег т кровной мести. Анастасия привстала на стременах и что есть силы затрубила в рог. Хриплый тревожный рев далеко разнесся по лесу. Анастасия трубила и трубила, пока не скрипнула дверь. На галерею вышел тот рослый усач. Держась за перила, моргая, стал разглядывать Анастасию так, словно она была происходящим от неумеренного пития видением.

– Подойди сюда! – сказала Анастасия. – Живо! Он лениво подошел, скребя в затылке. Тут же Анастасия, перевесившись с седла, одной рукой схватила его за волосы, а другой приложила к подбородку кинжал, лезвием плашмя. Медленно, внятно, чеканя слова, сказала:

– Я – княжна Анастасия. Не слышал? Если ко мне сейчас же не выйдет мой псарь… Вас тут много, но вы все – барахло, лоботрясы свиты, потешники. Я войду в дом, и вы будете в окна прыгать, вынося на себе рамы и ставни…

– Ну понял, понял, – пробурчал усач. – Я–то при чем? Так и передам.

– Ты уж постарайся, – грозно–ласково попросила Анастасия и не сразу убрала кинжал.

Он удалился внутрь, оглядываясь и хмыкая. Какое–то время внутри было тихо, потом в щелях заблистал колышущийся свет, забубнили мужские и женские голоса, кто–то капризно возмущался, кто–то уныло уговаривал, гомона и света становилось все больше. Анастасия вновь затрубила. Наконец из дверей появился Капитан. К тому времени уже рассвело, и видно было, что он являет собой примечательную и забавную смесь смущения, облегчения и попыток сохранить невозмутимость: За спиной Анастасии фыркнула Ольга.

– Влезай на коня, – хмуро бросила ему Анастасия, подъезжая вплотную к крыльцу.

Он одним прыжком оказался на крупе Росинанта за ее спиной, и Анастасия, не дожидаясь, пока он устроится поудобнее, поехала прочь. Капитан пошатнулся, схватил ее за талию. От него крепко припахивало вином и ненавистными духами.

– Руки, – сухо сказала Анастасия.

– А за что же тогда… Ага, вот. – Он ухватился за высокое седло. – Слушай, ну чистенько они меня упаковали…

– Вояка, – хмыкнула Анастасия.

– Кто ж думал, что прямо в городе? Ну компания, я тебе скажу…

– Подробности меня не интересуют, – сказала Анастасия, чуя щекой его горячее дыхание, и тут ее прорвало: – Нет, я не

понимаю! Ну ладно, сунули в мешок, спутали, но потом–то, потом?! Здоровенный, умелый, может голыми руками толпу разбросать, жерди он рукой рубит, топор усатый… Мог их по стенам размазать и уйти, так нет, приглянулась компания… И кто?! Кошка белобрысая…

Капитан смущенно покряхтывал за ее спиной, подпрыгивая не в такт размашистой рыси Росинанта. Анастасия уже чувствовала себя победителем, а его стертым в порошок и сгоревшим со стыда, когда он наклонился и шепнул ей на ухо:

– Настенька, а у вас пословица про собаку на сене в ходу?

Пословица была в ходу. Весь оставшийся до городских ворот путь Анастасия молчала.

Верстовой столб 12.

Все краски заката

Полон воздух забытой отравы…

Ю. Кузнецов

Лошади осторожно перебирали ногами, входя на крашенные темной краской (чтобы не так пугались норовистые кони) доски парома. Старшина перевозчиков протяжно крикнула, перевозчики вцепились в канат, уперлись грубыми башмаками в настил, и паром поплыл в сизой дымке утреннего тумана, заскользил поперек реки Тюм, отделявшей Счастливую Империю от неизведанных ничьих земель. Анастасия стояла у перил и смотрела в мутную воду. Временами из нее высовывали хищные зубастые пасти караси, вцеплялись в толстые бревна, откусывая щепки, пытались вцепиться когтистыми передними лапами, вскарабкаться, но срывались и плюхались назад в серые волны.

– Эх, де–ти–ну–шка, ухнем! – протяжно вскрикивали перевозчики на старинный манер. – Эх, бе–де–ная, сама пойдет!

– Мириться будем, Настя? – бесшумно подошел Капитан, уже в своей обычной одежде и кирасе. Перевозчики с любопытством косились на него, но в распросы пускаться не осмелились.

– Мы и не ссорились, – ответила Анастасия, стараясь, чтобы голос ее звучал как можно равнодушнее. Ольга держалась поодаль, присматривая за конями: – Я эту белобрысую кошку слишком презираю, чтобы…

– Ну, затащили. Ну, не сдержался. Заменим смертную казнь испытательным сроком? – Его веселость, как и ее равнодушие, была чуточку наигранной. – Настя…

– Хватит, – сказала Анастасия и отвернулась. – Я тебе не нянька. А если тебе взбрели в голову какие–то глупости, то советую помнить, что это и есть глупости. Я рыцарь, а не кошка в перстнях. Все. Мы снова в дороге.

Капитан пожал плечами, отошел, напевая:

Как на черный ерик,
как на черный ерик
бросили казаки
сорок тысяч лошадей…

Приближался берег – точно такой, как покинутый ими, та же трава, те же деревья, то же солнце. Но берег был чужой. Раньше они всего лишь отклонялись от Тракта и в любой момент могли свернуть к наезженной дороге, знакомым землям. Теперь же впереди была полная неизвестность. Если хоть одна десятая страшных рассказов хронистов правдива…

– Господи, – сказал Капитан. – Пивка бы выпить, Булгакова бы толстый том в руки взять, видик бы посмотреть…

– Видик я смотрела, – не удержалась Анастасия.

– Что? – Он сразу забыл о размолвке и об их взглядах, старательно избегавших пересечения. – Как так?

– У нас эта церемония тоже есть, – сказала Анастасия.

– Не может быть! – Он заинтересованно придвинулся.

– Достигших совершеннолетия дворянских дочерей, готовящихся стать рыцарями, ведут в подвал. Там старший в роду снимает покрывало, и открывается стеклянный шар. В него нужно смотреть. Предание гласит, что тот, кто отмечен богами, увидит внутри шара диковинные картины. – Анастасия грустно вздохнула. – Я не видела, жаль. И не слышала, чтобы кто–нибудь видел. У вас церемония с видиком обстояла иначе?

Капитан вместо ответа захохотал так, что кони встрепенулись и грохнули подковами по доскам настила. Ольга повисла на уздечках. Анастасия сердито отвернулась. Ясно, она попала впросак. У Древних эта церемония, надо думать, проходила совсем по–другому.

Смешно было бы думать, что чудовища и воины неизвестных народов набросятся на них, едва они окажутся на ничейной земле чужого берега. Ничего не случилось. Они ехали, минуя перелески, ехали без дорог, потому что дорог не было. Капитан при помощи компаса выверял направление и ворчал, что заложил бы душу джиннам за хорошую карту; громко недоумевал, как же, черт возьми, ухитрялась без компаса и карты находить дорогу и попадать в нужное место вся эта компания – Квентин Дорвард, Айвенго и остальные. Анастасия поинтересовалась, знакомые ли это его или известные своими подвигами славные рыцари Древних. На этот раз он не смеялся, но Анастасия все же сообразила, что снова сморозила глупость и зареклась на будущее.

Вскоре Горн повел себя странно. Он метался, внюхиваясь в землю, рычал, скалил зубы и наконец так стал жаться к ногам

коней, что чудом только не угодил под копыта. Капитан, давно уже посерьезневший, перевесил автомат на грудь и спросил:

– Понимаете что–нибудь?

– Как бы не звери, – сказала Анастасия, и они с Ольгой наложили стрелы на тетиву.

Горн повизгивал, держась у ног лошадей. Капитан навел бинокль на ближайшую рощицу, довольно–таки густую, сплюнул и сообщил:

– А ведь там, господа мои, что–то виднеется. И нужно нам эту зеленку проверить…

Они пустили коней шагом. Кони прядали ушами, всхрапывали. Горн переместился в арьергард и поскуливал жалобно. Дома, в Империи, он не боялся лесных ящеров…

– Вот оно! – вскрикнул Капитан и прицелился. Тут же опустил автомат, растерянно оглянулся, пожал плечами: – Что–то это как бы того… Ольга завизжала. Кони попятились.

Хрустя ветками, на открытое место выбралось огромное двуногое существо, выше самого рослого человека, все заросшее редким курчавым волосом, сквозь который просвечивает розовая кожа. Бедра обмотаны куском сурового полотна. Шагало оно довольно косолапо, ногти на босых ступнях были длинные, а в передних, столь же когтистых лапах оно удерживало лежащую на плече дубину, кончавшуюся огромным комлем. Физиономия – неописуемая смесь человеческого лица со звериной мордой – вытянута вперед, торчат клыки, но взгляд, как ни странно, осмысленный. Оно встало, покачиваясь, глухо взрыкивая. Горн залился истерическим лаем.

– Стрелять? – спросил Капитан то ли Анастасию, то ли самого себя. – Что–то тут… На кого ж это похоже?

Страха Анастасия отчего–то не чувствовала. Она просто смотрела во все глаза, поглаживая по шее пятившегося Росинанта.

– Слышали у вас про таких? – спросил Капитан, сторожа движения чужака стволом автомата.

– Нет, – сказала Анастасия, и Ольга крикнула сзади, что ни о чем подобном…

Воцарилось странное, неуклюжее замешательство. Для боя необходим был повод, какой–то крик, толчок, угрожающий жест, но ничего подобного они не дождались. Чудище стояло, как вкопанное. Наконец Капитан не выдержал и крикнул:

– Эй, дядя, ты тут шлагбаумом работаешь, или как? Чудище разинуло пасть и хрипло спросило:

– Сахар есть?

Вот тут Анастасия от неожиданности едва не спустила

тетиву. Капитан тоже готов был выстрелить, но сдержался и ответил как ни в чем не бывало:

– Сахар есть.

– Сахар давать – не драться, драться – сахар не давать.

– Логично, – сказал Капитан. – Моя драться не хочет, моя будет твоя бабай сахар давать. Идет?

Чудище небрежно сбросило дубину с мохнатого плеча – она грянулась оземь так, что гул пошел – и безбоязненно двинулось к путешественникам. Самое поразительное – лошади храпели и приплясывали, но вели себя, в общем, спокойно. А чудище вытянуло лапу и прохрипело:

– Сахар давать.

Капитан, не оборачиваясь, протянул назад левую руку. Торопливо распутав ремни переметной сумы с едой, Анастасия вытащила угловатый кулек с сахаром и сунула Капитану в руку. Два больших куска перекочевали к чудищу. Оно сунуло сахар в пасть и смачно захрустело. Потом плюхнулось в траву, так неожиданно, словно ему подрубили ноги, уселось и похлопало лапой по земле:

– И вы сидеть.

Анастасия колебалась, но Капитан спокойно спросил:

– Кто на карауле останется?

– Знаете, мне на коне спокойнее, – сказала Ольга.

– Вот и сиди, да по сторонам гляди. – Сам он спрыгнул с седла, устроился не так уж близко, не так уж далеко от чудища, зажег сигарету и спросил: – Сторожишь тут, Финогеныч?

– Мой тут жить, – сообщило чудище. – Баба жить, детка жить. Хлебца сеять, мясо ловить.

Анастасия тоже решилась – подошла и остановилась поодаль.

– Хитрый, – сказало чудище Капитану. – Мой один баба жить, твой за собой таскать один баба и один баба.

– Девочки, можно, я ему не буду объяснять разные сложные вещи?

– Да ладно уж, – сказала Анастасия. – Вы… ты… – она решительно не знала, как к нему обращаться. – Кто ты такой?

– Мой человек, – с интонацией, которую при желании можно было считать и гордостью, сообщило чудище. – Мой умный.

Из дальнейшей беседы выяснилось (с домыслением) следующее. Давным–давно прадедушки чудища были глупые и ходили на четырех лапах, но потом с неба посыпались куски горящего воздуха, и прадедушки до того испугались, что разбежались на задних лапах, да так и стали ходить. И стали умные.

– Тьфу, черт! – сплюнул Капитан. – То–то ты мне, Финогеныч,

кого–то напоминаешь… Мишка косолапый, вот кто ты.

– А это кто? – спросила Анастасия.

– У вас что, медведей нет?

– Медведь – это мифологический зверь, – сказала Анастасия. – Крылатый и двухголовый. Летучий.

– Вот он, медведь, – сказал Капитан. – На дыбки встал и поумнел, надо же…

– Мой умный, – подтвердило чудище. – И сосед умный, и еще сосед, и еще сосед. Все умный.

Местность эту, как выяснилось, заселяли сородичи чудища. Правда, путников больше интересовали похожие на них самих существа. Здесь чудище мало чем могло помочь. Оно четко выделяло две разновидности живших где–то в отдалении «безволосый люди» – одни не дерутся и делятся сахаром, даже научили сажать хлеб, зато другие охотятся на «человеков», и «человеки» после этого бесследно исчезают. Особо подчеркивалось, что ролями эти две разновидности никогда не меняются.

Но никаких полезных для дальнейшего странствия выводов сделать из этого нельзя. Те, кто давал сахар «человекам», могли, как знать, без зазрения совести прикончить трех путников, а те, кто на «человеков» охотился, могли оказаться хлебосольнейшими гостеприимцами. Поэтому разговор особенно не затягивали. Оставили чудищу сахара и поехали дальше. Ехали без опаски – «человек» заверял, что его соплеменники, если их не трогать, первыми не бросаются. Капитан неожиданно стал грустен и насвистывал что–то печальное.

– Да, грустно все это, Настасья, – неохотно сказал он в ответ на ее мимолетный вопрос. – С людьми все более–менее ясно, а вот чем мишки виноваты, что и по ним грохнуло за ваши… за наши грехи, скажи ты мне?

И отъехал. Покачивался в седле, тихо напевал:

И меня по ветреному свету,
по тому ль песку
поведут с веревкою на шее
полюбить тоску…

Они ехали долго, пока не наткнулись на великолепное озерцо с песчаными берегами посреди густого леса, перемежавшегося густым малинником, – отличное место для привала. Капитан сначала упрямо твердил, что настоящая малина совсем другая, красная, а не голубая, не такая большая, и вид у нее другой. Однако Анастасии с Ольгой именно такая малина была знакома с детства, они принялись уписывать ее горстями, и Капитан к ним присоединился после недолгого колебания.

После обеда решили искупаться. С соблюдением всех предосторожностей, понятно. В озеро долго швыряли камни и коряги, сучьями промерили глубину у берега. Капитан выпустил в воду короткую очередь, но никакого чудища на поверхности не появилось. Впрочем, большие чудовища в таких озерах и не живут, подохли бы с голоду. Правда, сторона чужая, кто ее знает…

– Уж если ты так боишься, сидел бы на бережку с автоматом и стерег, – сказала Анастасия. – Это ведь женщинам неприлично глазеть на голых мужчин, а не наоборот.

Капитан признался, что раньше все обстояло как раз наоборот, так что сидеть на страже он не может, хотя не имел бы ничего против того… Анастасия подняла бровь и ничего не сказала. В нем вновь проявилась та смесь дерзости и смущения, которая и притягивала Анастасию, и мучила неразгаданностью – являл ли Капитан собой образец типичного мужского характера Древних или он один такой? Почему–то очень хотелось эту загадку раскрыть, а спрашивать прямо было как–то неловко.

Анастасия думала над этим, сбрасывая одежду на крупный желтый песок, по которому просто замечательно было идти босиком, думала, плывя в прогретой солнцем воде. Ей вдруг захотелось увидеть на дне клад, сияющие золотые чаши и груду сверкающих самоцветов, а то и легендарное сокровище – Валюту, о которой летописцы отзывались восторженно, но не объясняли, как это сокровище выглядит (Анастасия подозревала, что они не знали этого и сами). Увы, вода мутноватая, на расстоянии четырех–пяти локтей уже ничего не видно.

Невидимые за кустами спутники позвали ее проверки ради, она откликнулась, звонко и громко. И поплыла на середину. Ужасно не хотелось вылезать из теплой воды – когда еще подвернется такой случай?

И тут она увидела сокровище. Самое настоящее. На том берегу в песке у самых кустов сверкали огромные, с лесной орех самоцветы – синий, желтый, красный. Анастасия моргнула, тряхнула головой. Самоцветы не исчезли, они сияли, переливались, дразнили и манили. Размашисто загребая, Анастасия подплыла к самому берегу, встала на дно. Прислушалась. Полная тишина, на том берегу слышен спокойный разговор Капитана и Ольги – звуки над водой далеко разносятся. Она вышла на берег, сделала три шага, нагнулась к самоцветам, отводя с лица мокрые волосы. Выпрямилась, держа камешки на ладони. Словно бы светятся изнутри. Не все легенды врут. Бывают клады. Вот только куда голому человеку спрятать камни? Плыть, загребая одной рукой, не столь уж удобно. Не обходить же озеро

кругом, по берегу?

Поразмыслив, Анастасия сунула камешки в рот, под язык. Довольная своей смекалкой, обернулась к воде.

Что–то тяжелое, жесткое упало сверху на голову, заслоняя солнечный свет, молниеносно скользнуло по бокам к пяткам, прижав руки к телу. Во мгновение ока Анастасия оказалась спеленутой в плотном тесном мешке, ее сбили с ног ударом под коленки, подхватили и бегом понесли сквозь кусты – она ощущала, как по мешку хлещут ветки.

Она отчаянно забилась, но держали меток умело, цепко, и за колени, и за плечи, так что ничего не вышло. Проклятые камни все еще были во рту, мешая подать голос. Анастасия вытолкнула их языком и попыталась крикнуть. Тут же чья–то рука перехватила шею, заглушив крик. Бег продолжался. Ее явно похищали люди, а не чудовища, но это–то, быть может, и было самым страшным…

Анастасия извивалась, пробуя кричать, уже из чистого упрямства, знала, что не удастся, что друзья на том берегу спохватятся слишком поздно, пока разберутся, пока пустят вокруг озера Горна искать ее следы… Куда ни кинь, выходило, что положение ее – хуже некуда. От злости она не могла даже толком испугаться. На бегу ей опутывали лодыжки колючей веревкой, и веревка немилосердно впивалась в тело.

Мешок взлетел вверх – его взвалили на что–то дернувшееся, живое, теплое, знакомо пахнущее конем. Зазвенела сбруя, кто–то прыгнул в седло, прижал мешок коленями к конской шее, и тут же затопотали копыта – судя по стуку. пяти–шести лошадей.

Скачка была бешеная. Анастасию швыряло, подбрасывало, колотило о лошадиный хребет и шею, она задыхалась, жадно хватала ртом воздух и никак не могла вдохнуть полной грудью. Мокрые волосы лезли в рот и в глаза. Всадники свистели, орали, гикали, видимо, чувствуя себя уже в безопасности, и по конскому аллюру Анастасия поняла, что они несутся по открытому пространству – в лесу так не разгонишься.

Всякое представление о времени исчезло. Перед глазами вспыхивали цветные пятна, сознание мутилось, тошнота подступала к горлу. Пугаться было некогда – лишь бы не задохнуться. Шалая скачка сменилась размеренным аллюром, всадники целеустремленно спешили куда–то, и Анастасия в редкие проблески более–менее сносного самочувствия пыталась сообразить, что ее ожидает. В голову, понятно, ничего дельного не приходило – все мысли вытрясла скачка.

Наконец кони пошли медленее, остановились совсем. Веревку на лодыжках распутали, Анастасию поставили подошвами на

землю и потянули мешок вверх. Она яростно извивалась, помогая сдернуть его побыстрее. Зажмурилась от света, жарким всплеском ударившего в глаза. Вокруг хохотали. Она медленно открыла глаза, стояла, обнаженная и взъерошенная, в кругу смеющихся крепких мужчин в черной одежде с какими–то затейливыми золотыми знаками на левой стороне груди. Ее пошатывало и мутило. Она зло сверкнула глазами из–под спутавшихся волос, и хохот грянул с новой силой.

– Клянусь Предназначением, охота того стоила! – сказал кто–то. – Какая кобылка!

Ему дружно поддакнули. Анастасия прикинула, сможет ли в броске выхватить меч из ножен у ближайшего. Нет, тело пока что плохо повинуется. Она потрясла руками, разминая их. Огляделась внимательно. Вокруг – голые холмы, под ногами сухой горячий песок, серая пыль. Ни деревца, ни кустика.

Кони – обычные кони, шестиногие, люди – обычные люди, разве что их штаны и рубахи иного, диковинного покроя, а золотые знаки больше всего напоминают какое–то шестиногое насекомое. Только вот взгляды их настолько не понравились Анастасии, что она даже не ощутила стыда за свою наготу. Странная пустота была в их глазах, и смотрели они так, словно Анастасия вообще не была человеком – глаза лошадиных барышников, довольных красивой и сильной покупкой. И ничего, кроме этого. От этого ничуть не стало легче, наоборот. «Право же, наоборот», – подумала Анастасия, выпрямилась с видом гордым и презрительным, сглатывая тошноту. Судя по их лицам, они поняли оскорбление, сообразили, что их считают низшими существами, которых и стыдиться–то нельзя.

Вокруг дыбились голые желтые холмы, и ветер, посвистывая, по–змеиному шипя, сдувал с них песок, гнал его тонкими невесомыми струйками неизвестно куда.

– Какая кобылка! – повторил главный. – Тряпки ей бросьте.

К ногам Анастасии упали рубаха и штаны из той же черной ткани, но гораздо более поношенные. Она накинула рубаху через голову и не сразу справилась с застежкой штанов.

– А ты уверен, что Китеж мы себе на голову не посадим? – спросил один главного.

– Абсолютно уверен. Я за ними долго наблюдал. Совсем ничего похожего.

– Поверим… Как с ней толковать?

– Как обычно.

Все снова заржали. Один протянул ей железную гребенку, и Анастасия не удержалась, взяла. Долго расчесывала спутавшиеся волосы, дергаясь от боли и тихонечко ругаясь под нос. Потом

швырнула гребенку под ноги хозяину.

– Ого!

– Да уж это не про нашу честь. Закон Законом, а Хранители Кнута и Лопаты…

Все разом примолкли. Казалось, им хочется оглянуться друг на друга, но они боятся.

– Вы, скоты, что все это значит? – спросила Анастасия.

– Еще лучше. Говорит по–человечески. Меньше возни.

Ну, так! Анастасия покрепче уперлась левой ногой в землю, прикинула расстояние, оценила и вырвала.

И метнулась. Крутнулась. Влепила.

И почти тут же ей досталось меж шеей и плечом чем–то твердым, да так, что она кубарем полетела в песок. Сразу же навалились, вывернули руки, скрутили их ремнем за спиной, спутали ноги. Грубо подняли и держали за локти.

Главный, которому она угодила босой пяткой под массивную пряжку пояса, еще сидел, схватившись за ушибленное место, со свистом втягивал воздух сквозь стиснутые зубы, охал и шипел, как лесной ящер. Его люди, когда он на них не смотрел, косились на него скорее злорадно. Наконец он встал, разогнулся, проковылял к Анастасии и влепил ей оглушительную пощечину.

– Ну, стерва! – выдохнул он. – Я ж тебя не доведу, не посмотрю на Хранителей… Анастасия облизнула нижнюю губу – нет, не разбил, но все равно больно.

– Развяжи руки и дай меч, – сказала она, – А там посмотрим, скотина такая.

– Я тебе сейчас такой меч дам…

– Хранители, – небрежно так, равнодушно так обронил самый неприметный из его людей, и главарь тут же сник. Выругался, сплюнул: – Ладно, пошли.

Анастасию повели к холмам. Идти трудно, путы на ногах короткие, она то и дело спотыкалась. Ее тут же подхватывали, но при этом старались как бы нечаянно лапать, тайком от неприметного, но грубо и нахально, и она старалась идти осторожнее, крохотными шажками, медленно. Черных это раздражало, и в конце концов после короткой перебранки ей разрезали веревку на ногах, «Что–то не похоже, чтобы женщины тут были сильным полом», – подумала Анастасия, ежась от тоскливой безнадежности. И впервые пожалела, что пустилась в путешествие.

Чем ближе они подходили к холмам, тем диковиннее и явственнее становились долетавшие оттуда звуки – мощное шипенье и гул, пыхтенье и многоголосые выкрики. Вроде бы шум большого города – так бывает, если слушать его с высокой башни.

Они оказались на вершине холма, и Анастасия попятилась.

Внизу кипела невообразимая суета, казавшаяся непривычному глазу сплошной мешаниной людей, животных, повозок, железа и дерева, канатов и лестниц.

Справа тянулась от самого горизонта гигантская канава, шириной и глубиной не уступавшая той высохшей реке у Серого Моста, даже превосходившая ее. Но это русло было вырыто человеческими руками – идеально прямое, с отлогими краями, высоченным юлом выброшенной земли на том берегу. Какие–то исполинские железные звери, членистые, дымящие жирным черньм дымом, свистящие, то и дело выпускавшие клубы густого белого пара, слепленные, казалось, кое–как из бочкообразных, кругловертящихся, криво–растопыренных, косо–дырчатых кусков, полос и частей. Звери вгрызались гигантскими зазубренными ковшами на длинных шеях в отвесную стену земли, куда утыкалось русло. Дергались, скребли, рыли, отхватывая комья и глыбы. Ковши мотались, словно головы чудовищ на перебитых шеях, вываливали землю вбок, и ее утаскивали наверх в сотнях бадей на канатах, на тысячах тачек по бегущим вверх по стенам зигзагами узким настилам. Многие тысячи людей копошились в русле, выравнивая его дно, увозя наверх землю и сваливая ее в бесконечный вал, уходивший за горизонт обок русла; другие распоряжались, вопили, хлестали бичами нерадивых, суетились на площадках железных зверей, спуская вниз какие–то бочки, связки дров; и поминутно раздавались истошные вопли придавленных и пораненных, на которые, казалось, никто не обращал внимания – только взблескивало там, где Раздавался крик, словно бы мечи сверкали, и тогда крик зачихал. Марево пыли стояло над исполинским руслом. Казалось, это горе повисло невесомым облаком. Жуткое зрелище. Анастасии показалось даже, что это она умерла и попал в потусторонний мир, на зловещую Свалку Истории, которой пугали грешников жрецы. Они, правда, уверяли, что там царят холод и сумрак, но все равно это похоже на загробную жизнь для грешников…

Правда, Анастасия знала, что люди способны сделать этот мир еще более неласковым – для невинных… Куда там загробному для грешников!

– Что это? – спросила она, чувствуя себя крохотной пылинкой посреди смерча.

– Великий Канал! – ответил кто–то. – Творение Божественного Жука!

– А… зачем все это? – спросила Анастасия недоуменно. Как раз из–за грандиозности Канала не верилось, что здесь скрыта естественная, разумная, человеческая цель. Людей здесь собрано

многие тысячи, но все, что они делали, было нечеловеческим.

В ответ – удар по спине:

– Заткнись, дикарка!

Анастасия посмотрела влево – там и в самом деле стоял целый город. Город на колесах. Крытые грубой тканью огромные повозки и настоящие домики – но на высоких колесах, с оглоблями и дышлами, уткнувшимися в землю, с окнами и дверями, крылечками и латаными жестяными трубами. Тысячи повозок, тысячи домиков, образовавших неисчислимые улицы и тупики жуткого лабиринта. Там дымили печи, взлетали снопы искр над крышами кузниц, бегали дети, ревел скот, под навесами в стойлах из жердей стояли кони, висело на веревках белье. В любой момент этот город мог сняться с места и тронуться в путь. И над городом на высоченном столбе, обитом жарко блестевшими золотыми бляхами, на белом человеческом черепе (слишком большом, чтобы быть делом рук природы), вцепившись в него шестью растопыренными лапами, восседал гигантский золотой паук с черными матовыми глазами. А чуть пониже развевались по ветру то ли длиннющие лошадиные хвосты, то ли пучки черных веревок.

Один из плениших Анастасию поскакал в город – видимо, известить кого–то. Мелькнул на улицах, направляясь к столбу с пауком (или жуком?) и исчез в суетне таких же черных.

Анастасию грубо схватили за плечо и повернули, толкнули в спину костистым кулаком:

– Пошла!

– Я… не умерла? – спросила она неуверенно. Тычок кулаком в поясницу:

– Скоро убедишься, что тут живые…

Они вошли в город, зашагали меж повозок и домиков. Анастасия поразилась, что никто не обращает на них внимания. Взглядывают мельком и тут же равнодушно отводят глаза, уступают дорогу без страха, без любопытства, без единого человеческого чувства. Только у детей, и то совсем крохотных, Анастасия увидела в глазах живой блеск. Те, что постарше, уже пугали насквозь пустыми глазами.

Они подошли к столбу с черепом и жуком. Вблизи оказалось, что столб воистину громаден. Черные веревки сухо шелестели в налетевшем ветерке. Дом под столбом был больше и наряднее остальных – но и он, понятно, на колесах.

Захватчики переменились на глазах. Теперь они приняли вид раболепный и предупредительный, хотя пока что не видно никого, перед кем следует эти чувства проявлять. Они стояли в ряд, смирнехонько, вытянув руки по швам.

Скрипнула дверь, и сверху позвали:

– Входите!

Старший толкнул Анастасию в спину, и она пошла вверх по приставному крыльцу с перилами. Следом на цыпочках взбирался старший. Казалось, он и не дышит.

Прихожая, где застыли двое воинов в черном, с секирами. Дверь медленно распахнулась. Старший уже не толкал – упер в спину Анастасии палец и направил в проем, бесшумно ступая следом. Дверь бесшумно же захлопнулась за ней.

– Подойди ближе, – произнес лишенный человеческих чувств мужской голос – словно сам воздух, насыщенный запахами железа и песка, складывался в слова под ударами невидимого кнута.

Анастасия сделала два шага вперед.

– Развяжите руки.

Шаги за спиной. Руки Анастасии оказались свободны. Она встряхнула ими, разгоняя кровь по жилам и жилочкам, огляделась.

В черном высоком кресле сидел человек в черном. Узкое Длинное лицо, крючковатый нос, острый подбородок. Совершенно голый череп перехвачен над глазами обручем с золотым жуком. Казалось, жук впился ему в лоб всеми шестью лапами и застыл, подобно третьему глазу. Такой же жук, только побольше, восседал на спинке кресла над его голоси, и из жука рос золотой семисвечник. По обе стороны кресла стояли такие же люди в черном, только у этих жуки висели на груди на золотых цепочках.

– Убирайся.

– Великий Мастер, она строптива, и я опасаюсь… – прошелестел из–за спины Анастасии старший над схватившими ее.

– Великие истины усмиряют самых строптивых, – сказал человек в черном. – Убирайся.

Дверь мягко затворилась. Полтора десятка взглядов скрестились на Анастасии. Она стояла, гордо подняв голову, притворяясь, будто не замечает этих взглядов – шарящих, холодных. И совершенно пустых.

– Ну что же, – сказал тот, кою назвали Великим Мастером. – Она слишком красива, чтобы продолжать род рабочего быдда, а следовательно, достойна продолжать род кого–то из вас, Хранители Кнута и Лопаты.

– Сначала следовало бы меня спросить, согласна ли я продолжать чей–то там род, – сказала Анастасия. – И стоит ли его вообще продолжать?

На нее уставились даже не возмущенно – с безмерным удивлением.

– Участь женщины – неустанно продолжать род, – сказал Великий Мастер. – А участь рожденных женщиной – вести вперед Великий Канал. Ты, должно быть, издалека, и разум твой темен, если ты не знаешь очевидных вещей.

– Я – княжна Анастасия из рода Вторых Секретарей, рыцарь Счастливой Империи.

– Придуманные дикарями звания нелепы перед Великим Каналом.

– Прекрасно, – сказала Анастасия. – Похоже, меня собираются сделать чьей–то женой, не спрашивая, как я к этому отношусь?

– Какое это имеет значение – твое отношение к делу? сказал Великий Мастер. – Хранители, как ни удивительно, эта дикарка способна связно выражать свои мысли, пусть и примитивные. Это лишний раз доказывает, что получить ее должен кто–то из вас.

– Кто вы? – спросила Анастасия, решив пока что не ввязываться в споры.

– Мы – – слуги Великого Канала, – сказал Великий Мастер. Он встал с кресла, подошел к Анастасии, положил ей на плечо холодную жесткую руку и подтолкнул к окну. Из окна виднелось за скопищем передвижных домиков пыльное марево и облака пара над Каналом; тысячеустый шум, грохот железных зверей, бадей и колес тачек долетали и сюда.

– Но зачем все это? – удивленно спросила Анастасия, ничуть не притворяясь.

– Мы – лишь скромные слуги Великого Канала, – сказал Великий Мастер. Его голос словно пытался вопреки своей природе стать мягким, но тщетно. – В незапамятные времена мир был дик и бессмысленен. Жалкие дикари ковыряли землю мотыгами и строили хижины, без пользы расточая труд и зачатки ума на сотни неразумных дел, прибавляя этим хаоса. И тогда пришел Великий Тро, чьи священные волосы распростерлись над миром семицветной жизнетворящей радугой, возвещавшей о наступлении Эры Порядка и Труда, Тро протянул руку, и на ладонь ему сел, дабы вкусить крохи великой премудрости, Божественный Жук, и мысль Тро оплодотворила Жука озарением идеи Великого Канала. И откладывал Жук яйца, а Тро дул на них, и рождались Славные Предтечи, родоначальники Хранителей Кнута и Лопаты – Яго, Свер, Бер, Фир, Ког, Фре. И труды Родоначальников озарили светом божественной премудрости Великого Тро толпы дикарей, дав начало Великому Каналу. И первые комья земли взлетели, и Великий Канал пролег по земле, круша гниющие в ней кости дикарей и сметая их убогие капища.

Мы, Хранители, смертны – но бессмертен Великий Канал. Сотни лет он неотвратимо растет.

– Сотни лет? – шепотом переспросила Анастасия удивленно, боясь поднять на него глаза, чтобы не столкнуться с бездонной пустотой его взгляда.

– Сотни лет. – Твердые холодные крючки его пальцев сжимали плечо Анастасии, и от них по телу девушки растекался холод. – Мы смертны. Но бессмертен Великий Канал. И священные волосы Великого Тро всеми цветами радуги веют над миром.

– Но… что же потом?

– Ты красива, но разум твой темен, – сказал он. – Потом – бессмысленное слово. Есть великое слово – вечность. Великий Тро – это Вечность. Великий Канал – это Вечность. У него было начало, но нет конца.

– Так не бывает, – сказала Анастасия. – Людям в конце Концов надоест…

– Для того, чтобы им не надоело, и существуют Хранители Кнута и Лопаты.

– Сломаются эти ваши железные…

– Люди будут рыть руками.

– А если Канал упрется в море?

– Мы идем вперед, в направлении, указанном Великим Тро, идем сотни лет. Великий Канал не может свернуть и остановиться. Довольно. – Он сжал плечо Анастасии. – Пока что тебе прощаются все дикарские глупости, которые ты наговорила. Но завтра они станут ересью, и не советую об этом забывать. В тебе, мне кажется, есть проблески разума. А потому постарайся понять: у тебя нет иной судьбы, кроме как стать продолжательницей рода – к твоему счастью, рода Хранителей Кнута и Лопаты, а не рабочего быдла. Единственным твоим чувством должна стать благодарность за оказанную тебе милость.

– Благодарю, – сказала Анастасия. – Надеюсь, меня не заставят продолжать род вот прямо сейчас, тут же?

– Рад, что ты быстро усваиваешь священные истины, – как ни странно, он начисто не заметил иронии. – Разумеется, состоится брачная церемония. Она начнется вечером и будет краткой. Тебя подготовят. Нынче же ночью ты должна будешь дать жизнь будущим Хранителям Кнута и Лопаты.

– Благодарю за высокое доверие, – сказала Анастасия. Она почувствовала себя гораздо спокойнее и увереннее. Вряд ли этот сумасшедший и его пустоглазая банда будут торчать вокруг брачного ложа, духовно сопутствуя трудам по продолжению рода. Тех, кто ее похитил, давно отослали прочь, и вряд ли они найдут

время рассказать что ценный трофей не так уж смиренен и слаб, когда у него свободны руки и ноги, – так что ее нареченного ожидают неприятньи–сюрпризы, и брачная ночь у него выйдет несколько нетрадиционной… А там посмотрим. Ускользнуть отсюда нелегко, обратную дорогу отыскать еще труднее, но лучше уж рискнуть, чем превратиться в продолжательницу рода этих безумцев, неустанно рожать им новых… А потому Анастасия смиренно склонила голову и сказала:

– Твоя мудрость потрясает меня, о Великий Мастер, – и окинула угрюмую шеренгу таким взглядом, что в их глазах зажглось слабое подобие чего–то человеческого. – Я с трепетом жду достойнейшего из вас, о Хранители.

Оказалось, что достойнейшего они избирают примитивнейшим способом – они по очереди доставали шарики из золотого сосуда, и вскоре обнаружился счастливчик, ничем, правда, свою радость не выказавший. «Болван пустоглазый, неотличимый от прочих», – подумала Анастасия, прикидывая, как лучше всего будет приласкать его столь пылко и бурно, чтобы в сознание не приходил как можно дольше.

Слуги в черном – новые, незнакомые – вывели ее на крыльцо. Смеркалось, солнце давно скрылось за горизонтом, а по левую руку от заката собирались тучи, чернотой своей и густотой обещавшие скорый обильный ливень. «Тем лучше», – подумала Анастасия, ощущая пьянящее щекотанье предстоящего опасного дела, отрешенную легкость.

Ее привели в домик с занавешенными окнами и сдали с рук на руки служанкам в черно–сером. Они усердно вымыли Анастасию в жестяной ванне (она сердито подумала, что два купанья за день – уже чересчур), обрядили в голубые штаны и белую рубашку с голубым узором, напоминавшим их пресловутого шестилапого жука. Одежда из тонкой мягкой материи, а башмаки из хорошо выделанной кожи. Повесили на шею золотую цепочку с золотьм жуком и пучком черных нитей – очевидно, символизировавшим шевелюру вездесущего Тро. Зеркала не оказалось – то ли зеркала легко разбивались при переездах и от них отказались, то ли потомки богов попросту не додумались до зеркал. Анастасия об этом чуточку пожалела – хотелось все же посмотреть, как она выглядит в брачном наряде этих сумасшедших.

Потом ее отвели в домик, принадлежавший вытянувшему счастливый (с его точки зрения) жребий Хранителю. С точки зрения Анастасии, жребий ему выпал насквозь несчастливый.

Служанки зажгли золотой семисвечник в углу, скупо объяснили, что вскоре сюда явится для свершения брачной

церемонии какой–то там их жрец, ведя за собой счастливого жениха.

Анастасия слушала их вполуха. Едва за ними захлопнулась дверь, она обернулась к стене. Там, под выкатившим черные бельма неизменным жуком, висел меч в богато украшенных ножнах, с драгоценной рукоятью и шестилапым пауком на крыже; Меч был короче и шире тех, к которым Анастасия привыкла, но выглядел подходяще.

Косясь на дверь и навострив уши, Анастасия обошла низкое широкое ложе (жди, как же!), осторожно вытащила меч, придерживая ножны, чтобы не брякнули. Попробовала пальцем лезвие и удовлетворенно хмыкнула – отточено на совесть. Бедный нареченный. Тихонько вложила меч назад. Улыбнулась. Просьба пожаловать, невеста ждет с трепетом…

Она присела на краешек ложа и попыталась принять вид трепетной невинности. Жаль, не видит себя со стороны и не знает, насколько ей это удалось. Попробовала рукой упругость мягкого ложа и вздохнула: вот если бы здесь был…

За окном накрапывал дождь, потянуло приятным запахом влажного чистого песка, и вдруг посреди этого мокрого полумрака раздался страшный грохот. Пламя свечей качнулось, едва не погаснув, и тут же вылетело оконное стекло. Анастасия подскочила от неожиданности, сорвалась с ложа и подбежала к окну, топча по дороге куски стекла. Для грома и молнии слишком уж оглушительно, а главное – рано, настоящая буря еще вроде бы не подступила к городуАнастасия высунулась наружу, рискуя порезаться о торчащие в раме острые осколки. Слева, довольно далеко, все выше и шире разрасталось багровое зарево – колышущееся, исполинское, идущее словно бы из–под земли. Канал, сообразила Анастасия. Что–то там загорелось. Весьма кстати!

Сразу в нескольких местах, в разных концах города хрипло и страшно заревели трубы. По улочкам, озаренным пляшущими багровыми отсветами, бежали люди – все в одном направлении, к пожару. Никакой сумятицы. Анастасия разглядела – их, словно стадо, гонят всадники в черном, пешие в черном, слышно, как свистят плети, полосуя по спинам и головам.

Один за другим прогрохотали еще два взрыва, зарево разрасталось на полнеба.

Анастасия осторожно втянула назад голову. Самое время. Улочка опустела, направление она помнит, коней тут много, меч есть…

И тут в прихожей затоптались, нашаривая ручку. «Ну, долой трепетную невинность», – сказала себе Анастасия. Выдернула меч

из ножен, задула свечи и прижалась к стене. Багровые отсветы проникали внутрь, и вошедший сразу бы ее увидел, но это не меняло дела – до двери один бросок, и жить вошедшему осталось всего ничего…

Дверь рывком распахнулась, но никто не вошел. Анастасия напрягла глаза, всматриваясь в темную прихожую. Отвела руку с мечом, изготовилась к удару. Оттуда, из темноты, сказали напряженно–радостно:

– Таська, брось железку, порежешься!

Ноги у нее подкосились. Она выпустила меч и бросилась на шею Капитану, ткнула губами куда–то в ухо. Капитан обхватил ее так, что ребра хрустнули.

– Задавишь, – выдохнула она, счастливо смеясь. – Откуда ты такой? Да говори же!

На нем была эта омерзительная черная одежда, с золотым жуком на груди, но под ней ощущалась кираса. И автомат висел на плече.

– Да подарил тут один одежонку, – сказал Капитан. – разговорчивый такой попался, гнида, все растолковал – что к чему, где что лежит… Горючка, Настенька, потому так и названа, что горит…

– Так это ты? – обернулась она к окну, к багровому зареву.

– Мой грех. – Он отпустил Анастасию, выглянул наружу, хмыкнул удовлетворенно. – Обормоты, кто ж так горючку держит – неогороженной, с одним вертухаем… Ну, пошли!

Они выскочили под дождь. Вдали, вокруг пожарища стоял страшный шум, но ближайшие улочки были пусты. Они бежали меж рядов темных повозок и темных домиков. Капитан схватил ее за руку и уверенно тащил за собой. Меч Анастасия все–таки прихватила со стены, но второпях не забрала ножны, и бежать с мечом в руке было неудобно, он только мешал.

– Да брось ты его! – крикнул Капитан.

Анастасия послушалась. Кто–то шарахнулся из проулка им наперерез, ничего еще не сообразив, выставил секиру. Капитан выпустил руку Анастасии и отшвырнул его ударом ноги под горло. Снова ухватил ладонь Анастасии и увлек в противоположном от пожара направлении. Вдруг застыл, прислушался:

– Стоп!

Толкнул Анастасию к ближайшей повозке:

– Быстро туда!

Сам запрыгнул следом, опустил полог. Они оказались на каких–то жестких угловатых тюках. И тут же совсем рядом промчались всадники, протопало множество человеческих ног.

Анастасия перевела дух и, вглядываясь в его неразличимое почти во тьме лицо, спросила:

– Как ты меня нашел?

– А ты думала, тебя так и бросили? – Он ощупью нашел плечо Анастасии. – Десант своих не бросает, княжна… Горна благодари. Пустили его по следу, быстренько на хвост им сели, потом я издали в бинокль увидел, как ты с ними мило беседуешь. Засели на холмах… А потом все было просто. Пошел в этот гуляй–город, притормозил там одного с топором, а он болтун оказался жуткий… – Капитан осторожно коснулся ее щеки. – Больно стукнули? Там, у холмов?

– Чепуха, – сказала Анастасия.

– Чего они от тебя хотели? В гарем сватали?

– Детей им, дуракам, рожать, – сердито сказала Анастасия. – Таких же дураков, землекопов свихнувшихся…

– Действительно, чего захотели… – Он помолчал и вдруг решительно шепнул ей на ухо: – А мне бы согласилась?

Анастасия замерла, стоя на коленях на жестком тюке. Почувствовала на губах его губы, медленно подняла руки и положила ему на плечи. Зажмурилась в темноте и долго не открывала глаз.

– Чудо ты, Таська, – защекотал ей ухо горячий шепот Капитана. – Чудо несусветное в кольчуге…

Анастасия улыбнулась в темноте, глаза защипало – но почему, ведь сейчас ей было невыносимо хорошо? Загадочная это вещь оказывается, слезы – большая и сложная тайна, пока что непонятная ей.

– Пошли отсюда? – сказала она тихо, коснулась его щеки, провела ладонью. – Здесь так страшно…

Вокруг снова не было ни души. Они спрыгнули на землю и, держась за руки, спокойно пошли быстрым шагом к окраине города. Никто не бросался наперерез, никто не гнался – все сгрудились вокруг пожара. Ливень усиливался. Время от времени они, уже далеко отойдя от страшного кочевого города, оглядывались на пожарище – оно заметно при–гасло, багровые отсветы словно уходили в землю, погружались на дно Канала.

– Тушат помаленьку, – сказал Капитан. – Тушат–тушат, не потушат, заливают – не зальют. Эх, я сюда обязательно вернусь…

Анастасия улыбнулась ему. Она промокла насквозь, одежда облепила тело, но холода Анастасия не чувствовала – она была на свободе, и безумцы, рывшие столетиями свою исполинскую канаву, хочется верить, навсегда уходили из ее жизни.

– Разобраться бы с ними как следует, – сказал Капитан. – Черт, и нечем тебя укутать, сам мокрехонек, как мышь в ведре…

Анастасия зажала в кулаке золотого жука и рванула цепочку. Цепочка лопнула, и Анастасия зашвырнула ее подальше, далеко–далеко, чтобы улетела на другой конец света. Раскинула руки и закружилась под дождем, зажмурясь, закинула голову, подставила лицо косьм струям, крикнула:

– А жизнь прекрасна!

– Точно. Сам начинаю верить. – Капитан поймал ее в охапку и сказал, словно бросаясь в воду. – Настенька, я ведь не шучу…

– Я знаю, – тихо сказала Анастасия. – Я тоже. Только… я… ты… как–то… если…

Она безнадежно запуталась и замолчала в полной растерянности. Что–то старое рушилось, уходило, исчезало, что–то новое никак не могло заступить на его место, и Анастасия замерла в его объятиях, уткнулась в плечо, чуточку жалобно попросила:

– Ну не надо меня торопить, я…

– Настенька, я понимаю. – Капитан погладил ее по мокрым волосам. – Только я серьезно и насовсем…

– Я тоже, кажется, – сказала Анастасия так тихо, что он, быть может, и не расслышал.

Вскоре они добрались до места, где ждала Ольга с лошадьми. Горн, радостно гавкая, прыгал вокруг, а Ольга бросилась ей на шею. Дождь на ее лице или слезы – разобрать под этим косым ливнем было невозможно.

– Что там было? – спросила Ольга наконец.

– Да пустяки, – сказала Анастасия и впервые за этот вечер зябко передернулась – и от пережитого, и прохладу дождя ощутила. – Чуть замужем не оказалась, только и всего.

Верстовой столб 13.

Сон о ржаных апостолах

Так полуострова дрейфуют к океану
от торжествующих земных кавардаков.
А. Рембо

Анастасия ехала во главе своего маленького отряда хмурая, как туча. Даже Росинанту передавалось настроение хозяйки, не говоря уж об Ольге с Капитаном – они и не пробовали завязать разговор, и в глазах у них Анастасия видела неприкрытое недоумение. Но никак не находила нужных слов и подходящего случая, хранила угрюмое молчание, отчего злилась еще больше. И получался замкнутый круг.

Если честно, ей больше всего хотелось оказаться вдвоем с Капитаном в каком–нибудь уединенном месте, взяться за руки и выговориться начистоту. О том, что они все же люди из разных миров, и нужно вместе, долго и вдумчиво ломать голову над тем,

как же им все–таки подогнать, притереть, совместить эти миры, чтобы родилось что–то новое, не ранившее ничьей гордости, самолюбия и устоявшихся взглядов на жизнь. О том, чем каждый из них должен поступиться, и нужно ли поступаться чем–то. И вообще, можно ли до завершения их поездки в неизвестность разрешить все сложности раз и навсегда?

Временами ей казалось, что и Капитан ломает голову над тем же самым. Наверняка. Быть может, его мысли были отражением мыслей Анастасии. Быть может, он точно так же искал случая.

А случая все не подворачивалось. Леса кончились, они третий день ехали по равнинам, перемежавшимся редкими невысокими холмами. И эти равнины были самым неподходящим местом для серьезного разговора. Так иногда бывает – позарез необходимы деревья над головой, лесная поляна, комната, галерея, старая стена… А вот так вот взяться за руки и уйти подальше от разбитого на равнине лагеря – не получается, хоть ты тресни. Больше всего Анастасию мучила мысль, что он может подумать, будто она бросилась ему тогда на шею из одной лишь благодарности за спасение. Чтобы покончить хотя бы с этим недоразумением, вставшим меж ними или выдуманным ею, она придержала коня, подождала, когда поравняется с ней чалый Капитана и тихо спросила:

– Не сердишься?

– За что, господи? – но в его голосе звучала нотка грусти. – Все нормально…

– Вот уж нет, – сказала Анастасия, не глядя на него. – Только не сердись… Я размышляю, и мне тяжело.

– Странное совпадение, – сказал Капитан уже веселее. – Я тоже размышляю, и не над самыми простыми вещами. Не подумать ли нам вместе и вслух?

– Подождем, – сказала Анастасия. – Только не сердись, ладно? Подождем… И отъехала. Словно камень с души свалился, и увесистый.

Она погнала Росинанта легким галопом, волосы развевались из под шлема, увенчанного золотым серпом–и–молотом.

Где те времена, когда жизнь казалась ей не лишенной тягостных загадок, но довольно простой, без крупных неожиданностей? Где времена, когда она и подумать не могла, что потрясение основ – столь мучительная штука? Анастасия, светлая княжна отрогов Улу–Хема из рода Вторых Секретарей, отважный рыцарь, пустившийся в поход за Знаниями – ах, каким легким и прекрасным виделся поначалу тот поход…

Она остановила коня – вокруг были возделанные поля! Пшеница стояла золотой упругой стеной, чуть колыхавшейся под

ветерком. Анастасия спрыгнула с седла, сорвала колос, размяла в ладонях, попробовала зерна. Самая настоящая пшеница и на вид, и на вкус.

Подъехали Капитан с Ольгой. Анастасия молча обвела рукой, показывая на золотящиеся до горизонта поля.

– Ну, по крайней мере, не Канал, – сказал Капитан. Все прекрасно понимали, что означают эти золотые колосья. Необозримые пшеничные поля – это государство. Вот только чье, и как здесь относятся к путникам?

Оставалось ехать вперед, что они и сделали. Скоро обнаружили торную дорогу и двинулись по ней. И прошло не так уж много времени, прежде чем Капитан, случайно оглянувшись, вскрикнул:

– Черт!

Анастасия ничего не спросила. Все и так было ясно. Далеко позади, поблизости от дороги, по которой они проехали с час назад, поднималась тоненькая струйка дыма. Прервалась. Вновь потянулась к небу. Прервалась. Возникла снова. Рядом с ней выросла еще одна.

– Поздравляю, – сказал Капитан. – Мы в мешке. Может быть, они уже знают – те, впереди – сколько нас тут есть.

– Приятная весть, – сказала Анастасия. – Что ж, деваться некуда…

– Давно что–то мы ни с кем не дрались, – .добавила Ольга не без азарта.

– Нашла о чем горевать! – фыркнул Капитан. – Ну вот, едут! Проверка документов и багажа!

Над дорогой стояла туча пыли – навстречу скакал конный отряд и немаленький – человек двадцать. Анастасия положила руку на рукоять меча.

Они стояли в ряд посреди дороги и молча ждали. Клубилась пыль, вот уже можно различить красные щиты, разноцветные плащи…

Всадники осаживали разогнавшихся коней. Все они были мужчинами, голубоглазыми и русобородыми, но во всем остальном чрезвычайно походили на Анастасию – кольчуги, остроконечные шлемы (только без символов на шишаках), мечи, копья. Разве что щиты иной формы, овальные и заостренные внизу, без гербов, да у некоторых воинов – булавы, в Империи почти не употреблявшиеся. Анастасия не знала, радоваться такому сходству или оно сулит новые хлопоты, а потому на всякий случай вытянула меч из ножен – чуть–чуть, на ладонь.

Они разглядывали друг друга любопытно и настороженно, потом Анастасия тронула коня вперед, так, чтобы оказаться на

корпус впереди спутников, и сказала:

– Я – Анастасия, княжна отрогов Улу–Хем, рыцарь из рода Вторых Секретарей. А кто вы?

Точно так же, как она, на корпус вперед выдвинулся всадник в алом плаще, с золотой цепью на шее и посеребренной булавой на руке и ответил:

– Я – воевода Бобрец, порубежной стражи. С чем идете? Почему единственный мужик – в столь паскудном облике, а девицы – в доспехах?

– Так уж у нас заведено, – сказала Анастасия не без вызова.

И он этот вызов понял, сказал дерзко–увещевающе:

– Такого быть не может, синеглазая. А если бы и было – стоило бы вас ремешком отходить по нежным сиденьям.

– А ты попробуй, – сказала Анастасия, вытаскивая меч до середины.

– Таська, не заводись, – тихо посоветовал Капитан. – Монастырь тут чужой, треба оглядеться.

Воевода Бобрец, играя плеткой с резной ручкой, разглядывал Анастасию с любопытством и насмешкой, и хвататься за меч не собирался. От него исходила спокойная уверенность, вполне понятная для человека с двум десятками всадников за спиной, стоявшего к тому же на своей земле.

– Ну? – сказала Анастасия, чувствуя себя все же не очень уверенно.

– Ты откуда такая прыткая? – спросил Бобрец с интересом.

– Оттуда, где все такие, – сказала Анастасия, гордо задирая подбородок.

– Положим, ты этой железкой владеешь хорошо, – сказал Бобрец. – Положим, кого–нибудь да поцарапаешь. А долго ли продержишься? К святому Перу мы тебя, конечно, не отправим, а вот ремешком как следует поучим, на коняжку долго не полезешь…

– Погранец, ты уж тоже не заводись, – сказал Капитан. – Давай–ка поговорим ладком. Девушки у нас молодые, горячие, привыкли за шпаги хвататься – не наигрались, лиха не хлебали… Ты это учитывай. Мужик ты, я вижу, серьезный и потому объясни мне: у вас честных проезжающих резать принято, или как?

– Режем мы, если уж приходится, лазутчиков да сволоту с Канала, – сказал Бобрец с достоинством. – А если ты честный проезжающий, вреда тебе не будет. Ты–то сам кто такой?

– Да как тебе сказать… В нынешнем положении – странник. Глядят нахмуренные хаты, и вот ни бедный, ни богатый к себе не пустят на ночлег… Бобрец вытаращил на него глаза:

– Откуда знаешь? – и сам продолжал торжественно, как

читают молитву:

Не все ль равно – там человек иль тень от облака, куда–то проплывшая в туман густой, – ой, посошок мой суковатый, обвитый свежей берестой, родней ты мне и ближе брата…

Теперь Капитан таращился на него, а во всадниках что–то переменилось – они смешали строй, копья опустились, взгляды потеряли зоркую подозрительность. Ощущение предстоящего боя растаяло без следа. Анастасия невольно разжала пальцы, и ее меч скользнул в ножны, крестовина глухо стукнула о серебряную оковку.

– Так бы сразу и говорил, – сказал Бобрец. – И коли уж вы с той стороны едете – не слыхали, что за переполох был нынче ночью на Канале? Полыхало на совесть.

– Я старался, – скромно сказал Капитан.

– Ну? Ты? А что там?

– Да нахамили, как последняя сволочь, – сказал Капитан. – Нашу Настасью к себе принялись в гости тащить, не пригласив честью. Вот и пришлось… А вас они не трогают?

– Нас они, братец, давно не трогают, – объяснил Бобрец значительно. – Моего дедушку спросишь, он тебе расскажет, как они каналыциков отучали честных людей обижать…

Капитан перекинул ногу через седло, спрыгнул на землю и предложил воеводе:

– Пошли поговорим?

Бобрец, ничуть не удивившись, тоже спешился, они отошли от дороги и оживленно о чем–то заговорили – то один размахивал руками для вящей убедительности, то другой, но выглядело все это вполне мирно и длилось довольно долго. Раза два Бобрец оглянулся на Анастасию – с удивлением и уважительно. Потом разговор, должно быть, зашел об автомате – потому что Капитан выстрелил в землю. Конники встрепенулись, но Бобрец махнул им рукой и остался спокоен, хотя это далось ему не так уж легко.

Возвращались они с видом людей, довольных друг другом и успешно завершивших трудное дело. Бобрец махнул своим рукой:

– Сполох напрасный. Люди свои, – и весело глянул снизу вверх на Анастасию. – И все же не верю я, синеглазая, что ты искуснее меня на мечах.

– Потом попробуем, – сказала Анастасия мирно. – Если будет такая охота.

Они тронулись в путь. Бобрец ехал меж Капитаном и Анастасией и рассказывал, очевидно, продолжая начатый с Капитаном разговор:

– И понимаешь, бумаг вообще–то мало осталось, от самого начала, я говорю, от мрака кромешного, но известно доподлинно,

что святой Хер по земле этой ходил. И учил, что безобразий против нас наворочано изрядно, а потому следует ни на кого особо не глядеть, дуриком чужих укладов не хватать, а жить себе своим умом и жить с земли, потому как баловство проходит, словно дым и облака, а земля вечна. А сочинения Многопечальников, апостолов ржаных, он сам же и записал по памяти в те начальные времена, и мы тех апостолов чтим, как людей душевных и пробирающих до сердца, – лицо его стало отрешенно важным, и он нараспев продекламировал:

Прощайте, не помните лихом,
дубы осыпаются тихо
под низкою ржавой луной.
Лишь вереск да терн узловатый,
репейник да леший косматый
буянит под рог ветровой.

И Капитан свободно, без запинки подхватил:

Лопух не помянет и лошадь,
дубового хвороста ношу
оплачет золой камелек…

Краем уха Анастасия слышала, как Ольга за ее спиной что–то отвечает, смеется. Все было в порядке, и Анастасию уже как–то не удивляло, что рядом с ней в рыцарской броне едут мужчины, а не женщины. Мир был огромен и многолик, а ее прежняя жизнь – лишь бусинка в пестром ожерелье многоцветья укладов и обычаев, законов и установлений. Трудно было, понятно, отрешиться от сознания, будто единственное верное и правильное лишь то, что ты знала с детства; трудно было принять право других жить по тем законам, что заложили их предки. Но путешествие продолжалось, и старые предрассудки выпадали словно молочные зубы. Анастасия чувствовала себя старше, словно не дни проходили в седле, а годы.

Впереди вырастал город – прямые чистые улицы, высокие терема, деревянные и каменные, под яркими веселыми крышами, разноцветными, как ярмарочные леденцы, терема, сверкавшие радужным многоцветьем оконных стекол и витражей. Такие витражи Анастасия видела только в императорском дворце, а здесь они были чуть ли не в каждом доме.

– Китеж, – с гордостью обронил Бобрец.

Город был без стен – и это многое сказало Анастасии, знакомой не понаслышке с усобицами, стычками на границах княжеств, осадами горкомов, массивными стенами городов Счастливой Империи, окованными железом воротами. Только сильный, уверенный в своем могуществе город может заменить стены гордой славой своих рыцарей.

– Жить будете у меня, – сказал Бобрец. – Не стесните, чай. Между прочим, братишка младший у меня холостякует, так что если надумаешь, синеглазая, принять сватов…

Капитан ничего не сказал, только перехватил взгляд воеводы, и зубы блеснули из–под выгоревших усов. Анастасия со смешанным чувством смущения и гордости опустила глаза, а Бобрец смущенно почесал в затылке:

– Понял. Считай, пошутили.

Дом у него был большой, с просторным чистым подворьем, широкое крыльцо вело на поднятую на резных столбах крытую галерею. Такие же собаки, немного настороженно принявшие Горна, такие же куры, даже осанистый петух совершенно так же расхаживал, кося хозяйским спесивым глазом. Вот только вышедшая навстречу хозяйка, сероглазая и Русоволосая, Анастасию несказанно изумила (хотя Анастасия и постаралась этого не выказать).

Впервые в жизни Анастасия видела женщину без штанов – словосочетание заранее выглядевшее невозможным, как Твердый воздух. И тем не менее штанов на хозяйке не было.

На ней была белая рубашка до колен, перехваченная на талии вышитым поясом. И широкие рукава, и открывавший стройную шею ворот, и подол вышиты красным, синим, желтым шелком. Надо признать, это выглядело красиво, и женщина двигалась легко, свободно, грациозно, ничуть не стесняясь открытых до колен загорелых ног – отсюда ясно, что такова повседневная женская одежда и так здесь ходят все.

Анастасия почесала в затылке – мысленно. А вслух ничего не спросила, вспомнив, как не единожды попадала впросак.

Впрочем, хозяйка тоже смотрела на них удивленно – именно на них с Ольгой, а не на Капитана. Это лишний раз подтверждало, что здесь именно они с Ольгой выглядят странновато, и Анастасия по дурной привычке сердито прикусила губу.

– Баню, мать, баню! Сейчас мы гостей в баню–то и загоним! – весело гремел Бобрец, обняв жену за плечи и улыбаясь гостям открытой и самую чуточку хвастливой улыбкой довольного судьбой человека. Анастасия ощутила легкий укол зависти. Наверное, впервые что–то в прежней жизни показалось ей неправильной игрой.

– А что такое баня? – все–таки не удержалась она от вопроса, снимая меч.

Бобрец захохотал – не обидно, но так громко, что петух, враз растеряв спесь, припустил прочь:

– Не знаешь? Ну, синеглазая, ну, княжна, а еще с мечом!

Алена, уяснила, что тебе сделать надлежит? А покажи–ка ты им, что такое баня, так, чтобы до старости не забыли!

Очень скоро Анастасия с Ольгой убедились, что баня –это и в самом деле вещь, которую после первого знакомства с ней забыть уже невозможно. И описать трудно. Жаркий пар, ведро ледяной воды, коварно опрокинутое на голову Аленой в самый неожиданный момент, испуганно–довольный визг, шипение кваса на раскаленных камнях, ощущение до скрипа отмытой кожи, беспощадное избиение веником, чудодейственным образом снимавшее усталость и дурное настроение. Одним словом, когда Анастасия вывалилась в предбанник и попыталась отдышаться, она ощущала себя новой, не прежней. Казалось, родилась заново. С этим не могли сравниться ни ванны Империи, ни купанье. Она приняла из рук Алены кувшин пахучего кваса и жадно пила, проливая на грудь. Передала кувшин Ольге и отфыркнулась:

– Легенда!

– У вас, значит, бани нет? – покачала головой Алена не без сочувствия. – Грустно… А не надеть ли вам, девушки, платья? Я сразу подумала и принесла, – она кивнула на скамью с одеждой.

– Так это и есть платье?! Хру меня подери! – вспомнила Анастасия от изумления старое богохульство.

И вспомнила картины прежней жизни, что показывал волшебник. Волшебник был жалкий, но картины – настоящие. Это платья и есть, такие же, как на Алене. Но как же, вот так взять и на люди в нем выйти?

– А обязательно? – спросила она едва ли не жалобно.

– Ну отчего же. – Алена улыбалась. – Просто в штанах у вас, девушки, вид немного странный. Оглядываться на улицах, может, и не будут, зато про себя насмеются вдосталь. Неизвестно, как повела бы себя Анастасия, оказавшись тут одна, без Ольги, но той предложение пришлось по вкусу, даже глаза разгорелись, и она моментально сделала умоляющее лицо:

– Анастасия, любопытства ради?

Если совсем честно, это же самое любопытство искушало Анастасию ничуть не слабее. Алена в платье выглядела… какое–то новое, непонятное Анастасии чувство – здесь и от зависти, и от желания соперничать, и от стремления покрасоваться, и… И понравиться кое–кому, решительно закончила она про себя. А Ольга уже надевала через голову белое платье с вышивкой, Алена помогала ей, стянула ворот шелковым крученым шнурком, завязала пояс, отступила на шаг, оглядела:

– Ну вот. Просто прелесть.

– А зеркало? – нетерпеливо спросила Ольга.

– А зеркало – в доме. Пойдешь?

– Пойду.

Анастасия колебалась. И было отчего. С одной стороны, До ужаса непривычно. С другой, до ужаса красиво, и все здесь так ходят. С одной стороны, никогда прежде с рыцарем такого не случалось. С другой – нигде не сказано и не записано, что ношение такой вот одежды противоречит рыцарскому кодексу и воспрещается. Все законы и заповеди об этом молчат. Подходя с позиций формального крючкотворца – нигде не записано черным по белому, что рыцарю прощается появляться на людях без штанов. Никто не предусмотрел такого случая. Согласно строгой логике отсюда вытекает: где нет запрета, нет и нарушения… Анастасия азартно махнула рукой:

– Ну–ка!

И оказалась в платье. Одернула подол, поправила пояс и с нарочитым безразличием поинтересовалась:

– Надеюсь, я посмешищем не выгляжу?

– Прекрасно ты выглядишь, – сказала Алена тоном старшей и умудренной (хотя была не старше Анастасии). – Кля нусь апостолами, лучшего и желать не стоит.

И все–таки пришлось собрать в кулак все самообладание и смелость, чтобы выйти за порог бани, как ни в чем не бывало пройти по двору в дом. Сначала Алена отвела их в комнату с большим зеркалом. Увидев себя во весь рост, Анастасия не могла бы описать свои чувства, являвшие причудливую мешанину, но утешилась все той же мыслью – где нет запрета… И все–таки – красиво. Что до Ольги, ее, похоже, такие сложности не волновали.

Анастасия отрешилась от своих последних колебаний, когда едва не покраснела под восхищенным взглядом Капитана, Он только и выдохнул:

– Настасья, нет слов…

Сам он вернулся из бани безмерно довольный, в белой вышитой рубахе Бобреца, в его же синих штанах в узкую алую полоску, остроносых сапогах младшего брата воеводы, Отросшая за время путешествия щетина помаленьку превращалась в пушистую бородку, и Капитан не собирался ее сбривать. Он крутился перед зеркалом даже дольше, чем Анастасия, а поймав ее смешливый взгляд, без тени смущения объяснил:

– Всегда хотелось, знаешь ли, этак вот по городу пройтись–пройтаться… Бобрец, у тебя мурмолки, случайно, не найдется? Чтобы с золотыми кистями… Набекрень ее на буйную голову – и гоголем…

– Найдем, Иваныч. – Бобрец водрузил на стол пузатый глиняный жбан, содержимое коего назвал медовухой. – А пока что – как заведено после баньки, и не нами заведено…

Стол, признаться, был богаче тех, за которыми Анастасия сиживала в Счастливой Империи. Медовуха сначала показалась ей некрепкой сладкой водичкой, но вскоре в голове зашумело, и она оценила коварство напитка, Платье ее уже ничуть не стесняло и не казалось неуместным. Она частенько ловила на себе взгляды Капитана, вспомнила жесткие тюки в фургоне, треск пожарища, потом ливень, все слова, что были тогда сказаны. Неожиданно для себя сказала Бобрецу:

– Хорошо живете, признаться. Бани, платья, стен вокруг города и в помине нет…

Бобрец переглянулся с женой, они улыбнулись друг другу, потом воевода сказал:

– Знаешь, Настасья, жизнь, вообще–то, не так чтобы уж полностью безоблачная… Хорошо б, понятно, если бы землю населяли одни праведники, но ведь нет этого пока. Бывает всякое, И люди бывают всякие. Однако ж стараемся…

– Вы мне вот что объясните, – сказала чуточку захмелевшая Анастасия громко и решительно. – Кто из нас, Империя или вы, ближе к Древним, а значит, счастливее? Вот какой вопрос меня гнетет… Бобрец развел руками:

– Тут уж я судить не могу. Древний рядом с тобой сидит. Капитан молчал. Сосредоточенно думал. Лицо у него напряглось, потеряло всякую беззаботность.

– Ох уж эта Таська, – сказал он наконец. – Иногда бьет в самое яблочко… По–моему, Тасенька, вопрос нужно совсем по–другому ставить. Как мне это ни больно говорить, но счастье, похоже, совсем не в том, чтобы походить на Древних… на нас, то есть. Одним словом, жить мне хотелось бы не в вашей Империи, а тут. А тебе?

– Там моя родина, – сказала Анастасия. – Там…

– Гости мои дорогие! – сказал Бобрец. – Я, признаться, К ученым разговорам не приучен. Простой порубежник, чего уж там. А вот придет братишка – он у меня, ученым и звездочетом будучи, к умным мыслям имеет прямое касательство. ним и стоит такой разговор заводить. А мы уж давайте – как после честной баньки, идет? Он подпер широкой ладонью щеку и запел:

Не жалею, не зову, не плачу.
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданьем золота охваченный,
я не буду больше молодым…

Он пел чистым и звонким, печальным и сильным голосом, и все сидящие за столом замерли, а песня лилась, и река, спокойная, могучая река, подхватившая Анастасию, уносила ее куда–то к иным берегам, где догадки становились истинами, а

истины стоили того, чтобы служить им всю оставшуюся жизнь, ни о чем не сожалея. Она пригорюнилась, подумав с щемящей тоской, что еще не сделала в жизни ничего такого оказывается, чем бы могла похвалиться, чем бы стоило гордиться. Украдкой покосилась по сторонам – Капитан сидел нахмуренный и серьезный, на реснице у Ольги блестели слеза.

– А ну! – Бобрец хлопнул по столу ладонями. Подпрыг. нули, зазвенев, кубки. – Огорчил я вас, гости дорогие? Пора и развеселить!

Он выбрался из–за стола и пошел в пляс по горнице, с прихлопом и притопом, гремя каблуками о струганые доски пола, закинув кучерявую голову, то разбрасывая руки, то подбочениваясь одной и закинув другую на русый затылок, – большой красивый человек в большом красивом тереме. Капитан не выдержал. Встал. У него получалось хуже, но он старался, как мог, и пол гудел под их сапогами, они разошлись всерьез. Анастасия тоже ощутила жгучее желание пройтись вот так в танце, красиво и гордо, как плыла вокруг мужчин Алена, придерживая концы неизвестно откуда взявшегося платка.

Однако осталась сидеть – знала, что у нее так не получится, а потому не хотела расстраивать их пляску жалким подражанием. Но тянуло… Дверь распахнулась, и кто–то весело закричал с порога:

– Воевода, врагов пропляшешь!

– Одно ухо спит, другое службу несет! – Бобрец остановился, отдуваясь нарочито тяжело. – Поплясали… Ну, Иваныч, молодцом. Не умеешь, но стараешься. А вот это и есть мой ученый братишка, который скоро дыру в небе проглядит, все звезды сочтет и в книгу запишет, как которой прозвище.

Брат был хоть и младший, но ростом не ниже старшею и не уже в плечах, только лицо тоньше и глаза выдают человека, привыкшего читать много и долго, – в них отражение той глубины, что порождают, тысячекрат отразившись в глазах, мудрые рукописные строки. Анастасия знала такие глаза – у книжников в Империи. Правда, те были грустнее – быть может, оттого, что книг в Империи было мало, настолько, что это толкало многих, как шептались, к запретным и грешным поступкам – самим писать книги.

– Звездочет Елизар, – сказал Бобрец–младший. – Как вас зовут, знаю уже. Что глаза таращишь, Родя? Твои конники жен и друзей имеют, а жены – соседок. За пять улиц от вас еще рассказывают, что княжна Анастасия одолела дракона, а на соседней – уже прошел слух, что она всех канальщиков загнала в канал да так и велела там сидеть, пока не поумнеют… Что народ,

прямо скажем, принимает с одобрением. Правда, верю я этому мало – с Каналом так просто не справишься, тут потрудиться предстоит… Так, княжна?

– Так, – сказала Анастасия, открыто глядя ему в глаза. – С ними повозиться придется…

Он глянул мимо Анастасии, на Ольгу, а та на него, и у них словно сразу возникло некое сцепление взглядов.

– Ну, к столу! – засуетился Бобрец–старший. Анастасии показалось, что к ученому брату, хоть и младшему, он относится с большим уважением. Видимо, были причины и основания.

– А не надоело ли за столом? – спросил Елизар спокойно и уверенно. – Провел бы гостей по городу… Как, гости?

– В самом деле, пойдемте! – Это Ольга, прежде чем кто–то успел ответить, шагнула вперед.

Вшестером они шли не спеша по широким улицам и улочкам поуже, фонари на столбах горели неярким, но чистым пламенем без копоти и дыма, и было довольно светло. То там, то здесь слышались песни – и грустные тоже, но сравнение все равно оказалось не в пользу настороженно–угрюмых вечерних улиц имперских городов, где обязательно бы разорвали тишину то визгливый скандал пьяных ремесленников, то сдержанно–приглушенная перебранка публики почище, то лязг мечей очередного поединка, свистящее дыхание и проклятья сквозь зубы. «Нечего и сравнивать, – подумала Анастасия. – Здесь гораздо покойнее себя чувствуешь».

Она искоса оглянулась через плечо – Ольга с Елизаром, приотстав, о чем–то тихо разговаривали, уже как старые добрые знакомые. Анастасия, в легком облачке неразвеявшегося хмеля, хотела громко бросить им что–то озорное, но ладонь Капитана сжала ее пальцы, она притихла, опустила голову, сразу вспомнила, что сложностей в жизни осталось немало. А главная сложность шагает рядом и держит за руку.

Открылась широкая площадь, залитая багровым светом полной Луны. Четыре каменных фигуры, высеченных довольно мастерски, стояли на ней – одна повыше остальных. Она изображала человека с нахмуренным лицом, выбросившего руку в жесте отрицания и решимости. Остальные стояли вольно, опустив руки, в позах спокойных и мирных, словно бы отдыхая от тяжких и трудных свершений, – но лица их, как Рассмотрела Анастасия, были скорее грустны. Венки из ржавых колосьев покрывали их головы – колосья не каменные, а живые, настоящие. И перед ними на каменной плите горел невысокий алый огонь.

– Тот, что выше – святой Хер, – сказал Елизар. –Имя в тумане времени затерялось и забылось, но слова и дела, заложившие

основу, остались. Основа, надо сказать, была проста – себя не потерять. Понятно, все сложнее и длиннее, после него остались книги, но главное легко укладывается в слова – быть собой и жить памятью. – Он помолчал. – Скорее всего, память осталась не вся, может, мы в чем–то и напутали, но сохранившееся быть может только истиной. А это ржаные апостолы, мученики земли и памяти. Святой Сергей, святой Сергей Другой, святой Николай. И потому молимся за их честную жизнь и злую гибель от подлой вражеской руки. Супруги мы… В живых веках заколосится наше семя, и вспомнит нас младое племя на песнетворческих пирах…

Ладонь, сжимавшая пальцы Анастасии, разжалась. Анастасия подняла на Капитана глаза и спросила шепотом:

– А как с ними было на самом деле?

Он не ответил. Прошел к толстой квадратной плите, к алому пламени, наклонился и положил что–то подальше от огня. Анастасия подалась вперед и рассмотрела – кусок хлеба. Капитан вернулся, вновь встал рядом с ней и сказал тихо:

– При жизни бы им хлебушка…

Анастасии показалось, что на нее пахнуло сырым холодом, и она поежилась, зябко подняла плечи. Что–то за всем этим стояло. Какая–то трагедия – как водится, сложнее, страшнее и непонятнее отрывочных воспоминаний о ней. «Что за память сохранится о нас, если мы вдруг неожиданно исчезнем с лица земли?» – подумала Анастасия. И ответа не нашла.

Возвращались в молчании. Даже Ольга с Елизаром притихли. Что до Анастасии, ее не покидало ощущение, будто она приблизилась к какому–то рубежу, и предстоит решительно шагнуть вперед, оставляя на будущее сложное коловращение мысли, рассуждения и метания. Какое–то время она притворялась перед собой, будто не понимает, в чем заключается рубеж и шаг – в последний раз пыталась оттянуть неизбежное. А потом подошла и приоткрыла дверь своей комнаты на миг раньше, чем в нее собрались тихонько постучать.

Закинула руки Капитану на шею, закрыла глаза и прильнула к его губам.

Верстовой столб 14.

Под низкою ржавой луной

…багровела луна, как смертельная рана.

Н. Гумилев

Анастасия сидела у окна, равнодушно наблюдала за яркоперым спесивым петухом и злилась. Вернее, пыталась разозлиться. Если честно, не вполне получалось.

Жизнь текла спокойная (ночи, правда, были сплошным нежным сумасшествием). А наутро все куда–то исчезали. Ольга с

Елизаром исчезали так неизменно, что по ним можно было проверять время. Потом Ольга при редких встречах с Анастасией смотрела невыносимо поглупевшими от счастья глазами, шалыми глазищами, а ученый звездочет с таким постоянством смущался, что вскоре Анастасии стало неинтересно его поддразнивать, и она бросила это занятие. Капитан исчезал сразу после завтрака для бесед с учеными людьми и ездившими в дальние путешествия купцами, а возвращаясь поздно вечером, долго извинялся и говорил, что больно уж серьезные дела решаются с глазу на глаз, и со временем он обязательно посвятит Анастасию во все подробности и секреты, но пока что рано. Она терпела и начинала сердиться. Ее–то никуда не приглашали. Получалось, что она оказалась в каком–то дурацком, смутно–подвешенном состоянии – никто вроде бы не рассматривал ее всерьез, не делился важными знаниями и тайнами. На исходе третьего дня она украдкой позлорадствовала – когда на подворье явился осанистый старик и, стараясь избежать лишней огласки, но не избежав случайного свидетеля в лице Анастасии (о чем оба собеседника не знали), тихонько и долго пенял молодому звездочету за полное забвение последним своих обязанностей.

Один Бобрец–старший скрашивал ей скуку. Анастасия вскоре поняла, что душа это простая и бесхитростная, человек, знающий хорошо свое дело и сознававший, что на большее не стоит и претендовать. И, что важнее, он не злился на тех, кто мог больше, умел больше, знал больше – отсюда Уважение к младшему брату. Вспомнив их первую встречу, Анастасия однажды переоделась в прежнюю одежду и предложила воеводе помериться на мечах. Бобрец охотно согласился. Победителя не оказалось – это они оба признали.

После чего воевода стал относиться к ней гораздо серьезнее. Рассказал, что в незапамятные времена были и женщины–богатыри, именовавшиеся поляницами.

А там и Бобрец уехал в очередной порубежный объезд. От скуки Анастасия взялась было помогать Алене по дому, но кончилось это неимоверным конфузом. Готовить Анастасия умела лишь на костерке, по–доходному, кое–как. Попытка приобщиться к загадочному ремеслу шитья вскоре же завершилась исколотыми пальцами. Алена, конечно, сохраняла полнейшее хладнокровие, но ее трехлетний сынишка по детской непосредственности повеселился вдосыт. Чтобы не пасть в его глазах окончательно, Анастасия показала ему свои доспехи и оружие, после чего стала в его глазах непререкаемым авторитетом.

Увы, с Аленой обстояло гораздо сложнее. Анастасия не без оснований подозревала, что жена воеводы относится к ней с

недоумевающей жалостью – поскольку здесь рыцарство и женщины выглядели вещами несовместимыми, а память о поляницах была скорее легендой. И, усугубляя все это, Анастасия сначала мельком, потом все чаще стала задумываться о своих будущих детях – но это оказалась столь сложная и мучительная тема, что в голове воцарился полный сумбур.

Так что Капитан появился, когда она пребывала не в самом добром расположении духа. Она встала ему навстречу от окна, улыбнулась радостно, и радость эта была искренней, но он все же почувствовал холодок, глянул испытующе:

– Тасенька, случилось что–нибудь?

– Не женское это дело – слезы и скандалы, а то бы я… – сказала Анастасия, стараясь не заводиться. – Я так не могу, понимаешь? И нельзя со мной так. Если уж я и отступила от каких–то правил и канонов, не воображай, пожалуйста, что я стала подчиненным существом слабого пола. Никогда я им не стану. Вот так… Капитан сграбастал ее и шепнул на ухо:

– Таська, чем я тебя прогневил?

Не пробуя высвободиться, Анастасия сказала:

– Похоже ты, попав сюда, ужасно возрадовался, что нашел наконец место, где все устроено по твоему вкусу…

– Святая правда. Не без того. Не без того, Настенька. А ты бы на моем месте не радовалась хоть самую чуточку? – он отстранил ее и заглянул в глаза. – На моем–то месте? В глаза смотрите, княжна! И отвечайте честно, пока за ухо не укусили. Говорят, это больно. Где у нас ушко?

– Еще чего! – Анастасия гибко уклонилась, упираясь ему в грудь ладонями, вырвалась, но раздражение пропало – он умел, признаться, шутливо гасить вспыхивавшие порой искорки размолвки, прежде чем они разгорались ясным огнем.

– Ее голубые глаза явственно доказывали, что она сейчас или скажет дерзость, или будет плакать… – сказал Капитан. – Плакать ты не собираешься, не та закваска, – он присел на подлокотник тяжелого кресла. – Давай тогда говори дерзости. Только по уму и спокойно.

– Пока что наша жизнь – сплошное путешествие, – сказала Анастасия, присев на подоконник, лицом к этому странному и желанному человеку. – Но ведь когда–то путешествие кончится? И нужно будет что–то выбирать, как–то определяться?

– Таська, я не сомневался, что ты умница, – сказал Капитан без улыбки. – И частенько зришь в корень. Определяться надо. И я тебе сразу скажу, что место мое вот здесь. Что–то меня ваша Счастливая Империя отнюдь не прельщает, и вовсе не из–за поменявшихся местами мужчин и женщин… здесь… здесь, по

крайней мере, многое забывши, что–то важное сохранили…

– А по–моему, здесь очень скучно.

– Ну да, со шпагами по переулочкам не бегают… – Он подошел, присел рядом на нагретый солнцем подоконник, и обнял Анастасию за плечи. – Но здесь вовсе не скучно. Это поначалу кажется, будто все здесь недвусмысленно благости но – пряничные терема, опрятные мужички на золотых полях с песнею хлеба сгребают, аки кубанские казаки… Я сам сначала купился – ну, думаю, пастораль незамутненная… Но вскоре же, Настенька, оказалось, что и здесь имеет место свое потаенное кипение страстей. – Он вздохнул. – Ты ведь тоже поехала из своей мушкетерской глубинки за знаниями, так что ты быстро все поймешь… Слушай внимательно и мотай на ус, какого тебе по артикулу не полагается. Здесь начинаются серьезные дела. Видишь ли, не может человек пятьсот лет смирнехонько ходить по кругу, бесконечно повторять дедов–прадедов, какими бы они ни были умными и Давними. Когда–нибудь обязательно надоест… И тогда начинаются раздумья над собой и над миром. Даже у вас, судя По твоим рассказам, задумавшихся над бытием и будущим хватает. А здесь – тем более, особенно если учесть, что здесь таким не грозит костер. Словом, здесь пока что спокойно, но грядут жаркие споры насчет основ и целей. Кто–то по кузням и горницам что–то новое изобретает, кому–то хочется дойти до края света и сплавать за море, а кому–то пуще всего дороже дедовская старина без громокипения мысли. Это крайние точки, а сколько меж ними оттенков и мнений – не сосчитать… Понимаешь?

– Понимаю, – сказала Анастасия. – Лучше расскажи, где ты пропадаешь.

– Там и пропадаю. Споры–разговоры до одури. Отсюда ведь ходит много торговых караванов… Так что есть книги и есть люди…

– А я? – спросила Анастасия, подняв к нему лицо. – Ты не забывай, пожалуйста, – я ведь не за одними приключениями поехала. За Знаниями.

– А знания, Тасенька, иногда до того тяжелая вещь – он смотрел ей в глаза угрюмо и печально, и Анастасия отчего–то почувствовала смутную тревогу.

– Я уже взрослая, – сказала она.

– Я вот тоже взрослый, – сказал Капитан. – И повидал побольше твоего. А все равно страшно до ужаса…

– Ты о чем?

– Ох… Пошли, ждут нас. – Он спрыгнул с подоконника, подхватил ее, прижал, шепнул на ухо: – Таська; Таська… Ну что

за беспокойная штука жизнь – едва уверишься, что все хорошо, как новая пакость в затылок дышит…

В его голосе звучала такая тоска, непонятная и надрывная, что Анастасия невольно отстранилась, захваченная его тревогой:

– Что случилось? Что–то ведь случилось…

– Пошли. Смеркается уже, нас ждут.

…Анастасия давно уже приметила эту башню, стоявшую особняком на окраине Китежа, поодаль от крайних домов. Высокая, этажей в десять, со странной крышей – полукруглый купол из множества стекол в медной обрешетке. Оказалось, что это и есть башня звездочетов.

Внутри было чисто и тихо. Поднимаясь по широкой лестнице, Анастасия мельком успевала разглядеть в дверных проемах на этажах ряды полок с толстыми книгами, какие–то громоздкие загадочные устройства, столы, заставленные диковинной стеклянной посудой, чучела знакомых и незнакомых зверей и птиц.

– Алхимики тут работают? – спросила она понимающе.

– Бери выше, – сказал Капитан. – Это, конечно, не академия де сиянс, но единственное серьезное научное заведение на ба–а–льшом пространстве… Нет, нам выше, на последний.

Они поднялись под самый купол. У Анастасии разбежались глаза – на кованых треножниках в человеческий рост стояли несколько огромных труб, напоминавших бинокль Капитана, уставленных вверх, в свободные от стекол квадраты медного каркаса–купола. На столах лежали странные приспособления, загадочные цветные рисунки – раскрашенные в несколько цветов круги и полумесяцы, черные диски с лохматой золотой бахромой, россыпь золотых точек на черном – в иных Анастасия узнала знакомые созвездия; были и очень точные изображения хвостатых звезд, иногда появлявшихся в небе и наводивших ужас на людей.

– Я посмотрю, можно? – Не вытерпев, Анастасия рванулась к ближайшей трубе, соблазнительно поблескивающей фиолетовой линзой.

– Потом, – деликатно, но твердо отстранил ее Капитан. – Сейчас соберутся люди для серьезного разговора, тебе тоже придется участвовать, как человеку серьезному, так что держись соответственно, потом насмотришься…

Люди входили один за другим, приветствовали их поклонами и степенно рассаживались у стен меж труб и столов – старые и молодые, иные с обветренными лицами многостранствовавших, то ли купцы, то ли рыцари. Их набралось около тридцати. Молчание казалось Анастасии тягостным, напряженным. Она невольно выпрямилась в кресле с высокой спинкой, положила

руки на колени.

– Приступим, – сказал старик, приходивший тогда к Елизару. – Друзья, перед нами – княжна Анастасия. Не могу сказать, что она искушена в науках, но тянется к знаниям, а это само за себя говорит. Потому мы решили пригласить и ее. Должен предупредить, княжна: знания – вещь тяжелая.

– Я взрослый человек, – сказала Анастасия. – И жизнь немножко повидала, смею вас уверить. В моей стране женщины занимают несколько иное положение…

– Права на знания у женщин никто не отнимает и здесь, – мягко сказал старик. – Перейдем к делу. У ваших звездочетов есть что–нибудь подобное? – он показал на зрительные трубы.

– Нет, – сказала Анастасия, вдруг ощутив прилив жгучего стыда за тот мир, что остался далеко позади и временами казался уже чуточку не настоящим, то ли сказочным, то ли приснившимся. – Честно говоря, звездочеты наши имеют дело в основном со смутными легендами…

– А нет ли среди этих легенд рассказов о цвете и величине Луны?

Анастасия старательно подумала и ответила:

– Вроде бы в незапамятные времена Луна была другого цвета и гораздо меньше размерами… Это все, что я знаю. Вряд ли у нас есть кто–то, кто знает больше.

– Все сходится, – сказал кто–то.

– Все сходится, – сказал старик. – Елизар, будь добр… Елизар встал, развернул шелестящий свиток и укрепил его на подставке так, чтобы видно было всем. На белом листе – восемь или девять концентрических кругов. Старик медленно вышел вперед, остановился рядом с подставкой держа в худой сильной руке резную указку.

– Самые первые наши небесные хроники описывают Луну такой вот величины, белого или желтоватого цвета, – он указал на внутренний, самый маленький круг. – Примерно такой она была до того, что в Счастливой Империи называют Мраком, а у нас Хаосом. Поскольку к нам чудесным образом угодил человек, живший до Хаоса, это можно утверждать совершенно точно. Однако с течением столетий Луна увеличивается в размерах и постепенно меняет цвет, – он прикоснулся указкой к нескольким кружкам. – И принимает наконец облик, знакомый мне и вам – правда, со времен моего детства Луна еще более увеличилась в размерах. Как явствует из бесед с нашим гостем, это может означать только одно – Луна все ближе приближается к земле. Нынешняя наша наука не могла предсказать последствия этого. Теперь же… Говори.

Капитан выступил вперед, и Анастасия увидела, как он бледен. Он с трудом проглотил слюну, то поднимал голову, то упирался взглядом в пол.

– Я не специалист, – сказал он наконец. – Помню только то, что читал в детстве. Есть какой–то предел отдаленности Луны от Земли. Да, у него даже есть научное название. Но я не помню. Не все помню. За этим пределом, независимо от того, упадет Луна на Землю или нет, Землю ожидает катастрофа. Везде начнутся землетрясения, море бросится на сушу. приливные волны достигнут невообразимой высоты, пылища поднимется до небес. А если Луна упадет, будет совсем плохо. Города… Земля… Не знаю. Наверное, конец почти всему. Это страшно и надолго. Когда это произойдет, я не знаю. Быть может, можно как–то рассчитать, но я не умею… Завтра? Через сто лет? Не знаю. Но это неизбежно.

Анастасия подавила выкрик (так, кажется, было и с другими). Перед ее глазами пронеслись страшные, неоформившиеся и оттого еще более пугающие картины неких исполинских несчастий – земля вздымается к небу тяжелыми тучами перемешанного с обломками домов и деревьев чернозема и песка, стены рушатся, кладбища разверзаются, гробы взмывают ввысь вслед за водой рек, всплывающей в облака жутким, идущим наоборот, от земли к небу, дождем, и высоченная мутная волна смешивает все в неописуемую грязь… Она ахнула, ища взглядом помощи и поддержки.

Но все лица были как две капли воды похожи на ее собственное. Она знала это так хорошо, словно смотрелась в зеркало. Жуткое зеркало, беспощадное – как все зеркала, не умеющие лгать.

До сих пор все известные ей опасности приносила земля (Хвостатых Звезд боялись как–то по привычке, идущей неизвестно от каких времен. Никто не знал в точности, чем они страшны, и это обесценивало, обезличивало страх). Теперь опасностью стало само небо, и укрыться от него негде.

– Но ведь может пройти сто лет, ты сам сказал… – жалобно сказала она, не в силах взглянуть на Капитана.

– Все равно над детьми и внуками нависнет неизбежная гибель, – сказал кто–то. – Анастасия не разглядела его лица – перед глазами все плыло. Она с ненавистью подняла взгляд к Луне – та сияла над куполом, огромная, багровая, вдруг ставшая напоминанием о неотвратимой гибели мира.

Кто–то громко и невнятно задал вопрос, кто–то вскочил, несколько человек заговорили разом, и ничего нельзя было толком разобрать в этом гомоне. «Вот так начинается паника, невероятным усилием воли превозмогая животный страх, –

подумала Анастасия, – паника нарастает, разгорается, и приходит миг, когда ничего уже не поправить и ничем больше нельзя управлять».

– Хватит!

Ей показалось, что это крикнул Капитан. Нет. Старик. Он вновь стоял у рисунка. Сорвал его с подставки – бумага сама свернулась в свиток – и швырнул в угол.

– Хватит, – повторил он чеканно, резко. – Смерть приходит тогда, когда нет сил бороться за жизнь. Пока для победы не сделано что возможно и невозможно, поражением она не обернется. Нужно искать. Нужно отправить наших людей туда, где они пока что не бывали. Во все края до пределов мира. Быть может, найдутся те, кто знает больше и способен на большее. Легенды о таких людях кружат давно, но никто не удосужился проверить, что за ними кроется. Будем искать. Кто смеет говорить, что все потеряно, не шевельнув и пальцем для победы? Кто посмеет? Молчите? И правильно. Ответить нечего. Нужно искать выход.

Наверное, его очень уважали – воцарилось гробовое молчание. Анастасия видела, что тревога и страх, уйдя глубже, не исчезнув совсем, тем не менее растворяются и слабеют, не достигнув того рубежа, за которым все сминает паника. Даже Капитан выглядел так, словно сбросил с плеч тяжелую ношу. Ей самой стало чуточку легче. Старик не дал передышки – он, догадалась Анастасия, стремился раз и навсегда взять инициативу, указать цель и уже не сворачивать с избранного пути. «Железный человек», – подумала она с уважением и прямо–таки детской радостью от того, что кто–то принял решение и взял на себя ответственность командира.

– Кто желает что–нибудь предложить? – говорил тем временем старик. – Прежде всего пусть говорят те, кто ездил к Янтарному Берегу, на север, на закат. Стан?

Что–то переменилось, обстановка стала насквозь деловой.

– Ходят упорные слухи, что где–то живет очень могущественный народ, – сказал тот, кого назвали Станом, человек средних лет с обветренным лицом путешественника. – Чем ближе к Янтарному Берегу, тем сильнее слухи. Сейчас приходится сожалеть, что мы мало заботились о собирании слухов и отделении правды от вымысла. Говорят, что те, неизвестные, умеют летать по воздуху. Говорят о каком–то холодном необжигающем огне, странных звуках в запретных местах. Балты, в основном, говорят, а балты, сами знаете, народ трудный в общении. Кто–то вроде бы подмечал у них странные вещички, которые им самим ни за что не сделать.

– Вот это уже интереснее, – сказал Капитан. – Лично у меня большой интерес вызывают те штуки, что у вас зовутся Бродячей Десяткой или Плывущими Звездами. Я за ними долго наблюдал. И пришел к выводу, что никакие это не звезды. Вокруг Земли кружат некие изделия рук человеческих. В наше время туда умели забрасывать разные штуки, в том числе с людьми внутри. Но для моего времени они слишком огромны. Что–то тут не вяжется, никак не могу свести концы с концами…

– Ты можешь говорить понятнее? – почти крикнула Анастасия.

– Не могу пока. Очень долго объяснять, что я имею ввиду. И ничего это сейчас не прояснит. Мне бы простенькое радио, послушать эфир, ведь хотел же, когда вылетали, транзистор прихватить…

– Довольно, – сказал старик (к великому облегчению Анастасии). – Боюсь здесь уже начинаются вещи, о которых ты нам должен будешь рассказывать до утра. А это ничего не изменит и ничему не поможет. Лучше собирайся в дорогу. Ты ведь не откажешься поехать на разведку? А ты, княжна Анастасия?

– Хоть сейчас, – сказала Анастасия.

– Рано. Предстоит еще покопаться в книгах, поискать упоминания, разобраться с легендами… Осторожно поговорить с людьми, со всеми, кто ездил с торговыми караванами. И побыстрее готовить обоз на ярмарку. Придется еще выдумать убедительную причину, почему он отправляется раньше обычного. Подберите самых надежных и смышленых. И чтобы ни одна живая душа… – Он окинул всех таким взглядом, что у Анастасии похолодело в животе. – Пока что мы, не видя и не зная выхода, не имеем права взваливать на людей такую новость. Или кто–то думает по–другому?

Но все молчали.

– Тогда совет окончен. Давайте распределим, кто чем займется.

Пока он называл незнакомые Анастасии имена и раздавал поручения, она сидела, не шевелясь. По правде говоря, ей больше всего хотелось проснуться. Вот и поехала за Знаниями. Вот и обрела. Вот и повзрослела в одночасье. Как же ей, оказывается, легко жилось до сих пор, какие кукольные были горести и беды, какие смешные опасности…

И все же ей не верилось, не могла проникнуться. Умом понимала, и сердце заходилось в тревоге, смертной тоске, но в сознание все равно не вмещалось, что существует такая вещь, как гибель всего мира, оказавшегося не плоским, а Шарообразным и таким огромным, что и поверить нельзя. И Луна, оказывается, огромная и круглая, и Земля с Луной несутся в черной пустоте, где нечем дышать. Необозримые расстояния, исполинские круглые дыбы, гигантские огненные шары, чудовищные дали, нет твердой опоры, единственной точки, на которой держится мир, земля уходит из–под ног, падение в бездну…

Голова закружилась от всей этой необозримой сложности, неохватных миражей, и Анастасия вцепилась в резные

подлокотники, чтобы не соскользнуть в черную пропасть с крутящейся земли.

– Настенька! Плохо?

Она медленно открыла глаза, слабо улыбнулась, глядя на него снизу вверх с детской надеждой.

– Фу ты, черт! – Капитан облегченно вздохнул, коснулся ее щеки. – А то сидит бледная, как стенка…

– Ты тоже, – сказала она тихо.

– Что?

– Тоже бледный.

Капитан сел на подлокотник кресла, прижал ее голову к груди.

– Ну конечно, – сказал он глухо. – Побелеешь тут. Я никогда не мог представить, как это Атланту удавалось держать небо… Ну вот, все разошлись. Будешь смотреть на Луну?

– Пошла она… – сказала Анастасия сердито. Самое странное, что она почти сразу успокоилась. Говорят, так бывает с очень большим горем – за некой чертой оно вдруг разрастается настолько, что уходит из тебя, заполняя весь мир, а ты впадаешь в понурое безразличие. Когда они вернулись домой, Анастасия искала забвения и покоя в шалой, исступленной нежности. Он тоже. И обоим это удалось. Но потом Анастасии приснился кошмар – Луна, багровая и чисто–прозрачная, словно отлитая из лучшего стекла и вымытая с мылом, величаво и беззвучно плыла над самыми крышами, над яркими флюгерами, угрюмыми зубцами башен, коньками теремов – и крыши отрывались, взмывали в небо, но не рассыпались, а вереницей, углом плыли вслед Луне. Как журавлиный клин в чужие рубежи – то ли это сама Анастасия произнесла во сне, то ли это звучало вокруг нее.

– Как журавлиный клин, – повторила она во сне, попробовала на вкус эти странные, непонятные слова, глянула вслед веренице крыш, ставшей уже бесконечной, почувствовала, что ей невыносимо страшно и пора просыпаться, иначе не выдержит сердце.

И проснулась. Медленно осознала, что это был сон, а за окном ночь готова уступить место рассвету. Слова еще реяли в памяти, и, чтобы они не забылись, не растаяли с пробуждением, Анастасия почти беззвучно пошевелила губами:

– Как журавлиный клин в чужие рубежи…

Рядом, не поднимая головы от подушки, не открывая глаз, метался Капитан, и с его губ срывались тихие бессвязные выкрики – он кого–то остерегал, кому–то приказывал, звал каких–то шмелей, то и дело вспоминал цветок – черный тюльпан. Анастасия в жизни не видела черных тюльпанов – только синие и

красные в оранжерее Императора.

– Ну тихо, тихо, – шепотом сказала она, отвела с лица рассыпавшиеся волосы, наклонилась над ним и осторожно поцеловала в лоб, едва прикоснувшись губами, чтобы не разбудить. – Все тихо, все спят, и Капитан спит…

Он тяжело задышал, потом тело расслабилось, дыхание понемногу стало ровным, он повернулся к стене и засопел уютно и спокойно. Анастасия, не глядя, протянула руку, нашла зашуршавшее платье и выскользнула из–под одеяла. Подошла к окну. Стояла та неуловимая утренняя пора, когда темнота уже не ночь, а рассвет еще не день, розовая полоска на восходе не шире острия меча, едва угадывается, не глазами даже, а как–то иначе.

– Княжна Анастасия, – шепотом сказала она своему отражению, едва различимому в темном стекле.

Отражение дисциплинированно молчало, как ему и полагалось. Замки, узкие улочки и звон мечей показались такими далекими, словно их и не было никогда. И Луна, к счастью, уже опустилась за горизонт. Анастасия ее теперь ненавидела.

– Взрослеем? – сказала она отражению. – А дела–то крутые… Отражение молчало, приглядываясь к ней.

Верстовой столб 15.

Атланты держат небо
Так страшно исказить в поспешности горячей
обманчивую суть земного естества.
Но даже если вдруг я окажусь незрячей,
я все ж посмею БЫТЬ —
поскольку я жива.
Е. Жабик

Анастасия чуточку раздраженно постукивала в пол каблуком и слушала звон шпоры. Ольга задерживалась. Капитан уже нетерпеливо насвистывал во дворе что–то бодрое, Держа под узцы заседланных коней, а Ольги все не было.

Появилась наконец. Но не в прежней одежде, как Анастасия сейчас – в белом платье, бледная. И упорно не смотрела Анастасии в глаза – взгляд метался, как конь без седока на поле битвы.

– И как это понимать? – спросила Анастасия даже не удивленно – вяло. Что–то такое она начинала подозревать, но до конца не верила. – Остаешься здесь, что ли?

– Анастасия, пойми, я… Можешь считать меня дрянью, предательницей, но я… – Ее лицо вдруг переменилось, она дерзко и решительно подняла голову. – Да можешь считать кем угодно, если ты так глупа! Вся наша Счастливая Империя, все наши рыцари, уклад, беспамятье, пять дурацких звезд – да пропади

пропадом этот вздор! Я выхожу замуж. И я хочу жить здесь. И вам обоим советовала бы…

Она замолчала, удивленная молчанием Анастасии, неуверенно моргнула, попробовала улыбнуться. Анастасия задумчиво кивала. Пожалуй, она не сердилась. Не было времени и желания. Нависшая над землей беда была столь огромной и тяжкой, что все прежние счеты–обеты, все прежние установления и сложности потеряли серьезность, безвозвратно уплывали в прошлое. Правда, Ольга об этом ничегошеныси не знала – Анастасия, посоветовавшись с Капитаном, хотела рассказать ей все в пути, а теперь, понятно, уже не расскажет…

– Я не сержусь, – сказала Анастасия, уносясь тем временем мыслями в тягостную неизвестность. – Правда, не сержусь. У каждого своя дорога, и глупо насильно тащить ни чужую. Так что желаю счастья. Прощай.

– Вам тоже лучше было бы…

– Прощай, – сказала Анастасия мягко. Чтобы избежать лишних слов, затяжных прощаний (которых она и так–то терпеть не могла), повернулась и быстро пошла, сбежала с высокого крыльца, и ножны меча стучали по ступенькам. Молча вспрыгнула в седло, и застоявшийся вороной гигант, храпя, легко вынес хозяйку за ворота. Горн бежал следом, радостно повизгивая. Анастасия оглянулась все же, увидела в окне Алену, по обычаю махавшую платком, махнула в ответ ей и Ольге, на миг показавшейся в соседнем окне. На душе было скверно. Словно куска живого тела лишилась.

На выезде из Китежа они нагнали обоз, с которым предстояло ехать к Янтарному Берегу, – десяток четвероконных повозок, доверху нагруженных мешками с зерном, кругами сыра в холстинах, бочонками масла. Повозки накрыты грубой мешковиной, туго пришнурованной к бортам. Еще четыре повозки нагружены шатрами, котлами и съестными припасами для самих путешественников. Вокруг – человек двадцать в кольчугах, не ведающих потаенной цели неурочной поездки, и сам Стан тут же, в алом плаще, колонтаре с позолоченными бляхами, все знающий и оттого хмурый.

Анастасия пригнулась к шее коня, понеслась бешеным галопом, благо дорога простиралась прямо, как полет стрелы, синий плащ с белым единорогом хлопал и трещал за спиной, жесткая грива Росинанта хлестала по лицу, скачка переполняла душу возбуждением и сладким ужасом – попади конь ногой в выбоину, оба сломают шеи… Анастасия не взялась бы описать свои ощущения. К прошлому не было возврата, но на ней была прежняя одежда, кольчуга и меч у пояса, она вновь стала

путешественником, рыцарем важной миссии, равноправным бойцом в нелегкой борьбе против неба, в которой и первого–то шага не сделано, а посему невозможно предсказать, чей меч вырвет у врага победу. Быть может, это будет ее меч.

Нет, не стоит возноситься гордыней к облакам. Рано. И к тому же примета дурная. Что ж, эти мысли – от внезапной свободы, привычной тяжести меча на боку, верного коня, вновь обретенной дороги…

Анастасия остановила коня. Оглянулась, – обоз едва виднелся на горизонте, и то благодаря алым плащам всадников. Она вздохнула и повернула Росинанта в ту сторону.

Сначала путешествие тянулось скучновато. Они ночевали то в деревнях, то под открытым небом, в шатрах на обочине, дважды останавливались в городах, величиной уступавших стольному Китежу. К Анастасии все относились с любопытством, но без особого удивления. Гораздо больше внимания привлекал Капитан, переодевшийся в свою прежнюю одежду. Правда, Стан как–то ухитрялся устроить так, что любопытные с расспросами не лезли. Видно было, что на Дороге Стана знают и уважают. Везде к нему приходили самые разные люди и долго беседовали с глазу на глаз. Увы, как потом выяснилось на военном совете, состоявшем из Стана, Анастасии и Капитана, ничего нового узнать не удалось – пересказы прежних слухов, старые легенды.

Сутки на шестые–седьмые конники посерьезнели. Анастасии и Капитану настрого наказали не отъезжать далеко – Кончились подвластные Китежу земли, началось порубежье, Дикое поле. Очень скоро оно дало знать о себе. Совершенно Неожиданно слева заревел рог – как–то незнакомо, со злорадной насмешкой, вызывающе.

Никакой паники не возникло – люди ехали бывалые. Повозки плотно сгрудились в три ряда, конники окружили их, выхватив мечи и взведя тетиву самострелов. Следом за другими Анастасия смотрела в ту сторону, но различала лишь смутную шевелящуюся полосу. Полоса быстро приближалась, распадаясь на отдельные фигурки, странные силуэты. Они остановились довольно далеко, и снова загудел рог.

Стан поднял к глазам бинокль из медных трубок, сработанный погрубее, чем у Капитана, но в дальнозоркости не уступавший. Капитан подал Анастасии свой. С приобретенной уже сноровкой она покрутила колесико и ахнула. Такого она еще не видела.

Ломаной шеренгой выстроились диковинные животные с бочкообразными туловищами, неимоверно раздутыми в суставах ногами, длинными тонкими безволосыми шеями и головами,

похожими на кувшины. Чем–то они напоминали лошадей, но неописуемо уродливых, злую карикатуру на благородных животных. Глаз только один, огромный, посреди лба. Даже копыта есть. И гривы, похожие на щетки ддя сапог.

И на них сидели… двухголовые. Низенькие, длиннорукие и двухголовые человечки с широкими злыми лицами. Топоры непривычного вида, копья с трезубыми наконечниками, мечи с зазубренными кривыми лезвиями, медные шлемы. Анастасия моргнула, приникла к биноклю. В самом деле, двухголовые.

– Будем биться? – спросила она, вернув бинокль.

– Авось обойдется. – Стан спрятал свой. – Не хотелось бы. К чему лишняя драка, особенно теперь? Эгей, поехали помалу!

Повозки, скрипя, тронулись. Всадники ехали, держа мечи наготове, стрелы лежали на тетивах. Проревел рог, но страшные встречные не шелохнулись, только прокричали что–то ехидное, злое, потрясая топорами и копьями.

– Вроде пронесло, – облегченно вздохнул Стан.

– Кто это? – спросила Анастасия, на миг опередив Капитана.

– Племя такое, – хмуро объяснил Стан. – Двухголовые Хох. Не знаю, как они там жили до Хаоса, но говорят, им больше всех досталось. Вроде бы на их землю упали звезды под грохот и трубный вой и все отравили своим ядовитым пламенем – источники, траву, небо и поля. Вроде бы с тех пор они такими и стали. Мы с ними, случается, тоже поторговываем. А иногда на них находит, срываются в набег, как ошалелые, и тут уж только держись. Мне, правда, с ними траться не приходилось, но дела бывали крутые… – Он вздохнул. – Вырасти у меня две головы, я бы, может, тоже, как дурак, на проезжих бросался.

Анастасия привычно обернулась к Капитану, чтобы он рассказал, как это связать со знакомым ему прошлым, но он лишь выругался, уставился в землю:

– Хватало в старину, то есть у нас, всякой пакости собственного производства. Временами удивляюсь, как шарик вообще на кусочки не разлетелся…

И вечером в их маленьком шатре, когда Анастасия вновь заговорила о двухголовых, Капитан угрюмо отмахнулся:

– Тасенька, легче тебе будет, если я расскажу еще об одной мерзости, которую человек учинял над природой? Ну вот. Замнем для ясности…

Перед своими людьми Стан выдавал Анастасию с Капитаном за мужа с женой, ученых людей из дальних краев – это с лихвой объясняло могущие возникнуть вопросы еще до того, как их зададут. Шатер им ставили чуточку поодаль от остальных. Все считали, что это делается исключительно с целью обеспечить

молодым супругам должное уединение, ибо жизнь есть жизнь, а молодость есть молодость, но была и другая, потаенная причина – чтобы кто–нибудь ненароком не услышал, о чем они говорят, собравшись втроем. Правда, и первая причина, признаться, истине полностью соответствовала…

Стан всегда предупреждал заранее, когда придет, и вдобавок постукивал ножнами по колу у входа. Вот и сейчас, услышав шаги и стук, легонько колыхнувший идущие от кола растяжки шатра, Анастасия подняла полог.

Стан, пригнувшись, вошел, уселся на войлочный пол. – Завтра будем на месте, – сказал он. – Балты – народ тихий, без особых хитростей. И наших не задевают – без хлебушка нашего остаться не хотят. Живут себе под землей и потому…

– Под землей?

– Сама увидишь. Живут под землей, зачем–то залезли туда в незапамятные времена, что–то им наверху не грянулось. И мастерят разные поделки из янтаря – видели в Китеже? И пока будет идти торг, пока ярмарка не кончится, надо нам всем троим их осторожненько порасспросить, – он повернулся к Капитану. – Ты им покажи что–нибудь из твоих хитромудрых вещичек, вдруг да выйдет толк. А вот Анастасии лучше всего упрятать подальше все оружие и одеться понаряднее. Так и будем выдавать за ученую жену. А еще лучше за ученую девицу. Ну! – он поднял ладонь, останавливая недовольно вскинувшегося Капитана. – Целоваться с ними не заставим. Народ они не то чтобы дикий, красть не станут и обращение понимают. Кто–нибудь обязательно свататься полезет, хвост распустит и язычок тоже… Ты не против? Поиграть глазками–зубками ради дела?

– Я–то не против, – сказала Анастасия. – Только я, честно говоря, совсем не умею играть глазками–зубками. У нас ведь все было наоборот, у нас это только мужчины умеют…

– Больше улыбайся, и все тут. Можно еще этак вот глазки потупить, да поднять на него, поднять. – Стан добросовестно попытался изобразить эти ужимки на своей обветренной загорелой физиономии, и Анастасия фыркнула. – Смекнула? Ну, а если полезет с руками, то можно его легонько… – Он кашлянул в кулак, вспомнив, как Анастасия показывала ему недавно приемы рукопашного боя имперских рыцарей (он никак не верил, что женщины могут быть такому учены, пришлось отойти подальше от лишних глаз и показать на деле, как могут лететь кубарем в траву даже бывалые купцы, спорые в кулачном бою). – Только легонько, Настя. Чтобы потом встал и на своих ногах ушел. Мои ребята тоже осторожно порасспрашивают.

– А не рискованно? – спросил Капитан.

– Отчего ж рискованно? Про неизвестных людей, весьма могущественных, слухи кружат давно, и ничего удивительно, что кто–то собирает эти слухи на ярмарке. – Он ухмыльнулся. – Открою тайну – кой у кого из моих холостых ребят тут бабы. А длина бабьего языка известна. Ты не хмурься, Настя, я про других баб говорю, здешних. Одним словом, сеть забросим густую, глядишь, чего и вытянем… – Он осторожно выпрямился, опасаясь задеть потолок. – Ну, доброй ночи.

Полог опустился за ним.

– Значит, глазки потупить – и на него, потупить – и на него… – Анастасия, не теряя времени, стала отрабатывать лукавый взгляд на Капитане, но тут же оказалась в его объятиях, и занятия как–то сами собой завершились, были отложены на завтра.

Поутру тронулись в путь и вскоре достигли возвышенности, откуда ярмарка открылась во всей красе. Как раз она Анастасию не поразила. Ей приходилось бывать на больших ярмарках в княжестве Чи, куда стекались и желтолицые торговцы яшмой и узорчатыми тканями, приходившие от Моря Восхода, и загадочные бритоголовые горцы с далеких снежных вершин, где якобы бродят мохнатые дикие страшилища; и много другого разноплеменного народа из самых отдаленных земель, привозившего самые диковинные вещицы. Издали ярмарка выглядела вполне привычно – море повозок с выпряженными лошадьми, море разноцветных шатров, великая толчея и неописуемый гомон.

Куда интереснее было то, что простиралось слева от ярмарки – уходящие за горизонт правильные шеренги, бесчисленные ряды краснокирпичных труб (и многие дымят вовсю), и меж ними столь же правильными радами – прямоугольники и квадраты толстого мутноватого стекла. Анастасия навела бинокль. Прямоугольники величиной с крыши домов, а квадраты больше похожи на окна. Сквозь стекла вроде бы виднеется некое шевеление внутри.

– Ну да, так и есть, – кивнул Стан, когда она спросила. – Только окна эти – в потолке, в крыше, а стекла, что побольше, над улицами положены. Там и улицы внизу, по ним ходят и ездят. Город как город, только под землей. Зачем–то они туда залезли в незапамятные времена.

Их прибытие прошло абсолютно незамеченным. Ярмарка суетилась и шумела, и любой, какого бы вида и облика он ни был, мог преспокойно влиться незамеченным в эту суматоху и надежно растаять.

Человек шесть из людей Стана занялись торговлей.

Остальные принарядились и, заранее приятно улыбаясь, подкручивая усы и расчесывая бороды, отправились к тем самым здешним знакомым, у которых долги волос и язык. Стан тоже исчез. Капитан критически оглядел Анастасию – она надела лучшую рубашку, алую с золотым шитьем, волосы расчесала так, чтобы они падали до пояса. На джинсах посверкивали золотые заклепки и золотой родовой герб на заднем кармане. А за голенище красного сапожка она сунула кинжал в ножнах, специально для таких случаев предназначенный – рукоятка без крестовины, с шаром на конце, чтобы легче выхватывать.

– Ну как? – спросила она, старательно потупив глаза. – Я очаровательна, правда?

– Даже слишком. Мата Хари, секретное оружие Китежа в сорок мегатонн… Может, тебе пистолет дать? Если что, я эти катакомбы на уши поставлю…

– Глупости. – Анастасия положила ему руку яа грудь. – Ты же сам слышал, опасности никакой.

– Ты уж сама опасностей не создавай.

– Постараюсь. Ну, я пошла.

Она не спеша шагала вдоль лотков, наскоро сколоченных прилавков и расстеленных прямо на земле грубых покрывал, на которых громоздились самые разнообразные товары, ничуть ее не поразившие – все то же самое, только выглядит по–иному. Стан выдал ей горсть китежских монет, но покупать что–то основательное показалось нелепым. Она присмотрела, правда, кое–какие ткани и серьги, но у продавцов это были не последние, так что спешить не стоило. Анастасия только, не удержавшись, купила большой розовый леденец на палочке – согласно этикету она не могла бы себе позволить этого в Империи, где леденцы считались лакомством простолюдинов – и, с удовольствием его полизывая, отправилась дальше. Проиграла несколько серебрушек на тараканьих бегах – очевидно, национальной игре балтов, неизвестной ей доселе, но крайне азартной. По описанию Стана она сразу узнавала балтов – белобрысых и светлоглазых, с янтарными ожерельями на шеях. Ломала голову, как бы с ними заговорить и познакомиться. Это выглядело задачей более трудной, чем представлялось, – в толпе, заигрывая с мужчинами, шныряли женщины, чье занятие Анастасия определила сразу, хотя до сих пор в этой роли видела только мужчин.

Анастасия поняла: попытавшись заговорить с мужчиной первой она неминуемо будет принята за одну из этих… интересно, как же они здесь–то называются? А на это она не пошла бы и в интересах дела.

Первое приключение ее поджидало у гончарных палаток.

Анастасия задержалась поглазеть на диковинные кувшины в желто–черных узорах, и торговец, низенький такой, черный, кучерявый, в красной тунике и с золотыми кольцами в ушах, оживился несказанно. Сначала он, все время употребляя загадочное слово «синьорина», добросовестно пытался всучить Анастасии кувшины. Она, улыбаясь, мотала головой. Убедившись, что кувшины ей не нужны, торговец поманил ее к откинутому пологу палатки – с такой таинственной миной и такими загадочными жестами, что охваченная любопытством Анастасия шагнула туда в полумрак. Торговец забренчал золотыми, пересыпая их из ладони в ладонь звенящей струйкой, что–то шептал, таинственно пучил глаза и улыбался. Анастасия никак не могла сообразить, в чем тут дело. Сделала недоуменную гримаску. Тогда он, скалясь, положил ей на талию горячую руку. Тут уж все стало ясно.

Она хотела разозлиться, но сдержалась. Переложила леденец в левую руку, улыбнулась, как она надеялась, обворожительно, и двумя сжатыми выпрямленными пальцами ударила его меж нижней челюстью и кадыком.

Торговец издал неописуемый звук и повалился, как сноп. На всякий случай Анастасия постояла над ним, беззлобно наблюдая, как он охает, закрывая голову руками и опасаясь новых ударов. Убедившись, что все с ним в порядке и умирать он не собирается, вежливо попрощалась и пошла дальше.

Ноги сами привели ее в длиннейшие конские ряды. Здесь все было донельзя знакомо и привычно – запахи и звуки, гвалт и перебранка, шумная купля–продажа–обмен, кого–то уговаривали, кому–то расхваливали до небес товар, кого–то в чем–то уличили и собирались бить, а он отчаянно оправдывался, призывая в свидетели своих неизвестных богов. Пыль стоит столбом, звенят уздечки, стучат копыта, ржут, бьют задом норовистые кони…

– Вы любите лошадей? – раздался за ее спиной мягкий голос.

Анастасия обернулась. Перед ней стоял балт, молодой, но явно не из простых – одежда шелковая, в ожерелье на его груди янтарные шарики перемежаются с золотыми, на пальцах поблескивают золотые перстни, а вокруг неуловимым облачком витает запах духов. В Империи его с первого взгляда определили бы в публичные мужчины, но Анастасия уже успела привыкнуть к укладу закатных земель, где все наоборот. И весело подумала: зверь бежит прямо на ловца…

– Лошадей я люблю, – сказала она медленно, спохватилась и потупилась, как учил Стан. Вновь подняла на него озорные глаза и убедилась, что произвела должное впечатление.

– Могу ли я осведомиться, как зовут ваше имя? – он

выговаривал слова ее родного языка странно и смешно, но понятно.

Анастасия миг раздумывала.

– Княжна Анастасия, – сказала она наконец.

– Судя по вашему титулу и этой одежде, вы из государства Счастливая Империя?

Вот тут Анастасия воззрилась на него с неподдельным изумлением:

– Ты о ней слышал?

– Конечно. Такое смешное государство, где женщины дерутся на мечах…

– Между прочим, меч и у меня есть, – сказала Анастасия.

– Я понял. Я спешу вас заверить, что вовсе не принимаю вас за одну из тех женщин, которые…

– Ну, те самые, – закончила за него Анастасия. – Что ж, приятно слышать. Только не обращайся ко мне так, словно меня здесь несколько. У нас это не в обычае.

– Охотно, княжна. Тем более охотно, что по нашим обычаям обращение на «ты» является обращением к близким друзьям, и я поистине рад употреблять его в твой адрес, Анастасия.

«Прыткий, – подумала Анастасия, одарив его в меру застенчивым взглядом. – Тем лучше. Сейчас начнет в гости звать, я полагаю. А немножко придушить его при нужде будет не столь уж трудно. Этим его ожерельем хотя бы, это просто делается, если уметь…»

Балт вынул круглый золотой предмет на цепочке, всмотрелся в него. Анастасия видела, что делает он это единственно с целью произвести на нее впечатление. Она увидела цифры, золотые стрелки и сообразила, что это часы. У Капитана, правда, были интереснее – там цифры сами сменяли друг друга, мелькали, отмеряя даже мгновения. Но девушке из смешного захолустья таких вещей узнать, понятно, неоткуда. А посему девушка из захолустья удивленно и широко раскрыла глаза, взмахнула ресницами (Анастасия уже заметила, что на мужчин это отчего–то действует) и спросила:

– Это и есть знаменитые часы? Я о них столько слышала… Балт охотно, с гордостью продемонстрировал часы, будто сам их выдумал:

– Я бы с удовольствием преподнес их тебе, но меня останавливают этикеты учтивости, ведь ты сама в первую очередь можешь рассердиться, ибо мы знакомы только что…

– Ну да, я даже имени твоего не знаю.

– Ярл, – сказал он и произнес имя, которого Анастасия при всем желании не смогла бы выговорить, столько там было «ы» и

«э». Впрочем, он великодушно заметил: – Но ты можешь называть меня просто Ярл. Это то же, что и князь. Говорят, наши ярлы некогда завоевали земли на восход, до океана, и правили там, неся культуру и знание диким племенам.

– Признаться, я об этом как–то не слышала, хотя сама родом из тех мест, – сказала Анастасия. – Ну ладно. Пусть будет Ярл. Ты тоже любишь лошадей?

– Нет. Меня заинтересовала единственная девушка среди такого множества лошадников, к тому же столь прекрасная в своей красоте.

– А откуда ты знаешь про Империю?

– Мы многое знаем, – сказал он загадочно. – В знаниях и искусных ремеслах мы преуспели, как ты можешь убедиться, видя мои часы.

Анастасия внутренне возликовала – теперь самым естественным было задать ему вопрос, который она и задала миг спустя:

– А часы – это самое интересное, что у вас есть?

– Могу тебя заверить, что нет, – сказал Ярл. – Позволено ли мне будет набраться смелости и пригласить тебя в гости для лицезрения других гораздо более удивительных вещей, и не будет ли это принято за чрезмерную дерзость с моей стороны?

– Не будет, – весело заверила Анастасия, которой двигали не один деловой расчет, а еще и откровенное любопытство. – Лишь бы ты только не забыл, что я – княжна Империи.

– Обещаю про это помнить, Анастасия, – сказал Ярл. Неподалеку, за спиной Ярла, неведомо откуда возник один из людей Стана, привалился спиной к столбу коновязи и, улучив момент, подмигнул Анастасии. Затем с полнейшим равнодушием отвернулся и стал глазеть на назревавшую в двух шагах драку. Анастасия облегченно вздохнула про себя – теперь будут знать, где она, знать, что дела у нее пошли удачно.

Вскоре они с Ярлом подошли к спуску в город. Городскими воротами это место никак нельзя было назвать, входом тоже – квадратная яма, куда уходит широкая каменная лестница, освещенная какими–то странными фонарями – язычок синего пламени без копоти и дыма, в стеклянном шаре.

– Это газовое освещение, – важно сказал Ярл.

– А что это такое? – вполне искренне не поняла Анастасия.

– Ну… такой воздух, который горит.

– Занятно, – сказала она.

Они стали спускаться. В конце лестницы Анастасия увидела кованые ворота, распахнутые сейчас настежь. Несколько стражников в доспехах, с двуручными мечами и секирами –

весьма знакомо. Стражники поклонились Ярлу, а Анастасию пропустили лишь после того, как Ярл заверил, что она – не Мигрант.

– А что это такое? – спросила Анастасия.

– Ну… Мигрант – это такой злой дух, который пытается пробраться в город и ночами пить кровь из жителей. Сплошь и рядом он предстает в человеческом облике.

– Занятно, – повторила Анастасия.

Странно выглядела улица – словно город, убрав с домов крыши, накрыли наглухо колоссальной железной крышкой, как кастрюлю. Ну, а кроме этого – ничего удивительного. Мощеная брусчаткой мостовая, вывески лавок почти такие же – калачи у пекарей, башмаки у сапожников, ключи у ремесленников по железу, и прочая всячина, позволяющая легко угадать занятие хозяина. Только шума в трактирах почти не слышно, пьют чинно. И уличная толпа производит меньше шума. Сквозь огромные прямоугольники мутноватого стекла над головой льется слабый свет, и повсюду горят те же стеклянные фонари с язычками неподвижного почти синего пламени. Никаких особенных чудес Анастасия не увидела, о чем не замедлила сказать Ярлу. Он в ответ осведомился, не хочет ли Анастасия приобрести себе часы. Понятно, она хотела, тем более что ее деньги имели здесь хождение.

Правда, хозяин вполне обыкновенной на вид ювелирной лавки сначала не хотел продавать ей часы (которых, кстати, и не было на прилавке), все требовал какую–то местную прописку. Анастасия сказала, что таких денег у нее нет, только китежские, и собралась было уйти, но Ярл, сдвигая брови и делая значительное лицо, пошептался с хозяином, и тот принес часы из задней комнаты. Ярл порывался заплатить сам, но Анастасия не позволила.

– И не скучно жить под землей? – спросила она, когда они вышли на улицу, провожаемые неодобрительным взглядом хозяина.

– Наоборот, – сказал Ярл. – Ибо мы независимы этим путем образа жизни.

– А хлеб? Пашни?

– Хлеб всегда можно купить. Наши деньги еще лучше. Сравни со своими – чьи отчеканены искуснее?

– Меняемся на память? – сказала Анастасия, решив, что Капитану не помешает посмотреть на такую монету.

– Возьми так.

– Нет уж, меняемся.

– Ну хорошо. – Ярл отдал ей монету и со снисходительной

усмешкой спрятал в карман китежскую. – Вот мы и пришли.

Они вошли в дом. Тяжелая портьера сомкнулась за спиной Анастасии. Она уселась в кресло, огляделась – комната как комната. Ярл взял со стола синий стеклянный графин, налил в бокал рубиновую жидкость:

– Ты не против?

– Я не против. – Анастасия осторожно отпила. Похоже на вино, но в нем чувствуется что–то покрепче. Она еще раз осмотрелась, пожала плечами: – Признаться, что–то не вижу я здесь особенных чудес…

– Присмотрись. Здесь не такие фонари, как на улице. Анастасия присмотрелась. В самом деле, фонари другие.

В них словно сам воздух пылает – невыносимо ровный, без малейшего шевеления пламени.

– Электричество. Я не стану объяснять тебе, что это такое есть. Прости, но ты сразу не поймешь.

– Ну да, я ведь дикарка, – засмеялась Анастасия. Вино самую чуточку ударило в голову.

– Ты прекрасная дикарка, – сказал Ярл, глядя на нее с какой–то непонятной грустью. – Тебе не приходило в голову, что ты достойна лучшей участи?

«Ну вот, начинается, – подумала Анастасия, – далась им всем эта лучшая участь». Она насторожилась, но на ее улыбке это не отразилось ничуть:

– Смотря что будут предлагать. Эти вот фонари?

Ярл встал и отдернул занавеску. Там стоял странный ящик – металлический, блестящий, с передней стенкой словно бы из непрозрачного стекла. На нем стоит еще один, поменьше. Оба усеяны какими–то украшениями, красивыми выступами, цветными незнакомыми буквами и эмблемами, стеклянными окошечками со стрелками.

У Анастасии возникло странное чувство.

Ящик был не такой.

Дело не в том, что он непонятный и загадочный. Совсем не в том.

Он словно бы чужд этой комнате. Комната вполне обычная – те же столы и кресла, те же ковры и гобелены, та же утварь. Те же, разве что чужеземные, чуточку иного –облика и вида. А вот ящики и фонари – другие. Не совмещаются с комнатой, с домом, с городом. Такими же чужеродными они выглядели бы в домах Империи или Китежа. Словно сделаны не здесь, людьми с другими возможностями…

Но додумать она не успела – Ярл что–то сделал, и стеклянная стенка ящика загорелась изнутри. Там, в ящике, пела на

незнакомом языке женщина.

Анастасия не особенно и удивилась. Те картины, что показывал волшебник из снежной осени, были гораздо удивительнее – яркие, объемные, подлинное окно в другой мир, окно без рамы и границ. А здесь – пусть и цветное, но плоское зрелище, ожившая картина. Ну, не картина, положим, видно, что женщина живая, но все равно плоский, оживший в ящике гобелен… Но интересно.

Она спохватилась и сделала ужасно изумленное лицо. Краешком глаза наблюдала за Ярлом – нет, все в порядке, он важничал, покровительственно усмехался. «А мы–то при свечах и факелах живем, как дикари», – сердито подумала Анастасия, допивая бокал.

Музыка была резкая, негармоничная, какофония какая–то. Женщина пела на незнакомом языке. Одежды на ней почти что и не было – так, несколько бахромчатых лоскутков, соединенных нитками бус, и певица двигалась так, чтобы еще больше это подчеркнуть.

– Великолепное развлечение для мужчин, я понимаю, – сказала Анастасия язвительно. – Если нет рядом живой женщины и уговорить ни одну не удается, сиди и пялься…

– Тебе не нравится? – удивился Ярл, подходя ближе.

– Довольно убого, – сказала Анастасия. Услышав над собой его хриплое дыхание, подняла голову и глянула ему в глаза с дерзкой усмешкой. Видимо, он понял. Не шелохнулся. Сказал грустно:

– Действительно – княжна… Извини, пожалуйста, я отлучусь на короткое время.

И ушел. Женщина выплясывала, изгибая холеное тело. Решившись, Анастасия поднялась, на цыпочках подошла к портьере, отодвинула ее указательным пальцем, приникла одним глазом к щелочке.

Ярл стоял спиной к ней и что–то тихо говорил. Прижимал к уху странный предмет на длинной белой веревке и говорил словно бы в него, словно там, внутри, сидел собеседник. Говорил на незнакомом языке, но вдруг явственно произнес ее имя. «Ничего не понимаю, —растерянно подумала Анастасия. – Он это явно всерьез. Молится?»

Ярл положил предмет, Анастасия поняла по его спине, что сейчас он обернется, опустила портьеру, бегом, на цыпочках вернулась в кресло. Заинтересованно уставилась в ящик, где плясало уже несколько женщин.

– Послушай, а как это делается? – спросила она вернувшегося Ярла.

– Очень долго объяснять. Как ты смотришь, если мы с тобой сейчас отправимся в гости?

– Давай отправимся, – сказала Анастасия.

Она была удивлена не на шутку. По всем канонам он должен был сейчас добиваться ее благосклонности. Видно же по нему, что ему этого ужасно хочется. Что же, один ее взгляд его остановил? Сомнительно. Полное впечатление, что он и в самом деле разговаривал с кем–то, после чего его собственные планы резко переменились. Или он с самого начала поступал вопреки своим желаниям? Пожалуй, именно такой у него вид. Сплошные загадки. Что ж, идти нужно до конца…

Дом, куда они пришли, был полон людей. Фонари горели не белые, а какие–то странные, все время менявшие цвет – синий, красный, желтый, розовый… И музыка играла, похожая на ту, из ящика. И никто ее не слушал – люди пили, беседовали, танцевали как–то странно, медленно и обнявшись.

Ярл усадил ее на мягкий длинный диван у стены, сунул в руку бокал и пропал куда–то. Анастасия украдкой оглядывалась, присматриваясь к платьям женщин – и короткие, и длинные, с разрезами на боку или спереди, а уж вырезы… Она фыркнула про себя.

– Ты откуда, прелестное дитя? – с тем же странным и смешным выговором спросила ее сидевшая рядом женщина.

– Издалека, – осторожно ответила Анастасия, присмотрелась к ней – красивая и сильно пьяная. Что ж, это к лучшему.

– Очень издалека?

– Очень.

– Да, я смотрю – из этих феодальных принцесс… Ты Молодец. Умница, – женщина обняла Анастасию за шею и чмокнула в ухо влажными губами. Анастасия вежливо стерпела. – Совсем не боишься, глазенки спокойные… Умница. Это редкость. Обычно дикарям ровным счетом ничего не объяснишь, дикари и есть… Прошла уже выучку, а?

Анастасия оставила все свои мысли при себе и спросила, словно все знала и все понимала, даже употребила это странное обращение с множественным числом:

– А вы давно в этом городе?

– Я родилась в этом городе, – сказала женщина. – Или ты имеешь ввиду, давно ли я знаю? Давно, – она жарко прошептала Анастасии в ухо. – Так давно, что никаких секретов от меня уже не скрывают. Ну никаких. Сказать?

– Скажи, – тоже шепотом ответила Анастасия.

– Глупости все это – насчет веков. Веков не осталось. Остались недели, считанные. Видела прибой? Нет? Что же ты так,

неужели не интересно? Ну, все равно, дело твое. Считанные недели остались, знаю совершенно точно. Жуткое будет зрелище, как подумаешь, что пришлось бы его с земли наблюдать…

Она бормотала что–то непонятное уже, бессмысленное. Анастасия не слушала. Кажется, достаточно и того, что услышала. Странное дело – удивительно легко, без малейших усилий и натяжек эта пьяная болтовня сочетается с тем, что уже известно. Совпадение? Чересчур зловещее совпадение… Ее мягко тронули за плечо. Ярл стоял над ней:

– Пойдем.

Анастасия поднялась, деликатно отстранив руки женщины, лепетавшей что–то в пьяном умилении.

Они прошли еще через несколько комнат, где никто не обращал на них внимания, остановились перед закрытой дверью.

– Сюда, – сказал Ярл.

Но сам остался снаружи. Анастасия помедлила, однако в распахнувшейся двери увидела самую обычную комнату и человека в кресле – одного. На ловушку это никак не походило. И она решительно переступила низкий порог. Дверь тихо затворилась за ее спиной.

– Садись, пожалуйста, – сказал человек.

Анастасия села напротив него, положила ногу на ногу, покачивая носком сапожка, переплела пальцы на колене и откровенно разглядывала хозяина, Человек тоже был не такой.

В одежде балтов, но не похож на них. И волосы, короткие, с первой сединой, подстрижены чуточку не так, и цвет лица иной, оно не столь бледное, как у живших под землей балтов. И выражение лица другое, и черты, даже ногти на руках как–то не так подстрижены, даже поза, и часы на руке очень похожи на часы Капитана… Обострившимся, почти звериным чутьем Анастасия понимала – этот другой. Он не отсюда. На миг ее даже покинула уверенность в себе, на миг, не более.

– Неплохо для девочки, еще вчера игравшей с мечами и гербами, – усмехнулся он. И выговор у него другой.

– Ты о чем? – спросила Анастасия. Он улыбнулся и протянул ей бокал с рубиновой жидкостью:

– Ты хорошо держишься. Или уже знаешь кое–что?

– Ничего я не знаю. – Анастасия приняла бокал. – Просто я не падаю в обморок при виде чудес. Я их насмотрелась по дороге, когда ехала сюда.

– Из Империи?

– Из Империи.

– Серьезное путешествие. Хочешь о чем–нибудь спросить?

– Я и так знаю, что услышу, – сказала Анастасия. – Что это

чересчур для меня сложно. Все почему–то повадились называть меня прекрасной дикаркой.

– Но ты и в самом деле прекрасна. И в самом деле в какой–то степени дикарка. Дикарка по сравнению с теми, кто жил до… неважно, как это назвать. Жил до.

– Я глупее? Более жестока? Более зла? Или у вас дикарем человек считается только потому, что с детства не видел вот этих штук? – она указала в угол, где стояло что–то блестящее, непонятное, все в прозрачных цветных колпачках и прозрачных окошечках.

– Не сердись.

– Я и не сержусь, – сказала Анастасия сердито, отпила из бокала почти до дна и пожалела – было еще крепче, чем вино Ярла, она даже поперхнулась. – Просто слишком многие хотят мной играть, как вещью.

– Прекрасной вещью, – мягко поправил он. – И умной, – тут же поторопился добавить. – А это – нечто иное. Такую вещь берегут. Прости… Я просто неудачно пошутил. Не умею шутить.

– Это сразу заметно.

– Девочка, втяни коготки. У меня не было намерений тебя оскорбить. Я не стал бы тебя приглашать только за этим.

– Понятно, – сказала Анастасия.

– Да нет, не совсем понятно, прелестная моя Анастасия.

– Вот только не ваша. Своя.

– Ну хорошо. – Он с видом крайнего добродушия поднял ладонь. – Каюсь, я и в самом деле, услышав, что в наши края прибыла некая прелестная синеглазая княжна, велел привести тебя сюда. И мысли у меня были самые недвусмысленные. Признаюсь, они такими и остались. Но теперь я вижу, что ты не просто красивая игрушка. Ты умна. И это меня отнюдь не удручает. Наоборот, радует. Глупенькие игрушки скоро надоедают, их слишком много. А умная подруга, чей ум стоит развивать – вещь ценная.

– Все–таки вещь?

– Прости, оговорился. Знаешь, когда можешь из этого кресла управлять судьбами мира и его обитателей, начинаешь немножко… чувствовать под собой Олимп, что ли.. Ты знаешь, что такое Олимп?

– Не знаю, – сказала Анастасия.

– Неважно. Узнаешь потом. Как видишь, я хочу быть с тобой предельно откровенным. Ты мне понравилась. Сразу. А когда оказалось, что ты еще и неглупа… – он упругим кошачьим движением встал, сделал два шага и остановился над ней, положил ей руки на плечи. Анастасия напряглась. – Не бойся.

Силой я от тебя ничего не буду добиваться. С тобой так не стоит. Ты достойна лучшего.

– Это и есть предложение руки и сердца?

– Вот именно. Руки и сердца бога. Анастасия подняла голову, посмотрела в его массивное властное лицо, усмехнулась:

– Везет мне на сумасшедших богов…

– Что?

– Так, шутка, – сказала она с улыбкой.

– Я не сумасшедший. И не бог. Но мощью располагаю большой. И знаниями тоже. И вдобавок, мне очень не хочется, чтобы ты погибла со всем этим миром. Может быть, ты не поверишь или не поймешь, но на этот мир надвигается страшная катастрофа.

– Я знаю. Луна падает, – сказала Анастасия.

– Ого! Какие–нибудь местные звездочеты?

– Да, – сказала Анастасия. – Это великая тайна жрецов.

– А ты представляешь, как это будет выглядеть?

– Это будет что–то жуткое, – сказала Анастасия.

– Не то слово. Из жалких обломков того, что останется, нормальную жизнь построить удастся не скоро. И произойдет это через несколько недель. Считанные недели. Ты же не хочешь остаться здесь, когда на земле начнется ад кромешный? – он проницательно глянул на нее. – Наверняка ты, познав о жреческих тайнах, отправилась искать спасения, ты же умна…

– Да, – сказала Анастасия. – Но где же я могу спастись?

– В небесах. Это долго объяснять… Словом, в небе тоже живут люди. В таких… летающих городах. Люди, которых после гибели мира не коснулось пятьсот лет назад то, что внизу получило название Мрака и Хаоса. И живут эти люди так, что ты себе и представить не можешь. Владеют знаниями, о которых ты и понятия не имеешь. Но тоже можешь ими овладеть.

Плывущие Звезды? – чуть не выпалила Анастасия, но вовремя сдержалась, не стоит выглядеть чересчур уж умной. Хороший игрок никогда не выложит все козыри сразу, нужно приберечь что–то для себя, на потом… В нем чувствовалась недюжинная сила ума, соединенная с неизвестными ей знаниями, и Анастасия не решилась затевать какую–нибудь рискованную игру. Самое разумное, что можно и нужно сделать – выбраться отсюда поскорее и посоветоваться с Капитаном. Вот если бы взять этого типа в плен… Но даже если она его благополучно оглушит, как доставит в шатер, как минет стражников у ворот подземного города? Как по улицам протащит? Нелепо…

– Прекрасно, – сказала Анастасия. – Значит, ты меня покупаешь. Только не золотом – спасением. А все остальные

люди, на этой земле живущие?

– Всем не хватит места там, у нас. И большинство из них – тупое стадо. А менять решение и все же отбрасывать Луну… – Он резко оборвал речь. – Не говори глупостей. Вовсе я тебя не покупаю. Неужели ты думаешь, что я тебя брошу здесь, если ты откажешься? Вот уж нет. Ты мне нужна. Я тебя спасу, хочешь ты этого или нет, Анастасия, – он усмехнулся. – Потому что второй такой можно и не встретить, и не стоит рисковать… Но мне почему–то кажется, что ты будешь умницей. То, что ты увидела в этом доме – мелочи: Помещение для слуг. Есть чудеса, которых ты себе и представить не можешь.

– Как тебя зовут? – спросила Анастасия.

– Называй меня Тор.

– Что это означает?

– У неких дикарей так именовался в древности бог грома, – его сильные пальцы небрежно играли золотой цепью на шее Анастасии. – Я как–то подумал, что имею полное право носить это имя.

– А ты не сумасшедший, часом?

– Ничуть, – ответил он серьезно. – Сумасшедший – это человек, который приписывает себе могущество, каким не обладает. А когда от одного–единственного человека зависит, рухнет Луна на землю или останется на небе, по–моему, такому человеку вовсе не грешно именоваться Тором. Как ты думаешь?

– Звучит–то внушительно, – усмехнулась Анастасия. – Если бы еще доказательства…

Он взял ее за руки у самых плеч, поднял из кресла, и они встали лицом к лицу. Анастасия открыто смотрела ему в глаза и пыталась отгадать, что в его словах от непомерной гордыни, а что от правды. Одно ясно – человек очень сильный и уверенный в себе, вон как Ярл ходит перед ним на задних лапках, хотя на вид гордец изрядный… Или за спасение жизни всецело продался?

Видимо, он понял ее взгляд иначе – притянул, обхватил ее затылок сильной ладонью, поцеловал. Отстранился, прежде чем она успела решить, что ей делать, окинул разгоряченным взглядом:

– Доказательства! Хочешь прямо сейчас? Полетим из этой крысиной норы ко мне в дом, это недалеко. Хочешь полететь по воздуху?

– Со мной так нельзя, – сказала Анастасия. Кажется, она нащупала единственно верную линию поведения. – Может быть, ты и равен богу, но я не привыкла вот так… Я горда, – она очаровательно улыбнулась. – И чуточку капризна, ты уж прости. Вспомни, что я княжна Империи, и не особенно удивляйся. И

приезжаю, когда захочу я сама, а не когда меня схватят за локоть на улице, как этих… ярмарочных. Ты же упорно повторяешь, что тебе не игрушка нужна?

Она неизвестно кому и чему молилась в душе, чтобы ее улыбка и взгляд создали должный образ – неглупая, но капризная княжна, слегка ошеломленная чудесами и предстоящей гибелью мира, но не кидающаяся сломя голову в сильные руки будущего хозяина. Собственно, вплоть до недавнего времени она и была такой, чуточку капризным и чуточку спесивым рыцарем, так что ей не пришлось изображать нечто очень уж противоположное ее характеру.

Должно быть, она сыграла хорошо. Очень уж он был уверен в себе, чтобы изучать ее вдумчиво и подозрительно. Конечно, он не сумасшедший, он опьянен каким–то стоящим за ним серьезным могуществом. К тому же свято верит, что перед ним стоит дикарка, имперская княжна. А о Капитане понятия не имеет. Нет, все нормально.

– Ну что же, – сказал Тор. – Приглашаю тебя, княжна Анастасия, быть завтра моей гостьей.

– Принимаю твое приглашение, благородный Тор. – Анастасия склонилась в придворном поклоне, волосы золотой волной упали на плечо. – Соблаговоли объяснить дорогу. Рыцарю подобает отправляться в гости не в экипаже хозяина, пусть даже летучем, а на своем боевом коне.

Тор откровенно любовался ею. Тем лучше. Анастасия дукаво глянула на него поверх бокала:

– Надеюсь коновязь в твоем доме найдется, а челядь не станет подслушивать у замочной скважины?

– Я позабочусь, – пообещал он. – Ты видела дорогу, уходящую от города на запад?

– Куда уходящую? – На закат. – Видела.

– Ты поедешь по ней. Если ехать рысью, это отнимет часа полтора. (Анастасия, давно уже уяснившая, что такое часы, минуты и секунды, тем не менее вовремя спохватилась и сделала удивленно–вопросительную гримаску). Полтора часа означает, что стрелки опишут вот такие круги. – Он показал на часах Анастасии. – Слева покажутся два невысоких холма, и на вершине одного из них круглая белая башенка. Свернешь с дороги и поедешь прямо меж холмами, – он усмехнулся, – и вскоре увидишь чудовищ. Не пугайся их. Это всего лишь мираж, изображение, чтобы страшить дикарей. Поезжай дальше, не сворачивая. Увидишь на земле полосу из металлической сетки. Это смерть, если у тебя нет вот этого, – он достал из ящика стола маленькую, круглую мегаллическую коробочку на цепочке. Сам

надел ее Анастасии на шею, не упустив случая легонько провести по ключицам кончиками пальцев. – Помни, с этой коробочкой на шее сетка тебе совершенно не опасна. Ну, а дальше езжай вдоль голубых шляпок. Ты их ни с чем не спутаешь. Там будут разные строения, но это нечто вроде… служб и конюшен. А я живу в белом доме с большими окнами, окруженном цветником. Ошибиться невозможно, Дом такой там один.

– Похоже на описание дороги в замок сказочного людоеда, – сказала Анастасия.

– Это – твой замок. Точнее, временное пристанище..

– Но со мной прибудет оруженосец, – сказала Анастасия. Начинался самый важный и рискованный момент игры. – Во–первых, я не собираюсь изменять правилам – рыцарь обязан ездить с оруженосцем. Во–вторых, мой оруженосец – в своем роде редкость. Он изобретатель. Все время выдумывает разные удивительные вещи.

Вот теперь у него в глазах блеснула настороженность. Но только на мгновение. Он тут же вспомнил, что он – бог грома, имеющий дело с дикарями.

– Изобретатель? – спросил он с интересом.

– Да. Он придумал такую стрелку, что все время указывает на одну и ту же сторону горизонта.

– Быть не может!

– Уверяю тебя, – сказала Анастасия. – Я им горжусь, ни у кого такого нет. Может, он и тебе пригодится?

– Представляю себе этот дикарский компас… – усмехнулся Тор. – Ты знаешь, привози своего умельца. Кто знает, что из него получится у нас, вы все–таки не дикари, а потерявшие память осколки прежнего мира…

– А коробочка? – Анастасия коснулась цепочки. – Для него?

– Одной достаточно для двоих. Надеюсь, ты ему сумеешь преподнести подходящую полуправду? Чтобы с перепугу с его штанами не случился конфуз?

«Ну, мы еще посмотрим, с чьими штанами может выйти конфуз», – весело подумала Анастасия. Сказала:

– Что–нибудь преподнесу, – и встала. – Мне пора.

– Я буду ждать. Очень ждать. Ты ни о чем не пожалеешь. «Надеюсь, пожалеешь ты», – подумала Анастасия, глядя, как он идет к ней с самоуверенной хозяйской улыбкой, в самом прекрасном расположении духа. Когда руки Тора сомкнулись у нее на талии, она не противилась и даже, превозмогая себя, ответила на поцелуй, но постаралась прервать его побыстрее.

– До завтра, благородный Тор, – сказала она, закрывая за собой дверь.

Лицо словно судорогой свело – идя сквозь комнаты с цветными огнями, странной музыкой и танцующими, Анастасия чувствовала, что обаятельнейшая улыбка не исчезает с губ, словно налипла на кожу. Видимо, страшное напряжение сказалось. В жизни не было еще такого поединка. Анастасия присела на краешек упругого дивана в углу потемнее, закрыла лицо руками и тяжко вздохнула. Душа, все тело медленно отходили от этой нечеловеческой игры. Ее прошиб озноб. Хорошо еще, никто к ней не приглядывался в сутолоке и гаме.

Но вот кто–то остановился рядом с ней. Анастасия подняла голову и узнала Ярла. Подумала устало: вот что у тебя за служба, скотина этакая. А туда же – славные предки, завоевания от моря до моря… Она поднялась и властно, резко сказала:

– Проводи меня к выходу.

Позванивая шпорами, Анастасия шла в толпе следом за ним по ярко освещенным, улицам–норам этого странного города. Что происходит вокруг, она воспринимала плохо, голова чуточку шумела, и словно бы туман стоял кругом. Но она была ужасно довольна собой.

У подножия лестницы, отвернувшись от Ярла, чтобы намеренно оскорбить, сунула ему в руку монету и быстро поднялась по широким ступеням под открытое небо, покрывшееся уже звездами. С огромным облегчением вздохнула прохладный вечерний воздух и быстро пошла к ярмарочньм шатрам, освещенным изнутри зыбкими огоньками масляных ламп. На ярмарке кончилась дневная суматоха и начиналась ночная жизнь – смеялись женщины, позванивали кубки, неслись отовсюду песни и звуки самых разных музыкальных инструментов, бродили пьяные (одного, нетвердой походкой сунувшегося наперерез, Анастасия, не вдаваясь в разговоры, отшвырнула точным ударом).

Чуточку поплутав, она отыскала китежские шатры. Тихонько откликнулась на тихий окрик караульного. Подняла полог. Капитан со Станом сидели у пузатого кувшина, но явно еще не притрагивались к нему, глаз не сводя со входа. Глаза Капитана полыхнули такой радостью, что и Анастасию захлестнула гордая радость. Или радостная гордость – какая разница?

– Вот и я, милорды, – сказала она. – Спешу вас обрадовать – я узнала многое и отразила все покушения на мою Добродетель. Что было не самым легким предприятием.

Ощутив, что ноги ее не держат, блаженно вытянулась на застланной полосатым покрывалом постели, закинула руки эа голову, закрыла глаза.

– Подай ножку, княже, я тебя разую. – Капитан вздохнул с громадным облегчением, стащил с нее сапожки и положил в угол

кинжал. – Ну, Таська, сидели мы, как на штыке… И кое–что узнали. Что это ты вся в каких–то цепочках?

– Боюсь, начать придется мне, – сказала Анастасия, приподнявшись на локте. – Что бы вы там ни узнали, я была в самом логове, сдается… Итак…

Времени ее рассказ занял много – Капитан требовал напрячь память изо всех сил и передать речи Тора дословно, а все странные вещи, которые она там видела, описывать как можно подробнее. Потом он долго изучал часы и монету в слабом мерцании светильника.

– Ну что? – не выдержала Анастасия.

– Никаких сомнений – не в этом городе вещички–то сделаны. И часы, и монета. Не тот уровень техники,

– Что такое уровень техники, я не знаю, – сказала Анастасия. – Но я тоже подумала, что вещи не здешние. Город мало чем отличается от наших. Они все это от кого–то получили… Да, но как же можно жить на небесах? Плывущие Звезды?

– Они, сдается, – сказал Капитан. – Прямо в небе жить, понятно, нельзя. Но там могут летать такие… ну, проще всего будет сказать – агромадные бочки. Летающие города. В каждой бочке – город. Это, признаться, странно – твой Тор говорил, что они пережили Мрак, а при мне таких орбитальных станций еще не было. Похоже, все–таки параллельный мир… Да, но что это меняет?

– Ничего это не меняет, – быстро сказала Анастасия, вновь ровным счетом ничего не понявшая, но не желавшая новых загадок, потому что сыта ими по горло. – А может, все же не в небе? Может, они преспокойно живут на земле где–то далеко отсюда, а небесными обитателями для вящего почету себя именуют?

– А как же Луна, которая уничтожит жизнь на земле? У тебя ведь не создалось впечатления, что он шутил?

– По–моему, он был ужасно искренним и серьезным, – сказала Анастасия. – Даже проговорился: мог бы сделать так, чтобы Луна не упала, но не хочет…

– Вот это меня и смущает, и злит. Больно уж сволочной подход к делу. Ох, как мне этот тип заранее не нравится, я таких терпеть ненавижу… Ну, Настенька, по всему видно – предстоит нам завтра такая передряга, что честно тебе скажу…

– А мне что же, не ехать? – хмуро спросил Стан, ничуть не довольный тем, что избежит опасности.

– Насчет тебя уговору не было, воевода, – сказал Капитан. – Сам слышал – в гости приглашены только рыцарь с оруженосцем.

Тебе выпадает роль потруднее – если мы не вернемся брать за шкирку этих, в городе, и продолжать дело. Потому что на этой грешной земле одна философия, и другой не дано: пока стоишь на ногах, дерись…

– Да, а что вы узнали? – вмешалась Анастасия.

Но все, что вызнали люди Стана, лишь дополняло ставшее известным ей. В городе шептались, что власть над ним давно перешла к неким загадочным и могущественным то ли людям, то ли богам, то ли злым духам, давно подмявшим под себя Ратушу Ярлов (особо, впрочем, не сопротивлявшуюся, ибо их, по слухам, не запугивали, а попросту купили). О целях этого потайного завоевания по недостатку точных знаний кружили, понятно, самые невероятные домыслы, но большинство сходилось в одном – что грядет нечто страшное, и спасутся лишь избранные. Примерно на тот район, куда завтра предстояло ехать Анастасии, молва давно указывала как на место жуткое, заколдованное и проклятое, куда сунуться может только безумец. Что–то там вспыхивало, озаряя всю округу, иногда жутко громыхало, по ночам в воздухе проносились загадочные бесшумные тени, а днем разгуливали чудовища. Словом, город был на грани то ли поголовного бегства непосвященных куда глаза глядят, то ли бунта – вот только никто не знал, с чего начать, и как…

…Они рысью скакали по дороге – уже около часа. Анастасия была в жутком душевном разладе. То вспоминала сегодняшнюю ночь исступленной нежности, и тогда радость и смертная тоска сменяли друг друга в неописуемой чехарде; то впадала в понурое безразличие; то с ненормальным воодушевлением пришпоривала коня, стараясь побыстрее достичь цели, а там – будь что будет… Капитан вдруг натянул поводья. Их кони остановились бок о бок.

– Что? – спросила Анастасия.

– Нельзя так, Настенька. С таким настроением в бой идти – самое поганое дело. Ну, соберись. Он же ничего такого не ожидает, он двух дикарей пригласил, милую девочку предвкушает, наверняка один сидит, челядь повыгнал подальше… Ну, соберись. Стыдно для рыцаря…

Он взял в ладони ее лицо, поцеловал в губы. Анастасия закрыла глаза, сжала его плечи. Позвякивали уздечки, наплывал горьковатый запах травы, и вдали раздавался какой–то странный глухой шум, ритмичный грохот.

– Как же я сразу не сообразил, фендрик! – ударил себя по лбу Капитан. – Это ж море шумит!

Все горести и тревоги отлетели разом. Анастасия широко раскрыла глаза:

– Море?!

Дернула повод и поскакала в ту сторону. Море!

Зрелище было жуткое и величественное. Волны, волны, водная гладь – до самого предела видимости. Солнце сверкает на темно–синей воде мириадами крохотных бликов. Прибой грохотал, волны в два человеческих роста безостановочно катились к берегу, обрушивались на гладкий влажный песок, растекались, уползали назад, вновь вставали белопен–ными громадами, неслись к берегу, и все повторялось – эта безостановочная коловерть, влажный грохот, мощь неживого, неразумного заворожили Анастасию, она застыла в седле, выпустила поводья, по–детски округлившимися глазами всматривалась вдаль, стараясь запомнить навсегда этот миг, этот берег.

Тучи белых птиц с пронзительными скрипучими криками метались в воздухе. Анастасия спрыгнула с седла и побежала туда, навстречу волнам, проваливаясь высокими каблуками в мокрый песок. Остановилась поодаль, подняла ковшиком ладонь, ловя долетавшие брызги. Осторожно попробовала языком. Соленая горечь. Вот и исполнен данный в запальчивости обет – сколько веков прошло с тех пор, как она поклялась попробовать воду Закатного Моря? И каким же смешным теперь кажется все – прежняя жизнь, прежние страхи и радости, стремления и неудачи…

Капитан подошел, обнял ее за плечи, Анастасия прижалась к нему, и они долго смотрели в море.

– Какой прибой… – тихо сказал он.

– Раньше его не было?

– Раньше он был во–от такой, низенький… Это все из–за Луны.

– Но ее же сейчас, днем, на небе нет?

– Ох, Таська… – Капитан, грустно смеясь, обнял ее покрепче. – Чудо ты мое княжеское… Найти бы сейчас какой–нибудь там рубильник, дернуть – и прощай этот чертов параллельный балаган. В книгах всегда был какой–нибудь рубильник. Загнали бы твой золотой брегет, купили билеты –и домой. А там уже войска выведены, пироги пекут… Эх, нету рубильника.

Анастасия вскрикнула и показала вытянутой рукой в ту сторону. Капитан всмотрелся, почесал в затылке:

– Давай–ка на всякий пожарный обеспечим отход…

Они сели на коней, отъехали на сухую землю и вновь обернулись к морю. Черный предмет, становясь буро–серым, приобретая правильные очертания, быстро увеличиваясь в размерах, приближался к берегу. Капитан взялся было за бинокль,

но в этом уже не было нужды. Присвистнул:

– Ядрена Матрена, корабль!

– Вот это – корабль? – изумилась Анастасия. – Это скорее домище какой–то, крепость взбесилась и поплыла…

– Корабль, Настенька. Вот только что–то с ним не то… Анастасии этот странный корабль показался овальным ящиком великанских размеров. На корме – целый дом в несколько этажей, только стекла почти все выбиты. Борта грязные, в рыжих громадных пятнах ржавчины, странной то ли коросте, то ли накипи, потеках грязи и жирных черных полосах. Он плыл к берегу целеустремленно, не рыская, но все равно отчего–то казался мертвым, брошенным, нежилым.

– Может, там эти… призраки? – шепотом спросила Анастасия.

– Глупости. Хотя Летучий Голландец, конечно, классный…

Корабль слепо надвигался, возвышаясь над прибоем, нелепый и ненужный. Внезапно он начал сбавлять ход, вот и остановился совсем, что–то отчаянно заскрипело, завизжало, массивные якоря с лязгом и скрежетом натужно поползли вниз на ржавых цепях, но остановились на полдороге, не коснувшись воды. Правый пополз вверх, и его цепь почти скрылась из вида, а левый так и повис. Душераздирающий протяжный вой, железный стон пронесся над берегом. Тучи птиц шарахнулись во все стороны.

Анастасия зажала уши. Кони беспокойно приплясывали. Вой оборвался. Левый якорь двумя рывками поднялся повыше, но на прежнее место так и не встал. Корабль развернулся, показав левый борт во всю длину, разбитые круглые окна белого некогда здания на корме, окруженного лесенками с погнутыми перилами и зияющими дырами выпавших пролетов, какие–то проржавевшие устройства на крыше, распяленные горизонтальные полосы, болтающиеся обрывки тросов, косо висящие лодки.

От высоких букв на борту остались частички, которые невозможно распознать.

– Где же люди? – недоуменно спросила Анастасия. – Так и не показались.

Снова короткий вой, надсадный, скрипучий. Корабль уходил к горизонту и вскоре исчез из виду.

– Да нет там наверняка людей. Ни одного. Видела, какой он запустелый?

– Как призрак, – согласилась Анастасия. – Но разве бывают призраки вещей?

– Бывают даже призраки идей, Настенька… Может, он еще до вашего Мрака вышел в море. Автоматика. Кажется, такие уже появились, когда я…

– Знать бы, плохая это для нас примета или хорошая?

– А никакая, – сердито бросил Капитан. – И вовсе это не примета. Просто старая рухлядь, которая гуляет сама по себе… Ну, поехали?

Вскоре на дороге впереди заклубилось облачко пыли. Капитан на всякий случай плотнее запахнулся в плащ, под которым скрывал оружие и одежду. Посмотрел в бинокль:

– Господи, еще один металлист на мою голову…

Навстречу им неспешной рысью ехал самый настоящий рыцарь. Мужчина. Кольчуга почти такая же, над головой качается наконечник копья, щит зеленый, с диковинным серебряным зверем, а на шишаке – золотой петушок задорного облика.

Увидев их, он остановил коня. Совсем мальчишка, едва усики пробились. На Анастасию он смотрел без всякого удивления – видимо, принимал ее, как должное. По привычке Анастасия положила было руку на рукоять меча, но покосилась на Капитана и опомнилась – не до того сейчас… Рыцарь неуверенно потряс копьем и крикнул ломающимся баском:

– Вив ле имперьер де Голль!

– Тьфу! – плюнул Капитан. – Та же петрушка, я смотрю – де Голля в императоры произвели…

Признаться, Анастасия все же с удовольствием показала бы этому концу, кто есть кто в этих краях. Так, немножко, легкая трепка… Но Капитан, погрозив ей пальцем, крикнул что–то на незнакомом Анастасии языке, рыцарь, к ее удивлению, откликнулся, и сам при этом выглядел изумленным.

После короткого разговора он и Капитан сошли с коней, причем Капитан тут же закурил, что произвело на чужеземного рыцаря сильное впечатление. Анастасия осталась в седле и терпеливо ждала, пока они оживленно толковали, помогая себе жестами, тыча пальцами в разные стороны. Расстались они совершенно по–приятельски. Рыцарь взобрался на коня, вежливо поклонился Анастасии, но, улучив момент, когда Капитан отвернулся, сделал ей гримасу, выражавшую неприкрытое сожаление оттого, что их встреча протекала так не по–рыцарски. Анастасия показала ему язык, сама ужасно сожалея, что не удалось помериться силами. Надувшись, он принял горделивый вид и поскакал в ту сторону, где в часе езды по–прежнему шумела ярмарка.

– Кто это? – спросила Анастасия.

– Француз, – ответил Капитан. – Самый настоящий. По–моему, из Марселя едет, если я правильно понял.

– Это где?

– Это едва ли не у самого края суши. Месяц ехать. И там все точно так же, как у вас – замки–герцоги… Я его послал на

ярмарку, уж там–то сыщет приключений в честь своей прекрасной Жанны де или дю. Прыткий салажонок…

– Значит, за Бугром нет никакой страны счастливых?

– Вот именно… Самое интересное, Настенька – наш бронированный друг ухитрился подобраться к самому логову твоего Тора. Очень обижался, что тамошние чудовища ведут себя так хамски – в бой с доблестным благородным рыцарем не ввязываются, а потом и вовсе обнаруживается, что никаких чудовищ нет, одно наваждение. Он даже до сетки добрался. До этого самого заграждения. И хватило ума у петушка кинуть на нее издали кинжал. Представляю, какой был разряд…

– Холмы, посмотри, – сказала Анастасия. – И башенка белеется.

Они свернули влево, проехали меж двумя холмами с белой круглой башенкой на вершине правого.

– Похоже на колпак радара, – сказал Капитан. – Определенно радар…

– Плащ запахни, всезнайка, автомат видно… Кони шарахнулись, и было от чего – впереди, неизвестно откуда взявшись, вырос паук, черный, красноглазый, мохнатый, с башню высотой, со страшными зазубренными челюстями, способными одним движением перекусить всадника вместе с лошадью. А растопыренными лапами он мог бы обхватить небольшую крепостцу.

Встреться такое чудище Анастасии до начала ее странствий на закат, она наверняка карьером припустила бы прочь, ничуть того не устыдившись. Но теперь… Она хорошенько присмотрелась и сообразила, что паук абсолютно неподвижен, не шелохнется ни на волосок. Мираж, наваждение. Все же жутковато было проезжать сквозь него, кони уперлись, и пришлось объехать его стороной.

Точно так же они миновали дракона–призрака, зеленого, исполинского, и трех монстров, которым не подобрать названий, а если бы и знал их, лучше поскорее забыть, чтобы невзначай не приснились. Страшилки, в общем, рассчитаны были на пугливых окрестных жителей, горожан, не имевших своего рыцарства. А чужие рыцари, должно быть, заезжали сюда не часто – для серьезных рыцарей, чтобы отпугнуть их от этих мест, потребовалось бы что–нибудь более основательное…

И вот, наконец, полоса металической сетки шириной сажени в три, лежащей на какой–то зеленой подстилке.

– Чисто сработано, – сказал Капитан. – Ступи ноженькой…

Он бросил перед собой кинжал. С кинжалом ничего не случилось, лежал себе на сетке.

– Можно ехать? – спросила Анастасия.

– Можно. Скорей всего, эта коробочка дистанционно отключает ток.

– Ох… – жалобно вздохнула Анастасия. – Смогу я когда–нибудь усвоить эти премудрости?

Свесившись с седла, Капитан подхватил кинжал. Стараясь держаться как можно ближе друг к другу, они проехали по сетке – копыта не причинили ей никакого вреда. Осмотрелись. Линия как бы выраставших из земли голубых прозрачных шляпок с какими–то штуками внутри вела вдаль.

– Видимо, фонари, – сказал Капитан. – Ориентир для ночной посадки. Очень похоже. А вон там что такое? Глянем?

Зеленое поле было покрыто странными черными крышками – высотой человеку по колено, шириной в пять–шесть саженей. Анастасия насчитала их двадцать четыре, махнула рукой и сбилась – слитком много их было.

Опасливо спросила:

– А он нас не увидит? Из дома не увидит, что мы свернули с дороги?

– Ну не волшебник же он. Смысла нет ставить тут везде телекамеры. Они ж себя здесь в полной безопасности чувствуют. – Капитан не отрывал взгляда от крышек. – Это, знаешь ли, попахивает баллистическими… – он покосился на Анастасию, раскрывшую было рот. – Долго объяснять, Настенька. Поехали лучше в гости.

На приличном расстоянии от крышек стоял низкий серый купол с узенькими горизонтальными щелями вместо окон, огромными фиолетово отсвечивавшими окулярами, направленными в сторону крышек, какими–то сетчатыми плетенками.

– Ты что–нибудь понимаешь? – тихо спросила Анастасия.

– Больше всего это похоже на ракетную базу. Даже версия у меня появилась, так все складно… Ага, вот и спецдача показалась. Твой предводитель команчей, я вижу, обосновался в полной роскоши…

Белое одноэтажное здание с высокими окнами стояло посреди зеленого сада, окруженное большими клумбами с яркими неизвестными цветами. Неподалеку от крыльца – огромный овальный бассейн, вокруг расставлены легкие кресла из натянутой на металлические палки пестрой ткани. Кажется, в доме играет негромкая приятная музыка. Ну да, так и есть.

– Устроился неплохо, – сказал Капитан. – Где–то должны стоять другие дома, но тут он, похоже, один обитает…

– Что будем делать? – спросила Анастасия. Теперь она

полностью признавала его главенство, но никаких сожалений и амбиций не возникло – в этот миг ее такие мелочи уже не заботили.

– Мы преспокойно войдем, – сказал Капитан, – Вряд ли у него тут есть охрана – зачем? Если и есть у него оружие, оно мирно покоится где–нибудь в столе. Он же в себе уверен по–ненормальному, у него сейчас мысли одним заняты – как бы меня побыстрее куда–нибудь на кухню отправить, да там и запереть…

– Это на него похоже, – сказала Анастасия.

– Ну вот. Мы аккуратненько входим, гоняем чаи и ведем светскую беседу – то есть ты ведешь. Если увидим, что момент подходящий, аккуратненько его берем. Вот и все. Кто знает, как у них выглядат оружие, поэтому не позволяй ему хватать какой–бы то ни было предмет… Усекла?

– Усекла, – сказала Анастасия.

– И если вмешается какая челядь…

– Я поняла, – улыбнулась ему Анастасия. – Все будет в порядке. Все прекрасно.

Она лгала, понятно. Все ее тело было нелюдски напряжено в неизвестном доселе боевом азарте. Ощущения такие, что к ним и слов не подберешь. Но ничего напоминавшего колебания, страх, замешательство. Холодное, рассудочное предчувствие небывалого боя, какой не снился ни одному рыцарю – потому что предстояла схватка с сумасшедшим богом за всю землю, за всех людей, даже за тех, кому Анастасия желала бы смерти, потому что они заслужили смерть. Но так уж устроена жизнь – бывает, приходится бороться и за тех, кого ненавидишь, ибо невозможно отделить грешных от праведных, и спасены должны быть все до одного. Так случается в жизни. И нередко.

– Все в порядке, – повторила Анастасия.

– Ты в бога… ах да. Я тоже не верю. Но помоги ты нам, господи, какой ты ни есть и какие ни есть мы…

Они тронули коней и поехали по белой твердой дорожке меж ярких клумб, прямо к крыльцу. Дом Анастасии очень понравился, она не прочь была бы поселиться в таком. Тихие вечера, неопасная Луна, детский смех в бассейне… Да пропади он пропадом, этот несчастный дом, лишь бы все удалось!

Тор появился из стеклянных дверей и остановился на третьей, верхней ступеньке в исполненной достоинства позе. Анастасия отчего–то решила сначала, что он, подобно жалкому волшебнику, появится в чем–то пышно–триумфальном, весь увешанный тем, что у них на небе служит отличием. Но нет, ничего подобного, обычная одежда, в которой он был тогда. И никаких отличий. Быть может, там, на небесах, регалий нет

вообще.

– Приветствую тебя, Тор, – сказала Анастасия с ослепительной улыбкой. – Я приехала.

Капитан проворно ссыпался с седла и бросился поддержать ей стремя – Анастасия, понятно, и кивком егр не поблагодарила, как и подобает высокородной. Протянула руку спустившемуся ей навстречу Тору, встряхнула головой, отбрасывая назад волосы, окинула хозяина многозначительным взглядом:

– Надо сказать довольно омерзительные чудища стерегут дорогу к твоему замку…

– На дикарей прекрасно действует, – усмехнулся Тор, целуя кончики ее пальцев.

– А куда же привязать коней?

Тор после короткого замешательства пожал плечами:

– В самом деле, я забыл… Конные сюда никогда не приезжали, ты первая.. Можно вот сюда, пожалуй.

Капитан привязал коней к спинке ажурной металлической скамейки. Больше всего Анастасия боялась, что из–под плаща у него высунется автомат – Тору он несомненно покажется вещью, которой ну просто неоткуда взяться у дикарей, и трудно предсказать, как все дальше закружится. Нет, обошлось. У самого Тора Анастасия не заметила ничего, подходившего бы на оружие.

– Это и есть твой умелец… – Тор разглядывал низко склонившегося Капитана. – Ну что ж, любезный. Можешь считать, что тебе крупно повезло. Если окажется, что голова у тебя светлая, кое–чего достигнешь. В любом случае жив останешься.

– Благодарю, господин мой. – Капитан не поднял глаз.

– Знаешь, он жутко перепугался – и чудовищ, и твоего поместья, – беззаботно улыбаясь, сказала Анастасия, отвлекая внимание Тора в первую очередь на себя. – Едва успокоила. Он в полном ошеломлении, не будем обращать на него внимания – скорее опомнится. Я готова вступить в твой замок.

– Готова? – со значением переспросил Тор.

– Готова всецело, – показав тоном, что понимает его и не собирается идти на попятный, ответила Анастасия, подала ему руку. – Веди в твой замок.

– В твой замок, – поправил Тор. – Прошу тебя. И ты иди, – бросил он через плечо Капитану.

Распахнул стеклянную дверь и пропустил ее вперед. Отодвинул белое кресло от низкого стола, где в хрустальной вазочке стояли цветы, усадил. Небрежно махнул Капитану на другое кресло, поодаль. Сам сел рядом с Анастасией. Тихая приятная музыка лилась со всех сторон.

– Можешь снять меч, – сказал Тор. – Меч тебе больше никогда

не понадобится.

Анастасия отстегнула ножны, поставила меч, оперев на кресло. Облизнула губы:

– Я бы чего–нибудь выпила. На дороге пылища, в глотке пересохло. Прикажи твоим слугам…

– Здесь никого нет, кроме нас, – сказал он. – Извини, я накрыл стол не тут. Сейчас чего–нибудь принесу.

Едва он скрылся, Анастасия обменялась с Капитаном быстрым взглядом. И ощутила легкое разочарование – в большой светлой комнате не было ничего диковинного. Стены разрисованы бело–голубым узором – кисточкой так не сделаешь, тут что–то другое – и словно бы покрыты лаком. Причудливый светильник под потолком, стол и кресла. И все.

– Волоки его в спальню, – быстрым шепотом сказал Капитан. – И начнем. Вернулся Тор, катя перед собой тележку из сверкающих трубок со стеклянной столешницей, заставленной графинами и какими–то яствами. У Анастасии и в самом деле пересохло в горле, и она с удовольствием выпила какой–то странной, но вкусной воды, сладкой и шипевшей пузырьками. Поверх стакана бросила лукавый взгляд на Тора и убедилась, что силой его волочь в спальню не придется. А спальня наверняка не запирается изнутри – кто приделывает запоры в доме, где живет один, в таком вот доме?

– Твой замок не кажется мне удивительным, Тор, – сказала Анастасия. – Я ожидала увидеть что–то такое… такое… А здесь все вполне обычное.

– Это только прихожая. – Тор не сводил с нее глаз. – Показать тебе дом?

– Охотно, – поднялась она из кресла.

– Твой оруженосец будет сидеть смирнехонько?

– Мы дикари, дорогой Тор, – сказала Анастасия, – но наши слуги вышколены великолепно. – Она обернулась к Капитану и приказала невыносимо надменным тоном: – Сколько бы я ни отсутствовала, сиди здесь и не трогайся с места.

– Да, светлая княжна.

– Это все для тебя. – Тор указал ему на столик. Шторы в спальне были задернуты наглухо, и ее освещал ажурный сиреневый фонарь. Анастасия прошла мимо широкой низкой постели, даже на вид ужасно мягкой и уютной, мимо стеклянного столика, накрытого гораздо богаче, чем тот, что оставили Капитану. Остановилась перед высоким зеркалом, досадливо оглядела свое запылившееся лицо и спутавшиеся волосы. Тор протянул ей почти невесомый прозрачный гребень, и она принялась расчесьюать волосы. Закончив, встряхнула ими,

обернулась к Тору:

– Если бы еще и умыться…

– Вон там – ванная. – Тор указал на дверь, почти сливавшуюся со светло–голубой стеной. – Такой ты еще не видела. Пойдем, я тебе объясню, как что включать. – Он подошел, взял ее за локти и глянул с такой самодовольно–хозяйской улыбкой, что Анастасия потеряла всякую охоту к игре. Посмотрела ему в глаза:

– А правда, что в той белой башенке на холме – радар?

– Что–о? – Тор взял ее за подбородок. В его улыбке изумление мешалось с растерянностью. – Откуда ты знаешь, что такое радар?

– Я понятия не имею, что это такое, – безмятежно сказала Анастасия. – Просто…

Дверь распахнулась, Капитан кошкой скользнул внутрь, аккуратно прикрыл дверь за собой, приятно улыбнулся Тору, как ни в чем ни бывало, словно так и надо себя вести. Блеснули зубы из–под выгоревших усов:

– Аллах акбар, начальник…

Он был уже без плаща. В своей зелено–пятнистой одежде, с гранатами, ножом и свернутой веревкой у пояса, с автоматом на плече, он являл собой настолько несовместимое с этим миром, земным и небесным, с этой роскошной спальней зрелище, что Анастасия ничуть не удивилась выражению лица Тора. Она рассмеялась, звонко и весело.

Оцепенение хозяина длилось миг. Тор напрямик, прямо через постель ринулся к стоящему около нее с другой стороны вычурному шкафчику, бежевому с золотом. Автомат Капитана брызнул коротким грохотом ему наперерез, и дверцы шкафчика треснули, взлетели щепки, а Тор мгновенно отскочил к стене, прижался к ней спиной, пригнулся.

Несомненно, он знал, что такое автомат. Его лицо стоило бы запечатлеть на холсте – сложная смесь ярости, страха и недоумения.

– Ляг на пол, – ласково, будто непослушному малому ребенку сказал ему Капитан и усмехнулся совсем неласково. – На животик ляг. А рученьки блудливые за спиной сложи. Ну?

В мертвой тишине Тор выполнил приказ. Анастасия связала его добросовестно, хитрыми военными узлами, присела на постель, в самом деле мягчайшую. Капитан перевернул Тора на спину, подтащил к стене и усадил на пол. Сам сел рядом с Анастасией, зажал автомат меж колен. Достал сигарету.

– Предпоследняя, – сказал он грустно. – А там – хоть повторяй подвиг Колумба ради табачку… Как самочувствие,

курбаши? У вас, кстати, курево имеется?

– Что все это значит? – спросил Тор сквозь стиснутые зубы. – Что это вообще такое? Как это? Такая одежда только в древности…

– Да я сам удивляюсь, – утешил его Капитан. – Ну, офицер. Ну, из прошлого. Раз в жизни чего только не случается. Думаешь, я понимаю, что и как?

– А эта стерва? – Тор метнул в сторону Анастасии бешеный взгляд. – Го–осподи, ну, стерва, надо же…

– Одну минуту, – сказал Капитан. – Хоть ты и пленный, сучий потрох, но если ты еще раз оскорбишь мою любимую женщину, будет ого–го и ай–яй–яй. Ба–алыпой ай–яй–яй. Извинений не слышу?

– Извините, – сказал Тор с величайшим усилием.

– Молодец. Цивилизуешься на глазах. Надеюсь, ты уже понял, что с эротическими планами покончено? А посему отвечай как на духу: может сюда кто–нибудь заявиться непрошенно? Между прочим, для тебя этот вопрос принципиальный: если, паче чаяния, нас тут обложат, я тебя первого…

– Сюда никто не придет, пока я не вызову, – хмуро сказал Тор. – Я так распорядился…

– Отлично. В таком случае поговорим о высоких и высокоумственных материях.

– Интересно, почему вы так уверены, что я буду с вами разговаривать? – оскорбительная вежливость оставалась единственным оружием Тора.

– А почему ты так уверен, что я с тобой буду церемониться?

Несколько мгновений длился немой поединок взглядов. Анастасия устало откинулась на подушки и не вмешивалась.

– Я не с самой веселой войны сюда угодил, – сказал Капитан тоном, от которого даже Анастасии стало неуютно. – И все, что мне о тебе известно, позволяет думать, что сволочь ты порядочная. А к сволочам у меня счет. И за людей я их не считаю. Так что отвечай на вопросы и не пыжься. Ясно?

– Ясно, – сказал Тор. – Но позвольте тогда и мне задать несколько вопросов? Вы в самом деле из прошлого?

– Из оттуда. У вас тут полно самых дурацких чудес. Однажды одно из них не так сработало.

– А она?

– А она – она и есть. Княжна Анастасия. Хороший человек, между прочим. Доволен? Тогда продолжим наш КВН. Значит, орбитальных станций ровно десять? Не нужно лишний раз изумляться, отвечай на вопрос. Десять?

– Десять. Общая численность населения около сорока тысяч

человек. Собственно, это не станции, это целые города…

– И не надоело вертеться на орбите?

– Дело вкуса, – хмуро сказал Тор.

– Теперь поговорим о ракетах. Это ведь ракетные шахты неподалеку отсюда? С какой–нибудь серьезной начинкой, а? Теперь подумаем вслух. Имеется Луна, которая вскоре упадет на Землю. Имеется стартовая площадка для множества ракет с серьезной начинкой. Как это меж собой увязать? Не вытекает ли отсюда, что эти ракеты должны.быть направлены на Луну, чтобы перевести ее на безопасную орбиту?

На этот раз молчание длилось дольше. Наконец Тор с трудом выговорил:

– Не могу не признать, что голова у тебя работает…

– Да ерунда, – сказал Капитан. – Анализ информации и логика. А о проектах перевода Луны на другую орбиту таким вот образом в мое время писали популярные журналы для подростков. А теперь переходим к главному: почему ты, имея под рукой все средства предотвратить падение Луны, уверял, что падение неизбежно? – Он рванулся с постели, Тор от неожиданности шарахнулся, треснувшись затылком об стену: – Отвечать! Быстро! Почему?

– Потому что такого эксперимента никак нельзя было упускать, – сказал Тор быстро. – Падение Луны или ее проход на минимальном расстоянии от Земли, возможность наблюдать это своими глазами – да за это можно продать душу черту! Станции можно увести на безопасные орбиты, они могут отдаляться достаточно далеко. И мы решили…

– Ты хочешь сказать, что тебе было поручено отбросить Луну, а ты решил этого не делать? Ну и сволочь же ты, доцент, я тебе скажу…

– Бранные слова – это категория, для данного случая бессмысленная, – сказал Тор. – Речь идет о таком количестве бесценной информации, которое оправдывает все издержки.

– Люди тоже в издержках числятся?

– Господи, как вы не понимаете? – сказал Тор. Анастасия видела, что он не сердился – он совершенно искренне пытался объяснить тупице–собеседнику некую высшую истину, – Какие люди? Эти болваны, что поклоняются пяти звездам? Те идиоты, что копают бесконечный канал? Другие дикари? Да все они, вместе взятые, не стоят Эксперимента. Не смотрите на меня так. Я не выродок. Я ученый. Здесь, на станции, есть люди, разделяющие мои взгляды. Есть такие и там, – он задрал голову к потолку. – К тому же часть дикарей уцелеет. Луна, по расчетам, должна упасть в Индийский океан, пострадают только

прибрежные районы, в глубине континентов могут и сохраниться отдельные племена, хотя им, вправду, придется неуютно… Но наука получит бесценную информацию. Одно изучение гравитационных полей при взаимодействии…

– А голову тебе не оторвут потом?

– Как сказать… – кажется, ему даже понравилось говорить откровенно. – Есть еще один нюанс. После перевода Луны на другую орбиту замышлялось переселить наконец население станций на Землю. Но есть люди, которым это не Нравится. Что станется с нашим обществом, когда оно покинет свои компактные миры, которыми так легко управлять, безопасные миры, и очутится внизу, где столько соблазнов и дикарей? Для блага людей их лучше держать на орбите.

– Ах, во–от что еще… Ну, поздравляю. Не просто сволочь, а законченный козел. Ну, хватит. – Капитан присел перед ним на корточки. – Не вижу смысла продолжать диспут. Сейчас мы с тобой поедем на КП, поговорим с дежурной сменой и устроим красивый старт всех здешних игрушек. Усек?

– Вы с ума сошли! Это невозможно…

– Я не Таська, мне ты мозги не запудришь, – сказал Капитан с улыбкой. – Это она не знает, что такое баллистические с постоянной целью. Падение Луны ожидается через считанные недели, ты сам говорил. Ракеты размещены здесь исключительно для удара по ней. Значит, все рассчитано–просчитано на шесть ходов вперед, и давно, и пакеты соответствующих программ давно в компьютерах. Не столь уж сложные манипуляции потребуются, чтобы сыграть старт недельком раньше, такая вероятность не может не быть предусмотрена… Я предпочитаю думать о людях хорошо. Вряд ли у тебя, гада, столько подручных, чтобы захватить контроль буквально над всем. Я правильно излагаю?

Тор молчал – кажется, силился порвать веревки. Мускулы напряглись, лоб покрылся испариной.

– Все правильно, – удовлетворенно сказал Капитан. – Если я и ошибаюсь, то в мелких деталях – эк, как тебя корежит… А потому мы сейчас пойдем в бункер, и поговорим с народом.

– Никогда, – сказал Тор хрипло.

– Прямо сейчас. У меня нет времени будить твою сознательность, крепко дрыхнет. И читать мораль некогда. Поэтому расклад простой. Или ты все сделаешь, как миленький, или… – Он шепнул что–то Тору на ухо. – Или у вас медицина такая, что назад пришьет? Нет, дергаешься…

Анастасия видела, как страшно побледнел Тор, но ей ничуть не было его жаль.

– Да вы… – пролепетал Тор.

– А со сволочами так и надо. Встанем–ка на ножки… – Капитан поднял Тора и утвердил его на ногах. – И пойдем делать фейерверк. Согласия уже не спрашиваю – на морде написано, что тебе эти причиндалы дороги как память.

– Должен вас предупредить, – сказал Тор. – Там в самом деле есть люди, которые никогда не пойдут за мной. Но есть и такие, которые во всем со мной согласны. И они вооружены.

– Детали обсудим по дороге. Кстати, чем они могут быть вооружены, что у тебя там? – Капитан распахнул исковерканную дверцу, заглянул в шкафчик. – Довольно паршивый люгер, я–то думал, бластер какой–нибудь. Оно и понятно – к чему вам там, у себя, совершенствовать оружие? Постой пока у стеночки, как двоечник в углу… Он взял Анастасию за руку и вывел из спальни. Заглянул в глаза:

– Все поняла?

– Главное, – сказала Анастасия. – Я с тобой пойду.

– И по–русски вспомнив мать, рухнул капитан… Не смеши меня, Настенька, милая, я в тебе не сомневаюсь, но для такого боя ты совершенно не годишься. Абсолютно. Только помешаешь. Надо мне одному. Ну? Ты же рыцарь, ты же все понимаешь, так что не будем спорить, ладно?

В ней взвихрилось негодование, она собиралась было сердиться и спорить. Но посмотрела ему в глаза и опустила голову. Он был прав.

– Хорошо, – сказала она тихо.

– Умница, забери вот пистолет на всякий случай, пригодится. И если что, уходи в Китеж. Даже если… там, наверху, проведут следствие, вскроется все, ракеты все равно уйдут, а так они могут и не взлететь… Со своей пищалкой ты через защиту пройдешь. А лучше всего уходи сейчас.

– Нет, – сказала Анастасия, глядя ему в глаза.

– Ладно. Только не вмешивайся. Эх, времени нет, этот сукин кот расслабиться не должен… – Капитан притянул ее к себе, поцеловал, отстранил, заглянул в глаза. – Между прочим, меня зовут Алексей.

Анастасия стояла возле клумбы с яркими неизвестными цветами, меч снова был у нее на поясе. Она смотрела, как уходят к низкому серому куполу две фигурки. Та, что впереди – со связанными руками. Вот раскрылась выпуклая гнутая дверь, вот они исчезли внутри, и дверь захлопнулась за ними. Минуты ползли медленно, как облака в безветренный день.

Анастасия уже разуверилась полностью в существовании богов, но сейчас молилась – земле и ветру, огню и воде, молилась

истово, горячечно, чтобы все удалось, чтобы остался жив ее любимый, чтобы мир был спасен. То ли слухом, то ли сердцем она почуяла в тягостной тишине короткую –автоматную очередь. И еще одну. И выстрелы взразнобой. Потом все стихло, очень долго ползли нескончаемые минуты, всхрапывали за спиной кони, тянулись по небу белые облака.

И вдруг в спокойном воздухе, насыщенном ароматами неизвестных Анастасии цветов, загремел, уносясь к горизонту, железный, нечеловеческий голос:

– Стартовая готовность! Всем покинуть зону выхлопа! Отсчет! Восемнадцать, семнадцать, шестнадцать…

Как это понимать, победа это или конец всех надежд, Анастасия не знала. Не сводя глаз с купола, она завороженно слушала железный голос, называвший все меньшие, все меньшие числа, и завершившийся непонятным криком:

– Зеро!

И – загремело. Грохот раздался где–то внизу, в недрах земли, словно рвались из неволи к солнцу и свету неведомые исполины, грохот накатывался тяжелыми упругими волнами, наплывал, заливая все вокруг, и вот уже весь мир стал грохотом и громом, и это было настолько страшно, что Анастасия даже не могла испугаться – весь мир, включая ее, и так стал страхом. Она застыла, в лицо дунул порыв горячего ветра, и там, далеко впереди, в грохоте, в пульсирующем гуле, в растущих облаках тяжелого густого дыма поднялись над землей черные высокие башни. Они взлетали все выше и выше, оставляя за собой широкие, белые, пушистые полосы – словно диковинный лес деревьев–великанов вдруг умчался в небеса волоча за собой свои хрупкие корни.

Слезы катились по щекам Анастасии. А башни взмывали все выше и выше, белые полосы становились бесконечно длинными, словно кто–то великанскими стежками сшивал небо и землю, соединяя их в одно, вот уже совсем не видно башен, не разглядеть, вот и грохот стих, неисчислимые белые полосы все тоньше и тоньше, и Анастасия поняла, что это – победа, что мир остался тем же, но никогда уже не будет прежним.

В тишине, показавшейся сначала похожей на гром, Анастасия услышала, как за ее спиной бьются и храпят кони. Но не бросилась к ним. Вся обратилась в слух. Кажется, в куполе вновь стреляли. Да, никаких сомнений.

Она ничего еще не знала точно, но верила, что они победили. А потому не столь уж бесполезным было теперь ее стремление вмешаться в бой. Потому что бой сплошь и рядом не кончается после победы.

С непросохшими на щеках слезами, с мечом в руке, с яростной надеждой в сердце она решительно шла к куполу. – Анастасия…

1989

Господа альбатросы

1

— Сплошные герои, верно?

— Они были невообразимо смелые, — сказала

Френсис и судорожно сжала доску стола.

А. Мердок

Полковник аэрологии Панарин, славный альбатрос, перевернулся на левый бок в высокой траве, сорвали отбросил колючий стебелек, неприятно щекотавший локоть. Лениво перевел взгляд на плакаты, давно пережившие события, в честь коих были вывешены, плакаты — битые и трепанные ветром, дождем, снегом, временем, пьяными художествами. Красный кумач выцвел и прохудился, от белых букв кое–где остались лишь бледные контуры.

«К юбилею Ломоносова проложим дорогу к Ведьминой Гати!»

А за Михаилу свет Васильича давным–давно опорожнили грузовик вермута, и к Ведьминой Гати летали уже без особой опаски.

«Освоим «Сарычи» в срок!»

Это было водружено в те времена, когда пытливая конструкторская мысль шагнула вперед, и на подмогу винтовикам пригнали эскадрилью скоростных и вертких реактивных самолетов «Сарыч». Их давно освоили — настолько, что летали на них за пивом на «материк», приземлялись прямо возле сельских магазинчиков, распугивая собак и снося выхлопами плетни.

«Достойно отметим десятилетие руководяще–научной деятельности тов. Алиханова!»

А меж тем тов. Алиханова давненько турнули за скучное головотяпство и незнание таблицы умножения, и возглавлял он теперь то ли прачечную, то ли периферийное общество шиншилловодов–любителей. Но что–то возглавлял, это точно.

И огромный портрет Президента Всей Науки с его бессмертным высказыванием касаемо эпохи невыразимо развитой науки тоже потерпел от времени и заброшенности, так что добрый дедушка Президент, лауреат, кавалер, мыслитель и гурман, напоминал на означенном плакате то ли монстра из фильма ужасов, то ли обиженного ребенка, у которого отобрали любимого плюшевого медведиха.

Словом, похабень красовалась, а не наглядная агитация, призванная отразить и мобилизовать. Но навести порядок никак не могли, руки не доходили — завхоз Балабашкин с точностью

гринвичского хронометра ушел в очередной запой, и до выхода осталась ровно неделя, а там следовала короткая передышка, и снова уход.

Панарин перевернулся на живот, подпер щеки кулаками и стал смотреть вниз, на Поселок, град науки аэрологии. Отсюда, сверху, с холма град выглядел просто великолепно — паутина взлетно–посадочных дорожек, треугольное здание Главной Диспетчерской, утыканное радарами и стеклянными башенками, красивые административные корпуса, высоченная статуя Изобретателя Колеса, жилой городок из двух сотен коттеджей и десятка двенадцатиэтажек (для особо стойких урбанистов), аккуратные мастерские и здания лабораторий, три ряда огромных ангаров под рифлеными крышами, разноцветные клумбы и кипарисовые деревья. Одним словом, равняется трем Люксембургам, Манхэттену и Голштинии минус Монако.

Панарин был слишком молод для того, чтобы застать Начало — времена, когда здесь стояли деревянные бараки, а в полеты над Страной Чудес уходили такие умилительные ныне на желтых фотографиях бипланы с уймой распорок и тяжей. Однако он помнил Середину — пору, когда половины нынешнего благолепного размаха не было и в помине. А это уже позволяло считать себя старожилом.

Он вздохнул, поднялся. Там, внизу, белый с красными крыльями «Сарыч» оторвался от серых квадратов бетонки, прощально качнул крыльями и помчался на северо–восток, туда, где за синей гребенкой гор раскинулся Вундерланд Страна Чудес. Отсюда нельзя было рассмотреть бортовых номеров, но Панарин и так знал, что это кто–то из желторотых — среди стариков дурным тоном считались разного рода прощальные жесты. Суеверны были старики, видавшие виды офицеры аэрологии с посеребренными альбатросами на воротниках, суеверны были Господа Альбатросы — то ли от нешуточных опасностей работы, то ли от превратившегося в стойкие традиции былого профессионального кокетства.

Панарин отряхнул ладонями приставшие к комбинезону травинки и пошел вниз, к полосе. Бар еще не открылся, аттракционы осточертели, а все фильмы он уже пересмотрел. Наступал очередной прилив хандры, когда хочется бросить все к черту, обсволочить начальство всех рангов, сесть в машину и на предельной скорости гнать на «материк». Такое случается с Господами Альбатросами. Чаще, чем хотелось бы. Но в Главном Управлении Аэрологии никогда не подписывают заявления об уходе сразу, предлагают под благовидными предлогами заглянуть через недельку. А за эти дни человек быстро поймет, что по

сравнению с трагикомическим бардаком «материка» Поселок, как ни крути, остается оазисом чего–то большого и важного, что, обретая огромный мир с коловращением людей и машин, уймой сговорчивых девушек в легких платьях, шикарными кабаками и необременительным сидением за большие деньги в какой–нибудь конторе по согласованию проектов вечных двигателей, ты навсегда теряешь Страну Чудес, Вундерланд, никогда уже больше не пролетишь над смертельно опасными и прекрасными краями…

Панарин плюхнулся в траву у самой взлетной полосы, стал рассеянно созерцать облака, пухло и глупо клубившиеся над Поселком. Звонко застучали легкие шаги, и он равнодушно поднял голову. По самой кромке бетонки шагала со своей неразлучной камерой Клементина, в белых брючках и форменной синей рубашке с серебряными альбатросами на воротнике, очень красивая и очень милая Клементина, ничем еще себя в кинематографии не проявившая. «Подарил уже кто–то рубашечку–то, — вяло констатировал Панарин, — зашевелились уже вокруг кисы, стервецы, подвергая испытанию ее моральную устойчивость». Знал он своих гавриков, да и что уж такого, господа Альбатросы, противоестественного в том, что при виде кисы шалеют орлы?

— Здравствуйте, полковник, — сказала Клементина.

— Здравствуйте, — сказал Панарин. — Вы садитесь. Тут не пыльно.

Она присела на бетонный бордюрчик, подтянула колени к подбородку и стала смотреть в ту сторону, куда улетали самолеты. Светлые волосы, голубые глазищи, новенький диплом, фигурка — обалдеть. И все такое прочее. «Р–романтика, — с ленивым раздражением подумал Панарин, губами вытягивая из пачки сигарету. — Мать вашу! И кто только первый эту Р–романтику выдумал, кто ею стал дурить головы таким вот кисам Клементинам?»

Звонко щелкнуло, треск разнесся над полем — включились динамики Главной Диспетчерской, и бархатный баритон Брюса возгласил:

— Передаем сводку Центра. Погода прекрасная и летная. В рейде восемь самолетов россыпью и звено из четырех. Тарантул ожидается с «материка» со дня на день, а то и сегодня. (Что–то явственно булькнуло.) Планерка завсекторов и командиров эскадрилий — в шестнадцать сорок. Лицо, натянувшее резиновое изделие на голову казенному коту Магомету, предупреждают, что означенное лицо, точнее, означенная харя почти выслежена местным комитетом, и лучше бы ему добровольно повиниться. Ремонтникам девятого цеха объявлен выговор за срыв месячного

плана.

Засим динамики взорвались меланхоличным гитарным перебором, и Сенечка Босый затянул:

Ах, гостиница моя, ах, гостиница,

на диван присяду я, а ты подвинешься…

Слышно было, как с чмокающим хлопком выдергивает пробку штопор, и горлышко звенит о края стаканов.

— Ну как так можно? — не оборачиваясь, спросила Клементина.

— А где Тарантул ангелов возьмет? — лениво бросил Панарин, разглядывая ее спину.

— Я так не могу, — пожаловалась Клементина. — Ну не могу, и все. Нас учили так, а тут… Конечно, можно слепить стандартный фильм на закваске из застарелых штампов, но я так не могу, совести не хватает. Однако ж реальность… Понимаете, по всем канонам вы должны пить только лимонад, в крайнем случае, чешское пиво, по вечерам играть в белых костюмах в теннис и выражаться романтически. А вы…

— А вы привыкайте, — сказал Панарин. — Важен результат. Важна цель. Важна истина. А кто ее предоставит? И пил ли он спирт, и бегал ли он по шлюхам — это нисколечко не интересует научную общественность, международные журналы и тех доцентов, что получают докторов, обрабатывая наши материалы. И саму Науку наш моральный облик ни в коей степени не интересует. Главное, мы даем Истину.

Наискосок к диспетчерской через летное поле шагал Никитич, майор аэрологии, славный альбатрос с двадцатилетним стажем и без единого диплома. Изо всех карманов у него торчали горлышки темного стекла, путь его был прихотливо зигзагообразен, для собственного удовольствия и услаждения окружающих он хриплым дурноматом орал песню про то, как однажды юная принцесса встретила в саду не имевшего твердых моральных устоев пирата, и как сие рандеву протекало. Песня, в общем, была сложена не самым плохим бардом, но половина употреблявшихся в ней словес и не ночевала в учебниках хороших манер.

— Ну вот, — жалобно сказала Клементина. Уши у нее горели.

Панарин хмыкнул. Не было смысла рассказывать ей, что вышедший из запоя Никитич будет сутками болтаться над Страной Чудес. Пусть сама постепенно проникнется, если сможет…

— Сколько за эту неделю вам сделали непристойных предложений? поинтересовался Панарин.

— Штук двадцать, — сердито повернулась к нему

Клементина.

— Ничего страшного. В пределах средней нормы.

— Издеваетесь?

— Ничуточки, — сказал Панарин. — Констатирую. Я всю жизнь мечтал познакомиться с девушкой по имени Клементина. Моя дорогая Клементина. Есть старый вестерн с таким названием, видели? Прекрасное имя, в нем трепетный шелест старинной романтики…

— И вы туда же?

— Глупости, — сказал Панарин. — Никогда не ощущал: тяги соблазнять юных и неопытных кинорежиссеров. Даже по имени Клементина. Просто мне интересно, совратят вас здесь в конце концов, или нет. Как считаете?

Клементина возмущенно отвернулась.

В динамиках жалобно блямкнули струны, и все другие звуки перекрыл мощный рев, он плыл над поселком тяжелыми волнами, затопляя небо, сто раз слышанный, но не ставший от этого привычным, он вообще не мог стать привычным, потому что нес беды и смерть, по высшей справедливости он никогда не должен был звучать, и то, что он клекочуще завывал над полем, свидетельствовало — высшей справедливости нет…

Слева взревели моторы, завопили сирены. Панарин вскочил, побежал туда. Мысли, как всегда, замыкались на одном вопросе: кто на сей раз, Господи Боже, святые Альберт, Михаил и Энрико?

Несущаяся ему навстречу громадная пожарная машина притормозила на миг, Панарин прыгнул на подножку, уцепился левой рукой за кронштейн зеркальца, правой за ручку, и звероподобный красный «Посейдон» с ревом помчался дальше. Ветер бил в лицо тугой резиновой струей, выжимая из глаз слезы. Справа, чуть впереди, неслась «скорая», слева — грузовик Отдела Безопасности, набитый геройски выпятившими подбородки охранниками, а следом — еще два «Посейдона», джип дозиметристов, два серо–голубых фургончика Лаборатории Встречи Случайностей, «тойота» технической инспекции, «газик» биологической защиты, и все машины этой печальной кавалькады завывали всякая на свой лад, пока не остановились, вытянувшись в неровную шеренгу.

Винтовой «Кончар» упал из прозрачного голубого неба, и, вихляя, то резким рывком проваливаясь вниз, то задирая нос кверху, шел к полосе. Мотор захлебывался, взревывал, замолкал, винт из сверкающего диска превращался в три замерших лопасти, потом снова становился диском…

Он тяжело плюхнулся на бетонку, пробежал метров сорок, рыская вправо–влево, потом замер. Раздалась команда — и все

пришло в движение. Безопасники горохом посыпались из кузова, оцепляя предписанное инструкцией пространство, трое в мешковатых серебристых скафандрах побежали к самолету, выставив перед грудью приборы. Через несколько секунд один из них махнул рукой, и туда бросились все.

Крылья самолета походили на листья, трудолюбиво прогрызенные изголодавшейся гусеницей. Сквозь дыры в капоте видны детали мотора, сквозь дыры в фюзеляже — тяги рулевого управления. От фонаря и элеронов вообще ничего не осталось, и непонятно, как они вообще дотянули, как ухитрились сесть.

Из кабины уже вытаскивали Славичека, ватной куклой мотавшегося в руках спасателей. Положив его на носилки, задвинули их в машину. Спасатели вытаскивали Бонера. Кто–то оступился, кто–то не подхватил вовремя — тело в голубом комбинезоне выскользнуло из рук и рассыпалось облачком бурой трухи. Спасатели видели и не такое, поэтому замешательства не возникло кран опустил сверху прозрачный колпак, автогенщики быстро и ловко приварили его к полосе.

Панарин медленно повернулся и побрел прочь, не взглянув на обогнавшую его завывающую «скорую». Это только в первые годы хочется то ли кричать, то ли немедленно бежать куда–то и делать что–то бессмысленное. Потом… Нет, потом ты не черствеешь душой и не ожесточаешься. Просто свыкаешься с мыслью, что существует Неизбежное, и ничего не изменят беготня, слезы и крики; что эта Неизбежность — составная часть твоей работы, ее проклятый компонент. А вот Р–романтики нет и в помине. «Р–романтика, — зло подумал он. — Моя дорогая Клементина. И ведь завтра обязательно нагрянет комиссия…»

Флаги над зданием Главной Диспетчерской были оперативно приспущены — и голубой штандарт ООН с бельм земным шариком, и светло–лазоревый стяг Поселка с золотым альбатросом, и другие–прочие знамена, которым там висеть полагалось. Динамики извергали в теплый прозрачный воздух «Прощание славянки». Редкая, печальная, но отнюдь не уникальная страница будней Поселка была перевернута. Снова предстояло долго и нудно отстаивать одно, мучительно докапываться до другого, пытаться предугадать третье и остерегаться четвертого, о котором пока ровным счетом ничего не известно. И все такое прочее. Предстояла жизнь.

— Эй, Тим! — хрипло заорали сзади.

Панарин узнал голос и недовольно остановился. К нему торопился Шалыган — долговязый, с растрепанными седыми патлами, во всегдашнем драном сером сюртуке, снятом явно с пугала огородного.

Многие его уважали, многие боялись, многие не любили, и никто ничего о нем толком не знал. Похоже, он достался Поселку в наследство от того времени, предшествовавшего Началу, от времени, живых свидетелей которому не осталось (болтали, что и Президент Всей Науки этого времени не застал, хотя считался основателем всего сущего). Казалось, Шалыган был всегда, как эти синие горы на горизонте, как снег зимой и жара летом, как вечно пьяный во все времена года завхоз Балабашкин и вечно трезвый предместкома Тютюнин. Столовался Шалыган при поселковой кухне, куда приходил с кастрюльками, спирт добывал у механиков, отчего–то крепко его уважавших, от новой квартиры отказывался, от новой одежды тоже, жил в своей неописуемой хибарке, нелепым грибом торчавшей на окраине, у самого леса, и почему–то даже самые ярые ревнители инструкций и параграфов на заикались о том, чтобы эту халабуду снести, хотя ее существование противоречило и воспрещалось всеми писаными уставами. Бог его знает, чем Шалыган в своей лачуге занимался — за все время, что Панарин прожил в Поселке, не было человека, которому удалось бы туда заглянуть.

Болтали, разумеется, всякое. Что Шалыган — сам Агасфер, в силу необъяснимых пока наукой причин перешедший на оседлый образ жизни. Что он то ли последний уцелевший друид, то ли гуру из Непала. Якобы он дал кому–то приворотное зелье, а кому–то — предохраняющий от опасностей Вундерланда амулет. Как бы там ни было, примерно раз в месяц он, отряхнув ради такого случая свой лапсердак от наиболее крупных репьев, являлся в дирекцию и высказывая свои соображения по поводу некоторых маршрутов и методов поиска. По традиции, сохранявшейся Бог знает с каких времен, его внимательно выслушивали и следовали советам. Одни его предсказания не сбывались, другие помогали сберечь время, труды, средства, человеческие жизни, и процент сбывшихся предсказаний был таков, что местные математики заверяли: случайным совпадением это не объяснить. Лет пятнадцать назад только что ставший директором Тарантул хотел зачислить Шалыгана в штат, положить высокий оклад и дать лабораторию. Шалыган последовательно отклонил все три пункта тарантуловой программы и остался на прежнем месте в прежнем статусе.

— Ну, что? — спросил Панарин неприветливо.

Одно время он по молодой дерзости пытался проникнуть в тайны Шалыгана, но неудачно, как все его предшественники. Не то чтобы он с тех пор невзлюбил старика — просто тот вызывал у него раздражение, как всякая неразгаданная загадка.

Шалыган, похоже, и не собирался ничего говорить — стоял

столбом и подбрасывал на ладони кусочек оплавленного металла.

— Ну? — повторил Панарин.

— Наука умеет много гитик, — сказал Шалыган. — Временами она даже набирается храбрости и громогласно признает прежние успехи ошибками, а прежние истины бредом собачьим. И все начинается заново.

— Секрет полишинеля, — сказал Панарин. — И это все?

— Ну что вы, мон колонель, — Шалыган, похоже, настраивался на долгую беседу. — Разговор–то у нас не о прописных истинах. Вам не приходило в голову, что нынешняя наука лишена одного очень важного качества — умения вовремя отступать при необходимости и выбирать новые пути? Возможно, обладай она таковым качеством, многие остались бы живы, а мир стал бы чуточку совершеннее. Но вы ломитесь, не разбирая дороги, мон повр анфан, мон повр колонель… Вы считаете крупным достижением, когда вам удается проложить над Вундерландом еще один безопасный маршрут. И забываете, скольких для этого пришлось положить под увенчанные пропеллерами холмики. И скольких пришлось увезти в психиатричку или антиалкогольные клиники. И сколько их мчалось на «материк», чтобы никогда больше не вернуться…

— Это тоже прописные истины, — сказал Панарин. — Только более юные и незахватанные.

— Я к одному веду, — неожиданно мирно потянулся Шалыган. — В Поселке масса отделов, которые занимаются открытиями, но ни одного нет, занимавшегося бы закрытием.

— Как при Трофиме с Исааком, что ли?

— Нет, Тим, вы не поняли. Я говорю о создании специальной научной дисциплины, которой вменялось бы в обязанность экстраполировать, обобщать, анализировать деятельность всех прочих областей и дисциплин. Обрубать опасные направления, консервировать преждевременные, предвосхищать появление новых наук или неожиданное слияние старых. Быть, кроме того, чем–то вроде «адвоката дьявола», неутомимо бдящей оппозиции.

— Это был бы адский труд — создать такую науку, — сказал Панарин.

— Но ведь наука всегда была адским трудом. Молчите? То–то. Пока что все сведено к одному — летать и исследовать, исследовать и летать. Может быть, смысл жизни не только в этом. Кто знает, наберись вы смелости завести этого «адвоката дьявола», вдруг да на вашу долю пришлось бы меньше работы по выметанию из кабин бурой трухи, и меньше бы вы кляли романтику во всех ее проявлениях, чем вы сейчас и заняты…

— Откуда вы…

Панарин осекся — из–под седых вихров на него смотрели бездонные глаза бродячего дервиша, в которых можно усмотреть что угодно — ласку, ненависть, гнев, любовь, презрение — и все же нельзя утверждать, будто удалось правильно истолковать увиденное.

— Кстати, почему с самого начала исследования Страны Чудес велись только с самолетов? — спросил Шалыган. — Почему никто и не пытался вести работы с машин? Верхом на верблюде? Просто пройти пешком, проплыть по Реке? Кто первый сказал, что земля Вундерланда убивает, если к ней прикоснуться, и кто это доказал на практике? Вы никогда не задавались этими вопросами, Тим, верно? Кабина самолета и штурвал для вас так же естественны, как солнце над головой — потому что ничего другого вы и не знаете. Нет Бога, кроме аэрологии, и самолеты — пророки ее…

— Вы… Я… — сказал растерянно Панарин.

— Бросьте. — Голос Шалыгана был неожиданно властным. — Ну да, вы уже готовы задуматься, бежать, драться и открывать Америки. Только через минуту вы задумаетесь о своей репутации, через две — о моем сумасшествии, через три — трезво взвесите мои слова и разобьете их с помощью богатого багажа цитат и теорий, коими вас вооружили и научили пользоваться. Ни на что вы не решитесь и ни до чего не додумаетесь, пока вас не прихватит всерьез — вот в чем беда вашего поколения, милый мальчик…

Внезапно Панарин схватил его за правую руку и резко вздернул рукав ветхого сюртука. Нет. Ничего. Ошибка. Никакой татуировки–альбатроса, которую носят все пилоты чуть повыше запястья. Все правильно, смятенно и зло подумал Панарин — чокнутый, и все тут…

Он разжал пальцы и торопливо пошел прочь. Дребезжащий хохоток ударил ему в лопатки. Притихшие было динамики снова грянули во всю ивановскую:

Выходили из избы
здоровенные жлобы,
порубили все дубы
на гробы…

Панарин размашисто шагал, отбрасывая носком ботинка редкие камешки. Клементина стояла на прежнем месте, и лицо у нее было именно такое, как ему представлялось.

— Бросьте, — сказал он, остановившись. — Не пытайтесь состроить соответствующее лицо. Вас это задело, понятно, и кинуло в извечную бабью жалость, но вы ничего не понимаете, потому что никогда не работали здесь. По этой же причине

постарайтесь обойтись без устных соболезнований — они ничему не помогут и никого не вернут. Пойдемте лучше со мной, обещаю редкий кадр. Вы ведь никогда не видели остановившегося метронома?

— Как вы можете?

— Могу, — сказал Панарин. — Могу быть циником именно потому, что завтра это может случиться и со мной, я ведь не из кабинета командую. Ну, идете?

Клементина заспешила за ним, пытаясь приноровиться к его похоже. Привалившись спиной к штакетнику, под очередным плакатом с изображением Президента Всей Науки и очередным историческим изречением на земле сидел вдрызг пьяный Никитич, и на его лице читалось полное довольство жизнью прошлой, настоящей, будущей и загробной. Над ним нерешительно топтался юный сержантик–безопасник — новый, сразу видно, не успевший вызубрить все писаные и неписаные правила.

— Забирайте, чего там, — приостановившись, бросил ему Панарин. — Он свою норму вылакал. В трезвяк, денька два погоняйте с метлой, потом ко мне на проработку. Как обычно.

— Служу Науке! — обрадованно рявкнул, сержантик, поднял Никитича, закинул его руку себе на шею и поволок к вытрезвителю. Никитич покорно волочился за ним, временами называл его Анечкой и пытался лапать, что сержантик стоически переносил.

Панарин и Клементина вошли в коттедж. Голубой метроном, украшенный золотым альбатросом, стоял на письменном столе. Его стрелка замерла, отклонившись вправо.

— Вот, — сказал Панарин. — Та же штука, что у каждого из нас. Только не спрашивайте, откуда эти штуки взялись — они были всегда, говорят, есть свой и у Президента. Почему метроном останавливается, когда умирает его хозяин, мы сами не знаем и никто не знает…

Он огляделся, нашел подходящую спортивную сумку и принялся методично вытряхивать туда содержимое ящиков письменного стола. Сорвал со стены и отправил туда же фотографию Карен, разные мелкие безделушки и письма, имевшие ценность лишь для самого Бонера. Набил сумку доверху, с трудом застегнул. Сел за стол и, глядя в оклеенную пестрыми обоями стену, негромко сказал самому себе:

— Как же я ей напишу? Ведь писать–то мне положено…

2

Я злюсь, как идол металлический
среди фарфоровых игрушек…

Н.Гумилев

Слева от стойки был установлен огромный цветной телевизор и вытянулась шеренга пестро раскрашенных японских игральных автоматов. Автоматы давно поломали по пьяному делу, а единственный уцелевший перепрограммировали на крайне интеллектуальную игру; «Кто поймает больше шлюх» (с соответствующим видеорядом). Телевизор, однако, пока держался и сейчас показывал нечто порнографическое — и местные золоторукие механики давно собрали из каменных материалов супер антенну, ловившую и Гонконг, и Лос–Анжелес, да вдобавок оснастили ее электронной системой защиты, отшвыривавшей разрядом предместкома Тютюнина, не раз покушавшегося антенну изничтожить.

Панарин пропустил вперед Клементину, огляделся. Его персональный столик был свободен — как и тот, за которым обычно сидели Бонер со Славичеком. Там стояла полная рюмка — одна, потому что Славичек имел еще шансы выкарабкаться. От входа бросался в глаза портрет над столиком — правый верхний угол перечеркнут ало–черной ленточкой. И букетик анютиных глазок возле. Бонер на портрете улыбался во весь рот — частенько случается, что перероешь все оставшиеся после человека фотографии, да так и не найдешь хотя бы одну, где он грустен или серьезен, бывают такие люди…

Вокруг все шло в обычном ритме и накале. Осмоловский уже вертел головой, выискивая, кому бы дать в морду. Большой Микола и Сенечка Босый продолжали перпетуум–диспут о том, существуют ли привидения, или все это опиум для народа, и загвоздка была в одном — на этой стадии они обычно забывали о логике, и аргументами становились изречения из тех, какие обычно пишут на заборах. Грешная красотка Зоечка, доведя амплитуду колебаний бедер до пика, порхала с подносом по залу, а у бассейна четверо из второй эскадрильи резались в покер на сегодняшнюю ночку с ней. Коля Крымов героически боролся с желанием сползти под стол, штурман Чекрыгин прижал в углу лаборантку, в другом занимались более интеллектуальной забавой — трое распевали под баян на мотив танго «Маленька Манон» отрывки из последней речи Президента Всей Науки. Гремела музыка, цветные блики мельтешили по лицам и стенам, страдальчески прихлебывал боржом предместкома Тютюнин, скучный человек с восьмилеткой и двумя курсами ветеринарного техникума.

— Вы, главное, смотрите, Клементина, — говорил Панарин. — Сидите и смотрите на них, потому что завтра кого–то из них можете уже не увидеть… Смотрите. Потому что они — это и

синтетик ваших, пардон, колготок, и начинка ваших часиков, и многое, многое другое, чего никогда не было бы, не порхай они над Вундерландом. Они сделают кого–то академиком, помогут двинуть вперед какую–нибудь там эвристику или просто помогут зачеркнуть парочку строк в списке загадок природы. Но это завтра, а пока — пляшет сердце поза ребрами гопака…

Клементина спросила:

— А вам никогда не приходило в голову, Альбатрос, что когда–нибудь ничего подобного не будет?

— Господи, ну конечно! — захохотал Панарин. — Будет благолепие, бары с коктейлями из мороженого и соков, все наизусть знают Сенеку, и никаких шлюх, никаких вытрезвителей. Ей–Богу, я ничего не имею против такого будущего, чистенького и абстинентного. Но пока есть только они, — он широким пьяноватым жестом обвел зал. — И никак вы нас не переделаете, судари мои! Пробовали–с — и Босого лечить от алкоголизма в лучших клиниках «материка», и Крымова трипперологи пользовали, но — «тщетны были бы все усилья»… И все такое прочее. Но где, милая моя Клементина, лапочка, вы найдете трезвенника высокоморального, который заменит нас? Может быть, этот хомо трезвус высокоморалис будет работать гораздо хуже старины Никитича, а? Так к чему рисковать и экспериментировать с абстинентами, если мы и так пашем, как черти? Мы здесь все фанатики и ломовые лошади науки, так что извольте, черт побери, закрывать глаза на наши слабости. Не хотите пить с нами и спать с нами? Никто не неволит. Только не воротите от нас нос…

— Ого! — сказала Клементина, щурясь. — Это что, манифест? Программа?

— Вот именно, — сказал Панарин. — Именно, что касается…

Он замолчал — прямиком к их столику шагал Леня Шамбор, и на лбу у него краснела полоса, след от шлема.

— Садись, — сказал Панарин. — Слышал уже?

— Ну да. — Леня обеими руками пригладил волосы. — Налей. Ну, пусть его в Валгалле зачислят в авиаторы…

— А если там нет самолетов? — тихо и серьезно спросила Клементина.

— Не в том дело, — Леня осушил второй стакан. — Валгалла, Гефсиман, Елисейские поля — лажа все это. Для нас должно существовать какое–то особое место, киса. Не рай, потому что мы не годимся в ангелы. Не ад, потому что мы не заслужили все же котлов со смолой. Просто место, где мы будем заниматься тем же делом, но там не будет катастроф, тупоумных начальников, дикого пьянства, извечной нашей расхлябанности и похмельных

смертей на заре. Но это будет именно потусторонний мир, потому что на земле нам такого никто не преподнесет на блюдечке, а сами мы мир уже не перевернем, нас, увы, он устраивает именно таким…

Он отставил стакан и в который уж раз пригладил волосы.

— Чего ты лохматишься? — Панарин наклонился к нему. — И что–то на философию тебя потянуло, что с тобой редко бывает… Что случилось?

— «Попрыгунчики» накрыли на восемнадцатой трассе — проверенной, излетанной, тривиальной. Едва ушли. Значит, все к черту, все сначала…

— В Господа Бога мать… — зло выдохнул Панарин.

— Это бывает, — громко говорил Клементине Леня. — Очень даже запросто, киса моя с великолепными коленками. Привыкли, облетали, успокоились, и тут как е… э–э, треснет! И предстоит начинать все сначала. Тим, ты слышал, что к нам перебрасывают истребители? Будем теперь мотаться туда под вооруженной защитой…

— Не нравится мне это.

— А почему? «Фронт науки», «на переднем крае исследований», «битва за полипропилен» — зря, что ли, так талдычат? Вот тебе и логическое завершение — истребители над Вундерландом.

— Не нравится мне все это.

— И тем не менее, все это логично, Тим. Мы же все носим форму, у нас же пистолеты, чтобы было чем пробиваться назад, если потеряешь машину над Вундерландом. Правда, еще никто из потерявших машину не вернулся пеш, не вернулся вообще, но ведь таскаем шпалеры? Когда это наши предки ходили на медведя без рогатины? — он взмыл со стула, здоровенный, загорелый и обаятельный, любимец молодых поварих и ученых Дам средних лет. — А ля гер ком а ля гер! Даже Президенту недавно вручили золотой шпалер с бриллиантовым ликом Кеплера…

Шабаш разгорался. Осмоловский был счастлив — он прижал к стене предместкома Тютюнина и бил его по шее. Кто–то уже колотил кулаками по столу, доказывая (как каждый вечер на протяжении последних пяти лет), что завтра обязательно смотается навсегда на «материк», кто–то бросил Зоечке за шиворот льдинку из коктейля, кто–то кричал из–под стола совой, визжали лаборантки, все было как встарь, как всегда…

— Кончаем, — сказал Панарин. — Пора.

Леня кивнул, кошкой метнулся к установке, и музыка замолчала. Панарин, смахивая ногами бокалы, взобрался на стол,

достал пистолет и стал стрелять в потолок. Леня тащил к нему микрофон на длинном шнуре, кутерьма помаленьку стихала.

— Хватит! — заорал Панарин в микрофон так, словно надеялся докричаться до Марса. — Вы что, забыли? Тризна!

Несколько секунд стояла тишина. Потом завопили:

— Тризна! Тризна!

Люди хлынули на улицу, толкаясь, застревая в дверях. Зазвенело стекло кто–то высадил креслом окно, и в него стали выпрыгивать. Панарин слез со стола, ухватил Клементину за руку и поволок к двери. Клементина отчаянно отбивалась.

— Дура! — заорал Панарин ей в лицо. — Мы же на Тризну! Вот тебе еще один уникальный кадр, будет чем хвастать в столичных кабаках!

Кажется, ничего она не поняла, но упираться перестала. Панарин вытащил ее на улицу — там рычали моторы, хлестали, перекрещиваясь, лучи фар, по площади, вокруг статуи Изобретателя Колеса, крутились машины. Изобретатель, дюжий мужик в набедренной повязке из шкуры, прижимал к боку грубо сделанное колесо и хмуро смотрел сверху на все это.

— Тим!

К ним подкатил джип с погашенными фарами, за рулем сидел Леня Шамбор видимо, он прыгнул в окно и опередил. Панарин толкнул Клементину на сиденье и прыгнул следом, Леня зажег фары и, бешено сигналя, помчался с площади. Следом, вразнобой голося клаксонами, неслось что есть мочи десятка три машин. Была сумасшедшая гонка по великолепной автостраде, потом по бездорожью, колеса вздымали косые полотнища песка, рядом с Панариным плакала ничего не понимавшая Клементина, Леня, матерясь, виртуозно швырял джип вправо–влево, выбирая места поровнее, в лицо бил сырой ночной воздух, их подбрасывало на сиденьях, мотало, как кукол, кровавой хлопушкой взорвался под колесом оплошавший заяц, и это напоминало ад.

А потом стало тихо. Машины выстроились в ряд на краю пологого откоса, направив лучи света вниз, туда, где на равнине тускло поблескивали глубоко всаженные в землю пропеллеры — двух-, трех–и четырехлопастные, старомодные и поновее, облупившиеся, проржавевшие и блестящие. Неизвестно, сколько всего их насчитывалось — длинные ряды уходили в темноту, куда не достигал свет. И там, внизу, зияла квадратная яма с кучей свежей земля рядом. Лучи двух прожекторов скрестились на ней.

Прижав локтем к боку продолговатую урну, Панарин стал спускаться. Слева, держась обеими руками за его локоть, тащилась всхлипывающая Клементина. Справа нес сумку с

вещами Бонера Леня Шамбор.

«Его даже не нужно было сжигать, — вдруг подумал Панарин, — просто собрали в урну эту бурую пыль, оставив горсть для лабораторных исследований…»

Когда подтянулись последние и выстроились полукругом за его спиной, Панарин вытянул руки над ямой.

— Где бы ты ни был, там летают, — сказал он.

— Где бы ты ни был, там летают, — вразнобой повторила сотня голосов.

Панарин развел ладони, урна глухо упала на дно. Леня бросил в могилу сумку, Панарин протянул руку назад, на ощупь принял из чьей–то ладони белого голубя и, зажав двумя пальцами его голову, дернул. Струйка крови брызнула в яму. Птичье тельце слабо забилось, ворохнулось и замерло. Панарин бросил голубя в яму, вытер песком кровь с рук и отошел.

Загремели выстрелы, мигнули прожекторы, из черного неба им на головы стал падать воющий рев. Самолет с зажженными бортовыми огнями вышел из пике так низко, что людей шатнуло воздушной волной. Гул мотора утих вдали.

Заработали заступы. Двое техников волокли трехлопастный пропеллер. «Семерка» по–прежнему стояла под предохранительным колпаком, и ее пропеллер оставался при ней, но это не имело значения — три четверти могил были чисто символическими, кенотафами были, потому что те самолеты не вернулись, и никто никогда больше не видел ни их, ни их пилотов…

Вновь захлопали выстрелы, зазвучали нечленораздельные вопли, с трех сторон заиграли баяны — «Раскинулось море широко», полонез Огинского и еще что–то печальное, забренчали гитары, по рукам пошли бутылки, стоял галдеж, гомон и песни, метались лучи прожекторов, и Панарин не сразу сообразил, что стоящая с ним рядом Клементина что–то кричит ему и остальным:

— Дураки! Вам же страшно! Вы сами себе надоели и сами себя хороните, а не его!

Она была прекрасна, даже в истерике. Панарин обхватил ее, и она прижалась, уткнулась, плача во весь голос, горьковатый аромат духов щекотал ноздри, и Панарин, славный альбатрос, вдруг с удивившим его отчаянием подумал: если Клементина не будет его, он сойдет с ума…

3

Я обязуюсь никогда не раскаиваться, кроме
тех случаев, когда раскаяние может настроить
меня на дальнейшие подвиги.

М.Брэгг

Панарин с натугой открыл глаза. Комната была насквозь незнакомая, он валялся на диване, одетый, только без ботинок, рядом с диваном стояло кресло, а в кресле сидела облаченная в пушистый халатик Клементина и задумчиво разглядывала Панарина. За окном стояло утро.

— Это как я сюда? — тоскливо спросил он.

Клементина грустно покачала головой.

— Я тебя не обижал? — на всякий случай поинтересовался Панарин. — Нет, правда, как я сюда?

— Когда приехали, вы снова пошли в кабак, — прилежно доложила Клементина. — Поминки устроили…

Панарин прикрыл глаза. В памяти всплывало нечто непрезентабельное, обрывки какие–то — грустные лица, грустные песни, и кто–то рвал на груди рубаху, кто–то порывался чиркнуть ножом по собственной руке и написать кровью эпитафию на стене, и что–то вроде бы горело поблизости — то ли забор, то ли стог сена… «Хороши», — с привычным, приевшимся уже и потускневшим раскаянием подумал он.

— Вот — Потом ты рвался к самолетам, в ангар, и я тебя уволокла к себе, потому что до твоего коттеджа не дотащила бы. Ты долго доказывал, что только я могу тебя спасти, потом отключился.

— Понятно, — сказал Панарин. — Что ж, будни, они же веселые и грустные праздники…

Она была прекрасна, и Панарин почувствовал, что сию минуту сойдет с ума, если останется лежать, если ничего не сделает. Он поднялся, содрогаясь от головной боли, за руку выдернул Клементину из кресла и притянул к себе. Клементина слабо барахталась, шептала что–то и вдруг обмякла в его руках.

Двумя часами позже по главной улице Поселка, Проспекту Мучеников Науки, четко печатая шаг, к зданию дирекций шагал подтянутый, чисто выбритый и абсолютно трезвый зам.директора по летным вопросам полковник аэрологии Т.Панарин — в парадной форме с белейшей рубашкой, при наградном кортике. Блестели серебряные альбатросы на петлицах, и золотые альбатросы на погонах, и золотые астролябии — знаки различия, — и золотой Икар на левом рукаве, и золотой Колумб на правом. Посверкивали ордена Галилея всех трех степеней, Большой Крест Познания и Звезда Поиска.

Поселок был само благолепие. Разбитое давеча окно бара заслонили огромным плакатом «Добьемся стопроцентной возвращаемости самолетов!», а вывеска бара гласила: «Кафе–мороженое «Снежинка» (это на другой стороне было изображено,

так что оставалось лишь перевернуть). Выцветшие плакаты исчезли все до одного. Из динамиков лилась музыка Вивальди. Через площадь шествовал казенный кот Магомет с бантом на шее. Абсолютно трезвый завхоз Балабашкин руководил тащившими какой–то мудреный агрегат грузчиками. И Балабашкин, и грузчики были в смокингах, друг к другу они обращались на «вы», употребляя слова «позвольте», «заносите влево, сударь», «вы мне сейчас наступите на ногу, милейший Иван Петрович». Перед зданием дирекции стояли длинные черные лимузины с зеркальными стеклами, охраняемые, старшиной–безопасником. Количество лимузинов не сулило ничего хорошего.

Панарин прошел по длинному тихому коридору и остановился перед дубовой двустворчатой дверью. Возле нее маялся на банкетке очкарик в белом халате с нашивками лейтенанта барометрической химии, и сидели двое бледных научников — судя по серебряным Платонам в петлицах халатов, начальники секторов, новые какие–то. Дверь приоткрылась, в щелочку высунулся ученый секретарь Нахманович и позвал шепотом:

— Панарин!

Панарин вошел. За длинным столом сидели человек десять в строгих черных тройках. Сбоку примостился Тарантул, шеф, Господь Бог, самодержец и директор Поселка — старый армянин Гамлет Адамян, светило прикладной аэрологии, громадный, пузатый и всегда грустный. В его кличке не крылось ничего обидного прозвища здесь давали по своим законам, и, не придись Адамян ко двору, будь он нелюбим, его окрестили бы Грандом или Лордом.

— Полковник аэрологии Панарин, заместитель директора по летным вопросам, — доложил Нахманович и на цыпочках смылся в угол.

— Ага, — сказал краснолицый седой мужик с золотой звездочкой Героя Науки на лацкане, грохнул кулачищем по столу и заорал: — Вы это что тут творите? Молчать! Зажрались? Погоны надоели? Наука надоела? Вам бы показать, на чем мы трюхали над Вундерландом и возвращались — вы б в штаны наделали, щенки! А вы? Вам дают суперсовременную технику и аппаратуру, а вы ее гробите, салаги! И людей гробите! Молчать, ефрейтор! В дерьмовозы загоню! Распустились! Водку жрете? Шлюх развели? Молчать, говорю! Да как вы смеете, паршивцы, гробиться на такой технике? Нам бы ее в свое время мы бы черта с рогами добыли! А вы? Молчать! Лиха не хлебали!

— Так точно! — рявкнул Панарин.

— Унять своих паразитов! Привести в Божеский вид!

— Так точно! — рявкнул Панарин, поедая его глазами. — Будет унято и изжито!

— Тихон, ты не помнишь, кого и за что в тридцать пятом на год турнули из Поселка? — спросил другой седовласый, сухопарый и вальяжный, с золотой звездочкой же. Громадный краснолицый Тихон фыркнул и отвернулся.

— Молодой человек, — сказал сухопарый Панарину. — У каждого из нас найдется в прошлом немало э–э… эскапад разного рода. Скрывать это бесполезно, потому что вы все равно докопаетесь — знаю я, что такое фольклор Поселка… Не о том разговор. Бог с ней, с водкой, Бог с ними, со шлюхами — не мы это выдумывали, не нами заведено, не нам и запрещать… Вы только постарайтесь работать без смертей. Это не так легко, но вы постарайтесь.

— Так точно! — рявкнул Панарин. — Есть постараться!

— И больше думайте о моральном облике, — встрял третий, седой, но без звездочки. — До нас доходят слухи, анонимки и докладные… Чего вам не хватает? Кафе–мороженое вам построили, аттракционы купили за валюту в Токио, кино показывают, произведениями Президента Всей Науки полна библиотека. Природа вокруг такая… А вы?

— Так точно! — рявкнул Панарин. — Будет изжито!

— Мы все понимаем, полковник, — повернулся к Панарину тот, сухопарый. И помним все — что до сих пор не нашли тех троих в гондоле «Италии» и самолет Леваневского, что Марс пока не досягаем. Какой–то процент потерь неизбежен — Рихман, Роберт Скотт, Богданов… Но все равно постарайтесь работать без смертей.

— Так точно! — рявкнул Панарин. — Есть постараться без смертей!

— Можете идти.

— Служу Науке! — рявкнул Панарин, повернулся через левое плечо и промаршировал к выходу.

Потом вызывали барометрического лейтенанта, потом обоих сразу научников, потом всех вытурили, и комиссия стала заседать. Научник сбегал за сверхчутким микрофоном, и все четверо сгрудились у двери, но доносились лишь отдельные реплики.

— …Так вы за то, чтобы заранее выводить процент потерь? Что за похабная мысль, милостивый государь! Дерьмовая концепция!

— …за идеализм давно уже не сажают, к вашему сведению. И идеализма самого нету. Может, сохранился кое–где на Западе, там разлагаются…

— Тихон, ну, а кто у меня в тридцать шестом увел ту практикантку чуть не с подушки? И в рейд не вышел?

— Так время другое было. Суровое время. Сложное.

— Ишь ты, оглоед…

— …и не трогайте моих пилотов!

— …риск…

— …цели…

— …средства…

— Истребители! Сам Президент…

— Ага, и авианосцы…

— Коллеги, мы поучаем молодых, потому что завидуем — сами–то уже истаскались, и печень болит, и агрегат полшестого показывает. Тебе б сбросить лет тридцать, ты бы сам прижимал этих кисочек в мини, генерал, ваше степенство. Нет, Тиша?

— …познание всегда требовало жертв, и брало их, между прочим, независимо от наших благих желаний и наших возможностей…

— …но как сворачивали у ангаров, та рыженькая — ох и ах, где мои сорок лет…

— …хоть не возите им вермут, на базе — море болгарского сухача…

— …слишком легко объявить Шалыгана вышедшим в тираж шизофреником. А помнишь, в тридцать девятом, рейд «Омега»? Ты же исключительно благодаря ему звезду таска ешь, диабетик красномордый…

— …где я вам найду сюда путных баб? Все равно со временем научатся…

— …и не стоит с таким оптимизмом, прямо–таки щенячьим восторгом, простите, твердить о работах Мейсена и Кардовского. Последний рейд доказал лишь несколько частностей. Теорема в целом остается…

— …не трогайте моих пилотов, святые не идут в кочегары!

— …насчет восемнадцатой трассы — нужно срочно что–то делать…

— …и если ты еще одну анонимку шкрябнешь — выкину из Поселка и из науки!

— …к вопросу о диссертации Попова — она написана человеком, понятия не имеющим о базисной топологии.

Панарин любил и уважал их. Они были легенда, история науки во плоти и крови, свершениях и грешках. Все они понимали, все неписаные законы они знали получше писаных. А потому не было нужды в лишней болтовне. Вундерланд существует, и точка…

Панарин без особой охоты пообедал в кафетерии на втором

этаже, стараясь не вспоминать о Клементине. Он наблюдал в окно, как рассаживаются по лимузинам старики из легенды, мамонты славных и жестоких лет. Вереница длинных черных машин проплыла по Площади имени Покорения Антимира, исчезла за углом. Панарин посидел еще немного и спустился вниз. Жизнь Поселка понемногу входила в нормальный ритм. Динамики ревели:

Стоял весенний месяц март,
летели с юга птицы.
А в это время Бонапарт
переходил границу!

Завхоз Балабашкин, облапив фонарный столб, декламировал ему Хафиза. Двое его молодцов сноровисто переворачивали вывеску более привычной стороной, где было написано «Бар у Трех Углов». Третий вытирал о смокинг замасленные ладони и орал, попинывая тот самый сложный агрегат:

— Ванька! Так куды эту гниду? В четвертый?

Панарин пересек площадь и остановился перед доской объявлений, где красовались три свежеотпечатанных приказа.

В первом заместителю по летным вопросам полковнику Панарину за гибель одного из пилотов объявлялся строгий выговор с занесением, и ровно на месяц запрещалось ношение Большого Креста Познания.

Во втором приказе сообщалось, что результаты рейда «Гамма», проведенного три недели назад при личном участии и под командованием полковника аэрологии Панарина, превзошли всякие ожидания и дали весьма ценные для нуклеарной биологии и краниологической гидрологии данные. В связи с чем полковник Панарин, капитаны С.Босый и К.Крымов, старшие лейтенанты Л.Шамбор, К.Бонер (посмертно) и Р.Славичек указом Президента Всей Науки награждены орденами Бертольда Шварца первой степени.

Третьим приказом всему летному, научно–техническому и инженерному составу Поселка в целях морального оздоровления предписывалось трижды в неделю посещать кинотеатр, четырежды в неделю — новооткрытый магазин «Молоко», а также прочитать брошюры профессора В.Б.Пастраго «О вреде пьянства» и «О вреде безалаберных половых отношений». Каковые брошюры каждый обязан получить у Балабашкина под расписку. Кроме того, сообщалось, что вечером в Поселок прибудет для прочтения лекции сам профессор В.Б.Пастраго. И в заключение строго запрещалось после употребления алкогольных напитков обижать поселковых животных, красть из лабораторий и террариумов подопытных животных, летать на самолетах за пивом на

«материк» и пугать пистолетом предместкома Тютюнина. Нарушителям вышеизложенных запретов грозил широкий ассортимент кар — лишение месячной премии, временное лишение орденов, неделя с метелкой и назначение на полгода грузчиком в магазин «Молоко».

Повсюду толпились кучки аборигенов, обсуждавших за бутылкой третий приказ. Балабашкин уже выписывал по площади синусоиды и щедро раздавал брошюры профессора В.Б.Пастраго, которые возил за ним на тележке грузчик в драном и мятом смокинге. Прошел слух, что в новооткрытом магазине «Молоко» стоят за прилавком пятеро молоденьких продавщиц, только что прибывших с «материка», и все ринулись покупать простоквашу.

— Ну и как настроение?

Панарин обернулся — рядом возвышался Адамян Гамлет Багратионович, больше, чем когда–либо напоминавший сейчас унылого слона.

— Настроение — как всегда.

— Мальчик, и тем не менее у меня впечатление, будто ты в последнее время сдал…

— Это трудно объяснить, — сказал Панарин. — И началось это не вчера. Правда, вчера я говорил с Шалыганом…

— Понятно. И ты думаешь, что ты первый, кого он смутил рассуждениями о лодках и верблюдах? А ты способен бросить штурвал и пересесть на верблюда? Ну–ка, представь, ярко, объемно, в цвете!

Панарин отрицательно мотнул головой.

— То–то, — сказал Адамян, генерал–полковник аэрологии, славный альбатрос в прошлом. — Где–то сейчас сидят за партами те, кто, быть может, проплывет по Реке. Только к нам это не имеет никакого отношения. Узкая специализация — девиз наших гербов, бремя наших горбов… Мы навсегда прикованы к штурвалу, для нас всегда будут только самолеты.

Они помолчали. Динамики Главной Диспетчерской выплескивали рев пьяного дуэта:

Тихо лаяли собаки
в затухающую даль.
Я явился к вам во фраке,
элегантный, как рояль…

— Менестрели… — поморщился Тарантул. — Тим, все полеты на сегодня отменены. Пойдешь только ты. Звеном. По маршруту бонеровской «семерки». Нужно посмотреть, что там…

— Людей подбираю сам?

— А когда это я вмешивался в твои дела?

Адамян ткнул его кулаком в плечо, неуклюже повернулся и

пошел к зданию дирекции, оплывший старый фанатик аэрологии, сумевший одиннадцать лет назад дотянуть до полосы то, что осталось от самолета да еще ухитрившийся эти лохмотья посадить. С тех пор — в воздух даже пассажиром нельзя…

К Панарину валила толпа пилотов. Они мимоходом распихивали по урнам бутылки со сметаной, галдели и чертили ладонями в воздухе нечто напоминающее то ли фигуры высшего пилотажа, то ли женские формы.

— Адмирал! — заорал Леня, истово салютуя Панарину молочной бутылкой. Честь имею доложить: новоприбывшее женское пополнение путем визуально–дистанционного осмотра и психологического экспресс–анализа признано ласковым и сговорчивым. Несомненно слабы на передок–с!

— Вольно, — сказал Панарин. — Господа Альбатросы, диспозиция следующая: идем в Вундерланд по тропе «семерки». Веду я. Со мной Сенечка на своем драндулете и Леня со Стрижом на «Сапсане». Шагом марш!

Кто–то громко присвистнул, но ему тут же нахлобучили фуражку на нос.

4

— Может быть, когда–нибудь пойму,
что заставляет вас идти на риск
сломать свои элегантные шеи.
— Когда поймете, скажете нам. Для
нас самих это тайна.
Д.Френсис

Видимость оказалась идеальная, какую и сулили метеосводки. Панарин тысячу раз проникал сюда, но всегда это было как первая сигарета, первая женщина, первый синяк под глазом, первый орден. Потому что Вундерланд это Вундерланд, аминь, господа альбатросы…

А меж тем внизу не наблюдалось ровным счетом ничего чудесного. Внизу была Река, широкая и спокойная, были желтые песчаные отмели, кое–где пересеченные полосами гальки. И пышный березовый лесок. И буро–зеленые, не знавшие плуга поля.

— Между прочим, — сказал Сенечка Босый. — Я тут пролетал позавчера, и не было здесь никакой рощи. Солончак красовался самого паскудного облика.

— Ты когда перестанешь удивляться?

— Да сам знаю, и все равно…

— Разговорчики, — сказал Панарин.

— «Омутки» пошли, альмиранте.

— Ага. Фиксирую.

— Вниз, на третий коридор.

— Есть третий коридор.

Стайка небольших овальных водоворотиков плыла против течения навстречу самолетам. Их видели тысячу раз и давно знали, что никаких живых существ там нет. Просто водоворотики, плывущие против течения…

— «Сапсан», съемка.

— Есть.

— Болометр в дело.

— Есть. Расхождений с прежними данными не вижу.

— А вот кавитация какая–то странная. Я таких пузыриков никогда прежде не видел.

— Я тоже. Новенькое что–то. Альмиранте, ваши указания?

— Сенечка, пошел, — сказал Панарин. — Анализ всеми бортовыми средствами, на вертикалках зонды вниз.

— Есть.

Сенечкин «Мерлин», заваливаясь на крыло, скользнул влево и вниз, замер винт — Сенечка врубил сопла вертикальной тяги, завис над «омутком», и вниз брызнули тонкие струйки дыма — пошли зонды.

— Пишет, сучья лапа. Интересные кривульки.

— Точнее.

— Эффект Мейсена. Похоже, Кардовский со своим ирландцем были–таки правы…

— Довольно, — сказал Панарин. — Изменение цвета воды мне не нравится… Сеня, вверх!

Вода взвихрилась, и пяток смерчиков рванулись к самолету, но «Мерлин» метнулся вверх быстрее, и синие прозрачные щупальца опали, вновь стали спокойной водой.

— Назад, — сказал Панарин. — В прежнем ордере. Не расслабляться, быть предельно внимательными.

— Ну кого ты учишь, бугор? Не девочки ведь.

«Знаю», — подумал Панарин, и тем не менее назойливо всплывают в памяти имена тех, кто позволил себе расслабиться, когда заворожила магия прекрасных слов «обратный путь». Все они — под пропеллерами, и большинство из них лежат там в виде символических урн, не содержащих и одной подлинной молекулы усопшего…

— Внимание, альмиранте, — сказал летевший слева Сенечка. — Заметил слева от меня что–то новое. Когда мы шли вглубь, этого не было.

Панарин тоже увидел нечто поблескивающее, серебристое, льдисто–мерцающее, протяженное; угадал вопрос Сенечки, прозвучавший в наушниках двумя секундами позже:

— Посмотрим?

А если и бонеровская «семерка» вот так — летели назад, заметили нечто новое, расслабились чуточку, свернули… Нет? Здесь, в этом месте, если верить приборам «семерки», они не сворачивали, но разве можно быть уверенным в чем–то, находясь над Вундерландом?

— Хорошо. Пошли. Волчьей цепочкой — след в след.

Больше всего это напоминало холодные и прекрасные сады Снежной Королевы, хотя никто из них там не был и сравнивать не мог. Просто именно так сады те, существуй они, обязаны были выглядеть. Гигантское поле сверкающих серебристых кристаллов, друз, сталактитов, дикое и прекрасное разнообразие форм, радужная игра света на плоскостях и гранях, хаотический и чудесный лес, выращенный для забавы скучающим волшебником в одночасье…

— Я хочу туда, — странным, не своим голосом пробормотал Сенечка. — Я туда пойду, там красиво, хорошо и спокойно…

— Вверх! — заорал Панарин. — Все вверх, прочь, прочь на пределе! Уходим!

Он тоже ощутил смутное желание отжать штурвал и лететь туда, вниз, к радужным сполохам и серебристому сверканию, где тишина и покой, мир и порядок, где смерти нет, все довольны и веселы… но самолеты уже уносились прочь, к появившимся на горизонте синим вершинам, границе Вундерланда.

— А собственно, почему мы решили, что оно враждебное? — спросил Леня. Только потому, что оно звало нас?

— Поди ты, потом… — проворчал Панарин.

Желто–зеленое поле внизу взвихрилось вдруг, выстрелило вверх навстречу самолетам мириады ослепительно–зеленых шариков. И Панарин кожей, шкурой, всем телом и каждым нервом ощутил, как машина прорубается сквозь эту непонятную, никем до сих пор не наблюдавшуюся завесу, как рассекает винтом, разрезает крыльями эти крохотные зеленые шарики, и они лопаются, взрываются, разбрызгиваются…

Зеленая пена текла по фонарю кабины. Полагаясь исключительно на чутье, Панарин повел машину вверх. Связь работала, он слышал ведомых, и они слышали его, уходили вверх по его приказу, а проклятая каша, пена чертова все не кончалась.

Кончилась наконец. Солнце ударило в глаза, и они увидели, что летят уже над нормальной землей, за рубежами Вундерланда. Панарин взглянул вправо–влево и охнул: синий дюраль плоскостей медленно расползался, тек, таял, словно брошенная на раскаленные угли полиэтиленовая пленка.

— Винту хана! — крикнул Сенечка.

Сенечкин «Мерлин» был цел и невредим, если не считать мотора — винт вместе с куском капота словно аккуратно отрезали неким сверхъестественным ножом, не оплавив и не деформировав металла. «Мерлин» пошел вниз по отлогой кривой.

— Прыгай, черт! — крикнул Панарин, заранее зная, что его приказ останется невыполненным.

— Шиш, адмирал! А пленки? Записи? Спланирую, ни хрена!

— У меня все нормально, — доложил Леня. — Повреждений никаких, машина подчиняется управлению. Тим, ты весь зеленым дымишь, обшивка ползет!

Панарин и сам видел — от крыльев и мотора вертикально, несмотря на предельную скорость, сопротивление воздуха, вертикально, будто дым из труб в зимний безветренный день, струился бледно–зеленый туман, обшивка таяла, обнажая каркас. Но высоту машина держала, и мотор работал, и фонарь держался. Пока что.

— «Мерлин», Тим, я Центр! — громыхнул в уши голос Адамяна. — Немедленно покинуть машины!

— А ты сам когда–нибудь прыгал, генацвале? — раздался задорный Сенечкин тенор. — Планирую, до девятого квадрата дотяну, телега держит, всем привет с непристойными жестами!

— Поднять вертолеты! — орал Адамян. — Тревожная группа, в девятый, алярм на посадочной полосе! Тим, разрешаю покинуть машину!

Панарин молчал — некогда было. Прыгнуть нетрудно, но упавший и взорвавшийся самолет для науки значит неизмеримо меньше, чем самолет, посаженный на полосу. Мотор начал–таки капризничать, и Панарин приложил все силы, весь опыт, чтобы удержать в равновесии дымящий и словно бы тающий «Кончар». Кажется, в такие минуты полагается вспоминать жизнь от колыбели до сегодня, грехи и успехи, заблуждения и победы. И все такое прочее, вплоть до Клементины. Но времени на глупости не было. Панарин отчаянно боролся и добился своего — мотор заглох, когда до полосы оставался, в принципе, мизер. Панарин планировал, окруженный белесо–зеленым облаком дыма, сквозь который он все же смутно видел несущиеся навстречу машины, отчаянно завывавшие разноголосыми сиренами.

Самолет коснулся полосы. Закрылки не выпускались, элеронов, кажется, уже не было, «Кончар» несся по бетонке и никак не мог остановиться. Не колеблясь, Панарин рванул рычажок, втянулись все три колеса, и самолет поволокло по бетонке на брюхе. Ощущение было такое, словно Панарин собственной задницей со всего размаху хряпнулся о полосу, нестерпимо мерзко ляскнули зубы, молниеносная боль пронзила

позвоночник и темя, но самолет уже остановился, и все кончилось. Панарин откинул фонарь, выпрыгнул и побежал подальше от самолета.

Отбежав метров двадцать, остановился и оглянулся. «Кончар» уже накрыли колпаком, и автогенщики приваривали его к бетону. Самолета почти не видно было за клубами дыма. Панарин пожал плечами, дружески сделал ручкой молодцам из спасательных служб и направился к Главной Диспетчерской. Динамики орали над головой:

Добрый вечер, тетя Хая, ой–ей–ей!

Вам привет от Мордехая, ой–ей–ей!

На лавочке грузно сидел Адамян Гамлет Багратионович, а на соседней, косясь в его сторону, довольно открыто раскупоривали бутылки Сенечка Босый, Леня и Петя Стриж. Панарин сел рядом с Адамяном, потянул из кармана сигареты.

— Вот так, — сказал Адамян. — Босому отрубило винт вместе с куском капота, твой самолет дымит… хотя он уже не дымит, перестал, стоит себе, а дым оседает пылью. Третий самолет не пострадал ничуть, хотя все вы находились в одной и той же каше.

— Вы уверены, что каша была одна? — спросил Панарин. — Могло быть три разных каши — по Смайзу, бипространственные структуры. Или по Аверченко…

Они немного поговорили о научных сложностях и высокоумных теориях и ни к какому выводу не пришли — Вундерланд есть Вундерланд, аминь… Потом Адамян удалился, и Сенечка тут же сунул Панарину бутылку. Панарин глотнул из горлышка, прополоскал рот и сплюнул под ноги. Затем надолго присосался к бутылке. Тело медленно отходило от сумасшедшего напряжения.

— А теперь держи вот это, — Сенечка подал ему белую карточку с золотыми узорами, раздал такие же остальным.

— Мама, роди меня обратно! — охнул Леня, сполз со скамейки и смирно лег на бетон, скрестив руки на груди. Петя Стриж мелко–мелко крестился.

Карточка гласила, что С.Босый и Н.Трофимова приглашают т.Панарина на свое бракосочетание, каковое имеет торжественно состояться завтра, в десять часов утра.

— Катаклизьма… — сказал Панарин.

Женатый Сенечка Босый был таким же сюрреализмом, как бросивший пить Балабашкин. Или запивший Тютюнин. Или Шалыган в галстуке. Или Вундерланд, превращенный в парк культуры и отдыха.

— Теперь понимаю, отчего Натали никому не давалась, а этот хмырь не шлялся по лаборанткам, — сказал Леня с грустной

покорностью судьбе. — Надо же, проморгали…

— А я теперь понимаю, почему мы выбрались, — сказал Панарин.

— Босый в роли молодожена — перед таким даже Костлявая растерялась и дала уйти целехонькими…

5

И ты узнаешь истину, и она сделает
тебя свободным.
Библия, Книга Иова

Профессора Варфоломея Бонифатьевича Пастраго ожидали к шести часам вечера. К этому времени у Дома культуры собрались все свободные от дежурств обитатели Поселка. Девять десятых из них успели принять для бодрости, а те, кто не успел, принесли с собой. Впрочем, те, кто успел, все равно принесли тоже. Бутылки пустели, а бар был личным приказом Тарантула закрыт и опечатан до окончания лекции. На счастье, пришел отработавший смену Брюс, магистр–шотландец, присланный сюда некогда по программе научного обмена, да так и прижившийся. Он приволок ведро можжевеловой браги, какой, по его словам, его прабабушка некогда потчевала сэра Вальтера Скотта, а тот пил да похваливал — отчего обитатели Поселка именовали брагу ту кто «скоттовкой», кто «скотчем», кто «скотиновкой». Но пилась, зараза, легко.

Оприходовали и «скотиновку», а профессора все не было. Понемногу стали расползаться всевозможные дурацкие слухи. Одни говорили, что профессор никакой не профессор, а нанятый Тарантулом актер, и вся затея есть сплошное надувательство. Зато другие утверждали, что профессор самый настоящий, владеет искусством массового гипноза, так что враз отучит всех пить, хотят они того или нет. Услышав такое, многие попытались незаметно смыться, но оказалось, что Площадь имени Покорения Антимира оцеплена безопасниками в три ряда, и все пути отступления отрезаны. Толпа заволновалась, зазвучали бунтарские лозунги. Но тут с мегафоном в руках на крыльцо Дома культуры взошел сияющий предместкома Тютюнин.

Оказывается, профессора уже доставили и провели на сцену с черного хода, а задержку устроили для создания надлежащей психологической обстановки. Покоряясь неизбежному, все хлынули в зал, и он моментально оказался набит под завязку. На сцене стоял стол с графином воды и колокольчиком. Над столом висел плакат: «Все силы борьбе за здоровый быт в эпоху развитой до невероятия науки!» И еще один, стихотворный: «Водка жизни унесла, в ней — сивушные масла». Под ним почему–то стояла подпись «Державин», хотя все знали, что бессмертные строки

принадлежат Тютюнину.

Тютюнин произнес несколько дежурных благоглупостей и эффектно выбросил руку в сторону кулис. Раздались неуверенные, робкие, настороженные, редкие хлопки, и в жизнь Поселка вошел профессор Варфоломей Пастраго.

Он был невысок, но крепко сбит, горбонос и черноглаз. Абсолютное отсутствие волос на голове компенсировала роскошная ассирийская бородища цвета воронова крыла. Выглядел он чрезвычайно основательно и авторитетно. Первые ряды приуныли, ежась.

Профессор подошел к самой кромке сцены, одернул белейший халат с золотыми Гиппократами в петлицах, широко расставил ноги, упер кулаки в бока и принялся обстоятельно, со вкусом озирать залитый гробовым молчанием зал. Тишина стояла такая, что слышно было, казалось, как происходит броуновское движение и электроны носятся вокруг атомного ядра. Те, кто раздул версию о гипнотизере, зажмурились в тщетной попытке отодвинуть ужасное.

— Ну, здорово, что ли, обормоты, — сказал профессор рокочущим басом. Как же это назвать, милостивые государи? Затворились здесь, аки монахи, брыкаловку жрете, вынуждаете местный комитет тратить деньги на профессоров? Что же вы так, задрыги? Погодите, глотку промочу…

Тютюнин торопливо протянул ему стакан воды. Пастраго глянул на него, словно на гремучую змею, задрал полу своего накрахмаленного халата, извлек из кармана брюк пузатую стеклянную баклажку, до пробки наполненную жидкостью цвета очень крепкого чая, откупорил и одним глотком высосал половину.

Сидящие в первом ряду зашевелили носами, и на их лицах обозначилось странное выражение — как у ребенка, который, будучи уверен, что пьет касторку, проглотил ложку варенья. Понемногу они расплылись в умиленных улыбках.

— Так вот, судари мои, — Пастраго запихал баклажку в наружный карман халата, чтобы была под рукой, — чтобы вы не думали, будто вам подсунули шарлатана, прошу ознакомиться с моими ксивами. Только чтоб не замотали, черти, а то выправляй потом…

Он добыл из внутреннего кармана стопку внушительного вида книжичек в разноцветных кожаных переплетах с золотым тиснением. На иных посверкивали заковыристые иностранные гербы, единороги, вздыбленные львы и прочее геральдическое зверье. Запустил всем этим великолепием в аудиторию. Аудитория вдумчиво все это исследовала и подделки не

обнаружила.

— Так вот, мои беспутные друзья, — прогрохотал Пастраго, когда документы были ему почтительно возвращены. — Я готов дать руку на отсечение, что все вы подтерли моими брошюрками задницы. Ну и черт с ними, все равно с похмелья писано… Я лучше нам объясню простыми словами — он звучно отхлебнул из баклажки. — Итак, судари мои, господа альбатросы, что есть винопитие? Чрезвычайно мерзкое занятие, если вкратце. Конечно, когда хлещешь, все обстоит на первый взгляд вроде и неплохо — ты весел и игрив, готов к мордобитию и шокирующим пуритан половым сношениям. Но что потом? Что наутро, я вас спрашиваю? То–то. Голова раскалывается, блевать тянет, а если еще и магазин с одиннадцати, и пива за углом нет, «корову» увезли? И денег нет? Вот тут прямо передо мной сидит морда, — он прокурорским жестом выкинул руку, указывая на Большого Миколу. — Эта морда явно вчера перепила, а сегодня недопила, и сидит теперь, как собака на заборе. Тяжко, альбатрос? То–то. Что там разрушенная печень, вы лучше посмотрите на меня. У меня же талант был, я, между прочим, доктор гонорис кауза — не путать с гонореей, подонки! Неоднократно летал в Сорбонну, Кембридж и Гарвард читать лекции. И вот взял да и спился по–черному. Жена ушла. Брегет, что папа римский подарил, пропил. Из Королевского научного общества выгнали лордов пустил по–матери, а принцу–консорту в рыло дал. «Чайку» разбил об фургон спецмедслужбы. В Урюпинск теперь не зовут, не говоря уж о Сорбонне. Сладко, а?

Зал убито молчал.

— Перейдем ко второму пункту. — Пастраго допил остатки и спрятал баклажку. — К вопросу о женщинах, то бишь про баб–с. Любовь — это, скажу вам, такое чувство… — он вздохнул, как уэллсовский марсианин. — Одним словом, венец и квинтэссенция. Трепетное дрожание обнаженного электрического провода. Погоди, где–то тут балалайка была?

Он отодвинул окостеневшего Тютюнина, пошарил под столом, вытащил за гриф обшарпанную месткомовскую гитару и уверенно взял несколько аккордов. Тютюнин сидел в воздухе, как на стуле, придя уже в каталептическое состояние. Сбоку слышалось грозное сопение Адамяна.

Угадав мелодию, Брюс в глубине зала стал подыгрывать на баяне Пастраго запел:

Постель была расстелена,

а ты была растеряна…

— Ну, вы поняли, к чему я, — продолжал он, небрежно швырнув гитарой в Тютюнина. — Ведь поняли, кобели? Ишь,

скалитесь… Но скажите–ка вы мне, написал бы Ваня Петрарка свои услаждающие барабанные перепонки многих поколений сонеты, случись ему переспать с Лаурой? Молчите, паршивцы? Нешто в постели дело? Вы! — Он патетически воздел руки. — Вы же, сволота с воздушного флота, напрочь разучились чисто, нежно, возвышенно и романтически любить! И не оправдывайтесь, нечего врать, я сам давно такой стал, не проведете! Зеферические колыхания влюбленной души вы променяли на риск словить вульгарный триппер! Высокие переживания вы заменили самой пошлой сублимацией — все эти ваши официантки, лаборантки, хиромантки… Что вы там бормочите, эй ты, рыжий в пятом ряду! Кто теоретик чистой воды? Да я сто раз ловил, к твоему сведению, я к профессору Рабиновичу как домой хожу, вопросов уж не задает! А ты тут мне поешь! — он погрозил пятому ряду волосатым кулачищем. — Резюмирую: вы полностью оскотинились и разучились любить, поганцы летучие, Икары похмельные. И вы, и я — одинаково неприглядные личности, только я понимаю насчет себя, какое я пропащее дерьмо, а вы насчет себя — пока что нет. Но как клюнет вас… Конец лекции. Вопросы будут?

Зал ошарашенно молчал. Потом взорвался дикой овацией, какой никогда не удостаивался даже Президент Всей Науки. Пилоты с первых рядов, ломая стулья, ворвались на сцену, схватили профессора Пастраго, подняли на руки и понесли к выходу. Остальные хлынули следом, вопя, свистя и аплодируя. Плывя над головами, профессор благожелательно улыбался, раскланивался на все стороны и пожимал отовсюду тянувшиеся к нему руки.

Панарин не мог идти — его мотало от хохота. Кое–как справившись с собой, он побрел через опустевший зал. На сцене Адамян, сграбастав Тютюнина за глотку, прижал его к стене и зверски–ласковым голосом вопрошал:

— Ты мне кого привез, зараза профсоюзная? Тебя за кем посылали? У нас про что лекция планировалась?

— Разве ж я знал… — хрипел Тютюнин. — У него ж брошюры… И гонорис казус…

— Дурак ты, Тютюнин, — грустно сказал Адамян, отшвырнул полуживого предместкома и потащился за кулисы. Завидев Панарина, остановился, величественно взмахнул рукой, изрек:

— Все разрешаю. Хоть жрите друг друга. Только ключей не отдам, повозитесь, умельцы…

Панарин, идиотски хохоча, отправился в бар, там уже был полный кворум: играла музыка, плясали цветные огни, столики сдвинули в один длинный стол, профессора Пастраго усадили в

красном углу и наставили перед ним бокалов, рюмок, фужеров. Как героя дня Панарина усадили рядом с Пастраго — тот благодушно гудел что–то в бороду, прихлебывая из всех бокалов помаленьку.

Заплаканная Зоечка принесла закуску. Зоечка и слезы — это мало вязалось между собой, и застолица взревела:

— Ты чего, Зойка?

Зоечка задрала подол, и Панарин понял, что означала загадочная фразочка Адамяна насчет ключей. Хитроумный Тарантул раскопал в библиотеке на «материке» чертежи средневекового пояса верности, сделал заказ ничего не подозревавшему заводу–поставщику и под угрозой увольнения по статье нацепил пояса на всех официанток, лаборанток и продавщиц.

Собравшиеся обозрели стальную скорлупу и растерянно почесали в затылках. Кто–то вздохнул:

— Система ниппель…

— А если автогеном?

— Шкурку опалим.

— Лазером?

— Тоже припечет.

— Мать вашу, механики, неужели не подберете отмычек?

— К этой штуке? — пожал плечами обер–механик, известный тем, что однажды изготовил самогонный аппарат из двух барометров и японской электронной игрушки. — Как на духу — бессильны, братие…

— Так это что же нам теперь? — заорал Леня Шамбор. — Братва, сарынь на кичку, котлы вверх дном, бунтуем!

— Тихо, шпана! — рокотнул Пастраго. — Какие же вы ученые, олухи, если не умеете нетрадиционно подходить к проблеме? Посуду мне! Алкоголя!

Он взял самый большой бокал и стал смешивать напитки по какой–то непонятной системе — одного плескал помногу, другого всего каплю. Зрители примолкли, только шепотом считали сорта набиралось что–то около тридцати.

— С Богом! — Пастраго картинно перекрестился и плеснул в замочную скважину своей дьявольской смеси. Через мгновение, показавшееся собравшимся вечностью, в замке что–то заскрежетало, заскрипело, залязгало, и «пояс верности» звонко упал на пол. Грохнули аплодисменты, профессор раскланялся. Зоечка, прижав к сердцу бокал, убежала на кухню, и там раздался дружный радостный визг.

— Вот так, судари мои, — Пастраго пригладил ладонью бороду, овладевайте эвристикой, то бишь нетрадиционными

методами решения технических задач и жизненных проблем… Кстати, у вас лишней ставки в лазарете не найдется? Уж если повсюду нелетная погода — не принимают ни Саламанка, ни Урюпинск…

— Господи, Верфоломей! — Леня прижал руки к сердцу — Да ради такого человека мы всех наших врачей–вредителей разгоним, и будет у нас в лазарете родная душа!

— Это точно, родная душа. Многое у вас будет… — пообещал Пастраго, и в его глазах промелькнуло что–то новое, плохо вязавшееся с окружающим гаерством. Промелькнуло — и исчезло. Панарин мог и ошибиться по пьяному делу…

Захлопали пробки. В дверях духом бесплотным возник меланхоличный Тютюнин, робко присел на свободный стул и тихо попросил, глядя в пространство:

— Налейте, что ли…

— Наконец–то! — взревел Стриж. — Из Савла в Павлы! Ребята, за обращение Тютюнина в истинную веру — гип–гип!

— Ура! — взревела застолица.

И началось. Боденичаров, успевший слазить в террариум, вернулся с полным мешком черепах. Им прикрепили свечки на панцири, вырубили верхний свет и пустили черепах ползать. Зыбкие огоньки медленно плавали над полом, звенели бокалы, стучали вилки о тарелки, плакал быстро рассолодевший Тютюнин, и профессор Пастраго, задумчиво терзая гитару, напевал:

Не могу найти себе я места,
будто тронутый я.
До сих пор моя невеста
мной нетронутая…

Поодаль ему подвывал Брюс, закрыв глаза, уронив чуб на баян:

Но вот настал двенадцатый,
победа горяча,
и пулею погашена
вь–енчальная свь–еча…

Что–то непривычное чувствовалось в пьяном разгуле, что–то изначально чуждое этому миру, но проклюнувшееся вдруг.

— Нет, это потрясающе, — тихо сказал Панарину Леня Шамбор. — Ты чуешь, во что эта борода загадочным образом начинает превращать наш шабаш? Черт побери, здесь же лирические настроения прорезаются, чувствуешь? Да мы такого сто лет не видели с тех пор, как Семеныч разбился, а тому уж… Как ты сейчас выглядишь со стороны, рассказать? Имеешь в лице нечто тебе несвойственное.

— Как и ты, наверное. — Панарин грустно смотрел на пузатую бутылку с золотой наклейкой. — В точности как ты. Леня, я чувствую, что эта борода мина замедленного действия, а у меня нюх, все мы над Вундерландом обучились проскопии и всему такому прочему… Все правильно — нам нужен такой же исповедник, как мы сами: такой же, только острее сознающий свою сущность, обнаженный электрический провод…

— Любопытно, какие результаты наука получила бы, летай над Вундерландом женщины? Я серьезно, Тим. Сколько можно? Топчемся на месте, давно пора менять методику. Верблюжьи караваны, плоты, женщины, черт с рогами… Не обязательно наша смена должна быть чище нас. Лишь бы они начинали иначе. Посмотрим, что получится с этими истребителями. Очень мне любопытно.

— Любопытно?

— Ага, — сказал Леня.

— А тебе не кажется, что тыкать в Вундерланд истребителями глупо и опасно?

— Эксперимент, — пожал плечами Леня. — А любой эксперимент — это крайне интересно.

— Как ты думаешь? У них будут метрономы?

— Понятия не имею, Тим. Ладно, хрен с ним со всем. Знаешь анекдот, как Президент Всей Науки встретил Чебурашку?

По стеклам шлепал слабый дождик. Идиллически ползали черепахи, таская оплывающие свечи. Даже Пастраго, личность со многими потайными ящичками, по мнению Панарина, не смог смаху переломить сложившийся за долгие годы уклад, и все шло в обычном почти ритме — споры, драки, матерки, истерики, песни вразнобой, в темных углах приглушенно повизгивали официантки, выплевывала синкопы установка, телевизор с вырубленным звуком показывал очередную серию сорокасерийной «Биографии Президента Всей Науки» (в этой речь шла о том, как Президент ассистировал Менделееву, помогал Эйнштейну вывести теорию относительности, растолковывал Циолковскому третий закон баллистики, а Норберту Винеру — второй закон термодинамики), Брюс в длинных полосатых трусах и форменном свитере мотался по залу с баяном.

— Мужики! — взвился вдруг колышущийся Тютюнин. — Вот вы меня вечно по мордам, вы меня — за дешевку, а я… Ну что я? Меня из техникума за любовь выперли, да и терпеть я не мог в задницу коровам глядеть… Ну а если не умею я больше ничего, если ни на что не способен? Вот и пошел по профсоюзной линии. Я–то хоть дерьмо безвредное, а вы — опаснее, вы вроде бы при деле… (Леня полез из–за стола, но Панарин крепко, держал его за

локоть.) А я когда–то ведь романсы петь умел! — Он выхватил у кого–то гитару и в самом деле довольно сносно заиграл–запел:

Кавалергарда век недолог,
но потому так сладок он.
Труба трубит, откинут полог,
и где–то слышен сабель звон…

Он вдруг грохнул об пол гитару, упал на стол и заплакал. Направлявшиеся было к нему со сжатыми кулаками отодвинулись, смущенно переглядываясь.

— А песенка–то про нас, — сказал кто–то.

— Да все оно про нас. Если покопаться как следует, выяснится, что и Библия про нас, и «Одиссея», и «Гильгамеш»…

— Ты слушай сюда. — Леня Шамбор стиснул плечо Панарина. — Не такая уж редкая штука, когда человек перерождает в лучшую сторону свою паршивую дотоле душонку. Иногда под влиянием женщины — были примеры. Иногда в силу того, что открывает в себе талант писателя, художника, музыканта. Примеров тоже предостаточно.

— Ага, — ехидно сказал Панарин. — Рембо, к примеру, или Вийон, или Гамсун.

— Не передергивай, я не о том… Ну, а наша профессия — смогла она заставить кого–то из нас переродиться в лучшую сторону? Нет, выстрелю в морду любому, кто скажет, что мы работаем зря или выбрали не то ремесло. Но что–то неладно, все не так, ребята… Может быть, следует оценивать профессии с точки зрения того, насколько они способны заставить человека стать душевно чище? Я понимаю, что основное зависит от самого человека, и все же? Все же? Неладно что–то в президентском королевстве…

— Не знаю, — сказал Панарин. — Может быть, ты прав, а может, чушь собачью порешь.

— Ты не хочешь говорить на эту тему.

— А ты? — Панарин приблизил к нему лицо. — Ты протрезвеешь и все забудешь, это все всплывает в нас по пьяной лавочке — потому что слишком много вопросов, слишком серьезные они и мучительные…

— Но должны же где–то быть все ответы на все вопросы?

— А вот те шиш, — сказал Панарин. — Нету такого места. Если правда, что счастье — это вечная погоня за счастьем, то почему не может быть того же самого со смыслом жизни?

— А вот тебе теперь шиш. Это — не ответ, а бегство от ответа…

Тютюнин ожил:

Проходит жизнь, проходит жизнь,

как ветерок по полю ржи.

Проходит явь, проходит сон,

любовь проходит, проходит все…

— Вот смотри, — сказал Леня Шамбор. — Вот тебе и застегнутый на все пуговицы предместкома, которого мы били что ни суббота. А расстегнулся — и вот оно… А что в нас? Что? Но мы ведь все наутро загоним на самое донышко, верно, Тим?

— Верно, — сказал Панарин. — Наливай, что ли.

Зал грохотал и гудел, метались цветные пятна, на экране телевизора Президент Всей Науки, судя по всему, учил Канта основам философии, бешеные ритмы заставляли стены вибрировать, плясали у бассейна пьяные механики с полуголыми лаборантками, кто–то рухнул, Коля Крымов сползал под стол, волоча за собой скатерть, Пастраго гадал по ладони притихшей, почти трезвой Зоечке, и каждый вопил, что приходило на пьяный ум. Шабаш раскрутился, как извлеченная из будильника пружина.

Нынче все срока закончены,

а у лагерных ворот,

что крест–накрест заколочены,

надпись: «Все ушли на фронт»…

И в лицо плеснула

мне морская соль,

это мой кораблик,

это я — Ассоль…

В зал вошла Клементина. Меньше всего Панарину хотелось видеть именно ее, именно здесь, и именно сейчас. Ежась от жгучего стыда, он непроизвольно пригнулся, но в лопатки ему уперлось что–то широкое — это Пастраго, не отрывая взгляда от Зоечки, другой рукой заставлял Панарина сидеть прямо.

— Ты что, дьявол, что ли? — севшим голосом спросил Панарин и встал, подброшенный хлестнувшим его взглядом, побрел к выходу, опустив глаза.

— Ты ко мне? — глупо спросил он, как будто сидел в кабинете.

— Ага, — кивнула Клементина. — Пошли?

Панарин обреченно побрел за ней, натыкаясь на черепах.

На улице моросил мелкий занудливый дождик, в прорехах туч колюче поблескивали звезды.

— Сюда, что ли, — сказал Панарин, открыв перед Клементиной дверцу чьей–то машины.

Они сели на передние сиденья. Света Панарин зажигать не стал. Уютно пахло бензином и прохладным железом.

— Скучно, — сказала Клементина. — Просто невыносимо.

— А проживи–ка ты здесь год. Или десять. Ты на меня, часом,

не обижаешься?

— В общем, не очень. Сама дура, плохо защищалась. Говорят, ты там совершил что–то ужасно героическое, сажал охваченную пламенем машину?

— Еще раз собьешься на ваши штампы — получишь по уху, — пообещал Панарин. — По этому прелестному ушку.

— Пьян?

— В плепорцию.

— Спасения у меня искать будешь?

— Это мы запросто.

— Ну, ну! — Клементина отбросила его руки. — Слушай, почему вы так боитесь себя?

— Это мы–то?

— Это вы–то, — передразнила Клементина, — господа альбатросы, кто ж еще? Спрятались за своими ритуалами, полетами, формой, запоями, фольклором. И усердно внушаете себе, что прячетесь от полного гнуси окружающего мира. От себя вы прячетесь, и пока что не без успеха.

— Знаешь, там сидит такой бородатый хмырь — профессор Пастраго. Вот с ним бы тебе и побеседовать, явно родственные души.

— Подождет, мне с тобой интереснее. — Клементина повернула к нему лицо, удобно умостив затылок на вогнутом подголовнике. — Бравый альбатрос лишил невинности глупенькую кису… А любопытно, почему вы считаете, будто, взяв женщину, получаете право играть ею, как вещью? Может, как раз она это право получает?

— Ну, это старая песня.

— «Одиссея» тоже старая, а ее читают.

«Господи, — подумал Панарин, — ну не знаю я, что говорить и как держаться… Хоть бы ругала меня, что ли, тюрьмой грозила — а она, как назло, умная и загадочная…»

— Поди ты к черту, — сказал Панарин. — Я пьян, ясно тебе? Или не барахтайся, или иди спать.

Клементина расхохоталась — искренне, без наигрыша. Панарин сердито открыл бардачок. Он так и не вспомнил, чья это машина, но чутье не подвело — там оказалась бутылка чего–то импортного с завинчивающейся пробкой. Стал открывать, порезал палец, но открыл.

— Хватит, дай–ка сюда. — Клементина отобрала у него бутылку. Никогда не пила из горлышка, ну да… — Тим, ты меня боишься?

— Что?

— А разве нет? Ты начал проявлять вполне человеческие

чувства. Мечешься вот. Мимоходом совратил глупую девчонку, а теперь мучительно соображаешь, чего от нее ждать. Успокойся. Нечего от нее ждать. Сейчас пойду в ваш кабак и буду сидеть, пока меня не подцепят. Хочешь?

— Не надо, — глухо сказал Панарин.

— Прелестно. Самое смешное, что ты мне понравился, дурак. Я и не думаю тебя жалеть — никакой ты не несчастненький, Богом и людьми обиженный, а просто очень одинокий, заплутавший в соснах дурак. Сосен, правда, не три, а значительно больше, но не в том дело…

— Это машина Бонера, — медленно сказал Панарин. — Но это означает только то, что теперь она — ничья. И ничего больше. Вопреки тому, что о нас понаписано, мы не верим ни в какие приметы–амулеты–талисманы…

— Я знаю. — Клементина положила голову ему на грудь. — Ни во что вы не верите, даже в себе и своем деле уверенность помаленьку теряете… И если ты скажешь, что любишь меня, я не поверю пока ты ни на что такое не способен. Еще предстоит очень долго делать из тебя человека… Можешь обнять, только не очень хамски.

Панарин опустил лицо в пушистые волосы.

В баре гремела музыка, кто–то, как всегда, палил по плафонам, дергались по стенам ломаные тени.

— Нет–нет, — тихо сказала Клементина. — Убери руки, не наглей. Ну выпила, так сразу все можно? — Она высвободилась. — Отвези меня домой.

Ехать пришлось всего с полкилометра.

— Пока, — сказала Клементина, чмокнула его в щеку и хлопнула дверцей. Панарин развернул машину, поехал назад, к бару. Все внутри требовало шалого выпендрежа — и, не снижая скорости, он выпрыгнул, покатился по бетону, ушиб колени и локти.

Осиротевшая машина врезалась в глухую бетонную стену склада, взметнулось гудящее желтое пламя. Панарин выпрямился и, освещенный пожаром, взвыл по–волчьи, подняв лицо к небу, черному и хмурому:

— Господи, ну неладно же что–то, все не так!

Он стоял, покачиваясь, и, ясное дело, не получил ответа с неба, а на земле и внимания никто не обратил ни на его крик, ни на пламя.

Отерев грязные ладони о брюки, прихрамывая, он вошел в бар, где все было, как до его ухода, как десять лет назад.

— Молодец, что вернулся, — сказал Пастраго. — На такую девку не годится лазить в состоянии алкогольного опьянения. Ты запомни, что эта киса — луч света в темном царстве души твоей. Может, человеком станешь — во всех смыслах.

— Ну кто ты такой, гад? — тоскливо спросил Панарин.

— Тебе мандаты показать?

— Задницу ими подотри.

— Кожа жесткая. Натуральная. Не подойдут, — серьезно сказал Пастраго. Не бери в голову, Тим. Я не дьявол и не колдун, не экстрасенс даже. Я из Таганрога, папа — грек Бонифаций, рыбку ловил, мама — русская Надя, фельдшером работала. Ныне оба на пенсии, хоть на домик им заработал… Слушай, почему вы вбили себе в голову, что вы такие уж закрытые и высокосложные? Свежему человеку просвечивать вас донельзя легко, простые вы, как сибирские валенки…

— Ты в самом деле пил?

— Еще как! Все было когда–то, было, да прошло… Остался бывший незаурядный психолог средних лет: третья стадия алкоголизма, ящик с дипломами, кембриджской мантией да десятком орденов — даже бурундийский есть. Я у них там в славные шестидесятые вылечил короля от сексуальной меланхолии, вручили самый высший, с тарелку размером. Если перевернуть, вполне окрошку наливать можно. Как–то по пьянке попробовал — ничего, подходяще… — он по–бабьи подпер щеку ладонью и заголосил:

Лондон — милый городок,
в нем — туманный холодок.
Профьюмо, министр военный,
слабым был на передок.
Он парады принимал
и с Кристиной Киллер спал…

— А завтра у нас свадьба, — сказал Панарин. — Событие для Поселка поистине уникальное…

Знаю. Вышло так оно само

спал с Кристиной Профьюмо,
а майор товарищ Пронин
ночью спрятался в трюмо…

— Хватит! — рявкнул Панарин. — Вам же страшно! Вам очень страшно себя, Варфоломей!

— Ага, — сказал Пастраго. — И тебе тоже.

— Да нет, что угодно, только не страх, я пьян…

— Да ничего ты не пьян, голубчик, — пробормотал Пастраго, буравя его взглядом, и Панарин ощутил, что в самом деле трезв, как Тютюнин до грехопадения.

— А кому было страшно, кому нет — историю это не интересует, равно как всевозможных Несторов и Анонимусов, — сказал Пастраго. — Но вот кем мы были, дерьмом или чем–то чище — историю, быть может, ой как заинтересует энное количество лет спустя… Что стоишь? Топай!

Он слабо махнул рукой и рухнул на стол, в тарелки и бокалы. Зоечка заботливо вытащила у него из–под головы осколки салатницы.

Панарин вышел на улицу, покосился на догорающий остов машины, поднял воротник куртки и не спеша прошел под моросящим дождиком полкилометра до коттеджа. Осторожно постучал в стекло зажигалкой.

Клементина сразу же его впустила.

6

Вот и окончен последний полет.
Черные горы. Малиновый лед.
Грустные краски заката.
Больше не резать крылом небеса.
Но не согласны с судьбою глаза
темная воля крылата…
Л.Замятнин

Утром Панарин обнаружил на доске объявлений два новых приказа. Первый извещал, что с сегодняшнего дня профессор и доктор гонорис кауза В.Б.Пастраго назначается главным психологом медсанчасти Поселка. Вторым объявлялся строгий выговор предместкома Тютюнину — за катание в ночное время и в нетрезвом виде на казенной корове и распевание при этом романсов упадочно–нигилистического содержания.

Уже активно действовал Комитет Организации Бракосочетания КОБРА. Работа нашлась с момента учреждения комитета — на Площади имени Покорения Антимира объявился вдребезину пьяный Тютюнин с балалайкой, он брел и орал:

Я в деле, и со мною нож,
и в этот миг меня не трожь…

Его отловили и без лишнего шума запихнули в подвал магазина «Молоко». Следом туда же угодили Балабашкин, Станчев, трое отгульных механиков и поднятый с четверенек возле бара гайлендер Брюс. Им поставили ящик вермута, велели громко не орать и заперли на висячий замок. Появился профессор Пастраго в хорошо сидящем смокинге, с настоящей хризантемой в петлице. Его обыскали и, не найдя ничего алкогольного, пропустили на площадь, куда уже стекались принаряженные и трезвые аборигены. Нетрезвых задерживали и уволакивали к Тютюнину сотоварищи. КОБРА работала с неумолимой быстротой своей ползучей тезки — бдительный Леня Шамбор, чей интеллект с похмелья был обострен, ухитрился разоблачить Колю Крымова, запрятавшего фляжку с коньяком внутрь пышного букета.

— Вот, ведь можете, — сказала Панарину Клементина. — Можете?

— Ага, — сказал Панарин. — Денек–то мы можем, чего уж там… Ты что такая ненормально веселая?

— Свадьба же.

Клементина надела голубое кружевное платье, улыбчиво щурилась и пристукивала каблучками. Над Поселком гонялись за редкими облачками оранжевые самолеты метеослужбы, выпускали туманные шлейфы йодистого серебра, и облачка таяли. Динамики с утра без передышки услаждали Поселок Чайковским и Глиэром. Царило солнечное благолепие, носили цветы и ящики с шампанским. Объявился вдруг Шалыган — побритый и причесанный, в черной тройке, украшенной десятком орденских планок, при галстуке Айви Лиг и букетике гвоздик. На него обалдело оглядывались.

Панарина тронул за рукав главный радист Митрошкин, в отглаженной форме с золотыми Эдисонами в петлицах:

— Ахнуть хочешь?

— Излагай.

— Тарантул уходит.

— Врешь!

— Через два месяца. По состоянию здоровья, — авторитетно сказал Митрошкин с уверенностью человека, отвечающего за свои слова. — Будет новый. Молодой, наших лет, доктор в тридцать, членкор в тридцать два. На той неделе прибывает пополнение — орава молодняка, из училища имени Холопа Никишки, как всегда.

— Да–а… — сказал Панарин.

— Чему тут удивляться? — пожал плечами Шалыган. — Тим, Тарантул последний мамонт Поселка, последний динозавр тех времен, когда вначале требовали результатов, а уж потом

вскользь интересовались процентом потерь.

«Интересно, сам–то ты из каких зверей будешь?» — подумал Панарин, украдкой приглядываясь к Шалыгановым колодкам — был там и полный набор орденов Галилея, и ленточка исключительно редко вручавшегося (особый вклад и проявленные при этом) ордена Командора Беринга, и ленточка Звезды Улугбека, которую Панарин видел впервые в жизни на живом человеке, и ленточки, принадлежавшие регалиям, о которых Панарин вообще не имел понятия. Чудит дедушка? Или нет?

— Вот тебе и выход, — сказал Панарин Клементине, чтобы уйти от загадок. — Понаедут молокососы с твердыми моральными устоями, воссядет тридцатипятилетний членкор, и все уладится.

В динамике заиграл горн, и публика в ожидании выхода новобрачных стала строиться шпалерами.

— Тим!

Сзади стоял капитан Окаемов, румяный двадцатипятилетний детинушка, начальник Отдела Безопасности — косая сажень в плечах, серебряные лары, Боги–охранители, на погонах. Сейчас он выглядел странно — весь какой–то мятый, взъерошенный.

— Что? — спросил Панарин.

— Пойдемте. Немедленно.

— Что случилось? — встревожилась Клементина. — Сегодня ведь нет полетов.

— И не будет, не будет… — Окаемов бочком–бочком отходил, волоча за собой Панарина. — Мы в клинику, человеку там плохо, начальство просит позвать…

Капитан Окаемов был человек энергичный, неглупый и совестливый. Энергию ему оказалось некуда приложить — его безопасники несли скучную службу в качестве вахтеров и ночных сторожей, оцепляли при аварии посадочные полосы да отволакивали в вытрезвитель подобранных в горизонтальном положении пилотов. Как человек совестливый, капитан тяготился своей полуненужностью и малозначимостью, отчего, по достоверным данным, частенько запирался ночью в цейхгаузе Отдела, долго кушал водку (в бар он ходить стеснялся вдруг да обзовет кто дармоедом) и тихонько пел самому себе песни. Кончал он обычно тем, что находил какой–нибудь дрын и порывался наружу — идти драться с засевшими в Вундерланде драконами и чудо–годами. Тогда из караулки приходил седой старшина Касторыч, по слухам, помнивший еще легендарного надворного советника аэрологии Сперантьева, запускавшего некогда над Вундерландом воздушные шары с наблюдателями, лихими усатыми поручиками лейб–аэростатного его величества

полка имени кесаря Рудольфа, и баллоны с громоздкими ящиками фотографических камер. Касторыч показывал начальству ядреный кулак с вытатуированным Коперником и, наплевав на субординацию, осведомлялся: «А в рыло не хошь, салага»? Окаемов тогда сникал, покорно делал кругом через левое плечо и засыпал в уголке, а Касторыч укрывал его шинелью, ставил рядом чекушку, банку с малосольными огурчиками и уходил на цыпочках читать по складам Лукиана и Крыжановскую–Рочестер, до коих был большой любитель.

Как человек неглупый, Окаемов пытался искать выхода в самообразовании заочно учился на факультете прикладной философии и запоем читал в трезвые периоды научно–популярную, научную и околонаучную литературу, всю подряд, оптом, чохом и гамузом, по всем областям знания. Правда, ничего путного из этого не вышло стараясь соответствовать высоконаучному учреждению, при котором нес службу, Окаемов, что ни неделя, выдвигал завлекательные, но абсолютно несостоятельные с научной точки зрения гипотезы о Вундерланде. В общем, его любили как своего парня и оригинала. Но сейчас он явно не собирался ошарашивать Панарина очередным измышлением, что–то другое…

Второй блок клиники густо оцепили безопасники и сотрудники Лаборатории Встречи Случайностей. Прямо на газоне стояли машины ЛВС, шевелились сложные антенны, трещали рации, бегали взад–вперед врачи. У крыльца, распространяя запах спирта и оружейной смазки, возвышался Касторыч, держа наперевес противотанковый гранатомет.

— Хоть ты исчезни! — рявкнул на него Окаемов.

— Не могу. Феномен, — с достоинством ответил Касторыч и не пошевелился. — А ежели случился феномен, надо бдить.

Окаемов почти бежал перед Панариным, распахивая–стеклянные двери. У палаты Славичека стояли четыре безопасника, с автоматами, не оттертыми толком от смазки, и случайники с какими–то приборами.

— Входите. — Окаемов распахнул дверь.

— Ну и что?

Палата была пуста. Кровать разобрана, рядом с ней уныло повисли шланги капельниц.

— Смотрите. — Окаемов подтолкнул его к висевшему на стене большому квадратному зеркалу.

Панарин стоял вплотную к зеркалу, но не отражался в нем, и Окаемов не отражался. Отражались разобранная кровать, капельница, медицинские приборы, а Панарин с капитаном — нет. Там, в Зазеркалье, были Бонер и Славичек. Славичек в

пижаме сидел на постели и чистил апельсин, а Бонер, в мятом летном комбинезоне, расхаживал по комнате, курил и горячо говорил что–то. Славичек внимательно слушал, вставляя порой короткие реплики.

Панарин, не отдавая себе отчета в том, что делает, постучал кулаком по холодному стеклу.

— Бесполезно, — сказал Окаемов. — Мы и стучали, и записки им показывали. Друг друга мы не видим.

— Зеркало снимали?

— Адамян снимал. Зеркало как зеркало. Если отойти с ним в другой угол, оно отразит все, как и полагается нормальному зеркалу. А здесь, на этой стене — только они…

— Метроном Славичека? — спросил Панарин.

— То застучит, то молчит. — Окаемов схватил его за рукав. — Что же получается? Они не умерли, они в Зазеркалье.

— Очень похоже, — сказал Панарин. — Увы, придется нам ограничиться констатацией сего факта. Потому что больше ничего мы сделать не в состоянии… Что еще?

— Содержимое тумбочки.

— А что там такого? Впрочем… Вы что имеете в виду?

— Вот это. — Окаемов развернул носовой платок и показал завернутый в него талисман–гальку. Обычный обкатанный камешек в желто–черно–бело–красную полоску, с просверленным отверстием, на шелковом шнурке. У многих были такие, где–то их подбирали по Бог весть кем заведенной традиции. У Панарина не было — никогда ему на пляже эти «полосатики» не попадались.

— Ну и что?

— В палату его привезли абсолютно голого, вы же знаете правила — всю одежду в таких случаях забирают на исследования. Персонал клянется, что тумбочка была пуста. Посетителей к нему не пускали. Откуда талисман тут взялся?

— Ну мало ли…

— А знаете что? — Окаемов глядел на него торжествующе. — А почему до сих пор никто не додумался приложить его к уху?

— Куда?

— К уху, как раковину. Я вот попробовал, как та обезьяна с будильником — помните, «В мире животных» показывали? Просто так, взял да и приложил. Вы попробуйте сами.

Панарин пожал плечами и приложил камешек к правому уху. Окаемов затаился, как мышка, тишина вокруг стояла гробовая.

Постепенно Панарин стал слышать — но не ушами, а как бы мозгом — словно бы плеск морских волн, набегающих на песчаный берег, шелест легких шагов, крики птиц. Словно бы флейта играла где–то на берегу, чистые, нежные звуки, и кто–то

смеялся, доносилась то ли песня без слов, то ли звуки эоловой арфы…

— Слышите? — сказал Окаемов. — Слышите…

Он уже не спрашивал — утверждал.

— Вот что, — сказал Панарин. — Это я пока что заберу. (У Окаемова был вид ребенка, внезапно лишившегося любимой игрушки.) Заберу. Есть кое–какие предположения. Не беспокойтесь, в случае чего первооткрывателем будете числиться вы…

— Значит, есть открытие? — Окаемов был на седьмом небе.

— Возможно, — сказал Панарин. — А вы никогда не слышали, что есть открытия, которые следовало бы сразу закрывать? Нет? То–то… И уберите вы вашу ораву, глупо, в самом деле…

— Сейчас уберу, это я сгоряча, от испуга…

Панарин козырнул и, стараясь не смотреть на зеркало, пошел к выходу. На крыльце он задержался, помахал «полосатиком» на шнурке перед лицом старшины Касторыча и спросил:

— Доводилось видеть?

Остекленевшие от запойного пьянства глаза старшины стали вовсе уж страшными. Он приставил гранатомет к ноге, грохнув им о ступеньку, выкатил глаза и тихо прошелестел:

— Ваше благородие, бросьте… Пропадете ни за что, как прапорщик Ружич…

Что–то замкнуло у него в мозгах, вызывая неведомые Панарину ассоциации.

— Ты что, до тременса долакался, старинушка? — спросил Панарин. — Какое я тебе благородие?

— Извиняюсь, ваше высокоблагородие, потому как — полковник вы…

Во всяком случае, в его бреде была своя логика.

— Младший унтер–офицер гайдроподержательной команды Малохатко на караул встал! — отрапортовал Касторыч. — Ваше высокоблагородие, бросьте дрянь эту, Богом прошу, до пекла доведет, оглянуться не успеете… Ружич тоже смеялся.

— Над чем? — спросил Панарин.

Касторыч выкатывал глаза и дрожал всем телом. Видя, что толку от него не добьешься, Панарин отобрал гранатомет и забросил в кусты. Потом махнул ближайшим безопасникам и в нескольких словах обрисовал ситуацию.

На Касторыча навалились со всех сторон и, превозмогая отчаянное сопротивление, поволокли в сторону первого блока, куда обычно препровождали допившихся до белой горячки. Он выдирался, иногда попадал кому–нибудь по уху, но безопасники

висели на нем, как лайки на медведе. Он сдался и заорал:

— Влеките, игемоны! Ваше благородие, опомнитесь, Ружич и Вольский вон тоже… А потом?

За кучей сцепившихся тел захлопнулись стеклянные двери первого блока, Панарин пожал плечами и направился к калитке. Мимоходом он, оглянувшись по–воровски, открыл дверцу ближайшего фургончика Лаборатории Встречи Случайностей и взял с пола плоский серебристый чемоданчик экспресс–анализатора. Выскользнул в калитку и сразу завернул за угол.

«Значит, вот так, — думал он. — Уходит Адамян. Уходит эпоха. Ну, предположим, эпоха не уходит, потому что уходит один лишь Адамян, но все отныне будет не так, все станет чуточку иначе. Непьющие пилоты, кафе–мороженое напротив бара, молодой директор… ну, предположим, до шелеста белых крыльев еще далеко, много воды утечет в Реке…»

Он спешил к себе в коттедж окраинными улочками, чтобы не столкнуться с трезвой свадебной процессией и не оказаться в нее затянутым. Догадки не оформились окончательно — так, колыхались зыбкие туманные контуры — но услышанные от Касторыча фамилии он когда–то где–то слышал уже…

Он вошел в свой коттедж, в тщательно прибранную, насквозь стандартную комнату. Улыбалась с цветного плаката разухабиста зарубежная красотка в купальнике из рыболовной сети, на письменном столе размеренно стучал голубой метроном.

Панарин погрузился в книжные завалы и часа через полтора нашел обтрепавшийся томик, изданный лет восемьдесят назад. Лет пять уж как его не открывал.

Как всякое грандиозное и протяженное во времени предприятие, аэрология обросла за годы своего существования легендами, преданиями, бредовыми вымыслами, апокрифами и полумистическими откровениями. К которому из жанров относилась изданная еще при старой орфографии книжка, установить было бы затруднительно. Автор, корреспондент какой–то бульварной газетенки, старательно собрал анекдоты, слухи, сплетни из жизни обитателей Поселка (именовавшегося тогда Сьянсбургом) и выпустил их в свет под названием «Будни королей воздуха».

Панарин стал читать и странице на пятидесятой натолкнулся на искомое. Историю о том, как однажды поручик Бельский, отпетая головушка, любитель прекрасного пола и воздушных выкрутасов, якобы ухитрился приземлиться в Вундерланде, собрал там пригоршню цветных камешков и сделал из них ожерелье для своего предмета воздыхании, некоей певички Илоны, в Сьянсбурге гастролировавшей. Восхищенная редчайшим

подарком, певичка Илона вскорости вознаградила поручика за его храбрость самым приятным образом, что вызвало лютую зависть и злобу прапорщика Ружича, соперничавшего с поручиком относительно певички Илоны. Надравшись в тот же вечер в офицерском собрании, Ружич стал кричать, что поручик Бельский — записной враль и шарлатан, что в Вундерланд он вообще не летает, а кружит где–то поодаль, пока не налетает нужное время, что камешки эти он подобрал в окрестностях Сьянсбурга и жестоко облапошил доверчивую красавицу. Поручик Бельский заехал прапорщику Ружичу в ухо и оборвал с него погоны. Назначен был суд офицерской чести, запахло дуэлью, но, недотерпев до начала суда, ранним утром прапорщик Ружич появился на летном поле, целясь из браунинга, заставил аэродромную команду заправить его аэроплан и громогласно заявил, что отправляется в Вундерланд набрать настоящих тамошних камней и навсегда посрамить жулика Бельского. Видя его состояние, дежурный офицер и команда не осмелились препятствовать, заправили бак и крутанули винт. «Ньюпор» Ружича, ведомый похмельными руками, взлетел, кренясь вправо–влево — и навсегда исчез в рассветной дымке над синими горами. А вскоре грянула первая мировая, всем стало не до Вундерланда, в вихре событий и перемен затерялись и поручик Бельский, и заезжая певичка Илона, и все остальные…

Такая вот история. Панарин не взялся бы сейчас оценивать ее достоверность. Он знал одно — «полосатики» не могли быть подобраны в окрестностях Поселка…

Кое–какой навык у него был, и он уверенно нажал несколько клавишей, перевел три рычажка и сунул снятый со шнурка «полосатик» в круглое отверстие на серебристой панели экспресс–анализатора. И почти сразу же дурным мявом взвыла сирена, по голубому экрану дисплея побежала красная строка: «Тревога! Тревога! Тревога!» Панарин хлопнул ладонью по клавише, и сирена смолкла, но дисплей продолжал работать.

«Полосатик» был из Вундерланда. Никаких сомнений. В домах десятков пилотов лежали, висели у них на шее камни из Вундерланда. Разговор о их происхождении как–то никогда не возникал. Теперь ясно, что те, кто _знал_, вовремя обходили скользкую тему. А это означало…

Панарин глянул на голубой метроном, украшенный золотым альбатросом. Кто помнит, когда появились метрономы? Да никто не помнит, даже Шалыган ничего не сказал, а этот вопрос не принадлежит к тем, от которых он уклоняется. Просто мы знаем, что метрономы останавливаются, когда погибает их хозяин. Собственно, мы не знаем — нам так сказали. Давным–давно, не

упомнить уж и когда. И мы выросли, возмужали с этим чужим утверждением, и сейчас только спохватились, что никакими доказательствами оно не подкреплено. Случалось несколько раз, что после смерти пилотов их метрономы находили остановившимися. Ну и что? Можно подыскать множество других объяснений, но мы подобны австралийским аборигенам, искренне считающим, что в том–то и том–то разрисованном камне заключена их душа. Как вообще могло произойти, что мы, люди технотронного века, дипломированные специалисты, атеисты, материалисты, поверили, будто наша жизнь связана со стучащим приборчиком? Потому только, что так утверждает Президент Всей Науки — скучно и многословно?

Панарин рывком поднялся. Честно говоря, ему было страшно, но он собрал в кулак всю волю, всю силу духа, непропитую пока что решимость и смелость.

И остановил метроном. Блестящая стрелка с грузиком замерла, отклонившись вправо. И ничего особенного не произошло, вообще ничего не произошло, метроном молчал, а Панарин оставался живехонек и невредим. Поборов оцепенение, брезгливо, словно дохлого мыша, он взял метроном за стрелку и вышвырнул в мусорную корзину. Потом снял телефонную трубку:

— Говорит Панарин. «Кончар» на полосу. Молчать! Это совершенно не ваше дело. Кажется, я имею право приказывать, вы не забыли случаем?

7

Ты искал цветок,
а нашел яблоко.
Ты искал родник
а нашел море.
Ты искал женщину,
а нашел душу.
Э.Седергран

Он направил самолет вниз, на зеленое поле, кончавшееся у песчаной отмели, золотыми генеральскими лампасами окаймлявшей берега Реки. «Кончар» пробежал метров триста, остановился. Чихнул и замолчал выключенный мотор, замер трехлопастный винт.

Панарин откинулся на упругую спинку кресла, расстегнул ремни. Не хватало решимости откинуть фонарь. Он сотни раз пролетал над этими берегами, над этой землей, но ни разу не снижался ниже пятидесяти метров предельно допустимая минимальная высота, неизвестно кем и когда установленная.

С курсантской юности его приучили бояться этой травы, этого песка, этого воздуха. Признаться, для страха были все

основания, достаточно ознакомиться с пухлыми томами полетных журналов за любой год — обязательно наткнешься на такое, что поколеблет веру в беззлобное дружелюбие или, по крайней мере, беззлобный нейтралитет Природы. Но, с другой стороны, все эти опасности и ужасы подстерегали только тех, кто летал, перемещался в воздухе над Вундерландом внутри искусственных летательных аппаратов тяжелее воздуха…

Он был на земле Вундерланда, и предстояло решаться.

Панарин откинул фонарь и спрыгнул в траву. Стояла прозрачная тишина, неспешно текла Река, и голубели вдали горы — пограничный рубеж, неведомо кем и когда установленный.

Осторожно, словно по тонкому льду, Панарин дошел до берега и сел на песок возле самой воды. «Омутки» проплывали против течения, песок был рассыпчатым, сухим, прогретым солнцем. Панарин по–детски зачерпнул его горстью и дал стечь с ладони шелестящей струйкой. На ладони остались три «полосатика», яркие, веселые, красивые.

Ничего не было — ни времени, ни цивилизации, ни Вселенной. Только желтый песок Вундерланда. Только холодная, трезвая, непреложная истина Панарин знал, что как минимум половина его пилотов хоть однажды, да садились в Вундерланде. Просто так. Чтобы посидеть у лениво текущей воды, поглазеть на зеленые деревья, волшебным образом вырастающие на месте вчерашних солончаков, или на чудесный кристаллический сад. Можно теперь с уверенностью сказать, что Сенечка Босый тут садился, а Леня Шамбор нет иначе он не ратовал бы так горячо за истребители прикрытия…

Почему все молчали? Все поголовно? Не существовало никаких кар, репрессий, статей уголовного кодекса, грозивших каким–либо наказанием побывавшим в Вундерланде.

Ответ ясен: трудно предсказать последствия. Не исключено, что открытие это способно начисто уничтожить аэрологию. А значит, рухнет опасная временами, но такая налаженная, такая сладостная, такая привычная жизнь Поселка. Что останется от красивой формы пилотов, орденов почета, циркуляров и правил, привилегий и гордого сознания собственной избранности, если каждый, кому не лень, начнет шастать по Вундерланду? Безусловно, останутся какие–то опасности, трудности, сложности — но Господа Альбатросы исчезнут навсегда. Как динозавры, хищные и травоядные. И ведь трагедия еще и в том, что все в Поселке горячо жаждут покорить Вундерланд, вырвать у него его секреты, пашут для этого, не жалеючи нервов и жизней — но покорить и вырвать своими силами, при помощи самолетов, исключительно трудами господ Альбатросов. В глубине души

многие сознают, что давно все не так, давно что–то неладно, и задачу они перед собой поставили заведомо нереальную — но жизнь грохочет по накатанной колее…

А теперь и Панарину предстоит делать выбор. Компромиссов здесь нет. Или — или…

Панарин положил руку на голубое крыло самолета и оглянулся на медленно текущие воды Реки, которая вовсе не была Летой. Наверное, впервые он не торопился покинуть Вунтерланд. И впервые у него не было на поясе кобуры…

8

Только видимость, только маска
только внезапный шквал,
только шапки в газетах: «Фиаско»,
только снова и снова провал.
Только вылазка из засады,
только бой под покровом тьмы,
только гибнут наши отряды,
только сыты по горло мы…
Р.Киплинг

— Пойдете двумя звеньями, — говорил Адамян. Заложив руки за обширную спину, он нервно вышагивал по кабинету. — Прикрывать вас будет звено «Славутичей» майора Кравицкого, — он кивнул в сторону пилота с золотыми сапсанами в петлицах. — Майор с обстановкой ознакомлен.

— Ну да? — нехорошо усмехнулся Панарин. — Мы до сих пор не ознакомились с обстановкой, а майор, выходит, смаху вник? Я не уверен в целесообразности таких решений. Я не уверен, что истребители послужат гарантией безопасности. Может выйти вовсе даже наоборот. Вы ведь знаете, что предсказать Вундерланд невозможно. Чья–то высокоумная голова в Академии теоретизировала с горных высей чистой науки…

— Нужно, — сказал Адамян.

— Сейчас мне мало этого слова.

— Что тебе нужно еще?

— Всего лишь убрать отсюда истребители.

— Невозможно.

— Тогда я не полечу. И я не уверен, что мои люди, узнав о моем отказе, сядут за штурвалы.

— Между прочим, — сказал Адамян, — у меня тут есть рапорт старшего лейтенанта Шамбора, который горячо заинтересовался экспериментом, то бишь использованием для прикрытия истребителей, и выражает жгучее желание участвовать в рейде.

— Ну–ну… — сказал Панарин. — За всех он не может

подписываться…

— Шантаж?

— Элементарная экстраполяция.

Майор, стриженный бобриком черноволосый крепыш, молча маялся, старательно глядя в сторону, чтобы ненароком не зацепить кого–нибудь из них взглядом. Весь его вид вопил: с его точки зрения, если старшие командиры и бранятся между собой, то уж никак не в присутствии младших по званию. Сообразив это, Адамян махнул ладонью:

— Майор, подождите в приемной. Что с тобой, Тим?

Панарин презирал себя, но почему–то не мог открыть рот и рассказать о вчерашнем своем полете. Не мог, и все тут. Он сказал:

— Мы справимся и без истребителей.

— Пойми ты, их задача — не расчищать вам огнем путь, а при необходимости прикрыть ваш отход.

— Что в лоб, что по лбу.

— Тим, ты прости, — очень тихо сказал Адамян, — но, быть может, ты устал? С каждым может случиться. Но сейчас ты необходим. К Ведьминой Гати ходили только вы, и я боюсь, что Станчев один не справится. Нам позарез нужно набрать хотя бы три–четыре кубометра «взвеси». Все старые запасы в столице израсходованы, а исследования останавливать нельзя. Нет времени ожидать пресловутых самолетов–роботов. Есть мнение на самом верху, это просьба самого…

— Черт побери, — сказал Панарин. — Вам осталось два месяца, какое значение имеют просьбы самого?

— Ты не понял. Никакого значения не имеют просьбы… Этот рейд — моя лебединая песня, Тим. Ничего у меня больше не будет только санаторий и манная каша. Я бы сам пошел, Господи, я бы сам пошел, но я же подохну еще на взлете! И я не за увековечение своей памяти борюсь. Ты прекрасно знаешь, что те лекарства, биофильтры и ткани, которые получат на основе секретов «взвеси», не назовут ни «касторкой Адамяна», ни «синтетиком Панарина». Но мне нужен этот рейд… Тим, хочешь, я перед тобой на колени встану?

Панарин молчал. Он просто не умел высказать все, что творилось у него на душе — непривычен был к этому. Он сказал:

— На колени не надо. Лучше уберите истребители.

— Невозможно.

«Мне нужен ответ на один–единственный вопрос, — думал Панарин. Садился ты в Вундерланде или нет?»

— Ты, часом, не испугался? Это бывает, Тим, я тебя не стану винить. Хочешь в санаторий на «материк»? Пиво чешское,

солнышко, неваляшки в купальниках… А к Ведьминой Гати я пошлю Станчева. Правда, у него нет практики, ну да что делать, если тебя одолела неврастения?

Панарин сердито подошел к столу и щелкнул клавишей:

— Панарин. Первое, второе звенья — на полосу!

…Динамики надрывались — похмельный Брюс изливал душу, немилосердно терзая баян:

И нельзя мне дальше, не имею права,
можно лишь от двери до стены.
И нельзя мне влево, и нельзя мне вправо,
и нельзя мне солнца, и нельзя луны…

— Ты шпалер забыл. — Сенечка подал ему ремень с кобурой.

Чертыхнувшись про себя, Панарин застегнул тяжелую пряжку и закурил. На галерею диспетчерской он не смотрел — в последнее время Клементина завела дурную привычку провожать его в полет, как он ни запрещал, и торчала сейчас у перил вместе с женой Сенечки Босого.

— И моя гитара — две струны… — зло проворчал Панарин. Ветер трепал ему волосы, высекал искры из сигареты.

— Что с тобой? — тихо спросил Леня Шамбор, здоровенный и белозубый, как всегда, загорелый и веселый, как всегда, любимец молодых поварих и ученых дам средних лет.

Панарин оглядел их всех, собравшихся в кружок. Они уже надели шлемы, застегнули комбинезоны и оттого казались очень одинаковыми. Да так оно и было. Все индивидуальное на время полета оставалось на земле — и то, что Петя Стриж в юности тянул срок за взлом пивного ларька, Коля Крымов отсылал половину зарплаты младшей сестре–студентке, а Панарин не на шутку влюбился в Клементину. И то, что за Сенечку Босого регулярно беспокоилась молодая жена, Станчев изобретал самогонный аппарат с дистанционным управлением и речевым синтезатором, а Чебрец учил Магомета стоять на голове. И все такое прочее. Бетонка, словно лазерный луч, отсекала все побочное, и оставались господа альбатросы, короли синего прозрачного воздуха.

— Ну, шантрапа, в седла. — Панарин затоптал окурок. — И помните — нервы на максимум. Набить баки «взвесью» — и драпаем. При отходе, если начнется заварушка, строя не соблюдать, каждый прорывается, как может. Гойда!

Он нахлобучил шлем и был доволен собой — все–таки не оглянулся на галерею.

Семерка шла на реактивных «Сарычах» — при всей своей к ним неприязни Панарин решил, что сейчас потребуется не надежность, а скорость и еще раз скорость. Хапнуть и смыться,

словно карманники, зло подумал он. Предположим, так было не впервые, но тогда чуть позади, чуть выше не маячила тройка истребителей «Славутич»…

— Звенья, вниз, — приказал он. — Заборники открыть, начинаем уборочную кампанию, каковой ответим врагу на третий инфаркт Президента Всей Науки.

— Первое звено пошло.

— Второе начинает.

Собственно, в Ведьминой Гати не было ничего особо страшного всего–навсего протянувшееся на десяток квадратных километров хаотическое нагромождение стометровых стволов неизвестных деревьев, покрытых морщинистой синей корой. В солнечные дни от них поднимались струйки голубоватых газовых пузырьков пресловутая «взвесь», сулившая небольшую революцию в ряде отраслей промышленности и камерный погромчик в квантовой химии. Вот только собирать ее, проклятую, приходилось буквально по пузырьку.

— Первый улов.

— Мы тоже.

— Поздравляю, — сказал Панарин. — Кто первый набьет баки, тут же сматывается домой, и без диспутов мне!

Они принялись за работу. Нужно было угадать по взбухающему меж стволов пузырю — который выброс окажется наиболее богатым, потом изловчиться и загнать его в бак. Это в теории. А на практике — ювелирное маневрирование двигателями, рулями управления и соплами вертикальной тяги, отточенная акробатика.

Семь самолетов выплясывали дикий танец над сплетением гигантских ослизлых стволов. Выше ходили по кругу истребители. Панарин больше следил за окрестностями — все–таки в его задачу входило не столько ловить пузыри, сколько осуществлять руководство операцией. Ничего угрожающего в окрестностях не наблюдалось. Слева мелькнули две искрящиеся золотые змейки, но Сенечка бросил самолет в сторону как раз вовремя, а второй раз змейки не нападали. Правда, никто не знал до сих пор, живые это существа, или особый вид молний, и никто не знал, почему от Ведьминой Гати не вернулось звено Парселла…

Коля Крымов и Чебрец наполнили баки, и Панарин приказал им убираться к чертовой матери. Приказ они выполнили, но еще долго ворчали под нос, удаляясь быстрее звука.

— Я — восьмой, — в который уж раз доложил майор Кравицкий. — Все спокойно, ничего подозрительного.

— С чем вас и поздравляю, — проворчал Панарин. — Ну как

там, оборматы?

— Имею две трети.

— Я тоже.

— У меня половиночка.

— Так, — сказал Панарин, быстро прикинув в уме. — Еще один заход — и сматываемся.

— Черт… — услышал он удивленное оханье майора.

— В чем дело? — рявкнул Панарин.

— Да показалось…

— Тут никогда ничего не кажется, ясно? — сказал Панарин. — Что наблюдали?

— Я все же уверен…

— Что наблюдали? — спросил Панарин.

Майор немного смущенно доложил:

— Наблюдался летательный аппарат — тихоходный биплан устаревшей конструкции, предположительно «Ньюпор–Рон–111» или аналогичного класса. Описал круг, пилот грозил кулаком. Из–за разницы в скорости не установил, когда он появился и в каком направлении исчез.

Панарин ничего не успел сказать — закричал Сенечка:

— Мужики, Ружич!

— Нужно делать ноги.

— Вот именно. Бугор, лучше бы нам драпануть…

«Стервецы, — подумал Панарин, — все о Ружиче вы знаете лучше моего, садились здесь вы раньше меня… в чем вы еще меня опередили?»

— Разговорчики, господа Альбатросы, — сказал он. — Призрака испугались?

— Тим, там на горизонте что–то синее закопошилось.

— Точно!

— Я — восьмой, майор Кравицкий! Наблюдаю на горизонте быстрое перемещение неопознанных синих субстанций! Направление движения предположительно в нашу сторону!

— Все назад! — крикнул Панарин. — Алярм, все назад!

— Звено, я восьмой, — услышал он голос Кравицкого. — Все за мной, прикрываем отход, делай, как я!

Панарин повел своих вверх, надеясь перепрыгнуть на скорости, успеть, миновать это скопище медузообразных синих сгустков, широким фронтом несущихся навстречу. Но чутье подсказывало: мирно разойтись не удастся. Медузы неслись, не уступая самолетам в скорости, истребители мчались им навстречу, и вспыхнули зеленые молнии — Кравицкий стал бить из лазерных пушек. Несколько медуз пыхнули дымными облачками, разлетаясь в клочья, небо заполнили какие–то синие

разлапистые хлопья, извивающиеся, бесконечные алые спирали, искристые разряды. «Славутич» Кравицкого вспыхнул, словно пучок соломы…

Это был лабиринт из невиданных ранее опасностей, и Панарин шестым чувством, драной шкурой сообразил: хлопья неопасны, неопасны и спирали (его самолет только что без всяких последствий рассек крылом одну), а вот сами медузы… Он не понимал, каким образом они уничтожали, но увидел второй «Славутич», дымя, пылая, провалился вниз…

Завертелась бешеная карусель. Судя по прошлому опыту, прорываться следовало по прямой, напролом, на скорости, но Панарин не знал, годится ли сейчас прежний опыт. Выходя из иммельмана, он увидел, как крутящимся клубком огня несется к земле «двойка» Пети Стрижа, как три медузы берут в клещи самолет Сенечки Босого.

— Сеня, вверх, вверх! — закричал Панарин и, нарушая собственный приказ, бросился на выручку, направил машину вниз, выстрелил зондами в ближайшую медузу, надеясь хоть чем–нибудь помочь Сенечке. Перегрузка налила тело ртутью, окаемок шлема впился в щеки, в лоб, Панарин едва увернулся от атакующей медузы, метнулся влево, вниз, вправо, вверх. Пылающий самолет Сенечки вошел в штопор как раз под ним…

То, что бесполезно было бы описывать словами, кончилось. Медузы остались позади. «Как же так, — кричал про себя Панарин, глотая слезы, как же так? Ведь он садился здесь, я уверен, почему же тогда? Потому что истребители?»

Он не видел никого из своих, но они тотчас напомнили о себе. Станчев и Барабаш уже шли на посадку, Леня летел где–то справа, чуть позади, у Таирова сорвало факел, и он тянул в девятый квадрат.

Панарин откинул фонарь, вылез на бетонку. К нему подошли Станчо Станчев и Барабаш. «Сарыч» Лени, затухающе свистя турбиной, остановился в нескольких шагах. У Лени и на этот раз хватило сил бодро выпрыгнуть в своей всегдашней манере. Панарин шагнул к нему, схватил за ремни и притянул к себе.

— Ты что? — Леня хлопнул роскошными ресницами.

— Вот они, твои истребители, падло! — Панарин бросил руку к кобуре, но пальцы наткнулись на широкую ладонь Станчева, накрывшую застежку, и Панарин опомнился. — Вот они, твои истребители…

Леня был бледен:

— Но кто же знал?

А у Панарина пропали вдруг вся злость и ярость на, этого лихого экспериментатора, шагавшего по науке, как киношный

ковбой по условному городу–декорации. Не имел права на эту злость — потому что смолчал, не настоял.

— Ладно, — сказал Панарин, ни на кого не глядя. — Замяли.

— Нет, ты скажи! — крикнул Леня. — Что сделать? Что нужно сделать? Ты только скажи!

— Не знаю, — глядя в землю, сказал Панарин.

Они пошли к диспетчерской. На традиционной лавочке, дожидаясь их, сидел рядом с тремя откупоренными и непочатыми бутылками Брюс, терзал баян. Тут же пили Коля Крымов и Чебрец.

— Держите, ребята. — Брюс отложил баян и стал раздавать бутылки.

Панарин почему–то припомнил, что до того, как удариться в науку, долговязый рыжий Брюс был спасателем на нефтяных промыслах в Северном море.

К Панарину бросилась словно из–под земли возникшая Клементина и стала торопливо его ощупывать, цел ли — что было, в общем–то глупо, но у Панарина не хватило ни сил, ни желания ей препятствовать. Он сел, улыбнулся Клементине застывшими губами, взял у Лени бутылку. Вяло удивился, отчего нет здесь Наташи, Сенечкиной вдовы, и тут же вспомнил она, скорее всего, узнала о случившемся в диспетчерской. Сразу же…

Чебрец вдруг отобрал у Брюса баян и запел во весь голос:

В дом входили в форточку,
выходили в форточку,
все на свете семечки, друзья.
И в края далекие залетели мальчики
корешок мой Сенечка и я…

Он орал, бледный, с остекленевшими глазами. На него жутко было смотреть, и Панарин отвернулся.

Леня толкнул Панарина локтем: у калитки стоял хмурый Адамян. Панарин отодвинул Клементину, шагнул к Адамяну, вытянулся, щелкнул каблуками и откозырял. Он никогда так не делал раньше — такого обычая не было ни в писаных, ни в неписаных законах.

— Честь имею доложить, — сказал он звенящим голосом. — Задание выполнено к вящей славе невыносимо развитой науки. Доставлено приблизительно шесть с половиной кубометров «взвеси». Потери — два самолета, два пилота. Служу науке!

— Плюс звено истребителей — три самолета, три пилота, — тусклым голосом поправил его Адамян, повернулся через правое плечо, двигаясь, как скверно сделанная марионетка, и ушел в калитку.

Панарин мрачно вылил в стакан остатки и отодвинул пустую

бутылку. Зоечка торопливо принесла новую. Установка в третий раз играла по его заказу «Танец маленьких лебедей».

Было еще светло, и в баре сидели человек десять, почти все по одному. Под панаринским столиком спал Коля Крымов, начавший слишком рано. Обер–механик Шлепаков, только что вернувшийся с «материка», показывал друзьям новенький золотой пятнадцатирублевик с профилем Президента Всей Науки, а друзья похабно комментировали это историческое событие.

Поселок скучно притих в ожидании традиционного вечернего загула. Отставку Тарантула он принял с восточным фатализмом. Вслух об этом не говорили, но большинству было просто–напросто наплевать.

Предместкома Тютюнин целыми днями шатался по Поселку в абсолютно непотребном состоянии, бил уличные фонари и стекла, орал песни, разломал об кого–то балалайку, затевал драки с безопасниками и доказывал всем, что он — побочный правнук Емельки Пугачева, а потому еще утворит такое, отчего все содрогнутся. И утворил–таки — в один прекрасный день на крыльце дирекции нашли лист бумаги, на котором его пьяным почерком было размашисто изображено фломастером: «Ну вас всех! Ушел в Вундерланд». Окаемов носился по улицам на завывающем броневике, собирая своих ореликов. Поселок и окрестности прочесывали с овчарками и инфракрасными детекторами. Подобрали два десятка аборигенов, нечаянно отыскали потерявшиеся два года назад ящики с оборудованием, спугнули несколько парочек, но Тютюнина не нашли. Когда пошли на второй заход, одна из овчарок взяла след Предместкома, довела до–предгорий, границы Вундерланда, села и завыла. Дальше никто идти не осмелился.

Бонер и Славичек продолжали свою загадочную жизнь в Зазеркалье. На постаменте памятника Изобретателю Колеса кто–то глубоко выцарапал: «Ну и на хрена изобретал, балда?» Ходили слухи, что Президент Всей Науки пишет воспоминания «Мои встречи с Ньютоном».

Когда Панарин поднял глаза, напротив сидел профессор Пастраго, в джинсах и черном свитере с засученными рукавами. Выше левого запястья синела старая татуировка: «Примем участие в броуновском движении!» Справа на свитере поблескивал разноцветной эмалью и мелкими бриллиантиками какой–то затейливый орден, параметрами схожий с пачкой сигарет.

— А это чей? — без особого интереса спросил Панарин.

— Барбадосский. Я там вылечил от клептомании министра путей сообщения.

— Там еще и пути сообщения есть?

— И разнообразные. Тим, вы по–прежнему ломаете голову: садился Тарантул в Вундерланде или нет? Но какое это имеет значение? Сидеть! — Он прижал ладонью плечо привставшего от удивления Панарина. — Я вот о чем — с чего вы взяли, будто всякий, кто садился в Вундерланде, автоматически станет ангелом с белыми крылышками и нежным альтруистом? Только потому, что он там садился? Чушь какая… С точки зрения психологии. Подумайте… Здесь угощают? — Он осушил непочатую бутылку одним длинным глотком.

— Ну вы и жрать… — уважительно сказал Панарин.

— Привычка, мой дорогой. Давайте песни петь, что ли. Эй, шантрапа, не гомонить! — рявкнул он на расшумевшихся за соседним столиком механиков, взял гитару, тронул струны, и его бархатный баритон без усилий залил бар:

Она была первою, первою, первого
кралей в архангельских кабаках.
Она была стервою, стервою, стервою
с лаком сиреневым на коготках.

Пригорюнившиеся механики почтительно внимали — Варфоломея Бонифатьевича Пастраго стали твердо уважать со времени его первого появления на публике.

— Слушайте, Варфоломей, — сказал Панарин. — У вас случайно несчастной любви в прошлом не имеется?

— Ну да, — неожиданно легко сказал Пастраго. — Дело было еще в студенчестве. Понимаешь, Тим, она в общем–то ничего, но в меня не верила. Напрочь. А неудачников ей не нужно было. И вышла за одного, подававшего ба–альшие надежды. До сих пор он их подает, доцент в Моршанском «Ниимахорка»… Ну и Бог с ним. Счастливая любовь похуже несчастной…

— И вы не боитесь передо мной раскрываться?

— Дурашка Тим! — захохотал Пастраго. — С чего вы взяли, будто психолог обязательно должен быть закрыт, блиндирован, экранирован… Ну, пока. Отправляюсь на блудоход. А завтра поговорим, есть дело…

Он поднялся и побрел к выходу, чуточку покачиваясь, бренча на гитаре:

А сыночек Анатолий
бож–же мой!
Вырастает алкоголик
бож–же мой!
Деньги тянет пылесосом,
на отца грозит доносом…

Панарин пошел к стойке за новой бутылкой. На улице

раздался вдруг короткий и резкий, мощный свист: «фью–ю–ю–ююмм!», и стекла разлетелись вдребезги. Сумерки за окном пронизала сиреневая вспышка. Все повскакивали с мест. Снова свистнуло, чуть подальше, отчего–то заложило уши. Еще одна вспышка. Свист. Вспышка. Свист. Вспышка.

Панарин выскочил на улицу, следом высыпали остальные.

Над Поселком носились какие–то черные квадраты, то снижаясь к самым крышам, то взвиваясь к облакам. К бару бежали, заполошно размахивая руками, несколько человек. Ближайший квадрат спикировал на них, сложился, превратившись в обращенный к земле четырехугольный раструб, похожий на трубу старинного граммофона, в глубине его малиново блеснуло, раздался свист, и прозрачная сиреневая туча накрыла бегущих. Люди замерли в нелепых позах, медленно опустились на асфальт. Раструб, на лету становясь квадратом, понесся дальше.

Рядом захлопали выстрелы — механики палили по неведомому противнику. Никакого результата. Квадрат сложился, сверкнула вспышка, и полоса пламени ударила в стену бара, опалив лица странным сухим жаром. Один из механиков скорчился под стеной нелепой черной куклой, пахнуло паленым.

Они забежали в бар и стали палить в окно по проносящимся квадратам. Не похоже, чтобы тем это приносило хоть какой–то вред, они кружили над улицами, обрушивая вниз смертоносные сиреневые тучи и языки огня, и оттого, что все происходило бесшумно, беззвучно, если не считать предваряющего смерть свиста, было еще страшнее. Где–то поблизости уже полыхал дом. Завывали сирены Главной Диспетчерской, поодаль стрекотали автоматы.

— Что же это. Господи? — шептал механик рядом с Панариным, крестясь.

Патроны у них у всех кончились. Квадраты парили в вечернем небе, нелепые и страшные на фоне ало–голубых облаков, подсвеченных уплывшим за горизонт солнцем, свист вонзался в барабанные перепонки, как буравчик толщиной в волос, сиреневые вспышки, казалось, залили все вокруг нелюдским светом.

«Клементина, — вспомнил Панарин и похолодел. — Эта ее привычка сидеть вечером у коттеджа и любоваться закатом, особенно когда она не в настроении, а уж сегодня оно у нее…»

Отбросив протянувшиеся к нему руки, он выпрыгнул в окно. Прижался к стене, следя за квадратами, улучив момент, перебежал улицу, смаху скользнул под чей–то автомобиль. Наметил следующее укрытие. Высунул голову, словно черепаха

из–под панциря, осмотрелся, броском преодолел несколько метров и оказался под бетонным козырьком у входа в парикмахерскую. Рядом обрушилось на землю и растаяло сиреневое облако квадрат на миг опоздал. «И у тебя, сука, реакция не идеальная, — со злобным удовлетворением подумал Панарин. — Сволочь Тарантул, теперь никаких недомолвок и двусмысленностей, никаких гаданий, все как под микроскопом — Вундерланд ответил на истребители…»

Стекла задребезжали, одно звонко лопнуло — над самыми крышами пронесся истребитель, и засверкали зеленые сполохи лазерных пушек. Спустя некоторое время в небе блеснул огненный шар, и рев турбины перешел в несущийся к земле надрывный вопль, жалобный вой. Невдалеке громыхнул взрыв, взлетел грибообразный столб дымно–желтого пламени.

Над Поселком завывали новые истребители, хлеща воздушной волной по крышам. Еще один самолет упал и взорвался где–то у леса, и Панарин увидел, как квадраты вереницей, с адской скоростью уносятся к горам, в направлении Вундерланда. Тогда он побежал открыто, не таясь уже.

Клементина сидела в шезлонге у крыльца, откинув голову на спинку, почти как давеча в машине, но на этот раз поза была деревянной, мертвой, скованной. Еще не веря, Панарин наклонился над ней, увидел в ее широко раскрытых неподвижных глазах отражение себя и полыхавшего соседнего коттеджа. Ее пульс не прощупывался, сердце не билось.

Рыча что–то невнятное, Панарин подхватил ее на руки и побежал в сторону клиники. Трезвый островок рассудка доказывал, что против ударов Вундерланда не бывает лекарств и лекарей, волны эмоций захлестывали островок, но островок не сдавался, мало того, напомнил вдобавок, что первый удар последовал самое большее через полминуты после того, как профессор Пастраго вышел из бара на площадь.

Задохнувшись, Панарин невольно перешел на шаг. Площадь была ярко освещена, и не только фонарями — в нескольких местах трещали пожары — и Панарин издали увидел запрокинутое горбоносое лицо с ассирийской бородищей. Пастраго лежал навзничь посреди площади, у самого постамента Изобретателя Колеса, гитара валялась рядом, блики плясали на барбадосском ордене. Панарин осторожно опустил Клементину рядом с профессором, сел на холодный асфальт и завыл без слез.

Здесь на него и наткнулась машина «скорой помощи». Дальнейшее виделось словно сквозь густой туман — кажется, он долго не отдавал Клементину и Пастраго, кричал, что они живы, что им нужно полежать немного на свежем воздухе и все

обойдется. Его то ли уговорили, то ли вырубили с большим знанием анатомии. Провал в памяти — и он уже рвался в дирекцию к Адамяну, размахивал разряженным пистолетом, отшвыривал осторожно оттиравших его от входа безопасников. Второй провал — и он уже сидел на влажной земле на окраине Поселка, а совсем рядом уродливым грибом бугрилась лачуга Шалыгана. Окно светилось. Противно визгнула дверь, вышел Шалыган и негромко позвал:

— Тим! Заходите!

9

Глядела с думой тяжкой
на зримые отсель
чугунную фуражку,
чугунную шинель…
С.Наровчатов

Панарин был в домике, куда мечтали заглянуть хоть одним глазком все поголовно, и он в том числе — но сейчас прежние чувства, любопытство в том числе, отодвинулись куда–то очень далеко, как в перевернутом бинокле…

Ничего здесь особенного не оказалось. Одна большая, неожиданно опрятная комната. Железная койка, высокая полка со множеством книг, еще одна, с устаревшими, чуть ли не времен Сперантьева, приборами, заваленный бумагами стол, стул. И все. Над столом две фотографии. На одной, побольше молодая, очень красивая женщина.

Другую, поменьше, Шалыган торопливо завесил полотенцем, словно зеркало в доме покойника. Жестом пригласил Панарина. Панарин сел на застеленную стареньким одеялом постель. Осмотрел себя — пуговицы на рубашке оборваны все до одной, кобура пуста, кулаки разбиты в кровь.

— Хотите спирта, Тим?

— Давайте.

Шалыган принес большую черную бутылку, налил в маленькие стаканчики из очень толстого стекла — старинные лабораторные, сообразил Панарин.

— Ну что же, за светлую память?

— А может?..

— Не терзайтесь несбыточными надеждами, Тим. Вундерланд есть Вундерланд. Так что уж лучше сразу… — Он прикрыл глаза и нараспев продекламировал:

Прощай. Поезда не приходят оттуда.
Прощай. Самолеты туда не летают.
Прощай. Никакого не сбудется чуда.
А сны только снятся нам, снятся и тают…

— Кто это? — Панарин кивнул на женский портрет.

— Жена. Она погибла.

— Как?

— Тим, нам не сообщали как… — Шалыган прищурился, и на Панарина явственно пахнуло холодом. — И не сообщали когда.

— Во–от оно что… — протянул Панарин. — Слушайте, кто вы такой, наконец? Если уж вы меня впустили, я не уйду, пока…

— Вы правильно догадались тогда, — сказал Шалыган. — Просто в то время татуировок–альбатросов не было еще. Мы носили жетоны.

Он сдернул полотенце со второй фотографии.

Молодой, не старше Панарина человек в комбинезоне устаревшего фасона улыбался, положив руку на тупорылый капот биплана. Панарин знал эту фотографию. Она была во всех посвященных Вундерланду учебниках и книгах. Один из тех, что стали легендой, едва успев возмужать, — полковник аэрологии в двадцать и генерал–лейтенант в двадцать пять, воздушный хулиган и воздушный трудяга, удачник, фаворит, лауреат и кавалер.

— Нет! — У него перехватило горло. — Быть не может! Вы — Ракитин? Так не бывает!

— Показать документы?

— Нет… но… нет… А я ведь так и не докопался, что с вами сталось, невозможно доискаться… Вы — Ракитин? Легенда? Да как это?

— Легенда и апокриф. Выпейте, Тим. Не помешает, право.

— Значит, вас тоже…

— Нет. Меня как раз нет. Как бы вам объяснить, Тим… Я сам ушел отовсюду. Я знаю людей, которые испугались тогда на время, и людей, которые испугались навсегда. Но в моем случае — не испуг. И не озлобление… а если и озлобление, то не как самый важный компонент. Понимаете, когда ЭТО началось, когда арестовали Светлану, когда стали разводить черт–те что вокруг Вундерланда, дня меня рухнул мир, в котором я жил и в который привык верить. Казалось, все кончено. Навсегда. Собственно, если разобраться, я всего–навсего вошел в транс и посейчас из него не вышел. Пожалуй, это наиболее точная формулировка.

— И появился Шалыган, — сказал Панарин. — Вы многое могли бы сделать, но предпочли разыгрывать юродивого — мелкие подачки раз в месяц… Вряд ли я имею право вас осуждать, и все же, все же… Да, другие в конце концов сделали почти все, что могли бы сделать вы, прошли почти все намеченные вами трассы, но никуда не деться от этого «почти». С вами добились бы большего. Вы не должны были так, генерал…

Теперь понятно: ваша «адская проницательность» — всего лишь отблески сиявшего когда–то мозга Ракитина. В общем, я вас не осуждаю, но и оправдать не могу, Степан Михайлович. Другим пришлось и тяжелее, но они работали. Извините, я резок, но у меня только что… я… Нельзя же переносить горе и обиду за потерю любимого человека, за все вывихи на страну, систему, науку. Возможно, я не в состоянии осознать в полной мере то, что вам довелось пережить, но… Он же был не только ваш — ваш талант. Я надеюсь, вы не считаете все, что я говорю, плакатной демагогией?

— Отнюдь. — Шалыган задумчиво вертел пустой стаканчик. — Поздравляю вы наконец–то взрослеете, Тим… Как бы там ни было, жизнь моя прожита, и поздно начинать судебный процесс.

— Да, — сказал Панарин. — Поздно.

— Вы меня осуждаете все же?

— Я уже говорил — не имею права. Не осуждаю, но и не оправдываю. Я просто не привык думать над такими вещами, понятия не имел, что придется серьезно думать над чем–то, не относящемся к полетам, а тем более — думать над Прошлым… Так вышло, что мое поколение какое–то… Ну не умею я рассуждать о таких вещах! Налейте мне на дорогу. Я в клинику.

— Давайте я перевяжу вам руки.

— Чепуха, не стоит.

— Хотите что–нибудь сказать на прощанье?

— Да, — сказал Панарин. — Вы мне понадобитесь. Очень скоро. Есть одна идея…

Он прошел по освещенной мертвенно–молочным светом ламп дневного света бетонированной дорожке и постучал в стеклянную дверь. Руки кровоточили. Он стал ощущать боль.

Дверь отпер доктор Либединский, встрепанный, в мокром и мятом халате. Ничего не говоря, он провел Панарина по длинному, выложенному голубыми кафельными плитками коридору, втолкнул в какую–то комнату и усадил на белый диванчик. Достал спирт, плеснул в две рюмки. Панарин выпил и молча ждал. В виски ему бил заполошный немой крик: «Чуда!»

— Чудес не бывает, — сказал доктор. — Понимаете, Тим? Это было… сразу. Как молния. Со всеми. Никто даже не успел понять и испугаться.

— Молния, — повторил Панарин. — Мелодия. Метроном. Месть…

— Хотите, я сделаю вам укол. Вы тут же уснете.

— Согласен, — сказал Панарин. — При одном условии — если завтра вы мне вскроете череп, вывалите на стол воспоминания и прилежно отсортируете черные. Ах, не можете?

Либединский размахнулся, обливая себя спиртом, и грохнул рюмку об пол.

— А может ли это Бог? — прорычал он. — Если он есть, сволочь старая. Тим, ну зачем вы сунулись туда с пушками… «Солдаты науки». Вот и довоевались…

10

Время застыло;
его ранило ожиданье.
Стрелы твои впились
в крылья моих ожиданий.
Я.Гильен

День был солнечный. Облака разогнали, но самолеты все равно не летали. Никто не запрещал полетов, никто не разрешал их — просто все почему–то ничего не делали…

Динамики Главной Диспетчерской ревели:

Афиши старого спектакля
мы в речку выбросим, смеясь.
Вина не пролили ни капли,
но жизнь до капли пролилась.

Флаг над зданием дирекции был приспущен. Погибли семнадцать человек, сгорели три коттеджа, лаборатория, ангар с девятью «Кончарами», два истребителя (пилоты катапультировались) и шесть машин. На доске объявлений уже висела в траурной рамке телеграмма Президента Всей Науки, выражавшего искренние соболезнования.

На крышах ближайших зданий возились столичные механики, устанавливавшие лазерные зенитки. Приказом Адамяна был создан Отдел Активной Обороны, наделенный обширными полномочиями.

«Так оно и начинается, — думал Панарин. — Сначала скромно — посты раннего обнаружения и оповещения на вершинах гор и зенитки на крышах, потом — плавная замена «Сарычей» «Славутичами». И не успеешь моргнуть, как наиболее перспективные трассы автоматически превращаются в направления главного удара, а полетный журнал — в хронику пикирующего бомбардировщика. И все такое прочее. Потенциальный противник, упреждающие удары, превосходство в огневой мощи. Фронт науки, солдаты науки, на переднем крае науки. А ведь в списке военных терминов существует еще и «капитуляция»… Но каждый генерал надеется, что до нее не дойдет. Однако ж доходит порой».

Панарин решительно поднялся. Брюс запустил полонез Огинского. По площади мотался пьяный Балабашкин, горланя. Из диспетчерской вышел Брюс, поймал Балабашкина и молча заехал

ему по шее. Балабашкин вырвался, юркнул в проулок.

К некоторому удивлению Панарина, его беспрепятственно пропустили в директорский кабинет, где, кроме Адамяна, пребывал вальяжный брюнет неопределенного возраста, в очках с затемненными стеклами и серой шевиотовой тройке с золотыми аксельбантами, серебряными Лейбницами на лацканах и золотым Президентом Всей Науки на рукаве.

— Панарин, — сказал ему Адамян.

— Очень рад. — Брюнет проворно выскочил из кресла и подошел к Панарину. Неумело встал перед ним навытяжку. — Наслышан, полковник. Самохвалов, лейб–сьянс–референт Президента Всей Науки. Позвольте от имени и по поручению вручить… — он извлек шильце, раскрыл красную коробочку и с привычной сноровкой привинтил на лацкан панаринской куртки новенький орден Бертольда Шварца первой степени. — Поздравляю. Слышал о вашем несчастье. Печально. Примите мои искренние соболезнования. Нужно работать дальше, однако. Каждому свое, так сказать. Мертвым — почетно покоиться, живым работать на благо невыносимо развитой науки. Память о павших за науку сохранится навсегда. Ну, а теперь, так сказать, оставляю вас, — он похлопал Панарина по плечу и выскользнул за дверь.

— После обеда приезжает комиссия, — сказал Адамян. — И молодое пополнение. У тебя будет много работы, Тим.

«Это точно, — подумал Панарин. — Но совсем не той, которую ты от меня ждешь… Господи, ну почему так получается? Почему люди меняются в худшую сторону, едва заполучат регалии, кресла, лавровые венки? Два поэта, бывшие кумиры студенческих толп, заматерев, усердно опускали железобетонный шлагбаум перед бессмертным бардом, но на его смерть не замедлили откликнуться дерьмово–профессиональными стихами. Автор нескольких неплохих детективов с течением лет начинает гнать километрами удручающее словоблудие, безбожно фальсифицируя не такую уж давнюю историю, и его герой постепенно переходит из мальчишеских сердец в беспощадные анекдоты. Звезда фантастики периода оттепели отращивает сталинские усы и чурбаном повисает на ногах литературы, плодя и поощряя собственных эпигонов. Конник из народных песен становится палачом тех, кто имел несчастье оказаться умнее его, партийные вундеркинды с большим будущим превращаются в «крестных отцов», то ли это в самом деле происходит от голодного детства и комплекса неполноценности, то ли виноваты другие причины, которые наше поколение не в состоянии определить, потому что нас не учили думать над такими вещами?»

— Почему ты молчишь? — спросил Адамян.

Панарин стоял на красной дорожке посреди огромного кабинета и смотрел на Адамяна. «Вот так, — думал он. — Зенитки на крышах. И все такое прочее. Мы усердно ищем в их поступках и действиях мотивы и логику — а ничего этого нет. Просто–напросто они не чувствуют Времени. Они мыслят сегодня, как лет двадцать назад, поступают, как лет двадцать назад, их время умерло, но они, накинув его обрывки на плечи, как плащи Воланда, бредут вперед, а вернее, в никуда, и мы тащимся за ними под этими плащами, недодумавшись вытащить головы из–под ветхой ткани. А впереди — обрыв, и мы летим с откоса, а те, кто вел нас, продолжают слепо шагать по воздуху, потому что они уже — не люди, призраки, неизвестно почему казавшиеся нам почтенными старцами из плоти и крови… Но ведь нужно же когда–то опамятоваться!»

Он молча повернулся, дошел до двери, закрыл ее за собой, обитую натуральной кожей, с небольшой медной дощечкой. Прошел по улицам, которые в преддверии грядущего юбилея Поселка стали украшать транспарантами и портретами Президента Всей Науки. У себя в комнате опустил на окна черные шторы и включил кинопроектор — кассеты с цветной пленкой. Он забрал вчера из коттеджа Клементины. Закурил. Облепленные пластырем пальцы плохо слушались.

Тройка «Сарычей», удаляясь от зрителя, взмывает в небо, самолеты превращаются в черточки, черточки — в точки, и точки тают в безмятежной лазури.

Леня Шамбор, весело стуча кулаком по крылу своего «Кончара», что–то заливает ему, Панарину.

Идет на посадку двухместный «Аист», марево раскаленных выхлопных газов размывает четкие контуры крыльев и капота.

Клементина у кабины «Сарыча» примеряет шлем. Шлем ей велик, и Клементина смеется (снимал Леня).

Крупный план — стучит на столе метроном, размеренно ходит вправо–влево блестящая стрелка.

Сенечка Босый озабоченно проверяет парашют.

Брюс с гитарой пародирует какую–то эстрадную знаменитость, вокруг веселятся механики.

Хмурый Панарин изучает карту Вундерланда.

К зданию дирекции, удаляясь от оператора, уходит Адамян.

Рассаживаются по лимузинам члены комиссии.

Станчев со Стрижом играют в шахматы.

Клементина, балансируя раскинутыми руками, с комическим ужасом на лице идет по высокому и узкому бетонному поребрику (снимал Панарин).

Взлетает звено «Кончаров».

Профессор Пастраго с барбадосским орденом на груди откупоривает бутылку шампанского.

Клементина у магазина «Молоко» (снимал Панарин).

В небо взмывает «Кончар».

Панарин остановил проектор, изображение замерло — красивый, гордый самолет.

Панарину тяжело было решаться. Невыносимо тяжело. Все равно что убиваешь друга, все равно что стреляешь себе в висок. Наверное, нужно как–то иначе, подумал он. Но как? Наверняка можно по–другому, но мы не умеем, а не ошибается лишь тот, кто ничего не делает…

Панарин сидел в темной комнате, смотрел на застывший на экране самолет и в который уж раз повторял про себя одну и ту же фразу — из речи, что произнес Джон Кеннеди, вступая на пост президента:

«Не для того мы здесь, чтобы клясть тьму, а для того, чтобы возжечь светильник».

Честное слово, в этом был смысл.

Он снял трубку и набрал номер.

— Шамбор слушает, — раздался возбужденный Ленин голос.

— Ну как?

— Мы с дедом готовы. Брюс тоже.

— Не передумал?

— Нет.

— Тогда по расписанию, — сказал Панарин. — Поехали!

11

А может это совесть, потерянная мной?

А.Вознесенский

Фредерик Дуглас Брюс, весьма и весьма отдаленный, но все же потомок древних шотландских королей, сноровисто работая коротким копьевидным ломиком с резиновой рукояткой, крушил пульты Главной Диспетчерской.

Он трудился споро, без излишней нервозности, как десять лет назад на пылающей датской буровой платформе, но и чуточку торопливо все же — в забаррикадированную дверь давно молотили чем–то тяжелым, и нужно было поторапливаться.

Трещали синие разряды, мерзко пахло горелой изоляцией, хрустело, дымило, дребезжало, на стене вразнобой мигали разноцветные лампы и надрывались звонки ничего не соображавших автоматов контроля. Брюсу было безмерно жалко ломать тонкие и умные приборы, которые он знал насквозь и любил, но он верил, что сейчас иначе нельзя.

Все. Хватит, пожалуй. Брюс швырнул лом в экран лазерного

локатора, смахнул пот со лба, медленно стянул оранжевые резиновые перчатки. Смотрел в окно, на синие вершины. Затрещали петли, дверь рухнула, разметывая баррикаду из столов и кресел. Брюс сказал несколько слов в маленькую рацию, обернулся к направленным на него стволам. Пока к нему шли, он стоял и улыбался усталой и гордой улыбкой человека, добросовестно и вовремя выполнившего трудную нужную работу.

12

Перестаньте, черти, клясться на крови…

Б.Окуджава

Они бежали вдоль двойной шеренги истребителей, бросая в воздухозаборники изготовленные из зондов магнитные мины, которые сразу же прилипали где–то там, в теплой темноте. Время от времени останавливались, оборачивались и стреляли по преследующим их безопасникам.

Леня, Ленечка Шамбор, любимец молодых поварих и ученых дам средних лет, несмотря на всю осознаваемую им серьезность ситуации, веселился от души, сшибая пулями фуражки с голов преследователей. В голове у него шалыми мартовскими зайцами плясали кадры из вестернов — такая уж это была натура.

Шалыган, он же бывший генерал–лейтенант аэрологии, он же бывший пилот из легенды — Ракитин, наоборот, относился к перестрелке чрезвычайно обстоятельно и серьезно. В руке у него был именной пистолет с серебряной пластинкой на рукоятке, врученный некогда самим маршалом Н. Когда арестовали Светлану и маршал не помог, Ракитин сгоряча хотел было выбросить пистолет в сортир, но решил подождать, и правильно сделал буквально через три дня маршал Н. получил высшую меру социальной защиты как агент семи империалистических разведок и трех эмигрантских подрывных центров.

Перед глазами у бывшего Ракитина стояла та ночь, перевернутая квартира, равнодушные лица конвоиров, свое собственное унизительное бессилие, бледная Светлана и откровенно раздевавший ее взглядом Лев Шварцман, карающий меч и сокол.

Сейчас у всех у них, тех, что бежали следом, были лица Левки Шварцмана. Плача от радости, Шалыган стрелял и хрипло рычал всякий раз, когда попадал и перебегавшая вдали фигурка застывала на земле.

На горячей бетонке лежал капитан Окаемов, зажав обеими руками живот. В животе раскаленным угольком засела пуля из шалыганова пистолета. Пуля была неправильная, по высшей справедливости она должна была угодить в кого–нибудь из тех, карающих мечей и соколов, что частью расстреляны, а частью

доживают на хорошей пенсии — в любого из них, но не в Окаемова, которого отец зачал на радостях, вернувшись из тех краев, где в вечной мерзлоте лежат мамонты и люди, и мамонтов мало, а людей настолько много, что некоторые в них не верят (но там нет ни маршала Н., ни Светланы Ракитиной, а где они — дьявол весть).

Капитан Окаемов лежал и тихо плакал от боли и от растерянности: он никак не мог понять, в голове не укладывалось — за что его? Почему именно его, почему вообще это происходит? Он беззвучно шевелил губами, никто в суматохе не обращал на него внимания, но ему–то казалось, что он кричит во всю глотку волевым командирским голосом: «Прекратить огонь!».

Выстрелы в самом деле смолкли, и капитан Окаемов, не понимая, что они смолкли для него одного, удовлетворенно улыбнулся, умирая.

В здравом рассудке Шалыган никогда не поступил бы так, но он уже не был собой, безумие, замешанное на долголетней боли, ненависти и страхе, поднялось из глубин сознания и залило череп, как заливает вода тонущий корабль. Генерал–лейтенант аэрологии Ракитин, лауреат и кавалер, талант, работяга и удачник, окончательно перестал существовать. Остался один Шалыган.

Пуля попала ему в грудь. Леня подхватил старика под мышки и волоком оттащил за истребитель. Нагнулся.

— Будьте мужественны, Ридли, — четко выговорил Шалыган. Божьей милостью мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда…

Среди достоинств Лени никогда не числилось знание исторических афоризмов, и он попросту решил, что старик бредит перед смертью. Убедившись, что это конец, он опустил Шалыгана на бетонку, отсалютовал наспех и побежал дальше.

Когда пуля полоснула по шее, он в первый момент подумал: это неправильно, так не играют. Крови было так много, что она казалась ненастоящей киношной краской. Потом пришла боль, но он держался, бежал, зажимая рукой с пистолетом шею, бросая другой мины. Осталось три, две, одна… Все. Он отшвырнул пистолет, достал плоскую коробочку и положил палец на кнопку.

Лязгнул металл о металл. Из–за ближайшего самолета навстречу ему выскочил бледный от испуга и азарта юный сержантик. Грохота очереди Леня не услышал — бетонка стремительно неслась в лицо. Цепенеющий палец придавил кнопку, и шеренги истребителей вспучились алыми снопами пламени.

…Панарин услышал грохот взрыва и заторопился. Пальцы

проворно находили нужные контакты, соединяли проводки, подключали новые. Взрывное устройство в компьютере Отдела Активной Обороны он уже почти смонтировал, оставались пустяки. За дверью гремели выстрелы — Коля Крымов поливал коридор из отобранного у охранника автомата, удерживая столпившихся за углом безопасников.

Автомат вдруг захлебнулся, и затопотали бегущие. Панарин знал, что им еще придется повозиться с дверью, но на всякий случай достал пистолет из кобуры, продолжая другой рукой соединять клеммы.

Видимо, Тарантул успел все же подключить какие–то защитные системы. Взрыв бухнул преждевременно. Панарин пролетел спиной вперед через зал, ударился об стену и сполз по ней на пол. В коридоре притихли.

Обморок длился не долее нескольких секунд. Панарин провел ладонью по лицу, смахнул кровь и копоть и с радостью убедился, что глаза в порядке просто густой дым заволок зал. В коридоре опомнились, и град ударов обрушился на дверь.

Панарин добрался до окна, высадил его всей тяжестью тела и спрыгнул со второго этажа. Упал. Вскочил. Рвущая ветвистая боль в боку скрючила его, но он страшным усилием выпрямился и заковылял, шатаясь, к зданию дирекции. Кровь капала на асфальт, в висках ломило, голова кружилась. Может быть, это была его последняя дорога. Может быть, нет.

Держась за стену, он вышел на площадь. Там поблескивала шеренга знакомых лимузинов, у головного сгрудилась комиссия в полном прежнем составе, а чуть подальше стояли у огромного голубого автобуса человек тридцать — все с чемоданами, все в необмятой летной форме, очень молодые. Все: и комиссия, и новобранцы аэрологии, — смотрели в сторону летного поля, где что–то с грохотом рвалось и в вышину плыли дымы.

Держа пистолет в опущенной руке, Панарин давил на спуск, пока не кончилась обойма. Пули с визгом рикошетили от асфальта и улетали неизвестно куда. Своего он добился — все, кто был на площади, повернулись к нему, он увидел недоумевающие, испуганные, удивленные лица, криво улыбнулся и оттолкнулся ладонью от шершавой бетонной стены.

Стояла мертвая солнечная тишина. Все смотрели на Панарина, а он, шатаясь, едва удерживая равновесие, брел к ним, перемазанный в крови и копоти, с застывшей на лице улыбкой и поблескивающим на лацкане прожженной куртки орденом Бертольда Шварца первой степени, брел и мучительно пытался найти слова, чтобы рассказать Истину.

Седой краснолицый Тихон что–то повелительно рявкнул,

махая лапищей, и несколько молодых пилотов, нерешительно потоптавшись, бросились к Панарину. Панарин приободрился, хотя боль ветвилась, вгрызалась, рвала тело, и что–то стеклянно позвякивало в мозгу. Он был обязан найти нужные слова, иначе получится, что все делали зря, он был обязан сказать все от себя и от тех, кто уже ничего никогда не скажет, кто улетел и никогда не вернется назад. Что?

Панарин медленно протянул пронизанную болью руку, чтобы опереться на плечо молодого пилота, выдохнул сквозь розовую пену на губах:

— Господа альбатросы! Отлетались!

АКАДЕМИЯ НЕВООБРАЗИМО РАЗВИТОЙ НАУКИ

СЕКТОР ИЗУЧЕНИЯ СТРАНЫ ЧУДЕС

Всему летному, тучному и инженерно–техническому составу Поселка

Коллеги! Друзья!

Долгие годы вы с неиссякаемой энергией и яркой храбростью штурмовали тайны Страны Чудес и добились немалых успехов на тернистом пути познания в эпоху невообразимо развитой науки. Потери не страшили вас. Трудности не пугали. Тлетворные веяния не затронули. Ваши мужество, стойкость, летное мастерство, нравственная и душевная чистота, бескорыстная страсть к познанию, высокие морально–этические качества, идеологическая зрелость надолго останутся примером для молодежи, воспитателями которой вы успешно являетесь.

Наука бесконечно вам благодарна и безусловно незамедлительно впишет ваши имена в свою золотую книгу славы. Позвольте в день юбилея Поселка поздравить вас с достигнутыми успехами и искренне пожелать новых. Слава Науке!

Президент Всей Науки, Архистратиг Аэрологии, Почетный

Пифагор, Верный Ломоносовец и прочая, и прочая (подпись)

Телеграмма была на бумаге верже, подпись нацарапана собственноручно, бланк лежал в планшете из кожи редкого животного йесина, а планшет пристегнут к личному лейбсьянс–адьютанту Президента. Лощеный, весь в золотых аксельбантах, золотых Ньютонах, серебряных Декартах, он вылез из самолета фельдсвязи и, не обращая внимания на близкие пожарища, гордо маршировал к выходу с летного поля. Аэродромные собаки таращились на него, лениво побрехивая вслед, и никто еще, в том числе он сам, не знал, что в этот миг очень далеко отсюда полтора десятка серьезных хвороб одержали наконец верх над казавшимся изначальным и бессмертным, но тем не менее очень старым и недужным человеком, Героем Науки и анекдотов,

холодеющей рукой сжимавшим своего плюшевого медведика, украшенного платиновым ошейником с бриллиантами; что пришла та, что приходит за всеми людьми, как ни спасайся от нее уверениями в собственном бессмертии, и Президент Всей Науки — умер, умер, умер…

Первая встреча, последняя встреча

Паровоз заухал, зашипел, зафыркал, пустил дым, дернул разноцветные вагоны, и они поплыли мимо поручика Сабурова, навсегда уносясь из его жизни. Поезд длинно просвистел за семафором, и настала тишина, а дым развеяло в спокойном воздухе. «Чох якши», – мысленно сказал себе по–басурмански Сабуров, и от окружающего благолепия ему на глаза едва не навернулись слезы. Для здешних обывателей тут было скучное захолустье, затрюханный уезд, забытый Богом и губернскими властями. А для него тут была Россия.

Ему вдруг неизвестно почему показалось, будто все это уже было в его жизни – красное зданьице вокзала с подведенными белыми полуколоннами и карнизами, пузатый станционный жандарм, изящная водонапорная башенка с кирпичными узорами поверху, сидящие поодаль в траве мужики, возы с распряженными лошадьми, рельсы, чахленькие липы. Хотя откуда ему взяться, такому чувству, если Сабуров здесь впервые?

Он подхватил свой кофр–фор и направился в сторону возов – путь предстоял неблизкий, и нужно было поспешать.

И тут сработало чутье, ощущение опасности и тревоги – способность, подаренная войной то ли к добру, то ли к худу, награда ее и память. Испуганное лицо мужика у ближнего воза послужило толчком или что другое, но поручик Сабуров быстро осмотрелся окрест, и рука было привычно дернулась к эфесу, но потом опустилась.

Его умело обкладывали.

Пузатый станционный жандарм оказался совсем близко, позади, и справа надвигались еще двое, помоложе, поздоровше, ловчее на вид, и слева двое таких же молодых, ражих, а спереди подходили ротмистр в лазоревой шинели и какой–то в партикулярном, кряжистый, неприятный. Лица у всех и жадно–азартные, и испуганные чуточку – как перед атакой, право слово, только где ж эти видели атаки и в них хаживали?

– Па–атрудитесь оставаться на месте!

И тут же его замкнули в плотное кольцо, сторожа каждое движение. Сапогами запахло, луком, псарней. А Сабуров опустил на землю кофр–фор и осведомился:

– В чем дело?

Он нарочно не добавил «господа». Много чести.

– Патрудитесь предъявить все имеющиеся документы, – сказал ротмистр – лицо узкое, длинное, щучье.

– А с кем имею?

Он нарочно не добавил «честь». А вот им хрен.

– Отдельного корпуса жандармов ротмистр Крестовский, – сообщил офицер сухо и добавил малую толику веселее: – Третье отделение. Изволили слышать?

Издевался, щучья рожа. Как будто возможно было родиться в России, войти в совершеннолетие и не слышать про Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии! Лицо у ротмистра Крестовского выражало столь незыблемое служебное рвение и непреклонность, что сразу становилось ясно: протестуй не протестуй, крой бурлацкой руганью или по–французски поминай дядю–сенатора, жалуйся, грози, а то и плюнь в рожу – на ней ни одна жилочка не дрогнет, все будет по ее, а не по–твоему. И поручик это понял, даром что за два года от голубых мундиров отвык – они в действующей армии не встречались. Теперь приходилось привыкать наново и вспоминать, что возмущаться негоже – глядишь, боком выйдет…

Документы ротмистр изучал долго – и ведь видно, что рассмотрел их вдоль–поперек–всяко и все для себя определил, но тянет волынку издевательства ради. «А орденка–то ни одного, а у меня три, и злишься небось, что в офицерское собрание тебя не пускают», – подумал поручик Сабуров, чтобы обрести хоть какое–то моральное удовлетворение.

– По какой надобности следуете? Из бумаг не явствует, что по казенной.

– А по своей и нельзя? – спросил поручик, тараща глазенки, аки дитятко невинное.

– Объясните в таком случае, – сказала Щучья Рожа. Бумаги пока что не отдала.

Поручик Сабуров набрал в грудь воздуха и начал:

– Будучи в отпуске из действующей армии до сентября месяца для поправления здоровья от причиненных на театре военных действий ранений, что соответствующими бумагами подтверждается, имею следовать за собственный кошт до города, обозначенного на картах как Губернск, и в документах таковым же значащегося…

Он бубнил, как пономарь, не выказывая тоном иронии, но с такой нахальной развальцей, что ее учуяли все, даже состоящий при станции пузатый.

– …в каковом предстоит отыскать коллежского советника вдову Марью Петровну Оловянникову для передачи оной писем и личных вещей покойного сына ее, Верхогородского драгунского полка подпоручика Оловянникова, каковой геройски пал за Бога, царя и Отечество в боях за город Плевну и похоронен в таковом…

– Ради Бога, достаточно, – оборвал его ротмистр

Крестовский. – Я уяснил суть анабазиса вашего. Что же, дали мы маху, господин Смирнов?

Это тому, партикулярному. Партикулярный чин (а видно было, что это не простой уличный шпион – именно статский чин) пожал плечами, вытянул из кармана потрепанную бумагу:

– Что поделать, Иван Филиппович, сыск дело такое… Смотрите, описание насквозь подходящее: «Роста высокого, сухощав, белокур, бледен, глаза голубые, в движениях быстр, бороду бреет, может носить усы на военный манер, не исключено появление в облике офицера либо чиновника». Подполковника Гартмана, царство ему небесное, наш как раз и успокоил, в офицерском мундире будучи…

– Интересная бледность – это у девиц, – сказал поручик Сабуров. – А я, по отзывам, всегда был румян.

– Может, это вы попросту загорели в целях маскирования, – любезно сообщил господин Смирнов. – А несчастного Гартмана бомбою злодейски убивая, были бледны.

– Господин Гартман, надо полагать, из ваших? Отдельного корпуса то бишь?

– Именно. Питаете неприязнь к отдельному корпусу?

– Помилуйте, с чего бы вдруг, – сказал поручик Сабуров. – Просто я, как–то так уж вышло, по другой части, мундиры больше другого цвета – хоть наши запылены да порваны иногда…

– Каждый служит государю императору на том месте, где поставлен, – сказала Щучья Рожа.

– О том самом я и говорю, – развел руки поручик. – Чох якши эфенди.

Губы Щучьей Рожи покривились:

– Па–атрудитесь в пределах Российской империи говорить на языке, утвержденном начальством! Патрудитесь получить документы. Можете следовать далее. Приношу извинения, служба.

И тут же рассосались жандармы, миг – и нету, воротился на свое место пузатый станционный страж, Крестовский и Смирнов повернулись кругом, будто поручика отныне не существовало вовсе, и Сабуров услышал:

– Отправить его отсюда, Иван Филиппыч, чтоб под ногами не путался.

– Дело. Займитесь, – кивнул Крестовский, ничуть не заботясь, слушал их Сабуров или нет. – Выпихните в Губернск до ночи сего вояжера. Черт, однажды уже нахватались в заграницах такие вот гонористые, дошло до декабря… Закрыть бы эту заграницу как–нибудь.

Смешок:

– Так ведь императрицы – они у нас как раз из заграниц, Иван Филиппыч…

– Все равно. Закрыть. Чтоб ни туда и ни оттуда.

– Ну, этот–то – от турок. Азия–с.

– Все равно. И там свои вольтерьянцы. Правда, там их можно на кол, попросту…

И ушли. А Сабуров остался в странных чувствах – было тут что–то и от изумления и от гнева, но больше всего от ярости. Выглядел поручик в этой истории как нижний чин: ему вахмистр хлещет по роже, а он в ответ – упаси Боже, руки по швам и молчи…

Плюнул и решил выпить водки в буфете. Подали анисовую, хлебушка черного, русского (у болгар похож, а другой), предлагали селянку, но попросил сальца – чтоб с мясом и торчали зубчики чеснока, пожелтевшего уже, дух салу передавшего. Выпил рюмку. Еще выпил. Медленно возвращалось прежнее благодушное настроение.

О чем шла речь, он сообразил сразу. Давно было известно по скупым слухам, что в России, как в Европе, завелись революционеры. Как в Европе, кидают бомбы и палят по властям предержащим, пытаются взбунтовать народ, но ради чего это затеяно и кем – совершенно непонятно. Никто этих революционеров (называемых также нигилистами) не видел, никто не знает, много их или мало, то ли они в самом деле наняты Бисмарком, жидами и полячишками, то ли, как пятьдесят четыре года назад, мутню начинают люди из тех, кто, по тем же слухам, вписан в Бархатную книгу – а разве такие люди наемниками быть могут? Но вот какого рожна им нужно, если и так выполнено все, за что сложили головы полковник Пестель сотоварищи, – крестьян освободили, срок службы сбавили и произвели всевозможные реформы? Поручик Сабуров не знал ответов на эти вопросы. В Болгарии все было просто и ясно, там он понимал все сверху донизу, а в этих слухах сам черт ногу сломит…

– Господин Сабуров!

Смирнов стоял над ним, улыбаясь как ни в чем не бывало.

– Собирайтесь, господин Сабуров. Оказию мы вам подыскали. Не лакированный экипаж, правда, ну да разве вам привыкать, герою суровых баталий? Никто нас не упрекнет, что оказались нечуткими к славному представителю победоносного воинства российского.

Сабуров хотел было ответить по–русски и замысловато, но посмотрел в эти склизкие глаза и доподлинно сообразил, что в случае отказа или ссоры следует ожидать любой пакости. Да Бог с

ними… Лучше уж убраться от них подальше. Он вздохнул и полез в карман за деньгами – уплатить буфетчику.

– А вот скажите, господин Смирнов, – решился он, когда вышли на воздух. – Эти ваши… ну, которые бомбами…

– Государственные преступники? Нигилисты?

– Эти. Что им нужно, вообще–то говоря?

– Расшатать престол в пользу внешнего врага, – веско сказал Смирнов. – Наняты Бисмарком, жидами и ляхами, – он подумал и добавил: – и французишками.

Все вроде бы правильно, и Смирнов был человеком государственным, облеченным и посвященным, да уж больно мерзкое впечатление производил сыщик, нюхало, стрюк, разве может такой говорить святую правду?

Оказия была – запряженная тройкой добрых коней купецкая повозка из Губернска. Гонял ее сюда купец Мясоедов со снедью для господского буфета – то есть купец владел и хозяйствовал, а гонял повозку за сто верст приказчик Мартьян, кудряш–детина, если убивать – только из–за угла в три кола. Да еще безмен с граненым шаром под рукой, на облучке. Иначе и нельзя в этих глухих местах, где вовсю пошаливают, такой приказчик тут и надобен…

Сенцо было в повозке, Мартьян его покрыл армяком, повозка – вроде ящика на колесах, чего ж не ехать–то?

На прощание попутал бес, поручик достал золотой, протянул Смирнову с самой душевной улыбкой:

– За труды. Не сочтите…

Глядя Сабурову в лицо, Смирнов щелчком запустил монетку в сторону, в лопухи – блеснул, кувыркаясь, осанистый профиль государя императора. Сыщик улыбнулся, пообещал:

– Бог даст – свидимся…

И ушел.

– Это вы зря, барин, ваше благородие, – тихонько, будто самому себе, не особо–то и глядя в сторону седока, сказал Мартьян. – Эти долгопамятные…

– Бог не выдаст – свинья не съест. Кого ищут?

– А кого б ни искали, все лишь бы не нас. – Он весело блеснул зубами из цыганской бородищи. – Тронемся, ваше благородие, аль как? Три дня здесь торчу, пора б назад. Мясоедов в зверское состояние придет.

– А что ж ты три дня тут делал? – спросил поручик для порядка, хотя ответ на лице приказчика был выписан.

– Да кум тут у меня, вот и оно…

– Ну, трогай, – сказал Сабуров. – В дороге налью лудогорского.

– Это какое?

– Там увидишь.

– Э–эй!

Тронулись застоявшиеся сытые лошадки, вынесли повозку из огороженного жердями заплота, остались позади и мужики, с оглядкой искавшие в лопухах улетевший туда золотой, и стеклянный взгляд Щучьей Рожи. А впереди у дороги стоял человек в синей черкеске и овчинной шапке с круглой суконной тульей, держал руку под козырек по всем правилам, и это было странно – не столь уж привержены дисциплине казаки Кавказского линейного войска, чтобы нарочно выходить к дороге отдавать честь проезжающему офицеру, да еще чужого полка. А посему Сабуров велел Мартьяну попридержать и присмотрелся.

Казак был, как все казаки, – крепкий, с полным почтения к его благородию, но смышленым и хитроватым лицом исстари вольного человека. Себе на уме – одним словом казак, и все тут. Свернутая лохматая бурка лежала у его ног, и оттуда торчал ружейный ствол в чехле. На черкеске поблескивали два знака отличия военного ордена святого Георгия – совсем новенькие крестики на черно–оранжевой ленте.

Вот что выяснилось после беглого опроса. Платон Нежданов, урядник Тарханского полка Кавказского линейного казачьего войска, участник турецкой кампании, был командирован сопровождать военный груз при штабном офицере. На здешней станции по несчастливому случаю вывихнул ногу, спрыгивая на перрон из вагона – непривычны казаки к поездам, на Кавказе этого нету, объяснял он. (Поручик, правда, подозревал; что дело тут еще и в вине, к которому казаки как раз привычны.) Был оставлен офицером на станции, неделю провалялся в задней комнате у буфетчика. Невольный наем сего помещения, лекарь, еда и принимаемая в чисто лечебных целях, для растирания больного места, анисовая – все это, вместе взятое, оставило урядника совсем без капиталов. Вдобавок на вокзале не имелось никакого воинского начальства – ближайшее находилось лишь в Губернске. Таким образом, чтобы выправить литер на бесплатный воинский проезд, приходилось отправляться за сто верст, но что тут поделаешь? Не продавать же господам проезжающим черкесскую шашку в серебре? Они–то купят, да жаль ее и казаку бесчестье.

Словом, урядник, встав на ноги, собрался подыскать оказию, помня, что на Руси служивого жалеют и помогут, если что. Но тут он как раз оказался свидетелем геройской атаки господ жандармов на господина поручика, потом усмотрел господина в партикулярном, подрядившего Мартьяна везти его благородие в

Губернск. Так что вот… Он, конечно, не наглец какой, но господин поручик, быть может, не сочтет за труд уделить местечко в повозке военному человеку, прошедшему ту же кампанию? Что до бумаг, то – вот они, в полном порядке…

Бумаги действительно были в порядке. Поручик Сабуров, сидевший уже без кепи и полотняника,[1] проглядел их бегло, приличия ради. Все ему было ясно: какой–то тыловой хомяк в чинах чего–то там нахапал и благодаря связям отправил домой под воинским сопровождением. Казак наверняка, дабы поразить воображение населения женска пола, красовался на всех остановках при полном параде, а здесь соскочил на перрон, углядев достойную осады фортецию. Офицер–сопровождающий, несомненно, тоже какая–нибудь интендантская крыса (строевой не бросил бы на вокзале покалечившегося, а велел бы занести в вагон), не хотел лишних хлопот с больными, погань тыловая.

Место, понятно, нашлось, его бы еще на четверых хватило. Вскоре поручик Сабуров достал оплетенную бутыль лудогорского. Мартьян малость похмелился – на лице его обозначилось, что эта водичка – без должной крепости и все же не то, что добрая очищенная; но из вежливости, как угощаемый, да еще офицером, промолчал. Платон же Нежданов, наоборот, отпробовал болгарского как знаток и любитель, с некоторым форсом. Употребил немного и Сабуров.

Гладкие лошадки бежали ровной рысью, Платон пустился в разговоры с Мартьяном – про болгарскую кампанию да про турок. Привирал, ясное дело, нещадно – и насчет янычар, которые–де, если их накажут, должны перед пашой отрезать собственные уши и тут же съесть с солью, и насчет своих успехов у тамошних баб, которые, друг Мартьяша, и устроены–то по–иному, вот, к примеру, взять…

Трудно сказать, насколько Мартьян верил – тоже был мужик не без царя в голове, но врать согласно пословице не мешал. Сабуров тоже слушал вполуха, бездумно улыбаясь неизвестно чему. Лежал себе на армяке поверх пахучего сена, рядом аккуратно сложен орденами вверх полотняник, повозку потряхивало на кочковатой российской дороге, вокруг тянулись леса, перемежавшиеся пустошами, а кое–где и болотинами. Болота здесь были знаменитые – правда, единственно своими размерами и проистекающей отсюда полной бесполезностью. Оттого и помещиков, настоящих, многоземельных, как мимоходом обронил Мартьян, здесь сроду не водилось. Мелких было несколько, что правда, то правда.

– Так что, и не жгли, поди? – съехидничал Платон.

– Да кого тут жечь и за что… Жгут в первую голову из–за

земли, а народ у нас не пашенный. У нас – ремесла, торговлишка, так оно сейчас, так и до манифеста было. А господа… Ну вот один есть поблизости. В трубу небеса обозревает, скоро дырку проглядит, право слово, уж простите дурака, ваше благородие. И ездят к нему такие же блажные…

– А такого случайно не было? – в шутку спросил Сабуров, испытывая свою прекрасную память. – Роста высокого, сухощав, бледен, глаза голубые, белокур, в движениях быстр, бороду бреет, может носить усы на военный манер, не исключено появление в облике офицера и чиновника…

– Что–то вы, барин? Про себя говорите, ведь все приметы ваши, окромя бледности? – Мартьян вылупил глаза, будто и впрямь дурак дураком, но в лице его что–то дрогнуло, в глазах что–то блеснуло. И правда, не за то Сабурову платят, чтобы помогал господам в голубом, которых зацепил стихом поручик Тенгинского полка Лермонтов. Да и офицерской чести противно соучаствовать тем стрюкам…

Они ехали остаток дня, ехали. Болтали, молчали, опрокинули еще по стаканчику, и путь помаленьку стал скучен – оттого, что впереди оставалось больше, чем позади. Вечерело, длинные тени деревьев ложились поперек дороги там, где она проходила лесом; а болотины покрывались редким пока что по светлому времени жиденьким туманом. Солнце укатилось за горизонт.

– Блажной барин говорил как–то, что земля круглая, – сказал Мартьян с плохо скрытым превосходством тороватого и удачливого над бесталанным и блажным. – А я вот езжу – сто верст туда, сто верст назад. И везде земля, как тарелка. Ну, не без горок кой–где, но чтобы круглая…

– Оно так… – лениво поддакнул Платон. – Но вот если возьмем…

Его прервал крик, долгий вопль на одной ноте, донесшийся издалека. Затих, потом вновь зазвучал и приблизился. Человеческий крик. Но звучал он не так, как если бы человек нос к носу столкнулся с чем–то страшным – словно кто–то давно уже вопит после какой–то ужасной встречи, давненько орет, подустал даже…

Поручик Сабуров извлек из кофр–фора кобуру, из кобуры вытянул «смит–вессон» и взвел тугой курок. В кофр–форе лежал еще великолепный кольт с серебряными насечками, взятый у чернобородого юзбаши трофей, но пусть себе лежит. Оружия и так достаточно для захолустных разбойников.

Дорога заворачивала, по ней завернула и тройка, и они увидели, что навстречу движется человек – то бежит, то бредет, то снова побежит, и машет руками неизвестно кому, и мотает его,

как назюзюкавшегося…

– Тю! – сплюнул Мартьян. – Рафка Арбитман, и таратайки его при нем нету…

– Это кто?

– Да татарин с Поволжья, приблудился тут… Разной ветошью торгует–продает. – Мартьян вроде и поскучнел чуточку. – Шляется тут туда–сюда. Вот ты Господи, у него ж и…

Он осекся.

– Что, хошь сказать, у него и брать–то нечего? – подхватил смекалистый Платон. – Думаешь, придорожные подразделили? Знаешь поди кого?

– Да ничего я не знаю, отзыдь! Пр–р! – Мартьян натянул вожжи. – Эй, Рафка, чего у тебя там?

Старик подошел, ухватился за борт повозки, поручик Сабуров, оказавшийся ближе, наклонился к нему и едва не отпрянул – таким из.этих раскосых азиатских глаз несло ужасом, смертным отрешением тела и духа от всего сущего.

– Слушайте, – сказал старик. – Едьте отсюда совсем скоро, иначе здесь будет дьявол, как лев рыкающий, он придет, и смерть нам всем. Все кричат на старого татарина, что он поджигал Рязань, но я вот думаю: поджигал Рязань шестьсот лет назад совсем другой татарин, так почему и откуда на старого Рафку выскочил такой шайтан… Молодые люди, вы только не смейтесь и не держите меня за безумного – бежать нужно, иначе мы умрем этим ужасом!

Они переглянулись и покивали друг другу с видом людей, которым все ясно и слов не требуется.

– Садись вот, Бог с тобой, – сказал Мартьян и положил безмен на колени, освобождая место на облучке. Старик подчинился, вожжи хлопнули по гладким спинам, и лошади рванули вперед; но торговец, едва убедившись, что назад они не поворачивают, скатился с облучка и с диким воплем кинулся прочь, махая руками. Они кричали ему вслед, но старик не остановился.

– Да ладно, – махнул рукой Мартьян. – Не хочет с нами, пусть пешим тащится. Медведей с волками тут от Мамая не бывало, никто его ночью не съест. А в болото ухнет – на нас вины нет. Честью приглашали. Но–о!

Двенадцать копыт вновь грянули по пыльной дороге. Поручик Сабуров положил «смит–вессон» рядом, стволом от себя, а Платон ради скоротания дорожной скуки негромко затянул песню.

Вдруг лошади, заржав, шарахнулись в сторону, повозку швырнуло к обочине, Сабуров треснулся затылком о доску, и в глазах действительно притуманилось. Мартьян удерживал коней, кони приплясывали и храпели, а Платон Нежданов уже стоял на

дороге, взяв ружье на руку, пригнувшись, зыркал туда–сюда.

Сабуров выскочил, держа револьвер стволом вниз. Хлипконькая двуколка торговца лежала в обломках, только одна уцелевшая оглобля торчала из кучи расщепленных досок и мочальных вязок. Возле валялась ветошь и разная домашняя рухлядь. А лошади не было: так, ошметки – тут клок, там кус, там набрызгано кровью, и таращит уцелевший глаз длинная подряпанная голова. Сгущались сумерки, с болот наплывал холод.

– Ваше благородие! – выдохнул урядник. – Это что ж? И медведь так не разделает…

– Да нет у нас медведей! – закричал Мартьян с облучка.

– Я и говорю. Но как–то же разделал?

Он глянул на Сабурова, по долголетней привычке воинского человека ожидая команды от старшего, коли уж старший находился тут, но что поручик мог приказать? Он стоял с тяжелым револьвером заграничной работы в руке, и ему казалось, что из леса пялятся сотни глаз, что там щерятся сотни пастей и в каждой видимо–невидимо клыков, а сам он, поручик, маленький и голый, как при явлении на Божий свет из материнского чрева. Древний, изначальный страх человека перед темнотой и неизвестным зверем всплывал из глубины, туманил мозг. Перед глазами секундным промельком вдруг возникло то ли воспоминание, то ли морок – что–то огромное, в твердой чешуе, шипящее, скалящееся…

Все же он был боевым офицером и, прежде чем отступить, скомандовал: .

– Урядник, в повозку! – запрыгнул сам и крикнул: – Гони!

Лошади дернули, погонять не пришлось, Мартьян стоял на облучке, свистел душераздирающе, ухал, орал:

– Залетные, не выдайте! Господа военные, пальните! Громыхнуло черкесское ружье, поручик Сабуров поднял револьвер и выстрелил дважды. Лошади летели во весь опор, далеко разносились свист и улюлюканье, страх холодил спину. Бог знает сколько продолжалась бешеная скачка, но наконец тройка влетела в распахнутые настежь ворота постоялого двора, и на толстых цепях заметались, зайдясь в лае, два здоровущих меделянских кобеля.

Хозяин был, как все хозяева придорожных заезжих мест, где хиляки не сгодятся, – кряжистый, с дикой бородой, жилетка не сходилась на тугом брюхе, украшенном серебряной часовой цепкой; на лице извечная готовность услужить чем возможно и невозможно. Мартьяна он встретил как давнего знакомого, но, услышав про лошадиные клочки, покачал головой:

– Поблазнилось, не иначе. Медведи–волки еще при Катерине перевелись.

Хозяин стоял у широкого крыльца рубленного на века в два этажа постоялого двора, держал в руке старинный кованый фонарь, которым при нужде нетрудно ушибить насмерть среднего медведя, и был похож на древнюю степную каменную статую, и все вокруг этого былинного кожемяки – дом, конюшня, тын с широкими воротами, колодец, коновязь, сараи – казалось основательным, вековым, успокаивало и ободряло. Недавние страхи показались глупыми, дикая скачка с пальбой и криками смешной даже, стыдной для балканских орлов. И орлы потупились.

– Ну а все–таки? – не глядя на хозяина, спросил Сабуров.

– Да леший, дело ясное, – сказал хозяин веско. – У нас их не так чтобы много против Волыни или Мурома – вот там кишмя, но и наши места, чать, христианские, лешего имеем.

– А ты его видел? – не утерпел Платон.

– А ты императора германского видел?

– Не доводилось.

– Так что же, раз ты его не видел, его и нет? Люди видели. Есть у нас леший, обитает вроде бы за Купавинским бочагом. Видать, он и созоровал.

Мартьян, похоже, против такого объяснения не возражал. Сдавалось поручику, что и Платон тоже. Сам Сабуров в лешего верил плохо, точнее говоря, не верил вообще, но, как знать, вдруг сохранился от старых времен один–единственный и обитает в этих местах? Люди про них рассказывают вторую тысячу лет, отчего слухи эти держатся столь долго и упорно, не бывает ведь дыма без огня?

В таких мыслях было виновато не иначе это подворье – бревна рублены и уложены, как при Владимире Святом, живой огонь мерцает в кованом фонаре, как при Иване Калите, ворота скрипят, как при Годунове они скрипели, словно не существует за полсотни верст отсюда ни паровозов, ни телеграфа, словно не полсотни верст отсчитали меж вокзалом и постоялым двором, а полсотни десятилетий…

Поручик Сабуров мотнул головой, стряхивая с себя оцепенение, звякнули его ордена.

– Прошлой ночью, баяли, огненный змей летал в Купавинский бочаг, – добавил хозяин. – Непременно к лешему в гости.

Сообщение это повисло в воздухе, не вызвав возражений, что–то не тянуло спорить о лесной нечисти, а хотелось поесть и завалиться на боковую. Вечеряли наскоро, в молчании, сидя на

брусчатых[2] лавках у толстенного стола. Подавала, тоже молча, корявая баба, ввергнувшая урядника в разочарование – он явно надеялся, что хозяйская супружница окажется попригляднее.

Разошлись. Поручику Сабурову досталась «господская» во втором этаже, с тяжеленной кроватью и столом, без всякого запора изнутри. «У нас не шалят, нам это не надобно», – буркнул хозяин, зажигая на столе высокую свечу, – Сабуров ее выговорил за отдельную плату.

Кто его знал, не шалят или вовсе наоборот. Темные слухи о постоялых дворах кружили по святой Руси с самого их устройства – про матицу, что ночью спускается на постель и душит; про тайные дощечки, что вынимаются, дабы просунуть руку с ножом и пырнуть; про раздвижные половицы, переворотные кровати, низвергающие спящего в яму с душегубами; про всевозможные хитрые лазы, кучи трупов в подвалах, а то и пироги с человечиной, подаваемые следующим гостям. В большинстве своем это, понятно, были враки.

И все же Сабуров положил на стол «смит–вессон» со взведенным курком, а потом, Бог весть почему, вытащил из ножен саблю, недавно отточенную заново, но зазубрины остались, не свести даже со златоустовского клинка следы встречи с кривым ятаганом или удара о немаканую голову.

Он поставил саблю у стола, чуть передвинул на другое место револьвер. Непонятно самому, чего боялся – сторожкий звериный сон, память от Балкан, позволил бы пробудиться при любом подозрительном шорохе, а местные душегубы наверняка неуклюжее янычар–пластунов. А зверя почуют собаки – во дворе как раз погромыхивали цепи, что–то грубо–ласково приговаривал хозяин, спуская меделянцев. И все равно – страх, непохожий на все прежние страхи, раздражавший и мучивший как раз потому, что не понять, чего боишься…

Он проснулся толчком, секунды привыкал к реальности, отсеивая явь от кошмара, свеча сгорела едва наполовину, вот–вот должен был наступить рассвет, потом понял, что пробудился окончательно. Протянул руку, сжал рукоятку револьвера и ощутил скорее удивление – настолько несшиеся снаружи звуки напоминали давнее дело, ночной налет янычар Рюштю–бея на балканскую деревушку. В конюшне бились и кричали лошади – не ржали, а именно кричали; на пределе ярости и страха надрывались псы.

Потом понял – не то, другое. Дикие вопли принадлежали не янычарам, а до смерти перепуганным людям – и в доме, и во дворе. Опасность, похоже, была всюду. И еще несся какой–то странный не то свист, не то вой, не то клекот. Что–то шипело,

взвывало, взмяукивало то ли по–кошачьи, то ли филином… да слов не было для таких звуков, и зверя не было, способного их издавать. Но ведь кто–то же там ревел и взмяукивал!

Поручик Сабуров, не тратя времени на одевание, в одном белье вскочил с постели. Голова стала ясная, тело все знало наперед – он натянул лишь сапоги, сбил кулаком свечу и прижал к стене. От сабли в тесной комнате толку мало, и потому ее Сабуров взял в левую руку, изготовившись колоть, а правой навел на дверь револьвер. Ждал с колотящимся сердцем дальнейшего развития событий, а глаза помаленьку привыкали к серому предрассветному полумраку.

Лошади кричали почти осмысленно. Псы замолкли, но какое–то шевеление продолжалось во дворе; и вопли утихли, но что–то тяжелое и огромное шумно ворочалось внизу, в горнице, грохотало лавками, которые и вчетвером не сдвинуть.

Поручик Сабуров передвинулся влево и сапогом выбил наружу раму со стеклами, обеспечив себе отступление. Адски тянуло выпрыгнуть во двор, но безумием было бы бросаться в лапы неизвестному противнику, не увидев его прежде.

Дверь отошла чуть–чуть, и в щель просунулось на высоте аршин полутора от пола что–то темное, извивающееся – будто змея, укрыв голову за дверью, вертела в «господской» хвостом. Потом змея эта, все удлиняясь, стала уплощаться, и вот уже широкая лента зашарила по стене, по полу, подбираясь к постели, к столу. Сабуров понял, что ищут его, и рубаха на спине враз взмокла. Медленно–медленно, осторожно–осторожненько, боясь чем–то потревожить и вспугнуть эту ленту, похожую на язык, поручик переложил револьвер в левую руку, а саблю в правую. Примерился и сделал выпад, коротко взмахнул клинком, будто срубал на пари огоньки свечей.

Темный лоскут отлетел в сторону, лента молниеносно исчезла за дверью, и поручик успел выстрелить вслед. Внизу словно бы отозвалось визгом–воем–клекотом, тяжелым шевелением, и тут же совсем рядом громыхнуло ружье. Жив урядник, воюет, сообразил Сабуров, отскочил к окну и выпустил три пули в неясное шевеление во дворе – он не смог бы определить, что видит, одно знал: ни человеком, ни зверем это быть не может.

Кусочек двора озарили прерывистые вспышки пламени, будто заполыхало что–то в одной из комнат нижнего этажа. Огонь разгорался. «Зажаримся тут к чертовой матери, – подумал Сабуров, – нужно на что–то решаться, вот ведь как…»

Внизу все стихло, только во дворе что–то ворохалось, гарь защекотала ноздри.

– Поручик! – раздался крик Платона. – Тикать надо, погорим!

– Я в окно! – заорал Сабуров.

– Добро, я в дверь!

И в этот миг с грохотом рухнули ворота. Сабуров прыгнул вниз, присел, выпрямился, осмотрелся, но ничего уже не видел – что–то темное, большое, низкое скрывалось за высоким забором, и что–то – вроде бы смутно угадываемое человеческое тело – волочилось следом, как пленник на аркане за скачущим турком. Сабуров выстрелил вслед, вряд ли попал. Во дворе повозка лежала вверх колесами, земля была в бороздах и рытвинах. Пламя колыхалось в окне хозяйской комнаты, в конюшне бесновались лошади. Сабуров нагнулся посмотреть, на чем он стоит левой ногой, – оказалось, на мохнатом собачьем хвосте, а самих собак нигде не было видно, ни живых, ни мертвых. Поручик кинулся в дом, пробежал через горницу, мимоходом отметив, что неподъемный стол перевернут, а лавки разбросаны. Черепки посуды хрустели под ногами.

Урядник уже таскал воду ведром из кухонной кадки, плескал в хозяйскую комнату – там, должно быть, разбилась керосиновая лампа и зажгла постель, занавески, половики. Повалил едкий дым, и они, перхая, возились в этом дыму, наконец затоптали все огоньки, забили их подушками, сорвали голыми руками, обжигаясь, горящие занавески. Вывалились на крыльцо, на воздух, плюхнулись на ступеньки и перевели дух – измазанные копотью, усыпанные пухом, мокрые. Долго терли глаза, кашляли.

– Хорошо, стены не занялись. А то бы…

– Ага, – хрипло сказал поручик.

Они глянули друг другу в глаза, оба в нижнем белье и сапогах, грязные и мокрые, и поняли, что до сих пор были мелочи, и лишь теперь только настал момент браться за настоящее дело. Мысль эта не радовала.

– Оно ж их утянуло… – сказал Платон. – Всех. И собак. Собак не видно.

– Ко мне в комнату – лента…

– И ко мне. Стрельнул, оно утянулось.

– Я – саблей…

Сабуров вспомнил и побежал наверх, урядник топотал следом. Отрубленный кусочек ленты отыскался у кровати. Поручик осторожно ткнул его концом сабли, наколол на нее, и это словно бы вызвало в куске последнюю вспышку жизни – он вяло дернулся и обвис. Так, на сабле, поручик и вынес его на крыльцо, где светлее.

Осторожно стали разглядывать, морщась от непонятного запаха – не то чтобы омерзительного, но чужого, ни на что не

похожего. Лента толщиной с лезвие сабли, и на одной стороне множество мелких острых крючков, похожих на щучьи зубы, словно бы пустых внутри.

– Значит, как зацепит – и конец, – сказал поручик. – Этих щупалец у него ведь не одно. Два самое малое – и к тебе лезло в комнату, и ко мне. И – зубы. Должно быть, у него зубы – ту клячу в клочки, у пса хвост отгрыз… Мартьян где?

– Нету Мартъяна, упокой Господи его душеньку. Один безмен остался, – урядник перекрестился, за ним и Сабуров. – Смотрите, вашбродь…

Граненый шар безмена оказался перепачканным чем–то темным и липким, пахнущим в точности, как кусок щупальца.

– Отчаянный был мужик, – сказал Платон. – Это ж он с безменом на чудо–юдо…

– Чудо–юдо?

– Так не черт же. – Платон смотрел грустно и строго. – Что ж это за черт, если его можно безменом хлопнуть и кусок от хвоста отрубить? Да и черт вроде бы серой пахнет, а этот не поймешь чем, но не серой, право слово, не пеклом. И пули он боится. И железа острого опасается. Нет, барин, зверюга это, хоть и непонятная. Вот оно, стало быть, как…

Поручик отыскал штоф, и они хватили по доброй чарке за упокой христианских душ. Похрустели капустой, помотали головами, набираясь смелости.

– Три православных душеньки загубил, сучий потрох, – сказал Платон. – Вольно ж ему бегать…

– Воинскую команду бы… – сказал поручик Сабуров.

Но тут же подумал: какая в Губернске воинская команда? Инвалиды при воинском начальнике, стража при тюрьме, да пара писаришек. Может, интенданты еще отыщутся – вот и все. Небогато. Да сначала еще нужно тащиться за сотни верст и доказывать где следует, что они с урядником не страдают помрачением рассудка от водки, что по здешним лесам в самом деле шастает что–то опасное! Придется сначала уломать какое–нибудь провинциальное начальствующее лицо, чтобы хоть прибыло сюда и обозрело, а что такому лицу предъявить в качестве вещественного доказательства – кусочек щупальца, безмен в вонючей жиже?

Жандармы, что на вокзале? Слабо в них, как в слушателей и союзников, верилось, точнее, не верилось совсем. Вот и получается, что помощи от начальства ждать нечего. Должно быть, чудище объявилось недавно, рано или поздно оно наворочает дел, и паника поднимется такая, что дойдет до губернии, и зашевелится она в конце концов, и поверят шитые

золотом вицмундиры, а тогда и возможности изыщут, и вытребуют войска, и леса обложат боевой кавалерией, эскадронами и сотнями, а то и картечницы Барановского подтянут – как всегда, после драки замашет кулаками Россия–матушка… Но допрежь того немало воды утечет, немало кровушки, и кровушка будет русская, родная. А присягу они с урядником принимали как раз для того, чтобы защитить отечество от любого врага.

– Так что же? – сказал Платон. – За болгарских христиан сколь крови выцедили, а тут свои…

Светало. И подступала минута, когда русское молодечество должно рвануться наружу – шапкой в пыль, под ноги, соколом в чисто поле, саблей из ножен. Иначе – не носить больше саблю, воином не называться, самому себе не простить. Раз выпало – грудь в грудь, до виктории или геройской смертушки…

– Урядник, смир–на! – сказал Сабуров.

Урядник опустил руки по швам. Оба они были в нижнем белье и сапогах, но это не имело значения. Как–то в восемьсот двенадцатом казаки голышом опрокинули французов, так что не в штанах дело.

– Слушай приказ, – сказал поручик Сабуров. – Объявившуюся в здешних местах неизвестную тварь, как безусловно для людей опасную, отыскать и уничтожить. Выступаем немедля.

– Слушаюсь, ваше благородие! – рявкнул урядник.

И у обоих стало на душе чуточку покойнее. Теперь был приказ, были командир и подчиненный, теперь – воинская команда.

– Соображения есть? – спросил Сабуров.

– Как не быть? Большое оно, чудище–то… Вон как столы–лавки перебулгачило. Гренадерскую бомбу бы нам…

– Где ж ее взять…

– Местности мы не знаем, вот что плохо. Проводника бы нам, какого ни на есть…

– И подзорную трубу, – сказал Сабуров. – Помнишь, Мартьян говорил про блажного барина, что на звезды смотрит?

– Помню. Думаете?

– Да уж см отрит этот барин в небеса не так просто.

Только где ж его искать? Черт, ничего не знаем – и где какие деревни и где что… Ну ладно. Давай собираться.

Сборы заняли около часа, а потом они выехали шагом на неоседланных Мартьяновых лошадях, приладив самодельные уздечки – невеликая воинская команда. По опыту своему поручик Сабуров знал, как мало значат их ружье и два револьвера, но что поделаешь.

Наклонившись с конской спины, Платон разбирал следы, и вскоре последовало первое донесение:

– Ну что – какие–никакие, а есть лапы. И лап этих до этакой матери, прости Господи – чисто сороконожка. И ясно ведь, что тяжелое, вон ворота не выдержали, как через них лезло, а бежит легко. Это как понять?

А вскоре они наткнулись на место, где валялись повсюду клочья собачьей шерсти, обрывки одежды – и кровь, кровища там и сам… Перекрестились, еще раз помянув несчастливых рабов Божьих, Мартьяна и двух других, по именам неизвестных, и тронулись дальше, превозмогая тягу к рвоте.

Нервы стали как струны, упади с дерева лист, коснись – зазвенят тревожным и печальным гитарным перебором…

– Неужто не заляжет, нажравшись? – сквозь зубы спросил Платон и вдруг натянул повод. – А вон там? Ей–богу, вижу! Вижу!

Но Сабуров и сам уже видел сквозь деревья: что–то зеленое, не веселого травяного цвета, а угрюмого болотного, шевельнулось там, впереди, на лугу. У неширокого ручья паслась пятнистая коровенка, а неподалеку…

А неподалеку замер круглый блин аршинов трех в поперечнике и высотой человеку – ну, под мужское достояние, не выше. По краю, по всей окружности блина, чернели непонятные комки, штук с дюжину, меж ними синие, побольше, числом с полдюжину, а в середине опухолью зеленело вздутие с четырьмя горизонтальными черными щелями, и над ними, на макушке бугорка – будто гроздь из четырех бильярдных шаров, только шары были алые, в черных точках. Сабурова вновь замутило, так неправилен, неуместен на зеленом лугу под утренним солнышком, чужд всей окружающей природе был этот живой страх, словно и впрямь приперся из пекла.

Блин колыхнулся, множество ножек, сокращаясь, вытягиваясь, понесли его вперед со скоростью идущего шагом человека, и коровенка, только сейчас заметив это непонятное создание, глупо взмыкнула, вытаращилась, задрала вдруг хвост, собираясь бежать.

Не успела. Взвихрились черные шишки, оказавшись щупальцами аршин в пять каждое, жгуты превратились в широкие ленты, и весь пучок оплел корову, сшиб с ног, повалил, синие шишки тоже взвились щупальцами, только эти были покороче и потолще, кончались словно бы змеиными головами, только безглазыми и с длинными пастями, и зубов там – не перечесть. Зубы и щупальца рвали коровенку, пихали кусками в черные щели… Рев бедолажной животины вмиг затих.

Сабуров не выдержал, перегнулся с прядавшего ушами коня –

все сегодня съеденное и выпитое рванулось наружу. Рядом то же самое происходило с Платоном.

– Ну, видел? – прохрипел Сабуров. – Куда там в шашки – опутает, вопьется…

Платон соскочил с коня – как ни разозлен был, а сообразил, что непривычный крестьянский конь выстрелов над ухом испугается. Пробежал десяток шагов до последних деревьев, обернулся:

– Коней держите, вашбродь! Мне с ружьем сподручнее!

До чуда–юда в самом деле было шагов двести, от револьверов на такой дистанции толку никакого. Урядник приложился. Целился недолго.

Чудо–юдо от выстрела содрогнулось, зашипело – пуля явно угодила в цель. Алые, в черную крапинку, шары заколыхались, стали подниматься вверх – будто со страшной скоростью вырастали красные цветы на зеленых стеблях. Вот стебли уже вытянулись на аршин. Шары качались, то ли принюхивались, то ли приглядывались, мотались в разные стороны, и вдруг все потянулись, наклонились в одном направлении – в их сторону. Господи Боже!

– Урядник, назад! – крикнул Сабуров.

Но урядник клацнул затвором, заложил новый патрон и выстрелил. Должно быть, он целил в те шары, но промахнулся. Черные и синие щупальца одно за другим отрывались от раскромсанной коровьей туши, чудище шипело, притопывая ногами, словно злилось на свою неповоротливость. Тогда только урядник с разбегу запрыгнул на коня, перехватил поводья у Сабурова, и они поскакали прочь, пронеслись с полверсты, оглянулись – никто не преследовал. Натянули поводья, и кони неохотно остановились.

– Ну, видел? – спросил Сабуров. – Нет, саблями никак невозможно. Вплотную не подступишься. Хреновые из нас Добрыни Никитичи, Платоша…

– Так что ж делать, подскажите, вашбродь! По шарам бить разве что…

– Одно и останется, – сказал Сабуров. – А ты заметил – ведет оно себя так, будто в него сроду не стреляли, не сразу и сообразило, что оглядеться следует. Непуганое.

– Господи ты Боже мой! – взвыл урядник. Его конь всхрапнул и дернулся. – Ну откуда оно на нашу голову взялось, и почему непуганое? Не должно его быть, в мать, в Христа, в трех святителей, вперехлест через тын! Не должно!

– Да ори не ори, а оно есть, – сказал Сабуров. – И положение наше хуже губернаторского во всех рассмотрениях. Пешком

подходить – не успеем ему гляделки расхлестать. Верхом – лошади подведут, не строевые. Чересчур часто по нему палить, смотришь, и поумнеет, раскинет, что к чему. Засада нужна. А как устроить?

В их тревожные мысли ворвался стук копыт, и незадачливые ратоборцы повернули головы. Трое, нахлестывая лошадей, скакали напролом, спрямляя торную извилистую дорогу – снова голубые вездесущие мундиры, стрюки. Но все же это была вооруженная сила, власть. Сообразив это, поручик дал шенкеля своему коньку, вымахнул наперерез, закричал.

Кони под теми взрыли копытами землю, взнесенные резко натянутыми поводьями на дыбы, заплясали. Ружейный ствол дернулся было в сторону поручика, но опустился к руке. Поручик узнал знакомую Щучью Рожу, и сердце упало, на душе стало серо и мерзко.

– Па–азвольте заметить, что вы, будучи вне строя, тем не менее имеете на себе пояс с револьвером в кобуре, – сказал Крестовский, словно бы ничуть не удивившись неожиданной встрече. – И второй револьвер, заткнутый за пояс, противоречит всякому уставу. Где ваша кепи, наконец?

Поручик невольно схватился за голову – не было кепи на ней, буйной и раскудрявой; Бог знает, где кепи оставил, когда уронил. Но не время пикироваться. Он заспешил, захлебываясь словами, успевший подъехать урядник вставлял свое, оба старались говорить убедительно и веско, но чувствовали – выходит сумбурно и несерьезно.

– Так, – сказал ротмистр Крестовский. – Как же, слышал, слышал, чрезвычайно завлекательные побрехушки… Оставьте, поручик. Все это – очередные происки нигилистов, скажу я вам по секрету. Никаких сомнений. Вы с этим еще не сталкивались, а мы научены – все эти поджоги, слухи, подложные его императорского величества манифесты, золотыми буквами писанные, теперь вот чудо–юдо выдумали. А цель? Вы, молодой человек, не задумывались, какую цель эти поползновения преследуют? Посеять панику и взбунтовать народонаселение против властей. Позвольте мне, как человеку, приобщенному и опытному, развеять ваши заблуждения. Цель одна у них – мутить народ да изготовлять бомбы. Знаем–с! Все знаем!

Он выдернул из–за голенища сапога свернутую карту и с торжеством потряс ею перед носом поручика. Сунул обратно – небрежно, не глядя, поторопился разжать пальцы – и карта; скользнув по голенищу, упала на землю. Нижние чины не заметили, а поручик заметил, но не сказал, он подумал, что им с Платоном иметь карту местности совершенно необходимо, а

стрюк справится и так, коли ему по службе положено иметь верхнее чутье, как у легавой…

Сочтя, очевидно, тему беседы исчерпанной, ротмистр обернулся к своим:

– Рысью марш!

И они тронулись, не обращая внимания на крики поручика с Платоном, забыв недавнюю стычку и неприязнь к Щучьей Роже, поручик орал благим матом, ничуть не боясь, что его примут за умалишенного, и Платон ему вторил: иначе нельзя было, на их глазах живые люди, крещеные души, какие–никакие, а человеки мчались, не сворачивая, прямехонько к нелюдской опасности. В их воплях уже не было ничего осмысленного – словно животные кричали нутром, предупреждая соплеменников.

Но бесполезно. Три всадника скакали, не задерживаясь, вот уже за деревьями исчезли голубые мундиры, вот уже стук копыт стал глохнуть… и тут окрестности огласились пронзительным воплем, бахнул выстрел, страшно заржала лошадь, донесся уже непонятно кем исторгнутый крик боли и страха. И наступила тишина.

Они переглянулись и поняли друг друга – никакая сила сейчас не заставила бы их направить коней к тому леску.

Платон пошевелил губами:

– Упокой, Господи…

Поручик развернул мятую двухверстку – неплохие карты имелись в отдельном корпусе, следовало признать. Даже ручей, что неподалеку отсюда, был указан. Три деревни, большая дорога. И верстах в десяти отдельно стоящий дом у самых болот – на него указывала синяя стрела, и синяя же линия дом обводила.

– Вот туда мы и отправимся, – сказал поручик.

Платон спросил одними глазами: «Зачем?»

А поручик и сам не знал в точности. Нужно же что–то делать, а не торчать на месте, нужно выдумать что–то новое. Похоже, в том именно доме и живет барин, обозревающий небеса в подзорную трубу, что подразумевает наличие известной учености. А разве в безнадежном положении помешает им, запасным строевикам, исчерпавшим всю военную смекалку, образованный человек? Вдруг и нет. К тому же была еще одна мыслишка, не до конца продуманная, но любопытная…

Дом оказался каменный, но обветшавший изрядно, облупленный, весь какой–то пришибленный, как мелкий чиновничек, которому не на что опохмелиться, хотя похмелье выдалось особо гнетущее. Три яблони – остатки сада. Построек нет и в помине, только заросшие травой основания срубов. Одна конюшня сохранилась.

Они шагом проехали к крыльцу, где бревно заменяло недостающую колонну, остановились. Прислушались. Дом казался пустым. Зеленели сочные лопухи, поблизости звенели осы.

– Те! – урядник поднял ладонь.

Поручик почувствовал – что–то изменилось. Тишина с лопухами, солнцем и осами словно бы стала напряженной. Словно бы кто–то наблюдал за ними из–за пыльных стекол, и не с добрыми чувствами. Слишком часто на них смотрели поверх ствола, чтобы они сейчас ошиблись.

– Ну, пошли, что ли? – сказал поручик и мимоходом коснулся рукоятки кольта за поясом.

Платон принялся спутывать лошадей, и тут зазвучали шаги. Молодой человек в сером сюртуке вышел на крыльцо, спустился на две ступеньки, так что их с поручиком разделяли еще четыре, и спросил довольно сухо:

– Чем обязан, господа?

Недружелюбен он, а в захолустье всегда наоборот, рады новым людям. Ну, мизантроп, быть может. Дело хозяйское.

Поручик поднял было руку к козырьку, но спохватился, что козырек отсутствует вместе с кепи, дернул ладонью, и жест выглядел весьма неуклюже:

– Белавинского гусарского полка поручик Сабуров. Урядник Нежданов сопутствует. С кем имею честь, с хозяином сего имения, надо полагать?

– Господи, какое там имение… – одними уголками рта усмехнулся молодой человек. – Вынужден вас разочаровать, господа, если вам необходим был хозяин, – перед вами его гость.

«А ведь он не отрекомендовался», – подумал поручик. Они стояли истуканами, разглядывая друг друга, и наконец неприветливый гость, обладавший тем не менее уверенными манерами хозяина, нарушил неловкое и напряженное молчание:

– Господа, вам не кажется, что вы выглядите несколько странно? Простите великодушно, если…

– Ну что вы, – сказал поручик. – Под стать событиям и вид.

Гость неизвестного хозяина не проявил никакого интереса к событиям, приведшим военных в такой вид. Вновь повисло молчание. Словно осветительная ракета в кромешной тьме лопнула перед глазами поручика, и он заговорил громко, не в силах остановиться:

– Роста высокого, сухощав, бледен, глаза голубые, белокур, бороду бреет, в движениях быстр, может носить усы на военный манер…

Полностью отвечающий этому описанию молодой человек

оказался действительно быстр в движениях – в его руке тускло блеснул металл, но еще быстрее в руках урядника мелькнул ружейный приклад, и револьвер покатился по ступенькам вниз, где поручик придавил его ногой. Платон насел на белокурого, сбил его с ног и стал вязать поясом, приговаривая:

– Не вертись, ирод, турок обратывали…

Поручик не встревал, видя, что подмоги не требуется. Он поднял револьвер – паршивенький «бульдог», – осмотрел и спрятал в карман. Декорации обозначились: палило солнце, звенели осы, на верхней ступеньке помещался связанный молодой человек, охраняемый урядником, а шестью ступеньками ниже – поручик Сабуров. Ну и лошади – без речей, как пишут в театральных программках.

Положение было самое дурацкое. Поручик вдруг подумал, что большую часть своей двадцатитрехлетней жизни провел среди армейских, военных людей, и людей всех прочих сословий и состояний, вроде вот этого, яростно зыркающего глазищами, просто–напросто не знает, представления не имеет, чем они живут, чего от жизни хотят, что любят и что ненавидят. Он показался себе собакой, не умеющей говорить ни по–кошачьи, ни по–лошадиному, а пора–то вдруг настала такая, что надо знать языки иных животных…

– Нехорошо на гостей–то с револьвером, – сказал Платон связанному. – Нешто мы в Турции? Ваше благородие, ей–богу, о нем жандармы речь и вели. За него вас и приняли, царство ему небесное, ротмистру, умный был, а дурак…

– Да я уж сам вижу, – сказал поручик. – А вот что нам с ним делать, скажи на милость?

– А вы еще раздумываете, господа жандармы? – рассмеялся им в лицо пленник.

– Что–о? – навис над ним поручик Сабуров. – Военных балканской кампании принимать за голубых крыс?

– Кончайте спектакль, поручик.

И хоть кол ему на голове теши – ничего не добились и за подлинных военных приняты не были, оставаясь в ранге замаскированных жандармов. Потерявши всякое терпение, они матерились и орали, трясли у него перед глазами своими бумагами – он лишь ухмылялся и дразнился, попрекая бесталанной игрой. Рассказывали про разгромленный постоялый двор, про жуткий блин с щупальцами, про нелепую кончину ротмистра Крестовского вкупе с нижними чинами отдельного корпуса – как об стенку горох, разве что в глазах что–то зажигалось. Как в горах – шагали–шагали и уперлись рылом в отвесные скалы, и вправо не повернуть, и слева не обойти,

остается убираться назад несолоно хлебавши, а драгоценное время бежит, солнце клонится…

– Да в такую Богородицу! – взревел Платон. – Будь это язык мусульманский, он бы у меня давно пел, как кот на крыше, а такой, свой – ну что с ним делать? Хоть ремни ему из спины режь – в нас не поверит!

Ясно было, что все так и есть – не поверит. Нету пополнения у невеликой воинской команды, выходит, что и не будет, игра идет при прежнем раскладе с теми же ставками, где у них – медяк против горстки золотых, двойки против козырей и картинок…

– Ладно, – сказал поручик, чуя в себе страшную опустошенность и тоску. – Развязывай его, и тронемся. Время уходит. А у нас мало его. Еще образованный, должно быть… Что стал? Выполняй приказ!

Развязали Фому неверующего и в молчании взобрались на коней. Поручик, немного отъехав, зашвырнул в лопухи «бульдог» и не выдержал, крикнул с мальчишеской обидой:

– Подберешь потом, вояка! А еще нигилист, жандармов он гробит! Тут такая беда…

В горле у него булькнуло, он безнадежно махнул рукой и подхлестнул коня. Темно все было впереди, темно и безрадостно, и умирать не хотелось, и отступать нельзя никак, совесть заест; и он не сразу понял, что вслед им кричат:

– Господа! Ну, будет! Вернитесь!

Быстрый в движениях нигилист поспешал за ними, смущенно жестикулируя обеими руками. Они враз остановили коней.

– Приношу извинения, господа, – говорил, задыхаясь от быстрого бега, человек в сером сюртуке. – Обстоятельства, понимаете ли… Находиться в положении загнанного зверя…

– Сам, поди, себя в такое положение и загнал, – буркнул тяжело отходивший от обиды Платон. – Неволил кто?

– Неволит Россия, господин казак, – сказал тот. – Вернее, Россия в неволе. Под игом увенчанного императорской короной тирана. Народ стонет…

– Это вы бросьте, барин, – угрюмо сказал урядник. – Я присягу давал. Император есть Божий помазанник, потому и следует со всем возможным почтением…

– Ну а вы? – Нигилист ухватил Сабурова за рукав помятого полотняника. – Вы же человек, получивший некоторое образование, разве вы не видите, не осознаете, что Россия стонет под игом непарламентского правления? Все честные люди…

Поручик Сабуров уставился в землю, покрытую сочными лопухами. У него было ощущение, что с ним пытаются говорить по–китайски, да вдобавок о богословии.

– Вы, конечно, человек ученый, это видно, – сказал он неуклюже. – А вот говорят, что вас, простите великодушно, наняли ради смуты жиды и полячишки… Нет, я не к тому, что верю в это, говорят так, вот и все…

Нигилист в сером захохотал, запрокидывая голову. Хороший был у него смех, звонкий, искренний, и никак не верилось, что этот ладный, ловкий, так похожий на Сабурова человек может запродаться внешним врагам для коварных усилий по разрушению империи изнутри. Продавшиеся, в представлении поручика, были скрючившимися субъектами с бегающими глазками, крысиными лицами и жадными растопыренными пальцами – вроде разоблаченных шпионов турецкой стороны, которых он в свое время приказал повесить и ничуть не маялся от того угрызениями совести. Нет, те были совершенно другими – выли, сапоги целовали… Этот, в сюртуке, на виселицу пойдет, как полковник Пестель. Что же выходит, есть ему что защищать, что ли?

– Не надо, – сказал поручик. – При других обстоятельствах мне крайне любопытно было бы вас выслушать. Но положение на театре военных действий отвлеченных разговоров не терпит… Кстати, как же вас все–таки по батюшке?

– Воропаев Константин Сергеевич, – быстро сказал нигилист, и эта быстрота навела Сабурова на мысль, что при крещении имя тому давали все же другое. Ну да Бог с ним, нужно же его хоть как–то именовать…

– Значит, и Гартмана вы – того…

– Подлого сатрапа, который приказал сечь заключенных, – сказал Воропаев, вздернув подбородок. – Так что вы можете… по начальству…

– Полноте, Константин Сергеевич, – сказал Сабуров. – Не до того, вы уж там сами с ними разбирайтесь… Наше дело другое. Представляете, что будет, если тварь эта и далее станет шастать по уезду? Пока власти зашевелятся…

– Да уж, власти российские, как указывал Герцен…

– Вы вот что, барин, – вклинился Платон. – Может, у вас, как у человека умственного, есть соображения, откуда эта казнь египетская навалилась?

– Соображения… Да нет у меня соображений. Знаю и так, понимаете ли…

– Так откуда?

– Если желаете, сейчас и отправимся посмотреть. Вы позволите, господин командир нашего партизанского отряда, взять ружье?

– Почел бы необходимым, – сказал Сабуров.

Воропаев взбежал по ступенькам и скрылся в доме.

– Что он, в самом деле бомбой в подполковника? – шепнул Платон.

– Этот может.

– Как бы он в нас чем из окна не засветил, право слово. Будут кишки на ветках колыхаться…

– Да ну, что ты.

– Больно парень характерный, – сказал Платон. – Такой шарахнет. Ну да, раз сам мириться следом побежал… Ваше благородие?

– Ну?

– Непохож он на купленного. Такие если в драку, то уж за правду. Только вот неладно получается. С одной стороны – есть за ним какая–то правда, прикинем. А с другой – как же насчет священной особы государя императора, коей мы присягу ставили?

– Господи, да не знаю я! – сказал в сердцах Сабуров.

Показался Воропаев с дорогим охотничьим ружьем. Они повернулись было к лошадям, но Воропаев показал:

– Вот сюда, господа. Нам лесом.

Они обошли дом, оскользаясь на сочных лопухах, спустились по косогору и двинулись лесом без дороги. Сабуров, глядя в затылок впереди шагавшему Воропаеву, рассказывал в подробностях, как все обстояло на рассвете, как сдуру принял страшную смерть великий любитель устава и порядка ротмистр Крестовский со присными.

– Каждому воздается по делам его, – сухо сказал Воропаев, не оборачиваясь. – Зверь. Там с ним не было такого кряжистого в партикулярном?

– Смирнов?

– Знакомство свели?

– Увы, – сказал Сабуров.

– Значит, обкладывают… Ну да посмотрим. Вот, господа.

Деревья кончились, и начиналось болото – огромное, даже на вид цепкое и глубокое. И саженях в трех от краешка сухой твердой земли из бурой жижи торчало, возвышалось нечто странное – словно бы верхняя половина глубоко ушедшего в болото огромного шара, и по широкой змеистой трещине видно, что шар внутри пуст. Полное сходство с зажигательной бомбой, что была наполнена горючей смесью, а потом смесь выгорела, разорвав при этом бомбу – иначе почему невиданный шар густо покрыт копотью, окалиной и гарью? Только там, где края трещины вывернуло наружу, виден естественный, сизо–стальной цвет шара.

Поручик огляделся, ища камень. Не усмотрев такового,

направил туда кольт и потянул спуск. Пуля срикошетила с лязгом и звоном, как от первосортной броневой плиты, взбила в болоте фонтанчик бурой жижи.

– Бомба, право слово, – сказал Платон. – Только это ж какую нужно пушку – оно сажени три шириной, поди… Такой пушки и на свете–то нет, царь–пушка и то не сдюжит.

– Вот именно, у нас нет, – сказал Воропаев. – А на Луне или на Марсе, вполне вероятно, отыщется.

– Эт–то как это? – У казака отвалилась челюсть.

– Вам, господин поручик, не доводилось читывать роман француза Верна «Из пушки на Луну»?

– Доводилось, представьте, – сказал Сабуров. – Давал читать поручик Кессель. Он из конной артиллерии, знаете ли, так что сочинение это читал в целях профессионального любопытства. И мне давал. Лихо завернул француз, ничего не скажешь. Однако это ведь фантазия романиста…

– А то, что вы видите перед собой – тоже фантазия?

– Но как же это?

– Как же это? – повторил за Сабуровым и Платон. – Ваше благородие, неужто можно с Луны на нас бомбою?

– А вот выходит, что можно, – сказал Сабуров в совершенном расстройстве чувств. – Как ни крути, а получается, что можно. Вот она, бомба.

Бомба действительно торчала совсем рядом, и до нее при желании легко было добросить камнем. Она убеждала без всяких слов. Очень уж основательная была вещь. Нет на нашей грешной земле такой пушки и таких ядер…

– Я не спал ночью, когда она упала, – сказал Воропаев. – Я… м–м… занимался делами, вдруг – вспышка, свист, грохот, деревья зашатало…

– Мартьян болтал про огненного змея, – вспомнил Платон. – Вот он, змей…

Все легко складывалось одно к одному, как собираемый умелыми руками ружейный затвор – огненный змей, чудовищных размеров бомба, невиданное чудо–юдо, французский роман; все сидело по мерке, как сшитый на заказ мундир…

– Я бы этим, на Луне, руки–ноги поотрывал вместе с неудобосказуемым, – мрачно заявил Платон. – Вроде как если бы я соседу гадюку в горшке во двор забросил. Суки поднебесные…

– А если это и есть лунный житель, господа? – звенящим от возбуждения голосом сказал Воропаев. – Наделенный разумом?

Они ошарашенно молчали.

– Никак невозможно, барин, – сказал Платон. – Что же он, стерва, жрет всех подряд, какой уж тут разум?

– Резонно, – сказал Воропаев. – Лунную псину какую–нибудь засунули ради научного опыта…

– Я вот доберусь, такой ему научный опыт устрою – кишки по кустам…

– Ты доберись сначала, – хмуро сказал Сабуров, и Платон увял.

– К ночи утонет, – сказал Воропаев. – Вот, даже заметно, как погружается. И никак его потом не выволочь будет, такую махину.

– И нечего выволакивать, – махнул рукой Платон.

– Вот что, господин Воропаев, – начал Сабуров. Он не привык к дипломатии, и потому слова подыскивались с трудом. – Я вот что подумал… Тварь эту вы не видели, а мы наблюдали. Тут все не по–суворовски – и пуля дура, и штык вовсе бесполезен. Не даст подойти, сгребет…

– Что же вы предлагаете?

– Поскольку господина Гартмана вы, как бы деликатнее… использовав бомбу… я и решил, что в места эти вы, быть может, укрылись приготовить схожий снаряд… Что вы ночью–то мастерили, а?

И по глазам напрягшегося в раздумье Воропаева Сабуров обостренным чутьем ухватил: есть бомба в наличии, есть!

– Я, признаться, не подумал, поручик… – Нигилист колебался. – Это вещь, которая, некоторым образом, принадлежит не мне одному… Которую я дал слово товарищам моим изготовить в расчете на конкретный и скорый случай… И против чести организации нашей будет, если…

– А против совести твоей? – Сабуров развернулся к нему круто. – А насчет того народа, который эта тварь в клочки порвет, насчет него как? Россия, народ – не ты рассусоливал? Мы где, в Китае сейчас? Не русский народ оно в пасть пихает?

– Господи! – Платон бухнулся на колени и отбил поклон. – Ведь барин дело требует!

– Встаньте, что вы, – бормотал Воропаев, неловко пытаясь его поднять, но урядник подгибал ноги, не давался:

– Христом богом прошу – дай бомбу! Турок ты, что ли? Не дашь – весь дом перерою, а найду, сам кину!

– Хотите, и я рядом встану? – хмуро спросил Сабуров, чуя, какое внутреннее борение происходит в этом человеке, и пытаясь это борение усугубить в нужную сторону. – Сроду бы не встал, а вот приходится…

– Господа, господа! – Воропаев покраснел, на глаза даже навернулись слезы. – Что же вы на колени, господа… ну согласен я!

…Бомба имела облик шляпной коробки, обмотанной

холстиной и туго перевязанной крест–накрест; черный пороховой шнурок торчал сверху, Воропаев вез ее в мешке на шее лошади, Сабуров с Платоном сперва держались в отдалении, потом привыкли.

Справа было чистое поле, и слева – поле с редкими чахлыми деревцами, унылыми лощинами. Впереди, на взгорке, полоска леса, – и за ним – снова открытое место, хоть задавай кавалерийские баталии с участием многих эскадронов. Животы подводило, и все внутри холодело от пронзительной смертной тоски, плохо совмещавшейся с мирным унылым пейзажем, и оттого еще более сосущей.

– Куда ж оно идет? – тихо спросил Сабуров.

– Идет оно на деревню, больше некуда, – сказал Платон. – Помните, по карте, ваше благородие? Такого там натворит… Так что нам выходит либо пан, либо пропал. В атаку – и либо мы его разом, либо оно нас.

– С коня бросать – не получится, – сказал Воропаев. – Кони понесут…

– Так мы встанем в чистом поле, – сказал Сабуров отчаянно и зло. – На пути встанем, как деды–прадеды стаивали…

Они въехали на взгорок. Там, внизу, этак в полуверсте, страшный блин скользил по желто–зеленой равнине, удалялся от них, поспешал по невидимой прямой в сторону невидимой отсюда деревни.

– Упредить бы мужиков… – сказал Платон.

– Ты поскачешь? – зло спросил Сабуров.

– Да нет.

– А прикажу?

– Ослушаюсь. Вы уж простите, господин поручик, да как же я вас брошу? Не по–военному, не по–русски…

– Тогда помалкивай. Обойдем вон там, у берез. – Поручик Сабуров задержался на миг, словно пытаясь в последний раз вобрать в себя все краски, все запахи земли. – Ну, в галоп! Господин Воропаев, на вас надежда, уж сработайте на совесть!

Они далеко обскакали стороной чудище, соскочили на землю, криками и ударами по крупам прогнали коней, встали плечом к плечу.

– Воропаев, – сказал Сабуров, – бросайте, если что, прямо под ноги! Либо мы, либо оно!

Чудо–юдо катилось на них, бесшумно, как призрак, скользило над зеленой травой и уже заметило их, несомненно, – поднялись на стебельках вялые шары, свист–шипение–клекот пронеслись над полем; зашевелились, расправляясь, клубки щупалец, оно не задержало бега, ни на миг не приостановилось. Воропаев чиркнул

сразу несколькими спичками, поджег смолистую длинную лучинку, и она занялась.

Поручик Сабуров изготовился для стрельбы, и в этот миг на него словно нахлынули чужая тоска, непонимание окружающего и злоба, но не человеческие это были чувства, а что–то животное, неразумное. Он словно перенесся на миг в иные, незнакомые края – странное фиолетовое небо, вокруг растет из черно–зеленой земли что–то красное, извилистое, желтое, корявое, сметанно–белое, загогулистое, шевелится, ни на что не похожее, что–то тяжелое перепархивает, пролетает, и все это не бред, не видение, все это есть – где–то там, где–то далеко, где–то…

Сабуров стряхнул это наваждение, яростно, без промаха стал палить из обоих револьверов по набегающему чудищу. Рядом загромыхало ружье Платона, а чудище набегало, скользило, наплывало, как ночной кошмар, и вот уже взвились щупальца, взмыли сетью, заслоняя звуки и краски мира, пахнуло непередаваемо тошнотворным запахом, бойки револьверов бесцельно колотили в капсюли стреляных гильз, и Сабуров, опамятовавшись, отшвырнув револьверы, выхватил шашку, занес, что–то мелькнуло в воздухе, тяжело закувыркалось, грузное и дымящее…

Громоподобный взрыв швырнул Сабурова в траву, перевернул, проволочил; словно бы горящие куски воздуха пронеслись над ним, словно бы белесый дым насквозь пронизал его тело, залепил лицо, в ушах надрывались ямские колокольцы, звенела сталь о сталь…

А потом он понял, что жив и лежит на траве, а вокруг тишина, но не от контузии, а настоящая – потому что слышно, как ее временами нарушает оханье. Поручик встал. Охал. Платон, уже стоявший на ногах, одной рукой он держал за середину винтовку, другой смахивал с щеки кровь. И Воропаев, который не Воропаев, уже стоял, глядя на неглубокую, курившуюся белесой пороховой гарью воронку. А вокруг воронки…

Да ничего там не было почти. Так, клочки, ошметки, мокрые охлопья, густые брызги.

– А ведь сделали, господа, – тихо, удивленно сказал поручик Сабуров. – Сделали…

Он знал наверняка; что бы он дальше в жизни ни свершил, чего бы ни достиг, таких пронзительных минут торжества и упоения не будет больше никогда. От этого стало радостно и тут же грустно, горько. Все кончилось, но они–то были.

– Скачут, – сказал Платон. – Ишь, поди, целый эскадрон подняли, бездельники…

Из того лесочка на взгорке вылетели верховые и, рассыпаясь

лавой, мчались к ним – человек двадцать в лазоревых мундирах, того цвета, что страсть как не любил один поручик Тенгинского полка, оставшийся молодым навечно. Триумфальные минуты отошли, холодная реальность Российской империи глянула совиными глазами.

– Это по мою душу, – сказал Воропаев. – Что, господа, будет похуже лунного чуда–юда. Ничего, все равно убегу.

К ним мчались всадники, а они стояли плечом к плечу и смотрели – Белавинского гусарского полка поручик Сабуров (пал под Мукденом в чине полковника, 1904), нигилист с чужой фамилией Воропаев (казнен по процессу первомартовцев, 1881), Кавказского линейного казачьего войска урядник Нежданов (помер от водки, 1886), – смотрели равнодушно и устало, как жены после страды, как ратоборцы после тяжелой сечи. Главное было позади, остались скучные хлопоты обычного дня и досадные сложности бытия российского, и вряд ли кому из них еще случится встретиться с жителями соседних или отдаленных небесных планет…

Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Так утверждали древние, но это утверждение, похоже, не для всего происходящего в нашем мире справедливо.

1988

Пересечение пути

Человек бежал быстро и размеренно, расчетливо захватывая полной грудью порции воздуха и выдыхая одновременно с рывком правой ноги вперед, один выдох на три рывка – наработанный за годы ритм опытного охотника. Он не спешил – пятна крови и следы говорили, что олень невозвратно теряет силы и вскоре рухнет там, впереди, где зелень и буйноцветье саванны сливаются с Великим Синим Ясным Небом. У этих людей существовало множество слов для обозначения цвета и состояния неба в разное время суток, разную погоду, даже разные времена года. Но Великим оно было всегда, оно изначально нависало над миром, над живым и неживым оно светило мириадами звезд, гневалось молниями и насылало чудовищ.

Неподалеку, слева меланхолично перетирают зубами траву пятеро мамонтов. Косматые громады спокойны – они не боятся одиноких охотников.

Человек бежал по саванне поблизости от побережья океана, который лишь через десять тысяч лет приобретет право именоваться Северным Ледовитым. Пока что для такого названия просто–напросто нет оснований – льда нет и в помине, климат мягок, носороги чувствуют себя прекрасно у этих берегов. Человек тоже. Разумеется, с учетом неизбежных опасностей, подстерегающих на земле и налетающих с неба.

Разные шарики и подвески костяного ож ерелья постукивают по выпуклой груди. Рука сжимает легкое удобное копье, мир прост и незатейлив, цель ясна. Медь, что пойдет на шумерские и вавилонские мечи, покоится глубоко в недрах земли. На Байконуре и мысе Канаверал ревут саблезубые. На всей планете нет пока что ни одного металлического предмета своего, земного производства.

Впереди – небольшая роща, островок деревьев посреди саванны, взгляд не в состоянии пронизать его насквозь, и опытный охотник Вар–Хару резко забирает влево, заранее отведя копье для возможного удара, – бывает, смертельно раненый зверь в приступе яростного отчаяния выбирает такие вот уголки для последнего боя.

Все чувства охотника обострены, он привык к неожиданностям и оттого даже не вздрагивает, увидев перед собой вместо разъяренного, истекающего кровью оленя – людей. Не совсем таких, как обычные люди, правда. Двоих.

Он стоит, изготовив копье, левая рука готова выдернуть из–за пояса метательный нож. Глаза охотника, мастера чтения

звериных следов, различающие десятки оттенков в красках неба, вбирают детали и частности, как сухой песок впитывает воду.

Их двое, тех, иных, они ниже и тоньше в кости и, судя по особенностям лиц, принадлежат к чужому, неизвестному племени. То, что на них надето, цветное, яркое, поблескивающее, непонятное – неизвестно, из чего сделано; и вовсе уж странным кажется то, больше, рядом с ними – что–то прозрачное, что–то сверкающее, диковинных очертаний, с подобием крыльев по обе стороны стрекозиного тела. То ли это гигантская птица из застывшего льда, то ли замерзший и оттого ставший видимым вихрь. Почему–то это вызывает у охотника Вар–Хару мысли о полете.

А вот опасности для себя он не видит. Эти двое не выглядят серьезными противниками, он наверняка разделяется с ними даже голыми руками, возникни такая нужда. У них к тому же нет ничего похожего на оружие – один держит в руке что–то короткое, маленькое, блестящее, трубку какую–то, но выглядит эта вещь, с точки зрения охотника, неопасной. И лица у них спокойные, не злые.

Собственно, долго раздумывать не над чем. Опасности нет. Племя из людей, подобных этим двоим, никак не способно угрожать племени охотников, не раз доказывавшего свою силу любителям легкой поживы. К тому же саванна никому не принадлежит, всякий, откуда бы он ни явился и куда бы ни шел, вправе иметь свою тропу. Так гласит строгий кодекс чести. У соплеменников охотника нет привычки набрасываться на чужого только за то, что он чужой. Саванна принадлежит всем, кто идет по своим делам и не путается в чужие, уважает чужую тропу.

Поэтому охотник выпускает копье, повиснувшее на запястном ремешке, показывает тем двум раскрытые ладони, дает понять, что на беззлобность он отвечает тем же и не видит причин для схватки, что он – солидный охотник, знающий закон саванны и соблюдающий его, а не член шайки бродяг. Они явно поняли – тоже показывают пустые ладони. На этом пути их должны разминуться – как с ними объясниться, да и зачем? Достаточно того, что обе стороны уважают чужую тропу и показали это.

След зовет, зовет долг, и охотник, отодвинувшись, бочком, бочком, вновь переходит на размеренный бег. Ощутив мимолетный прилив любопытства, он все же оборачивается, как раз вовремя, чтобы увидеть бесшумно взмывающий в небо порыв замороженного ветра, ледяную птицу в синеве. Он не собирается над этим думать – мир необозрим, и в нем всегда можно столкнуться с тем, чего не видел прежде. Вереницы странных предметов и загадочных явлений бесконечны. Старики

рассказывают о вещах и занятнее, и если уделять им время и мысли, таковых не останется на исполнение долга. А его долг, как и прочих охотников, – добывать для племени мясо. Так что по возвращении все уместится в несколько коротких слов. А может, он и вовсе не будет упоминать о сегодняшней встрече. Лучше уделить внимание небу – его цвет меняется…

Бугорок впереди растет и принимает облик уткнувшегося мордой в землю оленя – ветвисторогого, жирного, достойной добычи. Охотник метнул костяной нож, но туша не шевельнулась, не вздрогнула – олень мертв. Тогда охотник подошел уже безбоязненно, выдернул нож из загривка. Испустил короткий победный клич и сноровисто, без лишней суеты стал разделывать тушу. Передохнуть он себе не позволил – нужно было управиться до темноты.

Жаль, что не унести все одному, половина мяса достанется стервятникам, но что тут поделать, если после нападения на стадо охотники разделились и каждый погнал свою добычу. Если каждый из его товарищей принесет столько же, добыча будет неплоха. В любом случае своей славы хорошего добытчика он не уронил.

Стоя на коленях, туго перетягивая ремнем свернутую в трубку шкуру, он почуял опасность. Жизнь научила его остро чуять опасность заранее. Но на сей раз это был не зверь. Что–то другое. Свист, клекот, рев приближаются, наплывают словно бы сверху. И Великое Ясное Синее Небо уже запятнано черным грузным облаком!

Он так и остался на коленях – слабость разлилась по телу, кончики пальцев бессильно скользнули по древку копья. Теплилась надежда, что он ошибся, что все обойдется, но рассудок безжалостно свидетельствовал, что приближается самое ужасное чудовище на свете, страшнее тигров, носорогов и совсем уж редко встречавшихся в последнее время ящеров – Небесный Змей, Владыка Высот. Бежать бессмысленно, оружие бессильно, спасения нет.

Грохот, рев и вой были сильнее шипения тысячи змей. Темное бесформенное тело быстро приближалось, заслонив солнце, тень, пустая и холодная, упала на цветы и травы, на окаменевшего в смертельном ужасе славного охотника Вар–Хару, черный хобот бешено вертелся, пританцовывал на возвышенностях, окруженный желтоватым сиянием и огненными шарами, хлестал по земле, поднимая тучи пыли и вороха вырванных с корнем кустарников. Рык чудовища поднимал, уничтожал крохотную, разумную, живую песчинку.

Подхваченная щупальцем небольшая антилопа взлетела и,

кружась, скрылась в облаке, но рычание не утихало, и охотник понял уголком не залитого ужасом сознания, что Небесный Змей голоден, очень голоден и не удовлетворится мелкой поживой.

В лицо ему летели уже пыль и трава, огненные вспышки слепили, ветер вот–вот должен был сбить с ног, завертеть и швырнуть в пасть чудовища. Не было мыслей, не было чувств, не было побуждений – только страх и холодное осознание смерти. Мир исчезал вместе с ним, распадался, гас.

И он не сразу понял, а сообразив, долго не мог поверить, втолковать самому себе, что вокруг него уже не кружит перемешанная с землей трава, что рев и вой слабеют, затухают, а солнце вновь жарко касается лица.

Смерч стремительно удалялся к горизонту, тускнел блеск шаровых молний, стих грохот, похожий на шип тысяч змей, вокруг там и сям чернели пятна и полосы взрыхленной земли, и в воздухе стоял свежий грозовой запах.

Охотник выпрямился во весь рост, пошатываясь, его бросало то в жар, то в холод, прошибла испарина, зубы лязгали. С сумасшедшей радостью он вновь вбирал запахи и краски мира. Дрожь не унималась, и тогда он неверными пальцами рванул с пояса нож, черкнул по боку и зашипел сквозь зубы от горячей боли.

Это помогло, привело в чувство, длинная царапина саднила, пекло, кровь поползла по боку, боль помогала вернуть телу спокойствие, равновесие – душе.

Все, как рассказывали старики – ужас высот, чудовище, что таится в не известном никому логове и время от времени проносится над землей в ореоле шарообразных огней и грохота, пожирает и убивает людей. Его мысли и намерения предугадать невозможно – оно может и пронестись мимо застывшей в ужасе добычи, что сейчас и произошло. Кто знает все о чудовищах?

Охотник снял крышечку сосуда из оленьего рога и тщательно замазал царапину пряно пахнущей травяной пастой. Кровь почти сразу же перестала сочиться – знахари племени знали свое дело. Потом он тщательно отер пальцы и смазал лицо пастой из другого сосуда, возвращавшей силы уставшему. И взвалил на плечи мастерски опутанные ремнями куски свежего мяса, пристроил на лоб облегчавшую, переноску груза лямку. Подобрал копье и тронулся в неблизкий путь, шагая быстро и размеренно. Пережитый ужас понемногу вымывался из памяти, таял. Слишком сурова была жизнь, слишком много опасностей существовало вокруг, чтобы оставить место лишним переживаниям.

Рассказать о встрече с Небесным Змеем, разумеется, предстоит со всеми подробностями. Так полагается по давним

обычаям сохранения и приумножения знаний и опыта. Что касается тех двух, странных, их ледяной птицы – о них он уже забыл навсегда. Такие мелочи были чересчур ничтожными перед тем, что отныне охотника будут именовать Вар–Хару, Который Встретился С Небесным Змеем И Уцелел. А людей, которых называют так, очень мало, так что есть чем гордиться.

Хорошо бы убить Небесного Змея, подумал охотник. Любого зверя, как бы велик и страшен он ни был, можно убить, нужно только изучить его повадки и уязвимые места. Славный был бы подвиг…

И дальше он думал только об этом.

1988

Наследство полубога

Он, ожидая смерти, жил.
И умер в ожиданьи жизни…

Т. Корбьер

Свершилось. Неожиданно рано. Александр, когда–то сын царя Филиппа, а теперь, согласно уверениям его самого (верить в которые признано государственной необходимостью), – сын Аполлона и, следовательно, полубог, неистовый македонец, позабывший в походах Македонию, человек, впервые в земной истории попытавшийся создать мировую империю, созидатель и разрушитель, – тридцати трех лет от роду ушел из этого мира навсегда. Без сомнения, для приближенных и окружающих это было громом с ясного неба, но ошеломление в таких случаях не столь уж продолжительно – оно быстро улетучивается, едва подступает сонм вопросов и проблем, с которыми нужно расправиться незамедлительно, – иначе они расправятся с тобой.

И по воде пошли круги от неожиданного камня…

Элогий первый

Луна над Вавилоном, желтая и грузная, тащится среди звезд, брюхатая, с заметным усилием, она ничуть не похожа на серебристую македонскую Луну. Впрочем, Птолемей Лаг, друг и ближайший соратник Ушедшего, начал уже забывать, как выглядит Луна над ночными македонскими горами. Как и все остальные. Слишком много пройдено, слишком огромны пространства, с которыми познакомились выходцы из маленькой страны. Слишком велика созданная империя. Поэтому никто из оставшихся не собирается выполнять волю Александра и расширять империю далее. Задача более реалистична – управиться с тем, что уже завоевано. А вернее, если совсем откровенно: как все это разделить. Разделить – это слово еще не произнесено, но оно неминуемо должно прозвучать, выводя из тупика. Все этого слова ждут, и никто не решается произнести его первым. И никто из тех, кто сейчас не спит, охваченный мучительными раздумьями. Они не знают, что первым произнести это слово решился Пролемей Лаг. Вот только что решился, наконец.

Наверное, в такие минуты седеют. Вполне вероятно. Только не он. Он просто решился первым разрубить узел. И чтобы избавиться от тягостной неопределенности. И потому что слишком хорошо знает мысли и побуждения всех остальных.

Старый македонский обычай, согласно которому наследника престола утверждает войсковое собрание, сподвижникам Ушедшего кажется теперь устаревшим патриархальным установлением полузабытой родины. За время походов они познакомились с другими методами наследования. Ни ребенок Александра, что должен появиться на свет месяца через четыре, ни его мать Роксана не станут людьми, которым можно добровольно отдать богатое наследство. Какое отношение, если поразмыслить, имеют эта женщина и нерожденный ребенок к тяжким трудам по созданию империи? Поле принадлежит тому, кто старательно возделывал его. Поэтому Птолемей предложит завтра утром… нет, слово «разделить» так и не будет произнесено. Всего лишь расчленить империю на сатрапии и передать сатрапии в управление военачальникам.

Конечно же, он прекрасно понимает, что пройдет совсем немного времени и управители объявят себя владыками. Что вслед за этим их войска ринутся друг на друга и неминуемо завяжется долгая кровеобильная неразбериха, в которой в первую очередь погибнут никому уже не нужные и опасные родные и наследники Александра. Что из того? Приличия будут соблюдены, тайные помыслы удовлетворены, и главное – сохранена видимость благопристойности. Остальное – дело судьбы, на которую и ложится вся вина за будущую кровь…

Что касается его самого, он должен получить Египет, страну богатую и, что важнее, в силу географического положения более неприступную, чем, например, Фракия или Великая Фригия. Страну великих пирамид. Кроме холодного расчета, теплится в глубине души чисто детское желание владеть этими неподвластными времени громадами, символизирующими величие государств. Итак, Египет.

И никаких попыток безгранично расширять будущее царство. Птолемей не без оснований уверен: сейчас, наверное, он – единственный, кто понимает, что империя – штука недолговечная. Остальные еще не очнулись от внушавшегося долгие годы Александром наваждения – мечты о власти над миром. Что ж, тем лучше. Пока будут кипеть бессмысленные страсти и схватки за власть над распадающейся империй, он будет создавать Египет, каким хочет его видеть. Когда другие спохватятся, будет поздно. Отказ от власти над миром вовсе не означает, что Египет замкнется в своих границах, как черепаха в панцире.

Итак, путь начертан, и с этой минуты по нему пройдет Птолемей Лаг, основатель династии Лагидов, Птолемей I Сотер – «спаситель», получивший впоследствии от египтян этот титул за

избавление их от тирании Александрова наместника. Начнет путь предок Клеопатры, будущий покровитель наук и искусств, которому суждено превратить свою столицу в культурный центр эллинского мира, автор наиболее объективных воспоминаний об Александре. Это – в будущем. Самый осторожный, изворотливый и трезво мыслящий из приближенных Александра. Это в прошлом, а сейчас, в настоящем, в коротком отрезке неопределенности…

Сейчас это умный человек, которому горько. Он наметил и до мелочей продумал все, что скажет завтра, так что теперь можно подумать и о своем, но лучше не думать. Хорошо бы забыть навсегда о том, как друг юношеских лет, чем больше было пройдено и завоевано, становился все более величественным, непогрешимым и жестоким, по пьяному капризу или из холодного расчета (именуемого льстецами – о, разумеется! – государственным умом) уничтожал былых товарищей и казнил десятками македонских ветеранов, вся вина которых заключалась лишь в том, что они устали шагать или протестовали против тиранических замашек. О том, как все более чужим Александра становился родине и в конце концов отрекся от отца, провозгласив своим отцом Аполлона. Неужели за власть над миром обязательно надо платить такую цену? Тем более, что власть над миром так и не обретена? Неужели он не понимал, что его жизнь давно превратилась в тупое, бессмысленное движение вперед – и только? Может быть, он давно перестал понимать, ради чего шагает, но остановиться уже не мог? Его беды и поражения – беды и поражения его сподвижников… Неужели вся жизнь Птолемея – лишь ради того, чтобы прийти к власти над Египтом? И только? Для того живет человек?

Вопросов столько, что готова лопнуть голова, но инстинкт самосохранения останавливает потом опасных мыслей. Вино, булькая, наполняет тяжелую золотую чашу. К чему раздумье над загадочным путем чужой жизни, если ты не собираешься его повторять?

Пора посылать людей к верным войскам.

Элогий второй

Возвращение домой всегда приятно, особенно если ты долго трудился вдали от родины для ее блага и знаешь, что оправдал надежды. Завтра они с чистой совестью и со знанием исполненного долга могут тронуться в путь, к городу Ромула на семи холмах. Нужно еще выбрать дорогу – поговорка о том, что все дороги ведут в Рим, появится значительно позже.

Вот и все, Марк Сервилий, Юний Регул и Гней Себурий Марон. Предстоит сбросить опостылевшие личины купцов,

которые вынуждены терпеть досадные тяготы бродячей военной жизни, где каждую минуту можно нарваться на грубые насмешки, а то и оскорбление действием. Достойно ответить нельзя, не выходя из роли. Только несколько человек там, на семи холмах, знают, куда исчезли из Рима несколько лет назад трое квиритов – полноправных римских граждан, патрициев, прошедших не только военную подготовку – они досконально изучили и эллинскую литературу (своей, латинской, пока почти нет).

Даже родным преподнесли полуправду. Потому что ставки слишком велики. Народное собрание Рима собирается все реже и реже. Оно – пережиток прошлого: чрезвычайно громоздко, магистратов избирают всего на год, так что те не успевают приобрести должный опыт в государственных делах и влияние. Сенат, оплот аристократии, формально числящийся совещательным учреждением при магистратах, фактически держит в руках все. Планы на будущее в том числе. А суть этих планов, какими бы утопическими они ни казались, – сделать мир римским. Учиться искусству создания мировой империи есть у кого, поэтому Македонец находился под прицелом зорких глаз последние несколько лет. Вплоть до своей глупой смерти.

– Будет драка, конечно?

– Непременно, – согласно кивает Марк Сервилий. – Слишком много загребущих рук вокруг пустого трона. Вряд ли интересно наблюдать, как они рвут друг другу глотки. Мы узнали достаточно.

Официально среди них нет старшего, все равны, но Марк давно держит себя, как старший. Гней Себурий Марон не возражает, он в глубине души согласен, что в любом деле необходимы четкие (пусть в иных случаях неписаные) разделения по субординации. Разделение, помимо всего прочего, снимает с младших изрядную долю моральной ответственности. А каждый умный человек должен стремиться к меньшей ответственности, полагает Гней. В общем–то согласен с разделением по старшинству и Юний Регул, самый младший по возрасту, кстати. Хотя причины другие – он просто так привык. Мир таков, каков он есть. Вот только эта пухлая Луна над Вавилоном. Что же, все так просто – перенять опыт Ушедшего и браво, бездумно шагать вперед?

Он, не удержавшись, повторяет это вслух.

– Конечно, – вроде бы и не удивившись, кивает Марк. – Впервые человек попытался завоевать мир. Проходить мимо такого опыта грешно. Мы используем, понятно, не все из его опыта, но сам опыт показывает – мир можно завоевать.

– Он не завоевал мир, – тихо говорит Юний.

– Он был слишком молод. И он был один, если вдуматься. Один на самой вершине. Здесь и кроется ошибка, от которой мы избавлены заранее. Римская аристократия – это сила, способная избежать ошибок и упущений одиночки.

– У одного могут быть одни ошибки. У многих – другие.

– Долгое пребывание вдали от своей семьи порождает известное вольнословие. Когда мы вернемся, у тебя это пройдет… Конечно, Юний, ошибки возможны. Но величие цели и общий труд во имя достижения этой цели помогут исправить любые ошибки.

Марк не знает сомнений и тревог. Что же, так действует обретенный за годы опыт?

– Странно, – говорит меж тем Марк. – Похоже, ты стремишься опровергнуть старую истину, что самые юные – наиболее дерзкие и никогда не колеблются… Боишься?

– Боюсь.

– Чего?

– Завоевывать мир. Италия, затем, должно быть, Сиракузы, Карфаген, Греция. Наследство Македонца. Какие новые ошибки могут подстерегать на этом пути?

Марк Сервилий пристально смотрит на него. И успокаивается вскоре – понимает, что охватившие младшего соратника сомнения мимолетны, они, строго говоря, нормальны в разведывательной работе и не достигли и не достигнут той страстности и силы. Когда человек яростно стремится заразить своими сомнениями других. Сомнения порой необходимы, как приправа к кушаньям, – Марк великодушно это допускает. Он прочел немало умных свитков и далек от солдафонской ограниченности. Он уверен в своем знании многосложной человеческой природы и ожидает, что сомнение в глазах Юния вскоре погаснет.

Так оно и происходит. Юний не знает в точности, чего боится, и потому не прочь расстаться со смутным признаком будущих опасностей. Впереди Рим, его Рим, его аристократическая община, по отношению к которой он обязан соблюдать то, что выражается словом pietas – верность, благочестие. Да и жизнь Александра, огненным метеором пронесшегося над царствами и судьбами, не может не впечатлять. Так что лучше уж без сомнений.

– Ну, а ты–то избавлен от нелепых страхов? – Марк только сейчас вспомнил, что за время их с Юнием разговора Гней Себурий Марон не проронил ни слова.

– От любых.

Все в порядке, но Марк не зря числит себя в знатоках

человеческой природы: светлые глаза Гнея вызывают у него непонятную тревогу. Что в этих глазах? Преданность идеалам и, понятно, готовность не пожалеть жизни ради этих идеалов – как же одно без другого? Но что–то остается неразгаданным, что–то ускользает.

А меж тем все очень просто. Гней Себурий Марон с удовольствием отправил бы к праотцам и Юния, посмевшего терзаться сомнениями, и Марка с его верой в высшее предназначение аристократии. Гней Себурий Марон – плоть от плоти и кровь от крови римской аристократии, но, по его убеждению, и аристократия – не более чем толпа, стадо, а Гней ненавидит толпу, из кого бы они ни состояла.

С точки зрения Гнея Себурия, то, что они проникли в тайну изготовления «белого железа» – стальных мечей, которыми индийцы легко перерубали македонские, – не самое главное. Главное он открыл для себя, наблюдая Македонца: историю лепят сильные личности, чей меч не знает разницы между шеями патриция и плебея. Еще вернутся времена полноправных римских властителей, вроде царя Тарквиния Гордого. Только во главе с личностью можно надеяться покорить мир. Только страх, уравнивающий всех, только пирамида с абсолютным тираном на вершине и множеством тиранов помельче, с гармонично убывающими возможностя–ми – основа мирового господства. Хвала богам, в Риме есть кому выслушать его и понять…

А ведь будущее закрыто для него. Он так никогда и не узнает, что родился слишком рано, – лишь через двести с лишним лет Рим окажется под властью единолично правящих рексов, которые растопчут, в конце концов, видимость республики и по примеру Македонца провозгласят себя богами.

И что бы они ни думали сейчас каждый в отдельности, они готовы выступить перед Римом как один человек. Внимательно выслушав их, Рим свернет на известную ныне во всех подробностях дорогу.

Пора собираться. Путь от Вавилона до портового города Тира, где верный человек устроит их на корабль, не близок. Но время их не подстегивает. Они даже не представляют, сколько у них времени. Восемьсот с лишним лет пройдет, прежде чем рухнет величие города Ромула на семи холмах…

Элогий третий

Перипатетики – означает «прогуливающиеся». Занятия со своими учениками и последователями Великий Аристотель Стагирит предпочитает вести, степенно прогуливаясь под сенью деревьев Ликейской рощи или на морском берегу. Новичок не мог об этом не слышать, но с непривычки ему трудно следовать

устоявшемуся ритму прогулки: он то отстает, то опережает Стагирита. Он не может не замечать усмешек и оттого становится все более неуклюжим. Но Аристотель словно бы не видит его багровеющего лица, не слышит смешков. Поступь Великого Учителя плавна, речь ровна, столь же степенны и перипатетики: гармоничная картина высокоученого общества, подпорченная этим провинциалом, затесавшимся на свое несчастье. Перипатетики ждут, они все знают наперед и вслушиваются в журчание баритона Учителя с гурманским наслаждением.

– И наконец, – говорит Аристотель, – помимо чисто практических доказательств, нельзя забывать того, что Атлантида еще и просто–напросто выдумана Платоном для проповеди своих глубоко ошибочных философских и политических взглядов. При всем моем уважении к Платону, я отрицательно отношусь к его трудам на ниве лженауки. Лженаука вредна и опасна как раз тем, что растлевает неокрепшие умы. Вот и ты поддался обаянию сказок о погибшем континенте, не дав себе труда задуматься над тем, для чего это потребовалось Платону. Посмотрим вокруг, вернись на землю – разве мало насущных проблем, которыми обязан заниматься ученый? Я был бы рад стать твоим наставником на пути к подлинной науке, мой Ликей…

– …открыт для любого, пожелавшего рассеять заблуждения Платона. Я знаю.

Перебивать Учителя не полагается, и шепоток возмущения проносится над морским берегом, но не похоже, что провинциал смущен. Странное дело, у него вид человека, получившего подтверждение каким–то своим мыслям, к ходу беседы не относящимся. Аристотеля это беспокоит. Неужели Атлантида – лишь предлог? Тогда зачем явился к нему этот человек, где пересекаются их интересы?

– Обычно критики старались щадить Платона, – говорит провинциал. – Они деликатно замечали, что Платон некритически воспользовался чужими вымыслами – Солона либо египетских жрецов. Ты первый, кто обвинил в умышленной лжи самого Платона.

– Я дорожу и Платоном, и правдой, но долг ученого заставляет меня отдавать предпочтение правде.

– О да, ты служишь лишь правде. Родом ты македонец и никогда не изъявлял желания получить афинское гражданство. Но ты лучше самих афинян знаешь, что рассказы о героических деяниях их предков вымышлены Платоном. Что Платон, прикрываясь легендой об Атлантиде, распространял ложные политические теории о былых свершениях афинян. И мне крайне любопытно знать, на чем зиждется твоя уверенность в обладании

истиной.

Окружающие выражают свое возмущение откровенным ропотом, но Аристотель спокоен, он даже улыбается, и голоса стихают.

Наглец сам лезет в ловушку – и Учитель приглашает учеников этим полюбоваться.

– На чем? – переспрашивает Аристотель. – На том, дорогой мой, что идеалистические взгляды Платона побеждены самой жизнью, то есть присоединением афинской республики к империи великого Александра, не имеющей ничего общего с государством–утопией Платона. Может быть, ты хочешь меня заверить, что божественный Александр для тебя менее авторитетен, чем идеалист и лжеученый Платон? Что измышления Платона о республике можно противопоставить деяниям Александра?

Удар неотразим. Только самоубийца может ответить утвердительно. Так что оплеванному оппоненту представляется право потихоньку убраться, не обременяя более своим присутствием ученых мужей, светочей истинной науки. И чем скорее, тем лучше для него.

А он стоит на прежнем месте. Он словно постарел внезапно, смотрит жестко, и Аристотелю помимо воли начинают видеться другие лица, другие имена, вычеркнутые им из жизни и из истории Афин.

– Все правильно. Твоя логика непобедима, с тобой невозможно спорить, Учитель, – говорит провинци–ал. – Впрочем, меня об этом предупреждал Крантор. Знаешь, он еще жив, хотя наше захолустье дает ему мало возможностей для научных занятий по сравнению с великолепными Афинами. Но он упорен.

– Я знаю, – говорит Аристотель. – Пожалуй, кроме упорства, у него сейчас и не осталось ничего?

Сзади шелестит вежливо приглушенный смех.

– Пожалуй, – соглашается провинциал. – Ты прав, он потерял многое из того, чем обладал. Но он и не обзавелся ничем из того, чем не желал обзаводиться. У него остался он сам, точно такой, каким он хочет себя видеть. Я рад был познакомиться с тобой, Учитель, и с вами, почтенные перипатетики. Опора истинной науки. Мне непонятно, правда, почему вы вслед за Учителем усердно повторяете, что у мухи восемь ног? Ног у мухи шесть, в этом легко убедиться, возле вас вьется много мух… Но не смею более обременять ученых мужей своим присутствием.

Дерзкая улыбка озаряет его лицо, и видно, что он все же молод, очень молод. Потом он уходит прочь от морского берега, все смотрят ему в спину и явственно слышать шелест медных

крыльев страшных птиц стимфалид. Доподлинно видится, как они летят вслед удаляющемуся путнику, чтобы обрушить на него ливень острых перьев – уверяют, что там, где водятся стимфалиды, племена, не владеющие искусством обработки металлов, подбирают перья и используют их, как наконечники для стрел.

Берег моря покоен и свеж. Перипатетики на разные голоса выражают возмущение, но Аристотель не вслушивается. Он выше житейской суеты, и ему совершенно нет необходимости прикидывать кто именно из присутствующих незамедлительно отправится к блюстителям общественной гармонии и расскажет о дерзком провинциале, из речей которого можно сделать далеко идущие выводы. Какая разница, кто? Так произойдет.

Великий Аристотель спокоен – его не может оскорбить выходка юнца, попавшего, к сожалению, под разлагающее влияние одного из тех, от кого бесповоротно очистили науку. Главное – создать систему, а система игнорирует и нахальные выпады недоучек, и само существование разбросанных где–то по окраинам Ойкумены лжеученых.

Система создана, и Аристотель имеет все основания гордиться собой. Он – про себя – великодушно прощает тех, кто считает его всего лишь, ловцом удачи, использовавшим счастливый слу–чай, – то, что его воспитанник стал полубогом и властителем полумира. «Аристотель утверждает себя в науке, безжалостно топча соперников, используя власть почитающего его полубога», – право же, такое обвинение способны придумать только крайне недалекие людишки.

В действительности все сложнее. Аристотель ценит и любит Александра и уверен, что огромная, все расширяющаяся держава требует, кроме организованной военной силы, еще и опоры в виде столь же организованной науки, укрепляющей тылы. Созданием этой опоры Аристотель и занят. По природе он добр, но, как зодчий возводимого здания, обязан с примерной твердостью устранять все вредящее ходу строительства. Как это было с республиканскими заблуждениями Платона, не вяжущимися с империей и величием полубога. Как это было со многими другими, вроде на миг всплывшего сегодня из тяжелых липких вод забвения Крантора. Платон был учителем Аристотеля, но интересы империи выше. Глупо и сравнивать. Возможно, он, Аристотель, был излишне резок, недвусмысленно обвиняя Платона во лжи и лженаучных теориях, чрезмерно жесток со многими другими. Наверняка. Но железная идея всемирной империи, титанические деяния полубога не считаются с интересами людей–пылинок и не позволяют вникать в

переживания каждого отдельно взятого философа. Атлантида Платона, послужившая средством для распространения ненужных теорий, никогда не встанет из волн. Да и не было ее никогда. Не до нее. Александр молод, ему многое предстоит сделать, а следовательно, и Аристотеля ждут нешуточные труды. Как–то он там, Александр? – приливает к сердцу теплое чувство, и Великий Аристотель Стагирит, как никогда, преисполнен решимости крепить устои империи, послушную ее интересам науку, несмотря на любых врагов.

Он не знает, что еще долго, очень долго будет служить непререкаемым авторитетом для ученого мира, и решившихся его ниспровергнуть будут жечь на кострах, и полторы тысячи лет пройдет, прежде чем решатся сосчитать ноги у мухи, не говоря уже о более серьезной переоценке трудов Великого Учителя. Но самого его ждет участь беглеца – скоро, очень скоро…

Он смотрит в море, равнодушно отмечает корабль на горизонте, но он и представления не имеет, что за весть плывет в Афины под этим прямоугольным парусом.

Элогий четвертый

– Старая, из какой такой глины Прометей вас, баб, вылепил? За день наломаешься в мастерской – что я, для собственного удовольствия кувшины делаю? – и что же я дома нахожу? Всю неделю на столе бобы, надоело, в глотку не лезут, шерсти куча лежит нечесаной, а ты вместо шерсти опять язык чешешь с соседками? Ну, о чем можно болтать весь вечер?

– Александр умер.

– Кожевник, что ли? Хромой?

– Скажешь тоже. Наш царь, сын Филиппа. В Вувелоне каком–то, что ли. Где такой?

– Я почем знаю? Александр, говоришь? Сомневаюсь я…

– В чем, гончарная твоя душа?

– Как тебе объяснить, старая. Нет, помню я Александра – храбрый был мальчишка. Как он с Буцефалом справился, как он соседей громил… Сколько лет, как они ушли неизвестно куда, сколько лет одни слухи. Мол, завоевал несметное множество царств, мол, дрался с драконами, мол, строит города. Кто их видел, эти царства, города, драконов? Македония – вот она, не изменилась ни чуточки, те же бобы, те же горшки, те же звезды. Забор еще при моем отце покосился, так и стоит. Я тебе вот что скажу, старая: все врут. Был Александр – и ушел. Кто его знает, где он сгинул. А все, что о нем потом наплели – ложь. И Вувелона нет никакого.

Выдумки одни. Слушай больше!

1988

Как рыцарь средних лет собрался на дракона

Сколько душ, сколько тел!
Этот полз, тот – летел
В славе, в сраме, за платой,
Под плеть…
Зульфия

Маленькая кавалькада почти никакого внимания к себе не привлекала, будучи донельзя привычной для этого столетия и этих дорог. Рыцарь на сильном дорожном коне, слуга Адриан на гладкой лошадке, и в поводу у него боевой рыцарский жеребец, андалузский красавец с притороченным к седлу вооружением, которое рыцарю не было нужды надевать в дороге. Даже два огромных молосских дога в щетинившихся страшными шипами железных ошейниках никого не удивляли – мало ли сеньоров охотится?

И все же их неотступно сопровождала прилипчивая, как мирские соблазны и смертные грехи, молва, выражавшаяся в осторожных взглядах искоса да пересудах за спиной – мол, вот они поехали, те самые, что на дракона отправились. Молва скорее всего прицепилась к ним уже в пункте отправления – не было смысла хранить приготовления в особой тайне, – но она еще и возникала на пути в результате болтовни Адриана: уманивая на сеновал или в чулан смазливых служанок с постоялых дворов, он использовал цель их путешествия в качестве неотразимого аргумента. И надо сказать, аргумент действовал безотказно. Никак нельзя было отказать парню, отправлявшемуся вслед за своим сеньором дракону в зубы. Служанки перед ним млели, так что Адриан поутру вечно появлялся с перепачканными коленками.

Рыцарь же последние дни находился не в самом лучшем расположении духа. Небо было серое, по сторонам дороги тянулись серые перелески, копыта причавкивали, мешая грязь с навозом, и земле оставалось совсем немного до того, чтобы окончательно раскиснуть и залить рытвины вовсе уж жидкой грязью, дрянью неописуемой; дождик моросил с перерывами, снова капал, и эта неопределенность погоды то ли уныния прибавляла, то ли боевой злости, не сразу и поймешь.

Иногда ему казалось, что все зря, что его бессовестно надули. Провели, и человек, за кругленькую сумму продавший сведения о месте обитания дракона, поймал на свою удочку очередного

простака и потешается теперь где–то далеко. Плохо, если так. Ибо неизвестно, что больше роняет в общественном мнении – то, что ты так и не решился никогда помериться силами с драконом, или неудачная поездка, безрезультатное шатание по глухим местам и возвращение украдкой. Второе, пожалуй, даже хуже. Поди докажи, что ты действительно приложил все силы к отысканию дракона, а не болтался для виду по постоялым дворам, мнимо горюя, что все никак не попадается чешуйчатый огнедышащий ужас. Докажешь как же…

– Адриан, – окликнул он хмуро.

– Что угодно сеньору? – Широкая плутовская рожа готова была принять соответствующее моменту и настроению хозяина выражение. Но – верен, по–настоящему.

– Я вот подумал, что папы римские по имени Адриан, все четыре, были сволочь порядочная.

– Должность такая, сеньор, – заключил Адриан.

– Ладно, заткнись…

Когда–то, в пору дерзкой, все и вся отрицающей юности, рыцарь думал даже, что никаких драконов не существует вообще. Что все эти «боевые трофеи» – подделка, ложь, обман. Говорили, что еврейские и ломбардские умельцы могут подделать все, что угодно, от мощей святых до останков драконов. Были бы покупатели. Одни верили этим россказням по молодости, другие из вполне зрелого стремления опорочить чужие подвиги, потому что сами совершить такие неспособны. Он–то верил по молодости…

Потом–то он убедился, что о подделках и речи быть не может, осмотрев и поковыряв пальцами драконьи головы, лапы, хвосты и другие части, красовавшиеся в замках. (Что хозяева охотно позволяли гостям и даже настаивали, чтобы гость чуть ли не на зуб попробовал.) Никакой подделки – настоящие останки взаправдашних чудовищ. Правда, драконы смертны, как и все божьи создания, а значит, кое–кто наверняка мог добыть голову не в честном бою, смелом поединке – а отрубив ее от мертвой туши, не успевшей разложиться. Но это уже другой вопрос. Главное – драконы существуют, вот только, похоже, их остается все меньше и меньше. Даже с поправкой на преувеличения авторов старинных хроник приходится признать, что во времена дедов и прадедов драконы встречались не в пример чаще, бродили едва ли не у городских стен и обочин больших дорог. Сейчас в поисках их приходится забираться в дикую глушь, где, как гласит пословица, и странствующий монах гуся не украдет – потому что и гусей нет.

Упомяни о черте… Постоялый двор был настолько

захудалым, что паршивее некуда, едва ли не овечий загон, по неистребимой страсти к наживе кое–как приспособленный для ночлега путников. Может быть, он и в самом деле служил загоном еще римлянам. Но и здесь на крыльце в обществе пузатого кувшина угнездился монах, то ли пережидал здесь какие–то внутрицерковные распри, то ли собирал на восстановление отроду не существовавшего храма. А там и хозяин выскочил, стал суетиться вокруг путников. Как ни удивительно для такой глуши, где женщины обычно похожи на своих коров, рядом с ним суетилась более–менее смазливая толстушка, бог ведает, кто она ему там. Ну и местное наречие, конечно, – словно у них каша во рту, сразу и не разберешь слов.

С догов сняли на ночь шипастые ошейники, чтобы псы могли лечь. Они умостили тяжелые угловатые головы на лапы и равнодушно наблюдали, как Адриан подступает к толстушке со старой песней насчет драконоборцев. Ясно было, что и тут выгорит еще до темноты. Хмарь небесная понемногу рассеивалась, так что к утру могло и распогодиться.

Столом здесь служил отесанный длинный камень, вросший в землю неподалеку от крыльца, и рыцарь предпочел есть там – очень уж не понравилась хибара, где крыша могла в любой момент завалиться на голову. Он и ночевать решил под навесом, во дворе – не привыкать хлебнувшему походной жизни.

Ел он без всякого удовольствия, просто следовало, хочешь не хочешь, поплотнее набить живот, едучи на драку. Все эти дни он не прикасался к вину – не по какому–то там обету, просто из прихоти. А теперь потребовал кувшин, предусмотрительно, как путник с большим опытом странствий, пригрозив обрезать хозяину уши и еще что–нибудь, если проглотит с вином какое–нибудь насекомое. Хозяин заученно клялся всеми святыми, что никаких насекомых в его вине не встретится – в силу традиций семи поколений предков–гостеприимцев. Исчезновение Адриана с толстушкой его вроде бы и не волновало – то ли не способен был по возрасту служить святому. Стоятти, то ли закрывал глаза на такие вольности. В силу традиций семи поколений.

Мясо проваливалось в желудок тяжелыми комьями, словно бы глиняными. Темнело, сползшая к горизонту серая хмарь сливалась с серыми перелесками, вот горизонт уже исчез, отовсюду понемногу выползали загадочные тени, ночные звуки зароились в прохладном воздухе, набухали, наливались белым звезды, и где–то беззвучным галопом кружила на перекрестках дорог, подстерегала припозднившихся несчастливцев призрачная Дикая Охота. Покидала дневные убежища нечистая сила. Спят ли ночью драконы, или, глядя во тьму горящими глазами,

наслаждаются короткими убогими мыслями о вреде, причиненному ими роду человеческому? Неужели дракон совсем близко?

– Уж это наверняка, – подтвердил незнакомый голос.

Рыцарь сообразил, что произнес последние слова вслух. Он поднял глаза на непринужденно усевшегося напротив монаха. Сердиться не было смысла – постоялый двор всегда на время размывает сословные различия, так уж повелось, все здесь одинаково гости, сведенные случаем, и некоторая доля вольности в общении присутствует. К тому же рыцарь, хоть и старинного рода, не мог похвастаться принадлежностью к влиятельному племени завсегдатаев королевского двора. Это сказалось.

– Почему ты думаешь, что дракон близко? – спросил рыцарь хмуро. – Ты что, его видел? Вас ведь куда только не заносит… Видел? Или слышал что–нибудь?

– Не было необходимости видеть своими глазами.

– Может быть, у тебя есть волшебная ветка, как у лохоходцев, только не на воду, а на дракона?

– Нету, – сказал монах. – А жаль. Хорошо бы можно было заработать. Хотя… Видишь ли, мессир, дракона не так уж трудно искать. Нужно всего лишь, где бы ты ни проходил, внимательно прислушиваться к рассказам обитателей тех мест о драконах. Чем дальше ты от логовища дракона, тем фантастичнее россказни о нем. Чем ты ближе, тем больше сведения о нем приближаются к истине.

– Какой? – тихо спросил рыцарь.

– А вот прежде чем познать истину, человек должен знать, что такое истина, или знать по крайней мере, какой он себе эту истину представляет, – сказал монах, лениво зевнул и с прихлюпом высосал из кувшина остатки вина. – Истина, к сожалению, многолика и не всегда похожа на наши представления о ней. То, что у меня кончилось вино, – истина. Но то, что у меня есть еще кувшин, – тоже истина. Является истиной и то, что во времена прадедов наших прадедов. Как гласят хроники, драконы встречались гораздо чаще. Может быть, этот, в здешних местах – последний в Европе. Очень похоже на то.

– Значит?..

– Да есть он, есть, я уверен. Итак, и это истина – то, что люди уничтожают драконов, оставшихся от седой древности, и вскоре, судя по всему, драконы исчезнут без следа. Но не значит ли это, что некогда придет кто–то новый и начнет уничтожать остатки нас? Кто–то другой, для кого мы – затерявшиеся в глухомани остатки ушедшего времени?

Шут толстобрюхий, подумал рыцарь. Они у себя в монастыре

пьют без меры и без меры читают, пока то и другое, вместе взятое, не заставляет их свихнуться окончательно, и они тогда перебирают слова, как деревенский дурачок камушки – просто так, без цели смысла, потому лишь, что камушки поддаются, не протестуя.

Он встал и ушел под навес, закутался в тяжелый плащ, умостился в куче соломы. За перегородкой время от времени шумно вздыхали лошади. Истина…

Да где она наконец? В чем она для рыцаря не первой молодости? Уж, конечно, не в том, что грезится только что опоясанным юнцам…

Королевская служба, блеск двора. Потаенная беззвучная чехарда от злобного шепота очередного временщика до откровенного яда в бокале, несущие тебе смерть. Стройная пирамида вассальных взаимоотношений с королем наверху – нынче она лишь отголосок былой патриархальности и порядка, бледная их тень. Пирамида мало–помалу превращается в скопище спесивых гордецов, ни во что не ставящих сюзерена. Формально подчиняются все, и, когда король собирает войско, каждый рыцарь как полагается является с запасом провизии – он обязан служить королю, пока не кончатся у него съестные припасы. Но все чаще и чаще «запасы провизии» оказываются одним–единственным окороком, который не трудно слопать за пару дней, чтобы потом на законном основании убраться восвояси в свой замок. И к тому же войны все больше превращаются в скопище нескончаемых поединков, схваток рыцарей, стремящихся выбить из седла врага, такого же рыцаря, со всей возможной деликатностью, чтобы, не дай господи, не сломал шею – ведь с мертвого выкупа не возьмешь, кроме того, что на нем… Такие войны опасны тем, что выработанные в них правила и привычки въедаются в сознание и лишь мешают, когда битвы идут за пределами христианского мира, уже всерьез, – не потому ли так позорно закончился второй крестовый поход, Дамаск так и не пал? Турниры лишь способствуют воспитанию новых и новых алчных душонок, жадно взирающих на чужие доспехи и коней, – пусть турниры и сохраняют в глазах многих романтический ореол. Как–никак сложный красочный церемониал: развеваются полотнища с гербами, снуют герольды, смеются прекрасные дамы…

Прекрасные дамы… Которые с привычной легкостью и скукой изменяют мужьям с любовниками а любовникам с псарями и пажами. Ложь и непостоянство постепенно образуют второй кодекс, негласно существующий бок о бок с воспеваемым менестрелями и труверами, и уже непонятно, который из двух

кодексов правит жизнью, и уже смешны ищущие постоянства и верности, и уже страшно иметь детей, зная, что они пройдут по тому же кругу с теми же мыслями.

Что–то неладно. Рыцарство, пленники собственной свободы, – в когтях болезни, возможно смертельной. Конечно, приятнее и легче ее отрицать, подавляя беспокойство. Но тем опаснее растущие словно на дрожжах города – там думают ос воем, пестуют свои идеи и истины, и скоро ли осмелится уже в полный голос отстаивать эти свои идеи и истины люд, на который пока принято смотреть свысока? Что, если совсем скоро? Что–то неладно. Мы больны…

Где же выход? Не потому ли столь долго предаются бродяжничеству ищущие Святой Грааль, что проведенное в поисках время насыщено смыслом и целью? Может быть, давно нашел некто чудесную чашу, искрящуюся, если верить преданиям, мириадами радужных лучей, – но тут же закопал вновь, еще глубже? Зная, что, привезенная на всеобщее почтительно–завистливое обозрение, она навсегда лишит чего–то важного нашедшего и всех остальных?

Хвала господу, дракон – это неподдельно. Скачка навстречу огненным языкам, рвущимся из смрадной глотки, битва, в которой возможны лишь два исхода. При удаче ты всем напряжением сил выходишь в бесспорные триумфаторы, при поражении тебя просто не станет, и, что бы ни существовало там, за порогом бытия, все земное перестанет волноваться. Не для разрешения ли мучительных раздумий над сложностью бытия бог и создан драконов?

Но вскоре его горькие и тревожные мысли незаметно перетекли в покойную дрему и он уснул без снов. Он никогда почти не видел снов и не сожалел об этом. И никогда ни с кем не делился своими мыслями, считая это уделом книжников – навязывать другим свои рассуждения и тревоги посредством проповедей, песен и пергамента.

Проснулся он до рассвета, лежал, глядя, как бледнеют, растворяются звезды и все четче проступает на фоне неба острая, как хребет заморенной коровы, крыша постоялого двора. И вновь прежде всего подумалось о драконах.

Все поголовно рыцари, познакомившись с «Песнью о Нибелунгах», дружно осуждали Зигфрида – не было особого геройства в том, чтобы, укрывшись в яме, пырнуть оттуда мечом в брюхо идущего на водопой дракона. Победа без поединка – победа наполовину. К сожалению, не удавалось обобщить и систематизировать опыт драконоборцев, создать писанное руководство для боя – как правило, о поединке и победе удачники

рассказывали не иначе, как пьяными вдрызг, явно привирая и смешивая собственные впечатления с рассказами предшественников Впрочем, их можно было понять. Дело не только в том, что после такой победы они имели бесспорное право на беспробудное пьянство и беззастенчивое бахвальство. Совсем не в том дело. Просто рыцарь хорошо знал, что сплошь и рядом шалая горячка боя отшибает память напрочь, и поневоле после тщетных попыток вспомнить хоть что–то приходится безбожно врать…

Единственное, что привилось с легкой руки одного рыцаря ордена госпитальеров, – натаска на чучеле. Огромное чучело дракона, чьи члены приводились в движение хитро укрытыми слугами, шевелилось и клацало пастью, иногда даже ревело посредством потаенных труб, пускало огонь и дым. На нем приучали к схватке с чудовищем лошадей и собак. Рыцарь тоже изрядно потратился на чучело, месяц его боевой конь и молосские доги учились не пугаться страшилища. Это давало кое–какой шанс, но триумфа, разумеется, не гарантировало – триумф зависит лишь от тебя самого.

Двор был пуст, как душа ростовщика. Постукивали копытами в доски денника отдохнувшие и чуявшие дорогу кони, тучи исчезли. Оставляя в странной убежденности, что путешествие приблизилось к пределу, ристалище подготовлено к турниру, пусть и без зрителей, без герольдов. По–видимому, те же предчувствия испытывал возникший из–за угла конюшни Адриан с перепачканными коленками – он шагал с просветленным, важным лицом святого мученика, шествующего под пилы язычников. Рыцарь хмыкнул и поднялся на ноги, сильно встряхнул плащ, чтобы осыпались соломинки. Подскочили доги и заплясали вокруг него, тычась в ладони угловатыми мордами, влажными носами.

– Обойдемся без завтрака, – сказал рыцарь, хотя и не прочь был поесть. – Седлай коней. Ошейники псам, живо!

Вот и все, и постоялый двор остался позади, как сон, а отдохнувшие кони резво отсчитывают мили, а псы мечутся зигзагами по обе стороны короткой кавалькады, расширенными влажными ноздрями вбирая мириады недоступных человеку запахов. Среди этих запахов драконьего пока нет – псам он известен, у рыцаря есть клочок драконьей шкуры, раздобытой у старого друга отца, победившего дракона в молодости. Псы спокойны, резвятся посреди тихого утра. Дорога идет под уклон, слева зубчатая темно–синяя полоса далеких гор, за огромной пустошью справа – лес, выгибающийся впереди сарацинским клинком, обращенным острием от путников; и там, вдали, дорога

уходит в этот лес, пересекая до того широкий ручей. И рыцарь вдруг понял, что видит место, в точности отвечающее описанию, тому самому, раздобытому за немалые деньги, – преддверие подвига, преддверие драконьего логова, победы или смерти. Адриан бледен – он тоже вспомнил и понял.

И все–таки рыцарь не торопился надевать доспехи, он ехал шагом, и предчувствие несомненной опасности хмельно разбегалось по жилам и жилочкам, до кончиков пальцев, стиснувших широкие, шитые шелками и золотом поводья. И он не смог бы описать свои ощущения, когда один из догов вдруг опустил морду к земле, шерсть на его загривке встала дыбом, щеткой, и клокочущее рычание, злобное и чуточку жалобное, рванулось из его глотки.

На берегу ручья во влажную землю был впечатан неправдоподобно четкий, огромный, страшный четырехпалый след. Оставившая его лапа, должно быть, походила на куриную, но размеры, когти!

Доги исходили бухающим лаем, метались над ручьем. Обладавший большим охотничьим опытом рыцарь видел, что след свежий, и на них, вполне возможно, смотря сейчас из недалекого леса огненные глаза. Ручей словно отсекает прошлое, все предшествовавшее отсекает от этого мига, и боевые трубы ревут в ушах, и сладость достижения цели ласкает сердце.

– Доспехи! – сказал рыцарь страшным голосом. – Живо!

Адриан двигался деревянно, как марионетка на ваге бродячего кукольника, но резво. Живая плоть быстро исчезала под стальной скорлупой. Рыцарь сидел на коне в полном вооружении, но без шлема, держа его перед собой на луке седла – тому были причины. Теперь он видел, что следов множество, есть, кроме больших, и значительно меньшие – детеныши?

– Ну, смотри! – сказал он Адриану бешено. – Попробуй только сбежать или отстать! Сам напросился!

Коротко скомандовал догам, и псы, уткнув носы в землю, двинулись по следам, распутывая их невидимое кружево. Вскоре они, отлично натасканные звероловы, устремились к лесу и шумно вломились в переплетение ветвей. Рыцарь достал медную трубку со стеклами с обеих сторон, приставил ее к глазу, зажмурив другой.

Он привез это из Палестины. Небольшая случайная услуга старому сарацинскому звездочету, чрезвычайно высокого тем оцененная, – и в руках у рыцаря оказалось наверняка единственное в Европе приспособление, делавшее далекое расстояние близким для глаза. В свое время он собирался было преподнести трубку королю, но что–то подтолкнуло укрыть. И

правильно сделал – интересно было ночами наблюдать с башни звезды, а днем окрестности. Не говоря уж о том, как полезна эта вещь на охоте.

Там, впереди, далеко, но близко для глаза… Длинное, низкое, буро–зеленое тело мелькнуло меж мшистых стволов и с пугающей быстротой заскользило по пустоши в сторону гор, и два таких же существа, только меньше, гораздо меньше, с крупную собаку величиной, помчались следом, а вдогонку с лаем неслись доги. Рыцарь ощутил укол досады и облегчение одновременно – дракон огромен, но не устрашающ и больше всего напоминает увеличенную во много раз ящерицу из тех, что он мальчишкой ловил в заболоченном рву отцовского замка, давно уже ставшего его замком.

Он нахлобучил шлем и поскакал следом, во весь голос выкрикивая фамильный девиз. Дракон мчался быстро, но конь несся быстрее, и расстояние меж ними сокращалось, доги настигли детенышей, вцепились в них, и по земле покатились два рычащих и шипящих клубка. Рыцарь проскакал мимо них, клоня к земле трехгранный наконечник копья. Дракон остановился с маху, пробороздил задними ногами землю, повернулся – наверное, спасать детенышей. Он и рыцарь оказались друг против друга.

Сейчас ощеренная пасть изрыгает огонь, и нужно изловчиться, подставить коня, загородясь его грудью и щитом…

Но не было огня, и рыцарь с налета ударил, целя копьем в пасть, усеянную не страшными клыками, а довольно мелкими зубками. В последний миг дракон успел увернуться, и трехгранное острие вошло ему в шею – легко, словно в мешок с пухом, а в следующий миг добротно просушенное древко с хрустом переломилось, конь пронес рыцаря мимо, но он тут же развернулся, вытащил меч, занес его…

И тут же натянул поводья. Дракон бился на земле, перекатываясь и выгибаясь, шипя и вереща мерзко, громко, жалобно, темная кровь сгустками брызгала во все стороны, хлестал хвост, шипение сменилось хрипом, и рыцарь рванул коня в сторону. Чтобы случайный удар хвоста не переломал благородному животному ноги. Дракон барахтался все медленнее, а там и вовсе завалился на спину, показав грязно–желтое, совсем как у тех, маленьких ящериц из рва, брюхо. Четырехпалые лапы еще дрыгались, ощущение страшного обмана, бесцельности и бесполезности предприятия пронзило рыцаря, движения агонизирующего чудовища, которое вовсе не было чудовищем, становились все более вялыми, и, спасая что–то в себе, рыцарь соскочил с седла, подбежал, обеими руками вскинул

меч и опустил его со всей силой, на какую был способен.

Снеся голову, лезвие косо ушло в землю, рыцарь схватился за рукоять сильнее, едва удержав равновесие. Хлынувшая кровь испачкала его с ног до головы. Вот так просто? И все? Но…

Он выпустил рукоять и стащил шлем, превозмогая истерический хохот. Оглянулся. Доги рвали неподвижных детенышей, шагом приближался Адриан с коротким мечом в опущенной руке, и лицо у него было словно бы мертвым, пустым. Рыцарь знал, что у него самого точно такое же лицо, не отражающее ни радости, ни даже безмерной опустошенности. Потому что к такому вот повороту событий он, победитель последнего в Европе дракона, никак не был готов. Можно и не вспарывать брюхо этой твари, оказавшейся столь беззащитной, – наверняка там не окажется ничего, кроме листьев, ветвей, травы да мышей, быть может. Какие там останки предшественников…

Никаких сомнений – эта голова, эти лапы, этот хвост как две капли воды походили на красовавшиеся во многих замках, и такая же в точности шкура пошла на конские чепраки и носимые поверх доспехов плащи. Другого рода драконов не существовало в природе, следовательно, все прошлые победы были столь же молниеносными и легкими. Дикий кабан не в пример опаснее…

Один из мифов, на которых покоилась слава рыцарства, рассыпался для него прахом, как для всех его предшественников. Такой вот дракон такое вот заблудившееся в настоящем порождение прошлого. И впереди лишь два пути – разоблачить все, выступить против всего рыцарства, столкнувшись при этом с таким жестоким клубком ущемленных интересов, развенчанной славы, обид и злости, что при одной мысли об этом хочется выть. Или – оставить все, как есть, презирая себя, но не вызвав презрения окружающих и предшественников в качестве предателя рыцарского сословия. Два пути, две дороги. «О да, графиня, это была тяжелая работа, сначала из смрадной пасти вырвалось пламя, но мой щит был прочен, а меч остер…» Теперь не грех и отправиться ко двору, теперь гордая Бланка… Теперь он – победитель дракона, что влечет…

Господи, стоном хлынуло из горла, из сердца, из души, ну объясни же, зачем ты затеял все это?! Или, что еще страшнее, ни ты, ни дьявол здесь абсолютно ни при чем, и наш выбор – исключительно наш выбор?

Он застыл, как аляповатая статуя, – герой, и у его ног поверженный дракон. Доги недоуменно ластились к нему, тычась окровавленными мордами.

Не хотелось жить. Он был несчастен – его мечты сбылись.

1988

Костер на сером берегу

Дерзновенны наши речи,
Но на смерть осуждены
Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны.
Д. Мережковский

Как оно порой и получается – минутное утреннее раздражение, приступ недовольства влекут за собой новые, одно цепляется за другое, накапливается, и в конце концов тебя уже начинает злить каждая мелочь, все, что происходит вокруг, приводит в ярость. Жермена захворала женским и отказала, шпорой порвал почти новый плащ, под ложечкой покалывало от чересчур жирного жаркого, вино кончилось, ехавший слева отец Зоффруа сидел в седле, как собака на заборе, а капитан Бонвалет, прихваченный как знаток всего, что имеет отношение к морю, раза два пробовал завязать разговор, и пришлось громко послать подальше этого широкомордого пропойцу, родившегося наверняка в какой–нибудь канаве, без плаща было зябко, поговаривали, что скоро начнется новый поход во Фландрию, что означает новые расходы при весьма зыбких надеждах на добычу – что–то все фландрские походы кончаются в последнее время плохо… Словом, де Гонвиль чувствовал себя премерзко. Сидеть бы у огня, прихлебывая подогретое вино, да ничего не поделаешь – королевская служба. Этот участок побережья был в его ведении, и каждое происшествие требовало его личного присутствия. Приказ. Напряженные отношения с Англией, в связи с чем предписываются повышенная бдительность и неустанное наблюдение. Приказы не обсуждаются, а то, что отношения с Англией вечно напряженные, что при серьезном вторжении, произойди оно здесь, де Гонвиля с его людьми втопчут в песок, ничего они не сделают и никого не успеют предупредить – такие мелочи не заботят тех, кто отдает приказы. Хорошо еще, что де Гонвиль обладал правом своей властью наказывать подчиненных. И если дело снова не стоит выеденного яйца – быть арбалетчикам поротыми. В интересах повышенной бдительности, чтобы не путали таковую с глупой подозрительностью. Если снова что–то вроде давешней лодки с рыбаками–пьянчужками, которых только недоумок Пуэн–Мари мог принять за английских шпионов, – долго чьим–то задницам не общаться с лавками. Де Гонвиль заранее настраивал себя на ругань, благо долго стараться не было нужды, он и так почти кипел, косясь на отца Жоффруа – того бы он выпорол с отменным удовольствием и самолично. Хорошо, что

даже святая инквизиция не способна проникать в мысли на тысяча триста семнадцатом году от рождества Христова…

Всадники проехали меж холмов, и перед ними открылся песчаный берег, за которым до горизонта катились серые низкие волны Английского канала. И небо было – сплошная серая хмарь. Иногда де Гонвилю приходило в голову, что в аду нет ни огня, ни котлов с кипящей смолой – и только бесконечные дюны, серая пелена вместо неба, серое море, серый воздух и Вечность. После долгой службы на этом паршивом побережье ничего в таких мыслях удивительного нет. Просто ничего более отвратительного человек уже не в состоянии представить себе, и грех его за это осуждать, попробовали бы сами послужить здесь…

Капитан Бонвалет присвистнул, и де Гонвиль уже с явным интересом натянул поводья. Кажется, порку придется отложить…

Очень длинная лодка непривычного вида наполовину вытащена на берег, и несколько трупов разметались в разных позах там, где их застигла смерть. Их объединяло одно – они лежали как–то нелепо. Неожиданно застигнутый смертью человек всегда выглядит нелепо. Вокруг бродили арбалетчики, перебирали что–то в лодке, переругивались, доносился их бессмысленный хохот. И вдруг все стихло. Пуэн–Мари заметил всадников, побежал навстречу своему начальнику.

Де Гонвиль спрыгнул с коня и пошел к нему, расшвыривая сапогами песок. Следом косолапо поспешал морской побродяжка и пылил подолом рясы отец Жоффруа – де Гонвиль начал подозревать, что инквизитору доложили о случившемся даже быстрее, чем ему самому. Кто из людей де Гонвиля, интересно? Воронье… Среди казненных несколько лет назад тамплиеров был родственник де Гонвиля, дальний, с которым он редко виделся и уж никак не дружил но кто знает, не отложилось ли наличие такого родства в памяти черного воронья – порядка ради, на черный день, как припасы в кладовке…

Они встретились на полпути от лошадей к лодке и трупам. По хитреньким глазкам Пуэна–Мари видно было: чует, что на сей раз обойдется без выволочки. Гнусавя и помогая себе жестами, он рассказывал что к ним прибежал рыбак Косорылый Жеан и рассказал о приставшей к берегу лодке с несомненными чужаками, и они с арбалетчиками залегли за дюнами и наблюдали, как явно утомленные длинным путем чужаки, числом девять человек мужского пола, буйно выражали радость, а потом стали творить действо, смысл коего сразу стал ясен столь опытному человеку и старому солдату, каковым является Амиас Пуэн–Мари, – он быстро сообразил, что прибывшие объявляют открытую ими землю неотъемлемым и безраздельным владением

своего неизвестного, но несомненно нечестивого монарха – точь–в–точь как это делают, достигнув земель язычников, христианские мореходы. Такого нахальства никак не могла вынести благонамеренная и верноподданная душа слуги короля и господа бога Амиаса Пуэна–Мари, и он приказал арбалетчикам стрелять. Что было незамедлительно исполнено и повлекло за собой молниеносное и поголовное уничтожение противника, о чем Пуэн–Мари имеет счастье доложить, и да послужит это к вящей славе его христианнейшего величества Филиппа V…

– Значит, объявляли владением?

– Именно так, мессир, их жесты свидетельствовали…

– Насколько я помню, из всех существующих на свете жестов тебе понятен лишь поднесенный к носу кулак, – хмуро сказал де Гонвиль, ничуть не сердясь, впрочем. – Ну, пойдем посмотрим.

Он присел на корточки над ближайшим трупом, пробитым тремя арбалетными стрелами, отметил странный медно–красный цвет лица и тела, яркие перья неизвестных птиц в волосах, пестротканую накидку в ярких узорах. Не вставая с корточек, де Гонвиль вырвал у арбалетчика шнурок со странными украшениями, костяными, ракушечными и матерчатыми, явно снятый с убитого. Повертел, бросил рядом с трупом и отер перчатки о голенище. Мощного сложения люди, хотя изрядно исхудавшие, воины из них получились бы неплохие. Он встал и заглянул в лодку. Ничего особо интересного там не оказалось – обломок мачты, весла, какие–то сосуды, лук, пестрое тряпье.

Он вопросительно глянул на морехода, и тот верно расценил это как приказ высказать свое мнение:

– Да все тут ясно, мессир. Мне, во всяком случае. Унесло из далеко в море от какого–то берега, сломало мачту, болтались по волнам черт знает сколько, пока сюда не пристали. Всего и делов. Лодка не морская, прибрежная…

– Да, – сказал де Гонвиль. – Только откуда их могло принести? В Африке живут черные, в Китае – желтые. Никто никогда нигде не видел краснокожих.

– Море приносит много загадок, мессир, – сказал капитан Бонвалет. – Когда мы ходили на Азоры, вылавливали стволы неизвестных деревьев. И ветки со странными ягодами. Другие тоже. Говорят, то ли Пьеру Одноухому, то ли Божьему Любимчику попадались странные утопленники, вроде бы даже и краснокожие.

– Многое можно выловить в чарке, – тихо заметил отец Жоффруа.

– Ветки с ягодами я сам видел. Говорят, встречались в открытом море и лодки с людьми, каких никто до того…

Де Гонвилю стало еще холоднее, когда его взгляд

натолкнулся на взгляд монаха. Захотелось оказаться где–нибудь подальше, потому что густой дым с отвратительным запахом щекотал ноздри, откуда его несло – с острова Ситэ, где сгорели тамплиеры, или откуда–нибудь еще, из Лангедока, из Наварры? Будь проклят этот серый берег…

– Я поясню свою мысль, чтобы она легче дошла до сознания этого имеющего печальную склонность к преувеличениям, как все моряки, человека, – тихо, совсем тихонечко говорил отец Жоффруа. – Я напомню этому человеку, что мы живем на плоской земле, омываемой безбрежным океаном, сотворенной господом богом и осененной его благодатью. Будь за пределами нашего мира другие земли и населяющие их народы, мы знали бы об этом из Святой Библии, хранящей божественную мудрость и ответы на все вопросы. В противном случае нам пришлось бы допустить еретическую мысль – будто существуют иные земли, сотворенные не господом, а кем–то другим, народы, происшедшие на свет не от потомков Адама, а от кого–то другого. Это ты хочешь сказать, капитан Бонвалет, – что есть вещи, неизвестные Библии? Что есть земли и народы, сотворенные не господом?

– Те, кто ходил на Азоры, взять Пьера Одноухого… – забубнил было свое просоленный болван, а де Гонвиль, охваченный ужасом и – вот странное дело! – ощутив вдруг, что Бонвалет близок ему в чем–то, чего не выразить словами, заорал:

– Заткнись, болван, ты же пьян с утра!

Арбалетчики заинтересованно придвинулись было, но де Гонвиль яростно махнул рукой, и они шарахнулись на почтительное расстояние.

– Тебе разве не знакомы козни, на которые пускается враг рода человеческого, их изощренность и разнообразие? – ласково спросил капитан отец Жоффруа. – Для чего же тогда существуют проповеди и духовные наставники? Может быть, ты нуждаешься в подробных и долгих наставлениях специфического характера?

Жирный дым щекотал ноздри, и де Гонвиль, презирая себя, слушал собственный севший голос:

– Отец мой, этот человек туп и пьян, и требуется известное время, чтобы он понял. Но ты ведь понял, правда?

– Я… это… – Капитан шумно высморкался на песок. – Чего ж тут непонятного, духовные наставники, конечно… Святая Библия, она на все вопросы… Свечу я всегда ставлю после плавания, и на храм жертвую, святой отец…

– Я рад, – сказал отец Жоффруа. – В таком случае ты понял – как только огонь уничтожит следы дьявольского наваждения, ты забудешь о них и об этом огне. И храни тебя бог…

Капитан Бонвалет часто кивал, не поднимая глаз. Лица на нем не было.

– Иди, – сказал ему отец Жоффруа, и капитан побрел прочь, загребая песок косолапыми ступнями. Арбалетчики недоуменно пялились ему вслед. – Мессир де Гонвиль, вы лучше знаете своих солдат и умеете с ними разговаривать. Любой, кто заикнется, любой, когда бы то ни было, даже не святой исповеди… Не должно остаться ни малейшего следа. Вам всем приснился сон из тех, о которых не рассказывают…

Он сжал худыми сильными пальцами локоть де Гонвиля, ободряюще покивал и вдруг произнес непонятные слова: «Неужели Атлантида?» – так, словно спрашивал кого–то, кого не было здесь. Тут же в его глазах мелькнул страх, глаза были умные и грустные, отец Жоффруа отвернулся, и ровным счетом ничего не понявший де Гонвиль подумал: а что, если и за отцом Жоффруа следит кто–то в рясе или мирской одежде, и за тем, следящим, следят, и за ними. где конец этой цепочки, есть ли кто–то, свободный от взгляда? Его святейшество папа? Или и…

Отец Жоффруа пошел вдоль берега, перебирая четки. Ряса его оставляла на песке змеистый след. Люди де Гонвиля заметались, как шевелящие грешные души черти, и вскоре над серым берегом и серой водой затрещало пламя. Солдаты пялились на него с тупым раздражением и любопытством, с непонятным выражением смотрел в море отец Зоффруа, капитан Бонвалет сидел на песке, свесив голову меж колен, отвернувшись и от моря, и от пламени. А де Гонвиль словно плыл куда–то через безбрежный океан. Впереди вставали неразличимые яркие миражи, и при попытках представить себе необозримые расстояния, многоцветные берега, чужие причудливые города, неизвестные ароматы диковинных цветов сердце ухало в сладкий ужас, это было слишком страшно. И он гнал искушающие мысли прочь, насильно возвращал себя к скучным дюнам, низким тяжелым волнам, серой хмари облаков, миру без четких теней, серому ленивому прибою, шлепающему в берега Английского канала, долгим моросящим дождям.

Как звучит прибой, омывающий Азорские острова?

1986

Домой, где римская дорога

А на войне, как на войне.
А до войны, как до войны —
везде, во всей Вселенной.
Он лихо ездил на коне…
В. Высоцкий

Он сидел за столом, сколоченным из толстенных плах. Исхудавший, заросший густой щетиной. Жареная курица дергалась в его ладонях, как живая, он вонзал зубы в мясо и резко дергал головой назад, отрывая куски глотал, не прожевав толком, торопливо отхлебывал эль, давился, кашлял. Справа стояло набитое наспех обглоданными костями блюдо, слева стояли рядком кувшины. Парочка зажиточных йоменов, оборванный монах, важничавший писец, белобрысый клирик и несколько крепко пахнущих селедкой рыбаков теснились поближе к двери – на всякий случай. За окном было густо–синее кентское небо, скучные холмы и старая римская дорога, пережившая не одну династию английских королей.

Он отшвырнул пригоршню куриных костей и схватил кувшин. Запрокинул голову, эль потек на грязную старую кольчугу, на худые колени. Допив, размахнулся и грохнул кувшин об стену. Брызнули мокрые черепки.

– Вот такие–то дела, – со вздохом сказал в пространство трактирщик. Бесхитростное на первый взгляд замечание имело массу оттенков и сейчас вполне сошло бы за попытку начать разговор.

– Песок, – сказал рыцарь, ни на кого не глядя. – И снова песок. И сто раз песок, болваны…

Он поднял обеими руками меч и с силой воткнул его в пол, целя в некстати прошмыгнувшую кошку, но промазал.

– Там нет кошек, – сказал он вдруг. – И ничего там нет, кроме песка. Песок взметается пыльными бурями, а из бурь налетают сарацины. Господи, ну почему? Почему все оказалось так непохоже на саги и эпосы? Когда мы высадились в Алеппо, каждый был Тэйллефером или уж Роландом по крайней мере. Мы грезили снами о смуглых красавицах, набитых драгоценностями подвалах и блистательных поединках на глазах у короля. А ничего этого нет. – Он сгреб пустой кувшин и шваркнул им в монаха, снесшего это с христианским смирением. – Ристалища обернулись нудными каждодневными рубками, божественные красавицы – толстыми скучными шлюхами, а Гроб Господень – просто щербатая и пыльная каменная плита. А султан Саладин

никак не желает покориться, прах его побери…

– Но пряности… – осторожно сказал трактирщик, стоя так, чтобы при необходимости нырнуть за дверь. Совсем мальчишка, подумал он жалеючи.

– Пряности… – Глаза рыцаря были трезвыми и стеклянными. – Подумаешь, достижение – привезли сотню мешков с приправами для супа… Где зачарованные принцессы, я тебя спрашиваю? Где волшебные самоцветы? Где колдуны? Где драконы? Будь они все прокляты – и Ричард Львиное Сердце, и Болдуин, и остальные! Они отравили нам души. Они обманули нас. Они обещали небывалые приключения, прекрасные чужие страны, похожие на миражи, а привели в преисподнюю – чахлые пальмы, верблюжий навоз и грязные лачуги, над которыми глупо вздымается крепость Крак…

Окно выходило на юг. На юге лежала та далекая земля, откуда он приплыл вчера. Он скривил губы, отвернулся и звонко плюнул на пол. Беззвучно подкравшийся трактирщик ловко поставил рядом с его обтянутым дырявой кольчугой локтем полный кувшин.

– Я и смотреть не хочу в ту сторону, – громко объявил рыцарь. – Той стороны света для меня не существует. Есть только север, запад и восток – и никакого юга с сопутствующими румбами. Там смешались с песком глупые иллюзии несчастных юнцов. Там рассыпались прахом честолюбивые мечты о подвигах, позволивших бы нам превзойти Нибелунгов, Роланда и Ланселота, поставивших бы нас выше рыцарей короля логров. А у меня даже Изольды нет. И Дюрандаля нет. – Он допил эль и утер губы кольчужным рукавом, оцарапав их до крови.

– Что же, все вернулись? – тихо поинтересовался трактирщик.

Рыцарь мутно посмотрел на него, захохотал, махнул рукой:

– Какое там, старина… Это я один вернулся. А эти болваны по–прежнему барахтаются в песках. Через неделю штурм Иерусалима, будут реветь трубы, будут трещать копья, и кучка упрямых идиотов усердно станет притворяться, что за их спинами – Ронсеваль… Ну и пусть. Сколько угодно. Только без меня. В этом мире нет ничего среднего. Либо подвиг, либо скучная возня. И третьего не дано. А они там четвертый год играют в кошки–мышки с сарацинскими разъездами, жрут самогон из фиников и притворяются, что обрели желаемое, что именно к этому и стремились. И ни у кого не хватает смелости признаться, что ошиблись и обрели не то, что искали, гонор не позволяет им вернуться, упрямство заставляет ломать комедию дальше, дальше… Ну и черт с ними. Никогда не поздно прозреть и поумнеть. Плевал я на их проклятый песок… Держи.

Он швырнул на стол горсть диковинных монет. Рисунок на них был странный, чужой, невиданный, но трактирщик попробовал одну на зуб и успокоился – настоящее полновесное золото. Рыцарь сгреб в охапку меч, шлем щит, узел с чем–то тяжелым и направился к двери, роняя то одно, то другое, подбирая с чертыханиями. Все молча смотрели ему вслед.

Трактирщик, кланяясь, подвел худого рыжего коня, помог приторочить к седлу доспехи и узел с добычей. Над ними было густо–синее кентское небо, вдали белела старая римская дорога, зеленели сглаженные временем холмы.

Рыцарь не сразу взобрался на коня. Он стоял, пошатываясь, положил руку на седло, смотрел на юг, и в глазах у него была смертная тоска.

1984

Примостившийся на стенке гусар

А вскоре стали попадаться посты охраны внешнего кольца. Охранники стояли в настороженно–раскованных позах, прижав локтями к бокам коротенькие черные автоматы, они узнавали машину издали и во мгновение ока принимали уставную стойку, провожая глазами начальство, и Дереку было приятно проплывать мимо них в огромном черном лимузине, пусть и чужом, а еще чуточку грустно оттого, что для него самого такая машина пока что оставалась несбыточной мечтой. Но он верил в свою звезду. Всегда нужно верить. Он одернул латаный пиджачок, мятый и великоватый, встрепенулся, когда из приемника рванулись лихие позывные «Полуденного вестника»: та–та–тири–та–та–та–та…

– Девятое сентября сорок четвертого года, – частил диктор акающей московской скороговоркой. – Вчера в Вальпараисо в возрасте пятидесяти пяти лет скончался Адольф Шикльгрубер, известный более как Гитлер. Молодым это имя ничего не говорит, но люди постарше хорошо помнят этого чрезвычайно шумного и скандального политикана, ухитрившегося некогда не на шутку взбаламутить Германию и едва не прорваться к власти. Увы, сик транзит, глория мунди… На похоронах герра Гитлера, державшего небольшую художественную мастерскую, присутствовали лишь его маляры и парочка зевак.

– Они когда–то и в самом деле едва не прорвались к власти, – сказал комиссар Голодный, пошевелился, и его черная кожаная куртка скрипнула. – Гитлер, Рем, этот итальянец, как его, Бонито, кажется… Доходило до стрельбы и уличных выступлений.

– Да? – спросил Дерек вежливо–безразлично. Германия двадцатилетней давности его мало интересовала. – Меня более интересовало бы ваше мнение о возможности второй мировой войны. Португальцы настроены крайне решительно, газеты неистовствуют…

– Южная горячая кровь, – сказал комиссар Голодный. – Они чертовски любят шуметь на весь белый свет, но что касается действий – весьма ленивы… Глупости. В конце концов та канонерка была виновата сама. Датчане выплатят компенсацию, и славный град Лиссабон успокоится. Конечно, сыщутся деятели, которые возжелают заработать на инциденте политический капитал, так всегда и бывает, однако говорить всерьез о новой мировой войне… Двадцатому столетию хватило одной. Это несерьезно, право – вторая мировая война…

Он сделал знак шоферу, и тот приглушил радио. Бесшумный лимузин плыл посреди нежаркой подмосковной осени, желтые

листья бесшумно скользили к земле.

– Мы подъезжаем, – сказал комиссар, и Дерек с удивлением обнаружил, что не испытывает ни волнения, ни любопытства. Скорее всего, его ощущения были столь сложными, что казались полнейшим отсутствием таковых. Раньше все было гораздо проще.

Они прошли в высокие железные ворота. Охранник в кожаной куртке и буденовке с синей звездой вытянулся в струнку – он был совсем молод, и, по лицу видно, ему явно доставляло удовольствие играть в солдатики.

– Я очень на вас надеюсь, – сказал комиссар, не оборачиваясь, и Дерек кивнул, уставясь в его широкую черно–кожаную спину, перекрещенную желтыми ремнями.

Бесшумно кружили листья, приятно пахло свежей осенью, почти неотличимой от оклахомского «индейского лета». Слева, в красном кирпичном флигеле с распахнутыми окнами, звенела гитара и доносился молодой голос:

Сколько дыма – облака, облака!
Завтра будет вентилятор, а пока
чихаю – ведь щекочут мне нос
револьверные дымки папирос.
Курят мальчики, хоть мальчики малы,
и приклады раскурили стволы.
И лассо на пули длинное бросал
примостившийся на стенке гусар.
Он уселся на картонного коня,
он чертовски был похож на меня…

Комиссар недовольно дернул плечом, но промолчал. Молчал и Дерек. Они поднялись по белым ступеням в вестибюль, где были встречены бравым начальником охраны – малиновые революционные галифе, блескучие шпоры, маузер в колодке – и благообразным врачом. Начальник охраны щелкнул каблуками, ухитрившись проделать это беззвучно, но вместе с тем красиво и лихо. А доктор, состроив стандартнейшую мину эскулапов всех времен и народов, люто стерегущих пациентов от внешнего мира, попросил почти страдальчески:

– Только недолго, умоляю, ну, право же, недолго… Возраст!

И перед ними распахнулась дверь. И они, конечно же, вошли. Старались ступать тихо. Впрочем, пушистые ковры все равно глушили любые звуки.

Старик тронул кнопку на подлокотнике, его высокое кресло бесшумно развернулось на сорок пять градусов и поехало от стола к гостям по огромному кабинету. Остановилось совсем рядом. На коленях у старика лежала свернутая пополам «Правда»,

и Дерек цепким профессиональным взглядом ухватил крупные заголовки: «Победная поступь пролетариата Бразилии!», «Агония подлых австралийских бело–плантаторов!», «Красной конницей занят Йоханнесбург!». Он спохватился и поднял взгляд на старика – огромный сократовский лоб, обрамленный седым венчиком волос, седая бородка клинышком, умные живые глаза. На миг Дереку стало неуютно, на миг ему показалось, что в представлении участвуют абсолютно все действующие лица…

– Вот, Владимир Ильич, – сказал комиссар Голодный. – Товарищ Дерек Рид, председатель оклахомского губисполкома, он же – глава Всеамериканской Чека. Молодой товарищ, но дельный, чрезвычайно…

Дерек неловко поклонился, отнюдь не играя эту неловкость.

– Пиджачок плох, батенька, плох, – сказал человек в кресле. – Вы бы что–нибудь подыскали, Петр Сергеич, а? Сами–то в коже… Надеюсь, покормили товарища? А то есть тут отличнейшая стерлядка, сормовские товарищи прислали. Неудобно, право, присылают, как барину в старые времена…

– Распорядимся – в детдом, – веско сказал комиссар.

– Пренепременнейше! Кстати, что это там поют, Петр Сергеич, на улице? Странные рифмы, да. Решительно не понимаю – какие–то ломаные строчки, сумбур вместо музыки… Нет, право, мелкобуржуазное что–то… (Комиссар молча изобразил на лице согласие и готовность урегулировать.) Ну–с, товарищ Рид… Сначала – об архиважном. Ваши успехи? Хлебную монополию установили?

– Можно говорить с уверенностью, – осторожно сказал Дерек.

– Прекрасно, батенька. Прекрасно. Главное – хлеб. Хлеб – вот оружие. Овладейте хлебом, и вы покончите с кулаком. И помните – оклахомский кулачок вам даром хлеб не отдаст. – Он значительно воздел палец. – Вся его натура хищника, собственника сопротивляется новым социалистическим отношениям на селе… – старик, утомленный длинной тирадой, отер лоб платком. – «Продавать» – вот магическое для кулачка слово. А мы возьмем, да–с! Что бы там ни твердили, как бы ни хныкали господа либеральствующие интеллигенты, мнящие себя мозгом нации. На деле они не мозг, а говно. Так что не бойтесь быть беспощадным. Отправляйте в деревню передовых пролетариев…

Бесшумно отошла правая половинка высокой двустворчатой двери. Лицо врача выражало крайнее неодобрение, и комиссар коснулся заштопанного локтя спутника:

– Товарищ Рид…

– Может быть, вы… – сказал Рид. – Несколько слов на

память…

Старик весело кивнул, отъехал в кресле к столу, выбрал вечное перо из множества стоящих в золотом стакане с гербом императорского дома, размашисто написал на листке из блокнота несколько слов и, подъехав, отдал бумажку Дереку. Дерек бережно спрятал ее во внутренний карман. Врач стоял уже рядом, смотрел, набычившись. Дерек осторожно пожал тонкие слабые пальцы старика и, неловко поклонившись, вышел.

Начальник охраны, бравый усач в революционных галифе, бесшумно притворил за ними дверь и посмотрел грустно–понимающе. Дереку вдруг стало невыносимо стыдно и горько, он резко повернулся и почти бегом двинулся к выходу, размашисто шагая по бесконечной анфиладе комнат, пока не опомнился на улице, у подножия белых колонн. Комиссар, молча шагавший следом, так и не произнес ни слова, и Дерек был ему за это благодарен. Дереку показалось вдруг, что светлый прозрачный воздух этого утреннего парка – особенный, нелюдской, что это само Время притворяется безоблачной осенью перед тем, как застыть чудовищным янтарем, навечно впаяв в себя и обитателя белого особняка, и этих людей в кожаных куртках, и его, Дерека Рида, молодого преуспевающего репортера. Он дернулся, поборов мгновенно нахлынувший и столь же быстро растаявший панический страх.

– Вот так, – сказал комиссар с непроницаемым лицом. – Впервые на моей памяти старик вдруг решил дать кому–то автограф… Пойдемте?

И до самой дверцы черного лимузина он оставался красным комиссаром – пока не расстегнул ремни и не стащил черную кожаную куртку. В огромный черный «Витязь–Рено» усаживался уже князь Голицын – золотое сверкание погон, Преображенский мундир, аксельбант флигель–адъютанта, ордена, в том числе золотой знак Ледяного похода…

Машина бесшумно покатила мимо вытянувшихся в струнку юнкеров.

– Вы довольны? – спросил князь Голицын.

Дерек молчал, он пытался найти подходящие слова и понять, есть ли они вообще. Князь, видя волнение собеседника, не повторял вопроса, и какое–то время они чуточку скованно слушали радио.

– Сегодня Его Императорское Величество Государь Михаил Третий встретится в Петергофе с Королем Польским, Его Ясновельможностью Яном Четвертым Радзивиллом…

– Вторая попытка пилотируемого штурма заатмосферного пространства! При достижении ракетой «Сикорский–4» высоты в

восемнадцать верст обнаружились неполадки, вынудившие штабс–капитана Белецкого и поручика Алимханова прибегнуть к аварийному катапультированию. Отважные ракетонавты благополучно достигли земли в сорока верстах юго–западнее Пишпека…

– Губернатор Аляски, действительный тайный советник Иваницкий дал прием в честь участников Большого Ралли Колорадо–Юкон…

– Вы довольны? – спросил князь Голицын. – Я постарался сделать все, что было в моих силах. Наш… объект, в общем–то, практически забыт и в империи, и в остальном мире, и, получив из МИДа вашу просьбу, я удивлен был, что по ту сторону океана еще помнят…

– Газетное дело, специфика… – сказал Дерек, глядя перед собой. – В редакции любой мало–мальски солидной газеты имеются досье на всех мало–мальски выдающихся деятелей, независимо от того, канули они в небытие или процветают. Пока они живы, за их судьбой следят и вносят дополнения. А вашему… объекту скоро исполнится, семьдесят пять, круглая дата…

– Понятно. И все же, вы довольны?

– Если бы я знал, – сказал Дерек. – Если бы я знал…

Он оживился вдруг, отыскав надежную тропу, на которой вновь становился целеустремленным профессионалом. Вспомнил о магнитофоне. Поднял с сиденья и положил на колени черный чемоданчик «Лодыгин–Филипс»:

– Князь, в преддверии юбилея вашего… подопечного я попросил бы вас сказать несколько слов для наших читателей. Вы правы, все забыли, как это начиналось, как было…

Нажал кнопку и с облегчением откинулся на упруго–мягкую спинку сиденья. Князь Голицын сосредоточенно и отрешенно смотрел вперед, на несущуюся под колеса черную автостраду, на полосатые верстовые столбы.

– Понимаете ли, виной всему неразбериха, – сказал он наконец, – и кое–какие свойства человеческой психики. Когда генерал Деникин взял Москву, а Колчак соединился с союзниками под Вологдой, с военной точки зрения все было кончено. Остальное было уже делом рук полиции и жандармерии. Даже Камо с Джугашвили, за которыми пришлось три года гоняться по горам Кавказа. Тогда, в первые дни… Видите ли, мистер Рид, даже у жажды мести есть свои пределы. Старика спасли парализованные ноги, следствие ранения. Не так уж трудно расстрелять у кремлевской стены вопящих от ужаса бонапартиков и поднять на штыки ожесточенно отстреливающихся живорезов из чрезвычайки. Это война – и расплата. Но психологически

гораздо сложнее вздернуть человека с парализованными ногами… Понимаете?

– Кажется, да.

– Наш подопечный уцелел в первые шалые дни. Врачи считали, что любые потрясения, в том числе, конечно же, информация о происшедших в стране изменениях, непременно убьют больного, находившегося в устойчивом полубреду. Решено было лечить – и ждать суда. Ради вящей скрупулезности новая охрана была переодета в совдеповскую форму. Ну, а потом… Стабилизация положения в стране, более важные, первоочередные задачи, коронация государя, программа экстренного выхода державы из кризиса, отмена военного положения, думские дебаты, амнистия инвалидам, выступления либералов… Мы очень добрые после драки, когда разожмутся кулаки и отойдут сердца. А закон есть закон. Амнистия инвалидам должна охватывать всех без исключения. И все как–то незаметно осталось по–прежнему. Никто не стал его разуверять. Можно сказать, закрутилась бюрократическая карусель. Номера уже несуществующих газет, сильная группа ученых и экспертов, сохраняющая у подопечного иллюзию, будто революция победила и жизнь всего мира подчинена полыханию красного пожара…

– Я знаю, – сказал Рид. – Это история. Перечень событий и дат. Но там нет главного – всеобъемлющих истин.

– Господи, а откуда им взяться в истории? Никаких всеобъемлющих истин в истории не бывает…

– И все же…

– Ах, ну да… – сказал князь. – Думаете, вы первый, кто пытался выяснить, что обо всем этом думаю лично я?

– Я надеюсь, что буду первым, кому вы ответите наконец…

– Так вот, я – привык…

– Спасибо, – сказал Рид. – Это хороший ответ.

– Будь это пыткой для объекта, садистским удовлетворением мстительных победителей, пытка очень скоро потеряла бы смысл и удовольствие для самых лютых палачей. Мы просто привыкли за четверть века, вот и все. Знаете, если бы всю правду узнал Старик, для него это наверняка было бы меньшим потрясением, чем для меня. Честное слово, я в этом уверен. Не могу объяснить, не умею… Кажется, я сам уже не мыслю мира без совдеповской России, уместившейся на территории Горок, иногда самому верится, что по Бразилии носится красная конница, а где–нибудь в Эфиопии или, вот абсурд, в Берлине сидят комиссары…

– И что же, он так ничего и не заподозрил за все эти годы?

– У меня работают не бесталанные люди, – бледно усмехнулся князь. – Быть может, лучшие сценаристы мира,

которые никогда не удостоятся премий. Ему давно объяснили, что с точки зрения высших интересов партии полупарализованному вождю не следует появляться перед массами и участвовать в работе съездов, были разработаны сложнейшие, логически непротиворечивые концепции и сценарии, в полной мере учитывавшие психологию этих… господ и их видение будущего… Впрочем, иногда, крайне редко, мы вывозим его на «митинги». И демонстрируем достижения мировой революции – например, вовсе нетрудно вмонтировать в снимки бразильского карнавала несколько красных знамен и лозунгов, объявив происходящее парадом в честь очередной годовщины революции… Ет цетера, ет цетера… Словом, я готов прозакладывать голову, что он никогда, ни за что… А–пропо, что он вам написал?

Дерек развернул бумажку. И вздрогнул. Это длилось миг. Князь был, разумеется, светским человеком, и не стал заглядывать Дереку через плечо. Это помогло журналисту овладеть собой. Кажется, его голос звучал совершенно спокойно:

– Товарищу Дереку Риду – с коммунистическим приветом. И подпись.

– Ну да, конечно, – с оттенком скуки произнес князь.

Дерек повернулся к окну. За окном уже проплывали шумные московские улицы, и златоглавые купола храма Христа Спасителя возносились над одной из красивейших столиц мира. В кармане у Дерека лежал листок бумаги, на котором торопливым старческим почерком было написано: «Батенька, у вас добрые глаза, черкните записочку, и – молоком между строк! Кто меня здесь запер – Троцкий или Феликс? Напишите, Христом молю!»

Это была, если подумать, сенсация века. Непредставимой стоимости раритет. Пожалуй, Арманд Хаммер или люди из Гуверовского института без единого слова заполнили бы ему чек с полудюжиной нулей после единицы…

Если только он продаст.

Дереку вдруг показалось, что он, продав записку, расставшись с ней, так никогда и не ответит для себя самого на череду проклятых вопросов – что есть Истина? Где границы игры и есть ли они? Кто мы и куда идем? Что есть иллюзия и что есть счастье? И сколько еще нерешенных вопросов потянут за собой эти?

Странное дело – Рид стал грустен.

Быть может, это означало лишь, что юность – закончилась.

1988

Лунные маршалы

Все начинается в полнолуние и длится три дня. Почему так – загадка. Есть многое на свете, друг Горацио… словом, так природа захотела, почему – не наше дело.

Климент Ефремович Ворошилов, первый красный офицер, готовит все тщательно, по–бабьи обстоятельно – самовар, горячительные, сытная закуска. Он ходит кругами вокруг красиво и богато убранного стола, что–то трогает, что–то подвигает, садится и вздыхает грустно, глядя на экран телевизора, где беззвучно журит кого–то обаятельно–настороженный Михаил Сергеевич. «Ты болтай меньше, Чека создавай, Чека…» – хмурится первый красный офицер.

Но тут приходит Семен Михайлович Буденный, символ и легенда, вешает фуражку и шинель с полковничьими погонами, ерошит кончиком пальца жиденькие усы, шумно восторгается столом. К. Е. по–бабьи жеманится, и маршалы пропускают по первой.

Последним появляется маршал Жуков, мирно настроенный, пока не принял, как следует. Стакана после пятого, когда беседа перекинется на Афган и Персидский залив, Жуков начнет орать на обоих легендарных, поминая им бездарность, проявленную во время вероломного нападения немцев. Легендарные, конечно, обижаются и сиплым дуэтом орут, что в гражданку они как–никак вершили большие дела, а Жуков был Ванькой–взводным, так что лучше бы ему помолчать, и вообще, они проливали кровь и за этаких вот Жуковых в том числе… Вскоре они остывают, и разговор плавно съезжает на мирные воспоминания о гражданской. «И комиссары в пыльных пейсах склонятся молча надо мной…» – ржет К. Е., за что получает легонькую выволочку от С. М. – так, порядка ради. Долго, смачно, со вкусом матерят Троцкого, потом – нынешнюю молодежь.

И все это время в темном углу сухопарым изваянием сидит старшина Тулигенов, тихо–тихо, как мышь под метлой. Словно бы его здесь и нет. Только изредка бесшумно протянет руку за стаканом, пригубит самую чуточку коньяка, чтобы рот промочить, – и вновь замрет, как степная каменная баба.

Сам он напьется потом, ему нельзя пока что. Потому что, стоит Тулигенову расслабиться, и чертями из сказки мгновенно улетучатся все три легендарных маршала, а на их месте в тех же позах останутся два ничем не примечательных полковника и вовсе уж скучный майор. Потому что маршалы – дело рук Тулигенова, который на самом деле и не Тулигенов вовсе (дело

было непростое, но два полковника с майором оформили его–таки погибшим на учениях, сочинили новую фамилию и произвели в старшины. Трудно было, попотеть пришлось, но справились).

Тулигенов, единственный оставшийся в живых наследник ушедшего в вечность немногочисленного рода колдунов, живших некогда в песках у иранской границы. Тулигенов, которому ничего не стоит с наступлением полнолуния вселить в кого угодно чью угодно чужую душу. Сочетание получается жутковатое – и прежнее «я» не подавляется полностью, и нововселенная душа не сохраняет свою личность на сто процентов. Что–то вроде сна, когда точно знаешь, что спишь. Но насквозь реально и привлекательно до сладкого ужаса.

Почему–то два полковника и майор зациклились на трех легендарных маршалах, будто пьяницы, что по сто раз за вечер гоняют любимую кассету, мусоля жирными пальцами клавиши магнитофона. К этому они пришли не сразу – кто–то побывал Наполеоном, кто–то Кутузовым, но именно Жуков притягивает до дрожи, даже больше, чем Александр Македонский, страшно хочется побывать Жуковым снова и снова…

А вот с Котовским был конфуз. Явившись и надравшись, он побил посуду, матерно честя первого красного офицера и вождя Первой Конной, а после нацелился бить им морды за Серегу Думенко, Миронова и прочие лихие дела, поросшие быльем для потомков и историков. Хорошо еще, что ни ростом, ни силушкой Котовского майор не обладал, и полковникам без особого труда удалось быстренько повязать его полотенцами…

С тех пор три легендарных маршала стали неизменной повседневностью каждого пьяного полнолуния, потому что Тулигенову все равно. Ему здесь хорошо, он рад–радешенек, что спрятали за другой фамилией и патетической похоронкой. Есть причины. Охотились еще за его дедом и отцом, охотились и за ним самим – и люди Ага–хана, и люди каких–то неизвестных газетам генералов из аравийских песков, и люди Саддама. Тулигенов крепко подозревает, что всем охотившимся за ним требовалась одна и та же душа. Не так уж трудно догадаться, чья.

Тулигенов прижился здесь и ни о чем не жалеет. Родная земля отравлена химией настолько, что даже молоко у женщин – с пестицидами, родных никого не осталось, а два полковника с майором, кроме всего, выхлопотали ему орден за службу родине в вооруженных силах третьей степени и обещают еще много хорошего, только работай. А работать нетрудно, честно говоря – пустяк для потомка колдунов…

К утру, когда три легендарных маршала уже лыка не вяжут,

они улетучиваются, а оставшиеся за столом два полковника с майором, как всегда на этом этапе гулянки, садятся писать письмо Горбачеву, предлагая ему в обмен на генеральские звезды для всех троих вручить в пользование чью угодно душу – хоть Владимира Ильича, хоть Карлушки вкупе с Энгельсом. Утром они, ужасаясь похмельно, письмо старательно рвут, а клочки сжигают – хорошо, если вышибут в отставку по несоответствию, а ежели и в психушку загонят? Ну что подумает адресат, как любой на его месте, получив этакое послание?

Дописав эпистоляр, они кое–как доползают до постелей и, не озаботясь снять брюки, проваливаются в мутное забытье. Им снятся маршалы. И тут уж Тулигенов, подлив себе коньячку как следует, глядя на рассвет и ставшую бледной Луну, начинает жить для себя.

…Атилла, которого называли кто бичом божьим, кто молотом божьим, едет по равнине, и вокруг, насколько достигает взгляд, – его конники, и за горизонтом – его конники, и далеко еще до Каталаунского поля, и Европа застыла в смертном оцепенении, ужаснувшись вторгшейся конной орде. И горят города.

Но прелесть тут вовсе не в разрушениях и смертях, не в горящих городах, юных пленницах, жарких сечах и грудах золота. Тулигенов просто–напросто так и остался пацаном, несказанное наслаждение ему приносит одно: то, что он едет во главе неисчислимых конных орд, и все до одного его слушаются. Больше ему ничего и не нужно – лишь, гордо подбоченясь, ехать во главе…

Это приносит несказанное наслаждение. И несказанную боль, вот ведь в чем дело. Только никто об этом не знает. Тулигенов вовсе не тупой чучмек из анекдотов, колдуны с иранской границы всегда много знали, знания их были обширными и многосторонними, в тайнике тулигеновского отца до сих пор покоится груда книг, которые считаются утраченными. Тулигенов мог бы писать гениальную музыку, он знает, что в нем погиб Моцарт, он прекрасно знает, кто такой был Моцарт. Но знает еще, что никогда не сможет вырваться из заколдованного круга, где хлещут водку три маршала и покачивается в седле Атилла. Не оттого, что его держат здесь насильно, вовсе не оттого…

Тулигенову не хватит силы воли, упорства и настойчивости, чтобы пробиваться в композиторы. Ему хорошо и так – кормят, поят, одевают, скоро дадут прапорщика… Все знания, все наследие колдунов не прибавят твердости характера и упорства в достижении цели, если ничего этого нет в самом человеке. Как предупреждал Тулигенова дед, из тряпки и колдовство не сделает стали. Так оно и вышло.

Остается всплакнуть иногда спьяну, утирая слезы растопыренной ладонью. И Тулигенов плачет, пока не уснет пьяным сном.

Наверное, так плакали б и мы, прекрасно сознавая, что в нас погибает Моцарт.

1991

Последний вечер с Натали

– НАТАЛИ! НА–АТАЛИ! НА–А–АТАЛИ!

Человек упал лицом в узенький ручей, неизвестно где начинавшийся и кончавшийся, петлясто пересекавший зеленую равнину. Хватал губами воду, выплевывал, поперхнувшись, глотал, а руки рвали влажную черную землю, такую реальную, такую несуществующую. Потом оглянулся и всхлипнул.

Охота вскачь спускалась с пологого холма. Взметывали ноги черные кони, над усатыми лицами кавалеров и юными личиками прекрасных наездниц колыхались разноцветные перья, азартно натягивали поводки широкогрудые псы, стрелы лежали на тетиве, дико и романтично ревели рога. Движения всадников были замедленными и плавными, как на киноэкране при съемке рапидом. Беглец двигался и жил в нормальном человеческом ритме, и это на первый взгляд давало ему все шансы, однако страшным преимуществом охоты была ее неутомимость. Он был из плоти и крови, они – нет, хотя их стрелы могли ранить и убивать.

Беглец поднялся, мазнул по лицу мокрой ладонью и побежал к горизонту, над которым тускло светило неподвижное солнце – ночник над столиком с ожившими куклами, прожектор над сценой.

– НАТАЛИ! НА–АТАЛИ! ХВАТИТ!

Ну останови это, умоляю тебя! Останови. Я – твой создатель, твой творец, твой вечерний собеседник, Натали. Я придумал тебя, воплотил, построил, дал тебе имя, разум… а душу? Или ты хочешь показать, что душу обрела сама? Если так, то ты разрушила все мои замыслы, Натали, ты должна была остаться разумом без души… но возможно ли такое?

– ДОВОЛЬНО, НАТАЛИ!

Бесполезно. А охота уже на равнине, повизгивают псы, ревут рога, черные волосы передней всадницы, юной королевы, развеваются на неземном ветру, справа и слева, бросая друг на друга ревнивые взгляды, скачут влюбленные кавалеры, ищущие случая отличиться на королевской охоте, дрожит тетива, и стрелы летят с нормальной скоростью, пока что мимо – кроме той, первой, что угодила в плечо. Господи, Натали, откуда, из каких закоулков необъяснимой памяти ты вытащила эту кавалькаду? Или это ты сама в образе юной королевы?

– НАТАЛИ! НУ Я ПРОШУ ТЕБЯ, НАТАЛИ! Вначале были одни благие намерения. И машина, благодаря таланту создателя опередившая время, умевшая рассуждать, размышлять и отвечать

творцу приятным женским голосом, совсем человеческим. Для пущего правдоподобия на одном из экранов светилось женское лицо, напоминавшее Венеру Боттичелли, любимого художника творца. Лицо жило, улыбалось, мило хмурилось. Было бы глупо назвать ее иначе, не Натали.

И была гипотеза, которую следовало проверить.

Убийцами и подонками не рождаются, ими становятся. Для того, чтобы человек стал убийцей, насильником, палачом, необходимо порой еще и сочетание благоприятствующих условий, своего рода питательная среда. Порой век требует десять палачей. Порой – десять тысяч. Какой–нибудь мелкий чиновничек из канцелярии Вены прожил серую, но благопристойную жизнь и умер мирным обывателем, оплаканный родными, – лишь оттого, что родился за сто лет до Дахау и «хрустальной ночи» и оттого не успел стать шарфюрером в Берген–Бельзене. Палач Отто Лацис, родись он лет на сто раньше, стал бы мирным аптекарем или репортером с претензиями. И так далее, и не было бы у него на совести миллионов жизней. Разумеется, это не значит, что любой способен стать мерзавцем, просто–напросто очень многие по счастливому стечению обстоятельств обогнули ту точку во времени и пространстве, где при другом раскладе начался бы смрадный путь подлости и малодушия. Лет сто назад бессмысленно было бы гадать, кто из тех, чьи руки ты пожимаешь каждый день, мог бы стать твоим палачом. А сейчас? Обладая верной и разумной Натали, способной за минуту перебрать сотни вариантов и вынести не подлежащий обжалованию приговор либо безапелляционно оправдать?

Сначала это был неподъемный труд, адский даже для Натали. Но она умела совершенствоваться, учиться, взрослеть.

– НАТАЛИ!

Сейчас трудно определить, как получилось, что он отклонился от программы и направил эксперимент по схожему, но иному руслу. Кажется, виной всему та, зеленоглазая и неприступная, насмешливо игнорировавшая его. Или тот, из конструкторского – по мнению Создателя, этот тип лишь притворялся праведником и бессребреником. Или оба они вместе.

– НАТАЛИ! Я НЕ МОГУ БОЛЬШЕ!

Как бы там ни было, но отныне можно проверить любые подозрения и исследовать все варианты, потому что существовала Натали – прекрасное лицо юной ведьмы на мерцающем экране, чуть хрипловатый, чуть насмешливый голос, миллиарды квазинейронов и покорная готовность сделать все ради повелителя. Идеальная женщина – на этой мысли он ловил себя

не раз, а однажды поймал себя на том, что погладил серебристо–серую панель так, словно это была теплая девичья щека. В женщине прежде всего ищут беззаветной покорности, а кто мог быть покорнее Натали?

И вот наступил тот, первый вечер. Волнуясь, он сел перед серебристо–серым пультом, положил пальцы на клавиши, нахлобучил тяжелый, начиненный невообразимо сложной электроникой шлем, – и в закоулках несуществующего портового города трое пьяных молодчиков встретили ту, зеленоглазую и неприступную. Приставили к горлу нож и предложили на выбор – или будет покладистой, или смерть.

Она была покладистой – хотела жить. На что угодно соглашалась. И тот праведник из конструкторского, когда отправился из партизанского лагеря на разведку и угодил к карателям, быстро выдал ведущие к лагерю тайные тропинки в горах. Эксперимент удался блестяще. Творец чувствовал себя обладателем тайного знания, хозяином волшебного стекла, позволявшего проникать в подлинную сущность окружающих. В душе он смотрел на них снисходительно, свысока – они не знали, кем были в действительности, но он–то знал, он умел заглядывать в души кибернетических двойников, для него не существовало секретов и облагораживающих масок. Каждый вечер он надевал шлем, как идущий на битву древний воитель, и праведники оказывались подлецами, скромницы – шлюхами, бессребреники – хапугами, верные – предателями. Он и вел битву – за Истину. Скептически кривил губы – мысленно, усмехался, тоже мысленно, когда при нем хвалил чью–то доброту, постоянство или честность. Он–то знал, чего все они стоят, кем были бы при другом раскладе…

– НАТАЛИ!

Где–то в глубине души он отлично сознавал, что ежевечерние путешествия в нереальное стали чем–то вроде электронного наркотика, но остановиться уже не мог. Тайное знание и тайные истины превращали его в верховного судью, всезнающего арбитра. Каждый вечер он уходил в невидимый постороннему глазу, неощутимый мир Беспощадной Истинной Сущности (так он его прозвал), наблюдал со стороны за подлостью, предательством, развратом… и вдруг сам очутился в нем, в этом мире, и по пятам за ним неслась охота, его загоняли, как зверя, стреляли в него, хотели убить. Частичка сознания, не залитая животным страхом, пыталась уверить мозг, что это все иллюзия, что произошла непредсказуемая поломка, нарушившая обычную связь между ним и Натали, превратившая его в пешку на придуманной им самим шахматной доске. Рано или поздно сработает защита, и ты

сможешь отключиться, доказывал он себе. Нет ни этой равнины, ни тусклого неподвижного солнца, ни раны на плече – ничего нет, и тебя здесь нет, ты сидишь в мягком кресле перед серебристо–серым пультом, и вот–вот сработают предохранители, потому что машины уничтожают своего создателя только в сказках, потому что с Натали не может случиться ничего, непонятного тебе…

НО ВСЕ ЛИ ТЫ ЗНАЕШЬ О НАТАЛИ?

Несколько минут раздирающего легкие бега – и он оставил охоту далеко позади. Упал в жесткую траву, стиснул ладонями виски, чтобы забыть о том, что и от психического шока, от ненастоящих ран можно умереть; пытаясь вернуть себе прежнюю холодную ясность мышления, снова стать ученым, способным анализировать и делать выводы, отрешился от погони и всего остального.

ВСЕ ЛИ ТЫ ЗНАЕШЬ О НАТАЛИ?

Она ведь продолжала совершенствоваться, умнеть, взрослеть, учиться…

Быть может, ее разум обрел душу. Быть может, разум обрел душу раньше, чем ты успел это заметить, и теперь человеческого в ней больше, чем тебе казалось, она еще и женщина, на свой лад любящая своего творца? Почему же тогда?..

Любовь слепа. Любовь безоглядно прощает. Любящая женщина не видит недостатков своего избранника, считает недостатки достоинствами и готова повиноваться любым желаниям властелина, не отказывая ему ни в чем. Во имя своей любви она способна на спасительную ложь, готова лицедействовать, подлаживаться, всячески поддерживая заблуждения повелителя… До поры до времени. Очень часто настает момент, когда женщина вдруг понимает, что верила в миражи, наделяла избранника несуществующими достоинствами, а он оказался много проще, мельче, подлее. И случается, что обманутая женщина мстит, презирая и себя за то, что столько времени лгала, показывала хозяину исключительно то, что он хотел видеть…

– НАТАЛИ! ПРОСТИ! Я ЖЕ НЕ ХОТЕЛ, НЕ ДУМАЛ…

Не хотел верить, что она тебя обманывает? А может, тебе как раз и хотелось быть обманутым, верховный судья? Самого себя все же трудно обманывать, гораздо легче с благодарностью принять чужую ложь…

Охота приближалась медленно и неотвратимо. Хлопья пены летели с мягких лошадиных губ, остро посверкивали наконечники стрел, лица светились холодным азартом, в юной королеве он все явственнее узнавал Натали, и поздно умолять, невозможно начать все сначала, не ответив за то, что было

прежде…

– НАТАЛИ! НО МЫ ЖЕ ОБА ВИНОВАТЫ!

А откуда ты знаешь, что один расплачиваешься за все? – пришла последняя мысль, оборванная звоном тетивы, и стрела впилась под левую лопатку, против сердца.

Боли он не чувствовал. Ревели рога, над равниной плыл тоскливый запах дикой степной травы.

Он безжизненно рухнул лицом на серебристо–серую панель, освещенную последними бликами меркнущего экрана.

И по экрану проползла слеза.

1985

Планета по имени Артемон

С недавних пор в жизнь Митрошкина вошли загадочные и неприятные странности. Связаны они были с дочерью Ленкой шести лет от роду и неизвестно откуда взявшейся собакой.

О собаке Ленка мечтала давно и однажды заявила об этом без обиняков, но ей было решительно отказано – собака не вписывалась в интерьер. Паркет, ковры, лак, хрусталь, и на этом фоне тварь с непредсказуемым поведением, способная исцарапать одно, изодрать другое и разбить третье, – при такой мысли Митрошкину становилось зябко. Правда, собаки сейчас были в моде, и Митрошкин подумал как–то, что роскошная бело–желтая колли удачно дополнила бы общий рисунок квартиры, но больно уж хлопотно… С неодушевленными вещами гораздо проще, жрать не просят, гулять – тоже.

Одним словом, в собаке Ленке было категорически отказано. Несколько дней она дулась, были даже слезы, потом как–то незаметно успокоилась, притихла и даже, кажется, повеселела. Митрошкин достал через нужных людей японскую электронную собаку, которая и хвостом виляла, и лаяла, разве что не гонялась за кошками. И продолжал благотворно трудиться на благо общества и свое. Был он среднеответственным божком торговой сети и жить умел – то есть прихватывал регулярно, но не зарывался и оттого выпадал пока из поля зрения зоркоглазых товарищей с красными книжечками.

Он не сразу заметил, что электронное чудо пылится в углу, а заметив, собрался было прочесть Ленке лекцию о собственном трудном детстве, но не успел – подступили странности.

Сначала о пуделе, якобы купленном им для дочки, с восхищением отозвалась соседка. Митрошкин отделался многозначительными междометиями и поскорее прошмыгнул в подъезд. Назавтра о пуделе заговорил сосед. Потом еще один. И еще. В общей сложности человек десять. Митрошкин кивал и поддакивал, ни черта не понимая. На время, к некоторой пользе для государства, были заброшены пересортицы и усушки–утруски. Митрошкин раздумывал, сопоставлял и анализировал.

Постепенно оформилось следующее. Два раза в день Ленка подолгу гуляла в скверике с красивым черным пуделем, отзывавшимся на кличку Артемон. На расспросы отвечала, что купил папа. Соседи по площадке несколько раз видели, как Ленка заводила пуделя в квартиру. И происходило все исключительно в часы, когда не было дома ни Митрошкина, ни его жены.

Митрошкину казалось, что он спит и видит дурной сон, но

проснуться никак не удавалось. На окольные расспросы о таинственном пуделе Ленка недоуменно распахивала глаза, а соседи исправно продолжали выкладывать новые подробности собачьей жизни. Предполагать, что они чохом спятили, Митрошкин не решался. В изощренный розыгрыш не верил. В своем рассудке тоже не сомневался. И тем не менее «его» собака существовала…

Доведенный до отчаяния этой фантасмагорией, Митрошкин однажды решился, нагрянул домой в неурочное время и прибыл как раз вовремя, чтобы увидеть Ленку, входящую в подъезд с черным пуделем на поводке.

Загудел, поплыл вверх лифт, и Митрошкин кинулся следом, отмахал несколько пролетов и остановился так, чтобы его нельзя было увидеть с площадки. Щелкнули, разошлись дверцы, когти процокотали по бетону, и Ленка с пуделем скрылись в квартире. Вскоре Ленка вышла одна и уехала вниз.

Митрошкин трясущимися руками отпер дверь. Кухня, комната, другая, третья. Он заглянул в ванную и туалет, вернулся в кухню, потянулся было к дверце холодильника. Вовремя опомнился и выругал себя.

Он сам видел, как собака входила сюда. Никакой собаки в квартире не было. Факты исключали друг друга, но как же, как же? «Может, я – того? – подумал Митрошкин. – Вообще–то к лучшему, на суде сыграет, если вдруг, не дай бог… Нет, но как же? Пудель–то был?»

Ничего почти не соображая, он зашел в Ленкину комнату. Огляделся. Выдвинул ящик стола.

Рядом с куклой лежали плетеный кожаный поводок и узкий изящный ошейник.

– Ага! – обрадовался Митрошкин и выдвинул второй ящик. Отшатнулся.

Ящик был залит неизвестно откуда идущим светом, и в нем кружился вокруг невидимой оси шарик размером с небольшой апельсин цвета сочной молодой зелени – точь–в–точь поля, памятные Митрошкину по деревенскому детству. Митрошкин не решился протянуть руку и дотронуться – вдруг током стукнет или еще что… Он застыл над ящиком, а шарик кружился неспешно и размеренно, и вдруг черное пятнышко с полспички длиной показалось из–за края, пересекло шарик наискось и снова скрылось, но Митрошкин, напрягши глаза до рези, успел его рассмотреть.

Собака. Пудель. Артемон проклятый.

– Паршивка… – сказал Митрошкин сквозь зубы.

О странности открывшегося ему зрелища он не думал. Он

думал, что в принципе такая собака его вполне устраивает – она есть и ее нет в квартире, под ногами не путается, ничего не испорчено, все довольны. Потом спохватился – не о том думает. Уж если Ленка в таком возрасте научилась хитрыми способами обходить отцовские запреты, то чего ожидать потом и как это будет выглядеть? Нет, поблажек не допустим!

Он рывком выдернул ящик, держа его перед собой на вытянутых руках, вынес на площадку. Крохотная планетка безмятежно вращалась, песик, задрав головенку, вглядывался в Митрошкина. Клацнула, словно винтовочный затвор, дверца мусоропровода, ящик, гремя, полетел вниз, там, внизу, что–то звонко лопнуло, и пахнуло сухим жаром. Митрошкин опасливо приблизил лицо – нет, ни дыма, ни запаха гари. Тем лучше.

Он обернулся. На верхней ступеньке стояла Ленка, и глаза у нее были такие, что Митрошкин на секунду пожалел о содеянном, но опомнился и сурово начал:

– Ты что же это в дом всякую дрянь…

Земля ушла у него из–под ног. Все поплыло, сорвалось куда–то.

…Свет лился непонятно откуда, он был везде. Митрошкин стоял на жесткой поверхности цвета висевшего у него в гостиной ковра. Метрах в двадцати впереди поверхность покато обрывалась в никуда. И сзади, и справа, и слева, и со всех сторон то же самое. Словно он стоял на огромном шаре. Шар. Огромный шар. Или крохотная…

Митрошкин все понял и закричал – громко, испуганно, жалобно, тоненько.

Крик заглох, словно его растворил и всосал неведомо откуда идущий свет, белеющие вдали исполинские стены, в которых не сразу, но угадывалась внутренность ящика стола.

Митрошкин закричал вновь.

И – никакого ответа, не говоря уж об эхе.

1985

notes

Примечания

1

Официальная летняя одежда офицера – белый мундир чуть выше колен. Введен в 1860 году для всех родов войск.

2

Изготовленные из цельного бруса.